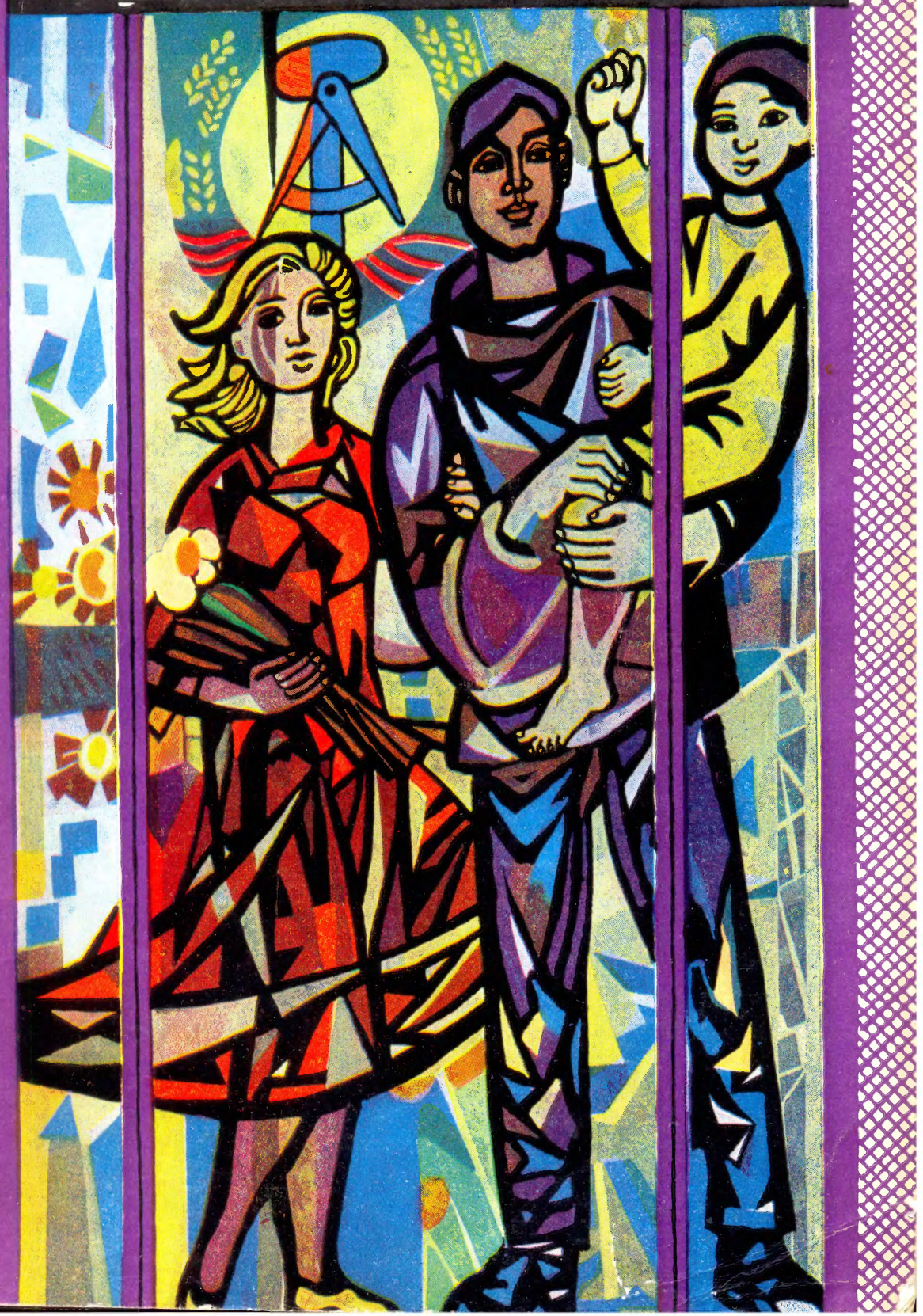
05
Ин61

Иностранная литература

5
1966



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

# СОДЕРЖАНИЕ

***РОМАНЫ***

**КОБО АБЭ** — Женщина в песках (Послесловие П. Палиевского) . . . . . 8

***ПОВЕСТИ***

**ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ** — Обещание (Отходная детективному жанру) . . . . 144

***РАССКАЗЫ***

**ГУСТАВО ЛУИС КАРРЕРА** — Сознание Протест. Селестино . . . . . 101

***ПЬЕСЫ***

**ПЕТЕР ВЕЙС** — Судебное разбирательство (Оратория в одиннадцати песнях) . . 120

***СТИХИ***

**ИРЖИ ТАУФЕР** — О человеке, который зажигает погасшие огни . . . . . 3

5

МАЙ

1966

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
*Москва*

## КРИТИКА

**Е. КНИПОВИЧ** — Свидетели . . . . . 188
**ВИТЕЗСЛАВ РЗОУНЭК** — Человек не одинок (Творческий путь Яна Отченашека) . . 198
**В. ДМИТРИЕВ** — Реализм и современная литература (По материалам дискуссии) . 205

## ПУБЛИЦИСТИКА

**АНДРЕ ВЮРМСЕР** — Свобода печати и печать свободы . . . . . 211
**И. С. КОН** — Личность и общество (Возвращаясь к проблеме отчуждения) . . . 222

## ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

**И. М. МАЙСКИЙ** — Дипломатия и культура 232

## ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

**В ГОСТЯХ У ИБРАГИМА БАЛАБАНА** (Очерк Радия Фиша) . . . . . 243

## ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

**НИКОЛАЕ МАНОЛЕСКУ** — Новые вкусы (Письмо из Румынии) . . . . . 252

## НАШИ ГОСТИ

**ХУАН ГОЙТИСОЛО В «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ».** Запись Т. Кудрявцевой 254

## КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

**В. ЗЛЫДНЕВ** — Пенчо Славейков . . . . 256

## СРЕДИ КНИГ

### ИЗДАНО В СССР

Ида Радволина — Бунтующий класс. ◇ Ю. Добровольская — Исповедь конформиста ◇ В. Макаренко — «Честные люди всей земли — соотечественники» 258

### ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Кирилл Ковальджи — Два первенца ◇ В. Ивашева — Закат Британской империи ◇ С. Ильинская — Акула среди людей 263

## НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

269

## ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 271

## АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

287

*На обложке:* Витраж в новом здании Совета Министров ГДР работы художника *ВАЛЬТЕРА ВОМАЦКИ.*

ИРЖИ ТАУФЕР

# О человеке, который зажигает погасшие огни

Профессору медицины
ЯРОМИРУ КУРЦУ

■

Перевод с чешского
РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Однажды ночью в январе того года
Ночью не слишком темной и не слишком снежной
Мы с Витезславом Незвалом увидели на Малостранской площади
Четырех слепцов идущих от арки через трамвайные линии
С палками готовыми к обороне
Готовыми обороняться от темноты которую слепые не видят
С лицами обращенными к небу
Будто цветы в ожидании солнца
Их беззащитность смешанная с доверчивостью ребенка
Который верит в то что можно пройти по воде
Возбуждает во мне печаль и ужас святой
Вы зрячие вы произносящие некоторые слова уже без почтения
Проходящие мимо них как мимо позавчерашних газет
Представьте что происходит в человеке от рожденья слепом
Когда он нащупывает в специальной книге странные фразы
Зеленое дерево Синее небо Красное яблоко

Слепой может потрогать крылья у птицы
Но никогда не представит себе что такое голубиная стая в небе
Не может ощупать огонь и понять его форму его мерцанье его
изменчивую красоту
Для руки слепого в розе не больше жизни чем в этом завядшем
букете замершем в кристалле карловарской соли
Слепой дотронуться может до человека с которым встретился
До его головы дотронуться до рук его до ног его до его говорящих
губ
Но как слепому дотронуться до толпы
До ее знамен до ее большого лица
Как слепому дотронуться до кочующих облаков

Представьте какое мученье доставляет слепому слово «ясный»
А какая загадка скрывается в слове «темный»
Ведь его тьма не похожа на тьму потому что он света не знает

И не знает что значит быть слепым потому что не знает что
значит видеть
Я видел как слепые смеются
Но слепой никогда не может представить тысячу подобных улыбок
Потому что не знает что происходит с лицом человека когда
человек смеется
Зрячий знает цену ночи потому что он видел день
Потому что есть ночи как тушь бархатистые с капельками серебра
Есть синие ночи но у этого синего цвета не существует названия
Есть ночи в себя вобравшие солнечный свет
Есть ночи зеленые в прожилках золота из-за которого не убивают
друг друга
Есть туманные ночи похожие на березовые рощи
Есть дневной свет синей ниточкой связанный с горизонтом
Есть день который лежит на лугах
И день который пляшет на черепичных крышах
И день который раскачивается на заросших холмах
И день который расчесывается длинными гребешками дождей
И день который сто раз переламывается между морем и небом

Слепой не знает что такое вода в хрустальном стакане
Слепой не знает что такое вода бьющая из родника
Слепой не знает что такое вода которая стала рекой
Слепой не знает что такое воздух который дрожит меж
травинок и листьев
Слепой не знает что такое воздух который мерцает над рельсами
железной дороги
Слепой не знает что такое ветер который я видеть могу
Слепой не знает как выглядит наслаждение
Так наверно немой отчаивается что не может крикнуть
Так наверно безрукий страдает что не может обнять женщину
Так наверно безногий кричит мечтая бежать
Не читайте это стихотворение слепым чтобы они не плакали
Потому что глаза слепых роняют слезы так же как наши
А без глаз нет поэзии той которой живут и которую презирают
миллионы зрячих
Если бы все человечество ослепло на один-единственный день
Потом прозрев оно бы возможно стало решительнее и мудрее

Пан профессор
Не сердитесь
За то что я вас называю волшебником
Вы ответите мне что наука не знает чудес
Но ведь чудо по-чешски «зазрак»
Значит и слово «зазрак» рождено от «зрачка» от «зрения»

Вашего предшественника Филатова я никогда не видел
Перед его дверьми выстраивались очереди как перед вратами
к свету
Говорят что этот волшебный старик любил взбираться
на высокие горы
Себе одному на радость писал стихи рисовал картины
Никогда я не видел ни вас ни ваших друзей из мира
полного тьмы и света
Лишь однажды увидел я маленький фильм в котором главную роль
ваши руки играли

Мне рассказывали о вас люди пожившие в вашем удивительном
королевстве
Среди угасших или угасающих лампочек человеческих глаз
Где вы создаете поразительную Латерну Магику
Полную таинственных уголков темноты и боли
Полную светлой пряжи нервов и загрязненных линз
Полную чувствительных объективов которые наконец-то открылись
Вы врываетесь в темноту нагроможденную бесчувственной природой
И свет раздаете людям
И швыряете на неосвещенные экраны сетчатки картины света
Наверно ваших предшественников били камнями за то что они
отнимали у мертвых зрачки
Не приписывайте поэтам сентиментальных пьес
Ждите кинопоэм которые вас прославят
Кинопоэм раскрывающих в свете и тьме драму души слепого
Драму души слепого драму у которой счастливый конец
благодаря вашим рукам
Драму вашей души драму у которой счастливый конец
благодаря прозренью слепого
Вам обязательно поставят памятник из света и тьмы
По сравнению с этим история Каспара Гаузера *
будет пустой мелодрамой
Потому что не знает никто
Что рушится в вас что в вас нарастает что вас наполняет
Когда слепой на ваших глазах становится зрячим
Что по сравнению с этим радость путешественника
открывающего материк
Что по сравнению с этим радость спасателя
Вернувшего жизнь человеку но человеку который
видел мир по крайней мере три тысячи семьсот дней
Что по сравнению с этим восторг звонаря который видит
рождение колокола огромного без единой трещины
Что по сравнению с этим восторг сталевара задувшего новую домну
Что по сравнению с этим восторг инженера включающего
турбину новой электростанции
Что по сравнению с этим счастье поэта закончившего поэму
Ведь все это больше чем спасти самоубийцу
Это больше чем оттолкнуть смерть от зрячего человека
Потому что ни для кого из них название красок не было
криптограммой
Разгадать которую не поможет слепцам великолепное осязание
И отличный слух не поможет
Только глаза расскажут только глаза

Пан профессор
Когда после удачной операции вы снимаете с пациента повязку
Удивление на его лице можно сравнивать лишь с удивлением
Человека который однажды первым вступит на новую планету
Камень о который недавний слепец спотыкается впервые
отбросив посох
Камень на который мы зрячие не обращаем внимания
Этот камень он держит в руке с большим восторгом чем
магараджа алмаз Кохинор

---

* Загадочное происхождение некоего Каспара Гаузера (ок. 1812—1833) и его смерть при странных обстоятельствах вызвали в свое время большой интерес и породили много толков. Известен роман немецкого писателя Я. Вассермана «Каспар Гаузер», вышедший в 1908 году.

Чем китаец шарики вырезанные из одного куска слоновой кости
Чем конструктор модель своей дерзкой мысли
Чем гениальный художник законченную картину

Я знаю врача который спасает детей
В то время как дочка его умирает от страшной болезни
И нельзя ампутировать кровавый очаг этой боли
И нельзя эти слезы забить никаким отшлифованным тубусом
Для таких романов еще не составлены словари
Для таких ситуаций не хватит железной воли и крепкой руки
Такой же крепкой как ваши пальцы
Врач первый союзник тех людей которые сделают немыслимыми
слепоту и войну
Потому что он знает как неестественна роль врача во время войны
Если б врачи объявили всемирную забастовку
Человечество вымерло бы от кори
Врач знает как трудно вернуть жизнь сломанному корню ноги
Знает как может кричать дерево нервов с единственной
подрезанной веточкой
Знает как драгоценна маленькая человеческая кровинка
Которая как пчела гибнет оставляя жало в теле врага
Которая как Матросов закрывающий амбразуру горячей грудью
Врач знает что нельзя вернуть самые большие сокровища в
кладовую мозга
Которую проломили бандиты
Которую откромсал Джек-Потрошитель
Врач знает как удивителен инструмент человеческих глаз
Он как рисунок на народной керамике
Глаза в которые глядим мы с любовью
Глаза которые расскажут больше чем лицо человека
Глаза которые о счастье расскажут больше чем самые волшебные
песни
Глаза которые о боли расскажут больше чем самые безумные крики
Глаза в которые смотрело столько художников
Что Монна Лиза начала улыбаться
Глаза о которых писало столько поэтов
На свете много стихов о глазах
О глазах в которые мы смотрим
Но все стихи это величие глаз которые смотрят
Если бы не было человеческих глаз не было бы Рембрандта
И Праксителя не было бы
И славы слепого Гомера
Не было бы театров
И Чарли Чаплина не было бы
Не было бы планеты
И тикающих часов
Окон с цветами не было бы
Не было бы истории такой кровавой и все-таки
такой вдохновляющей
Владели бы человеком богомол или травяная вошь
И поэзии не было бы

Пан профессор
Если бы я был правительством то издал бы приказ
Чтобы у ваших рук днем и ночью стояла охрана
Я для этого выбрал бы самых красивых сестер
Которые стерегли бы ваши волшебные пальцы

Чтобы в них никогда не дрожала игла делающая в живом
человечьем глазу мальтийский крест
Чтобы они не поранились случайно во сне
Как утомленные спины портовых грузчиков
Чтоб спали спокойно как утомленные руки мастеровых
Как утомленные ноги крестьянина только что закончившего сев
О состоянии ваших рук я печатал бы ежедневные сообщения
как о добыче угля
Чтоб все глаза улыбались от радости и сторожей хвалили
Ведь пальцы ваши это прямые потомки тех
Которые когда-то сделали первую иглу из косточки рыбьей
Отшлифовали первый ноготь
А потом моделировали человеческую голову
Которая смеется которая плачет которая смотрит
Ведь пальцы ваши
Очень похожи на те которые записали музыку рожденную
в глухой голове

Пан профессор
Я хочу чтобы дети вместо утреннего приветствия говорили
название вашей профессии
И конечно же вы важнее чем Эдиссон и братья Люмьеры
Потому что почти ничего не значит лампа без зрячего ока
Ведь она не больше лопнувшей лампочки для детей
мастерящих термометр
Я не люблю аллегорий
Но если бы был я скульптором то слепил бы вашу руку
и назвал скульптуру «Возвращение слепого»
Если бы был я художником то нарисовал бы картину
в которой не пожалел бы лавровых венков
и пальмовых веток
Но я поэт и пишу вам вот эту заикающуюся поэму

КОБО АБЭ

# Женщина в песках

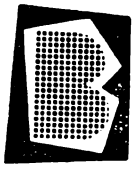
РОМАН

Перевод с японского
В. ГРИВНИНА

Без угрозы наказания нет радости побега.

## Часть 1

### 1



Один из августовских дней пропал человек. Он решил использовать свой отпуск для поездки на побережье, до которого поездом было полдня пути, и с тех пор о нем ничего не слышали. Ни розыски полиции, ни объявления в газетах не дали никаких результатов.

Исчезновение людей,— в общем, не такое уж редкое явление. Согласно статистике, ежегодно публикуется несколько сот сообщений о пропавших без вести. И как ни странно, процент найденных весьма невелик. Убийства и несчастные случаи оставляют улики; когда случаются похищения, мотивы их всегда можно установить. Но если исчезновение имеет какую-то другую причину, напасть на след пропавшего очень трудно. Правда, стоит назвать исчезновение побегом, как сразу же очень многие из них будут, видимо, причислены к этим самым обыкновенным побегам.

В данном случае тоже не было ничего необычного в отсутствии каких-либо следов. Примерно было известно место, куда отправился этот человек, но оттуда не поступило сообщения о том, что обнаружен труп. Работа его не была связана с какими-либо секретами, из-за которых его могли бы похитить. А во всех его действиях, в поведении не было и намека на то, что он замышляет побег.

Сначала все, естественно, предположили, что здесь замешана женщина. Когда полицейские чиновники и сослуживцы узнали от жены пропавшего, что он уехал собирать насекомых для своей коллекции, они были даже несколько разочарованы. Действительно, тащить банку с цианистым калием, сачки для ловли насекомых — и все только для того, чтобы скрыть побег с женщиной,— это было бы уж слишком большим притворством. А главное — станционный служащий сообщил, что в тот день на станции S из поезда вышел мужчина, похожий по одежде на

альпиниста, на его плечах крест-накрест висели деревянный ящик, напоминавший те, которыми пользуются художники, и фляга; он точно помнил, что человек был совершенно один. Таким образом, и это предположение отпало.

Появилась версия о самоубийстве на почве мизантропии. Ее высказал один из сослуживцев, большой любитель психоанализа. По его мнению, самый факт, что взрослый человек способен увлекаться таким никчемным делом, как коллекционирование насекомых, уже доказывает его психическую неполноценность. Даже когда ребенок проявляет слишком большую склонность к коллекционированию насекомых, это часто указывает на то, что он подвержен Эдипову комплексу. Чтобы как-то компенсировать неудовлетворенное желание, он с удовольствием втыкает булавку в тело погибшего насекомого, которое и так никуда не может убежать. А уж если он не оставил этого занятия, став взрослым, это несомненный признак того, что его болезненное состояние ухудшилось. Ведь довольно часто энтомологи одержимы манией приобретательства, крайне замкнуты, страдают клептоманией, педерастией. А отсюда до самоубийства на почве мизантропии — один шаг. Мало того, среди коллекционеров есть и такие, которые испытывают влечение не столько к самому коллекционированию, сколько к цианистому калию в своих банках, и они никак не могут отказаться от этого своего занятия... И разве тот факт, что у него ни разу не возникало желания откровенно рассказать о своем увлечении, не доказывает, что и сам он сознавал всю его постыдность?

Но поскольку труп не был обнаружен, все эти, казавшиеся такими стройными, умозаключения рухнули.

Действительной причины так никто и не узнал. Прошло семь лет, и на основании статьи 30 Гражданского кодекса человек был признан умершим.

## 2

Однажды в августе после полудня на платформе станции S появился человек в серой пикейной панаме. На плечах у него крест-накрест висели большой деревянный ящик и фляга, брюки были заправлены в носки, как будто он собирался идти в горы. Однако в окрестностях не было ни одной горы, на которую стоило бы подниматься. И станционный служащий, проверявший у выхода билеты, подозрительно посмотрел ему вслед. Человек без колебаний вошел в автобус, стоявший около станции, и занял заднее место. Автобус шел в сторону, противоположную горам.

Человек доехал до конечной остановки. Выйдя из автобуса, он увидел, что местность вокруг представляет собой бесконечное чередование возвышенностей и впадин. Низины были сплошь заняты нарезанными на узкие полосы рисовыми полями, и между ними, подобно островкам, возвышались небольшие рощицы хурмы. Мужчина миновал деревню и пошел дальше, направляясь к побережью. Почва постепенно становилась все светлее и суше.

Вскоре исчезли дома, и лишь кое-где торчало по нескольку сосен. Постепенно твердая почва перешла в мелкий, липнувший к ногам песок. Кое-где темнели островки сухой травы и виднелись точно по ошибке попавшие сюда крохотные участки чахлых баклажанов. Но вокруг — ни души. Впереди, очевидно, было море, к которому он и направлялся.

Наконец человек остановился. Оглядываясь по сторонам, он отер рукавом куртки пот с лица. Не спеша открыл деревянный ящик и из верхней крышки вынул связку палок. Соединил их вместе, и в руках у

него оказался сачок для ловли насекомых. Он снова двинулся вперед, раздвигая палкой попадавшиеся ему редкие кустики травы. Песок пах морем.

Время шло, а моря все не было видно. Может быть, это пересеченная местность не позволяла видеть, что делается впереди, но, насколько хватал глаз, ландшафт не менялся. Неожиданно перед ним выросла деревушка. Это была обычная бедная деревушка: вокруг пожарной вышки теснились тесовые крыши, прижатые небольшими камнями. Несколько домов были крыты черной черепицей, а некоторые даже железом, окрашенным в красный цвет. Дом с железной крышей, стоявший на углу единственного в деревне перекрестка, был, по-видимому, правлением рыболовецкой артели.

За деревней уж наверное и море, и дюны. Но что-то деревушка раскинулась чересчур широко. Вокруг нее несколько участков плодородной земли, все остальное — белая песчаная почва. Виднелись небольшие поля земляного ореха и картофеля; запах моря смешивался с запахом скотины. На обочине твердой, как бы сцементированной песком и глиной дороги возвышались белые горы колотых ракушек. Пока человек шел по дороге, и дети, игравшие на открытом месте перед правлением артели, и старик, чинивший сеть, и растрепанные женщины, толпившиеся у единственной в деревушке мелочной лавки,— все на миг замирали и с удивлением смотрели ему вслед. Но человек не обращал на них никакого внимания. Его интересовали только дюны и насекомые.

Однако странным был не только размер деревушки. Дорога вдруг пошла вверх. Это тоже было совершенно неожиданно. Ведь если она ведет к морю, то, естественно, должна идти под уклон. Может быть, он ошибся, когда смотрел по карте? Он попытался расспросить повстречавшуюся как раз девушку. Но она опустила глаза и прошла мимо, сделав вид, что не слышит вопроса. Ладно, пойдем дальше. Что ни говори, и цвет песка, и рыболовные сети и горы ракушек — все указывает на близость моря. В общем, причин для беспокойства нет.

Дорога становилась все круче, и кругом уже не было ничего, кроме песка.

Но странно, то место, где стояли дома, нисколько не повышалось. Лишь дорога шла вверх, сама же деревушка все время оставалась как бы в низине. Нет, не только дорога. Промежутки между домами повышались вместе с дорогой. Поэтому казалось, что вся деревня как будто идет в гору и лишь дома остаются на одном уровне. Это впечатление все усиливалось по мере продвижения вперед, к вершине дюны, и вскоре ему показалось, что дома стоят в огромных ямах, вырытых в песке. Наконец дорога, по которой он шел, и промежутки между домами оказались выше крыш. А дома все глубже погружались в песчаные ямы.

Склон неожиданно стал почти отвесным. Теперь от него до верхушек крыш было метров двадцать, не меньше. «Ну что там может быть за жизнь?» — подумал он, с содроганием заглядывая в глубокую яму. Вдруг бешеный порыв ветра перехватил дыхание, и мужчина поспешил отойти от края ямы. Неожиданно далеко внизу он увидел мутное пенящееся море, лизавшее прибрежный песок. Человек стоял на гребне дюны — именно там, куда стремился.

Склон дюны, обращенный к морю, откуда дуют муссоны, как обычно, был отвесным и голым. Но на более пологих местах пробивались кустики узколистой травы. Оглянувшись назад, он увидел, что огромные ямы, все более глубокие по мере приближения к гребню дюны, несколькими ярусами идут к центру деревушки, напоминая пчелиный улей в разрезе. Деревня, казалось, взбиралась на дюну. А может быть, дюна взбиралась на деревню? Во всяком случае, вид деревни удручал, раздражал человека.

Ну, в общем, до желанных дюн дошел, и теперь все в порядке. Он отпил большой глоток воды из фляги, глубоко вздохнул, и воздух, казавшийся таким чистым, как наждаком, обжег горло.

Человек хотел пополнить свою коллекцию насекомыми, которые водятся в песке.

Песчаные насекомые невелики, тускло окрашены, но человека, одержимого манией коллекционирования, не привлекают яркокрылые бабочки или стрекозы. Такие люди не стремятся к тому, чтобы украсить свои коллекции какими-то экзотическими образцами, не интересуются они особенно систематизацией, не занимаются и поисками сырья для приготовления лекарств, используемых китайской медициной. У энтомолога есть свои бесхитростные и непосредственные радости — обнаружение нового вида. Удастся это — и в энтомологическом атласе рядом с длинным ученым латинским названием вновь найденного насекомого появится и твое имя, и не исключено, что оно останется там на века. А если твое имя, пусть даже связанное с названием насекомого, надолго сохранится в памяти людей — значит, старания не пропали даром.

Огромное число видов насекомых, почти не различимых глазом, дает богатые возможности для все новых открытий. Вот и он тоже много времени отдал двукрылым и даже обыкновенным домашним мухам, которых так ненавидят люди. Виды мух на удивление многочисленны. Но поскольку мысль всех энтомологов идет примерно в одном направлении, они почти завершили изучение большинства этих видов, включая и редчайший восьмой мутант, обнаруженный в Японии. Может быть, это потому, что жизнь людей слишком тесно переплетается с жизнью мух.

Лучше всего обратить сначала внимание на эту среду. Может быть, многочисленность видов объясняется большой приспособляемостью мух. Он просто подпрыгнул от радости, сделав это открытие. Мысль моя не так уж глупа. Столь высокой приспособляемостью мух как раз и объясняется, почему они легко переносят самые неблагоприятные условия, в которых другие насекомые не могут существовать. Ну, например, они приспособились к жизни даже в пустыне, где все живое погибает...

Сделав это открытие, он стал проявлять особый интерес к пескам. Результат не замедлил сказаться. Однажды в высохшем русле речки неподалеку от дома он увидел малюсенькое желтоватое насекомое, напоминавшее шпанскую мушку, принадлежащую к семейству жесткокрылых (Cicindela Japonica, Motschulsky). Как известно, шпанские мушки бывают самых разных цветов и размеров. Но передние лапки у них различаются весьма незначительно. Они-то и служат важным критерием для классификации, так как различие формы передних лапок означает и видовое различие. Второй сустав передней лапки насекомого, попавшегося ему на глаза, действительно имел примечательные особенности.

Передние лапки насекомых рода шпанских мушек, обычно тонкие, черные и весьма подвижные, у этой мухи были круглыми, толстыми, как бы покрытыми прочным панцирем, и ярко-желтого цвета. Возможно, на них налипла пыльца. Может быть, у насекомого было даже особое приспособление — что-нибудь вроде волосков,— чтобы собирать пыльцу. Если при осмотре он не допустил ошибки, то, должно быть, сделал важное открытие.

Но, к сожалению, поймать это насекомое не удалось. Он был слишком взволнован, да и муха летала как-то совершенно необычно. Она улетела. Потом, только что не говоря «попробуй поймай меня», вернулась и стала ждать его приближения. Когда он доверчиво подошел, она улетела, вернулась и снова стала ждать. Она как будто дразнила его и наконец окончательно скрылась в траве.

Так он стал пленником этой шпанской мушки с желтыми передними лапками.

Обратив внимание на песчаную почву, он еще больше утвердился в своем предположении. Ведь шпанская мушка — типичное насекомое пустыни. Согласно одной теории, необычный полет этих мушек — просто ловушка, чтобы выманить из нор мелких животных. Мыши, ящерицы, увлекаемые таким образом мушками, убегают далеко от своих нор в пустыню и погибают там от голода и усталости. Мушки только этого и ждут и пожирают погибших животных. Эти мушки имеют изящное японское наименование «письмоносец», и хотя на первый взгляд они кажутся грациозными, на самом деле у них острые челюсти и они настолько кровожадны, что пожирают даже друг друга. Но независимо от того, верна эта теория или нет, он, несомненно, был пленен загадочным полетом шпанской мушки.

Естественно, возрос и его интерес к песку, который создавал условия для жизни шпанской мушки. Он стал читать литературу о песке, и чем больше читал, тем больше убеждался в том, что это очень интересное явление. Если обратиться, например, к статье в энциклопедии, посвященной песку, то можно прочесть следующее:

«Песок — скопление разрушенной горной породы. Иногда включает в себя магнитный железняк, каситерит, реже золотой песок. Диаметр от 2 до $^1/_{16}$ мм».

До чего же ясное определение. Короче говоря, песок образуется из разрушенной горной породы и представляет собой нечто среднее между мелкими камешками и глиной. Но назвать песок промежуточным продуктом — еще не значит дать исчерпывающее объяснение. Почему из трех элементов — камней, песка и глины,— из которых в сложных сочетаниях состоит земля, только песок может находиться в изолированном состоянии и образовывать пустыни и песчаные местности? Если бы это был просто промежуточный продукт, то благодаря эрозии между голыми скалами и областями глины можно было бы обнаружить бесчисленное количество промежуточных продуктов, образованных путем их взаимного проникновения. Но ведь на самом деле существуют только три ясно различимых вида пород: скальные, песчаные, глинистые. Удивительно также и то, что величина песчинок почти всегда одинакова: будь то песок на побережье острова Эносима или в пустыне Гоби — она равна в среднем $^1/_8$ мм, и распространяются песчинки по кривой, близкой к Гауссовой.

В одном исследовании давалось весьма упрощенное объяснение разложения почвы благодаря эрозии: легкие элементы разносятся на большие расстояния. Но в нем совершенно не объяснялась особенность размера песчинок, равного $^1/_8$ мм. В другом труде по геологии давалось противоположное объяснение:

«И потоки воды, и потоки воздуха создают турбуленцию. Наименьшая длина волны турбуленции эквивалентна диаметру песка в пустыне. Благодаря этой особенности из почвы извлекается только песок, причем извлекается он под прямым углом к потоку. Если сила сцепления отдельных компонентов почвы невелика, песок может подниматься в воздух даже очень слабым ветром, не способным увлечь камни и глину. Затем он снова опускается на землю дальше по движению ветра. Особенности песка должны, видимо, рассматриваться аэродинамикой».

Продолжим приведенное выше определение:

«...то есть частицы разрушенных горных пород такой величины, которая делает их наиболее подвижными».

Поскольку на земле всегда существуют ветер и потоки воды, образование песков неизбежно. И до тех пор, пока будут дуть ветры, течь реки, катить свои волны моря, из земли будут извлекаться все новые и новые массы песка и, подобно живому существу, расползаться повсюду. Песок не знает отдыха. Незаметно, но упорно он захватывает и разрушает землю...

Эта картина вечно движущегося песка невыразимо волновала и как-то подхлестывала его. Бесплодность песка, какой она представляется обычно, объясняется не просто его сухостью, а беспрерывным движением, которого не может перенести ничто живое. Как это похоже на унылую жизнь людей, изо дня в день цепляющихся друг за друга.

Да, песок не особенно пригоден для жизни. Но является ли незыблемость абсолютно необходимой для существования? Разве все это отвратительное соперничество не возникает от стремления утвердить незыблемость? Если отбросить незыблемость и отдать себя движению песка, то кончится и соперничество. Ведь на самом деле и в пустыне растут цветы, живут насекомые и звери. Все это живые существа, вырвавшиеся за рамки соперничества благодаря огромной силе приспособляемости. Вот как его шпанские мушки....

Он рисовал в своем воображении движение песка, и у него уже начинались галлюцинации — он видел и себя самого в этом нескончаемом потоке.

## 3

Опустив голову, человек снова пошел вперед по гребню дюны, огибавшей деревню полумесяцем, подобно крепостному валу. Он почти совсем не обращал внимания на то, что делалось вдали. Для энтомолога важно сосредоточить все свое внимание на пространстве в радиусе трех метров вокруг своих ног. И одно из важнейших правил — не становиться спиной к солнцу. Если солнце окажется сзади, то своей тенью можно спугнуть насекомое. Поэтому лоб и нос охотников за насекомыми загорают дочерна.

Человек размеренно и медленно продвигался вперед. При каждом шаге песок обрызгивал его ботинки. Вокруг не было ничего живого, кроме неглубоко сидевших кое-где кустиков травы, готовой хоть сейчас зацвести, будь чуть побольше влаги. Если и появлялось здесь что-нибудь летающее, это были окрашенные, как панцирь черепахи, мушки, привлеченные запахом человеческого пота. Но как раз в таком месте надежды часто сбываются. Правда, шпанские мушки не любят жить стаями, и бывают даже случаи, когда одна мушка захватывает целые километры в округе. Ничего не поделаешь, нужно упорно продолжать поиски.

Вдруг он остановился. В траве что-то зашевелилось. Это был паук. Пауки ему ни к чему. Он присел, чтобы выкурить сигарету. С моря все время дул ветер, внизу рваные белые волны вгрызались в основание дюны. Там, где западная оконечность дюны сходила на нет, в море выдавалась небольшая скалистая возвышенность. На ней, подобно снопу отточенных игл, были рассыпаны лучи солнца.

Спички никак не зажигались. Десять спичек извел — и все впустую. Вдоль отброшенных спичек почти со скоростью секундной стрелки двигались струйки песка. Он заметил небольшую волну песка и, как только она докатилась до каблука его ботинка, поднялся. Из складок брюк посыпался песок. Он сплюнул — во рту как будто теркой провели.

Однако не слишком ли мало здесь насекомых? Может быть, движение песка слишком стремительно. Нет, отчаиваться еще рано. Ведь теоретически здесь не может не быть насекомых.

Вершина дюны стала более ровной, кое-где она далеко отступала от моря. Подгоняемый чувством, что впереди его ждет добыча, он стал спускаться по пологому склону. Кое-где торчали остатки бамбуковых щитов для задержания песка и виднелась расположенная несколько ниже терраса. Мужчина пошел дальше, пересекая песчаные узоры, прочерченные ветром с такой точностью, как будто их сделала машина.

Неожиданно все исчезло из его поля зрения, и он увидел, что стоит на краю глубокой ямы.

Яма была неправильной овальной формы, больше двадцати метров в ширину. Противоположная ее стена казалась сравнительно отлогой, а та, где он стоял, обрывалась почти отвесно. На ее выгнутом краю, гладком и скользком, как у фарфоровой чашки, скользили ноги. Осторожно, упершись одной ногой в самый край обрыва, он заглянул вниз. И только теперь понял, что, хотя кругом светло, уже приближается вечер.

На самом дне ямы в мрачной глубине стояла, погруженная в молчание, лачуга. Крыша одним концом вдавалась в отлогую песчаную стену. «Ну совсем как раковина устрицы,— подумал он.— Что тут ни делай, а против закона песка не пойдешь...»

Только он начал прилаживаться с фотоаппаратом, как песок из-под его ног шурша пополз вниз. В испуге он отдернул ногу, но песок еще какое-то время продолжал течь. Как неустойчиво это равновесие песка! Задыхаясь от волнения, он вытер взмокшие ладони о штаны.

За его спиной кто-то кашлянул. Рядом, почти касаясь его плеча, стоял неизвестно откуда взявшийся старик, судя по всему — рыбак из деревни. Посмотрев на фотоаппарат, а потом на дно ямы, он сморщил в улыбке продубленное лицо. Что-то липкое скопилось в углах его налитых кровью глаз.

— Что, обследование?

Голос относило ветром, он звучал глухо, бесцветно, как будто из переносного приемника. Но выговор был ясный, понять не трудно.

— Обследование? — Человек в замешательстве прикрыл ладонью объектив и стал поправлять сачок, чтобы старик заметил его.— Что вы хотите сказать? Я что-то не понимаю... Я, видите ли, коллекционирую насекомых. Моя специальность — насекомые, которые водятся вот в таких песках.

— Что? — старик как будто ничего не понял.

— Кол-лек-ци-о-ни-ру-ю на-се-ко-мых! — повторил он громким голосом.— На-се-ко-мых, понимаете, на-се-ко-мых! Я их ловлю!

— Насекомых? — Старик, явно не поверив, отвел глаза и сплюнул. Или, лучше сказать, на губе у него повисла слюна. Подхваченная ветром, она вытянулась в длинную нить. Собственно, что его так беспокоит?

— А в этом районе проходит какое-нибудь обследование?

— Да нет, если вы не из обследователей, делайте что хотите, мне все равно.

— Нет, нет, я не из инспекции.

Старик, даже не кивнув, повернулся к нему спиной и медленно пошел по гребню дюны, загребая носками соломенных сандалий.

Метрах в пятидесяти, видимо, ожидая старика, неподвижно сидели на корточках трое одинаково одетых мужчин. Когда они появились? У одного из них был, похоже, бинокль, который он все время вертел на коленях. Старик подошел к ним, и все четверо начали о чем-то совещаться, яростно отгребая песок друг у друга под ногами: казалось, что между ними разгорелся жаркий спор.

Он совсем уже собрался продолжать поиски своей мухи, как снова, запыхавшись, прибежал старик.

— Постойте, вы правда не из префектуры?

— Из префектуры?.. Да нет, вы обознались.

Ну, хватит, решил он и протянул навязчивому старику визитную карточку; шевеля губами, тот долго читал ее.

— А-а, вы школьный учитель...

— Видите, я совсем не связан с префектурой.

— Угу, значит, вы учитель...

Наконец-то он, кажется, уразумел; сощурившись и держа карточку в вытянутой руке, старик вернулся к остальным. Визитная карточка и их как будто удовлетворила. Они поднялись и ушли.

Однако старик снова возвратился.

— Ну, а теперь что вы собираетесь делать?

— Да вот искать насекомых буду.

— Но ведь вы опоздали на последний автобус.

— А здесь я нигде не мог бы переночевать?

— Переночевать? В этой деревне? — В лице старика что-то дрогнуло.

— Ну, если здесь нельзя, пойду в соседнюю.

— Пойдете?..

— А я, в общем, никуда особенно не тороплюсь...

— Нет, нет, ну зачем же вам затрудняться...— старик стал вдруг услужливым и продолжал словоохотливо: — Сами видите, деревня бедная, ни одного приличного дома нет, но, если вы не против, я помогу, замолвлю за вас словечко.

Непохоже, что он замышляет дурное. Они, наверно, чего-то опасаются — может быть, ждут чиновника из префектуры, который должен приехать с проверкой. Теперь страхи их рассеялись, и они снова простые приветливые рыбаки.

— Буду чрезвычайно признателен... Отблагодарю вас, конечно... Я вообще очень люблю останавливаться в таких вот крестьянских домах.

## 4

Солнце село, ветер немного утих. Мужчина бродил по дюне до тех пор, пока были различимы узоры, прочерченные на песке ветром.

Урожай в общем небогатый.

Сверчок и белоусая уховертка отряда прямокрылых.

Солдатики и еще одно насекомое — он не помнил точного названия, но тоже один из видов солдатиков.

Из жесткокрылых, которых искал,— только долгоносики и длинноногие письмоносцы.

И не попалось ни одного экземпляра из семейства мух, которые, собственно, были целью поездки. Может быть, завтрашние трофеи принесут радость...

От усталости перед глазами у него плавали какие-то тусклые блики света. Вдруг он непроизвольно остановился и стал всматриваться в поверхность темной дюны. Тут уж ничего не поделаешь: все, что двигалось, казалось ему шпанской мушкой.

Старик, как и обещал, ждал его около правления артели.

— Прошу прощения...

— Да ну что вы. Только бы вам понравилось...

В правлении, по-видимому, о чем-то совещались. Четверо или пятеро мужчин сидели кружком, слышался смех. Над крыльцом висело большое полотнище с надписью «Будь верен духу любви к родине». Старик буркнул им что-то — смех сразу прекратился. Как бы нехотя он пошел вперед, мужчина — за ним. Покрытая ракушками дорога ярко белела в сгущающихся сумерках.

Наконец подошли к одной из ям, расположенных у самого гребня дюны. Здесь деревня кончалась.

Они свернули направо, на узкую тропинку, которая вела от гребня вниз. Шли некоторое время, потом старик нырнул в темноту, хлопнул в ладоши и громко закричал:

— Эй, бабка, где ты?

Внизу, прямо под ногами, в кромешной тьме появился фонарь и послышалось:

— Здесь, здесь... Лестница возле мешков.

Действительно, эту кручу без лестницы не одолеешь. Три дома, как тот внизу, можно, пожалуй, поставить один на другой; даже с лестницей нелегко туда добраться. Склон почти отвесный, а ведь днем, он это ясно помнит, казался совсем пологим. Лестница ненадежна, связана из разных веревок, и, если потеряешь равновесие, она запутается где-нибудь посредине. Все равно что жить в естественной крепости.

— Не беспокойтесь ни о чем, отдыхайте...

Старик не стал спускаться вниз, постоял немного и ушел.

Мужчина с ног до головы был обсыпан песком, и ему вдруг почудилось, что он вернулся в свое детство. Женщину, которая встретила его с фонарем, назвали бабкой, и он уже успел представить себе старуху, но она оказалась приятной, совсем еще молодой, лет тридцати, невысокого роста. Она, видимо, пудрилась — для женщины, живущей у моря, лицо ее было слишком белым. В общем, он был благодарен ей за то, что она встретила его приветливо, с непритворной радостью.

Впрочем, если бы не радушный прием, он не смог бы заставить себя переступить порог этой лачуги. Он бы, наверно, сразу же сбежал, решив, что его дурачат. Стены облупились; вместо фусума * висели циновки; опоры, поддерживающие крышу, покосились; все окна забиты досками; соломенные маты, устилающие пол, готовы рассыпаться и, когда на них ступаешь, издают звук, как будто под ногами мокрая губка. И ко всему этому — отвратительный, какой-то прелый запах спекшегося песка.

Но ведь все зависит от настроения. Он был обезоружен приветливостью женщины. Ничего, говорил он себе, такое случается раз в жизни. А если повезет, какое-нибудь интересное насекомое удастся встретить. Во всяком случае, в такой среде насекомые живут и радуются.

Предчувствие не обмануло его. Не успел он сесть на предложенное ему место у очага, вырытого прямо в земляном полу, как послышался звук, точно вокруг падали капли дождя. Это было скопище блох. Но его этим не запугаешь. Энтомолог всегда подготовлен к подобным неожиданностям. Нужно только изнанку одежды засыпать ДДТ, а открытые части тела перед сном натереть мазью от насекомых.

— Я готовлю поесть, и поэтому пока...— женщина нагнулась и взяла лампу,— потерпите немножечко в темноте.

— А у вас что, только одна лампа?

— Да, к сожалению...

Она улыбнулась виновато — на левой щеке появилась ямочка. Если не обращать внимания на выражение ее глаз, у нее очень привлекательное лицо, подумал он. Но, может быть, у нее такой взгляд из-за болезни глаз. Воспаленные веки не могла скрыть даже пудра. Не забыть перед сном накапать глазных капель...

— Но до еды мне бы хотелось выкупаться.

— Выкупаться?..

— А что, это невозможно?

— Очень жаль, но придется подождать до послезавтра.

— До послезавтра? Но ведь послезавтра меня уже здесь не будет,— засмеялся он непроизвольно громко.

— Разве?..

Женщина отвернулась, плечи ее задрожали. Расстроилась, наверно. Эти деревенские жители даже не пытаются притвориться. Чувствуя неловкость, он смущенно пожевал губами.

---

* Фусума — раздвижная перегородка в японском доме, служащая одновременно и дверью.

— Ну, если негде выкупаться, достаточно будет просто облиться водой. А то я весь в песке...

— Воды, вы уж простите, осталось одно ведерко... До колодца ведь очень далеко...

Какой у нее забитый вид. Ладно, ничего больше не буду говорить. А скоро ему предстояло убедиться, что купание здесь совершенно бессмысленно.

Женщина принесла поесть вареную рыбу и суп из моллюсков. В общем, пища морского побережья, и это было неплохо. Как только он принялся за еду, она раскрыла над ним большой бумажный зонт.

— Зачем это? — Наверно, какой-то местный обычай.

— Если не сделать этого, попадет песок в еду.

— Почему? — с удивлением он посмотрел на потолок, но там вроде бы никаких дыр не было.

— Песок, понимаете...— женщина тоже взглянула на потолок,— он летит отовсюду... Не подметешь день, и его собирается на три пальца.

— Может быть, крыша прохудилась?

— Да нет, когда она и новая была, песок все равно сюда попадал... И вправду нет ничего страшней этого песка. Он похуже, чем точильщик.

— Точильщик?

— Такой жучок, который точит в дереве дыры.

— Это, наверно, термиты?

— Нет, такие, знаете, тверденькие.

— Аа-а, тогда это жуки-дровосеки.

— Дровосеки?

— Красноватые, с длинными усами. Они?

— Нет, нет, эти как зернышки риса и цветом коричневые.

— Вот оно что. В таком случае это радужный жук.

— Если махнуть рукой и не следить, то он такую вон балку в два счета сгноит.

— Кто, радужный жук?

— Нет, песок.

— Почему?

— Он проходит через все. А когда ветер дует с плохой стороны, песок наметает на чердак, и если не убирать, там быстро наберется его столько, что доски на потолке не выдержат.

— Да, не годится, чтобы песок скапливался на чердаке... Но не кажется ли вам немного странным говорить, что песок может сгноить балку?

— Почему же, сгноит.

— Но ведь песок отличается как раз тем, что он очень сухой.

— Все равно сгноит... Говорю же вам, поставьте новенькие гэта́ * и не сметайте песок — через полмесяца от них ничего не останется.

— Не понимаю почему.

— Дерево гниет, и вместе с ним гниет и песок... Попробуйте откопать потолочные доски от дома, который засыпало песком,— там будет жирная земля, хоть огурцы выращивай.

— Чепуха! — презрительно поморщился мужчина. Ему показалось, что его представление о песке оскверняется ее невежеством.— Я ведь и сам кое-что знаю о песке... Видите ли, этот самый песок вот так и движется круглый год... В движении его жизнь... Он просто не может задержаться в каком-то одном месте... Будь то в воде, будь то в воздухе — он движется сам по себе... Вот почему обычные живые существа и не могут обитать в песке... Это относится и к бактериям, вызывающим

* Гэта — деревянная обувь.

гниение... Песок можно назвать олицетворением чистоты, он, возможно, служит даже для предотвращения гниения, и считать, что он гноит, просто нелепо... А вы еще говорите, он, мол, сам гниет... Начать с того, что песок вполне добропорядочный минерал.

Женщина растерянно молчала. Мужчина под зонтом, который она все еще держала над ним, торопливо доедал обед, не проронив больше ни звука. Зонт покрылся таким слоем песка, что на нем можно было писать пальцем.

Просто невыносимая сырость. Нет, песок не сырой, само тело пропитано сыростью. Над крышей завывал ветер. Полез за сигаретами — и в кармане полно песка. Мужчине показалось, что он уже почувствовал горечь табака еще до того, как закурил.

Выну, пожалуй, насекомых из банки с цианистым калием. Пока они еще не засохли, наколю их на булавки и расправлю хоть лапки. Слышно, как женщина под навесом у дома моет посуду. Наверно, здесь больше никто не живет.

Женщина вернулась и молча стала расстилать постель в углу комнаты. Если здесь лягу я, где же тогда она устроится на ночь? Ну конечно, в той дальней комнате за циновкой. Других как будто нет. Но как-то странно — положить гостя в проходной комнате, где дверь на улицу, а самой спать в дальней. Но, может быть, там лежит тяжелобольной, который не может двигаться?.. Да, это, пожалуй, верная мысль. Во всяком случае, самым естественным было бы думать именно так. Начать с того, что вряд ли одинокая женщина будет ухаживать за первым встречным прохожим.

— Здесь кто-нибудь еще есть?..

— Кто-нибудь?..

— Из семьи...

— Никого, я совсем одна.— Женщина, казалось, прочла его мысли, и неожиданно смущенно засмеялась.— Из-за этого песка все отсырело, даже одеяло...

— А ваш муж?

— В прошлогодний тайфун...— Она снова и снова разглаживала и взбивала уже приготовленную постель — в общем, занималась совершенно ненужным делом.— А тайфуны у нас здесь страшные... Песок обрушивается сюда с грохотом, как водопад. Не успеешь оглянуться — за вечер наметет дзё, а то и два.

— Но ведь два дзё — это шесть метров...

— В такое время сколько ни отгребай песок, все равно за ним не угнаться. Так вот муж крикнул мне: «Курятник в опасности»,— и вместе с дочкой, она в среднюю школу уже ходила, выскочил из дому... А сама я выйти из дому не могла — следила, чтобы хоть он цел остался... Наконец начало светать, ветер утих, и я вышла. Курятника и след простыл. Их я тоже не нашла...

— Засыпало?

— Да, начисто.

— Это ужасно... Страшное дело. Песок и такое... Это ужасно...

Лампа неожиданно начала гаснуть.

— Опять этот песок.

Женщина встала на четвереньки, протянула руку и, засмеявшись, схватила пальцами фитиль. Лампа сразу ярко разгорелась. Оставаясь в том же положении, она пристально смотрела на огонь, на лице ее застыла заученная улыбка. Наверно, это она нарочно, чтобы показать свою ямочку на щеке. Мужчина непроизвольно весь напрягся. Она показалась ему чересчур циничной — ведь только что рассказывала о гибели своих близких.

# 5

— Эй, там, мы привезли лопату и бидоны еще для одного.

Отчетливый голос, хотя и чувствуется, что говорят издалека — наверно, в рупор,— рассеял возникшую между ними неловкость. Потом послышался грохот каких-то жестяных предметов, летящих вниз. Женщина поднялась, чтобы ответить.

Он почувствовал раздражение: за его спиной происходило что-то непонятное.

— В чем дело? Значит, здесь еще кто-то есть!

— Не нужно, прошу вас...— Женщина сжалась вся, как от щекотки.

— Но ведь только сейчас кто-то сказал: «Еще для одного».

— Аа-а. Это... Это они о вас.

— Обо мне?.. Какое отношение я имею к лопате?..

— Ничего, ничего, не обращайте внимания... Вечно они суются не в свое дело...

— Наверно, они просто ошиблись?

Однако женщина не ответила и, повернувшись на коленях, спустила ноги на земляной пол.

— Вам еще нужна лампа?

— Пожалуй, обойдусь... А вам она понадобится там?

— Да нет, работа мне эта привычна.

Надев большую соломенную шляпу, в каких обычно работают в поле, женщина выскользнула в темноту.

Мужчина закурил новую сигарету. Вокруг творится что-то необъяснимое. Встал и заглянул за циновку. Там действительно была комната, но постели не было. Вместо нее возвышалась горка песка, набившегося сквозь щели в стене. Он застыл, пораженный... И этот дом тоже почти мертв... Его внутренности уже наполовину сожрал проникающий всюду своими щупальцами, вечно текущий песок... Песок, не имеющий своей собственной формы, кроме среднего диаметра в $^1/_8$ мм... Но ничто не может противостоять этой сокрушающей силе, лишенной формы... А может быть, как раз отсутствие формы и есть высшее проявление силы...

Однако мужчина быстро вернулся к действительности. Постой, если комнату эту использовать нельзя, где же тогда будет спать женщина? Вот она ходит взад-вперед за дощатой стеной. Стрелки его ручных часов показывали две минуты девятого. Что ей там нужно в такое время?

Мужчина спустился на земляной пол в поисках воды. Воды в баке осталось на донышке, и в ней плавает ржавчина. Но даже такая лучше, чем песок во рту. Остаток воды он плеснул на лицо, протер шею и сразу приободрился.

По земляному полу тянул холодный ветер. На улице его, наверно, легче переносить. С трудом он открыл засыпанную песком дверь и выбрался из дома. Ветер, дувший со стороны дороги, и правда стал значительно свежее. Он донес до него тарахтение пикапа. Если прислушаться, можно различить голоса людей. Может быть, это только кажется, но там сейчас оживленнее, чем днем. Или это шум моря? Небо было усыпано звездами.

Увидев свет лампы, женщина обернулась. Ловко орудуя лопатой, она насыпала песок в большие бидоны из-под керосина. За ней, нависая, возвышалась темная стена песка. Это примерно то место, над которым он днем ловил насекомых. Наполнив бидоны, женщина подняла сразу оба и понесла их к стене. Проходя мимо него, подняла глаза и сказала сипло: «Песок...» Она опорожнила бидоны около того места, где висела веревочная лестница, а наверху была тропинка, которая вела

в эту яму. Ребром ладони стерла пот с лица. Песок, который она уже перенесла сюда, возвышался внушительной горой.

— Отгребаете песок?

— Сколько ни отгребай, конца все равно нет.

Проходя мимо него с пустыми бидонами, женщина слегка толкнула его в бок свободной рукой, как будто пощекотала. От неожиданности он отскочил в сторону, чуть не уронив лампу. Продолжать ли ему держать лампу или поставить ее на землю и ответить ей тем же? Он заколебался, не зная, как себя вести. В конце концов мужчина решил, что то положение, в котором он находится, самое выгодное. Изобразив на лице подобие улыбки, значения которой и сам не понимал, он неловкой походкой с лампой в руке стал приближаться к женщине, снова взявшейся за лопату. Когда подошел, ее тень захватила всю песчаную стену.

— Не нужно,— сказала она, не оборачиваясь, тяжело дыша.— До того, как спустят корзины для песка, нужно еще шесть бидонов перетащить.

Мужчина нахмурился. Было неприятно, что с него, как будто специально, сбили в общем-то наигранное бодрое настроение. Но независимо от его воли что-то хлынуло в вены. Казалось, будто песок, прилипший к коже, проник в вены и изнутри погасил его возбуждение.

— Может, я вам немного помогу?

— Ничего... Не годится заставлять вас работать в первый день, даже немного.

— В первый день?.. Опять о том же... Я пробуду здесь только одну эту ночь!

— Да?

— Ну конечно, я ведь работаю... Давайте, давайте лопату!

— Ваша лопата вон там, но, может, не нужно...

Действительно, под навесом недалеко от входа отдельно стояла лопата и два бидона из-под керосина с привязанными ручками. Это не иначе те, которые недавно сбросили сверху, когда кричали: «Еще для одного». Все было приготовлено чересчур тщательно, и у него создалось даже впечатление, что они предугадали его намерения. Но ведь тогда он еще и сам не знал, что захочет работать. Все же, подумал он, такие действия унижают человека, и у него испортилось настроение. Ручка лопаты была толстая, сучковатая, темная от долгого употребления — никакого желания за нее браться.

— Ой, корзины уже у соседей! — воскликнула женщина, будто и не заметив его колебаний. Голос был радостный и доверчивый, совсем не такой, как раньше. В это время оживленные голоса людей, уже давно доносившиеся издалека, послышались совсем рядом. Подряд повторялись ритмичные выкрики, иногда прерываемые тихим шепотом вперемежку со сдавленным смехом. Ритм труда неожиданно приободрил его. В этом безыскусном мирке, наверно, не видят ничего особенного в том, что гость, остановившийся всего лишь переночевать, берет в руки лопату. Скорее даже, его колебания покажутся здесь странными. Чтобы лампа не упала, он сделал каблуком углубление в песке и поставил ее туда.

— Копать, пожалуй, можно где угодно, лишь бы копать, верно?

— Да нет, не где угодно...

— Ну, вот здесь?

— Здесь можно, только старайтесь не подкапывать стену.

— По всей деревне отгребают песок в это время?

— Ну да. Ночью песок влажный и работать легче... А когда песок сухой...— она посмотрела вверх,— никогда не знаешь, в каком месте и в какую минуту он обвалится.

Действительно, на краю обрыва, подобно снежному наносу, выдавался набухший песчаный козырек.

— Но ведь это же опасно!

— Э-э, ничего,— насмешливо и чуть кокетливо бросила она.— Смотрите, туман начинает подниматься.

— Туман?..

Пока они разговаривали, звезды на небе поредели и стали постепенно расплываться. Какая-то мутная пелена беспорядочно клубилась там, где была граница между небом и песчаной стеной.

— Это потому, что сам песок берет в себя очень много тумана... А когда соленый песок набирается тумана, он становится тугим, как крахмал...

— Ну и ну...

— Верно, верно. Так же, как морской берег, с которого только сошла волна — по нему спокойно хоть танк проедет.

— Вот это да!..

— Я правду говорю... Вот потому-то за ночь тот карниз и нарастает... А в дни, когда ветер дует с плохой стороны, правда, правда, он свисает вот так вот, как шляпка гриба... Днем песок высыхает, и весь этот навес сваливается вниз. И если он упадет неудачно — ну, там, где столбы, подпирающие крышу, тонкие или еще что,— тогда конец.

Кругозор этой женщины крайне ограничен. Но как только она входит в сферу собственной жизни, то оживляется до неузнаваемости. Здесь, наверно, и лежит путь к ее сердцу. Правда, путь этот не особенно его привлекал, но в словах женщины был заряд, пробуждавший в нем желание ошутить ее тело, упрятанное в грубую рабочую одежду.

Мужчина изо всех сил стал раз за разом втыкать зазубренную лопату в песок.

## 6

Когда он оттащил бидоны из-под керосина второй раз, послышались голоса, и вверху на дороге закачался фонарь.

Тоном, который мог показаться даже резким, женщина сказала:

— Корзины! Здесь хватит, помогите мне там!

Мужчина только сейчас понял назначение засыпанных песком мешков около лестницы наверху. По ним ходила веревка, когда поднимали и спускали корзины. С каждой корзиной управлялись четыре человека, и таких групп было, по-видимому, две или три. В основном это была, как ему показалось, молодежь, работавшая быстро и споро. Пока корзина одной группы наполнялась, другая корзина уже ждала своей очереди. В шесть заходов куча песка в яме исчезла без следа.

— Ну что за ребята, огонь!

Рукавом рубахи он вытирал пот, тон его был полон добродушия. Мужчина проникся симпатией к этим парням, которые, казалось, целиком отдались своей работе и не проронили ни одного насмешливого слова о его помощи.

— Да, у нас строго блюдется заповедь «Будь верен духу любви к родине».

— А что это за дух?

— Дух любви к тому месту, где ты живешь.

— Это очень хорошо!

Мужчина засмеялся. Вслед за ним засмеялась и женщина. Но она, по-видимому, и сама не знала как следует, чему смеется.

Вдали послышалось тарахтенье отъезжающего пикапа.

— Ну что, перекурим?..

— Нельзя, когда они объедут всех, сразу же вернутся со своими корзинами...

— Ничего, остальное можно и завтра...

Он махнул рукой, встал и направился к дому, но женщина и не думала идти вслед за ним.

— Так не годится. Надо хоть разок пройтись с лопатой вокруг всего дома.

— Вокруг дома?

— Ну да. Разве можно позволить, чтобы дом рушился?.. Ведь песок сыплется со всех сторон...

— Но так мы провозимся до самого утра.

Женщина, как будто бросая вызов, резко повернулась и побежала. Собирается, наверно, вернуться к обрыву и продолжать работу. Ну точно шпанская мушка, подумал он. Все понятно, теперь его этим не возьмешь.

— Ужас! И так каждую ночь?

— Песок не отдыхает и не дает отдыха... И корзины, и пикап всю ночь в движении.

— Да, видимо, так...

Да, это безусловно так. Песок никогда не отдыхает, никогда не дает отдохнуть. Мужчина растерялся. У него было такое чувство, будто он вдруг обнаружил, что змея, которой он легкомысленно наступил на хвост, считая ее маленькой и безобидной, оказалась неожиданно огромной и ее ядовитая голова угрожает ему сзади.

— Что же получается? Вы живете только для того, чтобы отгребать песок!

— Но ведь нельзя же взять и сбежать ночью.

Мужчина был потрясен. Он не испытывал никакого желания быть втянутым в такую жизнь.

— Нет можно!.. Разве это трудно?.. Вы сможете все, если только захотите!

— Нет, так нельзя...— Женщина, дыша в такт ударам лопаты, продолжала безразличным тоном: — Деревня еще как-то может существовать только потому, что мы без устали отгребаем песок и этим сохраняем ее жизнь... А если мы перестанем копать, ее занесет песком меньше чем за десять дней — и ничего от деревни не останется... Ну и потом... Ой, кажется, очередь уже до соседей дошла...

— Весьма вам признателен за интересный рассказ... По этой же причине и переносчики корзин работают так усердно?

— Да, но они, правда, поденно получают что-то от сельской управы...

— Если у деревни есть такие деньги, почему же не ведутся тщательные посадки лесных полос для защиты от песка?

— Если посчитать, то выйдет, наверно, что наш способ намного дешевле...

— Способ?.. Разве это способ? — Мужчина вдруг разозлился. Разозлился на тех, кто привязал женщину к этому месту, и на женщину, позволившую привязать себя.— Если так, то зачем же цепляться за эту деревню? Ну, не понимаю я причины... Песок не такая уж пустячная штука! Большая ошибка думать, что то, что делаете вы, может противостоять песку. Нелепица!.. С этим вздором нужно покончить... покончить раз и навсегда. Я даже не могу сочувствовать вам!

Отбросив лопату к валявшимся поодаль бидонам и не обращая внимания на выражение ее лица, он вернулся в дом.

Не спалось. Мужчина прислушивался к тому, что делала женщина. Ему было немного стыдно: а что, если такое его поведение в конечном счете не что иное, как ревность к тому, что ее здесь удерживает, понуж-

дение бросить работу и украдкой прийти к нему в постель? Действительно, то, что он остро ощущал, было не просто возмущением глупостью женщины. Все было гораздо глубже. Одеяла становились все более влажными, песок все сильнее лип к телу. Как это несправедливо, как это возмутительно! И поэтому нечего винить себя за то, что бросил лопату и вернулся в дом. Такую ответственность он на себя не возьмет. У него и без этого обязательств более чем достаточно. И то, что его увлек песок и насекомые, в конце концов было лишь попыткой, пусть хоть на время, убежать от хлопотливых обязанностей бесцветного существования...

Никак не заснуть.

Женщина без отдыха ходит взад и вперед. Несколько раз звук спускавшихся корзин приближался, потом снова удалялся. Если так будет продолжаться, завтра он не сможет работать. Ведь нужно встать как только рассветет и провести день с пользой. Чем больше он старается заснуть, тем бодрее становится. Появилась резь в глазах — они слезились, моргали, но не могли справиться с беспрерывно сыпавшимся песком. Он расправил полотенце и накрыл им лицо. Стало трудно дышать. Но так все же лучше.

Подумаю о чем-нибудь другом. Закрываешь глаза, и начинают, колеблясь, плавать какие-то длинные нити. Это песчаные узоры, бегущие по дюне. Полдня неотрывно смотрел на них, и они, наверно, отпечатались на сетчатке. Такие же потоки песка погребали, поглощали процветающие города и великие империи. Это называют, да, точно, сабуляцией Римской империи... А города, воспетые Омаром Хайямом... В них были портняжные мастерские, были лавки мясников, базары. Их опутывали, густо переплетаясь, дороги, которые, казалось, ничто не сдвинет с места. Сколько лет нужно было бороться с властями, чтобы изменить направление хотя бы одной из них... Древние города, в незыблемости которых не сомневался ни один человек... Но в конце концов и они не смогли противостоять закону движущегося песка диаметром в $^1/_8$ мм.

Песок...

Если смотреть сквозь призму песка, все предметы, имеющие форму, нереальны. Реально лишь движение песка, отрицающего всякую форму. Но там, за тонкой стеной в одну доску, женщина продолжает копать. Ну что она может сделать такими тонкими, хрупкими руками? Все равно что пытаться вычерпать море, чтобы на этом месте построить дом. Спуская корабль на воду, нужно знать, что собой представляет вода.

Эта мысль неожиданно освободила его от чувства подавленности, вызванного шуршанием песка, который копала женщина. Если корабль пригоден для воды, он должен быть пригоден и для песка. Если освободиться от сковывающей идеи неподвижного дома, то отпадет необходимость бороться с песком... Свободный корабль, плывущий по песку... Плывущие дома... Лишенные формы деревни и города...

Песок, естественно, не жидкость. Поэтому не следует ожидать, что он будет что-то удерживать на своей поверхности. Если, например, положить на него даже пробку, имеющую меньший удельный вес, чем песок, то через некоторое время и она утонет. Чтобы плыть по песку, корабль должен обладать совершенно иными, чем обычный, качествами. К примеру, дом, имеющий форму бочки, который может двигаться перекатываясь... Если он будет хотя бы немного вращаться, то сможет стряхивать наваливающийся на него песок и вновь подниматься на поверхность... Конечно, при беспрерывном вращении всего дома живущие в нем люди не будут чувствовать себя устойчиво... Нужно будет, наверно, проявить изобретательность — ну хотя бы одну бочку вложить в другую... Сделать так, чтобы центр тяжести внутренней бочки оставался неизменным и пол всегда был внизу... Внутренняя бочка всегда будет неподвиж-

ной и только внешняя — вращаться... Дом, который будет раскачиваться, как маятник огромных часов... Дом-люлька... Корабль песков...

Деревни и города в непрестанном движении, состоящие из скоплений этих кораблей...

Незаметно для себя он задремал.

## 7

Мужчину разбудило пение петуха, похожее на скрип заржавевших качелей. Беспокойное, неприятное пробуждение. Казалось, только что рассвело, но стрелки часов показывали 11 часов 16 минут. Действительно, солнце светит, как в полдень. А сумеречно здесь потому, что это дно ямы и солнечные лучи еще не проникли сюда.

Он поспешно вскочил. С лица, с головы, с груди шурша посыпался песок. Вокруг губ и носа налип затвердевший от пота песок. Отирая его тыльной стороной руки, мужчина растерянно мигал. Из воспаленных глаз безостановочно текли слезы, как будто по векам провели чем-то шершавым. Но одних слез было недостаточно, чтобы смыть песок, забившийся во влажные уголки глаз.

Он пошел к баку, стоявшему на земляном полу, зачерпнуть хоть немного воды и вдруг заметил женщину, посапывавшую около очага. Забыв о рези в глазах, он затаил дыхание.

Женщина была совершенно обнаженной.

Сквозь застилавшую глаза пелену слез она показалась ему неясной, расплывчатой тенью. Она лежала на циновке без всякой подстилки, навзничь, все ее тело, кроме головы, было как будто выставлено напоказ, левая рука чуть прикрывала низ упругого живота. Уголки тела, которые люди обычно прячут,— на виду, и только лицо, которое никто не стесняется держать открытым, обернуто полотенцем. Это, конечно, чтобы предохранить от песка глаза, рот, нос, но все же подобный контраст еще резче подчеркивал ее наготу.

Все тело покрыто легким, тонким налетом песка. Песок скрыл детали и подчеркнул женственность линий. Она казалась скульптурой, позолоченной песком. Неожиданно из-под языка у него побежала липкая слюна. Но он не мог проглотить ее. Песок, забившийся в рот между губами и зубами, впитал в себя слюну и расползся по всему рту. Он повернулся к земляному полу и стал выплевывать слюну, смешанную с песком. Но сколько ни сплевывал, ощущение шершавости во рту не исчезало. Как он ни вычищал рот, песок там все равно оставался. Казалось, между зубами непрерывно образуется все новый и новый песок.

К счастью, бак был снова наполнен до краев водой. Сполоснув рот и вымыв лицо, мужчина почувствовал, что возвращается к жизни. Никогда еще он не испытывал так остро чудодейственность воды. Так же, как и песок, вода — минерал, но это настолько чистое, прозрачное неорганическое вещество, что оно соединяется с телом гораздо легче, чем любой живой организм... Давая воде медленно вливаться в горло, он представил себе ощущение животного, питающегося камнями...

Мужчина снова повернулся и посмотрел на женщину. Но приблизиться к ней ему не захотелось. На женщину, припорошенную песком, приятно смотреть, но касаться ее едва ли приятно.

Возбуждение и злость, испытанные им ночью, сейчас, при свете дня, казались неправдоподобными. Будет ему что порассказать. Как будто для того, чтобы закрепить в памяти все увиденное, он еще раз посмотрел вокруг и стал быстро собираться. Рубаху и брюки не поднять — столько в них набилось песка. Из-за такого пустяка нечего волноваться. Но вытряхнуть песок из одежды оказалось труднее, чем вычесать перхоть из головы.

Ботинки тоже были засыпаны песком.

До того, как уйти, нужно, наверно, сказать что-нибудь женщине?.. Но, с другой стороны, если разбудить спящую, ей будет стыдно. Да, но как же быть с платой за ночлег?.. А может быть, лучше на обратном пути зайти в правление артели и передать деньги старику, который вчера привел его сюда.

Потихоньку, стараясь не шуметь, он вышел из дома.

Солнце, как кипящая ртуть, коснулось края песчаной стены и постепенно разлилось по дну ямы. От неожиданно ударившего в лицо ослепительного света он вздрогнул и прикрыл глаза. Но в следующее же мгновение забыл обо всем, растерянно глядя на высившуюся перед ним стену песка.

Невероятно! Висевшая здесь ночью веревочная лестница исчезла. Мешки, которые он приметил, наполовину засыпанные песком, виднелись на старом месте. Значит, он ничего не путает. Может ли быть, чтобы одна только лестница ушла в песок?.. Он ринулся к стене и стал разгребать ее руками. Песок, не сопротивляясь, рушился и сыпался вниз. Но ведь он ищет не иголку, и если ничего не нашел сразу, то сколько ни рой — результат будет тот же... Стараясь заглушить растущее беспокойство, мужчина, недоумевая, стал снова осматривать песчаный обрыв.

Нет ли такого места, где можно бы взобраться? Несколько раз он обошел вокруг дома. Если влезть на крышу у северной стены, обращенной к морю, то здесь, пожалуй, ближе всего до верха, но все равно это метров десять, а то и больше, и к тому же стена эта самая обрывистая. Да еще и свисает тяжеленная шапка песка, на вид очень опасная.

Сравнительно более пологой кажется западная стена, слегка изогнутая, как внутренность конуса. По самым оптимистическим расчетам, угол здесь пятьдесят, ну самое меньшее сорок пять градусов. Для пробы надо сделать осторожно первый шаг. Поднялся на один шаг — съехал на полшага. Но все же, если постараться, влезть можно.

Первые пять-шесть шагов все шло, как он и предполагал. Потом ноги начали тонуть в песке. Не успев еще толком понять, продвинулся ли он вперед, он до колен ушел в песок, и уже не было сил идти дальше. Он сделал попытку одолеть склон, карабкаясь на четвереньках. Горячий песок обжигал ладони. Все тело покрылось потом, на пот налип песок, залепило глаза. А потом судорогой свело ноги, и он уже совсем не мог двигаться.

Мужчина остановился, чтобы отдохнуть и перевести дыхание. Думая, что значительно продвинулся вперед, он приоткрыл глаза и, к своему ужасу, обнаружил, что не поднялся и на пять метров. Чего же ради он бился все это время? Да и склон раза в два круче, чем казался снизу. А тот, что над ним, еще страшнее. Ему нужно было карабкаться вверх, но вместо этого все силы, как видно, ушли на то, чтобы вгрызться в песчаную стену. Песчаный выступ, нависавший прямо впереди, преграждал ему путь.

Мужчина дотронулся до пересохшего выступа над головой, и в тот же миг песок ушел у него из-под ног. Неведомая сила изрыгнула его из песка, и он упал на дно ямы. В левом плече хрустнуло, как будто сломалась палочка для еды. Но особой боли он не почувствовал. Некоторое время мелкий песок бежал, шурша, по склону, точно старался унять причиненную ему боль. Потом остановился. К счастью, повреждение оказалось совсем пустяковым.

Падать духом еще рано.

С трудом сдерживаясь, чтобы не закричать, он медленно вернулся в дом. Женщина спала в прежнем положении. Сначала тихо, потом

громче и громче он стал звать ее. Вместо ответа она, как будто проявляя неудовольствие, перевернулась на живот.

С ее тела ссыпался песок, слегка обнажив местами плечи, руки, бока, поясницу. Но ему было не до этого. Подойдя, он сорвал у нее с головы полотенце. Ее лицо, все в каких-то пятнах, было неприятным, грубым, не то что припорошенное песком тело.

Странная белизна этого лица, поразившая его вчера, при свете лампы, несомненно была достигнута с помощью пудры. Сейчас пудра кое-где стерлась и лежала кусками. На память пришли дешевые, приготовленные без яиц котлеты, на которых белыми пятнами проступает пшеничная мука.

Наконец женщина приоткрыла глаза, щурясь от яркого света. Схватив ее за плечи и тряся изо всех сил, мужчина заговорил быстро, умоляюще:

— Послушайте, лестницы нет! Как можно подняться наверх? Ведь отсюда без лестницы невозможно выбраться!

Женщина растерянно схватила полотенце и неожиданно резко несколько раз шлепнула себя по лицу, потом повернулась к нему спиной и упала ничком на циновку. Может быть, она застеснялась? Могла оставить это для другого раза. Мужчина завопил, точно его прорвало:

— Это не шутка! Если сейчас же не отдашь лестницу, плохо будет! Я тороплюсь! Куда ты ее девала, черт тебя возьми? Шути да знай меру! Отдавай немедленно!

Но женщина не отвечала. Она лежала в той же позе и лишь слегка покачивала головой из стороны в сторону.

И вдруг мужчина как-то сник. Взгляд его потух, спазма перехватила горло, и он почти задохнулся. Он вдруг понял всю бессмысленность этого допроса. Лестница-то была веревочная... Веревочная лестница не может сама стоять... Даже если она у тебя в руках, снизу ее не приладишь. Значит, убрала ее не женщина, а кто-то другой, кто был наверху, на дороге... Обсыпанное песком небритое лицо исказилось в жалкой гримасе.

Поведение женщины, ее молчание приобрели неправдоподобно зловещий смысл. Обойдется, думал он, но в глубине души понимал, что самые худшие его опасения сбылись. Лестницу унесли, скорее всего, с ее ведома, и уж конечно с полного ее согласия. Без всякого сомнения, она — сообщница. И эта ее поза продиктована не стыдом, а двусмысленностью ее положения. Это, несомненно, поза преступницы, а может быть, и жертвы, готовой принять любое наказание. Ловко они все провернули. Попался в эту проклятую ловушку. Доверчиво поддался заманиванию шпанской мушки, и она завлекла в пустыню, откуда нет выхода,— ну точно погибающая от голода мышь...

Он вскочил, кинулся к двери и еще раз выглянул наружу. Поднялся ветер. Солнце было почти над центром ямы. От прокаленного песка плыли вверх волны горячего воздуха, переливаясь, как мокрые негативные пленки. Песчаная стена вырастала все выше и выше. Она-то знала все и словно говорила его мускулам и костям о бессмысленности сопротивления. Горячий воздух вонзался в тело. Жара становилась все более нестерпимой.

Неожиданно мужчина начал кричать, как безумный. Он выкрикивал какие-то бессмысленные слова — не было слов, которыми он мог бы выразить свое отчаяние. Он просто вопил изо всей мочи. Ему казалось, что этот страшный сон, испугавшись крика, отлетит и, извиняясь за свою ненамеренно грубую шутку, выбросит его из песчаной ямы. Но голос, не привыкший к крику, был тонким и слабым Ко всему еще он поглощался песком, рассеивался ветром и вряд ли разносился далеко.

Вдруг раздался ужасающий грохот, и мужчина умолк. Как и предсказывала вчера женщина, песчаный карниз, нависавший с северной стены, лишился влаги и рухнул. Весь дом жалобно застонал, будто его скрутила какая-то неведомая сила, и, точно подчеркивая его страдания, из щелей между карнизом и стеной начала, шурша, сочиться серая кровь. Слюна заполнила рот, мужчина дрожал, как будто удар пришелся по нему самому...

Но все-таки это немыслимо. Какое-то выходящее за всякие рамки происшествие. Можно ли загнать в ловушку, как мышь или насекомое, человека, внесенного в посемейный список, имеющего работу, платящего налоги и пользующегося правом на бесплатное медицинское обслуживание? Невероятно. Наверно, это какая-то ошибка. Да, конечно это ошибка. Только и оставалось, что считать: это ошибка.

Прежде всего, делать то, что они со мной сделали,— глупо. Я ведь не лошадь и не бык, и против воли меня никто не заставит работать. А коль скоро я не гожусь как рабочая сила, то нет никакого смысла держать меня запертым в этих песчаных стенах. Зачем сажать женщине на шею иждивенца.

Но уверенности почему-то не было... Посмотрев на песчаную стену, окружавшую его со всех сторон, он вспомнил, хоть это и было очень неприятно, неудачную попытку взобраться на нее... Сколько ни мечись у стены — толку никакого. Чувство бессилия парализовало его... Видимо, это какой-то разъедаемый песком особый мир, к которому обычные критерии не приложимы... Если сомневаться, то поводов для сомнений сколько угодно... Например, если верно, что новые бидоны и лопата были приготовлены специально для него, верно и то, что веревочную лестницу унесли нарочно. Дальше, разве не говорит об опасности его положения тот факт, что женщина не вымолвила ни слова, чтобы объяснить происшедшее, что она с обреченной покорностью легко и молчаливо довольствуется своей судьбой? Может быть, и ее вчерашние слова, из которых можно было понять, что он застрял здесь надолго, не были простой оговоркой?

Сорвалась еще одна небольшая песчаная лавина.

Испугавшись, мужчина вернулся в дом. Он подошел прямо к женщине, по-прежнему лежавшей ничком на циновке, и со злобой замахнулся на нее. Переполнявшая его ненависть разлилась в глазах, отдалась болью во всем теле. Но вдруг, обессилев, не коснувшись женщины, он тяжело опустил занесенную руку. Пожалуй, он бы не прочь отшлепать ее ладонью. Но может быть, на такое его действие и рассчитывала женщина? Конечно, она этого ждет. Ведь наказание не что иное, как признание того, что преступление искуплено.

Он повернулся спиной к женщине, повалился на пол, обхватил голову руками и тихо застонал. Хотел проглотить наполнившую рот слюну, но не смог — она застряла в горле. Слизистая оболочка стала, наверно, очень чувствительной к вкусу и запаху песка, и сколько бы он здесь ни пробыл — не сможет привыкнуть к нему. Слюна превратилась в бурые пенящиеся сгустки, собиравшиеся в углах губ. Выплюнув слюну, он еще сильнее почувствовал шершавость песка, оставшегося во рту. Он пытался освободиться от него, облизывая кончиком языка внутреннюю сторону губ и продолжая сплевывать, но конца этому не было. Только во рту стало сухо и больно, как будто все там воспалилось.

Ладно, ничего не поделаешь. Обязательно поговорю с женщиной и попробую заставить ее рассказать обо всем подробно. Только если положение станет для него совершенно ясным, он сможет найти выход. Нельзя не иметь плана действий. Ну можно ли вынести такое дурацкое положение?.. Но что делать, если женщина не ответит?.. Это был бы поистине самый страшный ответ. А такая возможность совсем не ис-

ключена. Это ее упрямое молчание... И почему она лежит, подогнув колени, с видом беззащитной жертвы?..

Поза лежавшей ничком обнаженной женщины была чересчур непристойна, в ней было что-то животное. Казалось, она готова повернуться на спину, стоит ему коснуться ее. При одной этой мысли он задохнулся от стыда. Но неожиданно он увидел себя палачом, терзающим женщину, увидел себя на ее теле, кое-где припорошенном песком. И понял... Рано или поздно это случится... И тогда он потеряет право что-либо говорить...

Резкая боль сковала вдруг низ живота. Готовый лопнуть мочевой пузырь взывал об освобождении.

## 8

Помочившись, мужчина с чувством облегчения продолжал стоять, вдыхая тяжелые испарения... Он не рассчитывал, что, пока он стоит, может появиться какая-то надежда. Просто никак не мог заставить себя вернуться в дом. Вдали от женщины он еще отчетливее понял, как опасно быть рядом с ней. Нет, дело было, наверно, не в самой женщине, а в том, как она лежала, в этой ее позе. Ни разу не приходилось видеть такой непристойной женщины. Ни за что не вернусь в дом. Поза женщины слишком опасна.

Существует выражение: уподобиться мертвому. Это состояние паралича, в которое впадают некоторые виды насекомых и пауков, когда на них неожиданно нападут... Разбитое изображение... Аэродром, где диспетчерская захвачена сумасшедшими... Хотелось верить, что неподвижность, в которой он пребывал, сможет приостановить все движение в мире, подобно тому как для находящихся в зимней спячке лягушек не существует зимы.

Пока он мечтал, солнце начало печь еще нестерпимее. Мужчина скрючился в три погибели, будто для того, чтобы уйти от обжигающих лучей. Потом проворно наклонил голову и, ухватившись за ворот рубахи, с силой рванул его. Отлетели три верхние пуговицы. Стряхивая песок, забившийся под ворот рубахи, он снова вспомнил слова женщины, что песок никогда не бывает сухим, что он всегда достаточно влажен, чтобы постепенно гноить все вокруг. Стянув рубаху, мужчина ослабил пояс, чтобы штаны хоть немного продуло ветром. Но в общем вряд ли было необходимо проявлять столько беспокойства. Недомогание как внезапно наступило, так же быстро и исчезло. Видимо, влажность песка теряет свою дьявольскую силу, как только соприкасается с воздухом.

Тут ему пришло на ум, что он совершил серьезную ошибку. Его объяснение того, почему женщина обнажена, слишком односторонне. Нельзя, конечно, сказать, что у нее не было тайного стремления поймать его в ловушку. Но не исключено, что это была просто привычка, продиктованная теми условиями, в которых она жила. Ясно, что женщина ложится спать только с рассветом. Во сне человек легко потеет. Если же приходится спать днем, да еще в раскаленной песчаной чаше, то совершенно естественно желание обнажиться. На ее месте я бы тоже разделся, если бы была такая возможность...

Это открытие как-то сразу растопило владевшее им тяжелое чувство, подобно тому как легкий ветерок проводит на теле четкую границу между песком и потом. Нет смысла еще больше усугублять свои страхи. Настоящий мужчина сумеет убежать, разрушив сколько угодно стен из стали и железобетона. Нельзя впадать в отчаяние от одного вида замка, не выяснив точно, есть к нему ключ или нет... Не спеша, увязая в песке, он направился к дому... На этот раз буду говорить спо-

койно и узнаю у нее все, что мне необходимо... Она была права, что не вымолвила ни слова, когда он набросился на нее с криком... А может быть, она молчала потому, что ей просто стало стыдно: она не позаботилась о том, чтобы он не увидел ее обнаженной.

## 9

После ослепительного блеска раскаленного песка в комнате было сумрачно, зябко и сыро. Спертый горячий воздух пах плесенью — не то, что снаружи. Вдруг ему показалось, что у него начинается галлюцинация.

Женщины нигде не было. На миг он остолбенел. Хватит играть в загадки! Но, в общем, никакой загадки и нет. Женщина, конечно, здесь. Опустив голову, она молча стояла спиной к нему перед баком с водой около умывальника.

Она уже оделась. От подобранных в тон бледно-зеленого с яркими узорами кимоно и шаровар, казалось, исходил освежающий аромат мятного бальзама. Здесь уж ничего не скажешь. Опять он слишком много думает о женщине. Но в этих совершенно невероятных условиях, да еще при том, что он не выспался как следует, у него не могло не разыграться воображение.

Одной рукой женщина оперлась о край бака и, глядя внутрь, медленно чертила пальцем круги на воде. Мужчина, энергично размахивая потяжелевшей от песка и пота рубахой, плотно намотал ее на руку.

Женщина оглянулась, насторожилась. Ее лицо так непосредственно выражало немой вопрос, мольбу, что казалось, всю свою жизнь она прожила именно с таким выражением. Мужчина хотел по возможности держаться так, будто ничего не произошло.

— Жара, правда?.. В такую жару прямо не хочется рубаху надевать.

Но женщина все еще смотрела на него недоверчиво, вопросительно, исподлобья. Наконец с робким, деланным смешком она сказала прерывающимся голосом:

— Да... правда... Когда вспотеешь одетая, вся покрываешься песчаной сыпью...

— Песчаной сыпью?

— Угу... Кожа краснеет, становится как после ожога и слезает.

— Хм, слезает?.. Я думаю, она просто преет от влажности.

— Может, и поэтому...— Похоже было, что женщина немного осмелела, язык у нее стал развязываться.— Как только мы начинаем потеть, стараемся снять с себя все, что только можно... Да ведь вот видите, как мы живем,— нечего бояться, что попадешься кому-нибудь на глаза...

— Ну конечно... Знаете, мне неудобно, право, но все же я хотел попросить вас выстирать мне эту рубаху.

— Хорошо, завтра как раз привезут воду.

— Завтра?.. Завтра, пожалуй, поздновато...— Мужчина хмыкнул. Ловким маневром ему удалось перевести разговор в нужное русло.— Кстати, когда же наконец меня поднимут наверх?.. Мне все это крайне неудобно... Для такого обыкновенного служащего, как я, нарушение установленного распорядка даже на полдня может повлечь за собой весьма серьезные последствия... Я не хочу терять ни минуты... Жесткокрылые — это насекомые, которые летают над самой землей... Их очень много в песчаной местности, вы знаете, какие они?.. Я хотел как раз во время этого своего отпуска постараться найти хоть какой-нибудь новый вид этого насекомого...

Женщина слегка шевелила губами, но ничего не говорила. Похоже было, что она повторяла про себя незнакомое слово «жесткокрылые». Но мужчина безошибочно почувствовал, что она снова замкнулась. И, как будто невзначай, он сменил тему.

— Неужели у вас нет никаких средств, чтобы поддерживать связь с другими жителями деревни?.. Что если, например, бить в бидоны из-под керосина?

Женщина не отвечала. Со скоростью камня, брошенного в воду, она снова погрузилась в свое спасительное молчание.

— В чем дело, а?.. Почему молчите? — Он готов был сорваться и с трудом поборол желание заорать.— Не понимаю, в чем дело... Если произошла ошибка, будем считать это ошибкой — и все в порядке... Что сделано, то сделано, и затевать историю я не собираюсь. Поэтому молчать — худшее, что вы можете сделать. Хорошо. Есть вот такие же точно школьники, но я им всегда говорю: сколько бы вы ни притворялись, что берете вину на себя, в действительности это самое малодушное поведение... Если вы можете оправдать свой поступок, то в чем же дело, говорите сразу!

— Но...— женщина отвела глаза, но голос ее прозвучал неожиданно твердо.— Вы, наверно, и сами уже поняли?

— Поняли? — Он даже не пытался скрыть потрясение.

— Да, я думала, вы уже, наверно, поняли...

— Ничего я не понял! — Мужчина все-таки закричал:— Как я могу понять! Разве можно понять, когда ничего не говорят?

— Но ведь и вправду женщине одними руками не под силу при такой вот жизни...

— Но какое отношение все это имеет ко мне?

— Да, наверно, я виновата перед вами...

— Что значит «виновата»?..— От волнения у него заплетался язык.— Выходит, тут был целый заговор?.. В западню положили приманку... Думали, я вскочу в нее, как собака или кошка, стоит только посадить туда женщину...

— Правильно, но ведь скоро начнутся северные ветры и песчаные бури — мы их очень боимся...— Она мельком взглянула на раскрытую настежь дверь. В ее монотонном, тихом голосе чувствовалась тупая убежденность.

— Это не шутка! Даже бессмыслица имеет пределы! Это не что иное, как незаконное задержание... Настоящее преступление... Как будто нельзя было обойтись без насилия: ну, к примеру, взяли бы безработных за поденную плату, их сколько угодно!

— Но ведь будет очень плохо, если там узнают, как у нас здесь...

— А если я, тогда безопасно?.. Нелепица!.. Как раз очень сильно ошибаетесь! Как это ни прискорбно, но я не бродяга! Я и налоги плачу, и имею постоянное местожительство... Скоро подадут заявление о розыске, и вам тогда всем здесь достанется! Неужели не понятно? Даже такая простая вещь?.. Интересно, как вы собираетесь оправдываться?.. Позови-ка виновника... Я ему хороше-е-енечко объясню, какое он затеял дурацкое дело!

Женщина опустила глаза и тихо вздохнула. Плечи ее поникли, но она даже не шевельнулась. Точно несчастный щенок, которому задали непосильную задачу. Но это еще сильнее разъярило мужчину.

— Ну что мешкаешь, решиться никак не можешь?.. Вопрос тут не только во мне. Выходит, ты тоже такая же жертва? Что, не так? Только сейчас сама сказала, что, если там узнают о том, какая здесь жизнь, будет плохо... Разве это не доказывает, что ты сама признаешь: так жить нельзя. Перестань делать это всепрощающее лицо — ведь с тобой обращаются как с рабыней! Никто не имел права засадить тебя

сюда!.. Ну, быстро зови кого-нибудь! Мы выберемся отсюда!.. Ага, понимаю... Боишься, да?.. Чепуха!.. Чего тебе бояться!.. Я ведь с тобой!.. У меня есть приятели, которые работают в газете... Мы все это представим как социальную проблему... Ну, что?.. Чего молчишь?.. Говорю же тебе, нечего бояться!

Немного спустя, как бы в утешение ему, женщина вдруг сказала:

— Я приготовлю обед?..

## 10

Исподтишка, лишь краешком глаза наблюдая за тем, как женщина чистит картофель, мужчина мучительно думал: должен ли он принять еду, которую она готовит.

Сейчас как раз такой момент, когда требуются спокойствие и хладнокровие... Намерения женщины ясны, и нужно отбросить всякие колебания, не тешить себя пустыми надеждами, а посмотреть в глаза фактам и выработать реальный план, как выбраться отсюда... Обвинения в незаконных действиях оставим на будущее... А голод лишь убивает волю... мешает собраться с духом. Но с другой стороны, если он категорически не приемлет нынешнего положения, видимо, ему следует отказаться от пищи. Было бы просто смешно негодовать и есть одновременно. Даже собака, когда ее кормят, поджимает хвост.

Но не будем спешить... Незачем занимать такую резкую оборонительную позицию, пока не известно, как далеко собирается зайти женщина... Не может быть и речи о том, чтобы получать от нее хоть что-нибудь даром, никаких благодеяний... Платить аккуратно за всю еду... И если деньги уплачены, он может не чувствовать себя в долгу, нисколечко... Даже телевизионный комментатор бокса много раз говорил, что атака — лучший вид защиты.

Итак, найдя прекрасный предлог, чтобы не отказываться от еды, он вздохнул с облегчением. Внезапно он как будто прозрел, поймал нить мысли, все время ускользавшей от него. Не песок ли его главный враг? А если так, то нечего понапрасну ставить перед собой какие-то неразрешимые задачи — ну, например, прорваться сквозь стальные засовы или еще что-нибудь в этом роде. Поскольку веревочная лестница убрана, можно сделать деревянную. Поскольку песчаная стена слишком крута, можно ее срыть, чтобы она стала пологой... Если хоть чуть-чуть пошевелить мозгами, вот так все и разрешается... Может быть, это слишком просто, но коль скоро оно отвечает цели, то чем проще, тем лучше. Как видно на примере Колумбова яйца — самое правильное решение часто бывает простым до глупости. Если только не бояться трудностей... если только бороться по-настоящему... то еще ничего не потеряно.

Женщина кончила чистить картошку, нарезала ее и, добавив накрошенной вместе с ботвой редьки, опустила в большой железный котел, висевший над очагом. Она аккуратно вынула из полиэтиленового мешочка спички, разожгла огонь, снова их вложила туда, завернула и стянула резинкой. Потом насыпала рис в дуршлаг и стала поливать его водой. Наверно, чтобы смыть песок. Варево в котле начало булькать, неприятно запахло редькой.

— Воды, правда, осталось немного, может, вы и лицо помоете?

— Да нет, чем лицо мыть, я лучше попью...

— Ой, простите... Вода для питья в другом месте.— Она достала из-под умывальника большой котелок, завернутый в полиэтилен.— Она не очень холодная, но зато я ее прокипятила, чтобы можно было пить.

— Но если не оставить хоть немного воды в баке, то нечем будет помыть посуду.

— Нет, посуду я протираю песком, и она становится совсем чистой.

С этими словами женщина набрала у окна пригоршню песка, бросила его в тарелку, которую держала в руке, сделала несколько кругообразных движений, вращая песок, и показала ему тарелку. Он не разобрал как следует, стала она чище или нет, но решил, что, наверно, стала. Во всяком случае такое использование песка вполне соответствовало его давним представлениям о нем.

Ел он опять под зонтом. Вареные овощи и вяленая рыба... Все было слегка приправлено песком. Они могли бы поесть вместе, если бы зонт был подвешен к потолку, подумал он, но побоялся, что она расценит это как попытку к сближению. Низкосортный чай, крепкий только на вид, был почти безвкусным.

Когда он поел, женщина подсела к умывальнику и, накинув на голову кусок полиэтилена, начала тихонько есть. Сейчас она похожа на какое-то насекомое, подумал он. Неужели она собирается до конца дней вести такую жизнь?.. Если посмотреть со стороны, это лишь малюсенький клочок огромной земли, но со дна ямы виден только бескрайний песок и небо... Монотонная жизнь, как будто застывшая картинка, навсегда вложенная в глаза... И ее ведет женщина, которой даже нечего вспомнить — она за всю жизнь ни от кого не слышала теплого слова. У нее, наверно, сердце забилось, как у девушки, когда ей в виде особого благодеяния отдали меня, поймав в западню... Как жалко ее...

Ему захотелось сказать что-нибудь женщине, и, чтобы перебросить мостик, он решил закурить. Действительно, здесь полиэтилен — предмет первой необходимости, без него не обойдешься. Сколько он ни держал зажженную спичку у сигареты, она никак не разгоралась. Он сосал изо всех сил, так что щеки втягивались между зубами, но, как ни старался, чувствовал только привкус дыма. Да и этот дым, жирно-никотинный, лишь раздражал язык, никак не заменяя курения. Настроение испортилось, и не то что никакого мостика не получилось, но ему вообще расхотелось разговаривать.

Собрав грязную посуду и составив на земляной пол, женщина не спеша стала сыпать на нее песок. С видимым усилием она сказала нерешительно:

— Вы знаете... Пора уже сбрасывать песок с чердака...

— Сбрасывать песок? А-а, ну что ж, пожалуйста...— А причем тут я? — подумал мужчина безразлично. Пусть гниют балки, пусть рушатся опоры — мне-то какое дело?

— Если я вам мешаю, может быть, мне уйти куда-нибудь?

— Извините, пожалуйста, но...

Нечего прикидываться! Ведь не захотела даже вида показать! А у самой внутри — будто гнилую луковицу надкусила.. Однако женщина с безликой быстротой, присущей лишь очень привычным действиям, повязала нижнюю часть лица сложенным вдвое полотенцем, взяла под мышку веник и обломок доски, взобралась на полку стенного шкафа, в котором осталась одна створка.

— Честно говоря, если хотите знать мое мнение — такой дом пусть лучше разваливается!..

Он сам растерялся от неожиданно вспыхнувшего раздражения, с которым прокричал это, а женщина обернулась к нему еще более растерянная. Смотри ты, вроде не превратилась еще окончательно в насекомое...

— Нет, не думайте, что особенно я сержусь только на вас одну... Вы здесь все решили, что посадили человека на цепь. Мне не по вкусу такие интриги. Понятно? Да если и непонятно, мне все равно. Хотите, я вам расскажу одну интересную историю... Это было давно. В комнате, которую я снимал, я держал никуда не годную собаку, дворняжку...

С удивительно густой шерстью, и она не линяла даже летом... У нее всегда был такой мрачный, несчастный вид, что я решил постричь ее... И вот, когда я уже закончил стрижку и собирался выбросить состриженную шерсть, собака, не знаю, что уж ей померещилось, вдруг завыла, схватила в зубы ком этой шерсти и убежала на свое место... Может быть, она приняла состриженную шерсть за часть своего тела и жалела расстаться с ней.— Он украдкой посмотрел на женщину — как она это воспримет? Но она оставалась в прежней позе, неестественно изогнувшись на полке шкафа, и даже не сделала попытки обернуться в его сторону.— Ну хорошо... Каждый человек рассуждает по-своему... Будь то копание песка, будь что угодно другое — пожалуйста, поступайте по своему усмотрению. Но я решительно не намерен терпеть это. Довольно! Ничего, еще немного — и поминай как звали... Напрасно вы меня недооцениваете... Если захочу, сбегу отсюда, и без труда... Да, вот как раз кончились сигареты...

— Сигареты.— Ее простота граничила с глупостью.— Это попозже, когда привезут воду...

— Сигареты?.. И сигареты тоже?..— Мужчина неожиданно для себя фыркнул.— Вопрос не в этом... А в состриженной шерсти, состриженной шерсти... Неужели не понятно?.. Я хочу сказать, что ради состриженной шерсти огорода городить не стоит.

Женщина молчала, и не похоже было, что она собирается сказать что-нибудь в свое оправдание. Она подождала немного и, когда убедилась, что мужчина кончил говорить, с невозмутимым видом снова взялась за работу, от которой ее оторвали. Она отодвинула крышку люка в потолке над шкафом, до пояса влезла в него и, удерживаясь на локтях и неловко болтая ногами, стала взбираться наверх. Тут и там тонкими нитями посыпался песок. Он подумал, что на чердаке, наверно, обитает какое-нибудь необычное насекомое... Песок и гнилое дерево... Но нет, довольно, необычного и так больше чем достаточно!

Потом с потолка, то из одного места, то из другого устремилось вниз множество лент песка. Было очень странно, что этот обильный поток низвергается почти бесшумно. В мгновение ока на покрывающих пол соломенных матах барельефом оттиснулся дощатый потолок со всеми щелями и дырками от сучков. Песок набился в нос, ел глаза. Мужчина поспешно выскочил наружу.

В первый миг было ощущение, что он вбежал в костер и ступни уже начинают плавиться. Но где-то внутри оставалась цилиндрическая льдышка, которая не поддавалась даже такому жару. Где-то внутри копошился стыд. Эта женщина как животное... Нет для нее вчера, нет завтра — живет сегодняшним днем... Мир, где господствует уверенность, что человека можно начисто стереть, как мел с грифельной доски... И во сне не приснится, что в наши дни где-то еще гнездится подобная дикость. Ну ладно... Если считать это признаком того, что он оправился от потрясения и к нему начало наконец возвращаться спокойствие, то этот стыд не так уж плох.

Однако нечего зря терять время. Хорошо бы покончить с этим еще дотемна. Сощурившись, он прикинул на глаз высоту волнистой стены песка, подернутой тонкой вуалью, напоминавшей расплавленное стекло. Чем дольше он смотрел на нее, тем выше она казалась. Трудно, конечно, идти против природы и пытаться сделать пологий склон крутым, но ведь он-то хочет крутой склон сделать пологим — только и всего. Особых причин идти на попятный как будто нет.

Вернее всего было бы начать сверху. Но поскольку это невозможно, нет другого выхода как копать снизу. Сначала он подкопает сколько нужно в самом низу и подождет, пока сверху обвалится песок, потом снова подкопает снизу и снова сверху свалится песок... Повторяя это

раз за разом, он будет подниматься все выше и в конце концов окажется наверху. Конечно, на этом пути его ждут обвалы, и песчаные потоки будут сбрасывать его вниз. Но хоть их и называют потоками — песок все же не вода. Ему ни разу не приходилось слышать, чтобы тонули в песке.

Лопата стояла вместе с бидонами у наружной стены дома. Заточенное полукругом острие блестело, как осколок фарфора.

Какое-то время он копал безостановочно, весь уйдя в работу. Песок ведь очень податлив, и работа быстро подвигалась вперед. Каждый удар лопаты, вгрызавшейся в песок, каждый его вздох отсчитывали время. Но скоро руки все настойчивее стали напоминать об усталости. Ему казалось, что копает он довольно долго, но результатов что-то не было заметно. Обваливались только небольшие куски слежавшегося песка прямо над тем местом, где был сделан подкоп. Все это сильно отличалось от простой геометрической схемы, нарисованной им в уме.

Тревожиться было еще рано, и он решил передохнуть и, сделав модель ямы, проверить свои расчеты. Материала, к счастью, сколько угодно. Он выбрал место под карнизом дома, в тени, и стал копать ямку, сантиметров в пятьдесят. Но почему-то скаты ее не удавалось сделать под нужным ему углом. Самое большее — сорок пять градусов... как у ступки, расширяющейся кверху.

Когда он попытался подкапывать у дна ямки, по стенкам посыпался песок, но склон оставался неизменным. Казалось, у песка существует какой-то стабильный угол. Вес и сопротивление песчинок, видимо, пропорциональны. А если так, значит, и эта стена, которую он собирается одолеть, имеет тот же угол наклона.

Нет, этого не может быть... Разве что обман зрения, но нет, так не бывает... На какой склон ни смотри снизу, он всегда будет казаться круче, чем на самом деле.

И вообще, может все это следует рассматривать как вопрос количества?.. Если разнится количество, естественно, разнится и давление. Если разнится давление, то и пропорция веса и сопротивления неизбежно меняются. Возможно, здесь играет роль и строение песчинок. Взять, например, красную глину. Красная глина в естественном состоянии и красная глина уже после ее добычи имеют совершенно разную величину сопротивления давлению. Да еще нужно принять во внимание влажность... Итак, модель может быть подвержена совершенно иным законам.

Но тем не менее опыт не был бесполезным. Он понял, что угол склона стены сверхстабилен,— одно это и то уже богатый урожай. И, в общем, не так уж трудно сверхстабильность превратить в обыкновенную стабильность.

Стоит лишь слегка поболтать перенасыщенный раствор, как выпадают кристаллы и он превращается в насыщенный.

Вдруг, почувствовав, что рядом кто-то есть, он обернулся. Женщина стояла в дверях и внимательно смотрела в его сторону. Он даже не слышал, когда она вышла. Застигнутый врасплох, он в замешательстве отступил назад, растерянно озираясь. И вот тогда-то он увидел, что за его спиной на краю песчаного обрыва с восточной стороны три головы смотрят вниз. Они были обмотаны полотенцами, концы которых закрывали нижнюю часть лица, и поэтому он не был уверен, вчерашние это старики или нет. Но как будто — они. На миг мужчина опешил, но тут же взял себя в руки и решил, не обращая на них внимания, продолжать работу. То, что на него смотрели, даже подхлестнуло его.

Пот капал с кончика носа, заливал глаза. Не было времени вытирать его, и он продолжал копать с закрытыми глазами. Ни в коем случае нельзя давать отдых рукам. Когда они увидят, как ловко он работает, то поймут, насколько они узколобы, насколько низки.

Он посмотрел на часы. Отер о штаны песок со стекла. Было еще только десять минут третьего. Все те же десять минут третьего, как и раньше, когда он последний раз смотрел на часы. У него сразу же пропала уверенность в своей быстроте. Если смотреть глазами улитки, солнце движется, наверно, со скоростью бейсбольного мяча. Он перехватил лопату и снова набросился на песчаную стену.

Внезапно вниз устремилась лавина песка. Раздался глухой звук, будто падала резина, и что-то с силой навалилось ему на грудь. Чтобы понять, что случилось, он поднял голову и посмотрел вверх, но определить, где верх, так и не сумел. Он лежал, согнутый пополам, в собственной блевотине, а вокруг был разлит какой-то тусклый, молочный свет.



# Часть 2

## 11

Дзяб, дзяб, дзяб, дзяб.
Что это за звук?
Звук колокольчика.
Дзяб, дзяб, дзяб, дзяб.
Что это за голос?
Голос дьявола.

Женщина что-то еле слышно мурлычет. Она без устали повторяет одну и ту же фразу, выбирая осадок из бака.

Пение смолкло. Потом стало слышно, как женщина толчет рис. Мужчина тихонько вздыхает, поворачивается на другой бок и ждет, напрягшись в нетерпении... Сейчас она войдет, наверно, с тазом воды, чтобы протереть его тело. От песка и пота кожа так раздражена, что вот-вот воспалится. При одной мысли о холодном влажном полотенце он весь сжимается.

С тех пор как его придавило песком и он потерял сознание, он все время лежал. В первые два дня его мучил сильный жар, почти тридцать девять, и неукротимая рвота. Но потом температура упала, стал возвращаться аппетит. Заболел он, видимо, не столько от ушиба, причиненного песчаным обвалом, сколько от непривычной для него длительной работы под прямыми лучами солнца. В общем, ничего серьезного.

Может быть, поэтому он быстро поправлялся. На четвертый день боль в ногах и пояснице почти прошла. На пятый день, если не считать некоторой слабости, он уже не ощущал никаких симптомов недавней болезни. Но с постели он не вставал и продолжал изображать тяжелобольного. На это были, конечно, причины. Он отнюдь не отказался от мысли бежать.

— Вы уже проснулись?

Голос женщины звучал робко. Он глядел из-под опущенных век на округлость ее коленей, ощущавшуюся сквозь шаровары, и ответил невнятным стоном. Медленно выжимая полотенце над помятым медным тазом, женщина спросила:

— Как чувствуете себя?

— Да так...

— Протрем спину?..

Он покорно отдавал себя в руки женщины, не только пользуясь положением больного, но и потому, что это не было ему неприятно. Он, помнится, читал стихотворение о том, как мальчику, которого била ли-

хорадка, приснилось, что его заворачивают в прохладную серебряную бумагу. Кожа, задохнувшаяся под слоем пота и песка, постепенно охлаждается, начинает дышать. Запах женского тела точно проникает через его ожившую кожу, слегка волнует его.

И все же до конца он так и не простил женщину. То — одно, это — другое, вещи разные, и нечего их смешивать. Трехдневный отпуск давно кончился. Теперь уж торопиться вряд ли стоит. Его первоначальный план подрыть обрыв и сделать песчаный склон пологим не то чтобы провалился, но просто не был достаточно подготовлен. Если бы не помешали непредвиденные обстоятельства — тот же солнечный удар,— все бы прекрасно удалось. Правда, копать песок оказалось неизмеримо труднее, чем он предполагал, это адский труд, и все теперь будет зависеть от того, найдет ли он более доступный для себя способ. Вот тут-то и пришел ему в голову этот маневр с мнимой болезнью.

Когда он очнулся и увидел, что лежит все там же, в доме женщины, то страшно разозлился. Эти типы из деревни даже и не собираются принять в нем участие. Ему стало это совершенно ясно, и сразу созрело решение. Понимая, что болезнь его не опасна, они не позвали врача. А теперь он воспользуется этим и заставит их еще раскаяться. Ночью, когда женщина работает, он будет спать. Зато днем, когда она должна отдыхать, будет мешать ей спать, жалуясь на невыносимые боли.

— Болит?

— Ну да, болит... Позвоночник, наверно, где-то поврежден...

— Может, попробовать растереть?

— Ни в коем случае! Разве можно доверить это неспециалисту? Этак и повредить недолго. Ведь спинной мозг — канал жизни. А вдруг я умру? Ведь вам же всем хуже будет. Позовите врача, врача! Больно... Нестерпимо больно... Если не поторопитесь, будет поздно!

Женщина не сможет долго выносить такое и выбьется из сил. Ее работоспособность понизится, и дом окажется в опасности. А это и для деревни не малое дело. По собственной глупости, вместо того чтобы получить добавочную рабочую силу, взвалили на себя новую обузу. И если они не избавятся от него сейчас же, то потом упущенное не наверстаешь.

Но и этот план продвигался совсем не так гладко, как он предполагал. Ночь здесь гораздо оживленнее, чем день. Через стену слышен лязг лопаты... тяжелое дыхание женщины... выкрики и цоканье мужчин, вытаскивающих корзины с песком... Вдобавок ветер доносит издалека тарахтенье пикапа, лай собак... Как ни старался он заснуть, ничего не получалось — нервы были слишком напряжены, и он не мог сомкнуть глаз.

Ночью он спал плохо, и поэтому ему приходилось досыпать днем. И, что хуже всего, он все больше терял терпение: начинал убеждать себя, что если даже и этот план провалится, все равно найдется еще сколько угодно способов бежать. С того дня прошла уже неделя. Как раз время подавать заявление о розыске. Первые три дня были его законным отпуском. Но дальше — отсутствие без предупреждения. Сослуживцы, часто даже без всякого повода ревниво следящие за тем, что делают их товарищи, вряд ли обойдут молчанием такой факт. Уж наверное в один из этих вечеров какой-нибудь доброхот заглянул к нему домой. В душной, раскаленной послеполуденным солнцем комнате царит запустение — ясно, что хозяина нет. Посетитель почувствует еще, пожалуй, инстинктивную зависть к счастливчику, который вырвался из этой дыры. А на следующий день — оскорбительное злословие за его спиной, гаденький шепоток, приправленный неодобрительно нахмуренными бро-

вями и двусмысленными движениями пальцев. И вполне резонно... В глубине души он и тогда еще чувствовал, что этот необычный отпуск вызовет у сослуживцев именно такую реакцию. И неудивительно, ведь учителя ведут своеобразную жизнь, все время отравляемую грибком зависти... Год за годом мимо них, как воды реки, текут ученики и уплывают, а учителя, подобно глубоко зарытым камням, вынуждены оставаться на дне этого потока. Они говорят о надеждах другим, но сами не смеют питать надежду, даже во сне. Они чувствуют себя ненужным хламом и либо впадают в мазохистское одиночество, либо становятся пуристами, к другим проникаются подозрительностью, обвиняют их в оригинальничанье. Они так тоскуют по свободе действий, что не могут не ненавидеть свободу действий.

...Несчастный случай, наверно?.. Нет, если бы это был несчастный случай, то, видимо, как-нибудь сообщили бы... А может быть, самоубийство?.. Но, опять-таки, об этом уж конечно знала бы полиция!.. Не нужно переоценивать этого недалекого парня!.. Да, да, он пропал без вести по собственной воле, и нечего соваться не в свое дело... Но ведь уже почти неделя... Ну что за человек, обязательно должен причинять людям беспокойство, и ведь не узнаешь, что у него на уме...

Вряд ли они искренне беспокоятся за него. Просто их неутоленное любопытство перезрело, как хурма, вовремя не снятая с дерева. Дальше события развиваются так. Старший преподаватель посещает полицию, чтобы выяснить форму заявления о розыске. За постным лицом скрыто распирающее его удовольствие... «Фамилия и имя: Ники Дзюмпэй. Возраст: 31 год. Рост: 1 м 58 см. Вес: 54 кг. Волосы: редкие, зачесанные назад, бриолином не пользуется. Зрение: правый — 0,8, левый — 1,0. Кожа смуглая. Приметы: лицо продолговатое. Слегка косит. Нос короткий. Челюсти квадратные, под левым ухом заметная родинка, других особых примет нет. Группа крови: АВ. Говорит хрипло, слегка заикаясь. Сосредоточен, упрям, но нельзя сказать, что не умеет обращаться с людьми. Одежда: вероятно, на нем одежда, используемая при энтомологической работе. Помещенное сверху фото анфас сделано два месяца назад».

Конечно, жители деревни приняли необходимые меры предосторожности, если столь решительно продолжают эту бессмысленную авантюру. Обвести вокруг пальца одного-двух деревенских полицейских — дело нехитрое. Они, безусловно, позаботились о том, чтобы полицейские без особой надобности не приходили в деревню. Но такая дымовая завеса целесообразна и необходима лишь до тех пор, пока он здоров и в состоянии отгребать песок. И нелепо с риском для себя прятать тяжело больного человека, который уже целую неделю валяется в постели. Если же они решат, что он им ни к чему, то самое благоразумное — побыстрее отделаться от него, пока не возникли всякие осложнения. Сейчас еще можно придумать какую-нибудь правдоподобную версию. Можно, например, заявить, что человек сам упал в яму и из-за сотрясения у него начались какие-то странные галлюцинации. Несомненно, это объяснение будет принято гораздо охотнее, чем его совершенно фантастические утверждения, что его хитростью упрятали в яму.

Замычала корова — будто ей в глотку вставили медную трубку. Где-то прокричал петух. В песчаной яме нет ни расстояния, ни направления. Только там, снаружи,— обычный, нормальный мир, где на обочине дороги дети играют в классы, и в положенное время наступает рассвет, и краски его смешиваются с ароматом варящегося риса.

Женщина протирает его тело с усердием, даже с чрезмерным усердием. После протирания выкручивает влажное полотенце досуха, так что оно становится твердым, как доска, и сухим трет так старательно,

будто полирует запотевшее стекло. От звуков просыпающегося утра и этих ритмичных толчков его начинает клонить ко сну.

— Да, кстати...— Он подавляет зевок, который, будто щипцами, насильно вытащили у него изнутри.— Как бы это... Давно уже хочется почитать газету. Никак этого устроить нельзя?

— Хорошо, я спрошу, попозже.

Он сразу понял: женщина хочет показать свою искренность. В ее застенчивом, робком голосе явно чувствовалось старание не обидеть его. Но это разозлило его еще больше. «Спрошу»?! Значит, и газеты я не имею права читать без разрешения, что ли?.. Ворча, он отбросил руку женщины. Его так и подмывало опрокинуть таз со всем содержимым.

Однако в его положении особенно бушевать не следует — это может разрушить все планы. Ведь тяжелобольной вряд ли будет так волноваться из-за какой-то пустячной газеты. Он, конечно, хочет просмотреть газету. Если нет пейзажа, то посмотреть хоть на картинку — это ведь так свойственно человеку. В какой-то книге он читал, что пейзажная живопись развилась в местах с бедной природой, а газеты получили наибольшее развитие в промышленных районах, где связь между людьми ослабла. Кроме того, вдруг он найдет там объявление о том, что пропал без вести человек. А если повезет, то не исключено, что в углу страницы, посвященной социальным вопросам, о его исчезновении будет помещена статья. Вряд ли, конечно, эти деревенские дадут ему газету, в которой будет такая статья. Но самое главное сейчас — терпение.

Притворяться больным не так уж сладко. Все равно что сжимать в руке готовую вырваться тугую пружину. Долго такого не выдержишь. Пустить все идти, как идет, тоже нельзя. Он должен во что бы то ни стало заставить этих типов самих понять, как обременительно для них его пребывание здесь. Вот сегодня, чего бы это ни стоило, не дать женщине ни на минуту закрыть глаза!

(Не спи... Спать нельзя!)

Мужчина скрючился и притворно застонал.

## 12

Под зонтом, который повесила женщина, он глотал, обжигаясь, густой суп из овощей и риса, приправленный морскими водорослями. На дне миски остался осадок песка.

Но тут воспоминания прерываются, и дальше все тонет в каком-то длинном гнетущем кошмаре. Во сне он верхом на старых, потрескавшихся палочках для еды летал по странным, незнакомым улицам. На этих палочках он мчался, как на скутере, и было это не так уж плохо, но стоило чуть-чуть рассеяться вниманию — его тут же тянуло к земле. Вблизи улица казалась кирпичного цвета, но дальше таяла в зеленой дымке. В этой цветовой гамме было что-то, порождающее беспокойство. Наконец он подлетел к длинному деревянному зданию, напоминавшему казарму. Пахло дешевым мылом. Подтягивая спадающие брюки, он поднялся по лестнице и вошел в пустую комнату, в которой стоял только один длинный стол. Вокруг него сидело человек десять мужчин и женщин, увлеченных какой-то игрой. Сидевший в центре, лицом к нему, человек сдавал карты. Кончив сдавать, он вдруг последнюю карту сунул ему и что-то громко крикнул. Невольно взяв ее, он увидел, что это не карта, а письмо. Оно было странно мягким на ощупь, и, когда он чуть сильнее нажал на письмо пальцами, из него брызнула кровь. Он закричал и проснулся.

Какая-то грязная пелена мешает смотреть. Он пошевельнулся, послышался шелест сухой бумаги. Его лицо было прикрыто развернутой

газетой. Черт возьми, опять заснул!.. Отбросил газету. С нее побежали струйки песка. Судя по его количеству, прошло немало времени. Направление лучей солнца, пробивающихся сквозь щели в стене, говорит о том, что уже около полудня. Ну и ладно, но что это за запах? Свежая типографская краска?.. Не может быть, подумал он и бросил взгляд на число. Шестнадцатое, среда... Так это же сегодняшняя газета! Не верилось, но факт оставался фактом. Выходит, женщина выполнила его просьбу?

Мужчина приподнялся, опершись локтем о свой насквозь пропитанный потом матрас. И сразу же в голове вихрем закружились самые разные мысли, и он стал мельком, то и дело отвлекаясь, просматривать с трудом добытую газету.

«Дополнена повестка дня Японо-американского объединенного комитета...»

...Как все ж таки этой женщине удалось добыть газету?.. Может быть, эти типы почувствовали, что у них есть какие-то обязательства по отношению к нему?.. Да, но, судя по тому, как было до сих пор, всякая связь с внешним миром прекращается после завтрака. Несомненно одно из двух: либо женщина каким-то не известным ему способом может связываться с внешним миром, либо она сама выбралась отсюда и купила газету.

«Действенные меры против застоя на транспорте!»

Ну хорошо... Допустим, женщина выбралась... Это немыслимо без веревочной лестницы. Не знаю, как это ей удалось, но ясно одно — она использовала веревочную лестницу... Ну, а если так... мысль его бешено заработала. Узник, только и думающий о побеге,— это одно дело. Но ведь женщина, жительница деревни, не потерпит, чтобы ее лишили возможности свободно выходить из ямы... То, что убрали лестницу,— это не более, чем временная мера, чтобы запереть меня здесь... Стало быть, если продолжать притуплять их бдительность — рано или поздно такая же возможность появится и у меня.

«В репчатом луке — вещества, эффективные при лечении последствий атомной радиации».

Видимо, моя стратегия симуляции болезни обросла непредвиденными обстоятельствами. Еще древние очень верно говорили: если удача спит — жди... Но почему-то сердце к этому совсем не лежало. Было как-то неспокойно. Уж не из-за этого ли страшного, какого-то неуютного и странного сна?.. Ему не давала покоя мысль об опасном — почему опасном, он и сам не понимал — письме. К чему бы такой сон?

Но это не дело — принимать так близко к сердцу обыкновенный сон. В любом случае нужно довести начатое до конца.

Женщина, тихонько посапывая, как обычно спала на полу недалеко от очага, закутавшись с головой в застиранное кимоно, свернувшись калачиком, обняв руками колени. С того дня она ни разу не показывалась ему обнаженной, но под кимоно на ней, видимо, нет ничего.

Мужчина быстро пробежал страницу, посвященную социальным вопросам, колонки местной жизни. Он, конечно, не нашел ни статьи о своем исчезновении, ни объявления о том, что без вести пропал человек. Так он и предполагал и поэтому не особенно огорчился. Тихонько встал и спустился на земляной пол. На нем не было ничего, кроме длинных трусов из искусственного шелка. Так было лучше всего. Песок собирался в том месте, где резинка перехватывала тело, и только здесь появлялись краснота и зуд.

Стоя в дверях, он посмотрел вверх, на песчаную стену. Свет ударил в глаза, и все вокруг точно загорелось желтым пламенем. Ни души. Лестницы, конечно, тоже нет. Ничего удивительного. Хотелось лишь убедиться для верности. Нет никаких признаков, что ее опускали. Прав-

да, при таком ветре и пяти минут не пройдет, как любой след исчезнет. Да и сразу же за дверьми верхний слой песка нескончаемо тек — будто с песка сдирали шкурку.

Он вернулся в дом и лег. Летала муха. Маленькая коричневатая дрозофилла. Наверно, что-то где-то гниет. Пополоскав горло из завернутого в полиэтилен котелка, стоявшего у изголовья, он позвал женщину:

— Послушайте, может, вы встанете...

Женщина вздрогнула и вскочила. Халат сполз, обнажив грудь. На слегка обвисшей, но еще полной груди проступали голубые жилки. Суетливым, неуверенным движением женщина натянула халат, взгляд ее блуждал, казалось, она еще не совсем проснулась.

Мужчина заколебался. Должен ли он сердито и без обиняков спросить у нее о лестнице... Или, может быть, лучше поблагодарить за газету и одновременно спросить — мирным, доброжелательным тоном? Если он разбудил женщину, только чтобы прервать ее сон, то самое правильное — держаться агрессивно. А поводов для придирок сколько угодно. Но это может увести далеко от главной цели — прикидываться тяжелобольным. Нельзя сказать, что такое поведение особенно похоже на поведение человека, у которого поврежден позвоночник. Что ему действительно необходимо — это заставить их убедиться в полной невозможности использовать его как рабочую силу и любыми средствами усыпить их бдительность; их сердца уже смягчились до того, что они дали ему газету, теперь надо сделать их вообще не способными к сопротивлению.

Но все его радужные надежды рухнули сразу.

— Да нет, никуда я не выходила. Один из нашей артели как раз принес средство от гниения дерева, которое мне давно уже обещали... Его-то я и попросила... Здесь в деревне газету получают-то всего в четырех-пяти домах... Пришлось ему специально идти в город, чтобы купить ее...

Такое совпадение вполне возможно. Но не означает ли это, что он заперт в клетке замком, к которому не подберешь отмычки? Если даже местные жители должны мириться с подобным заточением, то крутизна этих песчаных стен дело не шуточное. Мужчиной овладело отчаяние, но он взял себя в руки.

— Вот как?.. Послушайте... Ведь вы здесь хозяйка, верно?.. А не какая-нибудь собака... Ведь не может быть, что вы не свободны выходить отсюда и возвращаться, когда захотите! Или вы такое натворили, что в глаза односельчанам смотреть не можете?

Заспанные глаза женщины широко раскрылись от удивления. Они налились кровью, точно раскалились, ему показалось даже, что в комнате стало светлее.

— Ну что вы. Не могу смотреть в глаза. Чепуха какая!

— Хорошо, но тогда вам нечего быть такой робкой!

— Да если я и выйду отсюда, мне там делать-то особенно нечего...

— Можно погулять!

— Гулять?..

— Ну да, гулять... Походить туда-сюда, разве этого мало?.. Я говорю, вот вы, до того как я сюда пришел, свободно выходили, когда хотели?

— Но ведь без дела ходить — только зря уставать...

— Я не шучу! Хорошенько спросите у себя самой. Вы не можете не понять!.. Ведь даже собака, если ее надолго запереть в клетке, и та сойдет с ума!

— Да гуляла я! — выкрикнула женщина своим глухим монотонным голосом.— Правда же, мне давали гулять, сколько я захочу... Пока сюда не попала... Подолгу гуляла с ребенком на руках... Даже замучилась от этих прогулок...

Мужчина не ожидал такого. Какая-то странная манера разговаривать. Когда она смотрит на него так, нет сил отвечать.

Да, верно... лет десять назад, когда царила разруха, все только и мечтали о том, чтобы никуда не нужно было ходить. Такой им представлялась свобода. А можно ли сказать, что сейчас они уже пресыщены этой свободой?.. И вправду, может быть, в этот песчаный край тебя и завлекло как раз то, что ты уже изнемогла от погони за этой призрачной свободой... Песок... Беспредельное движение $^1/_8$ мм... Это вывернутый наизнанку автопортрет на негативной пленке, рассказывающий о свободе жить, никуда не выходя. Ведь даже ребенок, который готов гулять сколько угодно, начинает плакать, если заблудится.

Женщина вдруг резко изменила тон:

— Чувствуете себя как? Все в порядке?

Ну что уставилась, как баран! Мужчина разозлился. В три погибели тебя скручу, но заставлю признаться, что ты во всем виновата! При одной мысли об этом по телу пробежали мурашки, и ему даже почудилось потрескивание, точно от кожи отдирали засохший клей. Кожа будто ощущала ассоциации, связанные со словом «скручу». Вдруг женщина превратилась в силуэт, отошедший от фона. Двадцатилетнего мужчину возбуждают мысли. Сорокалетнего — возбуждает кожа. А для тридцатилетнего самое опасное — когда женщина превращается в силуэт... Он может обнять его так же легко, как самого себя... Но за спиной женщины множество глаз... И она лишь кукла, которую водят за нити этих взглядов... Стоит обнять ее, и уже тебя будут водить на ниточке... Тогда и эта ложь с поврежденным позвоночником моментально всплывет наружу. Разве может он в таком месте, как это, перечеркнуть всю свою прошлую жизнь!

Женщина бочком пододвинулась ближе. Ее круглые колени уперлись ему в бедро. Вокруг разлился густой запах стоялой протухшей воды, исходивший у нее изо рта, носа, ушей, подмышек, от всего ее тела. Робко, нерешительно ее горячие, как огонь, пальцы заскользили вверх и вниз по его позвоночнику. Мужчина весь напрягся.

Вдруг пальцы коснулись его бока. Мужчина вскрикнул:

— Щекотно!

Женщина засмеялась. Она и слегка заигрывала, и немного робела. Все это было слишком неожиданно, и он еще не знал, как себя вести. Но чего она хочет?.. Умышленно это делалось или пальцы просто соскользнули?.. Только что она моргала глазами, изо всех сил стараясь проснуться... Но ведь и в первый вечер она так же странно смеялась, когда, проходя мимо, толкнула его в бок... Может быть, она вкладывает в свои действия какой-то особый смысл? Возможно, в глубине души она не верит в его болезнь и делает все это, чтобы проверить свои сомнения... Не исключено... Зевать нельзя. Ее соблазнительность — самая обыкновенная ловушка, в конце концов точно такая же, как сладкий аромат меда у растений-хищников, питающихся насекомыми. Сначала она спровоцирует его на насилие, вызовет этим скандал, а потом он окажется по рукам и ногам опутан цепями шантажа.

## 13

Мужчина взмок и начал плавиться, как воск. Поры его источали пот. Часы остановились, и точного времени он не знал. Там, наверху, возможно, день еще в разгаре. Но на дне двадцатиметровой ямы были уже сумерки.

Женщина еще крепко спала. Ноги и руки у нее нервно вздрагивали — что-то снилось. Он хотел было начать мешать ей спать, но вряд ли стоило. Она все равно уже выспалась.

Мужчина поднялся, подставляя тело ветру. Когда он повернулся во сне, полотенце, по-видимому, упало с лица, и теперь за ушами, около носа, в углах рта налипло столько песка — хоть соскребай. Он накапал в глаза и прикрыл их концом полотенца. Но только повторив это несколько раз, смог, наконец, по-настоящему раскрыть их. Еще два-три дня — и глазных капель не останется. Даже из-за одного этого хочется, чтобы скорее уже был какой-нибудь конец. Тело такое тяжелое, будто в железных доспехах лежишь на магните. Он изо всех сил напрягал зрение, но в тусклом свете, пробивавшемся через дверь, иероглифы в газете казались застывшими лапками дохлых мух.

По-настоящему нужно было, конечно, попросить женщину еще днем, чтобы она ему почитала. Это бы и спать ей помешало. Одним выстрелом убил бы двух зайцев. Но, к сожалению, он сам заснул раньше нее. Как ни старался — все напортил.

И вот теперь опять у него будет эта невыносимая бессонница. Он пытался в ритме дыхания считать от ста назад. Пытался мысленно шаг за шагом пройти привычной дорогой из дому в школу. Пытался в определенном порядке назвать известных ему насекомых, группируя их по видам и семействам. Но убедившись, что все усилия тщетны, начал еще больше нервничать. Глухое ворчание ветра, несущегося по краю ямы... Скрежет лопаты, пластающей влажный песок... Далекий лай собак... Едва слышные голоса, колеблющиеся, как пламя свечи... Беспрерывно сыплющийся песок, который, как наждак, точит кончики нервов... И все это он должен выносить.

Ничего, как-нибудь вытерпит. Но в тот миг, когда свежие голубые лучи скользнули вниз с края ямы, все стало наоборот — началась схватка со сном, впитывавшимся в него, как вода впитывается в губку. И если этот порочный круг не будет где-то разорван, то крупинки песка, чего доброго, остановят не только часы, но и само время.

Статьи в газете были все те же. В ней нельзя было различить даже следов того, что недельный разрыв все же существует. Если это окно во внешний мир, то, видимо, стекла в нем — матовые.

«Взяточничество в связи с налогами перекинулось с частных компаний на городские власти»... «Университетские города сделать Меккой индустрии»... «Одно предприятие за другим приостанавливают работу. Заседание Генерального совета профсоюзов приближается; точка зрения будет опубликована»... «Мать убила двух детей и отравилась сама»... «Участившиеся похищения автомобилей — новый стиль жизни или новый вид преступлений?»... «Неизвестная девушка уже три года приносит цветы к полицейской будке»... «Трудности олимпийского бюджета Токио»... «Сегодня призрак снова зарезал двух девушек»... «Студенты губят здоровье наркотиками»... «Курса акций коснулся осенний ветер»... «Известный тенор Блю Джексон приезжает в Японию»... «В Южно-Африканском Союзе снова волнения; 280 убитых и раненых»... «Воровская школа без платы за обучение; замешаны женщины; аттестаты об окончании — в случае успешной сдачи экзаменов».

Ни одной статьи, которую было бы жалко пропустить. Призрачная башня с просветами, выложенная из призрачного кирпича. Впрочем, если бы на свете существовало лишь то, что жалко упустить, действительность превратилась бы в хрупкую стеклянную поделку, к которой страшно прикоснуться. Но жизнь — те же газетные статьи. Поэтому каждый, понимая ее бессмысленность, центр компаса помещает в своем доме.

И вдруг на глаза попалась поразительная статья.

«Около восьми часов утра четырнадцатого на строительном участке жилого дома, улица Ёкокава, 30 экскаваторщик Тосиро Цутому (28 лет), работавший в компании Хинохара, был придавлен обвалившимся песком и получил тяжелое увечье. Он был доставлен в ближайшую больницу, но вскоре умер. Согласно расследованию, произведенному полицейским участком Ёкокава, причиной несчастного случая послужило, по всей вероятности, то, что, срывая десятиметровую гору, он выбрал снизу слишком много песка».

Понятно... Они нарочно подсунули мне эту статью. Даром они не стали бы выполнять мою просьбу. Хорошо еще, что не обвели ее красными чернилами. Для слишком скандальных типов можно припасти, мол, и Черного Джека... Кожаный мешок наполняют песком — такой штукой шибанешь не хуже, чем железной или свинцовой палкой... Сколько бы ни говорили, что песок течет, но от воды он отличается... По воде можно плыть, а песок погребает человека, убивает его своей тяжестью...

Слишком радужным казалось мне положение.

## 14

Но изменение тактики было связано с серьезными колебаниями и потребовало немало времени. Прошло, пожалуй, часа четыре, как женщина ушла копать. По времени корзины с песком подняты уже второй раз, переносчики закончили свою работу и ушли к пикапу. Прислушавшись и убедившись, что они не возвратятся, мужчина встал потихоньку и оделся. Женщина ушла с лампой, поэтому все приходилось делать на ощупь. Ботинки были полны песка. Он заправил брюки в носки, достал гетры и положил их в карман. Снаряжение для ловли насекомых и другие свои вещи он решил сложить у двери, чтобы потом легче было найти. Земляной пол, куда он спустился, был покрыт песчаным ковром, и он мог не красться — шагов все равно не было слышно.

Женщина поглощена работой. Легко орудует лопатой, вонзая ее в песок... Дышит ровно, сильно... В свете лампы, стоящей у ее ног, пляшет длинная тень... Мужчина притаился за углом дома, затаив дыхание. Взяв в руки концы полотенца, он сильно растянул его в стороны. Сосчитаю до десяти и выскочу... Нужно сразу напасть в тот момент, когда она, нагнувшись, начнет поднимать лопату с песком.

Нельзя, конечно, утверждать, что никакой опасности нет. И то сказать — их отношение к нему может через какие-нибудь полчаса резко измениться. Ведь существует же этот самый чиновник из префектуры. Не случайно же старик принял его сначала за этого чиновника и весь насторожился. Они, видимо, ожидают, что вот-вот приедут их инспектировать. А если так, то не исключено, что при обследовании мнения в деревне разделятся, скрывать его существование окажется невозможным и они в конце концов откажутся от мысли держать его взаперти. Правда, нет никакой гарантии, что эти полчаса не растянутся на полгода, на год, а то и больше. Полчаса или год — шансы равны. Он бы не стал биться об заклад.

Но если представить себе, что рука помощи вот-вот будет протянута, то было бы гораздо выгоднее продолжать притворяться больным. Именно к этому вопросу он все время мысленно возвращался. Раз он живет в стране, где существует закон и порядок, то естественно надеяться на помощь. Те люди, которые скрывались в тумане загадочности и, не подав признаков жизни, попадали в число пропавших без вести, в большинстве случаев сами этого хотели. Кроме того, если ничто не указывает на преступление, исчезновение рассматривается не как уголовное, а как гражданское дело, и полиция особенно глубоко в него не вникает. Но в случае с ним обстоятельства совсем иные. Он жаждет помощи, он взы-

вает о ней ко всем — ему все равно, откуда она придет. Даже для человека, ни разу не видевшего его, не слышавшего его голоса, все станет сразу ясным, как только он хоть мельком взглянет на его дом, оставшийся без хозяина. Недочитанная книга, раскрытая на той странице, где он ее оставил... Мелочь в карманах костюма, в котором он ходил на работу... Чековая книжка, пусть на очень скромную сумму, с которой в последнее время не снимали деньги... Ящик с недосушенными насекомыми, еще не приведенными в порядок... Заказ на новые банки для насекомых, приготовленный к отправке, с наклеенной маркой... Все брошено незаконченным и указывает на намерение хозяина вернуться. Посетитель, хочет он того или нет, не может не внять мольбе, которая так и слышится в этих комнатах.

Да... Если бы только не было того письма... Если бы только не было того дурацкого письма... Но быть-то оно было... Сон рассказывал правду, а сейчас он снова старается убедить в чем-то самого себя. Для чего? Довольно уверток. Потерянного не вернешь. Он своими собственными руками уже давно задушил себя.

Все, что касалось этого отпуска, он держал в глубокой тайне и ни одному из сослуживцев намеренно не рассказывал, куда едет. И мало того, что молчал, он сознательно старался окутать свою поездку тайной. Это был прекрасный способ — лучше и не придумаешь, чтобы подразнить этих людей, которые в своей будничной серой жизни сами с ног до головы стали серыми. Сейчас он занимался самоуничижением, стоило ему подумать, что среди всей этой серости не он, конечно, а другие могли быть и другого цвета: красного, голубого, зеленого...

Лето, полное ослепительного солнца, бывает ведь только в романах и кинофильмах. А в жизни — это воскресные дни скромного маленького человека, который выехал за город, где все тот же запах едкого дыма, и лежит на земле, подстелив газету, открытую на страницах, посвященных политике... Термос с магнитным стаканчиком и консервированный сок... взятая напрокат после долгого стояния в очереди лодка — 150 иен в час... Побережье, на которое накатывается свинцовая пена прибоя, кишащая дохлой рыбой... А потом электричка, битком набитая до смерти уставшими людьми... Все всё прекрасно понимают, но, не желая прослыть глупцами, позволившими одурачить себя, усердно рисуют на сером холсте какое-то подобие празднества. Жалкие, небритые отцы тормошат своих недовольных детей, заставляя их подтвердить, как прекрасно прошло воскресенье... Сценки, которые каждый хоть раз да видел в углу электрички... Почти трогательная зависть к чужому солнцу...

Но если бы дело было только в этом, особенно близко принимать все к сердцу не стоило бы. Если бы тот человек не реагировал на все так же, как и остальные сослуживцы, то едва ли он стал бы так упрямиться.

Только ему он оказывал особое доверие. Это был человек с ясными правдивыми глазами, с лицом, всегда казавшимся свежеумытым. Он очень активно участвовал в профсоюзном движении. Однажды он даже попытался серьезно и искренне поделиться с этим человеком своими сокровенными мыслями, которые скрывал от других.

— Ты так считаешь?.. Меня вот просто мучит проблема образования, подкрепляемого жизнью...

— Что значит это «подкрепляемого»?

— Ну, в общем, образование, которое зиждется на иллюзии, заставляющее несуществующее воспринимать как сущее. Взять хотя бы песок — он представляет собой твердое тело, но в то же время в значительной мере обладает гидродинамическими свойствами. Это как раз и привлекает к нему пристальный мой интерес...

Человек оторопел. По-кошачьему сутулый, он ссутулился еще боль-

ше. Но выражение лица, как всегда, оставалось открытым. Он ничем не показал, что идея противна ему. Кто-то сказал однажды, что он напоминает ленту Мёбиуса. Лента Мёбиуса — это перекрученная один раз и соединенная концами полоска бумаги, которая превращается таким образом в плоскость, лишенную лицевой и оборотной стороны. Может быть, в это прозвище вкладывали тот смысл, что он, как лента Мёбиуса, слил воедино свою профсоюзную деятельность и личную жизнь? Вместе с легкой издевкой в этой кличке звучало и одобрение.

— Может быть, ты имеешь в виду реалистическое образование?

— Нет, возьми мой пример с песком... разве мир, в конечном счете, не похож на песок?.. Этот самый песок, когда он в спокойном состоянии, никак не проявляет своего существа... На самом деле не песок движется, а само движение есть песок... Лучше мне не объяснить...

— Я и так понял. Ведь в практике преподавания заключены важнейшие элементы релятивизма.

— Нет, это не так. Я сам стану песком... Буду видеть все глазами песка... Умерев раз, нечего беспокоиться, что умрешь снова...

— Уж не идеалист ли ты, а?.. А ты ведь, пожалуй, боишься своих учеников, правда?

— Да потому, что я и учеников считаю чем-то похожим на песок...

Он тогда звонко рассмеялся, обнажив свои белые зубы, ничем не показывая, что ему не по душе этот разговор, в котором мы так и не нашли точек соприкосновения. Его и без того маленькие глаза совсем упрятались в складках лица. Я, помнится, тоже не мог не улыбнуться в ответ. Этот человек действительно был лентой Мёбиуса. И в хорошем смысле, и в плохом. Стоило уважать его хотя бы за хорошую его половину.

Но даже этот, «Лента Мёбиуса», так же как и остальные сослуживцы, явно выказывал серую зависть к его отпуску. Это уж совсем не было похоже на ленту Мёбиуса. Завидуя, он в то же время и радовался. Ходячая добродетель часто вызывает раздражение. И поэтому дразнить его доставляло огромное удовольствие.

И тут это письмо... Сданная карта, которую уже не вернешь... Вчерашний кошмар никак нельзя считать беспричинным.

Было бы ложью сказать, что между ним и той, другой женщиной не было никакой любви. Между ними были какие-то тусклые и, пожалуй, неясные отношения, и он никогда не знал, чего можно от нее ждать. Стоило, к примеру, ему сказать, что брак, по существу, сходен с распашкой целины, как она безапелляционно и зло возражала, что брак должен означать расширение дома, который стал тесен. Скажи он наоборот — она бы и на это, безусловно, возразила. Это была игра — кто кого перетянет, которая продолжалась без устали уже два года и четыре месяца. Может быть, правильнее было бы сказать, что они не столько утратили страсть, сколько в конце концов заморозили ее, потому что слишком идеализировали.

И вот тогда-то совершенно неожиданно и созрело решение оставить письмо и сообщить в нем, что на некоторое время он уедет один, не указав места. Таинственность, которой он окутал свой отпуск, так безотказно действовавшая на сослуживцев, не могла не подействовать и на нее. Но в последнюю минуту, уже надписав адрес и наклеив марку, он решил, что это дурачество, и оставил письмо на столе.

Безобидная шутка сыграла роль автоматического замка с секретом, который может открыть только владелец сейфа. Письмо обязательно должно было попасться кому-нибудь на глаза. В нем, конечно, усмотрели нарочно оставленное доказательство того, что он исчез по собственной воле. Он уподобился неумному преступнику, который с тупым упорством уничтожает отпечатки пальцев, хотя его видели на месте преступления, и этим только доказывает свои преступные намерения.

Возможность выбраться из плена отдалилась. И сейчас, хотя он все еще не терял надежды, надежда задыхалась от яда, которым он сам ее отравил. Теперь у него один путь — не дожидаясь, пока ему откроют двери, самому открыть их и вырваться отсюда, пусть даже силой. Сейчас уж никакое колебание не может быть оправдано.

Перенеся всю тяжесть тела на пальцы ног, так, что они до боли врезались в песок, он решил: сосчитаю до десяти и выскочу... Но досчитал до тринадцати — и все не мог решиться. Наконец, отсчитав еще четыре вздоха, он вышел из-за укрытия.

## 15

Чтобы сделать то, что он замышлял, движения его были слишком медленными. Песок поглощал все силы. Тем временем женщина повернулась и, опершись на лопату, с изумлением уставилась на него.

Если бы женщина по-настоящему хотела оказать сопротивление, то результат был бы совсем иным. Но его расчет на неожиданность оправдался. Правда, он действовал слишком нервозно, но и женщина была так потрясена, что ее словно парализовало. Ей и в голову не пришло отогнать его лопатой, которую она держала в руках.

— Не поднимай крика!.. Ничего тебе не сделаю... Тихо!..— шептал он сдавленным голосом, как попало заталкивая ей в рот полотенце. Но она и не пыталась противиться этим неловким, слепым действиям.

Почувствовав ее пассивность, мужчина взял наконец себя в руки. Он вытащил конец полотенца у нее изо рта, плотно обмотал ей голову и крепко стянул сзади узлом. Потом гетрой, которую приготовил заранее, изо всех сил связал ей за спиной руки.

— А теперь быстро в дом!

Женщина, совершенно оцепеневшая, покорно подчинялась не только действиям, но и словам. Какая уж тут враждебность — она и тени сопротивления не оказывала. Видимо, впала в состояние, подобное гипнозу. Мужчина не задумывался над тем, что делал, и не знал, делает ли он то, что нужно, но грубое насилие, видимо, и лишило ее способности сопротивляться. Он заставил женщину подняться с земляного пола наверх. Второй гетрой связал ноги у лодыжек. Он все делал в полной тьме, на ощупь и оставшийся кусок гетры еще раз обмотал для верности вокруг ног.

— Ну вот, сиди спокойно, ясно?.. Будешь вести себя хорошо, ничего тебе не сделаю... Но смотри, со мной шутки плохи...

Всматриваясь в ту сторону, откуда слышалось дыхание женщины, он попятился к двери, потом быстро выскочил наружу, схватил лампу и лопату и тут же вернулся в дом. Женщина повалилась набок. Она часто и тяжело дышала и в такт дыханию поднимала и опускала голову. При вдохе она вытягивала челюсть — наверно, для того, чтобы не вдыхать песок из циновки. А при выдохе — наоборот, чтобы воздух из ноздрей с большей силой сдувал песок с лица.

— Ладно, потерпишь немного. Дождись, пока вернутся эти, с корзинами. После всего, что я перенес, тебе лучше молчать. Кроме того, я ведь заплачу за то время, что пробыл здесь... Ну, конечно, то, что можно назвать расходами, ты мне их сама подсчитаешь... Не возражаешь?.. Возражаешь?! По правде говоря, мне б ничего не нужно платить, но я просто люблю, чтобы все было по-честному. Поэтому хочешь или нет, все равно отдам эти деньги.

Обхватив рукой шею, точно помогая себе дышать, мужчина напряженно, с беспокойством прислушивался к какому-то шуму, слышавшемуся снаружи. Да, лампу лучше потушить. Он поднял стекло и уже готов

был задуть огонь... Нет, проверю еще разок, как там женщина. Ноги перевязаны достаточно крепко — палец не просунешь. С руками тоже все в порядке — запястья побагровели, обломанные до мяса ногти стали цвета старых загустевших чернил.

Кляп тоже не оставляет желать лучшего. Ее и без того бесцветные губы были так растянуты, что в них не осталось ни кровинки — ну просто призрак. Сочившаяся слюна образовала черное пятно на циновке, как раз под щекой. В колеблющемся свете лампы оттуда, где была женщина, казалось, слышался беззвучный вопль.

— Ничего не поделаешь. Сама заварила кашу...— В его торопливо брошенных словах сквозила нервозность.— Ты меня пыталась обмануть, я — тебя. В расчете? Я ведь все ж таки человек, меня нельзя так вот просто посадить на цепь, как собаку... Любой скажет, что это честная, законная самозащита.

Неожиданно женщина повернула голову, стараясь уголком полузакрытого глаза поймать его взгляд.

— Ну что?.. Сказать что-нибудь хочешь?

Женщина как-то неестественно покачала головой. Вроде бы и утвердительно, вроде бы и отрицательно. Он приблизил лампу к ее лицу, пытаясь прочесть по глазам. Сначала он даже не поверил. В них не было ни злобы, ни ненависти, а лишь бесконечная печаль и, казалось, мольба о чем-то.

Быть не может... Наверно, кажется... «Выражение глаз» — это просто-напросто красивый оборот... Разве может быть в глазах какое-то выражение, если глазное яблоко лишено мускулов? Но все же мужчина заколебался и протянул было руки, чтоб ослабить полотенце, стягивавшее ей рот.

И тут же отдернул руки. Торопливо потушил лампу. Приближались голоса переносчиков корзин с песком. Чтобы потушенную лампу легче было найти, он поставил ее на самый край возвышающегося пола и, вынув из-под умывальника котелок с водой, припал к нему губами и стал жадно пить. Потом, схватив лопату, притаился у двери. Он весь взмок. Вот сейчас... Еще пять-десять минут терпения... Решительно подтянул к себе ящик с коллекцией насекомых.

## 16

— Эй! — раздался хриплый голос.

— Чего там делаете? — точно эхо, послышался другой, еще сохранивший молодые нотки.

Яма была погружена в такой густой мрак, что его, казалось, можно было почувствовать на ощупь, а снаружи уже, наверно, взошла луна, потому что на границе между песком и небом расплывчатым пятном темнела слившаяся группа людей.

С лопатой в правой руке мужчина пополз по дну ямы.

Наверху раздались непристойные смешки. Вниз опустилась веревка с крюком, чтобы поднимать бидоны.

— Тетка, побыстрей давай!

В ту же минуту мужчина, напружинившись, кинулся к веревке, подняв за собой столб песка.

— Эй, поднимай! — заорал он, вцепившись обеими руками в шершавую веревку с такой силой, что, будь это камень, пальцы все равно вошли бы в него.— Поднимай! Поднимай! Пока не поднимете, не отпущу... Женщина в доме валяется связанная! Хотите помочь ей — быстрее тяните веревку! А до тех пор никого не подпущу к ней!.. Если кто попробует сюда сунуться, лопатой башку раскрою... Суд будет — я выиграю! Снисхождения не ждите!.. Ну, что мешкаете? Если сейчас же поднимете

меня, не подам в суд, буду обо всем молчать... Незаконное задержание — преступление немалое!.. Ну, что там? Давайте тащите!

Падающий песок бьет в лицо. Под рубахой, от шеи вниз, ползет что-то неприятное, липкое. Горячее дыхание обжигает губы.

Наверху как будто совещаются. И вдруг — сильный рывок, и веревка поползла вверх. Тяжесть его болтающегося тела, значительно бóльшая, чем он предполагал, вырывает веревку из рук. Мужчина вцепился в нее с двойной силой... Спазма, точно от сдерживаемого смеха, сдавила живот, и изо рта веером вырвались брызги... Продолжавшийся неделю дурной сон рассыпался и улетает... Хорошо... Хорошо... Теперь спасен!

Неожиданно он почувствовал невесомость и поплыл в пространстве... Ощущение как при морской болезни разлилось по всему телу; веревка, которая до этого чуть ли не сдирала кожу с рук, теперь бессильно лежала в ладонях.

Эти мерзавцы отпустили ее!.. Перевернувшись через голову, он неловко упал в песок. Ящик для насекомых издал под ним противный треск. Потом что-то пролетело, задев щеку. Очевидно, крюк, привязанный к концу веревки. Что делают, негодяи! Хорошо, хоть не задел. Пощупал бок, которым упал на ящик,— кажется, нигде особенно не болит. Вскочил, как подброшенный, и стал искать веревку. Ее уже подняли наверх.

— Дурачье!

Мужчина завопил не своим голосом:

— Дурачье! Ведь раскаиваться-то будете вы!

Никакой реакции. Только тихий шепот — не различишь слов — плывет, точно дым. Что в этом шепоте, враждебность или насмешка — не разберешь. И это невыносимо.

Злоба и унижение, точно стальными обручами, сковали его тело. Он продолжал кричать, сжав кулаки так, что ногти впились во взмокшие ладони.

— Еще не поняли?! Слов вы, верно, не понимаете, но ведь я сделал и такое, что даже вы поймете! Не говорил я вам, что женщина связана?.. Пока не поднимете меня наверх или лестницу не спустите, она так и будет лежать связанная!.. И некому будет песок отгребать... Ну как, нравится?.. Подумайте хорошенько... Если все здесь засыплет песком, вам же будет хуже, верно?.. Песок пересыплется через яму и начнет надвигаться на деревню!.. Что тогда будете делать?.. Почему не отвечаете?!

Вместо ответа они просто ушли, оставляя за собой скрип корзин, которые волокли по песку.

— Почему?.. Почему вы уходите, так ничего и не сказав?

Жалкий вопль, который уже никто, кроме него, не слышал. Дрожа всем телом, мужчина нагнулся и стал на ощупь собирать содержимое разбитого ящика для коллекционирования насекомых. Бутылка со спиртом, видимо, треснула: когда он коснулся ее, между пальцами разлилась приятная прохлада. Он беззвучно заплакал. Горевал он не особенно сильно. Да и казалось ему, что плачет кто-то другой.

Песок полз за ним, как хитрый зверь. Блуждая в кромешной тьме, еле передвигая ноги, он с трудом добрался до двери. Ящик с отломанной крышкой тихонько на ощупь положил рядом с очагом. Рев ветра разорвал воздух. Из пустой банки у очага он вынул завернутые в полиэтилен спички и зажег лампу.

Женщина лежала все в той же позе, чуть больше наклонившись к полу. Она слегка повернула голову в сторону двери, стараясь, видимо, выяснить, что делается снаружи. Заморгала от света и сразу же снова плотно закрыла глаза. Как восприняла она жестокость и грубость, которые он только что испытал на себе?.. Хочет плакать — пусть плачет, хочет смеяться — пусть смеется... Еще не все потеряно. Я, и никто другой, держу запал к мине замедленного действия.

Мужчина опустился на колено за спиной женщины. Чуть поколебался, потом развязал полотенце, стягивавшее ей рот. И не потому, что почувствовал вдруг угрызения совести. И уж конечно не из жалости или сочувствия.

Он просто обессилел. И уже не мог выносить этого бесконечного напряжения. Кляп, в сущности, был ни к чему. Если бы тогда женщина и кричала о помощи, это, может быть, наоборот, вызвало бы растерянность среди его врагов и заставило бы их скорее решить все дело.

Женщина, вытянув подбородок, тяжело дышала. От ее слюны, смешанной с песком, полотенце стало серым и тяжелым, как дохлая мышь. Синие следы от врезавшегося полотенца, казалось, никогда не исчезнут. Чтобы размять одеревеневшие щеки, ставшие твердыми, как вяленая рыба, она беспрерывно двигала нижней челюстью.

— Уже время...— Взяв двумя пальцами полотенце, он отбросил его к земляному полу.— Пора им кончить совещаться. Сейчас прибегут с веревочной лестницей. Ведь если все останется как есть, им же самим хуже будет. Да, это точно... Не хотели беспокойств — нечего было тогда специально заманивать меня в эту ловушку.

Женщина проглотила слюну и облизнула губы.

— Но...— Язык еще плохо ее слушался, и она говорила глухо, точно с яйцом во рту.— Звезды взошли?

— Звезды?.. При чем тут звезды?

— А вдруг звезды не взошли...

— Ну и что, если не взошли?

Женщина, обессилев, снова замолчала.

— В чем же дело? Начали говорить — нечего останавливаться на полпути! Хотите составить гороскоп? Или, может, это местное суеверие?.. Еще скажете, что в беззвездные ночи нельзя опускать лестницу?.. Ну так что же? Ох, не могу я понять, когда молчат!.. Если хотите подождать, пока взойдут звезды, и потом сказать — дело ваше... Но что будет, если, пока вы ждете, разразится тайфун? Тогда уж нечего будет беспокоиться о звездах!

— Звезды...— Женщина точно по капле выдавливала слова из полупустого тюбика.— Если к этому времени звезды еще не взошли, особо сильного ветра не будет...

— Почему?

— Звезд-то не видно из-за тумана.

— Нужно же такое сказать. Разве сейчас ветер дует не так же, как раньше?

— Нет, тогда был намного сильнее. Слышите, он стихает...

Может быть, и верно, что она говорит. Звезды видны как в тумане потому, что у ветра не хватает силы разогнать испарения в воздухе. Нынешней ночью вряд ли будет сильный ветер... Значит, и они там в деревне не будут торопиться с решением... И то, что ему представлялось сначала вздором, нелепицей, оказалось неожиданно разумным ответом.

— В самом деле... Но я совершенно спокоен... Если они так, то и я могу выжидать. Где неделя, там и десять дней, и пятнадцать дней — разница невелика...

Женщина сильно поджала пальцы ног. Они стали похожи на присоски прилипалы. Мужчина рассмеялся. И, рассмеявшись, почувствовал, как к горлу подступила тошнота.

Ну что себя изводить?.. Разве ты не нащупал слабое место своих врагов?.. Почему же ты не успокаиваешься, не наблюдаешь?! Ведь когда ты наконец благополучно возвратишься домой, безусловно стоит описать все пережитое.

...О! Мы поражены. Наконец-то вы решились что-то написать. Действительно, пережили вы немало. Но на опыте мы учимся — ведь даже

дождевой червь не вытянется, если не раздражать его кожицу... Спасибо. Мне и правда многое пришлось продумать, даже заглавие уже есть... О! Ну и какое заглавие?.. «Дьявол дюн» или «Ужас муравьиного ада...» Да, интригующие заглавия. Но не создают ли они впечатление некоторой несерьезности?.. Вы так считаете?.. Какими бы ужасными ни были испытания, нет смысла обрисовывать лишь внешнюю сторону событий. Кроме того, герои трагедии — это ведь люди, которые там живут, и если в написанном вами не будет хотя бы намечен путь к решению проблемы, плакали тогда все эти ваши тяжелые испытания... Свинство!.. Что?.

Да, кажется, где-то чистят сточную канаву? Или, может быть, происходит какая-то особая химическая реакция между дезинфекцией, разбрызганной в коридоре, и запахом чеснока, который исходит у вас изо рта... Что?.. Ничего, ничего, не беспокойтесь, пожалуйста. Сколько я ни писал, вижу, что не гожусь в писатели... Это снова совершенно ненужная скромность, не к лицу она вам. Мне думается, не нужно смотреть на писателей как на что-то особенное. Если пишешь — значит, ты писатель... Существует устоявшееся мнение, что кто-кто, а уж эти учителя любят писать — дай им только волю... Это, наверно, потому, что профессионально они сравнительно близки к писателям... Это то самое творческое обучение? И не смотря на то, что сами и коробочку для мелков смастерить не умеют... Коробочки для мелков, благодарю покорно. Разве одно то, что тебе открывают глаза на тебя самого, не есть прекрасное творчество?.. И благодаря этому меня заставляют испытывать новые впечатления, несущие новую боль... Но и надежду!.. Не неся никакой ответственности за то, оправдается эта надежда или нет... Если с самого начала каждый не будет верить в собственные силы... Ну, хватит заниматься самообольщением. Ни одному учителю не позволителен подобный порок... Порок?.. Это я о писательстве. Желание стать писателем — самый обыкновенный эгоизм: стремление стать кукловодом и тем самым отделить себя от остальных марионеток. То самое, для чего женщины прибегают к косметике... Не слишком ли строго? Но если вы слово «писатель» употребляете в таком смысле, то, может быть, действительно следует в какой-то степени делать различие между тем, чтобы быть писателем и просто писать. ...Может быть. И именно поэтому я хотел стать писателем! Если не смогу, то и писать не стоит! ...Кстати, как выглядит ребенок, которому не дали обещанного?

## 17

Снаружи послышался звук, напоминавший хлопанье крыльев. Схватив лампу, мужчина выскочил за дверь. На дне ямы валялось что-то завернутое в рогожу. Наверху — ни души. Не притрагиваясь к свертку, он громко закричал. Никакого ответа. Он развязал веревку, стягивавшую рогожу. Пакет с неизвестным содержимым — это взрывчатка, к которой поднесен запал, именуемый любопытством. Против воли в глубине души затеплилась надежда: может быть, какие-нибудь приспособления, чтобы выбраться из ямы... Эти деревенские сбросили сюда все необходимое и поспешно убежали.

Но там был лишь маленький пакет, завернутый в газетную бумагу, и примерно литровая бутыль, заткнутая деревянной пробкой. В пакете три пачки, по двадцать штук, сигарет «Синсэй». И больше, хоть и не хотелось верить, ничего. Он еще раз взял рогожу за край и сильно встряхнул ее — посыпался только песок... На худой конец, хоть записочка должна бы быть, все еще надеялся он, но и ее не оказалось. В бутыли была дрянная водка, пахшая прокисшей рисовой лепешкой.

Для чего все это? . Сделка какая-нибудь?.. Он когда-то слыхал, что индейцы в знак дружбы обмениваются трубками. Да и водка — везде знак праздничества. Итак, можно с полным основанием предположить, что в такой форме они выражают свое стремление как-то договориться.

Обычно деревенские жители стесняются выражать свои чувства словами. В этом смысле они очень простодушны.

Но пока в сторону всякие соглашения — сначала сигареты. Как это он целую неделю вытерпел без них? Привычным движением надрывая уголок пачки, он ощутил глянцевитость бумаги. Щелкнул по дну и выбил сигарету. Пальцы, взявшие ее, слегка дрожали. Прикурив от лампы, он медленно и глубоко затянулся, и аромат опавших листьев разлился по всему телу. Губы онемели, перед глазами повис тяжелый бархатный занавес. Будто от удара, у него закружилась голова, охватил озноб.

Крепко прижав к себе бутылку, с трудом сохраняя равновесие, он медленно пошел в дом. Ноги не слушались. Голова, точно стянутая обручем, все еще кружилась. Он хотел посмотреть туда, где была женщина, но никак не мог повернуть голову. Лицо женщины, которое он увидел краешком глаза, показалось удивительно маленьким.

— Подарок, вот...— Он высоко поднял бутылку и потряс ею.— Здорово сообразили, верно? Теперь, спасибо им, мы можем заранее все отпраздновать... Без слов ясно... Я с самого начала все понял... Что прошло, то прошло... Ну как, может, за компанию рюмочку?

Вместо ответа женщина крепко закрыла глаза. Возможно, она сердится за то, что он не развязал ее? Глупая женщина. Ведь если бы она хоть на один вопрос как следует ответила, он бы сразу развязал ее. А может, ей просто обидно? Из-за того, что она не может удержать добытого с таким трудом мужчину и вынуждена — тут уж ничего не сделаешь — отпустить его. Какие-то основания у нее, пожалуй, есть... Ей ведь лет около тридцати, вдова. Сзади на щиколотках у нее какие-то странные, резко очерченные впадины. Он опять почувствовал прилив беспричинного смеха. Почему ноги у нее такие чудные?

— Хотите закурить? А то дам огоньку.

— Нет, не хочу, и так в горле сохнет...— тихо ответила она, покачав головой.

— Может, дать попить?

— Да ничего.

— Не стесняйтесь. Я ведь с вами сделал такое не потому, что питаю какую-то особую злобу именно к вам. Вы сами должны понять, что это было необходимо с точки зрения стратегии. И вот теперь они как будто уступили...

— Там, где есть мужчины, раз в неделю выдается водка и табак.

— Выдается?..— Большая муха, которой кажется, что она летит, когда на самом деле она бьется головой о стекло... Научное название Muscina stabulans... Почти ничего не различающие глаза, которые видят предметы раздробленными на кусочки... Даже не стараясь скрыть растерянность, он спросил беспокойно: — Но зачем же так затрудняться ради нас?! Разве не лучше дать людям возможность самим покупать, что им нужно?

— Работа очень тяжелая и много ее — ни для чего другого не остается времени... Да и деревне выгодно: часть расходов берет на себя Лига *.

Если так, все это означало не соглашение, а совсем наоборот — рекомендацию капитулировать!.. Да нет, пожалуй, еще хуже. Может

* Имеется в виду Всеяпонская лига помощи отверженным общинам. Как известно, после 1868 года каста париев (эта) была формально ликвидирована. Но фактически эта продолжают существовать и поныне. Жители деревни принадлежат к эта.

быть, он уже превратился в одно из колесиков, приводящих в движение повседневную жизнь, и в качестве такового внесен во все списки.

— Да, мне бы еще хотелось для верности спросить. Я первый, с которым вот такое случилось здесь?..

— Нет. Что ни говори, а рук-то ведь не хватает... И люди, у которых хозяйство, и бедняки — все, кто может работать, один за другим уходят из деревни... Нищая деревушка — песок один...

— Ну так как же...— Даже голос его приобрел защитную окраску — под цвет песка.— Кроме меня есть еще кто-нибудь, кого вы поймали?

— Да, это было в прошлом году, в начале осени... открыточник...

— Открыточник?

— Ну да, агент одной компании, которая выпускает открытки для туристов, приехал в гости к здешнему руководителю Союза... Чудесный пейзаж, говорит, только разрекламировать для городских жителей...

— И его поймали?

— Как раз в одном доме, в нашем же ряду, не хватало рабочих рук...

— И что же дальше?

— Да вроде сразу же и умер... Нет, он и с самого начала не очень крепкий был... А тут еще, как назло, время тайфунов, вот и перетрудился...

— Чего ж он сразу не сбежал?

Женщина не ответила. Так все ясно, что и отвечать нечего. Не убежал потому, что не смог убежать... Дело, конечно, только в этом.

— А кроме него?

— Да... в самом начале года был здесь студент, он, кажется, продавал книги.

— Коробейник, что ли?

— Какие-то тонюсенькие книжечки, всего по 10 иен. В них против кого-то было написано...

— Студент — участник движения за возвращение на родину... Его тоже поймали?

— Он и сейчас, наверно, живет в третьем от нас доме.

— И веревочная лестница тоже убрана?

— Молодежь никак у нас не приживается... Что же поделаешь, в городе платят лучше, да и кино и рестораны каждый день открыты...

— Но ведь не может быть, чтобы ни одному человеку еще не удалось убежать отсюда?

— Почему же, был один молодой парень, которого сбили с пути дружки, и он убежал в город... Кого-то он там ножом пырнул — даже в газетах об этом было... Срок ему дали, а после сюда обратно вернули, живет, наверно, спокойно под родительским кровом...

— Не об этом я спрашиваю! Я спрашиваю о тех, которые убежали отсюда и не вернулись!

— Это давно было... Помню, целая семья ловко сбежала ночью... Дом долго пустовал, и это стало очень опасно, но уже ничего не сделаешь... Правда, очень опасно... Если хоть одно место здесь рушится — это все равно что трещина в плотине...

— И после этого, говорите, не было?

— Думаю, что нет...

— Абсурд какой-то! — Жилы у него на шее вздулись, стало трудно дышать.

Вдруг женщина перегнулась пополам, точно оса, кладущая яйца.

— Что такое?.. Болит?

— Да, больно...

Он дотронулся до ее побелевшей руки. Потом просунул пальцы сквозь узел и пощупал пульс.

— Чувствуете? Пульс вполне хороший... По-моему, ничего серьезного. Понимаю, что поступаю плохо, но мне нужно, чтобы вы пожаловались тем, из деревни, которые виноваты во всем.

— Простите, вы не почешете мне шею, там, за ухом?

Застигнутый врасплох, он не мог отказать. Между кожей и коркой песка был слой густого пота, напоминавшего разлезшееся масло. Было ощущение, что ногти проходят сквозь кожу персика.

— Простите... Но правда отсюда еще никто не выбирался?..

Внезапно очертания двери превратились в бесцветную неясную линию и уплыли. Это была луна. Осколки тусклого света, точно крылышко муравья. И по мере того, как глаза привыкали, все дно песчаной чаши приобретало влажную глянцевитость, какая бывает на сочных молодых листьях...

— Ну что ж, в таком случае я буду первым!

## 18

Ждать было тяжело. Время лежало нескончаемыми петлями, похожими на внутренности змеи. Вперед можно двигаться, только проходя извилину за извилиной. И в каждой из них сомнения, самых разных видов, прятали каждое свое собственное оружие. И очень нелегко было продвигаться вперед, споря с этими сомнениями, игнорируя их или отбрасывая.

В мучительном ожидании прошла ночь. Рассвело. Из окна над ним смеялось утро, ползшее, как белое брюшко улитки, по его лбу и носу.

— Простите, водички бы...

Что такое? Наверно, задремал на какой-то миг. Рубаха, штаны на коленях сразу же взмокли. Песок, налипший на пот, и цветом, и на ощупь — точно недопеченная пшеничная лепешка. Он забыл прикрыть лицо, поэтому в носу и во рту пересохло, как на рисовом поле зимой.

— Простите, очень прошу...

Женщина, с ног до головы засыпанная песком, тряслась, как в лихорадке. Ее страдания, будто по проводам, передавались и ему. Он снял с котелка полиэтилен и сначала сам жадно припал к нему. Набрал немного воды, чтобы прополоскать рот, но одного раза, даже двух было недостаточно. Все время выплевывались комья песка. Потом махнул рукой и проглотил песок вместе с водой. Это было все равно что глотать камни.

Выпитая вода тут же проступила потом. Воспаленная кожа — от лопаток на всей спине, от ключиц на всей груди, на боках до поясницы болела так, точно ее сдирали слоями.

Наконец он попил и с виноватым видом поднес котелок ко рту женщины. Она схватила его зубами и, не прополоскав рта, стала пить, постанывая, как голубь. В три глотка она опорожнила его. Глаза ее, смотревшие на мужчину из-под припухших век, впервые наполнились беспощадным осуждением. Опустевший котелок стал легким, точно был сделан из бумаги.

Чтобы избавиться от неприятного чувства вины, мужчина спустился на земляной пол, стряхивая с себя песок. Может, хоть лицо протереть ей влажным полотенцем? Конечно, это гораздо разумнее, чем давать ей задыхаться от пота. Считается, что уровень цивилизации пропорционален степени чистоты кожи. Если у человека есть душа, она несомненно обитает в коже. Стоит только подумать о воде, как грязная кожа покрывается десятками тысяч сосков, готовых всосать ее. Холодная и

прозрачная, как лед, мягкая, как пух,— прекрасное вместилище для души... Еще минута — и кожа на всем его теле сгниет и отвалится.

Он заглянул в бак и вдруг отчаянно вскрикнул:

— Там пусто!.. Совсем пусто!

Он засунул в бак руку. Черный песок, скопившийся на дне, испачкал лишь кончики пальцев. Под кожей, жаждавшей воды, закопошились мириады раненых тысяченожек.

— Сволочи, про воду забыли!.. Может, они ее попозже собираются привезти?

Он прекрасно понимал, что хочет этим успокоить себя. Пикап всегда заканчивает работу и возвращается в деревню, как только рассветет. Замысел этих негодяев понятен. Они, видимо, решили прекратить доставку воды и довести его до исступления. И он вспомнил — ведь эти люди, прекрасно зная, как опасно срывать песчаный обрыв снизу, не сочли даже нужным предостеречь его. У них и в мыслях нет заботиться о том, чтоб с ним ничего не случилось. Они, наверно, и в самом деле не собираются выпускать отсюда живым человека, так глубоко проникшего в их тайну, и если уж встали на этот путь, то не сойдут с него до конца.

Мужчина остановился в дверях и посмотрел на небо. В красной краске, разлитой лучами утреннего солнца, с трудом можно было различить пушистые застенчивые облака... Небо не предвещает дождя. С каждым выдохом тело, казалось, теряет воду.

— Да что же они задумали?! Хотят убить меня, что ли?!

Женщина по-прежнему молча дрожала. Может быть, потому, что она все прекрасно знает. Короче — соучастница преступления, прикидывающаяся жертвой. Помучайся!.. Твои мучения — лишь справедливое возмездие.

Но все ее мучения ни к чему, если они не дойдут до тех подлецов из деревни. А ведь нет никакой гарантии, что они дойдут до них. Мало того, если им понадобится, они, вполне возможно, не постесняются и женщину принести в жертву. Может быть, поэтому она и напугана так. Зверь слишком поздно обнаружил, что щель, в которую он полез, надеясь убежать на волю, оказалась входом в клетку... Рыба, много раз стукнувшись носом, поняла наконец, что стекло аквариума — непреодолимая преграда... Он второй раз остался ни с чем. И сейчас оружие у них в руках.

Но пугаться нечего. Потерпевшие кораблекрушение гибнут не столько от голода и жажды, сколько из страха, что пищи и воды не хватит. Стоит только подумать, что проиграл, и в тот же миг начинается поражение. С кончика носа упала капля пота. Обращать внимание на то, сколько кубических сантиметров влаги потеряно,— значит попасться на удочку врага. Надо бы подумать, сколько нужно времени, чтобы испарился стакан воды. Ненужные волнения ведь не подгонят эту клячу — время.

— Может, развязать, а?

Женщина недоверчиво замерла, затаив дыхание.

— Не хотите — мне все равно... Хотите — развяжу... Но с одним условием... Без разрешения лопату в руки не брать... Ну как, обещаете?

— Очень прошу, ну пожалуйста! — Женщина, терпеливо, по-собачьи сносившая все, неожиданно, точно зонт, вывернутый порывом ветра, стала жалобно просить: — Что хотите обещаю! Очень прошу, ну пожалуйста... пожалуйста!..

Веревки оставили багровые рубцы. Сверху они были покрыты белесоватой пленкой. Лежа в том же положении, лицом вверх, женщина терла ладошки одна о другую. Потом начала пальцами разминать запястья. Чтобы не стонать, она стиснула зубы, на лице выступил пот. Вот она медленно перевернулась и встала на четвереньки: сначала на

колени, потом на руки. Наконец с трудом подняла голову. Некоторое время она оставалась в этом положении, слегка раскачиваясь.

Мужчина тихо сидел на возвышенной части пола. Он собирал во рту слюну и глотал. После нескольких глотков слюна стала вязкой, как клей, и застряла в горле. Ему не хотелось спать, но от усталости в сознании все расплывалось, как на влажной бумаге. Перед глазами мелькали какие-то мутные пятна и линии. Точно загадочная картинка. Есть женщина... Есть песок... Есть пустой бак из-под воды... Есть распустившее слюни животное... Есть солнце... И где-то — а где, он и сам не знает — есть, конечно, и район низкого атмосферного давления, и линии разрыва. С какой же стороны подступиться к этому уравнению с множеством неизвестных?

Женщина встала и медленно пошла к двери.

— Куда идешь?!

Лишь бы отвязаться, она пробормотала что-то, чего он не разобрал. Ему стало понятно, почему все это время ей было так плохо. За деревянной стеной сразу же послышалось, что она тихонько мочится. И вдруг все показалось ему до ужаса никчемным.



## 19

Это очень верно: время не начинает вдруг лететь галопом, как лошадь. Но и не тащится медленнее ручной тележки. Постепенно утренняя жара достигла своей высшей точки; она довела до кипения глаза и мозг, расплавила внутренности, подожгла легкие.

Песок, впитавший в себя ночную влагу, выпускает ее в виде испарений в атмосферу... Благодаря преломлению света, он сверкает, как мокрый асфальт... Но на самом деле эта, без всяких примесей, $^1/_8$ мм, суше поджаренной на сковороде муки.

И вот первый песчаный обвал... Привычный звук, без которого не начинается ни один день, но мужчина невольно переглянулся с женщиной. Один день песок не отгребали — какие будут последствия?.. Ничего особенного, подумал он, но все же забеспокоился. Женщина, опустив глаза, молчит. Всем своим видом показывает — беспокойся сам сколько угодно. Ну, раз так — пропади все пропадом, не станет он ее расспрашивать. Песчаный поток, сузившись было до тоненькой нитки, снова разросся, превратившись в оби *, и, повторив так несколько раз, наконец иссяк.

В общем, ничего страшного. Он облегченно вздохнул. Внезапно в щеке началась пульсация и жжение. Дешевая водка, о которой до этого он старался не вспоминать, стала вдруг неодолимо манить его к себе, точно светильник во тьме. Что б там ни было, а горло промочить не мешает. Не то вся кровь из тела испарится. Он прекрасно сознавал, что этим он сеет семена будущих мучений и потом раскается, но больше не мог противиться желанию. Вытащил пробку, поднес бутылку ко рту и стал пить прямо из горлышка. Но язык все еще оставался верным сторожевым псом — он заметался, испугавшись неожиданного вторжения. И захлебнулся. Будто от избытка кислорода. Человек не остановился перед соблазном сделать и третий глоток. Пьет в честь чего-то страшного...

Пришлось и женщине предложить. Но она, конечно, решительно отказалась. И с таким видом, будто ей отраву предлагают выпить. Как он и опасался, упавший в желудок алкоголь тотчас же, как шарик пинг-понга, подскочил к голове и стал жужжать в ушах, точно оса. Кожа ста-

* Женский пояс — кусок материала шириной 30—40 см.

новится жесткой, как шкура свиньи. Кровь разлагается!.. Кровь испаряется!

— Нужно что-то делать! Самой, наверно, тоже несладко? Веревки я ведь развязал — делай теперь что-нибудь!..

— Хорошо... Но если я не попрошу привезти воды кого-нибудь из деревни...

— А разве этого нельзя сделать?!

— Только если работу начнем, тогда...

— Брось шутить!.. Ну скажи... Разве такие права есть у кого-нибудь?!

Женщина опустила глаза и плотно сжала губы. Ну что ты будешь делать? Клочок неба, видневшийся в самом верху двери, из ярко-голубого превратился в блестяще-белесый, как внутренность морской раковины. Допустим, долг — это паспорт человека, но почему он должен визировать его у этих типов!.. Жизнь человека — не разбросанные обрывки бумаги... Она — закрытый, тщательно сброшюрованный дневник... Одной первой страницы для одного экземпляра вполне достаточно... И незачем выполнять свой долг на тех страницах, которые не будут иметь продолжения... Не хватит никакого времени, если каждый раз, когда ближние умирают от голода, принимать в них участие... Черт, как хочется пить!.. А сколько умирают от жажды — если бы ему нужно было хоронить всех умерших, то сколькими бы телами он ни обладал, их бы все равно не хватило.

Начался новый обвал.

Женщина поднялась и взяла веник, стоявший у стены.

— Не вздумай работать! Ведь обещала, кажется?

— Нет, с одеяла...

— С одеяла?

— Если вы немножко не поспите...

— Захочу спать — сам сделаю все, что нужно!

Неожиданный толчок, точно всколыхнулась земля, потряс дом. На миг глаза как дымом застлало от песка, посыпавшегося с потолка. Вот он, наконец, результат того, что песок не отгребали. Не имея стока, он прорвался вниз. Балки и столбы дома, сдерживая напор, жалобно застонали всеми суставами. Но женщина, пристально уставившись на притолоку двери, не выказала особого беспокойства. Наверно, потому, что давление испытывал еще только фундамент.

— Сволочи, негодяи... Сколько же можно?.. Им, видно, все нипочем...

Как сердце колотится... Ему не терпится ускакать, точно испуганному зайчонку... Не в силах усидеть в своей норе, оно готово забиться куда угодно — в рот, в уши, в кишки. Слюна стала еще более вязкой. Но горло пересохло ненамного сильнее. Наверно, потому, что выпил водки и слегка опьянел. Но как только алкоголь выветрится, оно начнет гореть огнем. И огонь испепелит его.

— Сделали такое... и радуются... Потому что и мышиных-то мозгов у них нет... Ну что они будут делать, если я здесь подохну?!

Женщина подняла голову, собираясь что-то сказать, но опять промолчала. Подумала, должно быть, что отвечать бесполезно. Это ее молчание как бы подтверждало, что разговоры бесцельны, что ответ может быть только плохим. Хорошо... если конец все равно один, почему бы ему не испробовать все, что только возможно?!

Мужчина еще раз глотнул из бутылки и, приободрившись, выскочил наружу. В глаза ударила струя расплавленного свинца, он пошатнулся. В следах, оставленных ногами, сразу же закружились водовороты песка. Вон там он ночью бросился на женщину и связал ее... Там где-то должна быть засыпана и лопата. Обвал как будто приостановил-

ся, но с обрыва, обращенного к морю, продолжал беспрерывно сыпаться песок. Временами, из-за ветра, что ли, этот поток отрывался от стены и развевался в воздухе, точно кусок полотна. Следя за тем, чтобы не вызвать новую лавину, он стал осторожно носком ботинка шарить в песке.

Недавно был обвал, значит, искать, наверно, нужно глубже, но нога нигде не встречала сопротивления. Прямые лучи солнца жгли нестерпимо. Сжавшиеся до точки зрачки... Желудок, дрожащий, как медуза... Острая боль, сковывающая лоб... Нельзя больше терять ни капли пота... Это предел. Да, но куда же запропастилась моя лопата?.. Точно, я ее держал в руках, собираясь использовать как оружие... Ну, значит, ее засыпало где-то там... Он стал осматривать дно ямы и сразу же увидел, что в одном месте песок возвышается в форме лопаты.

Мужчина собрался было сплюнуть, но тут же одернул себя. Все, что содержит хоть каплю влаги, нужно стараться удержать в организме. Между зубами и губами он постарался отделить песок от слюны, и только то, что налипло на зубах, счистил пальцем.

В углу комнаты женщина, повернувшись лицом к стене, что-то делала со своим кимоно. Может, ослабила пояс и вытряхивает забившийся внутрь песок? Мужчина взял лопату за середину ручки и поднял ее вровень с плечом. И только нацелился острием в наружную стену у дверей...

За его спиной раздался крик женщины. Он ударил лопатой, навалившись на нее всей тяжестью. Лопата легко прошла сквозь деревянную стену. Сопротивление не больше того, какое оказала бы сырая вафля. Омытая снаружи песком, стена выглядит как новая, но на самом деле уже почти совсем сгнила.

— Что вы делаете?!

— Разломаю ее на куски, и будет у меня материал для лестницы.

Выбрал другое место и попробовал еще раз. То же самое. Видимо, женщина была права, когда говорила, что песок гноит дерево. Если гнилая даже эта стена, на солнечной стороне, то можно себе представить, каковы остальные. Как только эта развалюха еще стоит... Покосившаяся набок, точно одна сторона у нее парализована... Может быть, в самое последнее время, когда стали строить дома только из бумаги и пластика, и существуют конструкции, которые держатся неизвестно как...

— Ну что ж, если доски не годятся, попробуем поперечные балки.

— Нельзя! Перестаньте, пожалуйста!

— Да чего там, песок его все равно вот-вот раздавит.

Не обращая на нее внимания, он размахнулся, чтобы ударить по бревну, но женщина с криком бросилась вперед и повисла у него на руке. Он вырвал локоть и развернулся, стараясь стряхнуть ее. Но, видимо, не рассчитал и, вместо того чтобы свалить женщину, упал сам. Тут же вскочил и набросился на нее, но она впилась в лопату железной хваткой. Что такое... Ведь силой она его взять не должна... Они несколько раз перекатились по земляному полу, и в тот короткий момент, когда ему уже казалось, что он ее одолел и прижал к полу, женщина, орудуя лопатой, как щитом, легко сбросила его с себя. Что ты будешь делать!.. Наверно, из-за того, что водки выпил... И уже не считаясь с тем, что его противник — женщина, он изо всех сил ударил ее согнутым коленом в живот.

Женщина закричала и сразу же обмякла. Не теряя ни минуты, он вскочил на нее и придавил сверху. Грудь ее обнажилась, и руки мужчины скользили по вспотевшему голому телу.

Вдруг они замерли, как бывает в кино, когда испортится кинопроектор. Еще минута — и драка за лопату могла превратиться в нечто совсем иное. Но тут она вдруг сказала хрипло:

— А ведь городские женщины все красивые, правда?

— Городские женщины?..— Он вдруг смутился... И угас... Опасность как будто миновала... Он не представлял себе, что мелодрама может существовать и здесь, в этих песках Но, видно, нет такой женщины, которая, даже раздвигая колени, не была бы убеждена, что мужчина оценит ее по достоинству, только если будет разыграна мелодрама. Эта трогательная и наивная иллюзия как раз и делает женщину жертвой одностороннего духовного насилия... Наивность женщины превращает мужчину в ее врага.

## 20

Жесткое, точно накрахмаленное, лицо, дыхание, вырывающееся со скоростью урагана, слюна вкуса жженого сахара... Ужасная затрата энергии. Пóтом вышло не меньше стакана влаги. Женщина медленно поднялась, опустив голову. Ее засыпанное песком лицо было на уровне его глаз. Неожиданно она высморкалась пальцами и вытерла руку песком. Потом наклонилась, и шаровары соскользнули вниз.

Мужчина с раздражением отвел глаза. Хотя сказать «с раздражением» было бы не совсем верно. На языке осталось какое-то странное ощущение, но не жажда — другое...

Он смутно ощущал, что существует два вида полового влечения. Например, люди типа «Ленты Мёбиуса», ухаживая за девушкой, начинают, как правило, с лекций о питании и вкусе. Если взять голодного человека, рассуждают они, для него существует лишь пища вообще, ему все на один вкус — и говядина из Кобе, и хиросимские устрицы... Но стоит ему насытиться, как он начинает различать вкус пищи... То же самое и в половом влечении: существует половое влечение вообще, и уже потом возникает половое влечение в частности... Секс тоже нельзя рассматривать вообще. Все зависит от места и времени: иногда необходимы витамины, в других случаях — угорь с рисом. Это была совершенная, глубоко продуманная теория, но, как ни печально, пока не нашлось ни одной девушки, которая бы предложила ему себя, чтобы испытать, в соответствии с этой теорией, половое влечение вообще или в частности. И совершенно естественно. Ни мужчину, ни женщину нельзя увлечь с помощью одной теории. Да и этот дурацки прямодушный «Мёбиус» прекрасно все понимал, и только потому, что ему было противно духовное насилие, он продолжал звонить у дверей пустых домов.

Он и сам не был, конечно, настолько романтичным, чтобы мечтать о чистых половых отношениях. Они возможны, лишь когда уже стоишь одной ногой в могиле... Начинающий засыхать бамбук спешит принести плоды... Умирающие от голода мыши во время миграции неистово совокупляются... Больные туберкулезом все как один страдают повышенной возбудимостью... Живущий в башне король или правитель, способный лишь на то, чтобы спускаться по лестнице, всего себя отдает постройке гарема...

Но, к счастью, человек не всегда находится под угрозой смерти. Человек, которому не нужно испытывать страха перед зимой, смог освободиться и от сезонных периодов любви. Но когда заканчивается борьба, оружие превращается в бремя. Пришел тот, кого именуют порядком, и вместо природы он дал человеку право контроля над клыками, когтями и полом. И половые отношения уподобились сезонному билету на пригородный поезд: при каждой поездке обязательно компостировать. Причем необходимо еще убедиться, что билет не поддельный. И эта проверка точно соответствует громоздкости установленного порядка. Она до невероятия обременительна. Самые различные документы: кон-

тракты, лицензии, удостоверение личности, пропуск, удостоверение об утверждении в звании, документ о регистрации, членский билет, документы о награждении, векселя, долговые обязательства, страховой полис, декларация о доходах, квитанции и даже родословная — в общем, необходимо мобилизовать все бумажки, какие только могут прийти на ум.

Из-за этого половые отношения оказываются погребенными под грудой документов, как личинки бабочки мешочницы. И все бы ничего, если бы этим дело ограничивалось. Но может быть, бумажки нужны и дальше?.. Не забыты ли еще какие-нибудь?.. И мужчина, и женщина снедаемы мрачными подозрениями, что противная сторона недостаточно ревностно собирала документы... И вот, чтобы показать свою честность, они выдумывают все новые и новые... И никто не знает, где же он, этот последний документ... И нет предела этим документам...

(Та женщина обвиняла меня в излишней придирчивости. Но я не придираюсь, это так и есть!)

— Но не таковы разве обязанности любви?

— Ни в коем случае! Любовь — это то, что остается, когда методом исключения отбрасываются запреты. Если не верить в это, значит, не верить ни во что.

Было бы, конечно, не резонным доходить до того, чтобы терпеть вещи дурного вкуса: прикреплять ко всему, что связано с полом, наклейки, будто это подарок. Будем каждое утро тщательно разглаживать любовь утюгом... Чуть поношенная, она становится старой... Но разгладишь складки — и она опять как новая... И как только она становится новой — тут же начинает стареть... Разве кто-нибудь обязан серьезно слушать подобные непристойности?

Конечно, если бы порядок гарантировал жизнь тем, кто его поддерживает, то еще имело бы смысл идти на уступки. Но на самом-то деле как? Шипы смерти падают с небес. Да и на земле видам смерти нет числа. То же начинает смутно ощущаться в половой жизни. Будто в руках — фиктивный вексель. Тогда-то и начинается подделка сезонного билета — когда один не удовлетворен. Ну что ж, это деловой подход. Или же, как неизбежное зло, признается необходимость духовного насилия. Без этого почти ни один брак не был бы возможен. Примерно так же поступают и те, кто проповедует свободную любовь. Они лишь под благовидным предлогом до предела рационализируют взаимное насилие. Если принять это как должное, то в нем, по-видимому, можно найти определенное удовольствие. Но свобода, сопровождающаяся беспрерывным беспокойством о плохо задернутых занавесках, приводит лишь к психическому расстройству.

■

Женщина, казалось, тонко ощущала чувства, владевшие мужчиной. Она как будто раздумала завязывать шнурок, поддерживавший шаровары. Конец распущенного шнурка висел у нее между пальцами. Своими кроличьими глазами она посмотрела на мужчину. Глаза ее походили на кроличьи не только из-за покрасневших век. Мужчина ответил ей взглядом, в котором время остановилось. Вокруг женщины распространялся резкий запах: так пахнет, когда варят жилистое мясо.

По-прежнему придерживая руками шнурок, она прошла мимо мужчины, поднялась в комнату и стала снимать шаровары. И так непринужденно, естественно, будто просто продолжала делать то, что начала раньше. А ведь это и есть настоящая женщина, промелькнуло у него в голове. И он решился. Болван, помедлишь еще немного — и все пропало. Он тоже быстро распустил ремень.

Еще вчера он бы, наверно, решил, что это очередной спектакль, который устраивает женщина,— как и та ямочка на щеке, и тот застенчивый смех. А может, так оно и есть. Но ему не хотелось так думать. Время, когда он мог использовать ее как предмет торга, уже прошло... Сейчас решить все может только сила... У него были все основания думать, что от торга нужно отказаться, что их отношения будут строиться на взаимном доверии...

Опустившись на одно колено, женщина скрученным полотенцем сметала песок с шеи. Неожиданно сорвалась новая лавина. Весь дом вздрогнул и заскрипел. Досадная помеха!.. Голову женщины в мгновение ока засыпало белой пудрой. Песок плавал в воздухе, точно туман. Плечи и руки тоже покрылись тонким слоем песка. Обнявшись, они ждали, когда кончится обвал.

Налипший песок пропитывался потом, а сверху сыпался новый и новый... Плечи женщины дрожали, мужчина тоже был раскален — вот-вот закипит... И все же непонятно, почему его с такой силой влекут к себе ее бедра?.. Настолько, что он готов вытягивать из себя нерв за нервом и обвивать вокруг ее бедер... Это напоминало прожорливость хищного зверя. Он весь был налит силой, точно скрученная пружина... С той он ни разу не испытывал такого...

Обвал прекратился. Мужчина, будто только этого и ждал, начал помогать женщине сметать песок с тела. Она хрипло смеялась. От груди к подмышкам, а оттуда к бедрам — руки мужчины становились все настойчивей. Пальцы женщины с силой впились в его шею; иногда она тихонько вскрикивала.

Когда он закончил, настала очередь женщины счищать песок с него. Он прикрыл глаза и ждал, перебирая ее волосы. Они были густые и жесткие.

Судорога... Повторяется то же самое... Она неизменно приходит, когда он, отдаваясь мечтам о чем-то, занимается другим делом: ест, ходит, спит, икает, кричит, соединяется с женщиной...

## 21

Видимо, он задремал ненадолго, беспокойно ворочаясь, весь в поту и слизи, напоминавшей прогорклый рыбий жир. Он видел сон. Ему снился разбитый стакан, длинный коридор с разъехавшимся полом, уборная с унитазом, доверху полным испражнений, ванная комната, которую он никак не мог найти, хотя шум воды все время был слышен. Какой-то мужчина пробежал с флягой. Он попросил глоточек воды, но тот злобно посмотрел на него и, как кузнечик, ускакал.

Мужчина проснулся. Что-то клейкое и горячее жгло язык. С удвоенной силой вернулась жажда... Пить!.. Сверкающая кристальная вода... Серебристые пузырьки воздуха, поднимающиеся со дна стакана... А сам он — водопроводная труба в заброшенном полуразрушенном доме, запыленная, затянутая паутиной, задохнувшаяся, как выброшенная из воды рыба...

Он встал. Руки и ноги тяжелые, как резиновые подушки, полные воды... Он подобрал валявшийся на земляном полу котелок и, запрокинув, поднес его ко рту. Секунд через тридцать на кончик языка упало две-три капли. Но язык впитал их, как промокательная бумага. А горло, так ждавшее этих капель, конвульсивно сжималось, безуспешно стараясь проглотить их.

В поисках воды мужчина перерывал около умывальника все, что попадалось под руку. Среди всех химических соединений — вода самое простое. Нельзя не найти ее, как не может быть, чтобы в ящике стола

не завалялась десятииеновая монета. Ага, запахло водой. Точно, запах воды. Мужчина стремительно сгреб со дна бака влажный песок и набил им рот. Подступила тошнота. Он нагнулся, живот сжала спазма. Его вырвало желчью, потекли слезы.

Головная боль точно свинцовым листом придавила глаза... Физическая близость в конечном счете лишь сократила путь к гибели. Вдруг мужчина, встав на четвереньки, начал по-собачьи разгребать песок на земляном полу. Вырыв яму до локтя, он увидел, что песок стал темным и сырым. Опустив туда голову, прижавшись к нему горящим лбом, он глубоко вдыхал запах песка. Если как следует подышать так, то в желудке кислород и водород непременно соединятся.

— Черт возьми, руки до чего грязные! — Он вцепился ногтями в ладонь и повернулся к женщине.— Ну что же наконец делать?! Воды правда больше нигде нет?!

Натянув на ноги кимоно и скорчившись, женщина прошептала:

— Нет, нету совсем...

— Нету? Что ж, с этим «нету» ты так и собираешься оставаться?!. Ведь здесь и жизни лишиться недолго... Дерьмо собачье!.. Быстро достань где хочешь!.. Прошу тебя... Слышишь? Я пока говорю «прошу».

— Но ведь стоит нам только начать работу и сразу же...

— Ладно, сдаюсь!.. Никуда не денешься, сдаюсь!..— Не хочу стать вяленой селедкой... Так подохнуть — ни за что. Ведь это капитуляция не от чистого сердца. Чтобы добыть воду, можно даже обезьяний танец исполнить — пусть смотрят.— Сдаюсь, честное слово... Но ждать обычного времени, когда подвозят воду,— благодарю покорно... Во-первых, в таком высушенном состоянии мы и работать-то не можем. Верно? Любым способом немедленно свяжись с ними... У самой, наверно, тоже горло пересохло?

— Если начнем работать, они сразу узнают... Всегда кто-нибудь с пожарной вышки смотрит в бинокль.

— Пожарная вышка?

Не железные ворота, не глухие стены, а маленький глазок в двери — вот что больше всего заставляет человека почувствовать, что он в тюрьме. Мужчина, сжавшись, стал мысленно осматривать окрестности. На горизонте — небо и песок, больше ничего... Нет там никакой пожарной вышки. А если ее не видно отсюда, то вряд ли оттуда видят нас...

— Если посмотрите от той стены обрыва, сразу все поймете...

Мужчина быстро нагнулся и поднял лопату. Думать сейчас о собственном достоинстве — все равно что старательно гладить утюгом вывалянную в грязи рубаху. Он выскочил наружу, будто за ним гнались.

Песок горел, как пустая сковорода на огне. От жара перехватило дыхание. Воздух отдавал мылом. Но нужно идти вперед. Только так можно приблизиться к воде. Когда он остановился у обрыва, обращенного к морю, и посмотрел вверх, то действительно различил самую верхушку черной вышки, не больше кончика мизинца. А малюсенький выступ сверху — возможно, наблюдатель. Уже, наверно, заметил. Он небось с нетерпением ждал этого момента.

Мужчина повернулся к черному выступу и, подняв лопату, энергично помахал ею. Он старался держать ее под таким углом, чтобы наблюдатель заметил блеск отточенного края... В глазах разливается горячая ртуть... Что там делает эта женщина? Могла бы прийти помочь...

Вдруг упала тень, точно влажный платок: облако, не больше опавшего листа, которое ветер гнал в уголке неба. Черт возьми, пошел бы дождь, не пришлось бы делать все это... Эх, вытянул бы он обе руки, а они полны воды... Потоки воды на оконном стекле... Струя воды, бьющая из желоба... Брызги дождя, дымящиеся на асфальте...

Снится ему — или видение претворилось в действительность — не-

ожиданно вокруг него возник шум и движение. Когда он пришел в себя, то увидел, что стоит внутри песчаной лавины. Он бросился к навесу дома и прижался к стене. Кости стали мягкими, как у консервированной рыбы. Жажда билась уже где-то в висках. И мелкие ее кусочки рассыпались по поверхности сознания темными пятнами. Вытянув вперед подбородок, положив руки на живот, он боролся с рвотой.

Раздался голос женщины. Повернувшись к обрыву, она что-то кричала. Мужчина с трудом поднял отяжелевшие веки и посмотрел в ту сторону. Тот самый старик, который привел его сюда, осторожно опускал на веревке ведро. Вода!.. Принесли наконец!.. Ведерко наклонилось, и на песчаном склоне образовалось мокрое пятно. Настоящая, самая настоящая вода!.. Мужчина закричал и бросился к ведру.

Когда ведро опустилось настолько, что его можно было достать, он оттолкнул женщину и, расставив ноги, стал осторожно, двумя руками, придерживать его. Он отвязал веревку, и — весь нетерпение — сразу же опустил в ведро лицо, и все его тело превратилось в насос. Он поднимал голову, передыхал и снова припадал к ведру. Когда он в третий раз оторвался от ведра, с его носа и губ лилась вода, он задыхался. У него подогнулись колени, глаза закрылись. Теперь была очередь женщины. Она ему не уступала: издавая звуки, будто тело ее — резиновый поршень, она в мгновение отпила половину ведерка.

Захватив ведро, женщина возвратилась в дом, а старик стал вытягивать веревку Но тут мужчина повис на ней и начал жалобно:

— Постойте! Я хочу, чтобы вы меня выслушали. Только выслушали. Прошу вас, подождите!

Старик, не противясь, остановился. В замешательстве он заморгал, но выражение лица у него почти не изменилось.

— Поскольку вы принесли воду, я сделаю то, что должен сделать. Я это обещаю и хочу, чтобы вы выслушали меня. Вы решительно ошибаетесь... Я школьный учитель... У меня есть друзья, есть профсоюз, педагогический совет и Ассоциация родителей и педагогов, и все ждут меня... Что ж, вы думаете — общественность будет молчать о моем исчезновении?

Старик провел кончиком языка по верхней губе и равнодушно улыбнулся. Нет, пожалуй, это и не была улыбка — просто он сощурил глаза, чтобы в них не попал песок, несшийся вместе с ветром. Но от взволнованного мужчины не укрылась бы даже морщинка.

— Что? В чем дело?.. Разве вам не понятно, что вы на грани преступления?

— Чего? С тех пор десять дней уж прошло, а из полиции ничего нет...— Старик говорил размеренно, слово за словом.— А если и через десять дней ничего нет, то чего уж там...

— Не десять дней, неделя!

Но старик не ответил. Действительно, такой разговор ничего сейчас не даст... Мужчина погасил возбуждение и продолжал голосом, которому постарался придать спокойствие:

— Да ладно, это не существенно... Лучше, может быть, вы спуститесь сюда и мы с вами сядем спокойно и поговорим? Я вам ничего не сделаю. Да если бы и хотел что-нибудь сделать — все равно не смог бы. Против вас я бессилен... Обещаю.

Старик по-прежнему хранил молчание. Мужчина задышал чаще.

— Ведь я понимаю, как важно для деревни отгребать песок... Что ни говори — вопрос жизни... Очень острый вопрос... Прекрасно понимаю... Если бы меня не заставляли насильно, может быть, я бы сам, по собственному почину захотел быть вместе с вами... Уверяю вас! Стоит увидеть, какова здесь жизнь,— и всякий из простой человечности захочет вам помочь. Но разве то, что я делаю, может считаться настоящей

помощью?.. Сомневаюсь... Почему вы не подумаете о каких-то других, более приемлемых способах сотрудничества?.. Людей нужно расставлять разумно... Самое благое желание помочь будет сломлено, если человеку не найдется правильного места... Верно ведь?.. Разве нельзя было найти лучший способ использовать меня, не прибегая к столь отчаянно рискованному предприятию?

Старик с таким видом, что не поймешь, слушает он или нет, повернул голову и сделал движение, будто отгонял разыгравшегося котенка. А может быть, он волнуется из-за наблюдателя на вышке? Может быть, боится на виду у него заниматься здесь разговорами?

— Согласитесь... Действительно, отгребание песка важное дело... Но это средство, а не цель... Цель — как-то защитить жизнь от страшной опасности... Верно ведь? К счастью, я довольно много занимался исследованием песка. Я глубоко интересовался этим вопросом. Поэтому я и приехал в такое место. Да, что ни говори, а песок в наши дни привлекает человека... Можно с успехом этим воспользоваться... Превратить здешние места в новый туристский район... Использовать песок, следуя за ним, а не противясь ему... Короче говоря, нужно попытаться решительно перестроить образ мышления...

Старик поднял глаза и сказал с безразличным видом:

— Какой там туристский район, если здесь нет горячих источников... Да и всем известно, что на туризме наживаются одни торговцы да приезжие...

Мужчине почудилась в его словах насмешка, и тут же он вспомнил рассказ женщины об открыточнике, которого постигла та же участь, и о том, что он заболел и умер.

— Да... Конечно, то, что я сказал,— это только к примеру... Думали ли вы о специальных сельскохозяйственных культурах, соответствующих свойствам песка?.. В общем, нет никакой необходимости во что бы то ни стало цепляться за старый образ жизни...

— Мы здесь прикидываем по-разному. Пробуем сажать и земляной орех, и растения, у которых корень луковицей... Посмотрели бы, как здесь тюльпаны растут...

— А как ведутся работы по защите от песков?.. Настоящие работы по защите от песков... Один мой товарищ работает корреспондентом... С помощью газеты удастся поднять общественное мнение. В этом нет ничего невозможного.

— Сколько бы это ваше общественное мнение ни жалело нас, оно ничего не стоит, если мы не получим денежной помощи.

— Вот я как раз и предлагаю начать кампанию за получение таких субсидий.

— Пески, которые несет ветер, власти решили не признавать стихийным бедствием и убытки не покрывают.

— Нужно их заставить!

— Да разве в нашей нищей префектуре можно чего-нибудь добиться... Мы изверглись... То, что мы сейчас делаем,— самое дешевое... А если надеяться на властей, так пока они там будут считать да прикидывать, нас как раз песок и накроет...

— Но ведь у меня-то, у меня-то есть совершенно определенное положение! — закричал мужчина во всю силу своих легких.— Вы вот, разве вы не родители своим детям? Вы не можете не понимать, что такое долг учителя!

В этот самый момент старик потянул веревку вверх. Застигнутый врасплох, мужчина выпустил ее. Что же это такое?.. Неужели старик делал вид, что слушает его, только для того, чтобы улучить момент и выдернуть у него из рук веревку?.. В растерянности он водил в воздухе вытянутыми руками.

— Вы сумасшедшие... Вы ненормальные... Ведь даже обезьяна, если ее научить, сможет отгребать песок... Я способен на гораздо большее... Человек обязан полностью использовать свои возможности...

— Угу...— бросил старик небрежно, показывая всем своим видом, что ему надоела эта болтовня.— Ну ладно, простите, если что не так. Все, что можем, мы для вас сделаем...

— Подождите! Шутки в сторону! Эй, подождите, пожалуйста!.. Пожалеете! Вы ведь еще ничего не поняли!.. Прошу... Ну подождите!..

Но старик ни разу даже не оглянулся. Сгорбившись, будто нес на плечах тяжелый груз, он встал и пошел. Через три шага исчезли его плечи, а после четвертого он совсем скрылся из виду.

Мужчина в изнеможении прислонился к стене. Руки и голову он погрузил в песок, и песок посыпался за ворот, подушкой раздулся в том месте, где пояс брюк стягивал рубаху. Вдруг обильный пот выступил на шее, лице, между ног. Из него вышла вся только что выпитая вода. Соединившись, пот и песок образовали подобие горчичника, плотно прилипшего к коже. Кожа распухла и стала похожа на гладкий резиновый плащ.

Женщина уже приступила к работе. Мужчина вдруг заподозрил, что она допила остаток воды. В панике он бросился в дом.

Вода стояла нетронутой. Одним духом он отпил три-четыре глотка и опять поразился вкусу этого прозрачного минерала. Он не мог скрыть беспокойства. До вечера ему этим никак не продержаться. А на приготовление еды уж конечно не хватит. Точно эти типы рассчитали. Страх перед жаждой — это вожжи, на которых они собираются водить меня как захотят.

Надвинув на самые глаза большую соломенную шляпу, он выскочил наружу, будто за ним гнались. Его мысли и суждения перед лицом жажды превратились в жалкие снежинки, упавшие на горячий лоб. Если десять стаканов — приторный сироп, то один стакан — скорее кнут.

— Ну, где она там, эта лопата?..

Женщина указала под навес и, устало улыбнувшись, отерла рукавом пот со лба. Хоть она была вся изломана, но ни на миг не забыла, где стоят инструменты. Это привычный образ мышления, естественно приобретаемый человеком, живущим в песках.

В тот миг, как он взял в руки лопату, его усталые кости укоротились, точно ноги складного треножника. Наверно, потому, что в прошлую ночь он почти не сомкнул глаз. При любых обстоятельствах нужно, видимо, прежде всего договориться с женщиной о минимальном объеме работы, который необходимо выполнять. Но ему было просто трудно разговаривать. Может быть, потому, что разговору со стариком он отдал так много сил, голосовые связки расползлись на кусочки, как прелая пряжа. Точно автомат, он стал рядом с женщиной и заработал лопатой.

Они копали, согласно продвигаясь вперед между обрывом и домом, будто их связали друг с другом. Дощатые стены дома, мягкие, как недопеченная рисовая лепешка, превратились в рассадник для грибов. Наконец они сгребли песок в одну кучу. Потом стали насыпать его в бидоны и оттаскивать на очищенное место. Оттащив все бидоны, они снова принялись копать.

Бездумные, почти автоматические движения. Рот полон вспененной слюны, напоминающей по вкусу сырой белок... Слюна бежит по подбородку и капает на грудь, но он не обращает на это внимания.

— Знаете, перехватите ее левой рукой вот так, чуть пониже...— тихо заметила женщина.— Тогда ею можно не двигать, а правая будет как рычаг, и устанете вы гораздо меньше.

Каркнула ворона. Свет из желтого внезапно превратился в голубой.

Боль, точно снятая крупным планом, растворилась в окружающем ландшафте. Вдоль побережья низко пролетели четыре вороны. Концы их крыльев отливали темной зеленью, и мужчина почему-то вспомнил о цианистом калии в банках для насекомых. Да, пока не забыл, нужно переложить их в другую коробку и завернуть в полиэтилен. А то от жары они в два счета рассыплются...

— На сегодня, пожалуй, хватит...

Сказав это, женщина посмотрела на верх обрыва. Ее лицо стало совсем сухим, и, хотя оно было покрыто слоем песка, мужчина понял, что в нем нет ни кровинки. Вокруг все потемнело, будто покрылось ржавчиной. Ощупью, сквозь тоннель помутившегося сознания, он добрался наконец до своей засаленной постели. Когда вернулась женщина — он уже не слышал.

## 22

Если промежутки между мускулами залить гипсом, то, наверно, самочувствие будет примерно такое же. Глаза как будто открыты, но почему так темно? Где-то мышь тащит что-то в свою нору... В горле жжет, будто рашпилем провели... Изо рта запах как из выгребной ямы... Покурить хочется... Нет, раньше, пожалуй, попью... Вода!.. Он тут же возвращается к действительности... Вот оно что. Это была не мышь — женщина начала работать!.. Сколько же времени он проспал?.. Пробовал подняться, но какая-то страшная сила снова бросила его на матрас... Вдруг он сообразил и сорвал с лица полотенце. Сквозь раскрытую настежь дверь проникал свежий лунный свет, точно пропущенный через желатин. Незаметно снова наступила ночь.

Рядом с постелью стоял котелок, лампа и бутылка с водкой. Он быстро приподнялся на локте и прополоскал рот. Воду выплюнул подальше, к очагу. Медленно, со смаком сделал несколько глотков. Пошарил около лампы, нащупал мягкий сверток — спички и сигареты. Зажег лампу, поднес огонь к сигарете. Отпил немного из бутылки. Разбитое на куски сознание стало постепенно складываться в нечто целое.

В свертке была и еда. Еще теплые три колобка из риса и муки, две вяленые селедки, высохшая сморщенная маринованная редька и немного вареных овощей, горьких на вкус,— кажется, сушеные листья той же редьки. Одной селедки и колобка было достаточно. Желудок сжался до размеров резиновой перчатки.

Когда он встал, суставы затрещали, как железная крыша под порывом ветра. С опаской мужчина заглянул в бак. Он был снова наполнен до краев. Мужчина смочил полотенце и приложил его к лицу. Дрожь пронзила все тело, как искра — лампу дневного света. Он протер шею, бока, стер песок между пальцами. Может быть, такими мгновениями и нужно определять смысл жизни.

— Чайку не хотите? — Женщина стояла в дверях.

— Не стоит... Живот как барабан — водой налит.

— Спали хорошо?

— Когда вставала, надо было и меня разбудить...

Опустив голову, женщина сказала со смешком в голосе, будто ее щекотали.

— Я за ночь три раза вставала, поправляла у вас на лице полотенце.

Это было кокетство трехлетнего ребенка, с трудом научившегося наконец подражать смеху взрослых. Ее растерянный вид ясно показывал, что она просто не знает, как лучше выразить переполнявшую ее радость. Мужчина хмуро отвел глаза.

— Помочь копать?.. Или лучше носить бидоны?

— Да ведь... уже время. Вот-вот должны корзины спускать...

Начиная работать, он удивился, что не ощутил того сопротивления, которого ждал от себя. В чем причина этой перемены? Может быть, в боязни остаться без воды или в долге перед женщиной, а возможно, в характере самого труда? Действительно, труд помогает человеку примириться с бегущим временем, даже когда оно пролетает бесцельно.

Однажды «Лента Мёбиуса» затащил его на какую-то лекцию. Место, где она проводилась, было огорожено низкой ржавой железной решеткой, за которой валялось столько обрывков бумаги, пустых банок, каких-то тряпок непонятного назначения, что земли совсем не было видно. Почему проектировщику взбрело в голову возводить здесь ограду? И, как бы отвечая на этот его недоуменный вопрос, появился какой-то человек в поношенном пиджаке, который перегнулся через железную ограду и старательно скреб ее пальцами. «Лента Мёбиуса» шепнул ему, что это переодетый в штатское полицейский. На потолке расплылись кофейного цвета дождевые потеки — таких огромных он никогда не видел. И вот в такой обстановке лектор говорил: «Нет иного пути возвыситься над трудом, как посредством самого труда. Не труд сам по себе имеет ценность, а преодоление труда трудом... истинная ценность труда в силе его самоотрицания».

Послышался резкий свист. Вложив пальцы в рот, кто-то подавал условный сигнал. Беззаботные выкрики, сопровождающие подъем корзины с песком, по мере приближения к их яме становились все тише. Опускались корзины уже в полной тишине. Он чувствовал, что за ним наблюдают, но кричать, обратившись к стене, сейчас было еще бессмысленнее, чем раньше. Когда нужное количество песка было благополучно поднято наверх, напряженность исчезла, атмосфера как будто разрядилась. Никто ничего не сказал, но было впечатление, что необходимое взаимопонимание достигнуто.

В поведении женщины тоже произошла заметная перемена.

— Перекурим... Я чайку принесу...

И в ее голосе, и в движениях чувствовалась бодрость. Она была полна игривости, которую даже не старалась скрыть. Мужчина был пресыщен, будто объелся сахара. Но все же, когда женщина проходила мимо него, он слегка похлопал ее по заду. Когда напряжение слишком повышается, предохранитель перегорает. Ни в коем случае не нужно ее так обманывать. Он ей как-нибудь расскажет о страже, защищавшем призрачную крепость.

Была крепость... Нет, не обязательно крепость — завод, банк, игорный дом — неважно. И вместо стража вполне может быть охранник или просто сторож. Итак, страж, постоянно ожидая нападения врага, всегда был начеку. Наконец враг, которого он столько ждал, пришел. Страж тотчас же затрубил в сигнальную трубу. Однако, как ни странно, от главных сил никакого ответа не последовало. Ясно, что враг без труда, одним ударом смел стража. В свои последние минуты он видел, как сквозь туман, что враг, не встречая сопротивления, словно воздух, прорывался через ворота, стены, дома. На самом деле воздухом был не враг, а крепость. Страж, одинокий, как сухое дерево в диком поле, всю жизнь охранял видение...

Мужчина сел на лопату и стал закуривать. С третьей спички он наконец закурил. Усталость, точно тушь, влитая в воду, расходилась кругами, расползалась, как медуза, превращалась в причудливый орнамент, в схемы атомных ядер, и наконец растворилась. Ночная птица, заметив полевую мышь, противным голосом зовет свою подругу. Глухо лает обеспокоенная чем-то собака. Завывают, сталкиваясь высоко в

небе, потоки воздуха. А на земле резкий ветер, как нож, слой за слоем сдирает тонкую шкуру песка.

Мужчина стер пот, высморкался пальцами, стряхнул песок с головы. Песчаные узоры у него под ногами были похожи на гребни разом застывших волн.

Будь это звуковые волны, какую бы музыку они принесли? Если зажать нос щипцами для угля, забить уши сгустками крови, выбить молотком зуб за зубом, то тогда и человек смог бы, наверно, напеть эту мелодию... Но это слишком жестоко, и несмотря на жестокость мелодия все равно будет не та... Вдруг ему показалось, что его глаза подобно птицам взвились высоко в небо и оттуда внимательно смотрят на него. И не кто иной, как именно он сам, думающий о странности всего происходящего, ведет очень странную жизнь.

## 23

Got a one-way ticket to the blues, woo woo...

(Я купил билет в один конец в небеса, вуу, вуу)... Хочешь петь — пой, пожалуйста. На самом деле человек, которому всучили билет в один конец, ни за что не станет так петь. Подметки у людей, имеющих билет лишь в один конец, очень тонки, и они вскрикивают, наступая даже на самый маленький камешек. Дальше — ни шагу. Им хотелось бы спеть блюз о билете в оба конца. Билет в один конец — это распавшаяся на части жизнь без связи между вчерашним днем и сегодняшним, между сегодняшним и завтрашним. И только человек, зажавший в кулаке обратный билет, может напевать чуть грустную песенку о билете в один конец. Это уж точно. Именно поэтому он в постоянной тревоге — боится, что потеряет половину билета для поездки назад или ее украдут; он покупает акции, страхует жизнь, двуличничает с профсоюзом и начальством. Он затыкает уши, чтобы не слышать истошных криков о помощи, доносящихся из сточных канав и выгребных ям,— криков тех, кому достались билеты в один конец. Чтобы не думать, он на всю мощь включает телевизор и во весь голос поет блюз о билете в один конец. И можно быть уверенным, что каждый заключенный будет петь блюз о билете в оба конца.

■

Как только выдавалась свободная минута, мужчина теперь украдкой делал веревку. Он разорвал на полосы верхнюю рубаху, связал, привязал к ним пояс от кимоно покойного мужа женщины — и получилось метров пять. Придет время, и он привяжет к концу веревки старые ржавые ножницы, которые должны быть полуоткрыты, для чего он вложит в них щепку и закрепит. Веревка пока еще коротка. Чтобы получилась нужная длина, придется привязать и соломенную веревку, натянутую над земляным полом, на ней сушится рыба и зерно, и еще бельевую веревку.

Эта идея возникла совершенно неожиданно. Но ведь совсем не обязательно, чтобы осуществлялись лишь планы, вынашиваемые длительное время. Поскольку невозможно осознать путь, по которому движется мысль при выработке плана, подобное неожиданное прозрение имеет основу в самом себе. У неожиданных решений гораздо больше шансов на успех, чем у тех, которые бесконечно обдумываются и взвешиваются.

Теперь оставался лишь один вопрос — время осуществления плана. Выбраться из ямы лучше всего днем, пока женщина спит. Это решено. Но проходить через деревню засветло — никуда не годится. Лучше всего, наверно, сделать так: вылезти наверх перед самым пробуждением жен-

щины, спрятаться в надежном месте и, подождав захода солнца, начать выбираться из деревни. Воспользовавшись темнотой, пока не взошла луна, можно будет довольно легко добраться до шоссе, по которому ходят автобусы.

Все это время мужчина старался выведать у женщины рельеф местности и расположение деревни. Как ведет хозяйство деревня, которая не имеет ни одного рыбачьего судна, хотя и стоит на берегу моря?.. С какого времени оказалась она в таком положении?.. Сколько всего народу живет в деревне?.. Кто и где выращивает тюльпаны?.. Какой дорогой ходят дети в школу?.. Соединив полученные таким путем косвенные сведения о деревне со своими смутными воспоминаниями того единственного дня, когда он видел ее своими глазами, удалось мысленно нарисовать примерный план местности.

Идеальным было бы, конечно, совершить побег, не проходя через деревню, а минуя ее. Но с запада путь преграждает обрывистый мыс, и хотя он не особенно высок, но волны, вгрызавшиеся в него с незапамятных времен, превратили его в нагромождение отвесных скал. Там, правда, есть тропки, по которым карабкаются жители деревни, когда ходят собирать хворост, но они скрыты в зарослях и их не так просто отыскать. Слишком же назойливые расспросы могли вызвать у женщины подозрение. А к востоку от деревни в сушу глубоко, километров на десять, вдается залив, окаймленный безлюдными дюнами. Он делает резкий поворот и подходит почти к самому началу деревни. Таким образом, она находится как бы в песчаном мешке, стянутом у горла отвесными скалами и заливом. Поэтому, чем терять время на блуждания и дать возможность этим типам организовать погоню, гораздо безопаснее осуществить смелый прорыв по центру.

Но все это еще не означает, что проблема решена. Ну, хотя бы наблюдатель на этой злополучной пожарной вышке. Кроме того, следовало опасаться, что женщина, обнаружив его побег, поднимет шум и выход из деревни будет перекрыт раньше, чем он ее минует. Может быть, две эти проблемы удастся в конечном счете свести к одной. Первые переносчики песка всегда привозят воду и все необходимое значительно позже захода солнца. И если женщина захочет сообщить о его исчезновении до их прихода, она может сделать это только через наблюдателя на пожарной вышке. Поэтому вопрос сводится к тому, как быть с наблюдателем.

К счастью, в этом месте, видимо из-за резкой смены температуры, примерно в течение тридцати минут, а иногда и целого часа перед заходом солнца землю застилает легкий туман. Происходит это потому, что кремниевая кислота, содержащаяся в песке, обладающем малой теплоемкостью, быстро отдает впитанное за день тепло. Если смотреть с вышки, вся эта местность находится по отношению к ней под углом отражения света, и даже малейший туман превращается для наблюдателя в толстую белую пелену, сквозь которую он не может ничего разглядеть. Для верности он еще раз убедился в этом позавчера. У подножия обрыва, обращенного к морю, некоторое время размахивал полотенцем, как будто сигналя о чем-то, но, как и предполагал, никакой реакции не последовало.

Осуществить свой план он решил на четвертый день после того, как придумал его: выбрал субботний вечер, когда привозят воду для мытья. В ночь перед побегом он решил притвориться простуженным, чтобы как следует выспаться. Из предосторожности сделал даже так, что его заставили выпить аспирин. Таблетки, похоже, долго валялись где-то в дальнем углу мелочной лавки — совсем потеряли цвет. Он принял две таблетки, запив их водкой, и результат не замедлил сказаться. Пока

женщина не возвратилась, закончив работу, он не слышал ни звука — только один раз поднимали корзины с песком.

Женщине после долгого перерыва снова пришлось работать одной, и она валилась с ног от усталости. Пока она спешила с приготовлением и так уже запоздавшей еды, он лениво болтал о разных разностях — говорил, например, что хорошо бы починить умывальник, давно прохудившийся. Женщина не выказывала раздражения, боясь повредить его здоровью и считая, наверно, его эгоизм свидетельством того, что он уже пустил здесь корни. После работы каждому хочется помыться. Но особенно раздражает песок, прилипший к коже, вспотевшей во время сна... А тут как раз день, когда привозят воду для мытья, да и для нее удовольствие мыть его, так что сегодня она, вероятно, будет покладистой.

Пока женщина мыла его, он внезапно почувствовал желание и сорвал с нее кимоно. Он тоже захотел помыть ее. Женщина замерла в растерянности и ожидании. Потом протестующе подняла руку, но было не ясно, чему, собственно, она противится. Мужчина поспешно вылил на нее ковш горячей воды и без мочалки, мыльными руками начал тереть ее тело. Руки скользили от шеи к подбородку, по плечам, и одна добралась до груди. Женщина вскрикнула и приникла к нему. Она ждала. Но мужчина медлил. Его руки все еще блуждали по ее телу.

Возбуждение женщины передалось наконец и ему. Но вдруг им овладела какая-то непонятная тоска. Женщина вся светилась изнутри, точно в ней горели светлячки. Предать ее сейчас — все равно что приговоренному к смерти позволить бежать и тут же выстрелить ему в спину... Он неистово набросился на нее, подстегивая вновь проснувшееся желание. Но любая страсть имеет границы. Сначала женщина, так ждавшая ласки, испугалась ярости мужчины, и он впал в прострацию, будто уже удовлетворил желание. Потом снова стал распалять себя, будоража воображение разными рискованными ситуациями, целуя ее грудь, терзая тело, которое от мыла, пота и песка казалось покрытым машинным маслом, смешанным с железными опилками. Он готов был продолжать так хоть два часа. Но женщина наконец даже зубами заскрипела от боли и опустилась на корточки. Он бросился на нее... В мгновение все было кончено. Он стал поливать ее водой, чтобы смыть мыло, а потом насильно заставил выпить водки с растворенными в ней тремя таблетками аспирина. Теперь до самого захода солнца, а если повезет, то и до тех пор, пока ее не разбудят криками переносчики песка, она будет крепко спать.

Женщина сопела во сне, будто нос ей заткнули бумажной пробкой... Она глубоко дышала. Мужчина слегка тронул ее за пятку, но она даже не шевельнулась... Пустой тюбик, из которого выдавили чувственность. Он поправил полотенце, прикрывавшее ее лицо, и сдернул к коленям кимоно, скрученное, как веревка, и задранное вверх. К счастью, он занят последними приготовлениями и у него нет времени предаваться сантиментам. Когда он кончил колдовать со старыми ножницами, как раз настал нужный момент. В последний раз взглянув на женщину, он, как и ожидал, почувствовал, что у него сжалось сердце.

По стенам ямы, примерно в метре от верха, разливался слабый свет. По расчетам должно быть половина седьмого, без двадцати семь. Самое время. Он с силой завел руки назад и сделал несколько движений шеей, расправляя затекшую спину.

Сначала нужно подняться на крышу. Лучше всего бросать предмет под углом, близким к сорока пяти градусам. Он хотел попробовать влезть на крышу с помощью веревки, но не решился — стук от удара ножниц о крышу мог разбудить женщину. Поэтому лучше отказаться от такого эксперимента, а обойти дом кругом и взобраться на него.

пользуясь полуразвалившимся навесом, под которым когда-то сушили белье. Тонкие четырехгранные перекладины почти сгнили, и это пугало его. Но самое опасное было впереди. Крыша, отполированная носившимся в воздухе песком, сверкала белым тесом, как новая. Но стоило ему туда взобраться, оказалось, что она мягкая, как бисквит. Вот будет дело, если провалится. Распластавшись, он осторожно пополз вперед. Наконец добрался до конька и, оседлав его, встал на колени. Уже и верх крыши был в тени, и ярко выделявшиеся зерна песка, цвета засахаренного меда, на краю ямы с западной стороны указывали на то, что начинает спускаться туман. Теперь можно не опасаться наблюдателя с вышки.

Взявшись правой рукой за веревку примерно в метре от ножниц, он начал крутить ее над головой. Он метил в те самые мешки, которые использовали вместо блоков для подъема корзин. Если они могли выдержать веревочную лестницу — значит, врыты достаточно прочно. Он вращал веревку все быстрее, потом прицелился и бросил ее. Она полетела совсем в другую сторону. Неправильно рассчитал. Ножницы должны лететь по касательной к окружности; поэтому веревку нужно выпускать из рук в тот момент, когда она будет под прямым углом к цели или за мгновение до этого. Да, это точно!.. Жаль, на этот раз ножницы, ударившись о середину обрыва, упали вниз. Как видно, скорость вращения и угол возвышения были недостаточными.

Делая новые и новые попытки, он наконец точно определил расстояние и направление. До успеха было, правда, еще далеко. Он был бы рад даже малейшему обнадеживающему признаку. Но пока не похоже, чтобы ошибки сокращались,— наоборот, усталость и нервозность приводили к еще бóльшим ошибкам. Да, все это представлялось ему значительно проще. Он нервничал, злился и был готов расплакаться, хотя его ведь никто и не обнадеживал.

А ведь, пожалуй, закон вероятности, согласно которому возможность прямо пропорциональна количеству попыток, не так уж неверен. И когда он, неизвестно даже в который раз, просто так, без всякой надежды бросил веревку, она неожиданно попала прямо на мешки. Мужчина замер с раскрытым ртом. Побежала переполнившая рот слюна. Но радоваться еще рано... У него в руках пока лишь деньги для покупки лотерейного билета... Выиграет билет или нет — покажет будущее. Каждый его нерв был точно привязан к веревке. Он потянул ее к себе, осторожно, будто нитью паутины подтягивая звезду.

Почувствовал сопротивление. Сначала трудно было в это поверить, но веревка действительно не шелохнулась. Потянул сильнее... Напрягшись, ждал — вот-вот сорвется... Но уже никаких сомнений не было. Ножницы, превращенные в крюк, прочно впились в мешки. Как повезло!.. Как невероятно повезло!.. С этой минуты все пойдет хорошо! Непременно!

Мужчина быстро слез с крыши и подбежал к веревке, которая теперь спокойно свисала вниз, перерезая песчаную стену. Вон там, там поверхность земли... Так близко, что просто не верится... Лицо напряглось, губы дрожали. Колумбово яйцо было несомненно крутым. Но если сварить его слишком круто, то все испортишь.

Ухватившись за веревку, он повис на ней всей тяжестью. И сразу же она стала тянуться, как резиновая. От испуга он весь покрылся потом. К счастью, вытянувшись сантиметров на тридцать, веревка перестала растягиваться. Он снова повис на ней. И на этот раз оснований для беспокойства не было. Поплевав на ладони, обхватив веревку ногами, он начал подниматься. Он взбирался, точно игрушечная обезьянка на игрушечную пальму. Может быть, от возбуждения пот, выступивший на лбу, был холодным. Мужчина старался, чтобы песок не сыпался на него,

и взбирался, цепляясь только за веревку, от чего тело его вращалось. Все шло гораздо медленнее, чем он предполагал. Земное притяжение поистине ужасно. И откуда взялась эта дрожь? Руки двигались помимо его воли, казалось, он сам себя выбрасывает наверх. В этом не было ничего странного, если вспомнить сорок шесть дней, пропитанных ядом. Когда он поднялся на метр, дно ямы ушло в глубину на сто метров, когда поднялся на два — оно ушло на двести. Глубина все увеличивалась и стала наконец головокружительной... Смертельно устал... Не нужно смотреть вниз!.. Но вот уже и поверхность... Земля, опоясанная дорогами, по которым можно свободно шагать куда угодно, хоть на край света... Когда он доберется до поверхности, все, что здесь было, превратится в маленькие цветки, засушенные на память между страницами записной книжки... И ядовитые, и плотоядные — все они превратятся в тонкие полупрозрачные клочки цветной бумаги, и, попивая чай у себя дома, держа их на свет, он будет с удовольствием рассказывать обо всем, что с ними связано.

И как раз поэтому у него пропало всякое желание обвинять женщину. Можно дать полную гарантию, что она не была ни добродетельной, ни проституткой. Если потребуются рекомендательные письма, он готов дать их ей с радостью — сколько угодно, хоть десяток. Но как глупа эта женщина, которая только и могла, что ухватиться со мной за один и тот же билет в оба конца. Ведь даже если билет один и тот же, когда место отправления противоположное, противоположным будет, естественно, и место назначения. И нет ничего удивительного в том, что его обратный билет будет ее билетом туда.

Пусть женщина совершила какую-то ошибку... Но ведь ошибка — это ошибка, и не больше.

...Не смотри вниз! Нельзя смотреть вниз!

Альпинист, мойщик окон, монтер на телевизионной вышке, цирковой гимнаст на трапеции, трубочист на высокой трубе электростанции — стоит любому из них глянуть вниз, и он разобьется.

## 24

Все в порядке!

Вцепившись ногтями в мешок, сдирая в кровь руки, он выкарабкался из ямы. Ну, вот он и наверху! Сейчас уже можно не бояться, что упадешь, если разожмешь пальцы. Но пальцы, еще не в силах разжаться, продолжали крепко держать мешок.

Свобода, обретенная на сорок шестой день, встретила его сильным, порывистым ветром. Когда он пополз, песчинки стали больно бить по лицу и шее. Он не принял в расчет этот ужасный ветер!.. В яме только шум моря казался намного сильнее обычного. Но ведь сейчас как раз время наступить вечернему штилю. Иначе нет никакой надежды на туман. А может быть, небо казалось подернутым дымкой, только когда он смотрел на него из ямы? Или он считал туманом песок, тучами носившийся в воздухе? В любом случае — ничего хорошего.

Не поднимая головы, он стал тревожно оглядываться по сторонам... В тусклом свете пожарная вышка казалась чуть наклоненной набок. Она выглядела какой-то жалкой, и до нее было довольно далеко. Но оттуда смотрели в бинокль, поэтому нельзя полагаться на расстояние. Интересно, увидели его уже или нет?.. Нет, наверно. А то бы сразу зазвонили в колокол.

Женщина рассказывала ему как-то, что с полгода назад ночью разыгралась буря, стена одной ямы на западной окраине деревни рухнула, и дом оказался наполовину погребенным под песком. А потом хлынул дождь, мокрый песок стал во много раз тяжелее. Дом разва-

лился, как спичечная коробка. К счастью, жертв не было, и наутро обитатели дома попытались выбраться из ямы. Тотчас зазвонил колокол, а не прошло и пяти минут, как послышался плач старухи, которую волокли обратно... Говорят, у этой семьи какая-то наследственная мозговая болезнь, добавила она лукаво...

Ну ладно, нечего мешкать. Он решительно поднял голову. Вдоль песчаных волн, окрашенных в красноватый цвет, легли длинные тени. Пелена песка, поднятая ветром с одной тени, втягивалась следующей и следующей. Может быть, эта пелена летящего песка и помешает заметить его?.. Оглянувшись, чтобы проверить, сильно ли бьет свет в глаза, мужчина даже замер от удивления. Оказывается, не только из-за летящего песка заходящее солнце казалось раскрашенным цветными карандашами, но и все вокруг было затянуто молочной дымкой. От земли здесь и там поднимались рваные клочья тумана. Развеянные в одном месте, они возникали в другом, разогнанные там, снова клубились здесь... Сидя в яме, он сам убедился, что песок притягивает влагу, но не представлял, что до такой степени... Все это напоминало пепелище после того, как уехали пожарные... Туман, правда, редкий и не особенно заметен, поскольку свет падает у него со спины, но все же это достаточное укрытие, чтобы спрятаться от глаз наблюдателя.

Он надел ботинки, висевшие на поясе, свернул веревку и спрятал в карман. Ножницы в случае чего могли послужить и оружием. Бежать следует на запад — свет, бьющий наблюдателю в глаза, будет прикрывать его. Нужно найти, где спрятаться на то время, пока не зашло солнце.

Ну, быстрей же!.. Пригнись и беги по низинке!.. Теперь не теряйся... Торопись, но как следует смотри вокруг... Вон она, залягу в той лощинке!.. Что это за подозрительный звук?.. Плохое предзнаменование?.. А может быть, нет... Встану и вперед... Не забирай особенно вправо!.. Правый склон слишком низкий, уже на середине могут заметить...

Благодаря еженощной переноске корзин с песком между ямами протоптаны глубокие прямые ходы. Правая сторона этих ходов кое-где обвалилась и стала пологой. Ниже чуть виднелись верхушки крыш второго ряда домов, спрятанных в ямах. Их загораживал третий ряд, ближайший к морю. От этого и ямы были гораздо мельче, и плетень для защиты от песка может еще служить здесь свою службу. В сторону деревни из них, очевидно, можно свободно выходить. Стоило ему чуть приподняться, как стала видна почти вся деревня. У подножия волнистых дюн, расходясь веером, громоздились черепичные, оцинкованные, тесовые крыши... Виднелась и сосновая рощица, правда редкая, и что-то похожее на пруд. И вот для того, чтобы сберечь этот жалкий клочок земли, несколько десятков домов у побережья обречены на рабскую жизнь.

Эти ямы рабов тянулись сейчас по левую сторону от дороги... Кое-где были ответвления ходов, проделанных волочившимися корзинами, а в самом их конце — мешки с песком, по которым можно было определить, где начиналась яма... Даже смотреть на них больно. Кое-где к мешкам не были прикреплены веревочные лестницы, но почти повсюду они были. Видимо, многие обитатели этих ям уже отказались от мысли бежать.

Теперь он легко мог представить себе, что и такая жизнь, в общем, возможна. Кухни, печи, в которых горит огонь, вместо письменного стола — корзины из-под яблок, полные учебников; кухни, очаги, вырытые в полу, лампы, печи, в которых горит огонь, сломанные раздвижные перегородки, закопченные потолки кухни, идущие часы и остановившиеся часы, орущие приемники и поломанные приемники; кухни и печи, в которых горит огонь... И во все это, как в оправу, вставлены дешевые

украшения, скот, дети, физическое влечение, долговые обязательства, измены, курение фимиама, фотографии на память... До ужаса неизменное повторение одного и того же... И хотя это было повторением, неизбежным в жизни, как биение сердца, но ведь биение сердца — еще не вся жизнь.

Ложись!.. Да нет, ничего. Обыкновенная ворона... Ему еще не приходилось ловить ворон и делать из них чучела, но сейчас это неважно. Мечты о татуировке, медалях, орденах приходят лишь тогда, когда снятся немыслимые сны.

Дошел, кажется, до окраины деревни. Дорога влезла на гребень дюны, слева показалось море. Ветер принес горький запах прибоя, в ушах и ноздрях зазвенело, точно завертелись волчки. Концы полотенца, которым он повязал голову, трепетали на ветру и били по щекам. Здесь уже и туман терял силу, не мог подняться. Море было покрыто толстыми свинцовыми листами, собранными в мелкую складку, как пенка вскипевшего молока. Солнце, сдавленное облаками, напоминавшими лягушачью икру, замерло, не желая тонуть. На горизонте черной точкой застыл корабль, расстояние до него и размеры — не определить.

Перед ним до самого мыса нескончаемыми волнами лежали пологие дюны. Дальше идти так, пожалуй, опасно. В нерешительности он оглянулся назад. К счастью, пожарную вышку загораживал невысокий песчаный холм и увидеть оттуда его не могли. Поднявшись потихоньку на носки, он заметил справа от себя в тени песчаного склона покосившуюся, почти до крыши ушедшую в песок лачугу, которую можно было увидеть только с того места, где он стоял. С подветренной стороны — глубокая впадина, как будто ее вычерпали ложкой.

Прекрасное место, чтобы спрятаться... Поверхность песка гладкая, как внутренняя сторона раковины, и нигде никаких следов, что здесь ходили люди... Но как же быть с собственными следами?... Он прошел назад по своим следам и увидел, что примерно метров через тридцать они уже полностью исчезли... И даже у его ног прямо на глазах они оседали и меняли форму... На что-то и ветер пригодился.

Он собрался уже было обойти лачугу, но вдруг из нее выползло что-то темное. Это оказалась рыжая собака, жирная, как свинья. Нечего бояться. Пошла отсюда! Но собака, уставившись на человека, даже не собиралась уходить. Одно ухо у нее было разорвано, непропорционально маленькие глаза глядели зло. Собака обнюхивала его. Не собирается ли она залаять? Попробуй залай... Он опустил руку в карман и сжал ножницы... Если только залает, продырявлю ей башку этой штукой! Собака продолжала злобно смотреть на него, не подавая голоса. Может быть, она дикая?.. Шерсть лохматая, висит клочьями... Какая-то болезнь у нее, что ли,— вся морда в струпьях... Говорят, собака, которая не лает, опасна... черт возьми! Надо было припасти какой-нибудь еды... Да, еды, ах ты, забыл взять цианистый калий... Ну, ничего, он так его запрятал, что женщина вряд ли найдет... Мужчина тихо свистнул и протянул руку, пытаясь завоевать расположение собаки... В ответ она растянула тонкие губы и оскалила желтые клыки, на которые налип песок... Да нет, вряд ли такая собака на него позарится... Какой у нее противный прожорливый вид... Хорошо бы стукнуть ее так, чтобы она с одного удара сдохла.

Неожиданно собака повернулась, наклонила голову и как ни в чем не бывало лениво затрусила прочь. Испугалась, наверно, его угрожающего вида. Если он заставил отступить дикую собаку, значит, дух его еще силен. Он съехал в низину и остался лежать на склоне. Ветер теперь не доставал его, и, может быть, поэтому он почувствовал облегчение. Шатаясь от ветра, собака скрылась за пеленой носившегося в воздухе песка. То, что в этой хибаре поселилась дикая собака, несомненно доказывает, что люди сюда и близко не подходят... И пока собака не пойдет

доносить на него в правление артели, он в безопасности. Ему приятно было даже то, что по телу начал струиться пот. Какая тишина!.. Точно его положили на дно сосуда и сверху залили желатином... В его руках бомба с часовым механизмом, время взрыва — неизвестно, но это тревожит не больше, чем тиканье будильника... Будь на его месте «Лента Мёбиуса», он бы сразу же проанализировал обстановку и сказал:

— Ты, друг мой, типичный образец человека, находящего удовлетворение в том, чтобы превращать средства в цель.

— Совершенно верно,— согласился бы он.— Но нужно ли так уж разграничивать средства и цель?.. Надо их использовать соответствующим образом в зависимости от необходимости...

— Ну, это совсем никуда не годится. Нельзя же прожить время по вертикали. Время такая штука, которая течет горизонтально. Это общеизвестно.

— А что будет, если попытаться прожить его по вертикали?

— Превратишься в мумию. Скажи, что нет?!

Посмеиваясь, мужчина стал снимать ботинки. А ведь и правда, время течет горизонтально. В ботинки набился песок и смешался с потом — больше невозможно было терпеть. Он с трудом стянул носки и подставил их ветру. Почему там, где обитает животное, такой отвратительный запах?.. Хорошо бы животные благоухали цветами... Да нет, это пахнут его ноги... И как ни парадоксально, мысль эта почему-то была ему приятна... Кто-то говорил, что нет ничего лучше серы из своего уха — она вкуснее, чем сыр... Ну, может, не в такой степени, но и в запахе своих гнилых зубов есть что-то притягательное — его хочется вдыхать и вдыхать без конца...

Вход в лачугу был больше чем наполовину засыпан песком, и ему не сразу удалось заглянуть внутрь. Может быть, это развалины старого колодца? Нет ничего удивительного, что над колодцем выстроен домик, чтобы его не засыпало песком. Правда, вряд ли здесь есть вода... Он снова попытался заглянуть внутрь, и тут в нос ему ударил настоящий запах собаки. Запах животного сильнее философии. Был один социалист, говоривший, что ему близка душа корейца, но он не может выносить его запаха... Ну ладно, если время течет горизонтально, пусть бы оно показало ему, как быстро оно может течь!.. Надежда и беспокойство... Чувство свободы и нетерпение... Муки эти — самые невыносимые. Он прикрыл лицо полотенцем и лег на спину. Это был, пожалуй, его запах, но при всем желании сделать себе комплимент он не смог бы назвать его приятным.

Что-то ползет по ноге... Судя по походке, это не шпанская мушка... Скорее всего земляной жук, с трудом волочащий себя шестью слабенькими ножками... Уточнять ему не хотелось. Да если бы, паче чаяния, это и оказалась шпанская мушка, вряд ли бы ему захотелось поймать ее. Во всяком случае, точно ответить на этот вопрос он бы не смог.

Ветер сорвал с его лица полотенце. Краем глаза он увидел блестевший золотом гребень дюны. Плавно поднимавшийся склон доходил до этой золотой линии и потом резко обрывался в тень. В таком построении пространства было что-то невыразимо напряженное, и мужчина даже содрогнулся от переполнившей его тоски по людям. (Да. Действительно романтический ландшафт... Именно такой ландшафт привлекает в последнее время молодых туристов... Надежные акции... Как опытный человек, могу полностью гарантировать будущее развитие этого района. Но нужна прежде всего реклама! Без рекламы даже мухи не прилетят... Не знать — все равно, что не иметь... Владеть драгоценным камнем и зарыть его в землю. Так что же делать?.. Поручить умелому фотографу изготовить художественные открытки. В старые времена художественные открытки изготовлялись уже после того, как достопримечательное

место становилось широко известным... А сейчас — сначала открытки, а потом уже создание достопримечательного места. Такой порядок стал теперь обычным. Здесь несколько образцов, просмотрите их, пожалуйста.) Бедный продавец открыток, собирался расставить ловушки другим и сам попал в ловушку, а потом заболел и умер. Хотя вряд ли он отличался особым красноречием... Он, наверно, возлагал огромные надежды на здешние места и вложил в дело все свои средства... В чем же истинная сущность этой прелести?.. Может быть, она в физической гармонии и точности, которой обладает природа, или наоборот,— в безжалостном сопротивлении природы попыткам человека познать ее.

До вчерашнего дня его буквально тошнило от одной мысли об этом пейзаже. И он думал со злобой, что яма и вправду вполне подходящее место для такого мошенника, как тот открыточник.

Но к чему, думая о жизни в той яме и о пейзаже, противопоставлять одно другому? Красивый пейзаж совсем не обязательно должен быть великодушным к человеку.

Наконец и его основная идея рассматривать песок как отрицание стабильности не так уж безумна. Движение $^1/_8$ мм. Мир, где существование — цепь состояний... Другими словами, прелесть его принадлежит смерти. Прелесть смерти, проходящая через великолепие его огромной разрушительной силы, оставленных им развалин... Нет, постой. Так можно попасть в затруднительное положение, если ему скажут, что именно поэтому он схватил и не выпускает из рук билет в оба конца. Прелесть фильмов о диких зверях, фильмов о войне как раз в том, что хотя они так близки действительности, что могут даже довести до сердечного припадка, но выходишь из кино — и снаружи тебя ждет сегодняшний день, продолжение вчерашнего... Где найдется дурак, который пойдет в кино, захватив винтовку, заряженную настоящими патронами?.. Кто может приспособиться к жизни в пустыне? Некоторые виды мышей, которые вместо воды пьют собственную мочу, насекомые, питающиеся тухлым мясом, да еще, пожалуй, кочевники, которым известно лишь о существовании билета в один конец. Если с самого начала быть уверенным, что билет всегда в один конец, то можно спокойно жить, не делая бесплодных попыток ползти, прижавшись к песку, точно устрица к скале. А ведь эти кочевники даже наименование свое изменили и называются теперь скотоводами...

Да, следовало бы, пожалуй, рассказать обо всем этом женщине... Надо бы спеть ей песню, неважно, если немного и переврал бы мотив, песню песков, не имеющую ничего общего с билетом в оба конца... В лучшем случае он был бы не больше, чем жалким подражателем этакого сердцееда, пытающегося поймать женщину на крючок, наживленный другой, особой, жизнью. С ног до головы засыпанный песком, не в силах пошевелиться, он похож на кошку, посаженную в бумажный мешок.

Внезапно гребень дюны погас... Все вокруг погрузилось в темноту. В какой-то миг ветер утих, и тогда, набрав новые силы, возвратился туман. Может быть, поэтому так стремительно и зашло солнце.

...Ну, теперь в путь.

## 25

Нужно успеть пройти всю деревню до того, как переносчики корзин приступят к работе. Остается еще около часа. Для большей безопасности скажем — минут сорок пять. Мыс, как бы охватывая деревню, делает глубокий изгиб и доходит до залива, что к востоку от деревни. Поэтому через нее проходит лишь одна узенькая дорога. Но там уже

кончаются отвесные скалы, громоздившиеся на мысе, они сглаживаются и сменяются невысокими песчаными дюнами. Оставив по правую руку мелькающие сквозь дымку огни деревни и продолжая двигаться прямо, попадешь именно в это место. Расстояние... километра два. Там кончается деревня, кое-где попадаются поля земляного ореха, снова песок и никакого жилья. А когда перевалишь через холм, можно идти и по дороге. Это укатанная глинистая дорога, и если бежать по ней изо всех сил, то минут через пятнадцать будешь на шоссе. А там уж все в порядке. Там и автобусы ходят, и люди нормальные.

У него остается тридцать минут, чтобы пройти деревню. Идти по песку четыре километра в час не легко. И даже не столько потому, что в песчаной почве вязнут ноги, сколько из-за ненужных усилий, которые приходится делать, когда переступаешь. А если бежишь, то еще больше сил тратишь попусту. Лучше всего, пожалуй, идти широким шагом. Но, высасывая силы, песок, как бы в награду за это, поглощает звук шагов. Идти же, не опасаясь шума шагов,— в этом тоже есть свои преимущества. Да, именно преимущества.

Смотри под ноги!.. Упасть не страшно, а споткнешься о какую-то малюсенькую кочку или выбоинку и ушибешь колено. Да если только колено ушибешь — чепуха, а вдруг свалишься в новую песчаную яму, тогда что?!

Кругом тьма. Насколько хватает глаз — беспорядочно застывшие волны песка. Огромные волны бороздятся более мелкими, а те, в свою очередь, как бы подернуты песчаной рябью. Огни деревни, которые должны были служить ориентиром, скрывались за гребнями этих нескончаемых волн и лишь изредка попадали в поле зрения. Нужно идти вперед, интуитивно придерживаясь правильного направления. Но всякий раз оказывалось, что допущена удивительно большая ошибка. Может быть, потому, что стремление увидеть эти огни бессознательно заставляло выискивать высокие места.

Ну вот, опять сбился! Нужно левее!.. Пройти так еще немного, и оказался бы прямо в деревне... Здоровенные три дюны уже перевалил, а огни почти совсем не приблизились... похоже, что ходишь кругами. Пот заливает глаза... Остановиться хоть на миг и вдохнуть полной грудью.

Женщина, наверно, уже проснулась... Что она подумала, когда открыла глаза и увидела, что меня нет?.. Хотя вряд ли сразу хватилась... Подумала небось, что я пошел за дом по своим надобностям... Сегодня вечером женщина устала... Удивилась, что проспала дотемна, и поспешно вылезла из-под одеяла... Не остывшее от поцелуев тело напомнило о том, что было между нами в это утро... Нащупывая рукой лампу, женщина, наверно, улыбнулась...

Но все же у меня нет причин чувствовать себя обязанным ей или ответственным за ее улыбку. Что потеряет женщина с моим исчезновением? Лишь малюсенький кусочек жизни. Радио и зеркало заменят ей меня.

«Вы ведь для меня и вправду огромная подмога... Все изменилось с тех пор, как я не одна. По утрам я могу спокойно, не торопясь, заниматься своими делами, и работу теперь удается закончить часа на два быстрее... Я думаю, что скоро смогу попросить артель дать мне какую-нибудь дополнительную работу, которую я могла бы делать дома... Накоплю денег... И, может быть, куплю наконец радио, зеркало или еще что-нибудь...»

(Радио и зеркало... Радио и зеркало...) Какая-то навязчивая идея — как будто вся жизнь человека состоит из этих двух предметов. Да, радио и зеркало действительно имеют нечто общее: они связывают людей. А возможно, они отражают жгучее желание проникнуть в сущность человеческого существования. Ладно, как только выберусь отсюда, сразу же

куплю приемник и пошлю ей. Истрачу все свои деньги, но куплю ей самый лучший транзистор.

А вот зеркало — не знаю, стоит ли обещать. Зеркало здесь быстро испортится... Уже через полгода отстанет амальгама, а через год оно потускнеет от песка, который все время носится в воздухе... Как и то зеркало, что сейчас у нее: если видишь в нем один глаз, то не видишь носа, если видишь нос, то не видишь рта. Нет, дело не только в том, что зеркало быстро испортится. Зеркало отличается от радио: чтобы оно стало средством связи, нужен прежде всего человек, который будет смотреть на нее. Какой теперь толк в зеркале, если ее никто не увидит?

Постой, нужно прислушаться!.. Что-то он слишком долго ходит по своим делам... А может?.. Вот мошенник, сбежал-таки... Интересно, подняла она шум?.. Ошеломлена она, подавлена?.. А может быть, она просто тихо плачет?.. Ладно, что бы она ни делала — это уже не моя вина... Ведь ты же сам отказался признать, что зеркало необходимо.

— ...Я где-то прочел об этом... Сейчас как будто очень часто уходят из дому?.. Это, я думаю, потому, что жизнь уж очень тяжелая, а может быть, и не только поэтому... Там вот как раз писали об одной такой совсем не бедной крестьянской семье. И земли они себе прикупили, и машинами обзавелись, и хозяйство, казалось, вели хорошо, а старший сын несмотря на все это ушел из дому. Был такой положительный, работящий парень. Родители голову ломали — с чего он вдруг ушел? В деревне люди лучше сознают свой долг, думают о том, чтобы сохранить доброе имя. Поэтому должны, наверно, быть какие-то особые причины, чтобы наследник ушел из дому...

— Да, конечно... Долг есть долг...

— Ну, и как будто кто-то из родных нашел парня и попытался узнать, почему он это сделал. Оказалось, что он не убежал с женщиной, его не выгнали из дома ни любовные похождения, ни долги — в общем, не было никакой особой причины. Так в чем же дело?.. То, что сказал парень, просто не имеет никакого смысла. Да он и сам толком не знал, как объяснить свой поступок, сказал только, что не мог больше терпеть.

— И верно, есть же на свете бестолковые люди...

— Но если подумать, то этого парня понять можно. Ну что такое крестьянин? Если он работает изо всех сил и увеличивает свой участок — это только прибавляет ему новую работу... В конце концов предела его тяжелому труду нет, и единственное, что он приобретает,— еще более тяжкий труд... Правда, к крестьянину возвращается его труд — урожай риса и картошки. Чего же ему еще надо? С работой крестьянина нашу возню с песком и сравнить нельзя. Ведь это все равно что строить каменную запруду на реке в преисподней — черти все равно разбросают камни.

— А чем кончается эта история с рекой в преисподней?

— Да ничем... И потому, что ничем не кончается, это как раз и есть наказание за грехи!

— А что потом было с этим парнем, который должен был стать наследником?

— Он все заранее обдумал, и, наверно, еще до того, как ушел из дому, устроился на работу.

— Ну и?..

— Ну и стал там работать.

— А дальше что?

— Дальше? В дни зарплаты получал, наверно, свои деньги, а по воскресеньям надевал чистую рубаху и шел в кино.

— А потом?

— Трудно сказать, пока не спросишь у самого парня.

— Но ведь когда он скопил денег, то уж наверно купил себе радио...

...Ну вот, взобрался наконец. Хотя, пожалуй, это лишь полпути... Нет, ошибся... Здесь уже ровное место... Да, но куда же девались огни?.. Он продолжал идти вперед без всякой уверенности... Казалось, это вершина огромной дюны... Почему же тогда отсюда не видны огни? При мысли, что случилась беда, у него подкосились ноги. Поленился — вот и расплата. Съехал по крутому склону, не зная точного направления. Лощина оказалась больше, чем он предполагал. Она была не только глубокой, но и широкой. Вдобавок многоярусные волны песка на дне были нагромождены беспорядочно и мешали выбрать правильное направление. Но все равно никак не сообразишь, почему огни не видны... Если и сбился с пути, то не больше, чем на полкилометра в ту или другую сторону. Его все время тянуло налево — возможно, потому, что он боялся деревни. Он чувствовал, что, для того чтобы приблизиться к огням, нужно решиться пойти направо... Скоро туман рассеется, выглянут звезды... В общем, что бы ни было, самый лучший и быстрый способ осмотреть все вокруг — подняться на дюну, неважно на какую, лишь бы она возвышалась над остальными...

Все-таки непонятно... Ну совершенно непонятно, почему женщина так привязана к этой реке в преисподней... Ведь когда говорят о любви к родине, о долге, это имеет смысл, только если что-то теряешь, отрекаясь, отказываясь от них. Что же есть у этой женщины, что она могла бы потерять?

(Радио и зеркало... Радио и зеркало...)

Приемник он ей, конечно, пришлет... Но не приведет ли это к обратным результатам: не потеряла ли она больше, чем приобретет? Кончилась, например, церемония приготовления для меня ванны, которую она так любила. Даже жертвуя стиркой, всегда оставляла воду, чтобы я мог помыться. Плескала теплую воду между моих ног и, скорчившись, громко смеялась, как будто это ее мыли. Теперь уж не придется так смеяться.

Нет, отбрось иллюзии... Между мной и тобой с самого начала не было никакого договора. А если не было договора, не могло быть и нарушения договора. К тому же нельзя сказать, что и меня самого это никак не коснулось. Например, запах дешевой, точно выжатой из дерьма, водки, которую мы получали раз в неделю... твои неподатливые, сплетенные из тугих мускулов ляжки... чувство стыда, когда я пальцем, смоченным слюной, выбирал песок, напоминавший спекшуюся резину... И твоя застенчивая улыбка, делавшая все это еще более непристойным... И многое другое. Подсчитать все вместе — получится немало. Верь, не верь, но факт остается фактом. Мужчина больше, чем женщина, склонен придавать значение мелочам.

А если вспомнить о том, что сделала со мной деревня, то нанесенный мне ущерб невозможно и подсчитать. По сравнению с этим мои отношения с женщиной — пустяк.

Но им он рано или поздно отплатит за все сполна... Он, правда, еще не знает, какой удар нанести, чтобы было побольней... Может, поджечь деревню, или отравить колодцы, или понаделать ловушек и по-одному сбросить в песчаные ямы всех, кто виноват в его злоключениях,— таким нехитрым способом он на первых порах распалял свое воображение и воодушевлял себя. Но сейчас, когда ему представился случай осуществить задуманное, он уже не мог предаваться этим ребяческим мечтам. Да к тому же, что может сделать один человек? Нет иного выхода, как прибегнуть к закону. Правда, в этом случае не исключена опасность, что закон окажется не в состоянии понять всю глубину жестокости происшедшего... Ладно, не теряя времени, сообщу обо всем сначала хоть в местную полицию.

Да, было, наконец, еще одно...

Стой! Что это за звук?.. Нет, все тихо... Может, просто показалось. Но все же куда девались огни деревни? Даже если они не видны за высокими дюнами, все равно это ужасно. Можно себе представить, что произошло: у моего руля привычка забирать влево, и я зашел слишком далеко в сторону мыса, и деревню теперь заслоняет какая-то высокая скала... Нечего мешкать... Решил. Попробую пойти вправо.

...Ну и, наконец, не хотелось бы, чтобы ты забыла еще об одном. Помнишь, ты ведь так и не ответила на мой вопрос. Тогда два дня подряд шел дождь. Когда идет дождь, оползни становятся угрожающими, но зато песок почти совсем не летит. В первый день мы сделали немного больше, чем обычно, и поэтому на другой день смогли передохнуть. Используя долгожданный отдых, я решил во что бы то ни стало докопаться до истины. Упрямо, будто сдирая с тела струпья, решил обнажить правду, чего бы мне это ни стоило, узнать, почему ты оказалась в этой яме. Я сам был поражен своим упорством. Сначала ты весело подставляла обнаженное тело потокам дождя, но в конце концов, вынужденная отвечать, заплакала. И стала говорить, что не можешь уйти отсюда только потому, что здесь погибли муж и ребенок, засыпанные вместе с курятником во время тайфуна. Если так, тебя действительно можно было понять. Причина вполне правдоподобная, и ясно, почему до сих пор ты избегала говорить об этом. Мне хотелось поверить тебе. И я решил на следующий же день урвать немного времени от сна и заняться поисками погибших.

Два дня я копал в указанном тобой месте. Но не нашел не только никаких останков, но даже и следов разрушенного курятника. Тогда ты показала другое место. Но и там я ничего не обнаружил. Ты стала приводить меня на все новые и новые места. В пяти разных местах в течение девяти дней продолжались бесцельные поиски. И тогда снова, готовая заплакать, ты начала оправдываться. Ты сказала, что, наверно, дом стоял на другом месте, что непрекращающееся давление песка, может быть, сдвинуло его и повернуло, а возможно, и сама яма переместилась. Может, и курятник, и останки мужа и ребенка погребены под толстенной стеной песка, отделяющей дом от соседнего, а очень может быть, что они оказались теперь в яме соседа. Теоретически это было возможно. Но твой несчастный, подавленный вид ясно показывал, что ты не столько собиралась обмануть меня, сколько с самого начала не хотела рассказать правду. Погибшие были, в общем, не более, чем отговоркой. У меня уже просто не было сил рассердиться. И я решил больше не ломать голову над тем, кто у кого в долгу. Мне кажется, что и ты должна была это понять...

Что это!.. Мужчина в страхе бросился на землю... Все произошло слишком быстро, он ничего не мог понять... Перед ним неожиданно выросла деревня!... Он, видимо, шел прямо к вершине дюны, подступающей к деревне... И в тот момент, когда перед его глазами открылась вся панорама, он увидел, что находится в самой деревне... Не успел он опомниться, как рядом с ним, из-за плетня, раздался лай собаки. Подхватила вторая, а потом еще и еще — как цепная реакция. В кромешной тьме на него надвигалась, скаля клыки, плотная стая. Он вынул веревку, к которой были привязаны ножницы, и побежал. У него не было выбора. Единственное, что ему оставалось,— кратчайшим путем пробежать через деревню.

## 26

Человек бежал.

Мелькавшие тусклым светом дома, мимо которых он бежал, то пропускали его, то вырастали препятствием. Вкус ветра, с шумом врывающийся в узкую щель горла... Вкус ржавчины... Опасный номер на тонком

стекле, готовом разлететься вдребезги. Слишком поздно, чтобы надеяться, что переносчики песка еще не вышли из домов, и слишком рано, чтобы надеяться, что они уже добрались до побережья. Пикап как будто еще не проезжал. Не может быть, чтобы он не обратил внимания на это сумасшедшее тарахтение двухтактного мотора в километре отсюда. Положение отвратительное.

Неожиданно из мрака вылетел черный ком. Судя по громкому сопенью, наверно, большая собака. Она, казалось, не была приучена к нападению и, прежде чем вцепиться в него, начала громко лаять. Мужчина хлестнул ее веревкой с привязанными ножницами и попал. С жалобным визгом она скрылась в темноте. К счастью, собака вырвала лишь клок из его брюк. Он сделал слишком резкое движение, ноги заплелись, и он упал, покатился, но тут же вскочил и побежал дальше.

Но оказалось, собака не одна, их пять или шесть. Напуганные неудачей первой, они с громким лаем кружились вокруг него, выжидая удобный момент для нападения. Может быть, та самая рыжая собака из развалившейся лачуги науськивала их сзади. Взявшись за веревку сантиметрах в пятидесяти от конца, он стал изо всех сил вертеть ее над головой. Защитившись таким образом от собак, он перемахнул через кучу колотых ракушек, пробежал узкий проход между плетнями, какой-то двор, где сушилась на земле солома, и наконец выбежал на широкую дорогу. Еще немного — и деревня кончится!

Вдоль дороги шла узкая канава. Из нее вдруг вылезли двое ребят — похоже, брат и сестра. Он увидел их слишком поздно. Дернул веревку, чтобы ножницы не задели их, но ничего не вышло, и все трое полетели в канаву. По дну канавы был проложен желоб. Раздался треск дерева. Дети завопили... Черти, чего они так орут!.. Изо всех сил он оттолкнул их и вылез. И в этот миг лучи карманных фонарей, три в ряд, преградили ему дорогу.

Ударил колокол. Дети громко плакали... Собаки продолжали лаять... От каждого удара колокола сердце больно сжималось. Бесчисленные насекомые, как зерна риса, поползли из раскрывшихся пор. Один из карманных фонарей, по-видимому, имел приспособление для концентрирования света — луч его то расплывался, то вдруг прокалывал тонкой раскаленной иглой.

Броситься, что ли, прямо на них и разбросать пинками?.. Если удастся прорваться, то там уж он будет за деревней... Придется ему раскаиваться или нет — все зависит от этой минуты... Ну хватит мешкать!.. Не то будет поздно... Еще немного, и преследователи могут оказаться сзади — тогда все пропало!

Пока он колебался, фонари начали окружать его, подступая справа и слева, все сокращая и сокращая расстояние. Мужчина крепче сжал веревку и весь напрягся, но никак не мог решиться. Носки ног все глубже уходили в мягкую почву. Увеличившееся пространство между фонарями заполнено тенями людей. Сколько их? А на краю дороги что-то похожее очертаниями на яму — ах, нет, это пикап. Если он и прорвется вперед, его схватят сзади. За спиной он услышал топот убегавших детей — они уже не плакали. На мгновение мелькнула отчаянная мысль. Схватить их и использовать как щит! Они будут заложниками, и он не даст этой сволочи приблизиться! Но когда повернулся, чтобы схватить их, увидел новые огни, подстерегавшие его. Путь отрезан!

Точно отпущенная пружина, он бросился назад и со всех ног побежал по той же самой дороге, по которой добрался сюда. Он делал это почти бессознательно, надеясь найти место, где бы мог пересечь дюну, служившую как бы продолжением мыса. С воплями за ним гналась, казалось, вся деревня. От слишком большого напряжения ноги ослабли, будто из них вытянули сухожилия. Но, может быть, потому, что

его преследователи были застигнуты врасплох, ему все еще удавалось сохранять достаточную дистанцию, позволявшую время от времени оглядываться и смотреть, где они.

Сколько он пробежал?.. Уже пересек несколько дюн. И чем больше он тратил сил, тем больше ему казалось, что все напрасно, что он бежит на месте, как во сне. Но сейчас не время рассуждать о том, насколько эффективно он расходует свои силы. Во рту появился вкус крови, смешанной с медом. Он хотел сплюнуть, но слюна была вязкой и никак не выплевывалась. Пришлось выгребать пальцем.

Колокол продолжал звонить, но до него уже было далеко, и временами звук совсем исчезал. Собаки тоже отстали и лаяли откуда-то издали. Слышен был лишь звук собственного дыхания, напоминавший скрежет напильника о металл. Фонари преследователей — все три,—по-прежнему растянувшись цепочкой и покачиваясь вверх и вниз, как будто не приближались, но и не отдалялись. И беглецу, и тем, кто гнался за ним, было одинаково трудно бежать. Теперь победит тот, кто дольше выдержит. Но это не утешает. Может быть, от слишком длительного напряжения воля надломилась, подкралась слабость — желание, чтобы силы поскорее оставили его. Опасный симптом... Но пока он сознает эту опасность, еще ничего...

Ботинки полны песка, пальцы болят. Оглянулся. Преследователи отстали метров на семьдесят-восемьдесят, чуть вправо. Почему они сбились в сторону? Старались, наверно, избежать подъемов, вот и вышло такое. Похоже, что и они здорово устали... Говорят ведь, что преследователь устает быстрее. Он в момент разулся и побежал босиком... Если положить ботинки в карманы, будут мешать, и он заткнул их за пояс. Передохнув, одним махом одолел довольно крутой подъем. Если так пойдет, то он, пожалуй, сможет убежать от этих гадов...

Луна еще не взошла, но свет звезд испещрил все вокруг темными и светлыми пятнами, и гребни дальних дюн были ясно различимы. Он бежал как будто к мысу. Опять руль забирает влево. Только он собрался изменить направление, как вдруг сообразил, что этим он сократит расстояние между собой и преследователями. Тогда-то он понял наконец их план и испугался.

Да, на первый взгляд неумело избранный ими путь на самом деле был хорошо продуман: они старались прижать его к морю. Не зная того, он все время был у них в руках. Подумав, он понял, что и карманные фонари служили им для того, чтобы показывать ему, где они находятся. Значит, и то, что они не приближаются и не отдаляются, а все время держатся на одном расстоянии — и это тоже неспроста.

Нет, сдаваться еще рано. Где-то должна быть дорога, чтобы подняться на скалы, и если не будет другого выхода, можно морем, вплавь, обогнуть мыс. Нужно отбросить всякие колебания — стоит только представить себе, как его схватят и водворят обратно в яму.

За длинным пологим подъемом — крутой спуск... За крутым подъемом — длинный пологий спуск... Шаг, еще шаг — точно бусы нанизываются одна к одной,— испытание терпения. В какой-то миг колокол умолк. Невозможно определить, что он слышит — вой ветра, шум моря или это просто звон в ушах. Поднявшись на одну из возвышенностей, он обернулся. Огни преследователей исчезли. Подождал немного — не появляются.

Здорово. Неужели удалось убежать от них?

Надежда заставила сильнее биться сердце. Если это правда, то отдыхать сейчас тем более не следует... Вздохнуть еще разок — и вперед, до следующей дюны!

Но почему-то очень трудно бежать. Ноги стали тяжелыми. И тяжесть какая-то необычная. Он не просто чувствовал ее — ноги дей-

ствительно стали уходить в песок. Точно снег, подумал он, а ноги до половины голени были уже в песке. Испугавшись, он попытался вытащить одну ногу, но другая увязла до колена. Что такое?.. Он слышал, что существуют пески, заглатывающие человека... Он изо всех сил старался выбраться из песка, но чем больше бился, тем глубже погружался. Ноги утонули уже почти до бедер.

А может, это просто ловушка?!.. Они и загоняли его не к морю, а именно сюда!.. Они просто хотят уничтожить его, не тратя усилий на поимку!.. Это самое настоящее уничтожение... Фокусник со своим платком не мог бы сработать чище... Еще порыв ветра — и он с головой уйдет в песок... И тогда его не найти даже полицейской собаке, получившей на конкурсе первую премию... Эти негодяи теперь уж наверняка не покажутся!.. Они ничего не видели, ничего не слышали... Какой-то дурак, нездешний, сам заблудился и пропал... И все, сволочи, сработают, даже рук не запачкав...

Тону... Тону... Вот уж и по пояс в песке... Что же делать?.. Если удастся увеличить площадь соприкосновения с песком, давление тела в каждой точке уменьшится, и он, пожалуй, перестанет погружаться... Раскинув руки, он лег грудью на песок... Но было поздно. И хотя он лежал на животе, нижняя часть тела застыла в вертикальном положении. У него болела поясница, и он уже не мог больше оставаться изогнутым под прямым углом. Да и любой, даже тренированный спортсмен не сумел бы долго пробыть в таком положении.

Темно-то как... Вся вселенная закрыла глаза и заткнула уши... Подыхаешь здесь, и никто даже не взглянет в твою сторону! Страх, затаившийся где-то глубоко в горле, вдруг вырвался наружу. Мужчина раскрыл рот и взвыл, как животное:

— Помогите!

Избитая фраза!.. Ну и пусть избитая... На краю гибели не до оригинальности. Жить во что бы то ни стало — даже если его жизнь будет в точности похожа на жизнь всех остальных, как дешевое печенье, выпеченное в одной и той же форме! Скоро песок дойдет до груди, до подбородка, до кончика носа... Хватит! Довольно!

— Помогите!.. Обещаю все что угодно!.. Умоляю, помогите!.. Умоляю!

Мужчина не выдержал. Сначала он только всхлипывал, а потом заплакал навзрыд. Он с ужасом понял, что все пропало. Теперь безразлично — никто его не видит... Жаль, конечно, что все это происходит без необходимой в таких случаях процедуры... Когда умирает приговоренный к смерти, он может оставить свои записки... Здесь сколько ни вопи... никто не обратит внимания. Плохо!

Он даже не очень удивился, когда сзади него послышались вдруг голоса. Он был побежден. Чувство стыда перегорело и превратилось в пепел, как крылышко стрекозы, к которому поднесли огонь.

— Эй, хватайся!

Вниз сползла длинная доска и уперлась ему в бок. Луч света прочертил в темноте круг и осветил доску. Мужчина с трудом повернул скованное туловище в ту сторону, откуда слышались голоса, и жалобно попросил:

— Простите, может, вы вытащите меня этой веревкой...

— Да нет, вы же не пень, чтобы вас корчевать...

Сзади засмеялись. Точно не определишь, но там их человек пять-шесть.

— Потерпите еще немного, уже пошли за лопатами... Упритесь локтями в доску, и все будет в порядке...

Как ему и предлагали, он оперся локтями о доску и опустил голову на ладони. Волосы взмокли от пота. Он ничего не чувство-

вал, только хотелось как можно скорее выйти из этого унизительного положения.

— А знаете... Вам еще повезло, что мы бежали вслед. Здесь такая трясина — собаки и те близко не подходят... Вы в большой были опасности... Даже не знаю, сколько людей, ничего не подозревая, забредали сюда да так и не возвращались... Здесь, за горами, место затишное, вот и наметает сюда песок... Когда приходит зима — наносит снег... На него опять песок... Потом снова снег и так лет сто — как недопеченная слоеная вафля... Так говорил нам сын бывшего председателя артели, тот, что уехал в город учиться... Интересно, верно?.. Если попробовать докопаться до дна, может, добудешь что-нибудь стоящее.

К чему он все это?! Говорит с таким видом, будто он чистенький и ни в чем не виноват. Мог бы кончить свои разглагольствования... Гораздо уместнее сейчас было бы просто позубоскалить... Или уж лучше пусть уйдет и оставит его одного с рухнувшими надеждами...

Какое-то оживление — видно прибыли лопаты. Трое мужчин, прикрепив к подошвам доски и с трудом удерживая равновесие, на некотором расстоянии стали окапывать вокруг него песок. Пласт за пластом. И мечты, и стыд, и отчаяние — все было погребено под этим песком. И он даже не удивился, когда его взяли за плечи. Прикажи они, и он мог бы спустить штаны и на их глазах начать испражняться. Небо посветлело — сейчас выглянет, наверно, луна. С каким лицом встретит меня женщина?.. Все равно, с каким... Теперь его могут хлестать как угодно — он должен терпеть.

## 27

Человека обвязали под мышками веревкой и, как груз, снова опустили в яму. Никто не проронил ни слова. Казалось, они присутствуют при его погребении. Яма глубокая, темная. Лунный свет затянул дюны тонким блестящим шелком; узоры, прочерченные ветром, даже следы от ног превратил он в переливающееся, застывшее в складках стекло. И только яма, не желая влиться в этот пейзаж, оставалась погруженной во мрак. Но все это не трогало его. Когда он поднял голову и посмотрел на луну, то сразу почувствовал тошноту и головокружение — так смертельно он устал.

В этой кромешной тьме женщина вырисовывалась еще более темным пятном. Поддерживаемый ею, он едва доплелся до постели, но саму женщину почему-то не видел. И не только ее — все вокруг расплывалось, точно в тумане. Даже повалившись на матрас, он все еще бежал по песку... Во сне он тоже продолжал бежать. Спал беспокойно. Отчетливо помнил шум спускавшихся и поднимавшихся корзин, далекий лай собак. Знал, что женщина возвращалась среди ночи, чтобы поесть, и зажигала лампу, стоявшую около его постели. Но окончательно проснулся, только когда встал попить воды. Пойти помочь женщине сил у него не было.

Он зажег лампу и закурил, рассеянно оглядываясь по сторонам. Толстенький, но проворный паучок забегал вокруг лампы. Будь это бабочка — он бы не удивился, но чтобы свет привлекал паука — странно. Он хотел уже было прижечь его сигаретой, но передумал. Паук с точностью секундной стрелки кружил вокруг лампы на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров. Может быть, не только свет привлекает его? Нет, он ждал и дождался, когда на огонь прилетела ночная бабочка. Несколько раз ударилась о стекло лампы, и тень ее крупно отпечаталась на потолке, потом она упала на металлическую подставку и больше не двигалась. Какая-то странная бабочка — противная очень. Он прижал к ней сигарету. Нервные центры были парализованы, и он подбросил еще корчившееся насекомое на ту дорожку, где бегал паук. Разыгралась драма,

которую он предвидел. В мгновение паук подскочил и вцепился в еще живую бабочку. Потом он снова стал кружиться, таща свою жертву, теперь уже неподвижную. Так он, наверно, наслаждается, предвкушая, как сожрет сочную бабочку.

Он и не знал, что есть такие пауки. Как умно использовать вместо паутины лампу. Сплетая паутину, остается только ждать, чтобы кто-нибудь попал в нее, а с помощью лампы жертву можно самому завлечь. Для этого нужен только подходящий источник света. В природе, к сожалению, их нет. Луна или лесные пожары вряд ли подойдут для этого. Не исключено, что этот паук представляет собой какой-то новый вид, выработавший свои инстинкты, эволюционируя вслед за человеком?.. Объяснение, пожалуй, неплохое... Но как тогда объяснить, что свет привлекает мотыльков?.. Бабочка — не то, что паук, едва ли свет лампы способствует сохранению этих насекомых. Но явление это возникло опять-таки после того, как появился искусственный свет. Доказательством может служить хотя бы то, что бабочки не собрались в стаи и не улетели к луне.

Было бы еще понятно, если бы подобным инстинктом обладал какой-то один вид насекомых. Но ведь он общий для всех мотыльков, которых насчитывается тысяч десять видов. Значит, это какой-то определенный, неизменный закон. Слепое, бешеное трепетание крыльев, вызываемое искусственным светом. Таинственная связь между светом, пауками и бабочками... Если закон может проявляться так неразумно, то во что же тогда верить?

Мужчина закрыл глаза... Поплыли мутные блики...

Когда он протягивал руку, чтобы схватить их, они начинали метаться и исчезали... Точно тени шпанских мушек на песке...

Он проснулся от рыданий.

— Чего плачешь?

Женщина, стараясь скрыть замешательство, поспешно поднялась.

— Простите... Хотела приготовить вам чаю...

Ее сдавленный голос, пропитанный слезами, озадачил мужчину. Когда она наклонилась и стала разжигать печурку, ее спина как-то странно подрагивала, и он долго не мог понять, в чем дело. Он соображал с трудом, будто вяло перелистывал страницы покрытой плесенью книги. Но хорошо еще, что мог переворачивать страницы. Неожиданно ему стало нестерпимо жаль себя.

— Не вышло...

— Да...

— И так глупо все провалилось.

— Но ведь никому не удавалось... ни разу еще...

Она говорила сквозь слезы, но в ее голосе звучали нотки уверенности, точно она оправдывала и объясняла его провал. Что ни говори — трогательное сочувствие. Было бы чересчур несправедливо не отозваться на него.

— Жаль все-таки... Я уж решил, если удастся убежать, сразу же куплю и пришлю тебе приемник...

— Приемник?

— Ты же давно о нем мечтала.

— Да ничего, не нужно...— Женщина говорила робко, точно извиняясь.— Если я как следует поработаю, смогу и здесь купить... Если в рассрочку, то на первый взнос денег хватит, наверно.

— Да, конечно, если в рассрочку...

— Когда вода согреется, помоемся?

Внезапно в нем поднялась тоска, серая, как рассвет... Нужно зализывать раны друг друга. Но если бесконечно зализывать бесконечно не заживающие раны, то от языка ничего не останется.

— Ну ладно, не нужно утешать... Жизнь не такая штука, чтобы прожить ее на утешениях... Там своя жизнь, здесь — своя, и всегда кажется, что чужая жизнь слаще... Самое противное — думать: что, если жизнь вот так и будет идти?.. Что это за жизнь? Этого ведь никто не знает... Эх, лучше быть по горло заваленным работой и не думать обо всем этом...

— Помоемся?..

Женщина сказала это точно для того, чтобы приободрить его. Мягко, успокаивающе. Мужчина медленно стал расстегивать пуговицы на рубахе, снимать брюки. Он весь, с головы до ног, был покрыт песком. (Что делает сейчас та, другая?) Все, что было до вчерашнего дня, казалось далеким прошлым.

Женщина начала намыливать полотенце.

# Часть 3

## 28

Октябрь.

В течение дня лето, все еще не желавшее уходить, так раскаляло песок, что босиком на нем и пяти минут не простоишь. Но стоило солнцу сесть, как промозглый холод проникал сквозь дырявые стены и, прежде чем растопить очаг, приходилось высушивать отсыревшую золу. Утром и вечером в безветренную погоду из-за резких скачков температуры поднимался туман, напоминавший мутную реку.

Мужчина соорудил за домом силок, чтобы ловить ворон. Он назвал его «Надежда». Устройство силка было очень простое, с учетом свойств песка. Он вырыл довольно глубокую яму и закопал туда деревянный бочонок. Тремя клинышками, величиной со спичку, закрепил крышку, которая по размеру была чуть меньше бочонка. К каждому клинышку привязал тонкую нитку. Они проходили через отверстие в центре крышки и скреплялись с проволокой, находившейся снаружи. На конец проволоки насадил наживку — вяленую рыбу. Все сооружение тщательно засыпал песком, оставив снаружи только наживку в небольшом песчаном углублении. Стоит вороне схватить наживку, как моментально слетают колышки, крышка падает на дно бочонка и происходит песчаный обвал; и ворона заживо погребена... Испытал несколько раз свое сооружение. Действовало оно безотказно... Ему уже отчетливо виделась эта несчастная ворона, так стремительно засыпанная песком, что даже крыльями не успела взмахнуть.

...Если повезет и удастся поймать ворону, можно будет написать письмо и привязать к ее лапке... Но, конечно, все дело в везении. Во-первых, очень мало шансов, что выпущенная ворона второй раз попадет в руки человека... Да и не узнаешь, куда она полетит... Как правило, район полета ворон крайне ограничен... И не исключено, что если эти типы из деревни сопоставят два факта: моя ворона сбежала, а в стае появилась ворона, у которой к ноге привязан кусок белой бумаги, то им сразу же станут ясны мои намерения... И все, что было так тщательно продумано, с таким терпением выполнено, окажется напрасным...

После неудачного побега мужчина стал очень осторожен. Он приспособился к жизни в яме, будто впал в зимнюю спячку, и заботился только о том, чтобы рассеять подозрительность жителей деревни. Говорят, что бесконечное повторение одного и того же — самая лучшая маскировка. И если вести жизнь, которая будет состоять из простых повторений одного и того же, то не исключено, что в конце концов о нем забудут.

Повторение может принести и такую пользу. Ну, например, два последних месяца женщина изо дня в день, не поднимая головы, нижет бусы и так поглощена этой работой, что у нее даже лицо опухло. Длинная игла так и мелькает, когда она острым концом поддевает отливающие металлом бусинки, насыпанные в картонную коробку. Ее сбережения достигли, пожалуй, двух тысяч иен. Порабстает она так еще с полмесяца — и хватит денег для первого взноса за приемник.

В игле, пляшущей вокруг коробки с бусинками, было столько значительности, будто эта коробка была центром вселенной. Повторение окрашивало настоящее, вселяло ощущение реальности окружающего. И мужчина решил тоже целиком отдаться однообразной физической работе. Сметать песок с чердака, просеивать рис, стирать — все это стало его повседневной обязанностью. Пока он работал, напевая себе под нос, время во всяком случае летело быстрее. А ради удовольствия он соорудил небольшой полог из полиэтилена, чтобы во время сна на них не сыпался песок, и придумал приспособление для варки рыбы в горячем песке...

Чтобы не расстраиваться, он с тех пор не читал газет. Достаточно было потерпеть неделю, и читать уже почти не хотелось. А через месяц он вообще забыл о их существовании. Когда-то он видел репродукцию гравюры, которая называлась «Ад одиночества», и она его поразила. Там был изображен человек в странной позе, плывущий по небу. Его широко открытые глаза полны страха. Все пространство вокруг заполнено полупрозрачными тенями покойников. Ему трудно пробираться сквозь их толпу. Покойники, жестикулируя, отталкивая друг друга, что-то беспрерывно говорят человеку. Почему же это «Ад одиночества»? Он тогда подумал, не перепутано ли название. Но теперь ясно понимает его. Одиночество — это неудовлетворенная жажда мечты.

Именно поэтому грызут ногти, не находя успокоения в биении сердца. Курят табак, не в состоянии удовлетвориться ритмом мышления. Нервно дрожат, не находя удовлетворения в половом акте. И дыхание, и ходьба, и перистальтика кишечника, и ежедневное расписание, и воскресенье, наступающее каждый седьмой день, и школьные экзамены, повторяющиеся каждые четыре месяца,— все это не только не успокаивало его, но, напротив, толкало на все новое и новое повторение. Вскоре количество выкуриваемых сигарет увеличилось, ему снились кошмарные сны, в которых он вместе с какой-то женщиной с грязными ногтями все время искал укромные, укрытые от посторонних глаз уголки. И когда в конце концов он обнаружил симптомы отравления, то сразу же обратился мыслями к небесам, поддерживаемым простым цикличным эллиптическим движением, к песчаным дюнам, где господствуют волны длиной в $^1/_8$ мм.

Он испытывал некоторое удовольствие от нескончаемой борьбы с песком, от своей ежедневной работы, превращенной им в урок, но нельзя сказать, что это было чистое самоистязание. Он бы не удивился, найдя в этом путь к выздоровлению.

Но однажды утром вместе с продуктами, которые регулярно доставлялись, к нему попал журнал карикатур. Журнал как журнал, ничего особенного. Обложка порвана, весь он захватан грязными пальцами — не иначе, добыли его у какого-нибудь старьевщика. Но хоть вид у него неприглядный, можно расценить его как проявление заботы со стороны жителей деревни. Больше всего он был озадачен тем, что, читая журнал, от смеха катался по полу, бил ногами, точно у него начались конвульсии.

Карикатуры были самые дурацкие. Бессмысленные, вульгарные, плохо выполненные — спроси у него, что в них забавного, он бы не смог ответить. Смешной была лишь одна карикатура, изображавшая лошадь, у которой подкосились ноги и она упала, когда на нее взобрался огром-

ный мужчина. Морда у лошади действительно была комичная. Но все равно, разве в его положении можно смеяться? Постыдись. Приспособиться можно только до определенного предела. Причем это должно быть средством, но ни в коем случае не целью. Хорошо говорить о зимней спячке, но разве может он превратиться в крота и навсегда убить в себе всякое желание выйти на свет?

Правда, если вдуматься, нет никакой надежды, что представится случай когда-либо, каким-либо способом выбраться отсюда. Но ведь не исключено, что можно привыкнуть просто к ожиданию, лишенному всякой цели, а когда кончится время зимней спячки, окажется, что свет ослепил тебя и ты и не можешь выйти наружу. Говорят ведь: нищий три дня — нищий навсегда... Внутренняя ржавчина появляется удивительно быстро... Он глубоко задумался, но стоило вспомнить уморительную морду лошади, как снова им овладел дурацкий смех. Женщина под лампой, как всегда, поглощенная кропотливым нанизыванием бус, подняла голову и простодушно улыбнулась ему. Мужчина, не в состоянии вынести собственное предательство, отбросил журнал и вышел. Над ямой клубился молочный туман. Остатки ночи — разбросанные клочки теней... клочки, сверкающие, как раскаленная металлическая нить... плывущие клочки, превратившиеся в блестящие капельки пара... И это сказочное сочетание теней будило мечту, предела которой не было. Он смотрел и не мог насмотреться. Каждое мгновение было наполнено все новыми и новыми открытиями. Здесь было все — и образы, существовавшие в действительности, и фантастические образы, которых он никогда не видел.

Повернувшись к этому водовороту теней, мужчина стал взывать:

— Господин председатель суда, познакомьте меня с содержанием обвинения! Скажите мне, каковы причины такого приговора?! Подсудимый стоя ждет вашего ответа!

Из тумана раздался голос, показавшийся ему знакомым. Он был глухой, словно говорили в телефонную трубку.

— Один из сотни в конце-то концов...

— Что такое?

— Я говорю, в Японии на сто человек приходится один шизофреник.

— Простите, вы о чем?..

— Кстати, клептоманов тоже один на сто...

— Да о чем это вы?

— Если однополой любви среди мужчин подвержен один процент, то, естественно, таким же должен быть процент и среди женщин. И если продолжить дальше — один процент поджигателей, один процент алкоголиков, один процент психически отсталых, один процент половых маньяков, один процент страдающих манией величия, один процент закоренелых жуликов, один процент импотентов, один процент террористов, один процент параноиков...

— Прошу вас, довольно этих несуразностей.

— Хорошо, слушай спокойно. Прибавим боязнь высоты, боязнь скорости, наркоманию, истерию, одержимых мыслью об убийстве, сифилитиков, слабоумных...— тоже по одному проценту и получим в общем двадцать процентов... И если ты можешь таким же образом перечислить еще восемьдесят аномалий... а нет никаких сомнений, что сделать это можно... значит, совершенно точно, статистически доказано, что сто процентов людей ненормальны.

— Ну что за глупость! Если бы не было какого-то эталона нормальности, то невозможно было бы установить и ненормальность!

— Не нужно так, ведь я просто хотел защитить тебя...

— Защитить?..

— Но ведь ты сам вряд ли будешь настаивать на своей виновности?

— Конечно не буду!

— Тогда веди себя более покладисто. Каким бы исключительным ни было положение, терзать себя нет никакого смысла. Люди не обязаны спасать диковинную гусеницу, но у них нет права и судить ее...

— Гусеницу?.. Почему протест против незаконного задержания превратил меня в диковинную гусеницу?

— Не прикидывайся простачком... В Японии, типичном районе высокой влажности и температуры, восемьдесят семь процентов стихийных бедствий приходится на наводнения, и в этих условиях ущерб от разносимого ветром песка составит тысячную долю процента. Принимать это в расчет — все равно что устанавливать специальное законодательство по борьбе с наводнениями в Сахаре. Глупый разговор!

— Я об этом и не говорю. Речь идет о моих мучениях... Незаконное задержание везде незаконно — будь то в пустыне, будь то в болоте!

— А, незаконное задержание... Но ведь предела людской жадности нет... И ты лакомый кусок для жителей деревни...

— Дерьмо тоже еда! Но для меня смысл существования в чем-то более высоком!

— Все это так. Значит, ты считаешь, что тебе не повезло с твоим обожаемым песком?

— Не повезло?..

— Я слышал, на свете есть люди, которые чуть ли не десять лет жизни посвятили нахождению числа $\pi$ с точностью до нескольких сотен знаков... Прекрасно... В этом, наверно, тоже есть свой смысл существования... Однако именно потому, что ты отвергаешь подобный смысл существования, ты в конце концов сам забрел в эти места.

— Неверно! И у песка тоже есть совершенно иной облик!.. Например, разве он не идет на формы для отливки?.. Потом — он необходимое сырье, придающее твердость бетону... Еще используется легкость удаления из песка бактерий и сорняка для исследований в области сельского хозяйства... Наконец проводились опыты по превращению песка в плодородную почву путем внесения в него энзимов... В общем, о песке так просто не скажешь...

— Ну и ну, ревностно же ты обращаешь в свою веру... Но если ты изменишь свою точку зрения, я не буду знать, чему же наконец верить.

— Мне противно подохнуть, как собаке!

— А разве не все равно... Сорвавшаяся с крючка рыба всегда кажется больше пойманной.

— Черт тебя подери, кто же ты наконец?

Но клочья тумана взвились вверх, и ответа он не расслышал. Теперь пучком скользнули вниз лучи света. Свет ослепил его. Сжав зубы, он не позволил усталости, комку вязкой сажи, подступившему к горлу, вырваться наружу.

Каркнула ворона. Вспомнив о ловушке, он решил пойти за дом и осмотреть свою «Надежду». Надежды на успех почти нет, но это занятие интереснее, чем журнал с карикатурами.

Приманка по-прежнему была не тронута. Запах протухшей рыбы ударил в нос. С тех пор как он соорудил «Надежду», прошло больше двух недель — и никаких результатов. В чем же, собственно, причина? В конструкции силка он был уверен. Если бы ворона схватила приманку, все было бы в порядке. Но они даже не смотрели в эту сторону, и тут уж ничего не поделаешь...

Почему же этим воронам что-то не понравилось в «Надежде»? Ведь с какой стороны ни посмотри,— подозрительного в силке нет ничего. Вороны отличаются тем, что, охотясь за отбросами, оставляемыми человеком, все время вертятся вокруг человеческого жилья и при этом остаются чрезвычайно осторожными. Они точно состязаются в терпении с

человеком. Пока в их сознании тухлая рыба в этой яме не превратится в нечто совершенно обычное... В общем, выдержка — это далеко еще не поражение... Наоборот, когда терпеливость начинаешь воспринимать как поражение, тогда-то настоящее поражение и начинается. Ведь именно поэтому он и выбрал название «Надежда». Мыс Доброй Надежды — не Гибралтар, а Кейптаун...

Медленно волоча ноги, мужчина вернулся в дом... Снова пришло время сна.

## 29

Когда женщина увидела его, она, будто только вспомнив об этом, задула лампу и пересела ближе к двери, где было посветлее. Неужели она еще собирается продолжать работу? Ему вдруг нестерпимо захотелось сделать что-нибудь. Подскочив к женщине, он сбросил с ее колен коробку с бусами. Черные шарики, похожие на плоды какого-то растения, рассыпались по земляному полу и мгновенно погрузились в песок. Женщина испуганно смотрела на него, не проронив ни слова. Мужчина стоял с тупым выражением лица. С обмякших губ вместе с желтой слюной сорвался жалобный стон.

— Бесполезно... Ненужная трата сил... Совершенно бесполезный разговор... Ты уже отравлена...

Женщина по-прежнему молчала. Она тихо перебирала пальцами уже нанизанные на нитку бусы. Они сверкали, как кусочки желе. Мужчину охватил озноб: дрожь снизу, от ног, поднималась выше и выше.

— Да, это точно. Скоро уже ничего нельзя будет изменить. В один прекрасный день мы обнаружим, что в деревне не осталось ни одного человека, только мы... Мне все понятно... Правда... правда... Теперь нас это ждет, и очень скоро... И когда поймем, что нас предали, будет поздно... И все силы, которые мы отдали,— им на это наплевать...

Женщина, неотрывно глядя на зажатые в руках бусы, тихонько покачивала головой.

— Нет, не может этого быть. Как они будут жить, когда уйдут отсюда,— сразу ведь не устроишься?..

— А не все ли равно. Разве существование здесь хоть сколько-нибудь похоже на жизнь?

— Но есть песок, и поэтому...

— Песок? — мужчина, стиснув зубы, повел подбородком.— Песок, а для чего он? Ломаного гроша на нем не заработаешь, только жизнь утяжеляет.

— Нет, его продают.

— Продают?.. Кому же они его продают?

— Ну, на это, на строительство, что ли... Его в бетон добавляют...

— Брось шутить! Здорово было бы, если б в цемент добавляли этот песок — в нем ведь полно соли. Во-первых, это будет нарушением строительных законов или там инструкций...

— Ну, конечно, тайно, наверно, продают... Доставляют за полцены...

— Болтаешь что на ум взбредет! Ведь когда фундамент или плотина развалятся, их не спасет то, что песок был за полцены или даже даровой!

Женщина бросила на него сердитый взгляд. Потом опустила глаза, в тоне ее уже не было покорности.

— А нам что, не все равно? Не наше это дело, и нечего соваться!

Мужчина отсропел. Происшедшая в ней перемена была разительна — будто с лица ее упала маска. Это было лицо деревни, представшее перед ним в облике женщины. До сих пор деревня была для него лишь

палачом. Или бессмысленным хищным растением, прожорливой актинией. Себя же он считал несчастной, случайно схваченной жертвой. Но с точки зрения жителей деревни именно они были брошены и покинуты всеми. Естественно, у них не было никаких обязательств по отношению к остальному миру. Значит, поскольку он принадлежал к тем, кто причиняет им вред, выставленные деревней клыки были направлены на него. Он еще ни разу не думал так об отношениях между собой и деревней. Неудивительно, что они растерялись. Но даже и так, отступить — все равно что самому перечеркнуть свою правоту.

— Может, и правда о других нечего беспокоиться.— В возбуждении он приподнялся.— Но на мошеннической торговле ведь кто-то здорово наживается, а?.. Можно и не гнуть спину для этих типов...

— Нет, продажа песка — это дело артели.

— Ну да... Но все равно в конце-то концов у кого больше акций, кто денег больше вложил, тот...

— Хозяева, у которых были деньги, чтобы купить себе шхуну, давно отсюда уехали... А к нам относятся очень хорошо... Правда, обмана никакого нет... Если думаете, что я вру, велите им показать записи, и вы сразу поймете.

Мужчина стоял растерянный, взволнованный. Он вдруг почувствовал себя жалким и беспомощным. Карта операции, где противник и свои войска были раскрашены в разные цвета, превратилась в какую-то загадочную картинку неопределенного цвета, на которой ничего нельзя разобрать. И не стоило так уж расстраиваться из-за этого журнала с карикатурами. Никого здесь не волнует, заливаешься ты дурацким смехом или нет... Он забормотал отрывисто, с трудом ворочая языком.

— Ну да... Да, конечно... Чужие дела... Это верно...

Потом с его губ сорвались слова, неожиданные для него самого, не связанные с тем, о чем говорилось раньше.

— Надо бы не откладывая купить горшок с каким-нибудь растением...— Он сам поразился, но лицо женщины было еще более озадаченным, и он уже не мог отступить.— Мертво вокруг, даже глазу не на чем отдохнуть...

Женщина ответила тревожно:

— Может, сосну?

— Сосну?.. Нет, сосну я не люблю... В общем, все равно что, можно хоть траву какую... Около мыса растет много ее, как она называется?

— Пушйца, что ли. Но все-таки деревце лучше, а?

— Если дерево, то, может, клен или павлонию с тонкими ветками и большими листьями... Чтобы они развевались на ветру...

Развевались... Трепещущие гроздья листьев. Захоти они убежать, не убежишь — прочно прикреплены к стволу...

Без всякой связи с его состоянием дыхание стало прерывистым. Он готов был расплакаться. Быстро наклонившись к земляному полу, где были рассыпаны бусинки, он неловкими движениями начал шарить в песке.

Женщина поспешно поднялась.

— Ничего, ничего. Я сама... Через сито быстро все просею.

## 30

Однажды, когда мужчина зашел по нужде за дом и смотрел на висевшую над краем ямы пепельную луну, такую близкую, что, казалось, ее можно потрогать рукой, он неожиданно почувствовал сильный озноб. Может, простудился?.. Да нет, непохоже. У него много раз бывал озноб перед тем, как повышалась температура, но сейчас было что-то другое.

Ему не казалось, что воздух колючий, не покрылся он гусиной кожей. Дрожь ощущалась не в коже, а где-то в костях. Она расходилась кругами, как рябь на воде от брошенного камня. Тупая боль передавалась от одной кости к другой, и было не похоже, что она пройдет. Такое ощущение, будто вместе с ветром в него залетел ржавый жестяной бидон и с грохотом гуляет по телу.

Пока он стоял так, весь дрожа, и смотрел на луну, в голову пришли самые неожиданные ассоциации. На что похожа эта плоская луна? Болячка, покрытая рубцами и кое-где припудренная грубо смолотой мукой... Высохшее дешевое мыло... Или, может быть, заплесневевшая круглая алюминиевая коробка для завтраков... А ближе к центру совсем уж невероятные образы. Череп... Общая во всех странах эмблема яда... Присыпанные порошком белые кристаллы на дне бутылки для насекомых... Удивительное сходство между поверхностью луны и кристаллами, оставшимися после того, как испарится цианистый калий. Бутыль эта, наверно, все еще стоит около двери, засыпанная песком...

Сердце стало давать перебои, точно треснувший шарик пинг-понга. Какие-то жалкие ассоциации. Почему он думает все время о таких зловещих вещах? И без того в октябрьском ветре слышатся горечь и отчаяние. Он проносится с воем, будто играя на дудке, сделанной из пустого стручка. Глядя на край обрыва, чуть освещенный луной, человек подумал, что, может быть, испытываемое им чувство, будто внутри у него все спалено, просто зависть. Зависть ко всему, что олицетворяет оставленное им наверху,— к улицам, трамваям, светофорам на перекрестках, рекламе на телефонных столбах, дохлым кошкам, аптекам, где торгуют сигаретами. И так же, как песок сожрал внутренность стен и столбов дома, зависть изъела его внутренности и превратила его в пустую кастрюлю, оставленную на горящей печке. Температура кастрюли стремительно повышается. Жар становится нестерпимым, и не исключено, что вот-вот она расплавится. И раньше чем говорить о надежде, встает вопрос: как преодолеть это мгновение и нужно ли его преодолевать?

Хочется более легкого воздуха! Хочется хотя бы чистого воздуха, не смешанного с тем, который я выдыхаю! Если бы можно было раз в день хоть по полчаса смотреть на море, взобравшись на обрыв, как бы это было прекрасно! Ну это-то уж могли бы разрешить. Деревня стережет его слишком строго. Желание его совершенно естественное, тем более что он так добросовестно работал эти последние три месяца. Даже заключенному разрешают прогулки.

— Это невыносимо! Жить так круглый год, уткнувшись носом в песок. Это же быть заживо законсервированным. Неужели мне не разрешат хоть изредка гулять около ямы?

Но женщина, не находя ответа, молчала. У нее было такое выражение лица, точно она не знала, что делать с ребенком, который капризничает, потеряв конфетку.

— Пусть попробуют сказать, что нельзя! — мужчина разозлился. Он снова вытащил на свет эту ненавистную веревочную лестницу, вызывающую такие горестные воспоминания.— Когда я в тот день бежал, то видел их собственными глазами... И в нашем ряду есть несколько домов, к которым спущены лестницы!

— Да, но...— она говорила робко, точно оправдываясь,— большинство из них какое уж поколение живет в этих домах.

— А на нас они, что ж, не надеются, что ли?!

Женщина покорно опустила голову, словно собака, готовая ко всему. Если бы мужчина пил у нее на глазах цианистый калий, она бы, наверно, так же покорно молчала.

— Ладно, попробую сам договориться с этими подлецами!

Правда, в глубине души он не питал особых надежд, что переговоры эти будут успешными. Он уже привык к разочарованиям. Поэтому, когда все тот же старик пришел со вторыми переносчиками песка и принес ответ, он даже немного растерялся.

Но растерянность не шла ни в какое сравнение с тем, что он испытал, уразумев смысл ответа.

— Ну ладно...— Старик говорил медленно, запинаясь, будто перебирая в уме старые бумаги.— Это, ну, в общем, чтобы совсем уж нельзя было договориться,— такого нет... Я, к примеру, конечно, но если вы двое выйдете из дома и перед нами, перед всеми... будете это делать, а мы смотреть... Ну, а то, что вы просите, это правильно, это можно будет сделать, ладно...

— А что мы должны делать?

— Ну, это... как его, самец и самка что? Спариваются... Вот так.

Переносчики песка дико захохотали. Мужчина замер, будто ему стиснули горло. Он с трудом начал соображать, о чем идет речь. Начал понимать, что он понимает. И когда понял, то предложение не показалось ему таким уж чудовищным.

Луч карманного фонаря, точно золотая птица, пролетел у ног мужчины. Это был какой-то сигнал. Вслед за ним еще семь или восемь лучей стали кружить по дну ямы. Подавленный этим нетерпением стоявших наверху людей, которые только что не горели как смола, он, еще не найдя слов, чтобы отвергнуть предложение, уже сам точно заразился их безумием.

Он медленно повернулся к женщине. Вот только что она размахивала здесь своей лопатой, но сейчас куда-то исчезла. Может, убежала в дом? Он заглянул в дверь и позвал ее.

— Что же нам делать?

Из-за стены раздался ее приглушенный голос.

— Ну их к черту!

— Но хочется же выйти отсюда...

— Нельзя так!

— Да ладно, нужно смотреть на это проще...

Вдруг женщина, задыхаясь, подступила к нему.

— Вы что, с ума сошли?.. Не иначе с ума сошли... Просто разум потеряли! Ну разве можно такое делать!.. Я же не помешанная!

Может, и правда?.. Может, и правда я сошел с ума?.. Ожесточенность женщины заставила его отступить, но внутри росла и ширилась какая-то пустота... Его столько уже пинали ногами, какое значение имеют теперь честь, достоинство?.. Когда на тебя смотрят, а ты делаешь что-то гадкое — это гадкое в одинаковой степени марает и тех, кто смотрит... Быть увиденным и видеть — незачем возводить стену между этими двумя понятиями... Некоторое различие между ними, конечно, есть, но, чтобы оно исчезло, я устрою им это маленькое представление... Нужно еще подумать и о том, какую награду ты получишь за это!.. Свободно разгуливать по земле!.. Я хочу вытащить голову из этого затхлого болота и вздохнуть полной грудью!

Определив, где находится женщина, он неожиданно бросился на нее. Крик женщины, шум падения их сплетенных тел около стены дома вызвали наверху животное возбуждение. Раздался свист, хлопанье в ладоши, похотливые выкрики... Количество людей там значительно возросло, среди них были, кажется, и молодые женщины. Число фонарей, скользивших по двери дома, стало раза в три больше, чем вначале.

Благодаря тому, что он застиг женщину врасплох, ему удалось выволочь ее наружу. Он сдавил ей шею, и женщина обмякла, как мешок. Полукруг огней над ямой напоминал праздничную иллюминацию. Хотя не было особенно жарко, у него из подмышек струился пот, волосы

взмокли, будто на него вылили ушат воды. Вопли зрителей, точно эхо, отдаваясь в ушах, огромными черными крыльями застлали небо. Мужчине казалось, что это его крылья. Он ощущал этих людей, напряженно смотревших с обрыва, так же явственно, как самого себя. Они были частью его. Это от его вожделения у них бежала слюна. Он уже чувствовал себя не жертвой, а, скорее, представителем палачей.

Было темно, да и руки дрожали и пальцы стали будто в два раза толще. Когда наконец он уже обхватил ее, она выгнулась и ловко выскользнула из его рук. Утопая в песке, он бросился за ней. Но она снова отбросила его, точно стальная пружина. Наконец схватив ее, мужчина начал молить:

— Прошу... Прошу тебя... Ведь я же все равно не могу... Давай сделаем только вид...

Но ему уже не нужно было удерживать ее. У женщины, казалось, пропало желание убегать. Вдруг он услышал звук рвущейся материи и в то же мгновение почувствовал сильный удар в низ живота, который нанесла локтем женщина, вложив в него всю свою злость, всю тяжесть своего тела. Мужчина беззвучно согнулся пополам и обхватил руками колени. Склонившись над ним, женщина стала кулаками молотить его по лицу. На первый взгляд могло показаться, что движения ее вялые, но каждый удар был увесистым, точно она толкла отсыревшие и слежавшиеся комки соли. Из носа хлынула кровь. На кровь налип песок, и его лицо превратилось в ком земли.

Возбуждение наверху спало, точно зонт, у которого обломали спицы. Смешались вместе выкрики негодования, насмешки, подбадривания, но они были какими-то нестройными, отрывочными. Пьяные, непристойные возгласы тоже не могли поднять настроение зрителей. Кто-то бросил что-то вниз, но другой тут же обругал его. Конец был таким же неожиданным, как и начало. Издали раздались голоса, призывающие к работе, длинный хвост огней растаял, будто его потянули вверх. И только дул темный северный ветер, унося последние следы возбуждения.

Мужчина, избитый и засыпанный песком, смутно ощущал, что все шло как по-писаному. Эта мысль теплилась где-то в уголке сознания, напоминавшего пропитанное потом белье, под которым лишь биение сердца было до боли отчетливым. Горячие, как огонь, руки женщины лежат у него под мышками, и запах ее тела точно колючками бьет в нос. Ему представилось, что он в ее ласковых руках, как маленький камешек в русле спокойной реки.

## 31

Прошли однообразные недели песка и ночи.

Вороны по-прежнему игнорировали «Надежду». Приманка — вяленая рыба — уже перестала быть вяленой рыбой. Вороны не соблазнились ею, но бактерии, видимо, были менее разборчивы. Однажды утром он тронул приманку концом палки — от рыбы осталась только кожа, а сама она превратилась в черное липкое месиво. Сменив приманку, он решил еще раз проверить, не испортилось ли его устройство. Он отгреб песок, открыл крышку и замер, пораженный. На дне бочонка скопилась вода. Ее было всего сантиметров десять, но это была почти совсем прозрачная вода, гораздо чище той, ржавой, которую им ежедневно привозили. Разве в последнее время шел дождь?.. Нет, дождя не было недели две, не меньше... Тогда, может быть, это вода, оставшаяся от дождей, которые шли раньше?.. Ему бы хотелось так думать, но смущало то, что бочонок протекал. Действительно, когда он поднял его, сквозь днище полилась вода. Поскольку на такой глубине не могло быть подземного родника, напрашивалась мысль, что вытекавшая из бочонка

вода все время откуда-то пополняется. Во всяком случае, так выходит теоретически. Но откуда ей пополняться в этих пересохших песках?

Мужчина с трудом сдерживал все возрастающее волнение. Можно было представить себе только один ответ. Капиллярность песка. Поверхность песка из-за высокой удельной теплоемкости обычно высушена, но если немного углубиться, там песок всегда влажный. Это происходит, несомненно, потому, что испарение с его поверхности действует как помпа, выкачивающая влагу из нижних слоев. Представив себе это, можно легко объяснить и обильный туман, поднимающийся с дюн утром и вечером, и необычную влажность, пронизывающую деревянные стены и столбы дома и вызывающую гниение. В конце концов сухость песков объясняется не просто недостатком воды, а, скорее, тем, что всасывание песка через капилляры никогда не достигает скорости испарения. Другими словами, пополнение воды идет непрерывно. Только эта циркуляция происходит со скоростью, немыслимой в обычной почве. И, наверно, его «Надежда» где-то нарушила эту циркуляцию воды. Видимо, расположение вкопанного бочонка, ширина щели между ним и крышкой — все это не позволяло просачивающейся снизу воде испаряться, и она скапливалась на дне. Каково это расположение и как все это связано между собой, он не мог еще точно объяснить, но после тщательного изучения сумел бы, несомненно, повторить свой опыт. И не исключено, что ему удалось бы построить еще более эффективное сооружение для скопления воды.

Окажись опыты удачными — и ему не придется больше капитулировать, если перестанут привозить воду. Но еще важнее другое: оказывается, весь песок — огромный насос. Ему казалось, что он сидит на всасывающей помпе. Чтобы успокоить бешеные удары сердца, ему пришлось сесть и перевести дух. Пока нельзя никому об этом говорить. В случае чего — это важное оружие.

Он не мог сдержать радостного смеха. Хотя он должен был молчать о своей «Надежде», очень трудно было скрыть переполнявшую его сердце гордость. Неожиданно мужчина закричал тонким голосом, охватил сзади женщину, стелившую постель. Но она вывернулась, а он упал на спину и стал смеяться, дрыгая ногами, будто живот ему щекотал бумажный шар, наполненный легким газом. Ему казалось, что рука, которую он держал у лица, свободно плавает в воздухе.

Женщина тоже смеялась, но как-то принужденно — просто чтобы не портить ему настроение. Мужчина представлял себе простирающуюся без предела чистую сеть подземных ручейков, тонкими серебристыми нитями поднимающихся вверх по узким промежуткам между песчинками. Женщина же подумала о другом — не иначе о половом акте, который должен последовать после этого. Ну и ладно. Только потерпевший кораблекрушение и чудом не утонувший в состоянии понять психологию человека, которому хочется смеяться уже потому, что он дышит.

По-прежнему находясь на дне ямы, он испытывал такое чувство, будто поднялся на высокую башню. Может быть, весь свет вывернулся наизнанку, и теперь возвышенности и впадины поменялись местами. Во всяком случае он нашел в песке воду. А это значит, что жителям деревни не справиться с ним так просто. Пусть прекращают теперь доставку воды, он обойдется без них, сколько угодно. И он снова начинал безудержно хохотать, стоило ему подумать о том, как они забе́гают. Хотя он оставался все в той же яме, ему казалось, что он уже выбрался из нее. Он огляделся, и вся яма предстала перед его взором. Очень трудно судить о мозаике, если не смотреть на нее с расстояния. Подойдя вплотную, вы заблудитесь в деталях. Оторвавшись от одной детали, спотыкаетесь о другую. До сих пор он видел, скорее всего, не песок, а лишь отдельные песчинки.

То же он мог бы сказать о той, другой женщине и о своих сослуживцах. До сих пор он вспоминал только отдельные мелкие детали, необычайно разросшиеся в его воображении: ноздри мясистого носа... сморщенные губы... гладкие тонкие губы... тупые пальцы... тонкие пальцы... звезды в глазах... длинная бородавка под ключицей... бегущие по груди лиловые жилки... Смотреть в упор, вблизи — тошно. Но на расстоянии все это кажется крошечным, не больше малюсенького насекомого. Вон там, далеко, копошатся сослуживцы, пьющие чай в учительской. А вон там, в уголке,— та женщина, обнаженная, лежит в сырой кровати, полузакрыв глаза, не шевелясь, хотя пепел с ее сигареты вот-вот упадет. Без всякой зависти он думал об этих маленьких насекомых, будто это были формы для печенья, которые имеют оболочку, но внутри пусты. И не нужно быть настолько фанатичным пирожником, чтобы настойчиво печь печенье, которого никто не просил,— лишь бы использовать формы. Если ему случится еще раз завязать с ними отношения, то придется начинать все с самого начала. Перемены, происшедшие в песке, были в то же время и переменами в нем самом. В песке вместе с водой он обнаружил и нового человека.

Так, к его ежедневному уроку прибавилась работа над сооружением для сбора воды. Стали скапливаться цифры и диаграммы — место, где должен быть закопан бочонок... форма бочонка... связь между временем, когда светит солнце, и скоростью скопления воды... влияние температуры и атмосферного давления на эффективность сооружения. Женщина никак не могла понять, почему он так усердно возится с силком для ворон. Она убеждала себя, что ни один мужчина не может обойтись без какой-нибудь игрушки, и если он находит в этом удовлетворение — прекрасно. Кроме того, он почему-то стал проявлять большой интерес к ее надомной работе. Во всем этом не было ничего плохого. Так что пусть забавляется. Но и у мужчины были на этот счет свои соображения и мотивы. Его исследование неожиданно натолкнулось на серьезное препятствие, потребовав сопоставления и увязки целого ряда условий. И хотя количество собранного материала росло, он никак не мог найти закономерности, которая позволила бы объединить его в стройную систему. К тому же, если он хотел получить точный материал, необходимо было иметь радиоприемник, чтобы слушать сводку и прогнозы погоды. Так приемник стал общей целью обоих.

В начале ноября воды в бочонке скапливалось по четыре литра в день, а затем день ото дня воды стало прибывать все меньше. Может быть, под влиянием температуры? Но, видимо, для проведения опытов в полном объеме придется подождать весны. Наступила долгая жестокая зима, и вместе с песком в воздухе начали носиться льдинки. Чтобы купить приемник получше, он решил хоть немного помочь женщине. Яма тоже имела свои преимущества — в нее не залетал ветер. Но зато и солнце почти не заглядывало. Даже в те дни, когда песок промерзал, в воздухе его носилось ничуть не меньше, чем обычно, и нужно было без устали отгребать его от дома. Кожа на руках потрескалась и кровоточила.

Наконец зима кончилась. Наступила весна. В начале марта приемник был куплен. На крыше установили высокую антенну. Женщина, радостно и удивленно, полдня крутила ручки. В конце месяца она почувствовала, что беременна. Прошло еще два месяца. Огромные белые птицы три дня летели с запада на восток. А еще через день женщина пожаловалась на нестерпимую боль. Она увидела, что вся в крови. Кто-то из деревни — у него в родне был ветеринар — поставил диагноз: выкидыш. Решили отвезти ее на пикапе в город, в больницу. Ожидая машину, мужчина сел рядом, позволив взять себя за руку, а другой поглаживая ей живот.

Но вот к яме подъехал пикап. Впервые за полгода была спущена

веревочная лестница. Женщину, запеленутую в одеяло, как кокон, на веревке подняли наверх. До последней минуты она с мольбой смотрела на него глазами, полными слез. Будто не замечая, он отвел глаза.

После того, как ее увезли, веревочная лестница продолжала висеть. Мужчина робко подошел к ней и прикоснулся кончиком пальца. Убедившись, что она не исчезает, он стал медленно подниматься. Небо было какого-то грязно-желтого цвета. Руки и ноги тяжелые, будто он вышел из воды... Вот она, долгожданная лестница...

Ветер, казалось, вырывал дыхание изо рта. Обойдя вокруг ямы, он поднялся выше, откуда видно было море. Море тоже было мутно-желтое. Он глубоко вздохнул, но воздух был шершавый, совсем не такой, каким представлялся ему. Обернувшись, он увидел облако пыли на краю деревни. Наверно, пикап с женщиной... Да, зря он, пожалуй, не рассказал ей все о ловушке до того, как уйти.

На дне ямы что-то зашевелилось. Это была его тень. Чуть выше тени сооружение для сбора воды. Одна планка отошла. Наверно, наступили, когда несли женщину. Он поспешил обратно, чтобы исправить поломку. Вода, как он и рассчитывал, поднялась до четвертой отметки. Поломка не такая уж серьезная. В доме трескучим голосом пело радио. С трудом сдерживая слезы, он опустил руки в бочонок. Вода обожгла холодом. Но он остался в том же положении, на корточках, даже не пошевелившись.

■

Спешить с побегом особой необходимости нет. Теперь в его руках билет в оба конца — чистый бланк, и он может сам, по своему усмотрению, заполнить в нем и время отправления, и место назначения. К тому же его непреодолимо тянет рассказать кому-нибудь о своем сооружении для сбора воды. И если он решит это сделать, благодарнее слушателей, чем жители деревни, ему не найти. Не сегодня, так завтра он кому-нибудь все расскажет.

А побег — об этом еще будет время подумать.

## ОБЪЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ

*ИМЯ ИСЧЕЗНУВШЕГО —*
*Ники Дзюмпэй.*
*ГОД, МЕСЯЦ И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ —*
*1924, март, 7.*

Поскольку Ники Сино было подано заявление об исчезновении вышеуказанного Ники Дзюмпэя, ему предлагается до 21 сентября 1962 года известить суд о своем местонахождении. В случае, если подобное сообщение не поступит, он будет признан умершим. Всех, кому известно что-либо об исчезнувшем, просят до указанного срока сообщить об этом суду.

*1962, февраль, 18.*

*ГРАЖДАНСКИЙ СУД.*

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

*ИСТЕЦ — Ники Сино.*
*ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ — Ники Дзюмпэй, родился — 1924, март, 7.*

Настоящим подтверждается, что после выполнения процедуры публичного объявления в связи с заявлением об исчезновении вышеназванного лица, об указанном лице с 18 августа 1955 года, то есть более семи лет, не поступало никаких сведений. В связи с вышеизложенным выносится следующее постановление: Исчезнувшего Ники Дзюмпэя считать умершим.

*1962, октябрь, 5.*

*ГРАЖДАНСКИЙ СУД.*
*ПОДПИСЬ СУДЬИ.*

# ПУТЬ К ПРЕОДОЛЕНИЮ

## (О РОМАНЕ КОБО АБЭ «ЖЕНЩИНА В ПЕСКАХ»)

**«Женщина в песках» — это философский роман, каких немало теперь пишется на Западе и на Востоке. Как и подобает современному философскому роману, он вполне доступен читателям, не имеющим философского образования, потому что вся философия его заключена в интересный случай, разбираясь в котором мы и участвуем в рассуждении. Но отличается он от других, пожалуй, тем, что случай был выбран как-то уж очень удачно.**

**Это прозвучит, должно быть, смешно, если коротко сказать, почему именно он получился удачным: автор бросил своего героя на дно песчаной ямы и заставил выбираться оттуда — причем тщетно — на протяжении тридцати одной главы. Тем не менее это так; этот случай оказался притягивающим к себе разного рода мысли, объединил то, что многие хотели сказать, но не могли одним словом выразить. Таким словом оказалось понятие «песок». Что-то сыпучее, где вязнут ноги, которым хотелось бы оторваться вперед, бесчисленное и наступающее, откуда тянет ветер, а главное, совершенно бесстрастное: кричи, не кричи, бессмысленно — до того, что и крик сам собой обрывается; никакого контакта, общения, понимания с ним быть не может. Это было очень похожим на то, как многие чувствовали себя в мире. Оттого роман имел быстрый успех и в Японии, и в других странах.**

**Мы часто недооцениваем книги, касающиеся таких состояний. Кажется, будто они оторваны от социальных проблем. Но все дело в том, что эти состояния и есть социальная проблема — и не только для Японии, о которой говорит писатель. Не замечая ее, мы просто остаемся еще под впечатлением формы, которую имели социальные проблемы в XIX веке, когда они были хорошо видимы в своих связях с человеком, закреплены за определенным местом и расчленены. Эти формы остались, но к ним добавились и новые — от возросшей зависимости друг от друга самых разных областей современной капиталистической действительности. Они окружили человека большим кольцом и стали действовать на расстоянии, очень часто не подпуская к себе,— все разом. Писателям пришлось выражать какое-то напряжение в пустоте, находящее как будто неизвестно откуда — но и необычайно сильное и реальное, как можно было понять из подверженных ему людей.**

**В Японии, которая в послевоенных условиях явилась в значительной степени новой страной, эти современные настроения-проблемы сказались с четкостью и ясностью, сразу обратившей на себя внимание. Литература народа, пережившего за корот-**

кий период фашистский режим, крушение милитаристских традиций, атомную катастрофу, иностранную оккупацию и необычайно сильное ответное стремление к возрождению и утверждению нации, стала заявлять о них все внушительней и настойчивей. Кобо Абэ (первый роман его на русском языке «Четвертый ледниковый период» вышел у нас в 1965 году в издательстве «Молодая гвардия»), представитель среднего (30—40-летнего) поколения, стал завоевывать международное признание именно этим умением делать новые социальные невидимости видимыми, находить для них широкие, вместимые образы. «Женщина в песках», с тем на первый взгляд странным положением, в которое был поставлен герой, оказалась здесь наиболее представительной книгой.

Конечно, глубина ямы еще не означает глубины содержания. И современная литература, использующая переносный смысл сравнений, бывает готова распространить их куда угодно — едва появится потребность. Но тут, помимо всего прочего, и сам материал был более обязательным. Нужно было описать деревню, которую засыпает песок — со стороны моря,— как это действительно случается в прибрежных районах. Символический смысл, который мог отыскать в этом положении автор, был связан определенной конкретностью. Его нужно было развивать в пределах возможного, по условиям реальности — как это действительно могло произойти.

Так благодаря авторскому допущению и появился в одном из домов подобной деревни некий Ники Дзюмпэй. Он расхаживал по дюнам и собирал насекомых — увлечение, которому мог предаваться лишь в короткие дни отпуска и вдали от жены и «неволи душных городов»,— но крестьяне, следившие за поведением странного человека с ящиком, рассудили по-своему. Его оставили в доме, куда он попросился ночевать, навсегда. Ночью была поднята веревочная лестница, и он увидел осыпающиеся стены ямы, которую надо было поддерживать, выгребать, если хочешь жить: здесь нужны были рабочие руки.

Можно представить себе ярость и отчаяние Дзюмпэя. Конечно, он стал требовать, проклинать, впадать в прострацию, надеяться, хитрить и изобретать все новые способы побега. Все существо его заработало, ища связей, выходов, причин, как никогда напряженно и едино. Отсюда и пошли одна за другой общие состояния-проблемы, за которыми мы следим вместе с ним, вернее, вместе с его положением.

Первая — это жестокость, о которой он, скромный интеллигент, раньше не подозревал. За что, почему, как так?..— готов он спрашивать каждую минуту, и получает в ответ: ни за что, нипочему, просто так. Бывает — ты просто ничего не знал, что жизнь имеет и такие стороны; сейчас пришлось и тебе.

Принять эту мысль нелегко. Но жизнь в яме не ведет с ним никаких дискуссий: не понял — тем хуже. После каждой бешеной атаки на стены он только больнее скатывается вниз. Чем отчаянней и неистовей его надежды, тем больше открывается ему в ответ какая-то отвратительная простота. Все оголяется. Словно нарочно, обстоятельства заставляют его заниматься тем, что ему больше всего не хотелось бы замечать: всеми подробностями телесных отправлений. Он вычищает песок из зубов, следит, не скопилась ли едкая пыль за резинкой пижамы, и наблюдает, сторонясь, за еще одной темной угрозой: крестьяне хотят, чтобы он связался с женщиной, которая живет давно уже в этом доме одна (муж ее погиб от песчаной бури). Им необходимо это для поддержания общины. Они появляются на краю ямы, наблюдают за ним, как за каким-то самцом, который неизвестно почему уклоняется от своей роли, смеются. Все это расписано довольно обстоятельно. Жестокость жизни как будто нарастает.

Но вот что странно: во всем этом скоплении натуральностей мы не замечаем никакого цинизма. Они наступают на Дзюмпэя, но с иного направления. Цинизм обычно сообщает: смотри, вот к чему сводится мир; ничего такого, что ты там себе воображал, не существует. Но здесь каждая унизительная подробность говорит как будто о другом: то, на что ты надеялся, может быть, и есть,— наверное, даже есть,— но не воображай, пожалуйста, что мы обязаны с этим считаться. Если хочешь, чтоб оно было, найди его тут же, а не отбрасывай нас; все равно не удастся. И не надейся на везение; везет тем, кто не видит, не знает; мы их тащим сами, выручаем или губим — это уж как получится. Ты же, Дзюмпэй, как будто понимаешь — так что же неистовствуешь? Если хочешь этого своего благородства добиться, добивайся вместе с нами.

Надо сказать, это безмолвное, но настойчивое объяснение обстоятельств «ямы» с Дзюмпэем производит сильное впечатление. Наше сочувствие перестает быть безоговорочным; мы не считаем уже Дзюмпэя только жертвой, а жестокость описаний все больше обращается на наших глазах во что-то другое — хорошо воспитанную трезвость и сдержанность, далекую от бесполезных сожалений. Во всем этом довольно отчетливо ощущается элемент японских этических и художественных традиций.

Но проблема движется дальше. Жестокость обстановки постепенно вытесняет из Дзюмпэя несколько важных самообольщений — чисто интеллектуального свойства. Теперь он уже не думает, как раньше, что можно создать этакий «песчаный корабль», который шел бы поверх песков, их избегая, скользя; он чувствует, что это значило бы обмануть самого себя, а не только пески, если бы и удалась такая прогулка. Войти с ними в соприкосновение, испробовать на себе их точку зрения — вот что необходимо, чтобы получить право судить о них и обладать живой с в о е й мыслью; без этого человек будет в лучшем случае пассажиром на любом корабле, и куда повлекут его технические «гироскопы», еще неизвестно.

Так входит в роман другая, более важная проблема — объективности, которую необходимо глубже понимать, чтобы определить свое направление в ней, а не состоять просто в слепом разладе. Мы тоже следим за этим вместе с положением, в котором оказался несчастный пленник; и чем дальше, тем убедительней выступает вперед мысль, что объективность эта неоднородна и содержит разные возможности.

С одной стороны, это пески, у которых не воображаемая — от слабости, наивности или страха,— а действительная жестокость. Они бесстрастны, холодны и разъедающи в самом деле. Это — безличные силы общества, в котором существовал Дзюмпэй до своего вселения в «яму», которые так же, как песок, разрушали все кругом в какое-то однородное множество. Перерождение живого в непрерывный обмен миллионов цифр и мер — веса, длины, времени и т. д.,— повсеместная победа деловых отношений, все большее сгущение на улицах людей, чем ближе, нос к носу, сталкивающихся, тем далее незнакомых, чужих друг другу,— все это и многое другое, что держалось в его памяти как целый образ жизни, теперь отлично совпало с поведением песка. Мертвая масса, просачивающаяся во все щели.

Дзюмпэй вспомнил, как он пытался когда-то смутно объяснить это впечатление одному из сослуживцев. Тот, конечно, не понял. Мысль была та, что оно действует как вбитое в голову «образование, которое зиждется на иллюзии, заставляющей несуществующее воспринимать как сущее...» Верно, сказано было темно. Но вообще-то, ясность этого становилась для него теперь несомненной Например, так называемый воскресный отдых — на электричке к морю, куда тянулись тысячи семей. Разве было это отдыхом и морем, а не воображением того и другого? «Все тот же запах едкого дыма», лежание на земле, «подстелив газету, открытую на страницах, посвященных политике... взятая напрокат после долгого стояния в очереди лодка — 150 иен в час... Побережье, на которое накатывается свинцовая пена прибоя, кишащая дохлой рыбой».

Или сам факт жизни в этих условиях — разве не становился он воображаемым? В первый день своего пребывания в яме Дзюмпэй наивно угрожал крестьянам, что его будут искать: «Как это ни прискорбно, но я не бродяга! Я и налоги плачу, и имею постоянное местожительство...» Но как раз потому, что он платит налоги и имеет местожительство, оказывается, что он хуже бродяги и никому не нужен сам по себе. Его исчезновение — только повод для встречи разных официальных версий, в том числе и фрейдистской, которая по силе влияния в интеллигентских кругах может быть названа официальной; но ни одна из них даже отдаленно не приближается к правде. Они просто парят над ним, ища подтверждений,— им нужен труп, и когда трупа не находят, побеждает та версия, которая в трупе не нуждается; предусмотрена и такая. Согласно параграфу закона, человек, пропадавший в течение семи лет, считается умершим. И Дзюмпэя объявляют мертвецом.

Все это достаточно серьезные вещи, и благодаря им образ песка разрастается в гигантскую пустыню, затерянность в которой кажется безнадежной.

Но есть и другая сторона, которую Дзюмпэй раньше не замечал. Привлекательность этого романа, оказывается, и в том, что автор, несмотря на трудность проблемы и ее масштабы, не оставляет ее без ответа. Он как бы сближает вновь две проблемы в одну, и выход светится все в том же положении, которое Дзюмпэй начал как-то по-своему понимать и преодолевать.

Бездушие и повсеместное распространение песка постепенно воспитывает в Дзюмпэе убеждение, что, в сущности, важно не то, где именно ему сопротивляться и прорастать его корнями. Намного важнее, как он догадывается теперь, действительно это делать — на любом участке, где он тебя застал, расширять зону живого. Побег из деревни, зарывшейся в дюнах, уже не кажется ему столь желанным. По меньшей мере, газеты, где он читает о происшествиях большой земли, не открывают ему больше в мире, откуда он исчез, ничего заманчивого. Напротив, он находит их сообщения куда более бессмысленными, чем старания общины отстоять поселок от песков. «Жизнь — те же газетные статьи... Поэтому каждый... центр компаса помещает в своем доме».

Этот вывод принадлежит, конечно, не автору, а Дзюмпэю. Мысль романа, представленная связью проблем, более полна и богата. Но интерес ее именно в обогащении, в том, что она становится более широкой и верно направленной. Проблема уходит от того решения, которое вначале казалось единственно верным: бежать. Выясняется, что не в этом дело. Сопротивление — и притом не простое, а в направлении жизни — вот мысль, которая становится более важной; сам побег начинает от нее зависеть и только в ней иметь смысл — или лишаться смысла, если с ней не связан.

Тут мы также начинаем замечать, что и все поступки Дзюмпэя были измерены изнутри другой идеей, которая прямо как будто нигде не давала о себе знать. Не случайно роман был назван не «Пески», а «Женщина в песках». Автор вовсе не старался возвысить ни эту недалекую женщину, ни всю общину угнездившихся в песках крестьян; он обрисовал их бегло и достаточно мрачно, но при всем том сумел указать среди разбросанности черт нечто целое, объединяющее «противопесчаные» силы. Это была стойкость, даже не подозревающая о том, что можно уступить, и продолжающая расти по совсем другому принципу, чем песок,— противоположно и неостановимо, воплощая в конечном счете идею сопротивления народа разрушительным силам «песка». Его-то и стал сознавать Дзюмпэй. Поэтому у него и появилось непреодолимое желание

рассказать кому-нибудь о своем сооружении для сбора воды (которое он придумал, размышляя, как обеспечить побег)... «если он решит это сделать, благодарнее слушателей, чем жители деревни, ему не найти». Неважно, выполнит ли он это намерение. Даже и покинув деревню, он сделает это не для того, чтобы бежать, а чтобы встретить пески где-нибудь еще, таким же или подобным сооружением.

Так приблизительно выглядит общая мысль этой книги, если бы мы попытались ее сформулировать (перед нами интеллектуальный роман, и мы, очевидно, просто обязаны это сделать). Но нетрудно и видеть, что несмотря на свою обоснованность, она остается все же довольно общей.

Здесь мы наблюдаем вообще одну из слабостей всего этого популярного в наши дни жанра книги-притчи, книги-сравнения. Это правда, что подобный роман оперативен, резок, отчетлив и впечатляющ. И верно, что он позволяет быстро переносить своими сравнениями целые серии современных проблем из одной национальной литературы в другую, вызывая волну обсуждения. Но все же он и безусловно слишком прост, рационален и стерилен. Разве не сожалеем мы, читая эту «Женщину в песках», что герои ее как будто посажены на дно пробирки и оттуда глядят на нас сквозь стекло, прилипнув носами? За эту прозрачную преграду им не перейти. Оттого все, что мы узнаем о них и способны оценить в них, остается поневоле отвлеченным.

Роман, правда, не является чистым по жанру; он не только развернутое сравнение — и в этом, как уже говорилось, его достоинство. Переносный смысл здесь связан с реальным положением и не так ограничен, как это бывает, несмотря на блестящие мысли, с другими чисто интеллектуальными допущениями-фантазиями, когда их сравнения исчерпываются тем, что в них заранее вложено. Преимущество этой книги и в том, что она набирает силу, все заново в себе исправляя, от каждой жизненной мелочи.

Если представить себе человеческое «древо» как нечто целое, легко понять разницу этих типов обобщения. Можно пригнуть ветви друг к другу на уровне определенных проблем, а можно и пройти по своей ветви в глубину до того места, где она расходится с другой или, еще глубже, с третьей, четвертой ветвью и т. д., обнаруживая родство и общность своего народа с этим целым. Конечно, чем дальше все разрастается к самостоятельности, тем сделать это последнее труднее. Но ведь, должно быть, и почетнее?

Пока что современные романы-притчи, пишущиеся в разных странах, принадлежат больше первому, условно говоря, международному типу. Они захватывающе-проблемны и дополняют по-своему, не уступая друг другу, европейские и американские образцы. Но существуют и другие, более глубокие и, как всегда, более медленно себе пробивающие путь к сердцам соседей — но уже зато надолго. Встречаясь с ними, мы испытываем что-то подобное тому, что испытывали многие, увидев с изумлением новую японскую архитектуру, сумевшую прогнуть, победить железобетонные клети силой национальной традицин.

Романы Кобо Абэ говорят о признаках того же самого в литературе. Их стремление подчинить себе конструкцию — все более настойчиво и совершенно, если сравнить «Женщину в песках» с первой книгой Абэ, появившейся на русском языке,— не вызывает сомнений.

«Женщина в песках» — книга, непроизвольно и просто рассказывающая нам свою историю, несмотря на трудность общих проблем, и остающаяся уверенно-гуманистической, несмотря на мрачность предмета,— составляет заметное достижение текущей литературы за рубежом.

**П. ПАЛИЕВСКИЙ**

ГУСТАВО ЛУИС КАРРЕРА

# ВЕНЕСУЭЛЬСКИЕ НОВЕЛЛЫ

Перевод с испанского
В. КРЫЛОВОЙ

## СОЗНАНИЕ

*Я расскажу тебе, Висенте, о судьбе Матео Паскуаля. О нем, конечно, ты ничего не знаешь, но он был известен, очень известен. Так вот поговорим о нем. Слушай внимательно — это и тебя касается. Мало выслушать о полезном, надо потом самому делать полезное в жизни. Итак, слушай внимательно.*

Каждую субботу и каждое воскресенье Матео Паскуаля можно было найти только в тавернах нашего поселка — чаще у кума Эстебана. По субботам заливал он за воротник и по воскресеньям заливал. И пил главным образом не ром, а «форталесу»—крепче этого кокуя * ничего ведь не бывает. Каждую неделю одно и то же (люди поют или играют на куа́тро **, а он знай себе пропускает стопку за стопкой. Пристрастие у него было такое).

Однажды, проходя по площади мимо церкви, увидел он в окне дома девчонку, которая ему сразу приглянулась (это была дочь Андресито, и в самом деле такую не забудешь). В первый же после этого субботний вечер Матео, пропустив несколько стопок, отправился к дому Селины — так ее звали — петь серенаду. Здо́рово накачался. Селина, как услышала музыку, тут же приоткрыла створку окна. Но, увидев Матео Паскуаля, который выписывал кренделя, чтобы не упасть, презрительно бросила: «А, это ты, пьянчужка!» — и захлопнула окно. Как ни под мухой был Матео Паскуаль, но проняла его обида, больно резанула по сердцу. (Стыдно слышать такое, а особенно от девушки, которая нравится.)

Слова не сказал Матео Паскуаль и, тяжело переступая, вернулся в кабачок. А там только что кончилась схватка. Два соседа, выпив литр на двоих, повздорили и пустили в ход мачете. Слова Селины еще стояли у него в ушах, когда он увидел, что все вокруг залито кровью. (Два таких переживания за один вечер!) Один из этих случаев (Матео Паскуаль так и не понял, который), а может быть, оба сразу заставили его ужаснуться — вот что делает спиртное! — и он решил бросить пить.

На первых порах трудно было. Несколько дней он ходил, как полоумный. В субботу рано утром ушел в лес и вернулся поздней ночью в воскресенье. В лесу ел еще зеленые плоды манго, спал на развилке между сучьями дерева. Вернулся и больше не пил. (Многие зарекаются пить, но слово не держат. А этот сдержал. А ты представь, каково ему было там, в лесу. В лесу и глоточка не найдешь. Лес помог Матео Паскуалю. Лес и собственная стойкость.) Таков был Матео Паскуаль.

* Спиртной напиток из сока кактуса.
** Музыкальный народный инструмент.

*Ты это усвой хорошенько, Висенте. Главное в человеке — сила сознания. Не обязательно дожить до седых волос, чтобы уразуметь все. Просто нужно думать, как предотвратить зло, а не ждать, пока оно само научит тебя жизни. Потому что если будешь ждать ударов, чтобы понять, как на них отвечать, то, пожалуй, и сил на борьбу не останется... Но я тебе рассказываю о Матео Паскуале. Все это действительно с ним было, могу тебя заверить. Так же как и то, что я тебе расскажу после.*

Как-то рано утром приходит к Матео Паскуалю Рамон и спрашивает, хочет ли он, Матео, поехать с ним на грузовике — не то помощником, не то грузчиком. Матео Паскуаль как раз искал, чем бы ему заняться, и сразу же согласился. (Сам посуди, у человека ни земли своей, ни мастерской — а Матео Паскуаль по профессии столяр,— что ему долго думать? Грузчиком или чертом, какая разница?)

Итак, выехали они из селения по дороге в Карáкас. Впервые пустился Матео Паскуаль в такое путешествие. В окрестные селения он ездил, это верно. Но столь далеко не приходилось. Он чувствовал себя сильным, опытным. Из рассказов бывалых людей он знал, что путешествия дают человеку знания, расширяют кругозор (я уже говорил тебе: на рассказах о других люди учатся жить).

Едут они по путям-дорогам, минуя поселки и деревушки. Едут по широким улицам больших городов, едут по узким улочкам городков, едут, даже некогда на дома посмотреть. Едут и едут без остановок.

Наконец прибыли в Каракас. Тут уж другое дело. Огромный и красивый город. Одно слово — столица республики. (Надо самому увидеть, чтобы представить, что такое Каракас, Висенте.) Повсюду проспекты, автомобили. Светло и днем и ночью. Реклама то вспыхивает, то гаснет. Людей тьма, бегут, торопятся.

Но едва они прибыли в Каракас, как сразу же начались неудачи. Хозяин грузовика вышел к ним и сказал, что прекращает перевозки — не приносят они ему барыша. Он тут же рассчитал Рамона, Матео же Паскуалю дал за эту поездку два боливара.

— А возвращайтесь за свой счет. У меня все кончилось...— так и отрубил.

Рамон только зубами скрипнул. Но на улице дал волю своим чувствам:

— Всегда так бывает, когда связываешься с дерьмом. Выбросить людей на улицу в чужом городе!.. И еще ты по моей вине впутался в эту историю. Соблазнил тебя, а тут видишь, как все обернулось.

— Ничего, Рамон. Что же поделаешь,— ответил Матео Паскуаль.

— Беда, на этих подлецов не найдешь управы. На их стороне и полиция, и кто угодно.

— Да, дело неважное, Рамон. Но лучше оставить все как есть.

Матео Паскуаль в бой не лез, да и вообще предпочитал держать язык за зубами. (Это, конечно, не значит, что он был трусом. Когда надо, он мог быть и храбрым.) Мало-помалу ему удалось успокоить Рамона. Они вышли на площадь у церкви. Сели на влажную от вечерней росы скамью. Темнело. Разом вспыхнули огни на улицах.

— Слушай, кум,— сказал Рамон.— Пойдем к сеньоре Пауле. Тут совсем близко. Красотка да бутылка вина помогут забыть обо всем неприятном. Я у них почти что свой человек. Тебя представлю, и нас обслужат наилучшим образом.

Матео Паскуаль молчал, разглядывая наполненный пассажирами автобус, который в это время пересекал площадь.

Тогда Рамон, чтобы кольнуть приятеля, сказал:

— Может, жаль денег? Не поверю, что тебе не хотелось бы провести время со столичной красоткой, какими славится заведение сеньоры Паулы. Ну как, кум?

Но причина была другая. Матео Паскуаль, конечно, не прочь был познакомиться со столичной кралей. (Представь себе, Висенте, как такая девица выигрывает по сравнению с жалкой Петри́кой из нашего селения. Или с теми, что служат на постоялом дворе у шоссе... Кто этого не знает?) Матео Паскуаль был мужчина что надо. И в Каракасе не сплоховал бы. А потом ведь заманчиво рассказать дома о том, как провел время в столице. И скрягой Матео Паскуаль не был. Одно его смущало. Не хотел он возвращаться к стойке. А тут — один глоток, другой. Только начни... Нет, он не хотел идти. (Сила сознания, как я тебе уже говорил, Висенте.)

— Иди один, Рамон. Я подожду тебя здесь. Вернемся домой на автобусе. Ты говорил, он отходит в девять.

И он остался сидеть на площади, в кольце огней. Он сидел на скамье, смотрел на машины и пешеходов, думал о Каракасе. Так хотелось увидеть столицу. А теперь, когда он здесь, ему казалось, что он все это видел раньше. Ничего нового. Так всегда: сто́ит только познакомиться с чем-то в жизни, как уже кажется, что это давно тебе знакомо. Он почувствовал себя таким одиноким в этом городском шуме — таким одиноким, что ему страшно захотелось сейчас же вернуться в родной поселок.

— Ну что ж, посмотрел я Каракас, можно и домой.

Он сидел на скамье, пока не захотелось есть. На площади еще ранее приметил закусочную, вошел туда, уселся за столик. Когда уже принялся за суп, напротив вдруг сел какой-то человек.

— С вашего разрешения! Видите ли, больше нет свободных мест.

Незнакомец был высокого роста, светлокожий, с усами квадратиком и напомаженной шевелюрой. Над лацканами пиджака топорщился галстук бабочкой.

Матео Паскуаль ничего не ответил, но соседство ему не понравилось. Он поторопился доесть суп и уйти, однако незнакомец заговорил:

— Пользуюсь случаем, друг, чтобы сделать вам предложение. Легкую работу и хороший заработок, как вы знаете, найти трудно. Для этого требуется много усилий, влиятельная поддержка...

Незнакомец наклонился к Матео Паскуалю и показал ему удостоверение агента тайной полиции. Затем предложил стать «доверенным», собирать «кое-какие сведения». Если проявить ловкость, сказал он, то можно заработать немало денег...

— Нет, сеньор. Большое спасибо. Сегодня я возвращаюсь в свой поселок. Там меня ждут.

(Кто его ждет? У него не было даже сожительницы. Но он сказал так, чтобы отвязаться от этого типа. Если полицейскому не соврешь, то от него ведь не отвяжешься.)

Полицейский доел свой обед и встал из-за стола. Он шепнул что-то официанту и вышел на улицу. Матео Паскуаль, не желая ничего больше заказывать — разговор с полицейским отбил у него аппетит,— подозвал официанта португальца. Португалец — невзрачный, худой — спросил с него за двоих.

— Этот сеньор сказал мне, что платить будете вы...

— Это еще что? Я его совсем не знаю. Где этот человек?

Португалец пристально посмотрел на Матео Паскуаля и, понизив голос, посоветовал расплатиться. Он дал понять, что с полицией лучше не связываться. Если этот тип где-то поблизости, то, услышав скандал, он может вернуться со своими дружками, и тогда не миновать беды. (Ты ведь знаешь, Висенте, что такое полиция. А тайная полиция и того хуже...)

Заплатил Матео Паскуаль за два обеда. Потом вышел на площадь и стал ждать автобус. Рамон не возвращался. (Вот что значит вино, Висенте!) Матео Паскуаль купил себе билет и с одним реалом в кар-

мане занял место в автобусе. Реал он истратил на кофе по дороге. Так Матео Паскуаль узнал Каракас и вернулся домой без гроша, «чисгенький», как принято говорить в подобных случаях.

*Все это — сама жизнь, Висенте. Что бывает в рассказах, то бывает и в жизни. Любой человек может очутиться в сложном положении.*

Матео Паскуаль столярничал в нашем поселке. Он смастерил себе хороший верстак; инструмент, правда, был у него немудрящий, но зато старания много, и он не бедствовал. Работы хватало. Кому дверь, кому стул, кому гроб. Делал все, вплоть до деревянных трещоток, на которых, ты знаешь, играют на страстной неделе. Священник не платил ему ни гроша, но он все-таки делал эти трещотки. (Священник — все одно что копилка. Чтобы вытряхнуть из него деньги, надо перевернуть его вверх дном, да еще пристукнуть.) Итак, жил Матео Паскуаль, не выпуская из рук стамеску и молоток. (Денег у него не было. Никто не знал, что он помогает сестре, которая с кучей детишек жила в главном городе штата. Но это уже другая история.)

Все было хорошо, пока Матео Паскуаля не посетил старик Мендес, владелец большого винного погреба и лидер организации правительственной партии в поселке. С того дня начались у Матео Паскуаля неприятности.

Мендес пришел ни больше, ни меньше как просить Матео Паскуаля везде и всюду выступать, пропагандируя эту партию. (Как ты знаешь, она — единственная легальная.) Помощником у Мендеса был один парень; светловолосый и сухой как жердь. Откуда он пришел в селение, никто не знал. Но Мендес нуждался в людях, «чтобы дать делу размах», как он говорил, и взял себе этого парня.

Вдвоем они и заявились к Матео Паскуалю. (Смекаешь, в чем дело? Паскуаль был работяга, его уважали в поселке, вот он им и понадобился.) Матео отложил пилу, приветствовал гостей. Они стали говорить. Он молча слушал. (Пока они говорили, он вспоминал свою поездку в Каракас, и хозяина грузовика, который говорил так же, как Мендес, и тайного агента, который шнырял глазами, как Мендес. Воспоминания, как и рассказы, нужны для того, чтобы лучше разбираться в происходящем.)

— Мы рассчитываем на ваше участие в кампании, цель которой — поддержка правительства и защита отечества... Ваше слово?

Голос Мендеса обычно напоминал свистульку. Но тут вдруг откуда-то бас появился. Человека словно подменили. Держится властно, деловито, чувствует себя начальником.

Долго молчал Матео Паскуаль. Потом принялся разводить пилу, хотя она и без того была в порядке. Соображал, как ответить.

— Ага. Большое спасибо. Только я думаю, что не подойду для такого дела. Я ведь ни читать, ни писать не умею.

(Трудно бывает выходить из таких положений. Особенно когда знаешь, что за любое неосторожное слово и посадить могут.)

Но Мендес настаивал:

— Об этом мы знаем. Однако правительство нуждается в вашей помощи.

(Раньше Мендес обращался к Матео Паскуалю на «ты». Но теперь ведь он выступал как официальное лицо, лидер партии!)

Матео Паскуаль был вынужден сказать:

— Ладно. Вечером приду к вам на собрание.

(А что другое он мог сказать? Спасительную ложь. По крайней мере теперь он придумает, что делать дальше.)

Времени для размышлений было мало. Он собрал одежду, инструмент, запер дверь ранчо и ушел в лес.

Когда Мендес узнал о его исчезновении, он донес на него в полицию

как на заговорщика. Ранчо и скарб у Матео отобрали. (Пожитки бедняка ничего не стоят, но когда бедняка преследует закон, полиция бросается и на них, как на золото.)

Но Матео Паскуаль не просто сбежал. Он подумал и о мести. Подыскав убежище вблизи от поселка, он стал действовать.

Как-то вечером старик Мендес возвращался домой. Проходя через перекресток, он вдруг увидел Матео Паскуаля. От неожиданности он вскрикнул и схватился за револьвер:

— Этот бродяга здесь! Хватайте, хватайте заговорщика!

А Матео Паскуаля и след простыл. Шли дни — он больше не появлялся.

В другой раз, днем, Мендес объезжал посевы маиса. Поля его были вдали от поселка. У излучины реки он снова увидел Матео Паскуаля, который неожиданно вышел из-за деревьев, пересек под носом у Мендеса дорогу и скрылся в лесу. От испуга лошадь встала на дыбы, и старик чуть не упал. Осторожно, с револьвером в руке, Мендес вернулся домой.

В третий раз, под вечер, когда уже смеркалось, он увидел Матео Паскуаля в патио собственного винного погреба. Старик бросился в комнату за ружьем:

— Он здесь! Сейчас я ему покажу!

Но когда он, стреляя на ходу, выскочил в патио, Паскуаля там уже не было.

Потом Матео Паскуаль являлся ему еще два раза. Один — у озера, другой — в поселке, среди бела дня, в воскресенье. Говорили, что старик чуть не рехнулся. Повсюду ему мерещились тени и призраки. Он уже решил было просить помощи у полиции, да постыдился. (Все же лидер правящей партии — и умирает от страха. Куда это годится?) Ему оставалось только храбриться:

— Пусть появится мне на глаза. Всажу ему пулю в лоб!

(Пулю? Этот трус дрожал при одной мысли, что Матео Паскуаль может прикончить его ударом мачете.)

После переворота старый Мендес исчез. В винном погребе хозяйничал теперь его сын. Матео Паскуаль вернулся домой, но столярничать больше не захотел. Он арендовал клочок земли и решил заняться хлебопашеством. Ему казалось, что мотыга принесет ему больший доход, чем рубанок. Он посеял маис и посадил юкку *. (Труд земледельца тяжел и не всегда вознаграждается. То засуха, то вредители, то дожди. Но зато какое счастье, Висенте, видеть, как зеленеют густые посевы! А потом, когда урожай поспеет, какая это радость — получить за него деньги!)

Матео Паскуаль трудился у себя на поле, ждал урожая. Держался подальше от политики. Старые передряги еще были свежи в памяти. (Но скажи, что заставляет человека вмешиваться в политику? Даже не он сам. Жизнь заставляет, Висенте.)

Однажды под вечер Матео Паскуаль пошел на площадь, где в это время проходил митинг. Народу собралось порядочно. На четырех углах огни горят. (Конечно, не так светло, как в Каракасе. Совсем другое дело. Просто Паскуаль вспомнил площадь в Каракасе, о которой я тебе рассказывал.) На возвышении стоял местный партийный лидер и говорил речь (я тебе приблизительно передам его слова):

— Мы поддерживаем наше правительство не только силой. Мы отдаем ему также нашу любовь, ибо мы хотим блага нашей родине...

И тут у Матео Паскуаля сорвалось с языка:

— Любовь да голод — плохая пара!

---

* Юкка (иначе маниока) — крахмалистый корнеплод из семейства лилейных.

(Сказал просто так. В шутку. В самом деле, что еще можно было подумать?)

Рядом засмеялись. Кое-кто сверкнул глазами.

Матео Паскуаль продолжал стоять, прислонившись к столбу. Вдруг подошел полицейский.

— Пройдемте в префектуру. Быстро!

Матео Паскуаль смотрел на толпу, как бы что-то обдумывая.

— Быстро! — повторил полицейский.

Префект уже ждал. Бледный от злости. Кобура пистолета расстегнута.

— Это вы кричали на митинге? Агитируете против правительства?

Матео Паскуаль не хотел навлекать на себя неприятностей.

— Я сказал пословицу, всего-навсего.

— Так вот забудь такие пословицы. Предупреждаю. И в другой раз берегись. Можешь идти.

Когда Матео выходил, префект, стараясь придать своему голосу внушительный тон, прокричал ему вдогонку:

— Подстрекатели! Никакого уважения к закону. Вы еще у меня попрыгаете!

Матео Паскуаль вспомнил Мендеса, когда тот изображал из себя всамделишного партийного лидера. (Тот же голос. Низкий и хриплый. Голос лидера.) От этого воспоминания кровь закипела у него в жилах.

Но настоящие беды свалились на его голову позже. Матео Паскуаль собрал, наконец, урожай. Не такой большой, как хотелось бы. Но и не хуже, чем у других. (Для одного человека такого урожая вполне достаточно.) Вскоре он приступил к новому посеву. Но дела не избавляли его от душевного беспокойства.

(Матео Паскуаль знал, что большинство жителей поселка терпит нужду. У него хоть был клочок земли. Правда, арендная плата возросла, однако он все же сводил концы с концами. Он ведь был один или почти один. Не все так жили... Люди протестовали. Ну и, конечно, многих арестовали за это.)

Однажды был объявлен очередной митинг. На площади. Вечером. Организатором был префект. Около него крутился помощник, откуда-то со стороны приехал, не из местных. Из главного города штата, как поговаривали. (Помнишь помощника старика Мендеса?) Этот помощник действовал вроде самостоятельно, однако всем было ясно, что им командует префект.

В полдень, когда Матео проходил мимо префектуры, оттуда вышел полицейский и пригласил его к префекту.

Тот обратился к Матео Паскуалю почти ласково:

— Я хотел бы, чтобы вы сказали сегодня на митинге несколько слов. Можно с пословицами, но... вы понимаете. Мы хотим угостить участников митинга... Народ повеселится на славу. Надеюсь, вы не откажетесь?

Матео Паскуаль в задумчивости смотрел в окно. (И тут он вспомнил старика Мендеса.)

— Хорошо. Большое спасибо. До вечера.

(Матео любил складывать стихи, любил прибаутки и при случае мог спеть куплеты. В пении он был мастак. Что ему стоило исполнить вечером, на празднике, несколько песенок? Но он еще раздумывал.)

Он старался вникнуть в смысл просьбы префекта. Конечно, это ловушка. Он не хотел быть орудием в его руках. Что придумать? Вечер застал его в размышлениях.

Когда он пришел на площадь, то увидел знакомую картину. Люди. Свет. Все как и на прежних митингах. Новое было только то, что горел костер и на нем жарилось мясо. У дверей префектуры стоял с хлыстом

в руке префект и осматривал площадь. (Лицо его сияло от удовольствия.) Ораторы еще не начинали выступать. Напротив церкви по-прежнему стоял дом Андресито, виднелось окно Селины. (Она уже не жила там. Вышла замуж и уехала далеко.) Матео Паскуаль вспомнил о тех временах, когда он пил. И пожалел, что не глотнул немного рома. (Впервые с тех пор, как он бросил пить, ему захотелось быть навеселе. Но уж если он не выпил дома, то здесь, на площади, он и подавно не стал бы.)

Он сам не знал, как это случилось. Он уже прошел площадь и вдруг закричал:

— Люди! Не льститесь на жареное мясо! Не поддавайтесь на обман! Ищите верный путь... Держите курс правильно!

И он пошел дальше — по дороге из поселка. За спиной раздался голос префекта:

— Спокойно! Не слушайте этого мерзавца! Он заговорщик, левый!

(Матео Паскуалю показалось, что это вопит старик Мендес. И слова, и голос — все то же самое. Так часто бывает: люди как будто разные, а говорят одинаково.)

Матео снова покинул поселок. На этот раз он был предусмотрителен, заранее собрал свою котомку. Жаль было бросать землю, так же, как в тот раз — верстак. Но сейчас обернулось все хуже. Тогда он уходил с инструментом, а как взять с собой землю? Да и не мог он этого сделать: земля не ему принадлежала.

Потом от людей он узнал, что его разыскивали по всем окрестностям — хотели бросить в тюрьму, даже сообщили о нем в главный город штата. А как раз там он и укрывался, у сестры — ну, а она жила замкнуто, ни с кем не зналась. Раздобыв новый инструмент, он снова занялся столярным делом. (Видишь, рассказ как бы вернулся к своему началу.)

Матео Паскуаль пробыл у сестры около года, пока не узнал, что префекта сменили и полиция его, Матео, как будто пока не ищет. По совету друзей он решил вернуться домой. Куда податься бедняге. Пока трудится на клочке земли — еле на нем повернешься, безводный. (Такой же, как у меня, Висенте, на склоне горы. Вкалывать приходится.)

*Так сложилась жизнь Матео Паскуаля... Да вот начинаешь рассказывать о ком-то другом — и невольно заговоришь о себе. После я расскажу тебе о том, как научились мы думать. Мы уже многое стали понимать — пора приниматься за дело. К такому же выводу пришел и Матео Паскуаль; однажды, посмотрев на свои руки, он понял, что работа их источила, а жить ничуть не легче. Пора действовать по-другому. Но я расскажу тебе об остальном, когда сам сделаю, что задумал. Может быть, даже через несколько дней. Все может быть, Висенте.*



# ПРОТЕСТ

*еужели меня задержат из-за такого пустяка? Они на все способны. Но арестовать человека так, неизвестно за что, без всякого расследования? На что это похоже? А им не впервой. Любого спроси — скажет, что я прав. Да и не может человек жить молча, всю жизнь молча. Когда ты прав, надо говорить. Это просто необходимо. «Слово губит человека»,— любит наставлять старик Хасинто. «Или спасает в человеке человеческое»,— добавляю я при каждом удобном случае. В самом деле, иной раз то, что с виду кажется погибелью, вовсе и не погибель. Пусть меня арестуют, все равно я прав. Жаль только, никто меня не станет слушать. Эти сатрапы обвинят в чем угодно, и им поверят. А кто мне поверит? Правда на моей стороне. Тут не придерешься. Но кому интересна моя правда? Будь что будет — погибель или спасе-*

*ние,— я не отступлюсь от своего. Я скажу свое слово, даже если они не пожелают меня слушать. Неужели задержат из-за такого пустяка? И надо же, сегодня, под праздник! Что скажет Эльба, когда узнает! И Карлитос — ведь он нас ждет. Небось уже заготовил айяки *, припас вина. И старик Хасинто — он тоже приглашен. «Слово сгубило»,— скажет он. Но разве это так? Ведь, в сущности, ничего не произошло. Как обычно, я стоял при въезде на автомобильную стоянку. Тихо, мирно делал свое дело — взимал плату с выезжающих машин, и в мыслях у меня не было, что беда рядом. Прикидывал, что бы такое принести в пай на праздничный стол. Решил купить ветчинный хлеб. Посмотрел издали сквозь стекло булочной, что напротив стоянки, есть ли ветчинный хлеб в большой расфасовке. А тут вдруг подкатывает полицейский пикап и останавливается прямо при въезде на стоянку. Загородил дорогу — ни проехать, ни пройти. Двое мужчин, в штатском, вышли из пикапа. Третий — тот, что был за шофера,— остался сидеть. Я подхожу к нему и говорю: «Будьте добры, продвиньте свою машину вперед, она мешает другим». Он посмотрел на меня, да как заорет: «Никому она не мешает! Это машина служебная, полицейская. Вы что, не видите?» Я, честно говоря, разозлился, но все же сдержался и сказал спокойно: «Полицейская машина тоже обязана соблюдать правила движения». И направился к своей будке. «Ах, вот как!» — крикнул мне вслед шофер. Тут же он вылез из пикапа и исчез в центральном подъезде здания, куда перед этим вошли те двое. Вот и все. Я так и расскажу, если меня спросят. Потому что именно так было дело... Наверняка они захотят меня арестовать. Все еще не выходят. А на стоянку ни въехать, ни выехать. Вот люди, ей-богу,— что хочу, то и ворочу. Да, полицейский есть полицейский — так было, так будет. И в книжках, и в жизни — где полиция, там и беззаконие. Как говорит старик Хасинто: «Полицию и насилие водой не разольешь». Уж приходили бы скорей!*

Из темного подъезда вышли на улицу трое мужчин. Один — сухощавый, пышноволосый шатен. По тротуару текла толпа, бродячие торговцы наперебой расхваливали свои товары. Другой — брюнет с густыми усами, одетый в голубой пиджак. На стоянке сигналили машины, требуя проезда. Третий,— судя по тому, с каким почтением наклонились к нему двое других, офицер — круглолицый толстяк при галстуке. Они миновали толпу прохожих и скопление машин и подошли к стоянке. Толстяк, хмуря брови, дважды коснулся рукой кармана.

*Вот они, уже здесь. Сейчас начнется. Беззаконие. Что при Гомесе, что при Пересе Хименесе **, что теперь — одно и то же. Толстяк нащупывает пистолет. Такой и выстрелит в человека, не задумается. Ну, с чем они ко мне идут?*

Все трое останавливаются у будки контролера автомобильной стоянки.

— Вот он. Агитирует и порицает власти.— В голосе шофера — особая значительность.

*Конечно, теперь они припишут мне политику. Я мог бы понять это с самого начала. За политику берут без разговоров.*

Офицер открывает рот — его мясистая нижняя губа оттопыривается. В его тоне — высокомерное сознание своей силы и угроза:

— Что ж, агитаторов ждет тюрьма. Так это вы тут распустили язык? Выступали против властей?

— Дело обстояло совсем не так. Я лишь попросил отвести пикап, чтобы освободить проезд. Только и всего. И вам не удастся сбить меня с

---

* Венесуэльское кушанье из маисового теста, кусочков мяса, олив, специй; порцию айяки завертывают в лист банана и варят.

** Хуан Висенте Гомес и Маркос Перес Хименес — венесуэльские диктаторы. Первый правил страной с 1909 г. по 1936 г., второй — с 1948 г. по 1958 г.

толку. Не выйдет, сеньор.— Ансельмо говорил спокойно, без всякой жестикуляции. Только в конце каждой фразы, как бы подчеркивая ее смысл, он встряхивал головой с седеющими волосами.

Круглое лицо офицера перекосилось, даже пухлые щеки опали. Губы его вздрагивали, когда он снова стал грозить:

— Оскорбление властей наказуемо. За это — тюремное заключение. Правительство не собирается потворствовать разным агитаторам.

Машины ревели, нестерпимо выли, требуя освободить проезд. Несколько прохожих окружили полицейских и контролера стоянки.

*Этих сатрапов так и тянет взять кого-то за шиворот. Закусил удила, теперь не утихнет, пока не отыграется. И все за то, что я осмелился возразить. Слово сгубило, как говорит старик Хасинто... И надо же, именно сегодня! Лучше бы уж молчал... Но я должен был им ответить. Человек — не какое-то бессловесное животное. Раз ты уверен в своей правоте, скажи не таясь.*

Клаксоны продолжали выть. Офицер повернулся к сухощавому:

— Отгони машину. С ума сойти можно от такого гвалта.

*Вот видишь: отгони. А что бы сделать это с самого начала! Выходит, я все-таки прав? Но в их глазах моя правота ничего не стоит. Эти дьяволы увезут меня с собой, как пить дать. Что сорвалось с языка, того уж не воротишь. Истинно, слово губит человека. И всегда так было в Венесуэле с теми, кто говорил слово правды о правительстве. Начиная с колониальных времен. Об этом я как-то рассказывал старику Хасинто. Он дает мне что-нибудь прочесть, а потом приходит спорить. Ах, старик, что бы ты сказал, если сейчас был здесь?.. «Ансельмо, слово согласия не так опасно, как слово протеста. Согласиться под нажимом силы — это еще не значит изменить свои взгляды. Но уж если ты возразил, потом бывает трудно исправить дело. Вот тут, на этом самом углу Урапаль *, я видел, как полицейский застрелил человека только за то, что тот не позволил арестовать себя. Дело было во времена Гомеса. И на Урапале, и в других местах Каракаса такое случалось и раньше. История повторяется. Ты прочел книжку о Гусмане **, которую я тебе дал...» Ах, старый спорщик! Убеждать он умеет, не отнимешь. И все-таки бывают случаи, когда человек просто обязан возражать. Не то, знаешь... Неужели меня увезут, так и не разобравшись, что к чему?.. Из другой будки выглядывает Хуансито, слушает. Только бы не подошел да не вмешался. С его-то вспыльчивостью. К тому же он уже бывал под арестом за участие в демонстрации.*

Толпа любопытных росла. Лицо офицера покрылось пóтом — он явно нервничал. Вернулся шофер. Офицер неожиданно отрубил:

— Вы арестованы за агитацию.

Ансельмо словно одеревенел. Посеревшие губы сомкнулись в тонкую, прямую линию. Взгляд его остановился на одутловатом лице полицейского. Наконец губы дрогнули:

— Та-ак, еще одно насилие. Ну, вам не привыкать.

*Арестован ни за что, ни про что. Сопротивляться, учинить скандал, пуститься и впрямь на агитацию! Это был бы лишний козырь в их руки... И надо же, сегодня, под праздник! Карлитос ждет. Бедная Эльба, она перепугается до смерти. Сколько лет женаты — не было такого ни разу. Недаром говорится: тюрьма не смотрит на возраст. Проклятые сатрапы!*

Чьи-то пальцы сжимают плечо Ансельмо. Полицейский шпик в голубом пиджаке подталкивает его к пикапу.

— Стоп! Не трогайте меня!

— Вы арестованы. Пошли.

Пальцы сжались крепче.

— Я сказал, не трогайте меня!

* В старой части Каракаса названиями помечены не улицы, а углы кварталов.

** Антонио Гусман Бланко — диктатор Венесуэлы с 1870 г. по 1888 г.

Твердый взгляд Ансельмо заставил полицейского ослабить хватку.

— Пошли, пошли!

— Это беззаконие! Я требую: руки прочь!

*Что они, в самом деле, о себе воображают? Не снимет руку, я сам ее сброшу. Тут уж вопрос личного достоинства. Мало им арестовать незаконно, надо еще унизить... Сейчас Хуансито сообщит Эльбе. И старику Хасинто. Все было хорошо, и вот тебе — арестован.*

Полицейские ведут Ансельмо к пикапу. Вдруг от дальней будки доносится крик:

— Это злоупотребление властью!

Все смотрят на рослого молодого парня, который стоит у будки, скрестив на груди руки. Он повторяет:

— Злоупотребление властью!

Ансельмо нет нужды оборачиваться: он и так знает, это подает голос Хуансито.

*Не выдержал-таки. Только бы не горячился. Мне было ясно, что он вмешается. Не в его характере молчать в такую минуту. Хуансито и слово протеста неотделимы друг от друга. Такой же, как я. Теперь им остается арестовать и его, и беззаконие будет завершено.*

На крик парня толпа ответила одобрительным гулом. Одни громко повторяли сказанную им фразу. Другие объясняли вновь прибывшим суть происшедшего. Толстяк полицейский, при первом же крике поспешивший на другой конец стоянки, вдруг резко обернулся к толпе, откуда неслись выкрики в его адрес. Но тут же изменил свое решение и пошел дальше.

Ансельмо сел в кузов пикапа. Решетчатая задняя дверца захлопнулась. Двое полицейских встали рядом с машиной.

*Заперли в клетку, словно зверя. Не пил, не буянил, и вот тебе — сижу под стражей. И Хуансито грозит опасность... До чего запутана жизнь! Арестован по политическому делу. Какому? Осмелился заметить, что полицейская машина не там остановилась. Что ж, случай обычный. Сколько таких. Закон. Свобода... Слова. Пустые слова. Испокон веку так.*

Хуансито, казалось, ничего не замечал вокруг. Он стоял и ждал. Наконец мясистое лицо приблизилось вплотную. Тогда он разнял скрещенные руки и медленно опустил их вниз. Полицейский старался не потерять самообладания. И все же губы его прыгали, когда он заговорил:

— Если вы еще будете агитировать, я вас арестую.— Сразу арестовать он не решился: в данной ситуации, безусловно, разумнее было лишь пригрозить.

Хуансито ответил не задумываясь:

— Меня? Меня вы, конечно, арестуете, но только после того, как застрелите на месте.

Его тяжелые кисти сжались в кулаки, в глазах — гнев и решимость. Полицейский отступил на шаг. Толпа кричала, свистела.

Ансельмо наблюдал за происходящим. Он все видел и слышал. До будки Хуансито не так уж далеко, да и просветы в решетке достаточны, чтобы рассмотреть все.

*Молодец, Хуансито! Стоит на своем. Этого парня дешево не возьмешь. Молодость сильна, это правда. Люди нового поколения, они не позволят увезти себя запросто, как взяли меня. Стар становлюсь. Хуансито, кроме того, знает, случись что — его поддержат друзья. Человек, который в партии, всегда чувствует поддержку. А я? Что я — сижу тут, в клетке, один как перст. Оно, конечно, прибедняться нечего, и у тебя есть защитники. Тот же Хуансито. Да и другие в рот воды не набрали.*

Люди, запрудившие стоянку, во весь голос выражали свое возмущение. Их крики становились все громче, ожесточеннее. Толстяк полицей-

ский быстро подошел к пикапу. Хуансито провожал его испепеляющим взглядом. Уже у пикапа толстяк рывком ослабил петлю душившего его галстука и произнес глухо:

— Такого безобразия... нельзя оставить. Никакого уважения к властям. Мерзавец!.. Надо вызвать патруль. Эх, как назло, машина без радиосвязи.

В голосе офицера Ансельмо заметил какую-то расслабленность, какое-то смятение. Он увидел, как офицер вдруг повернулся и зашагал к магазину, что находился на углу, через два-три дома от стоянки.

*Трусы. Подлые трусы. Пусть вызывает свой патруль. Это им не поможет... Бродячие торговцы и те утихли, прислушиваются. Продавцы из магазинов высыпали на улицу, смотрят сюда. На стоянке никакого движения. Бедная Эльба, как она расстроится. Что-то делает сейчас старик Хасинто? Где он?.. Да вон он! Стоит. Смотрит в мою сторону. Задумался. Что он думает обо всем этом? Слово сгубило? Да, старик, слово. Только сгубило ли?*

Хасинто стоял, опираясь иссохшими руками на трость с серебряным набалдашником. Он смотрел и смотрел на машину, за решетками которой виднелась знакомая фигура. Его белая от седины голова блестела на солнце.

Толстяк полицейский, обливаясь потом, вошел в магазин. Ему стоило труда придать своему голосу начальственный тон:

— Где у вас телефон? Быстро!

Португалец, стоявший за прилавком, поднял было руку, чтобы указать на аппарат, но в ту же секунду перед толстяком выросли трое парней — один из них спокойным тоном сказал:

— Телефон испорчен.

Глаза офицера округлились. Трое ответили взглядами, смысл которых был предельно ясен. Полицейский вернулся к пикапу. Увидев его растерянное лицо, Ансельмо понял: патруля не будет.

*Сорвалось. Не те времена, голубчик. Старик Хасинто и тот понимает. Смотрит на меня с гордостью. Досадует, ясное дело, однако не унижается перед сатрапами, ни о чем не просит. Меня конечно увезут; но Хуансито оказался им не по зубам.*

Офицер взмахнул пухлой рукой. Полицейские сели в пикап.

— Едем. Ничего другого не остается, черт бы побрал! — услышал Ансельмо голос, каким говорят побежденные.

*Вот оно как обернулось. Меня они арестовали, но больше им ничего не удастся сделать. Хуансито это уже доказал. И старик Хасинто это понял... Надо же, именно сегодня, под праздник!..*

Пикап с места взял скорость и тут же свернул в улицу. Вслед ему раздались насмешливые выкрики и пронзительный свист. Старик Хасинто стоял по-прежнему недвижимо. Чей-то вопрос заставил его повернуть голову:

— Как случилось, что задержали Ансельмо? Его увезли блюстители закона?

Старик, до того безмолвный, вдруг вскипел:

— Блюстители закона, говоришь? Пора бы прозреть! Не блюстители закона, а его нарушители — полиция.

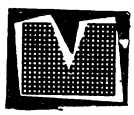
— Но за что же?

— За слово протеста. Слово живого человека.

В полицейском пикапе, глядя со своего места на забитую народом и машинами улицу, каменно-душную, без единого деревца, Ансельмо думал:

*Да, старик. Слово живого человека. Человека, который уже не намерен молчать.*

# СЕЛЕСТИНО



ужчины расположились в затененном углу, пряча от света покрасневшие глаза. Четверо сидели, один стоял, опираясь рукой о плечо соседа. Половина комнаты была погружена в полумрак, другая половина слабо освещалась крохотной лампочкой на стене, у самого потолка. Выход на улицу чернел отверстым четырехугольным зевом. В проеме другой комнаты, что вела в смежное помещение, виднелось бесстрастное женское лицо. Чуть пониже — детское, любопытное.

Музыка, пение и бутылка рома придавали определенный смысл этой сцене. Налево от женщины еще молодой мужчина с ухоженными усиками играл на куатро — в углу рта подрагивала погасшая сигара. Рядом сидел, раздвинув колени и скрестив на груди руки, старик — он пел. Чуть дальше паренек с чистым, смуглым лицом встряхивал маракас * в ритм песне. Вплотную к нему, положив на его плечо руку, стоял рослый человек, почти великан, подтянутый, с тонким, красиво очерченным лицом. А у порога входной двери, прислонившись к косяку и склонив голову к инструменту, наигрывал на бандолине ** не кто иной, как полицейский,— да, полицейский в форме, с пистолетом у пояса и нагрудной бляхой.

Чья-то рука подняла с пола небольшую плоскую бутылку и пустила ее по кругу. После каждого глотка, хоть и выпитого без особой жажды, на лицах появлялась одобрительная улыбка. Последний глоток достался Селестино. Он опустил руку в карман рядом с пистолетом:

— Надо послать за другой, кум.

Лоренсо, не переставая играть, позвал:

— Аурора, поди сюда!

Бесстрастное лицо женщины дрогнуло:

— Кого ты посылаешь, Лоренсо. Ведь она еще ребенок.

Девочка, шагнувшая было к отцу, остановилась. Куатро умолкло.

— Ну, ладно. Поди попроси Чучо. Да напомни куму, что мы его ждем.

Селестино поднял голову и нашел взглядом глаза старика:

— Вот он здорово поет, Эусебио! Не хуже меня, знаешь. Вам бы с ним галерон *** спеть.

Положив бандолин на колени, Селестино провел пальцами по кобуре.

*Офицер не раз предупреждал: «Кто пьет в служебное время, тот рискует потерять место. Пить, находясь в форме, равносильно...» Ну, хорошо. А как мне отказать куму, если он при всех сказал, что нет лучше игрока на бандолине, чем я. Не зря он это сказал. Вино, вино... Ну, что вино? От одного глотка никто не пьянеет... Здесь все мои друзья. Ничего не случится... Кармен Луиса наверняка сейчас прибежит.*

Музыка снова играла, когда вошел мальчик с бутылкой в руках. Все взглянули на лицо Чучо и тут же — на его руки.

— Вот. Папа сказал, что сейчас придет.

Селестино опустил бандолин. Бутылка переходила от уст к устам. Когда в ней наполовину убыло, ее поставили на пол. Опять зазвучала музыка.

— Пой, старина!

Эусебио запел андалусское пòло. Селестино не сводил с него глаз.

*Потом мы споем с ним вместе. Но лучше галерон. Пока не пришел Франсиско. Галерон о Симоне Боливаре. Слова я хорошо знаю. Если я*

---

* Музыкальный инструмент в виде погремушки.

** Род лютни.

*** Разновидность народного романса.

*начну, Эусебио сам потянет за мной... Кармен Луиса сейчас прибежит. Конечно, все... Но что такое два глотка вина? За это никто не назовет меня пьяницей... Сейчас споем со стариком.*

— Минутку,— громко сказал Селестино.

Тишина наступила сразу, как только умолк бандолин.

— Я хочу спеть с Эусебио. Галерон. Только сперва глотнем еще.

Рома осталось на два пальца от донышка. На следующий круг не хватило бы.

Селестино подстраивал бандолин. Не рассчитав силы, он слишком туго натянул струну, и она лопнула.

— Черт возьми! Не успел начать. Лоренсо, у тебя нет там сестры для этой?

— Ни сестры, ни племянницы. Бог миловал. От женщин одни напасти...— Лоренсо шутил, поглядывая на бесстрастное лицо жены, светлевшее в проеме двери. Потом сказал примирительно: — Я не о тебе, дорогуша. Не сердись.

Губы женщины покривились — то ли в печальной улыбке, то ли в презрительной гримасе.

— Ну так что, Лоренсо? Есть струна или нет? А то мы хотели спеть.

Селестино не скрывал досады.

*Вот всегда так. Стоит только приняться за какое-нибудь дело, как тут же словно черт тебя под руку толкнет... Но я все же спою. Поставлю другую струну и спою. Они еще увидят. Сколько прежде-то я певал! Конечно, с тех пор как служу в полиции... Вот поставлю другую струну... Почему же это Кармен Луиса не идет? Сейчас, может, прибежит...*

— Если у тебя нет струны, Лоренсо, то я сбегаю домой. У отца есть запасные к его бандолину.— Несмотря на опорожненные стопки, парень говорил довольно четко.

Сверху раздался густой, ленивый бас:

У Лоренсо, наверно, есть струна. Зачем тебе ходить?

— Но ему не подняться с места.

— Это кому не подняться? Мне? Откуда молокососу знать, сколько может выпить мужчина? Да ты знаешь — чтобы меня напоить...

Селестино пресек спор; от усилия, с каким он выговаривал слова, его рот перекосило на сторону.

— Прекратите. Не важно, кто пойдет, лишь бы принесли струну. А нет, так давайте кончать это веселье...

— Не петушитесь, сеньор полицейский. Я сейчас принесу.— Парень встал, чему-то улыбаясь, шагнул вперед и тут же протянул руку к стене, чтобы не потерять равновесия.

— Послушай, молодой человек. Немножко больше уважения. Меня пригласил сюда мой кум, и все здесь — мои друзья. Что ж с того, что я полицейский и форма на мне... Но я не потерплю этих шуточек. А теперь иди, раз уж встал.

*Да, полицейский. Уже два года. Ну и что тут такого? Представитель власти, к которому все относятся с уважением... Мой отец вон тоже служил в полиции... Но тогда была другая обстановка. Платили гроши, и за малейший промах — гауптвахта. Однажды пришлось ему отсидеть целую неделю, да еще чуть не уволили. Да, тогда он вытянул дубинкой пьяного, а тот оказался сыном секретаря губернатора штата... Теперь другое дело. Правда, жалованье негусто, зато почет и уважение... Порядок прежде всего. И наш офицер то и дело твердит: «Кто пьет в служебное время...» Ладно. Что такое три глотка? Кто от этого захмелеет? Кармен Луиса сейчас прибежит. Точно.*

С улицы в комнату вплыло веселое, круглое лицо, а за ним и все тело — гигантское, пухлое, в цветастой рубашке и белых штанах.

— Я знал, что вы тут умираете от жажды. Так вот принес немножко влаги. Хочу облегчить ваши страдания.

В поднятой мясистой руке блеснула бутылочка. Увидев пополнение, Эусебио подхватил с пола старую бутылку и опрокинул себе в рот; острый кадык, чуть ли не прорывая иссохшую кожу, дважды передвинулся по горлу.

— Эй, старина! Пользуешься случаем? А еще говорят, что с годами человек тупеет... А насчет клюва этого не скажешь...— Лоренсо с трудом ворочал языком.

Эусебио жалостливо поглядел вокруг: знаю, виноват, но устоять не мог. От возбуждения руки его дрожали.

— Оставьте его в покое. В таком виде он лучше поет.— Великан сел на место ушедшего парня и взял его маракас.

— Кстати, и кум Франсиско здесь,— Лоренсо глядел на толстяка с гордостью.— Сейчас, кум, вот только наладим струну.

Селестино молчал, прикидываясь, будто рассматривал бандолин.

*Никто не спорит, галероны лучше поет Франсиско. Как я — лучший игрок на бандолине... Но лучший — еще не единственный. Правда, я давно не пел... И как назло, эта струна! Не успел начать... Теперь уже меньше шансов. Эусебио тоже петь умеет. Знает наизусть самые старые галероны... Человек пришел поиграть на бандолине и вдруг — на тебе! — струна лопнула. Человек решил спеть — опять неудача... Пожалуй, лучше уйти. И офицер говорит: «Кто пьет...» И Кармен Луису избавлю от лишних волнений. Почему она до сих пор не пришла за мной? Скоро должна прийти... Ладно, захотят уволить — пусть увольняют. Я уже говорил Кармен Луисе: если перестану быть полицейским, найду себе другую работу. Я могу все делать. Кармен Луиса твердит, что сейчас трудно найти работу. Это правда. Флоренсио уволили из полиции — дернуло его укрывать контрабандиста Армандо; и вот уже сколько времени он не может устроиться. Говорит: поеду в Каракас, поеду в Маракаибо, а сам сидит и никуда не едет. Отощал с голоду... Но меня разве можно обвинить в пьянстве? От нескольких глотков никто не хмелеет. К тому же я в гостях у кума. Меня здесь все знают. Все знают, что я пришел сюда. Кум просил меня прийти в воскресенье. Правда, на мне форма. Но ведь полицейский никогда ее не снимает. Полицейский работает и по воскресеньям. Этому, конечно, не позавидуешь. Одно хорошо: твердое жалованье. Но бывает и опасно. Удар дубиной, ножом, а то и пуля — все бывает. Или, как отец, не распознаешь в пьянчужке какую-нибудь персону — и каталажка. К счастью, в округе я всех знаю. Да, вот работа по воскресеньям... Дисциплина, устав — ни черта не поделаешь. То же самое и в армии. Теперь я как бы второй раз в армии. Начальство. Построения. Приказы. Зато, как и в армии, здесь я на хорошем счету. Офицер говорит, что очень ценит во мне чувство ответственности. «А больше всего уважение к старшим». Да, я уважаю... Но — «Кто пьет....» Нет, в этом доме никто на меня не капнет. Никто из них не пойдет...*

— Вот и двоюродная. И еще одна — запасная.— Парень вбежал в комнату.

Селестино поставил струну и подстроил ее.

— Но сперва еще по глотку, а то я остыл, пока бегал.

Из темноты раздался голос женщины:

— Отца, наверно, нет дома? Он не разрешил бы тебе вернуться.

— Здравствуйте! Это почему же?

Лоренсо посмотрел через плечо:

— В чем дело? Чего ты вмешиваешься?

В глазах женщины сверкнула злость.

— Где Аурора?

Она ответила сквозь зубы:

— Я ее уложила. Или, по-твоему, ребенок должен весь вечер смотреть, как вы тут кутите?

Лоренсо нехотя поднялся со стула и, наливаясь раздражением, сказал:

— Кажется, я в своем доме.

Но перед ним встало улыбающееся лицо Франсиско:

— Меня пригласили петь. Я жду. Горло пересохло, а хозяин не дает бутылку.

Лоренсо только тут заметил, что держит бутылку в руках; сразу смягчившись, он протянул ее гостю:

— Вам двойная порция, кум. Для вдохновения. К тому же мы вас давно опередили.

Старый Эусебио молчал — он замолчал сразу же после тех двух глотков.

— Итак, галерон,— густым голосом объявил великан.

Все смотрели на Селестино, ожидая начала. Парень пристроился на пустом ящике, Франсиско — на старом табурете. Вслед за первыми аккордами бандолина вступили куатро и маракасы. Полилась размеренная музыка, странно сочетавшая печальную мелодию с оживленным ритмом. Почти одновременно запел и Франсиско.

Уже в нескольких галеронах опытный Эусебио со своим несметным запасом стихов приходил на помощь прославленному певцу, когда, наконец, Селестино решился показать и свое умение. Последняя бутылка была почти пуста. Глаза мужчин, до этого красные, теперь потускнели. Пальцы Селестино неуклюже перебирали струны.

*Вот. Как опьянел, так и запел. Так всегда. А раньше... раньше не мог. Галеронам о Боливаре я все-таки себя покажу. Главное начать... Со стариком не хочется петь. Споем с Франсиско. В былые времена я бы и с ним потягался, но сейчас...*

— Селестино! Послушай, Селестино! — негромко позвали через дверь с улицы.

Селестино удивленно оглянулся и снова склонил голову над бандолином, но уже как-то безразлично. Кармен Луиса. Из-за двух мужчин и юноши, стоявших в дверях и глазевших на музыкантов, показалось нежное женское лицо цвета желтоватой глины с высокой короной иссиня-черных волос.

*Я же знал, она придет. Ей всегда известно, где я. Кто ей сказал? Может, тот же сплетник уже накапал и начальству?.. Ничего не скажешь, красива моя Кармен Луиса! Такая жена — счастье. Целыми днями строчит на своей машинке. И ночью с ней приятно... Но все-таки я буду петь. Я в гостях у кума...*

Селестино ударил по струнам и запел. Слова он знал наизусть, но мотив выводил не очень чисто. Франсиско чувствовал свое превосходство. Селестино через силу дотянул до конца, нажимая на пересохшее горло.

Лоренсо радостно кричал, глядя на Селестино:

— Да, кум, голос у тебя хоть куда! Славно получилось.

— Еще один заход, или сеанс, как говорят в кино. Только по полглоточка, чтобы всем досталось. Я начинаю.— Голос у парня стал певучий, глуповатая улыбка растянула губы.

Бутылка, обойдя круг, пустая и ненужная, полетела в угол. Кончилось в ней спиртное, и ее существование потеряло смысл — она теперь даже не поблескивала, недосягаемая для скудного света.

Франсиско и Эусебио спели поло, которое чуть подбодрило компанию. Но парень остался недоволен исполнением Эусебио:

— Вы спутали слова. Вторая часть поется не так.

Старик вяло посмотрел на мальчишку и смолчал. Потом принялся лениво потирать руки и уже не отрывал от них тусклого взгляда.

За Эусебио ответил высокий человек в летах, с белыми, как у альбиноса, волосами, что стоял в дверях с другими зеваками.

— Как ты смеешь учить Эусебио?

— Смею. И его смею, и вас. А если не нравится...— в голосе парня послышался вызов.

— Эх ты, юнец, юнец! — осуждающе вздохнул белоголовый.

Селестино не мог больше сдерживать себя. Он быстро встал. На руках, только до локтя прикрытых рукавами форменной рубашки, напряглись мускулы. Смуглое лицо выражало решимость. Сверкнула нагрудная бляха.

— Здесь я власть. Так что никаких скандалов. Слушай, парень, не думай, что если я здесь, в доме моего кума, пью с друзьями и играю на бандолине, так забыл о своих обязанностях. Я о них помню всегда. Здесь я власть. Кто не согласен?

— Все правильно,— одобрил чей-то глухой голос.

Селестино сам поразился своей неожиданной твердости.

*Полицейский — страж порядка. Я постоянно об этом слышу. Полицейский должен охранять граждан. Это даже в газетах пишут. Полицейский должен призывать к порядку одним своим видом. Лишь в крайнем случае можно прибегнуть к оружию. Вот чему меня учили. К счастью, за всю свою жизнь я ни в кого не стрелял. Дубинку, правда, пускал в ход, но всего два раза. В драке... А здесь — все мои хорошие знакомые. Единственный, кто не может меня спокойно видеть, это лавочник Пабло. Как-то отвел его в участок, буянил он, сукин сын, в пьяном виде. Где вино, там и скандалы... Но от трех глотков ничего не бывает. Разве что голова закружится. Однако как это говорит офицер: «Кто пьет...» Где же Кармен Луиса?*

У входа в соседнюю комнату, в полутьме, виднелось теперь два женских лица. Кармен Луиса беседовала с женой Лоренсо.

Мужчины совсем выдохлись. Один сидел, уткнувшись лицом в ладони, другой, борясь со сном, таращил глаза. Селестино, отяжелевший, сидел, держа на коленях бандолин. Молчали все. С минуту стояла полная тишина.

Кармен Луиса воспользовалась перерывом:

— Селестино, уже поздно. Идем.

На голос жены Селестино поднял глаза; долго, упорно смотрел на нее.

*Поздно? Да, на часах двенадцать. Завтра чуть свет идти в участок... Кармен Луиса права: пора домой. Кум уже нагрузился. И другие тоже. Один лишь Франсиско как-то держится... Если офицер узнает... Разве это пьянство — три глотка рома?*

Лоренсо сделал попытку встряхнуться:

— Эй, кум! Где музыка?

Селестино снял с гвоздя форменную фуражку.

— Уже поздно. Я лучше пойду.

Вскоре разошлись и остальные. С моря тянуло свежестью. Селестино шел рядом с Кармен Луисой. Светила полная луна. Сильно пахло морской солью, хотя шума волн здесь не было слышно. Влажный воздух вызывал легкий озноб.

— Кому на ту сторону порта? Грузовик отправляется! — раздался откуда-то зычный крик.

...Превозмогая сон, Селестино открыл глаза. Кармен Луиса трясла его за плечо:

— Проснись. Уже половина седьмого.

Накануне, едва коснувшись головой подушки, он тут же словно провалился в яму и все еще не мог выкарабкаться оттуда. Голова налилась тяжестью, в висках давило. Рот — сухой, горький.

— Сейчас... Встаю.

*К семи надо быть в участке... Знает ли офицер?.. Кум играл на куатро, пока не наклевался... На бандолине лопнула струна... Пришел Франсиско... Под конец я пел... Парень хотел затеять скандал... Кармен Луиса была там, со мной...*

С каждой пригоршней холодной воды, которую он выплескивал себе на лицо, возникало новое воспоминание. Он стал натягивать чистую форму.

*Надо успеть. Офицер говорит, что ценит во мне привычку к точности. «А больше всего — уважение к старшим»... Если человек уважает порядок, это вовсе не значит, что он льстит начальству... А может, офицер думает, что я... Я должен быть минута в минуту. Сейчас выпить кофе... и стакан воды.*

Вода его освежила, кофе поднял настроение.

— Ну, Кармен Луиса, я пошел.

— Чуть позже я пойду на рынок. Может, встретимся.

— Увидишь подходящее касабе *, купи. А то осталось совсем немного.

Спустя пять минут Селестино подходил к отделению. Почти все агенты уже были на месте. Ровно в семь построились. Подошел офицер. Он был чем-то озабочен. Селестино заволновался.

*Узнал о вчерашнем? Завистники всегда найдутся. Пабло наверняка не упустил бы случая подложить мне свинью. Его лавка рядом с домом Лоренсо. Так, похоже, офицер все знает... Что скажет Кармен Луиса? Ну, ладно, сейчас увидим... Да, но почему перед строем? Или он уже принял решение?*

Офицер сразу приступил к делу. Стало известно, заявил он, что в одиннадцать часов утра произойдет демонстрация студентов университета и учащихся лицеев. Из соседнего лицея оповестили, что его колонна пройдет по улице, которая начинается за полицейским участком. Властям достоверно известно, что речь идет о попытке государственного переворота. Власти больше не намерены терпеть беспорядки и решили пресечь их раз и навсегда.

После минутной паузы офицер сказал:

— Но эта операция поручена специальному отряду. А вы сейчас же вернетесь домой, снимете форму и переоденетесь в штатское. Согласно инструкции, мы пока не будем вмешиваться. Еще лучше совсем не появляться в районе демонстрации до двух часов дня. В два быть здесь, ждать моих дополнительных указаний.

Растерянные взгляды подчиненных заставили офицера пояснить более откровенно:

— Особый отряд национальной гвардии справится сам. Они пустят в ход свинец. И бунтовщикам не поздоровится. Конечно, сперва демонстрантам предложат разойтись. Но ведь они, как всегда, не послушаются. Тогда...

Селестино шел по улице, медленно и грузно передвигая ноги. Болезненная тяжесть в голове как будто исчезла, лишь минутами в висках возникало усиленное, до колотья, биение. Но мозг, опустошенный и легкий, словно втягивался в какой-то стремительный круговорот, и от этого все плыло перед глазами. Ничего вокруг не замечая, Селестино добрел до дома и, навалясь на дверь плечом, открыл ее.

*Кармен Луисы уже нет. Сейчас она, должно быть, на рынке. Наверно, уже купила рыбу. Всегда она сначала покупает рыбу. Пока что живо-*

* Мука из юкки.

*та у нее не видно. Всего два месяца. Попозже, надо думать, начнутся пересуды. Хотя почти всем известно, что теперь она — моя жена... Офицер что-то нервничал. Сразу бросалось в глаза. А я-то думал!.. Особый отряд. Студенты и школьники. В них будут стрелять. Каждый день я вижу, как они выходят из лицея после занятий... Голова кружится. Проклятый ром!.. Ну что ж, переоденемся в штатское, подождем, что будет дальше. Неужели они и в самом деле будут стрелять в этих ребят? Офицер ясно сказал... Пожалуй, я все-таки пойду туда, чего тут сидеть одному?.. И жажда мучает...*

Селестино залпом осушил стакан воды. Машинально взял кусочек сыра, положил его на лепешку и, откусывая на ходу, пошел в другую комнату переодеваться.

Выйдя из дома, постоял, раздумывая, куда пойти. Миновал несколько кварталов. Голова почти не болела, но теперь в мозгу беспорядочно метались тревожные мысли. Почти не замечая, что делает, он завернул в таверну, неподалеку от полицейского участка.

— В такой час, Селестино? И в штатском... Что-нибудь случилось? Прошел слух, будто студенты готовят демонстрацию.

Селестино промолчал и сел в дальнем углу за столик. Молча опрокинул в рот стакан с чем-то, что предупредительно поставил перед ним хозяин таверны. То ли от пиджака, то ли от вина ему было жарко.

*Стрелять в подростков. Драться с детьми. Это же подлость. Даже не всякий полицейский будет крутить руки детям... Я каждый день вижу, как они выбегают из лицея. Дети — иначе не скажешь. Сын Хуаны — той, что торгует колобками на рынке, тоже учится в этом лицее. И сын старого Карлоса. И племянник Хулиана... Стрелять в них!.. Но не мне ведь придется стрелять. Я — полицейский... А что такое полицейский? Форма, пистолет, власть. Полицейским может стать любой... Когда у человека нет другой работы, он идет на службу в полицию; там твердое жалованье. Некоторые идут туда охотно. А иной едва-едва втягивается в эту работу. Может, потом еще и надоест... Такие же люди, как все прочие... Надел форму — вот тебе и полицейский... Какое отношение я имею к демонстрации? Только то, что я наперед знаю, как все произойдет... Вот именно. В них будут стрелять, а это паскудно. Человек, уважающий себя, не должен так делать. За два года службы в полиции я ни в кого не стрелял... Да, то, что задумали там, наверху, подло. Подло! Но что я могу сделать? Ничего. Политика — не мое дело. И я всего-навсего рядовой полицейский... К тому же в штатской одежде. Правда, я наперед знаю, что там произойдет... Неужели так-таки ничего нельзя сделать?.. Вчера из-за нескольких рюмок рома и веселой компании я готов был пожертвовать службой, а сегодня ради этих детей я ничего не могу сделать? Ничего не сделаю?.. Но почему я? Другие тоже знают. Бывает, что один рискует за всех... А как же Кармен Луиса? Она в положении. Она бы сказала: не лезь, куда тебя не просят. И она права... Но ведь в ребят будут стрелять. Из автоматов. Сволочи! Это же самая настоящая подлость... Может, предупредить? Но уж если об этом узнает офицер, то... А он, конечно, узнает... Неужели ничего нельзя сделать?.. Я всего-навсего полицейский... И почему именно я?.. И все-таки неужели нельзя предупредить?.. Ведь их встретят убийцы...: Сколько будет убитых? Неужели нельзя?..*

— Еще один, Селестино?

Он молча кивнул. Хозяин поставил на стол уже налитый стакан. Вино показалось чересчур кислым.

*Ураган налетит, когда его совсем не ждешь. С какой стати я ломаю себе голову? Какое мне дело?.. Опять эта тяжесть в висках. И жажда. Надо попросить стакан воды... Кармен Луиса уже, наверно, дома... А что делают сейчас эти лицеисты?*

С улицы донеслись крики. Все громче и громче. Они нарастали, приближаясь.

— Идут! — Хозяин бросился к двери.

Селестино вышел за ним на улицу. На расстоянии одного квартала от таверны стояли строем автоматчики. Оружие наготове. Селестино показалось, будто кто ударил его по затылку; глаза его широко раскрылись.

*Все уже готово. Как говорил офицер: «Справятся сами»... Справятся с безоружными детьми. Подлость!.. «Бунтовщикам не поздоровится!» Офицер знал, что говорил... Вот уже идут... Неужели ничего нельзя сделать? Я только рядовой полицейский... Но ведь это не что иное, как подлость!*

За углом показались первые лицеисты. Селестино шагнул с тротуара на мостовую. Вот ряд за рядом вышла вся колонна. Селестино побежал ей навстречу.

— Стойте! В вас будут стрелять! Остановитесь!

Залп рванул воздух. Демонстранты бросились врассыпную, в подъезды домов, в переулки. Селестино упал посреди улицы, раненный в спину. Но тут же привстал и повернулся к автоматчикам.

*Я ранен... Я полицейский... Кармен Луиса... Что с этими ребятами?.. Жажда...*

Еще залп. Его ударило в грудь. Два раненых лицеиста ползком добрались до подъезда. Третий остался лежать на мостовой.

Сверкали под солнцем автоматы. Залп следовал за залпом. Селестино лежал, настигнутый смертью. Перекрывая грохот выстрелов, над улицей пронесся крик:

— Да здравствует свобода!

# Судебное

На снимке: известные артисты, общественные деятели, антифашисты читают драму П. Вейса в бывшем зале заседаний Народной палаты в Берлине.

## ПЕТЕР ВЕЙС

Перевод с немецкого
ЛЬВА ГИНЗБУРГА

Драма Петера Вейса «Судебное разбирательство» представляет собой обобщенную, поэтически обработанную стенограмму так называемого «Освенцимского процесса», который проходил в 1965 году во Франкфурте-на-Майне.

По существу это «Lesedrama», то есть «пьеса для чтения», однако статичный материал оказался настолько напряженным, настолько насыщенным внутренним действием, что «пьеса для чтения» превратилась в «пьесу для крика», вернее — для исступленного выкрика, который в том же 1965 году прозвучал со многих сцен мира.

Под пером Петера Вейса судебные протоколы выросли до ораторий; автор сам назвал свою драму «Ораторией в одиннадцати песнях», но названия этих песен — «О разгрузочной платформе», «Об унтершарфюрере Штарке», «О циклоне-Б», «О феноле», да и название пьесы «Die Ermittlung» (дословно — «дознание», «следствие», а по смыслу — «судебное следствие», «с у д е б н о е р а з б и р а т е л ь с т в о») — подчеркнуто канцелярские, однако эмоциональный динамит таится в бесстрастных документах — в стенографических записях, справках, протоколах... Вот почему «стих», которым написана драма, то сбивается на откровенную, слегка ритмизованную прозу, то, вырываясь из корявого и нудноватого прозаического текста показаний, звучит грозно, гулко, отчетливо. Видимо, запротоколировать дантевскими терцинами события, происходящие в современном аду, невозможно. Как и многие другие поэты, Петер Вейс ищет для этого новые средства, и его «Судебное разбирательство» — одна из находок.

В причудливой диалектике, когда «земное притяжение» заставляет поэзию опускаться на барачные нары, падать в грязь, в рвы, а затем вновь воспарять, превратившись от соприкосновения с неумолимой, но реальной действительностью в хоралы и оратории,— одна из особенностей пьесы Петера Вейса, причина ее столь сильного и прямого воздействия на читателя, зрителя и слушателя.

Мы предлагаем здесь вниманию наших читателей сокращенную композицию пьесы.

Л. Г.

**ОРАТОРИЯ В ОДИННАДЦАТИ ПЕСНЯХ**
**(Краткая композиция)**

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

**СУДЬИ**
**ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБВИНЕНИЯ (прокурор и его помощники)**
**ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАЩИТЫ**
**ПОДСУДИМЫЕ 1—18 (представляют подлинных лиц)**
**СВИДЕТЕЛИ 1—9 (попеременно представляют разных безымянных свидетелей)**

При постановке этой драмы не следует пытаться восстановить реальную обстановку суда. Это представляется автору столь же невозможным, как и изображение на сцене самого лагеря.

На суде выступали сотни свидетелей. Столкновения этих свидетелей с обвиняемыми, речи защитников и прокуроров — все это отличалось огромной эмоциональной силой. Пусть же эта сила будет силою фактов, которые были приведены на процессе. Личные переживания и столкновения конкретных людей на суде не должны выступать на первый план. Действующие лица — свидетели, теряя в пьесе свои имена, выступают здесь просто как символы. Девять свидетелей передают лишь то, что чувствуют сотни людей. Различия в восприятии прошлого должны быть показаны косвенно: изменением голоса или позы.

Свидетели 1 и 2 стоят на позициях лагерного начальства.

Свидетели 4 и 5 — женщины, остальные — мужчины из числа оставшихся в живых заключенных.

В противоположность им, все 18 подсудимых представляют собой вполне конкретных лиц. У них есть имена, взятые из материалов дела. То, что они выступают под собственными именами, имеет принципиальное значение, потому что подсудимые сохранили свои имена, в то время как миллионы узников оставались безымянными.

Тем не менее носители этих имен не должны подвергаться в пьесе повторному суду. Сочинитель драмы взял у них лишь имена, которые стали здесь, в этой пьесе, символами.

# 1

## Песнь о разгрузочной платформе

СУДЬЯ.
Господин свидетель,
вы были начальником станции,
на которую прибывали эшелоны
с узниками?
На каком расстоянии от лагеря
находилась платформа?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
В двух километрах
от старого лагеря
и примерно в пяти — от главного.

СУДЬЯ.
Вам и в самом лагере
приходилось работать?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Никак нет.
Мое дело — станция,
прибытие эшелонов...

СУДЬЯ.
Расписания вы составляли?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Никак нет.

СУДЬЯ.
Вот здесь у нас имеется расписание,
под которым стоит ваша подпись.

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Да, теперь вспоминаю:
один-единственный раз я подписал,
заменяя кого-то по службе.

СУДЬЯ.
А назначение транспортов
вам было известно?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Ни в коем случае.

СУДЬЯ.
Вы знали, что в эшелонах
находятся люди?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Мы знали только,
что это переселенцы...

СУДЬЯ.
А то, что обратно, из лагеря,
эшелоны приходят пустыми,
вас никогда не смущало?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Я полагал, что людей
как раз поселяют в том лагере...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Господин свидетель,
вы сейчас занимаете руководящий пост
в управлении железных дорог
Федеративной Республики.
Можно, надеюсь, считать,
что вы разбираетесь в вопросах
транспортировки?
Скажите, пожалуйста,
что это были за поезда,
которые к вам прибывали?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
В основном товарный состав.
В каждой теплушке,
согласно накладной,
перевозилось по 60 человек.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Что это было:
платформы
или теплушки?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Бывали и те, и другие...

ОБВИНИТЕЛЬ.
С каким интервалом
поезда прибывали на станцию?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Не помню.

ОБВИНИТЕЛЬ.
А то, что транспорты прибывали
почти из всех стран Европы,
это не вызывало
у вас никаких подозрений?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Работы было так много,
что думать не приходилось.

ОБВИНИТЕЛЬ.
А вот вы
не задавали себе такого вопроса:
что же стало
со всеми этими людьми,
которых к вам привозят?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Я думал, их шлют на работу...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Но ведь это были не просто рабочие,
а целые семьи —
дети и старики...

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Признаться,
у меня не было времени
заглядывать внутрь вагонов...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Где вы там жили, на станции?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
В пристанционном поселке.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Что это был за поселок?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Местное население
было оттуда вывезено —
там жили сотрудники лагеря
и персонал предприятий...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Каких предприятий?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Концернов Сименса, Круппа
ИГ-Фарбен...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Вам приходилось видеть узников,
которые там работали?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Я видел, как их однажды
вели на работу
или с работы.
Точно не помню...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Как их вели?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Я видел: они шли строем
и пели...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Скажите, до вас доходили слухи
о том, что творится в лагере?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Столько кругом было слухов,
столько всякого вздора —
кто мог тогда в чем разобраться?

ОБВИНИТЕЛЬ.
Вы так ничего и не знали,
что истребляют людей?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
В это тогда
невозможно было поверить...

СУДЬЯ.
Господин свидетель!
Вы являлись ответственным
за отправление грузов?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Да... Совершенно верно.

СУДЬЯ.
Сколько, по вашему мнению,
содержалось людей в каждом вагоне?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Это мне неизвестно.
Нам было строжайше запрещено
контролировать грузы.

СУДЬЯ.
А накладные, скажите,
имелись на каждый состав?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Какие там накладные!
Большинство эшелонов вообще
приходило без всякой документации,
только на дверях теплушек
мелом писались цифры...

СУДЬЯ.
Какие же цифры?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
60 штук... или 80...

СУДЬЯ.
Штук?!

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Да, именно штук.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Какое впечатление
производил на вас этот «груз»?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Простите, я не понял вопроса.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Господин свидетель,
вы являетесь старшим инспектором
главного управления
железных дорог.
И вы не можете понять
такого простого вопроса!
Заглядывая в глазок,
имевшийся в каждом вагоне,
вы что-либо замечали?
Вам приходилось слышать,
как плачет, кричит и стонет
прибывший на станцию «груз»?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Однажды я увидел женщину.
Она поднесла грудного ребенка к щели,
через которую в вагон
поступал свежий воздух.
Она беспрестанно кричала
и требовала воды.
Я сразу же принес кружку с водой
и хотел было протянуть этой женщине,
но подошедший охранник,
увидев, как я подаю воду,
сказал, что, если я отсюда
сейчас же не уберусь,
меня расстреляют.

СУДЬЯ.
Господин свидетель,
сколько, по вашему мнению, в день
прибывало составов?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
В среднем, один.
Но были периоды — два.
И даже три.

СУДЬЯ.
Сколько в составе вагонов?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Так, 60 приблизительно.

СУДЬЯ.
Вам приходилось бывать
на территории лагеря?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Да. Однажды пришлось:
произошла какая-то неувязка
с накладными.
Я был вызван в контору,
вошел в помещение,
и оттуда все время
никуда не отлучался:
не имел пропуска.

СУДЬЯ.
Что вы увидели в лагере?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Ничего.
Я был счастлив,
что смог убраться оттуда.

СУДЬЯ.
Вы не обратили внимания
на закопченные трубы,
из которых валил беспрерывно
густой и тяжелый дым?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Да, совершенно верно.
Я думал, это пекарня.
Я слышал,
там круглосуточно
выпекают хлеб:
очень большой был лагерь...

■

СВИДЕТЕЛЬ 3.
Пять дней мы ехали, пять дней...
На вторые сутки
кончился у нас запас продовольствия.
Нас было восемьдесят девять в вагоне,
восемьдесят девять
с узлами и чемоданами.
Оправлялись тут же, на соломе.
Среди нас было много больных
и восемь мертвых.

Во время стоянок, на вокзалах,
сквозь дыру для воздуха
мы видели,
как наши охранники
получают еду и кофе —
им подносили женщины,
одетые в форму...
В последнюю ночь,
когда наш поезд свернул
на боковую ветку,
наши дети уже не плакали больше.
Нас везли
по равнинной местности,
освещенной прожекторами.
Мы приближались к серому
длинному зданию,
похожему на сарай.
Там была башня
и сводчатые ворота.
Локомотив засвистел
и, не въезжая в ворота,
остановился.
И тут же,
буквально в ту же секунду
распахнулись двери вагонов.
Узники
в полосатой одежде
ринулись на нас с криками:
— А ну! Прыгай! Живо!
С высоты полутора метров
старики и больные
падали прямо на гравий.
После того, как
выбросили мертвецов и багаж,
приказано было не двигаться с места.
И началось:
— Женщины, дети! Сюда!
— Мужчины! Сюда!..
Я потерял своих из виду.
Повсюду кричали люди,
ища своих близких.
Их усмиряли палками...
Лаяли псы.
С вышек
глядели пулеметы
и прожектора...
А на дальней окраине
небо было озарено
заревом,
пахло дымом,
и дым этот был сладкий...
И еще пахло чем-то паленым...
И этот дым
не рассеивался уже никогда...

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 4.

Я еще успела услышать,
как меня зовет и ищет
мой муж...
Нас построили
и запретили меняться местами.
Нас была группа
около ста человек.
Женщины, дети.
Мы стояли по пять человек в шеренге.
Затем нас повели мимо двух офицеров.
Один из них поднял руку —
вот так!
И стал показывать пальцем:
— Налево! — Направо!
— Налево! — Направо!
Старухи и дети — налево.
Я попала направо.
Левую группу повели по путям
на шоссе.
И тут на мгновенье
я увидела мою мать
и двух моих девочек,
и я успокоилась.
Почему-то во мне вдруг
возникла уверенность,
что мы еще встретимся снова.
Женщина, стоявшая рядом, сказала:
— Не бойтесь, их ведут
в оздоровительный лагерь.
И верно:
там, на шоссе,
стоял санитарный автобус
с красным крестом.
Мы видели,
как их погрузили в автобус,
и были рады за них,
что им не придется,
как нам,
идти пешком
по размытой дороге.

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.

Я держала за руку дочь моей невестки,
а она — своего грудного сына.
В это время
ко мне подбежал
один из этих узников
и спросил, мой ли это ребенок.
И когда я ответила: «Нет»,—
он сказал, чтобы я отдала его матери.
Я так и поступила,
и еще подумала, что, наверно, здесь
матерям полагаются льготы.
Так их, троих, послали налево,
а меня — направо.
Офицер, который распределял,
был очень любезен.
Я спросила его,
куда отправляют других.
И он ответил:
— А, всего-навсего — в баню...
Через час вы будете вместе.

СУДЬЯ.

Кто этот человек?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.

Доктор Капезиус.

СУДЬЯ.

Подсудимый Гофман,
как вы попали на службу
в СС?

ПОДСУДИМЫЙ 8.

Совершенно случайно...
У моего брата оказался
лишний мундир,
он мне достался бесплатно,
и я его взял —
видите ли,
мой отец был владельцем гостиницы,
у нас гостили многие видные наци.
Когда меня взяли на службу,
я понятия не имел,
куда нас везут.
Прибыв на место,
я еще, помню, спросил,
туда ли я прибыл.
— Туда,— мне сказали.— Туда,
здесь ты на месте.

# 2

## Песнь о лагере

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 4.
Нас повели через рельсы,
у входа в лагерь мы ждали.
И вдруг я услышала,
как один заключенный
сказал одной женщине:
— Видишь машину с красным крестом?
Красный крест — для обмана.
В машине убьют вас газом
и прямо свезут в крематорий...
Женщина стала кричать.
К ней подошел офицер —
он понял, в чем дело,
и сказал этой женщине:
— Мадам,
ну как вам не стыдно
верить словам подонка?
Это ведь заключенный,
преступник.
Здесь ведь сплошные преступники
или умалишенные.
Взгляните
на их торчащие уши,
на бритые головы.
Как можно таким людям верить?

СУДЬЯ.
Госпожа свидетельница,
вы не помните,
кто был этот офицер?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 4.
Позднее мы с ним встретились снова.
Я работала в политическом отделе
его секретаршей.
Зовут его Броад.

СУДЬЯ.
Вы его узнаёте на скамье подсудимых?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 4.
Да, узнаю... Вот он...

**Подсудимый Броад дружески кивает свидетельнице.**

СУДЬЯ.
А что стало с тем заключенным,
который беседовал с женщиной?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 4.
Я слышала,
что за распространение
клеветнических слухов
он был приговорен
к 150 палочным ударам
и после этого умер.

СУДЬЯ.
Подсудимый Броад,
что вы на это скажете?

ПОДСУДИМЫЙ 16.
Затрудняюсь сказать что-либо.
Я этот случай забыл.
А кроме того,
так много ударов
мы никогда не давали.

СВИДЕТЕЛЬ 3.
У нас отобрали вещи,
отделили от наших близких,
от членов наших семей,
и все же мы: шли сквозь ворота,
по проволочному коридору
без особой тревоги,
веря, что наших жен и детей
сейчас там, наверное, кормят
и мы с ними скоро встретимся.
Но вдруг мы увидели
изможденные фигуры
в изодранных куртках,
не людей, а скелетов,
и нам стало страшно.

СВИДЕТЕЛЬ 6.
Один приблизился к нам
и закричал:
— Новички!
Видите дым за бараками?
Этот дым — ваши жены и дети!
Но и для вас
будет один только выход:
через трубу крематория!

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.
Уже с той минуты,
когда, выпрыгнув из вагона,
я оказалась в сумятице
разгрузочной станции,
с этой минуты
я поняла.
что главное здесь —
это выжить, все остальное
неважно.
Надо, я поняла,
цепляться за жизнь всеми силами,
быть ближе к тем, кто главнее,
стараться произвести на них
выгодное впечатление
и быть подальше от тех,
кто может тебе повредить
или втянуть в неприятности.
Когда в «приемном покое»
нас, женщин,
раздетых догола,
положили на стол и стали искать
в самых интимных местах
золото и валюту,
в эту минуту вся наша прежняя жизнь
как бы оборвалась
и навсегда рухнула в пропасть.
Дом, семья, профессия,
образование —
все эти понятия в нас умирали и гасли
с каждым уколом иглы,
которой нам выкалывали
номер татуировки.
И с этой же самой минуты
возникла новая жизнь:
мы начали жить, повинуясь
новым законам,
новой морали,
входя в новый для нас мир,
который, для того чтобы выжить,
должен был восприниматься нами
как нормальный мир и как
нормальная жизнь.

Все это было нормальным.
Мы крали,
и крали у нас.
Грязь, эпидемии, вши
были нормальным явлением.
Смерть,
смерть на каждом шагу,
тысячекратная смерть
тоже была чем-то нормальным.
И нормальным была
уверенность в собственной смерти.
Нормальным было
увядание чувств, равнодушие
при виде
бесчисленных трупов.
И нормальным было,
что из нашей среды
выдвигались капо,
помощники капо
и те, кто нас порол
и кто помогал нас пороть.
Став прислужницей старосты блока,
вы выходили из категории низших,
а близость
с начальницей блока
давала вам превосходство
над всеми другими.
Выжить мог только хитрый,
спасти могло только коварство.
Лишь самые изворотливые
могли устоять в этой битве.
Неженки, слабые духом,
неудачники, пессимисты, плаксы,
люди, лишенные практического
склада ума,
те, кто жалел других, а себя не жалел,
здесь просто растаптывались.

СВИДЕТЕЛЬ 6.
Первое утро в лагере.
Первая перекличка.
Плац.
Идет дождь.
Мы стоим часами и видим,
как за колючей проволокой
на той стороне платформы
истязают женщин.
Они были совершенно голыми,
и их избивали.
И они кричали нам —
мужчинам:
— Помогите!
Они ждали от нас,
от мужчин,
хоть какой-нибудь помощи,
а мы стояли,
смотрели на них
и дрожали —
тряслись от дождя и от страха.
И ничем,
ничем —
понимаете? —
ничем
не могли им помочь.

■

СВИДЕТЕЛЬ 3.
Самым главным убийцей,
первым садистом в лагере,
убийцей и истязателем
был подсудимый Кадук.
Кадук — не просто имя,
Кадук — это понятие, символ.

СУДЬЯ.
Господин свидетель,
может быть, вы нам покажете
подсудимого Кадука?

**Кадук, осклабившись, смотрит на свидетеля.**

СВИДЕТЕЛЬ 3.
Заключенные называли Кадука
Профессор или Святой Кадук —
он сам разрабатывал пытки,
сам проводил селекции,
крючком своей палки
вытаскивал жертву
за ногу или за шею...

ПОДСУДИМЫЙ 7.
Господин директор,
все это — вранье.

СВИДЕТЕЛЬ 3.
Я был при том,
когда Кадук приказал
доставить из госпиталя
несколько сот больных.
В бане их раздели,
построили
и заставили пробегать мимо Кадука.
Кадук, подняв свою палку
примерно на метр,
приказал заключенным
брать это «препятствие».
Кто перепрыгнуть не мог,
подлежал удушению газом
немедленно.
Кому прыжок удавался,
тех избивали.
— А ну, теперь прыгай
еще раз! — приказывал Кадук.
И, конечно,
второй раз уже никто
не мог перепрыгнуть.

ПОДСУДИМЫЙ 7.
Врешь! Врешь!
Этого не было.

СУДЬЯ.
Сидите спокойно, Кадук,
и не кричите на свидетеля.

ПОДСУДИМЫЙ 7.
Господин директор,
все это чистая ложь.
А я хочу только правды.
Я одного лишь хочу:
жить в согласии и в мире
со всеми.
Все годы после войны
я честно работал,
я был санитаром в больнице,
любимцем пациентов.
Пусть они подтвердят.
Меня звали
папаша Кадук,
добрый папаша Кадук!..
Почему ж мне теперь отвечать за то,
что когда-то было,
за то, что я делал то,
что меня заставляли?
Все тогда так поступали.
Что ж мне одному отвечать?!

# 3

## Песнь о «качелях»

СУДЬЯ.
Госпожа свидетельница,
вы были заключенной,
но служили в политическом отделе.
Что вы там делали?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.
Сначала была стенографисткой,
затем,
оттого что знала языки,—
переводчицей.

СУДЬЯ.
Кто вас назначил на эту работу?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.
Господин Бо́гер.

СУДЬЯ.
Вы узна́ете Бо́гера
на скамье подсудимых?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.
Узна́ю:
вот он...

**Подсудимый Богер дружески приветствует свидетельницу.**

СУДЬЯ.
Как проходили допросы
в вашем отделе?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.
Богер сначала допрашивал
очень спокойно:
подходил к арестанту
вплотную и задавал вопросы,
а я переводила.
Если допрашиваемый не желал отвечать,
Богер бил его связкой ключей
по переносице и говорил:
— У меня есть такая машина,
она тебя заставит заговорить...

СУДЬЯ.
Что это была за машина?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.
Богер ее называл
«разговорной машиной».

СУДЬЯ.
Как она выглядела?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.
Это были «качели» —
подобие турника.
Узника подвешивали,
и мы
в своей комнате
слышали страшные крики.
Через час или два —
я не помню —
узника выносили.
Узнать его было нельзя...

СУДЬЯ.
Выносили живым или мертвым?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.
Если живым,
то он все равно умирал
минут через 45 или 30,
не больше.

СУДЬЯ.
За какие проступки
узников подвергали таким наказаниям?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.
Ну как — за какие проступки?
За кражу куска хлеба, допустим,
за нерадивость в работе —
много было причин...
Или достаточно было,
если стукач настучит.
Это делалось просто:
у нас стоял ящик
для доносов,
опустишь туда записку —
и дело сделано без всякой волынки.

# 4

## Песнь о возможности выжить

СУДЬЯ.
Скажите, свидетель,
комендант лагеря и его адъютант
присутствовали при казнях?

СВИДЕТЕЛЬ 6.
При публичных — как правило.
И всегда — в белых перчатках.

СУДЬЯ.
Свидетель, всмотритесь, пожалуйста:
вы не узнаете того адъютанта
среди подсудимых?

СВИДЕТЕЛЬ 6.
Это — Мулка.

СУДЬЯ.
Ну, Мулка,
вы принимали участие в казнях?

ПОДСУДИМЫЙ 1.
Нет, никогда.
Такими делами
я не занимался.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Подсудимый Мулка,
вы когда-нибудь в лагере
виселицу видели?

ПОДСУДИМЫЙ 1.
Простите, не понял...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Виселицу
на территории лагеря
вы когда-нибудь видели?

ПОДСУДИМЫЙ 1.
Я никогда не бывал в самом лагере.

ОБВИНИТЕЛЬ.
То есть
вы хотите сказать,
что адъютант коменданта Освенцима
ни разу не был в Освенциме?
Так, что ли?

ПОДСУДИМЫЙ 1.
Это святая правда.
Я не вылезал из конторы,
буквально не вылезал.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Итак, вы не знали,
что в лагере
вешали и расстреливали?
Что же вы делали
как адъютант?

ПОДСУДИМЫЙ 1.
Распределял рабочую силу,
обрабатывал личные карточки,
сопровождал коменданта
во время парадов,
приемов
и похорон...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Чьих похорон?

ПОДСУДИМЫЙ 1.
Офицеров...

ОБВИНИТЕЛЬ.
А вот о массовых убийствах
в газовых камерах
вам ничего не сообщали?

ПОДСУДИМЫЙ 1.
Ничего. Никогда.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Ну, хотя бы дым крематориев,
который расстилался на много
километров,
вы когда-нибудь видели?

ПОДСУДИМЫЙ 1.
Господин обвинитель,
лагерь был очень большой,
со множеством учреждений.
Естественно,
что умерших узников кремировали
и для этого
существовал крематорий.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Вам не бросался в глаза
измученный вид ваших жертв?

ПОДСУДИМЫЙ 1.
Лагерь считался штрафным.
Их не на курорт присылали!

ОБВИНИТЕЛЬ.
Скажите, с вашей вот точки зрения,
для чего вообще
существовал Освенцим?

ПОДСУДИМЫЙ 1.
Для перевоспитания
государственных преступников,
для выработки у них
нормального образа мыслей.

АДВОКАТ.
Скажите, пожалуйста,
что, между заключенными
и персоналом
существовало своего рода
сотрудничество,
взаимопонимание, что ли?

СВИДЕТЕЛЬ 3.
Как вам объяснить —
когда мы сегодня
разговариваем с людьми,
которые всего этого не пережили,
они нас не могут понять.
Между тем и палачи, и узники
обычными были людьми:
масса людей д о с т а в л я л а с ь
в лагерь,
масса людей д о с т а в л я л а в лагерь —
одни доставляли других,
но и эти, и те были люди.
Многие из тех,
которые были предназначены
играть роль узников,
выросли в том же мире,
что и те, кто попал на роль палачей.
Кто знает,
многие, если бы их не назначила судьба
на роль узников,
могли бы стать палачами...
Мы должны отбросить
высокомерное утверждение о том,
что лагерь — это нечто таинственное,
не доступное разуму:
все мы — и те, и другие —
знали тот мир,
из которого вырос Освенцим,
мы все его дети.
И Освенцим —
крайнее выражение
нашего мира.

АДВОКАТ.
Такого рода теории,
в которых дается
искаженная идеологическая
характеристика
христианского мира
и нашего строя,
мы решительно отбрасываем!

СВИДЕТЕЛЬ 3.
У большинства людей,
прибывавших в лагерь,
просто не хватало времени,
чтобы понять, что с ними происходит...
Ошеломленные,
охваченные ужасом,
молча шли они
своей последней дорогой,
давали себя убивать,
так и не успев понять
того, что их ждет.
Мы называем этих людей героями,
но смерть их была бессмысленной.
Мы видим их перед собой,
эти миллионы,
шагающие в свете прожекторов,
под лай собак и крики охраны,
и весь мир до сих пор
спрашивает:
как это могло случиться?
Почему они д а л и себя убить?
Но мы,
которые все это пережили
и сами все это видели,
прекрасно знаем,
что миллионы людей
и сегодня
готовы именно так вот ждать,
покуда их уничтожат,

причем уничтожат
намного страшней,
чем уничтожали прежде.

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Нас было 1200 узников,
и нас повели в крематорий.
Долго пришлось стоять в очереди
из-за голландцев, которые
прибыли раньше.
Вдруг вижу
мимо меня идет заключенный,
молодой человек,
он мне шепчет:
— Уходи отсюда скорее!
Я взял свои башмаки и пошел.
Я завернул за угол.
Там стоял человек.
Он спросил:
— Ты куда?
Я сказал:
— Меня послали обратно,
там очередь.
Он сказал:
— Иди за мной.
Так мы пришли вместе в лагерь.

АДВОКАТ.
Что, это было так просто —
Взять и уйти?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Я не знаю, как другим.
Я ушел.
И попал в лазарет.
Там меня встретил врач.
Он спросил:
— Хочешь остаться в живых?
Я сказал:— Да.
Он посмотрел на меня
и сказал:
— Будешь работать здесь.

АДВОКАТ.
И так вам удалось выжить?
Выйти из лагеря?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Я-то выжил...
Но лагерь еще стоит.

# 5

## Песнь о гибели Лили Тофлер

СУДЬЯ.
Госпожа свидетельница,
знакомо ли вам это имя — Лили Тофлер?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.
Да. Лили Тофлер
была исключительно красивой девушкой.
Ее арестовали за то,
что она написала письмо
какому-то узнику.
При попытке
это письмо передать
она была схвачена.
От нее стали требовать,
чтобы она назвала адресата,
но она отказалась.
Тогда ее заперли в бункер.
Раздев догола, ее несколько раз
ставили к стенке,
изображали расстрел,
даже давали команду
«Огонь!»,—
а потом отменяли.
Дело дошло до того,
что Лили, упав на колени,
стала просить,
чтоб ее, наконец, расстреляли.

СУДЬЯ.
И ее расстреляли?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.
Да.

СВИДЕТЕЛЬ 6.
Я сидел в бункере,
был под арестом,
когда Лили Тофлер
попала туда вместе
с двумя заключенными,
которые, кажется, также
принимали участие
в передаче письма.
Однажды,
благодаря покровительству
вахмана Якоба,
мне было разрешено
пойти в умывальню
помыться.
И вот по дороге туда
Якоб внезапно втолкнул меня
в какую-то комнату рядом.
И сквозь щелку в двери
я смог увидать,
как в умывальню
Богер
ввел Лили Тофлер,
я услышал два выстрела,
а после того
как Богер ушел,
увидел труп этой девушки
на полу умывальни.
Оба ее сообщника
были также расстреляны Богером
на тюремном дворе,
но несколько позже.

СУДЬЯ.
Подсудимый Богер,
известен ли вам этот случай?

ПОДСУДИМЫЙ 2.
Расстрел Лили Тофлер
имел действительно место.
Она была на секретной работе:
эта Тофлер
работала в политическом отделе,
в канцелярии,
ведала перепиской.
И, разумеется, ей
не разрешались контакты
с кем-либо из заключенных.
Но лично я ни в аресте ее,
ни в расстреле
никак не замешан.

Помню, я был потрясен,
услышав об ее смерти,
так же как Якоб,
тот надзиратель из бункера,—
слезы текли у него по щекам,
когда он узнал...

СУДЬЯ.

Можете вы рассказать,
о чем говорилось в письме,
написанном Тофлер?

ПОДСУДИМЫЙ 2.

Нет.

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.

Лили Тофлер писала:
«Стоит ли жить на земле,
можно ли жить оставаться
после всего, что узнали мы
здесь, находясь в этом лагере?
После всего, что мы видели,
смеем ли мы не ослепнуть?..»
Также — я помню —
в этом письме она пыталась узнать,
получал ли друг
ее прежние письма:
там содержались какие-то
важные вещи...

АДВОКАТ.

Госпожа свидетельница,
откуда вы все это знаете?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.

Я с Лили Тофлер дружила,
мы жили в одном бараке,
она мне все рассказала...
Потом я читала это письмо —
я работала в лагерной канцелярии,
туда поступил рапорт
о казни Лили Тофлер.
К этому самому рапорту
приложено было письмо.

СУДЬЯ.

Вы знали того заключенного,
которому Тофлер писала?

СВИДЕТЕЛЬНИЦА 5.

Да...
Помню, всех мужчин
построили на плацу,
и Лили должна была
назвать своего «сожителя»,
как они говорили.
И она обходила строй
и, проходя мимо того человека,
мельком, но как-то пронзительно
взглянула ему в глаза
и пошла дальше, не говоря ни слова.

# 6

## Песнь об унтершарфюрере Штарке

СВИДЕТЕЛЬ 8.

Вот этот Штарк —
он был у нас начальник
команды по приемке заключенных.
Ему в ту пору
было 20 лет.
В свободное от службы время
он готовился к экзаменам
на аттестат зрелости...
Чтобы проверить прочность
своих знаний,
он часто обращался с вопросами
к нам —
смертникам со средним или высшим
образованием.
Так, в тот самый вечер,
когда поступила
с двумя детьми
та женщина из Польши,
он с нами вел дискуссию на тему
о гуманизме Гёте...

СУДЬЯ.

И что же
произошло тогда?

СВИДЕТЕЛЬ 8.

Впоследствии узнали мы о том,
что 8-летний мальчик этой польки
во время следования в польский блок
каким-то образом поймал или схватил
крольчиху, что принадлежала
помощнику начальника охраны,
и отдал ее
девочке двух лет —
своей сестренке...
За это расстреляли всех троих:
мать, дочь и сына.
Расстрелял их Штарк...

СУДЬЯ.

Вы это видели?

СВИДЕТЕЛЬ 8.

В то время
расстрелы производились еще
в помещении старого крематория,
рядом с карантинным блоком.
В окно мы видели,
как Штарк
вместе с этой женщиной и ее детьми
вошел в крематорий,
сняв карабин.
Грянули выстрелы.

СУДЬЯ.

Подсудимый Штарк!
Правильно показывает свидетель?

ПОДСУДИМЫЙ 12.

Я решительно отметаю это утверждение.

СУДЬЯ.

Кем вы были в лагере?

ПОДСУДИМЫЙ 12.

Блокфюрером.

СУДЬЯ.

Как вы попали в Освенцим?

ПОДСУДИМЫЙ 12.

Вместе с группой унтершарфюреров.

СУДЬЯ.

И вас назначили блокфюрером?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Да. Я окончил школу фюреров,
прошел специальную практику.

СУДЬЯ.
Значит, из школы фюреров
вы прибыли в лагерь?
Что же там было?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Нас привели на приемную комиссию,
в которую входили
комендант, адъютант,
рапортфюрер, лагерфюрер и...

СУДЬЯ.
Какую вам дали работу?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Я послан был в блок,
где сидели студенты и школьники.

СУДЬЯ.
За что же они там сидели?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
За связь с подпольным движением.
Их взяли, мне помнится,
группой.
Полиция безопасности
передала их в лагерь...

СУДЬЯ.
Вы,
как блокфюрер, как вы обращались
со своими «подопечными»?
Что вы с ними делали?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Я следил за своевременным
выходом их на работу
и производил вечернюю и
утреннюю поверку.

СУДЬЯ.
Случались попытки к бегству?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
При мне — никогда.

СУДЬЯ.
Как обращались с людьми?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Они получали паек:
каждый по литру супа.

СУДЬЯ.
А бывали случаи саботажа?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
При мне — никогда.

СУДЬЯ.
Вам приходилось прибегать к насилию,
если заключенные
отказывались повиноваться?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Мне повиновались всегда.

СУДЬЯ.
Вы никого не били?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Не было необходимости.

СУДЬЯ.
Когда вы попали в приемный барак
политического отдела?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
В мае 1941 года.

СУДЬЯ.
Почему вас перевели?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Во время прогулки верхом
я познакомился
с унтерштурмфюрером Грабнером —
шефом отдела политики.
Грабнер спросил меня,
кем я был до войны.
Узнав, что я гимназист,
он взял меня в свой отдел,
потому что, как он мне сказал,
там нужны культурные люди.

СУДЬЯ.
Что же вы делали там
в политической группе?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Ведал регистратурой.
Прибывающий в лагерь
получал от меня порядковый номер,
затем я заполнял карточку
и личное дело.
Из опросных листов выяснялось,
к какому разряду относится
заключенный —
политический, уголовный
или расово чуждый.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Скажите, Штарк,
вы всегда присутствовали
при разгрузке транспортов?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Согласно занимаемой мною
должности —
непременно.

ОБВИНИТЕЛЬ.
И что вы делали,
когда прибывал эшелон?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Вел учет прибывающих.
Только и всего.

ОБВИНИТЕЛЬ.
В чем выражался учет?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Одних я записывал в книгу.

ОБВИНИТЕЛЬ.
А других?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Других не записывал.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Почему?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Их немедленно отправляли
в малый крематорий.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Это было еще до постройки
главных печей?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Так точно.
Новые печи стали действовать
только летом 1942 —
до этого
мы пользовались печью
старого лагеря.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Как происходила отправка
в крематорий?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Против имени сжигаемого
ставилась галочка, птичка,
после чего сжигаемый
входил в крематорий.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Как объясняли людям,
что с ними будет?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
А! Говорили, что это баня
или дезинфекционная камера.

ОБВИНИТЕЛЬ.
И как вели себя люди?
Бывали ли случаи паники?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Нет, нет, все были спокойны.
Совершенно спокойны...

■

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Я хорошо помню,
как вел себя Штарк,
когда возвращался с расстрелов.
Он требовал чистоты!
Прежде всего чистоты!
Вооружась полотенцами,
мы выгоняли мух:
не дай бог
Штарк обнаружит муху —
тогда мы пропали.
Еще не скинув мундир и фурэжку,
он уже мыл руки.
Да, он тщательно мыл свои руки
в миске с мыльной водой.
Дежурный ждал у дверей
и по знаку унтершарфюрера
со всех ног мчался менять ему воду.
Умывшись, Штарк сбрасывал китель:
— Вычистить! Вытряхнуть!
И мыл тогда снова лицо.
И еще раз —
тщательно —
руки.

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Вот уже 25 лет,
как мне мерещится Штарк...
Штарк, Штарк, Штарк,
всюду Штарк.
Я вижу его.
Я слышу, как он кричит:
— Эй, вы! Дерьмо! Заходите!
Сукины дети! Сволочи!
Заходите!

СУДЬЯ.
Куда «заходите»?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
В морг крематория.
Там лежали трупы
нескольких сот мужчин,
женщин, детей.
И трупы военнопленных тоже там были.
— Эй,— кричал нам Штарк,—
приступить к раздеванию трупов!
Мне было 17 лет,
до этого дня я не видел ни одного
покойника.
И боялся мертвецов...
Я стоял как вкопанный.
Тут подбежал Штарк и ударил меня...

СУДЬЯ.
На трупах были ранения?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Нет. Их отравили газом...

СУДЬЯ.
Скажите, свидетель,
разве перед тем, как пустить газ,
смертников не раздевали?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Это было позднее:
в новых крематориях
были уже раздевалки...

СУДЬЯ.
И Штарк там действовал тоже?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Штарк участвовал всюду.
Везде.
Я слышу, как он орет:
— Собрать барахло!
Однажды какой-то старик,
человек невысокого роста,
спрятался в ворохе одежды!...
Штарк обнаружил его:
— А ну, поди-ка сюда!
Поставил его к стене и
прострелил ему ногу —
одну,
другую,
потом посадил на скамейку
и выстрелил в голову...

СУДЬЯ.
Скажите, Штарк,
сколько человек входило
в каждую группу,
подлежащую казни?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Штук сто пятьдесят или двести.

СУДЬЯ.
И дети, и женщины тоже
входили в это число?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Да.

СУДЬЯ.
И вы считали правильным,
что дети и женщины тоже
подлежали безжалостной смерти?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Нам тогда объяснили,
что эти дети принимали участие
в отравлении колодцев,
в подрывах мостов
и в прочих бандитских действиях.

СУДЬЯ.
Почему вы убивали военнопленных?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Была директива, что эти военнопленные
потеряли моральное право
на обращение с ними,
как с честными солдатами.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Подсудимый Штарк,
осенью 41 года в лагерь поступило

большое число советских
военнопленных.
Согласно
имеющимся у нас протоколам
вы — я подчеркиваю,
именно вы — занимались убийством
этих солдат.

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Да... Постольку, поскольку...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Что значит «постольку, поскольку»?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Я их всего лишь
сопровождал к месту казни,
с тем чтобы потом сделать отметку
в соответствующей карточке,
что приговор исполнен,
затем в другой карточке
сделать отметку о том,
что такой-то номер...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Как официально обосновывали
необходимость
расстрела советских военнопленных?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Речь шла о людях, зараженных
определенным мировоззрением.
Их фанатизм,
их политические взгляды
могли стать угрозой
для безопасности и порядка концлагеря.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Лично вы принимали участие в казнях?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Один только раз.
Это было, когда Грабнер сказал,
что теперь очередь Штарка,
и мне пришлось...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Скольких вы расстреляли?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Я точно не помню.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Вы принимали участие в других акциях?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Нет. Я получил отпуск
для завершения образования,
мне нужен был аттестат зрелости...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Когда вы уехали?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
В декабре 41 года...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Когда вы сдали экзамен?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Весной 42...

ОБВИНИТЕЛЬ.
И вновь возвратились в лагерь?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Да. Ненадолго.

АДВОКАТ.
Мы хотим подчеркнуть,
что нашему подзащитному
к моменту его службы в Освенциме
было всего 20 лет,
и, как здесь показали свидетели,
он отличался исключительно высокими
духовными запросами,
интеллектуальной утонченностью
и по всему складу своего характера
был человеком гуманным, гуманитарием
и уже после войны, до ареста,
честно работал учителем в школе...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Скажите, Штарк,
вы принимали участие
в пробных удушениях
газом
советских военнопленных?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Нет.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Подсудимый Штарк,
осенью и зимой 41 года
началось массовое уничтожение
советских военнопленных.
25 тысяч человек было умерщвлено.
Вы принимали участие в этих убийствах!
Знали о них, одобряли эти убийства
и проявляли рвение
при исполнении преступных приказов.

АДВОКАТ.
Решительно протестуем!

■

СУДЬЯ.
Скажите, Штарк,
вот вы уехали в отпуск,
чтобы сдать экзамен
на аттестат зрелости.
Несколько месяцев
вы жили нормальной жизнью
нормального человека.
Неужели у вас не возникло
раскаяния или сомнения
в правильности ваших действий
там, в лагере?

ПОДСУДИМЫЙ 12.
Господин председатель,
я хотел бы еще раз сказать,
что нам тогда вечно твердили
о том, что те, кто виновен
в наших несчастьях,
должны быть уничтожены,
выкорчеваны навсегда
во имя грядущего счастья...
В школе фюреров нас приучали
безропотно выполнять любые приказы.
Если кто-нибудь вдруг
позволял себе дерзость
задать вопрос о законности
тех или иных наших действий,
ему отвечали тем,
что показывали пальцем наверх,
то есть то, что мы делаем,
разрешено и предписано сверху.
Нам говорили:
«Учитесь!
Ваше дело — учиться!
А думать будут другие!»

Одобрительный смех.

# 7

## Песнь о черной стене

СВИДЕТЕЛЬ 3.
Расстрелы производились
у черной стены
во дворе одиннадцатого блока.

СУДЬЯ.
Откуда вели осужденных
к черной стене?

СВИДЕТЕЛЬ 3.
Из боковой двери
в одиннадцатом блоке.
Их вел Якоб —
человек огромного роста,
бывший боксер.

СУДЬЯ.
Кто стрелял в осужденных?

СВИДЕТЕЛЬ 3.
Сам комендант лагеря,
его адъютант,
шеф политического отдела Грабнер,
а также Броад, Штарк, Богер, Шляге,
Кадук...

АДВОКАТ.
Вы уверены в том,
что адъютант
участвовал в казнях?

СВИДЕТЕЛЬ 3.
Адъютант — это фигура,
с кем его спутаешь?
Он был почти так же известен,
как сам комендант.

СУДЬЯ.
Подсудимый Богер,
вы принимали участие в расстрелах?

ПОДСУДИМЫЙ 2.
Я не стрелял ни разу
за всю мою службу.

СУДЬЯ.
А вы, подсудимый Броад?

ПОДСУДИМЫЙ 16.
Зачем мне было стрелять?
Я не имел полномочий.

СУДЬЯ.
Вы, Шляге?
Ведь вы были надзирателем
одиннадцатого блока?
Вы помните черную стену?

ПОДСУДИМЫЙ 14.
Я ничего не помню.

СУДЬЯ.
Кадук, а вы?

ПОДСУДИМЫЙ 7.
Давайте валите на Кадука.
Сплошная брехня, а не суд...

СУДЬЯ.
Вызывается в качестве свидетеля
бывший начальник нынешних
подсудимых...
Господин свидетель,
вы были шефом полиции безопасности
и председателем лагерного трибунала.
Какое вы имели отношение
к казням, которые осуществлялись
политическим отделом?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
По моей должности я не имел
ничего общего
с политическим отделом лагеря.
Я вел лишь дела партизан,
доставляемых в лагерь и подлежавших,
согласно закону,
судебной ответственности.

СУДЬЯ.
Где проходили судебные заседания?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
В одном из бараков.

СУДЬЯ.
В одиннадцатом блоке?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Вот этого я не скажу.
Номер блока, сами понимаете,
меня не интересовал.

СУДЬЯ.
Когда вы выходили из «зала суда»,
то есть из вашего блока,
вы видели черную стену?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Не могу сейчас вспомнить.

СУДЬЯ.
Вы должны ее помнить — черную стену.

СВИДЕТЕЛЬ 1.
У меня плохо с памятью.

СУДЬЯ.
Господин свидетель,
итак, вы были председателем трибунала.
Скажите,
участвовали ли в заседаниях трибунала
также и адвокаты?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Да, если этого хотели подсудимые.

СУДЬЯ.
Ну и как они — хотели?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Редко.

СУДЬЯ.
И все-таки?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Ну, иногда приглашали.

СУДЬЯ.
Откуда брались адвокаты?
Кто были эти защитники?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Это были чиновники,
специально выделенные
из особо проверенных лиц.

СУДЬЯ.
Производились ли усиленные допросы?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
В суде — никогда!
Да и к чему?
Состав преступления
настолько был ясен,

что можно было вообще
обойтись без всяких допросов.

СУДЬЯ.
В чем выражался обычно
состав преступлений?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Ну, мы имели дело
исключительно с одними
государственными преступниками.

СУДЬЯ.
Подсудимые признавали себя
виновными?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Непризнававшихся не было.

СУДЬЯ.
Отчего же они признавались?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Такие уж были допросы.

СУДЬЯ.
А где проводились допросы?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Как — где?! В политическом отделе.

СУДЬЯ.
А вы, как судья, не задумывались
над ценою признаний,
добытых подобным путем?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Лично я неизменно внушал
всем моим сотрудникам,
что допросы необходимо
проводить корректно,
в полном соответствии
с нормами права.

СУДЬЯ.
В ходе суда
заслушивали свидетелей?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Как правило, нет.
Мы спрашивали подсудимых,
признают ли они себя виновными.
И все отвечали: «Да».

СУДЬЯ.
Таким образом,
выносились одни смертные приговоры?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Практически да,
оправдательных не было.

Вообще процессы устраивались
только в тех случаях,
когда все было ясно.

СУДЬЯ.
Бывало ли, что подсудимые
обращались к суду с жалобами
на истязания во время допросов?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Нет, никогда. Что вы!

ОБВИНИТЕЛЬ.
Господин свидетель,
во скольких процессах
вы участвовали?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Сейчас уж не помню.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Сколько, примерно,
продолжалось судебное заседание?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Забыл.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Господин свидетель,
вы сегодня управляете
крупнейшей торговой фирмой,
и вы, конечно, привыкли
постоянно иметь дело с
цифрами, числами,
подсчетами и так далее.
Скажите, пожалуйста,
сколько человек вы осудили на смерть?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Этого я не знаю.

СВИДЕТЕЛЬ 6.
В течение одного заседания
лагерного трибунала
выносилось в среднем
от 100 до 150
смертных приговоров.
Заседание длилось час-полтора,
а трибунал заседал каждые две недели.

ОБВИНИТЕЛЬ.
Господин свидетель,
сколько, по вашим подсчетам,
было расстреляно у черной стены
человек?

СВИДЕТЕЛЬ 6.
Около двадцати тысяч.

# 8

## Песнь о фенole

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Фельдшера Клера
я обвиняю
в тысячекратных убийствах
посредством инъекций фенола...

ПОДСУДИМЫЙ 9.
Ложь! Никогда не бывало,
чтоб я кого уколол.
Правда, несколько раз
я присутствовал, находясь на дежурстве,
но с большой неохотой.

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Каждый день в лазарете
умерщвлялось не менее
тридцати заключенных,
но бывало, и сто приводили, и двести.

СУДЬЯ.
Где производились инъекции?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
В инфекционном блоке —
то есть в двадцатом.

СУДЬЯ.
Каким образом доставляли туда
заключенных?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Те, кто еще мог двигаться
самостоятельно,

шли в нижних рубахах или голые,
держа над головой одеяло
и свою деревянную обувь.
Многих больных волокли
или подталкивали.
Они входили через боковую дверь
в двадцатый блок...

СУДЬЯ.
В каком помещении
производились инъекции?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
В комнате номер один —
там был кабинет врача.

СУДЬЯ.
А где ожидали приема?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Заключенных выстраивали в коридоре.
Тяжелобольные лежали прямо
на голом полу.
В кабинет вводили по двое.
Врач — доктор Энтресс —
передавал Клеру треть пациентов.
Но ему этого было мало.
Когда врач уходил,
Клер обычно
вытаскивал из лазарета
новую партию.

СУДЬЯ.
Вы это сами видели?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Своими глазами...
Клер любил круглые числа.
Если, допустим,
ему не подходит число,
он добавлял количество жертв
за счет лежавших в больнице.
Он выбирал больных
с повышенной температурой.

СУДЬЯ.
Какие же круглые числа
любил подсудимый?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Двадцать три он доводил,
допустим,
до тридцати, тридцать шесть —
до сорока и так далее.
Отобранным пациентам он приказывал
следовать за ним...

СУДЬЯ.
Как он приказывал?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
— Ты пойдешь со мной!
Ты тоже! Ты! Ты! И ты!

■

СУДЬЯ.
Подсудимый Клер,
расскажите, как вы убивали
своих «пациентов».

ПОДСУДИМЫЙ 9.
Только согласно инструкции,
в полном соответствии с правилами:
путем инъекций фенола
в сердечную мышцу.
Но я не один это делал.

СУДЬЯ.
Кто же еще?

ПОДСУДИМЫЙ 9.
Не могу сейчас вспомнить.

СВИДЕТЕЛЬ 9.
В этих убийствах
совместно с Клером неизменно
участвовали также
подсудимые Шерпе и Хантль.
У этих был свой метод,
не тот, что у Клера, они
отличались вежливостью.
Приходя к нам в барак,
говорили «Доброе утро»,
а уходя — «До свиданья».
Клер, тот всегда врывался
как бешеный, а Шерпе всегда
был ровен, предупредителен,
он разговаривал с людьми ласково.
Я никогда не видел, чтобы он
кого-нибудь бил, на кого-нибудь
топал ногами.
Те, которых он вызывал,
доверяли ему и шли за ним,
полагая, что их будут лечить.

СУДЬЯ.
Господин свидетель,
вы, находясь в заключении,
были врачом больничного блока.
Не можете ли вы нам сказать,
кто первым придумал фенол?

СВИДЕТЕЛЬ 9.
Лагерный врач доктор Энтресс.
Собственно, он — «изобретатель»
инъекций.
Сначала был выбран бензин,
но вскоре обнаружилась
его непрактичность:
смерть после инъекции бензина
наступала через
три четверти часа.
Пришлось искать
более сильное средство.
Стали вводить водород.
Потом — фенол...

СУДЬЯ.
Вы видели,
кто непосредственно
делал уколы?

СВИДЕТЕЛЬ 9.
Вначале сам доктор Энтресс,
потом появились Шерпе и Хантль.

АДВОКАТ.
Скажите, а санитары
тоже кололи?

СВИДЕТЕЛЬ 9.
Вначале — да.

АДВОКАТ.
Стало быть, узники
погибали от рук своих же «коллег»?
Не так ли?

ОБВИНИТЕЛЬ.
Мы протестуем против подобных
приемов защиты.
Нельзя обвинять людей подневольных,
которые действовали
под страхом смерти.

АДВОКАТ.
Но разве под этим страхом
не действовал весь персонал?

Вся германская армия?
Весь народ, наконец?

ОБВИНИТЕЛЬ.
Нет! От участия в пытках
каждый мог уклониться,
если хотел.

СУДЬЯ.
Мы вызываем в качестве свидетеля
одного из главных врачей лагеря.
Господин свидетель,
какая ученая степень
или звание
были у вас к моменту вашего призыва
на военную службу
до прибытия в лагерь?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Я был профессором,
заведовал кафедрой в университете.

СУДЬЯ.
И, обладая таким высоким званием,
вы были всего-навсего
канцеляристом, писарем?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Ну... иногда я занимался также
патологоанатомией...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Как вы себя могли чувствовать
перед лицом этих массовых казней?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Мой нравственный долг —
заявить,
что я и сегодня
считаю себя ни в чем не виновным,
мы отбирали
лишь безнадежно больных,
которые бы все равно
протянули недолго...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Господин свидетель,
и вы — человек образованный,
врач, профессор университета,
неужели вы не могли прибегнуть
к иным, человечным средствам?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
Нет! Не тогда и не там!
Тысячи наших солдат
истекали кровью на фронте,
и в городах разбомбленных
страдали миллионы людей...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Но, господин свидетель,
разве вам не было ясно,
что речь шла тоже о людях,
притом ни в чем не повинных,—
за что вы их убивали?
За что вы их мучили? А?..
Скажите, почему
вы для своих опытов
пользовались
только человеческим мясом?

СВИДЕТЕЛЬ 2.
А потому что охрана
систематически съедала
все коровье и конское мясо,
которое мы получали для
бактериологических опытов.

# 9

## Песнь о бункере

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Я был осужден
на тридцать суток
стоячей камеры.
Это значило:
днем, как обычно,— работа,
ночью — стояние в камере.

СУДЬЯ.
За что они вас осудили?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Я дважды протягивал миску
во время раздачи баланды.

СУДЬЯ.
Где находилась стоячая камера?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
В одиннадцатом блоке, в подвале.

СУДЬЯ.
Назовите, пожалуйста,
длину и ширину камеры.

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Девяносто на девяносто сантиметров
площадь,
высота — два метра.

СУДЬЯ.
Окно было?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Только дыра для воздуха
в верхнем углу —
крохотное отверстие.

СУДЬЯ.
А дверь?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Внизу был прорублен люк —
пятьдесят сантиметров в диаметре.
Через него мы вползали в камеру,
люк задвигали решеткой.

СУДЬЯ.
Вы один были в камере?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
Вначале один,
но потом еще четверых привели.

СУДЬЯ.
Бывали такие,
кому приходилось стоять день и ночь,
круглые сутки?

СВИДЕТЕЛЬ 8.
В большинстве случаев
именно так и стояли:
приговаривали, как правило,
к круглосуточному стоянию.
Впрочем, существовали
всякие виды мучений.
Одним давали еду
через день или через два дня,

другим — вообще ничего не давали,
осудив их, таким образом,
на голодную смерть.
Мой друг, Курт Пахала,
умер через пятнадцать суток —
в последние дни
он ел свои туфли.
Он умер 14 января 43 года —
дату я помню точно:
это день моего рождения.
Тот, кто, как Курт Пахала,
был приговорен к стоячей камере
без получения пищи,
мог ругаться, кричать,
проклинать кого угодно и
сколько угодно,
хоть самого Гитлера,—
все равно люк не откроется.
В первые ночи я слышал:
Пахала еще громко кричал
от голода, а затем
голод исчез,
наступила жажда.
Он стонал,
молил о пощаде,
хотя бы о капле воды.
Никто не отзывался.
Он лизал мокрые стены,
пил собственную мочу —
тринадцать дней длилась жажда,
затем из его камеры
уже не раздавалось ни звука.

СУДЬЯ.

Подсудимый Шляге,
вы пытали узников,
заключенных в стоячую камеру,
голодом и жаждой?

ПОДСУДИМЫЙ 14.

Господин директор,
я считаю необходимым сделать
следующее
важное заявление перед всем миром:
здесь судят невинного!
В одиннадцатом блоке
я был, по существу,
всего-навсего ключником,
то есть отпирал и запирал
двери камер.
Мне приказывали, я выполнял,
а за все, что творилось в бункере,
должен ответчать комендант лагеря
или его заместитель.

СВИДЕТЕЛЬ 6.

3 сентября 41 года
в бункере были предприняты
первые попытки
массовых умерщвлений
посредством циклона-Б.
Санитары и вахманы
привели в одиннадцатый блок
восемьсот пятьдесят
советских военнопленных
и двести двадцать больных узников.
После того
как камеры были заперты наглухо,
окна засыпали землей и
в вентиляционные отверстия
был пущен газ.
На следующий день выяснилось,
что несколько человек уцелело,
поэтому порцию газа усилили.
5 сентября
я вместе с двадцатью заключенными
штрафной роты
и несколькими санитарами
был вызван в одиннадцатый блок.
Нам сказали, что предстоит
работа особой важности
и особой секретности
и что за разглашение тайны
мы подлежим
пытке и смертной казни.
К тому же нам был обещан
усиленный паек
по окончании работы.
Мы надели противогазы
и стали выносить трупы
из камер.
Когда мы отворили двери,
прямо на нас
упало несколько трупов.
Видимо, эти люди умерли стоя,
прижавшись друг к другу.
У всех были синие лица.
В течение целого дня
мы выносили
эти трупы во двор
и складывали их штабелями.
Вечером пришли комендант и
чины его штаба.
Я слышал слова коменданта.
— Теперь,— он сказал,—
я спокоен.
Теперь мы имеем газ,
и вся эта мясорубка —
массовые расстрелы,
кровавые бани
и прочие безобразия,
слава богу,
кончается.
До самой последней минуты —
до их удушения газом —
мы сможем с людьми обращаться,
как подобает людям.

# 10

## Песнь о циклоне-Б

СУДЬЯ.

Скажите, свидетель,
вы не помните,
где хранился газ?

СВИДЕТЕЛЬ 6.

Он стоял, упакованный в ящики,
в подвале аптеки.

СУДЬЯ.

Подсудимый Капезиус,
это касается вас.
Было ли вам,
как начальнику аптеки,
известно,
что там хранится циклон-Б?

ПОДСУДИМЫЙ 3.
Здесь, очевидно, происходит ошибка.
Господин свидетель, видимо, ошибается.
В подвале хранились ящики
с пирамидоном,
который мы получили от швейцарского Красного Креста.

СВИДЕТЕЛЬ 6.
Я видел коробки с пирамидоном,
и я видел ящики с циклоном,
и я видел еще чемоданы,
в которых подсудимый Капезиус хранил
золотые коронки,
изъятые из ртов убитых,
и золотые серьги,
вырванные из ушей замученных
женщин...

ПОДСУДИМЫЙ 3.
Извините... но это вымысел!

СВИДЕТЕЛЬ 6.
Я хотел бы знать,
откуда, на какие средства
подсудимому Капезиусу удалось
сразу же после войны
открыть собственную аптеку
и салон красоты...
КАПЕЗИУС ГАРАНТИРУЕТ ВАМ
КРАСОТУ! —
кричали рекламы,
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МАЗЯМИ КАПЕЗИУСА!
КАПЕЗИУС ВОЗВРАЩАЕТ
МОЛОДОСТЬ!..

ПОДСУДИМЫЙ 3.
Аптека была куплена мною в кредит.
Кроме того, я получил подарок.

СВИДЕТЕЛЬ 6.
А откуда взялись 50 тысяч марок,
которые были обещаны мне
и другим свидетелям
в случае, если мы здесь,
на суде, скажем,
что Капезиус ведал в лагере только
аптекой
и не имел никакого отношения
ни к циклону-Б,
ни к фенолу?

ПОДСУДИМЫЙ 3.
Боже, боже, какая клевета!

ОБВИНИТЕЛЬ.
Через кого была предпринята
попытка вас подкупить, свидетель?

СВИДЕТЕЛЬ 6.
Я не знаю. Они действовали анонимно...

ОБВИНИТЕЛЬ.
Может быть, здесь замешана
одна
из легально существующих у нас
организаций
бывших эсэсовцев
и охранников лагерей?

СВИДЕТЕЛЬ 6.
Я хотел бы, чтобы высокий суд
ознакомился с письмом,
полученным мной накануне процесса.
Обратный адрес гласит:
«Союз свободы, труда и прогресса».
Вот содержание. Разрешите прочесть.
«Ты скоро исчезнешь с лица земли,
и ты подохнешь, как собака,
наши люди следят за каждым
твоим шагом.
Теперь сам выбирай:
жизнь или смерть...»

СУДЬЯ.
Суд постарается
выяснить происхождение этого письма.

АДВОКАТ.
Может, свидетель вспомнит,
что было изображено
на ящиках с циклоном?

СВИДЕТЕЛЬ 6.
Там стояло: «Осторожно! Газ!»
И еще были
нарисованы череп и кости.

АДВОКАТ.
А вы заглядывали когда-нибудь
в самые ящики?

СВИДЕТЕЛЬ 6.
Да, я видел там банки...

СУДЬЯ.
Сколько банок требовалось
на проведение одной акции?

СВИДЕТЕЛЬ 6.
На уничтожение
двух тысяч человек
в газовой камере
расходовалось примерно
шестнадцать банок.

СУДЬЯ.
Если килограмм стоил пять марок,
то, следовательно,
умерщвление каждой тысячи человек
обходилось в двадцать марок,
не так ли?

## 11

## Песнь о крематориях

СУДЬЯ.
Господин свидетель,
находясь в заключении,
вы были врачом
в специальной команде,
обслуживавшей крематорий.
Сколько узников
работало в этой команде?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Восемьсот шестьдесят.
Команда была
через несколько месяцев
уничтожена полностью
и заменена другой.

СУДЬЯ.
Кому подчинялась команда?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Доктору Менгеле.

СУДЬЯ.
Господин свидетель,
как происходила загрузка
газовых камер?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Свисток паровоза,
въезжавшего в лагерь с составом,
являлся как бы сигналом:
это значило,
что прибыла новая партия
и что в течение часа
все печи должны быть
приведены в полнейшую
готовность.
Включались электромоторы,
мощные вентиляторы
раздували в печах огонь
и доводили температуру
до определенного градуса.

СУДЬЯ.
Вам приходилось видеть
шествие обреченных?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Из окна моего кабинета
я видел путь в крематорий.
Люди шагали в шеренгах
по пять человек,
больных везли сзади в машинах.
Зона самого крематория
была обнесена
проволочным забором.
До ворот
людей доводила охрана,
дальше все было делом
зондеркоманды.
Только врачи и санитары,
а также сотрудники политического
отдела
имели право на вход.

СУДЬЯ.
Кого из подсудимых
вам приходилось там видеть?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Штарка, Барецкого, Гофмана,
ну и, конечно, Кадука...
Люди медленно и устало
проходили через ворота.
Дети цеплялись
за юбки своих матерей,
старухи несли на руках младенцев
или толкали коляски,
дорожка была посыпана
черным шлаком.
Справа и слева
на траве
стояли колонки с водой.
Люди толпились у этих колонок,
чтобы утолить жажду,
им еще разрешали пить,
хотя уже торопили,
прикрикивали на них:
— Быстрее, быстрее, не задерживаться!
Им оставалось пройти
еще 50 метров
до лестницы,
которая вела
в раздевалку...

СУДЬЯ.
Сколько человек
входило одновременно?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
От тысячи до двух тысяч.

СУДЬЯ.
Неужели они не знали,
что вскоре им предстоит?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Там,
на той узкой лестнице,
висели таблички
на пяти-шести языках:
«Баня и дезкамера».
Это звучало правдоподобно
и утешительно
и успокаивало
даже людей недоверчивых.
Я часто видел людей,
спускавшихся вниз по лестнице.
Они шутили с детьми,
смеялись и разговаривали...

СУДЬЯ.
И никогда не возникала паника?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Все происходило так быстро,
что паники, собственно, не было.
Давался приказ раздеться,
и многие еще растерянно
оглядывались по сторонам,
а зондеркоманда
быстро помогала им складывать вещи.
Вдоль стен стояли скамейки,
на стенах висели крюки
с номерами,
и несколько раз повторялось,
что обувь и одежду
следует связывать в узел,
вешать на этот крючок
и запоминать свой номер,
с тем чтобы после бани
не было недоразумений.
При ослепительно ярком свете
мужчины и женщины,
старые и молодые,
старухи и дети
снимали с себя одежду.

СУДЬЯ.
Скажите, не было случаев,
чтоб кто-нибудь из обреченных
бросился на охрану?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Нет.
Только один раз я слышал,
как кто-то закричал:
— Они нас здесь всех уничтожат!
Но тут же другой
стал его урезонивать:
это, мол, невозможно,
ты — паникер и трус,
кто это допустит,
возьми себя в руки!
И если плакали дети,
их утешали родители,
переходя из раздевалки
в соседнее помещение.

СУДЬЯ.
Где оно находилось?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Рядом с самой раздевалкой.
Помню дубовую дверь
со смотровым глазком
и колесообразным запором.

СУДЬЯ.
Как долго они раздевались?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Примерно десять минут.

СУДЬЯ.
Все шли добровольно?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Люди из зондеркоманды
кричали:
— Быстрее! Быстрее!
Не то остынет вода!..
При этом не только уговаривали,
но иногда били
и даже стреляли
в случае неповиновения.

СУДЬЯ.
А там, в той комнате рядом
были устроены,
чтоб обмануть вошедших,
души, краны и прочее?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Нет. Там уже ничего не было.

СУДЬЯ.
Но когда тысяча
и даже больше человек
вдруг оказывались
в каком-то непонятном
и тесном помещении,
должна бы подняться
паника...

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Уже было поздно...
Последних уже затолкали,
и дверь завинтили наглухо.

СУДЬЯ.
Господин свидетель,
может быть, вы в состоянии
все-таки нам объяснить,
почему эти люди
не сопротивлялись?
Самый вид этих стен
должен был вызвать догадку,
что их заманили на смерть...

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Оттуда не вышел никто,
чтоб рассказать об этом...

СУДЬЯ.
Итак, дверь завинчена наглухо.
Что происходит в камере?
Слышны ли звуки —
шум, крики?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Да. Они начинали
стучать колотить в дверь,
но слышимость была очень плохой
из-за гуденья печей и работы моторов...
Наступало головокружение,
сильная тошнота,
паралич дыхания...

СУДЬЯ.
Как долго пускался газ?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Минут, приблизительно,
двадцать...
Затем включалась аппаратура
проветривания,
и газ
выкачивали из помещения.

СУДЬЯ.
Вам приходилось видеть камеру
после конца операции?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Да. Приходилось не раз.
Люди лежали,
вцепившись друг в друга,
с распухшими лицами,
из ушей, изо рта, из носа
текла кровь,
кожа была изодрана до крови...
Являлась команда уборщиков
со шлангами,
смывала кровь, грязь и рвоту;
трупы удушенных
тут же грузили в лифты
и доставляли к печам...

СУДЬЯ.
Что это были за лифты?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Это были два грузовых лифта,
каждый в 25 трупов вместимостью,
наверху
в ожидании лифтов
стояла команда носильщиков.
Они волокли трупы к печам.
Но перед сожжением
зондеркоманда
производила последний осмотр:
искали спрятанное золото,
драгоценные камни,
кольца и серьги,
затем остригали
женщин, и волосы
тут же
упаковывали в тюки;
и, наконец,
команда зубных врачей,
специально подобранная
доктором Менгеле
из самых лучших дантистов Европы,
выламывала изо ртов золотые мосты
и коронки...
Печи обслуживало
приблизительно сто человек,
работа шла в две смены...

СУДЬЯ.
Что делали с золотом
и другими изъятыми ценностями?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
При сортировке вещей
найденное золото,
деньги и драгоценности
укладывались в специальные ящики.
Но перед укладкой
вахманы успевали
набить карманы
деньгами,
принадлежавшими рейху.
Обувь и одежду,
связанные в узел
еще самими казненными,
отправляли в Германию
для нужд пострадавших

от бомбардировок.
Золотые коронки и зубы
переплавляли...
Я однажды вел в лагере следствие
в связи с хищениями
изъятой валюты.
И несколько охранников
были осуждены.

СУДЬЯ.
Как проходил процесс?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Процесс, был, конечно, фиктивным.
Судили мелких преступников
за кражу,
а не за убийство:
об убийствах и злодеяниях
вообще не могло быть речи.

СУДЬЯ.
Неужели вы, как юрист,
не нашли никакой возможности
предать огласке все,
о чем вы узнали в Освенциме?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Какой суд, скажите мне,
стал бы тогда рассматривать
дела о массовых казнях,
о неслыханных зверствах,
о кражах и ограблениях,
которые совершали
не какие-то жалкие вахманы,
а крупнейшие чиновники
и все государство в целом?!

СУДЬЯ.
Но, может быть, вы могли бы
найти другой способ действия?
Довести каким-нибудь образом
до мировой общественности
известные вам факты?

СВИДЕТЕЛЬ 1.
Я был убежден тогда в том,
что мне никто не поверит,—
меня самого бы казнили
или же, в лучшем случае,
заперли бы как сумасшедшего.
У меня, признаюсь,
был план —
бежать за границу.
Но я боялся,
что мне и там не поверят.
И в то же время я думал
о том, что будет, если
мне все-таки поверят?
Не принесу ли я этим
ущерб моему отечеству
и моему народу?
Мне стало казаться,
что если узнают всю правду,
то другие народы
уничтожат немецкий народ
за все, что он совершил.
И я остался в Германии.

■

ОБВИНИТЕЛЬ.
Господин свидетель,
считаете ли вы возможным,
чтоб адъютант коменданта лагеря
не знал о том, что делается
в крематориях, вплоть до того момента,
когда они были взорваны?

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Нет, это исключено.
Каждому из шести тысяч служащих
лагерного персонала
было известно все.
Машинисты тех паровозов,
которые везли эшелоны,
стрелочники, работавшие
на разгрузочной станции,
телеграфисты и стенографистки,
все вместе и каждый в отдельности,—
все они знали, что такое Освенцим.

АДВОКАТ.
Мы протестуем!
Свидетелем движет ненависть,
а ненависть ослепляет
и искажает истину.

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Нет, я далек от ненависти,
я никому не жажду мстить.
Дело не в них,
сидящих на этой скамье,
а в том, что свои злодеяния
они никогда бы
не смогли совершить
без косвенного соучастия
миллионов
других людей!

АДВОКАТ.
Эти нападки
направлены на целый народ,
который в трудное время
вынес тяжелейшие испытания,
понес тяжелейшие жертвы
и вел тяжелейшую битву
за право на жизнь.

СВИДЕТЕЛЬ 7.
Я прошу разрешения
напомнить только о том,
что, когда нас, арестованных,
везли через город на станцию,
вся дорога была запружена
толпой любопытных.
А что касается этих,
нынешних подсудимых,
то я вижу их
лишь в самом конце
огромного списка мерзавцев,
списка подручных убийц.

СУДЬЯ.
Подсудимый Мулка,
вы ничего не знали
о ликвидации узников?
Ведь речь идет об убийствах!

ПОДСУДИМЫЙ 1.
Мы тогда искренне верили,
что все эти мероприятия
предусматривают какую-то
нам не известную,
но крайне важную цель
стратегического характера
для достижения победы.
Господин президент,
поверьте,
я был духовно сломлен
от этой жуткой работы,
я настолько был болен,
что даже попал в лазарет.
Я должен здесь подчеркнуть,

что если я в чем-то участвовал,
то был абсолютно пассивен,
и на моих руках
нет человеческой крови...
Высокий суд,
я здесь хочу заявить,
что сам являюсь участником
сопротивления нацизму,
врагом нацистской системы
и сам подвергался преследованиям...

СУДЬЯ.

Как это понимать?

ПОДСУДИМЫЙ 1.

Я был арестован
за высказывание
пораженческих настроений,
провел три месяца в карцере,
а после освобождения
попал под бомбежку противника
во время злодейских налетов
на города Германии.
Как старый солдат,
я принимал участие
в спасении мирных людей,
в разборке развалин.
Мой собственный сын погиб.
Господин президент,
на этом процессе нельзя
забывать и миллионы тех,
кто отдал жизнь в боях
за нашу отчизну,
нельзя забывать,
какой была эта война
и того, что делалось после,
нельзя забывать обид,
нанесенных Германии.
Все мы —
это я хочу подчеркнуть особо —
не совершали никаких
жестокостей и преступлений,
а лишь выполняли свой долг,
вопреки всем трудностям нашей
службы,
наперекор отчаянью,
которое нас охватывало.
И теперь,
когда наш народ
вновь выдвинулся на ведущее место,
на руководящую роль,
не лучше ль заняться
другими делами,
чем бесконечным копаньем в прошлом,
бесконечными попреками
за дела и проступки,
которые следует раз и навсегда
забыть
за истечением срока,
за давностью лет!

**Громкие возгласы одобрения со стороны подсудимых.**

**Занавес**

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

# ОБЕЩАНИЕ

**Отходная детективному жанру**

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого
Н. КАСАТКИНОЙ

В марте этого года Общество имени Дахиндена пригласило меня прочесть у них в Куре доклад об искусстве писать детективные романы. Я приехал поездом совсем под вечер, над городом нависли низкие тучи, сыпал снег, и все обледенело. Заседание происходило в помещении Коммерческого союза, публики было не густо, потому что одновременно в актовом зале гимназии Эмиль Штайгер читал лекцию о позднем Гёте. Я и сам говорил без увлечения и, очевидно, никого не увлек — многие туземцы покинули зал до окончания доклада. Обменявшись несколькими словами с членами правления, с двумя-тремя учителями гимназии, которые явно предпочли бы позднего Гёте, а также с филантропической дамой, почетной попечительницей Восточношвейцарского союза домашней прислуги, расписавшись затем за гонорар и путевые расходы, я удалился в гостиницу «Козерог» близ вокзала, где мне отвели номер. Но здесь та же тоска. Кроме немецкой экономической газеты и старого фотожурнала, никакого чтения под рукой. Тишина в гостинице немыслимая, о сне и думать нельзя из страха, что никогда не проснешься. Ночь бесконечная, бредовая. Снег прекратился, все замерло, фонари перестали качаться, ветер утих, на улицах никого, ни человека, ни зверя, только с вокзала что-то отдаленно прогудело разок. Я пошел в бар выпить рюмку виски. Кроме пожилой барменши я застал там еще одного посетителя. Как только я сел, он поспешил мне представиться. Это оказался г-н Х., бывший начальник цюрихской кантональной полиции в чине майора, высокий, грузный мужчина, одетый по старинке, с золотой цепочкой поперек жилета, что теперь видишь не часто. Несмотря на годы, у него были еще совсем черные волосы бобриком и пушистые усы. Он сидел у стойки на высоком табурете, пил красное вино, курил сигары «Баианос» и барменшу называл по имени. Говорил он громко, размашисто жестикулировал, в равной мере подкупая и отпугивая меня своей грубоватой непринужденностью. Когда время подошло к трем и за первой рюмкой «Джонни Уоркера» последовали еще четыре, мой новый знакомый предложил доставить меня в Цюрих в своем «оппель-капитане». Я был очень поверхностно знаком с окрестностями Кура и вообще с этой частью Швейцарии, а потому охотно принял приглашение. Д-р Х. приехал в Граубюнден в качестве члена какой-то федеральной комиссии и, задержавшись из-за непогоды, пришел послушать мой доклад, но не стал о нем распространяться и только заметил вскользь:

— Вы довольно неопытный оратор.

На следующее утро мы тронулись в путь. Чтобы хоть немножко поспать, я принял на рассвете две таблетки медомина и теперь сидел в полном оцепенении. Уже было позднее утро, но все еще не совсем рассвело, кое-где металлически поблескивал кусочек неба. Тучи расходились не спеша, тяжеловесные, неповоротливые, еще несущие груз снега; казалось, зиме не хочется расставаться с этой частью страны. Город окружен кольцом гор, в которых, однако, нет ни тени величия, они скорее похожи на кучи выбранной земли, как будто здесь рыли гигантскую могилу. Сам город весь каменный, серый, с большими административными зданиями. Даже не верилось,

что в здешних местах растет виноград. Мы попытались проникнуть в старые кварталы, но громоздкая машина заблудилась в тесных тупиках и в переулках с односторонним движением; из беспорядочного нагромождения домов пришлось выбираться задним ходом, да еще по обледенелой мостовой. Хотя я ничего толком не разглядел в этой старинной епископской резиденции, мы были счастливы, когда город остался позади. Наш отъезд был похож на бегство. Я клевал носом, усталый, точно налитый свинцом. Возникая из-за низко нависших туч, как призрачное видение, тянулась заснеженная, оледенелая долина. Тянулась без конца. Потом мы черепашьим шагом проехали большое селение или даже городок, и тут вдруг проглянуло солнце, и все засияло таким ярким, таким ослепительным светом, что начал таять снежный покров, от земли поднялся белый туман, фантастической пеленой навис над снежными полями и опять застлал от меня долину. Это было как в кошмаре, точно кто-то назло не хотел мне показать этот край, эти горы. Снова навалилась усталость, вдобавок еще противно шуршал гравий, которым была посыпана дорога; перед каким-то мостом мы забуксовали; потом откуда-то взялся воинский эшелон; смотровое стекло так залепило грязью, что «дворники» не могли его протереть. Г-н Х. сидел рядом со мною за рулем, насупясь и сосредоточившись на трудностях пути. Я жалел, что принял приглашение, проклинал виски и медомин. Однако мало-помалу все пришло в норму. Долина стала наконец видна, ожила. Повсюду фермы, кое-где мелкие фабрички, все чистенькое, бедноватое; на дороге уже нет ни снега, ни льда, она только блестит от сырости, но вполне безопасна, и можно развить приличную скорость. Горы расступились, отодвинулись, и вскоре мы затормозили у бензозаправочной станции.

Она поражала с первого взгляда — уж очень не похожа она была на свое опрятное швейцарское окружение. Вид у нее был самый жалкий, сырость сочилась из стен, стекала с них ручьями. Половина дома была каменная, а половина попросту сарай, дощатая стена которого, выходившая на шоссе, была заклеена рекламными плакатами; должно быть, их начали клеить очень давно, и теперь наросли целые пласты реклам: «Трубочные табаки «Бурус» незаменимы»; «Пейте сухое «Канадское»; «Мятные таблетки «Спорт»; «Витамины»; «Молочный шоколад Линдта» и так далее. На торцовой стене гигантскими буквами было выведено: «Шины Перелли». Обе бензоколонки находились перед каменной половиной дома на неровной, кое-как вымощенной площадке. Перед нами была картина полного запустения, несмотря на солнце, светившее сейчас ослепительно, даже, можно сказать, яростно.

— Выйдем,— предложил бывший начальник полиции.

И я повиновался, не понимая, зачем ему это нужно, и только радуясь возможности глотнуть свежего воздуха.

Перед открытой дверью на каменной скамье сидел небритый неопрятный старик, на нем была грязная заношенная светлая куртка и темные просаленные брюки от смокинга. На ногах — старые шлепанцы. Он смотрел в пространство тупым бессмысленным взглядом, и я уже издали учуял, как от него разит спиртным. Вокруг скамьи все было усыпано окурками, плававшими в лужах талого снега.

— Добрый день! — поздоровался г-н Х., как-то вдруг смутившись.— Заправьте, пожалуйста. Высокооктановым. Да и протрите стекла.— Затем он обратился ко мне:— Войдемте внутрь.

Только тут я заметил над единственным в поле моего зрения окошком красную трактирную табличку, а над дверью вывеску: «Кафе «Розан». Мы вступили в грязный коридор. Воняло пивом и водкой. Майор пошел вперед и открыл дощатую дверь — он, по-видимому, не раз бывал здесь. Помещение было убогое и темное — несколько некрашеных столов и скамей, на стенах — портреты кинозвезд, вырезанные из иллюстрированных журналов; австрийское радио передавало для Тироля рыночные цены, а за стойкой смутно виднелась тощая женщина в халате. Она курила сигарету и полоскала стаканы.

— Два кофе со сливками,— заказал майор.

Женщина принялась готовить кофе, а из соседней комнаты вышла замызганная кельнерша на вид лет тридцати.

— Ей всего шестнадцать,— пробурчал майор.

Девушка подала чашки. На ней была черная юбка и полурасстегнутая блузка, надетая на голое тело. Шея немытая. Волосы светлые, как, должно быть, в прошлом у женщины за стойкой. Голова нечесаная.

— Спасибо, Аннемари,— сказал майор и положил деньги на стол.

Девушка ничего не ответила и даже не поблагодарила. Мы пили молча. Кофе был омерзительный. Майор закурил свою «Баианос». Австрийское радио перешло на уровень воды, а девушка, волоча ноги, удалилась в соседнюю комнату, где мы разглядели что-то беловатое — очевидно, неубранную постель.

— Едем,— решил майор.

Выйдя из дома, он бросил взгляд на колонку и расплатился. Старик успел накачать бензин и протереть стекла.

— До скорого! — сказал майор, и я снова заметил у него какую-то растерянность; старик и тут не произнес ни слова. Он уже опять сидел на скамье и тупым, угасшим взглядом смотрел в пространство. Но когда мы подошли к нашему «оппель-

капитану» и оглянулись напоследок, старик сжал руки в кулаки, потряс ими и с просиявшим безграничной верой лицом отрывисто прошептал:

— Я жду, я жду, он придет, придет.

■

— Честно говоря,— начал д-р Х., когда мы пытались одолеть Керенцский перевал (шоссе опять обледенело, а под нами неприветливо поблескивало холодное Валенское озеро; добавьте к этому свинцовую тяжесть от медомина, воспоминание о горьковатом привкусе виски и ощущение, будто я куда-то плыву без конца и без цели, как в дурном сне),— честно говоря, я никогда не увлекался детективными романами и сожалею, что вы занялись ими. Бесполезная трата времени. Правда, в вашем вчерашнем докладе были толковые мысли; конечно, политические деятели показали себя преступно несостоятельными — кому это знать, как не мне? Я сам из их числа, состою членом Национального совета, вам это, надо полагать, известно.

Мне это не было известно, его голос долетал откуда-то издалека, я был замурован в своей сонливости, но насторожен, как зверь в берлоге.

— ...И люди, естественно, надеются, что хотя бы полиция способна навести в мире порядок. Поганая надежда, гаже не придумаешь. Но это что — в детективных историях протаскивают еще и не такую ересь. Я не стану придираться к тому, что ваших преступников неизбежно настигает кара. Допустим, эта прекрасная легенда необходима с точки зрения морали. Это такая же ложь во спасение государственного порядка, как и ханжеская сентенция «преступление не окупается». Чтобы понять, сколько в ней правды, достаточно взглянуть на человеческое общество, однако со всем этим я готов мириться хотя бы из чисто деловых соображений. Согласитесь сами, любая публика, любой налогоплательщик вправе требовать, чтобы им подали героя и happyend *, и поставлять этот товар в равной мере обязаны мы — полиция и вы — писательская братия. Нет, чем я возмущаюсь, так это развитием сюжета в ваших романах. Здесь уже вранье не знает ни удержу, ни стыда. Вы строите сюжет на логической основе, будто это шахматная партия — вот преступник, вот жертва, вот соучастник, вот подстрекатель; сыщику достаточно знать правила игры и точно воспроизвести партию, как он уже уличил преступника и помог торжеству правосудия. Меня буквально бесит эта фикция. Одной логикой ключа к действительности не подберешь. Причем, признаюсь откровенно, именно мы, полиция, и вынуждены в своих действиях прибегать к науке и логике; но непредвиденные помехи то и дело путают нам карты, и, увы, чаще всего нашу победу и наше поражение решают чистая удача и случай. А случай как раз не играет в ваших романах никакой роли, и все, что похоже на случай, сейчас же истолковывается как судьба и предопределение: вы, писатели, всегда жертвовали истиной на потребу драматургическим канонам. Пошлите, наконец, к черту все каноны. Происшествие нельзя рассматривать как арифметическую задачу хотя бы потому, что в нашем распоряжении никогда не бывает всех данных, мы располагаем лишь весьма немногими, и то обычно второстепенными. Да и чересчур велика роль случайного, неожиданного, исключительного. Наши законы базируются на вероятии, на статистике, а не на причинности, и действительны только в общем, но не в частном. Единичное в расчет не принимается. Наши криминалистические методы очень ограничены, и чем больше мы их разрабатываем, тем они, в сущности, становятся ограниченнее. Но вас, писателей, это не трогает. Вам неохота возиться с той действительностью, которая постоянно ускользает от нас. Нет, вы предпочитаете построить собственный мир, а потом покорить его. Не спорю, это, конечно, совершенный мир, но он ведь — фикция, ложь. Плюньте на совершенство, перестаньте заниматься стилистическими выкрутасами, иначе вы не сдвинетесь с места и никогда не доберетесь до сути вещей. Не взглянете прямо в глаза действительности, как подобает мужчинам. Но перейдем к делу.

За это утро у вас было немало поводов удивляться. В первую голову, я полагаю, моим речам. Еще бы — бывшему начальнику цюрихской кантональной полиции следовало бы придерживаться более умеренных взглядов. Но я уже стар и не хочу обманывать себя. Я знаю, сколько в нас всех несовершенного, как мы беспомощны, как часто заблуждаемся. Но тем более должны мы действовать, даже рискуя действовать ошибочно.

И еще вас, конечно, удивило, зачем я заезжал на эту убогую заправочную станцию. Так знайте же: жалкий пьянчужка, который заправлял нам машину, в прошлом был моим самым талантливым помощником. Видит бог, я тоже кое-что смыслил в своем ремесле, но Маттеи был поистине гениален. Ни один из ваших знаменитых сыщиков с ним не сравнится.

Скоро будет девять лет, как произошла эта история, продолжал свой рассказ г-н Х., обогнав грузовик нефтяной компании «Шелл». Маттеи был одним из моих комиссаров или, вернее, обер-лейтенантов — сотрудникам нашей кантональной полиции присваиваются воинские звания. Как и я, он по образованию юрист. Будучи уроженцем Базеля, он окончил базельский университет. Сперва в той среде, с которой

* Счастливый конец *(англ.)*.

он сталкивался, так сказать, по долгу службы, а потом и у нас его прозвали «Маттеи — каюк злодеям». Он был человек одинокий, всегда тщательно, но не броско одетый, корректный, замкнутый, он не пил и не курил, но в своем деле был суров и беспощаден, пожиная ненависть и успех. Я так до конца в нем и не разобрался. Пожалуй, нравился он мне одному — я вообще люблю цельных людей, хотя и меня зачастую раздражало в нем отсутствие чувства юмора. Ума он был выдающегося, но наша на редкость слаженная государственная машина убила в нем всякие порывы. Он был великолепным организатором и владел полицейским механизмом, как счетной линейкой. Женат он не был, никогда не говорил о своей частной жизни, да, верно, ее и не существовало. Он ничем не интересовался, кроме своей профессии, и занимался ею с незаурядным знанием дела, однако без малейшего жара. Работал он упорно и неутомимо, но явно скучал, пока одно дело, в которое он волею судьбы вмешался, не всколыхнуло его всего.

Надо сказать, что это случилось в момент наивысшего расцвета его карьеры. В департаменте с ним вышла некоторая заминка. Зная, что я собираюсь на пенсию, в Союзном совете подумывали о моем преемнике. Собственно, речь могла идти только о Маттеи. Но его кандидатура, по всей вероятности, не прошла бы на выборах. Во-первых, он не принадлежал ни к какой партии, а, во-вторых, весь личный состав принял бы его в штыки. Но вместе с тем невозможно было и обойти такого дельного работника, вот почему как нельзя кстати пришлась просьба иорданского правительства о командировании в Амман серьезного специалиста для реорганизации тамошней полиции. Цюрих выдвинул кандидатуру Маттеи, и она была принята как Берном, так и Амманом. Все вздохнули с облегчением. Маттеи тоже радовался, что выбор пал на него, и не только со служебной точки зрения. Ему как раз стукнуло пятьдесят — в такие годы неплохо пожить под солнцем пустыни; он радовался отъезду, радовался перелету через Альпы и Средиземное море и, кажется, рассчитывал, что это будет окончательным прощанием; он даже намекал, что переселится потом к сестре в Данию. Она овдовела и осталась жить там. Он уже освобождал свой письменный стол в здании кантональной полиции на Казарменной улице, как вдруг раздался телефонный звонок.

■

Маттеи с трудом разобрался в сбивчивом рассказе одного из своих бывших «клиентов» — торговца вразнос по фамилии фон Гунтен, продолжал повествовать г-н Х., тот звонил ему из Мегендорфа, селения близ Цюриха. Маттеи совсем не улыбалось начинать новое дело в последний день своего пребывания на Казарменной улице, тем более что билет на самолет был уже куплен и лететь предстояло через три дня. Но я был в отъезде, на совещании начальников полиции, и меня ожидали из Берна только к вечеру. Действовать надо было очень умело, один неосторожный шаг мог все загубить. Маттеи велел соединить его с полицейским участком в Мегендорфе. Был конец апреля, за окном шумел ливень — фёновая буря добралась, наконец, до города, но тяжкая, зловредная духота не спадала и не давала людям дышать.

Трубку взял полицейский Ризен.

— В Мегендорфе тоже идет дождь? — сразу же сердито спросил Маттеи, и, хотя ответ был ясен и без того, лицо его помрачнело еще пуще. Затем он дал указание незаметно следить за поведением разносчика в кабачке «Олень» и повесил трубку.

— Случилось что-нибудь? — полюбопытствовал Феллер. Он помогал своему начальнику складывать книги; их постепенно набралась целая библиотека.

— В Мегендорфе тоже идет дождь,— заметил полицейский комиссар,— вызовите оперативную группу.

— Убийство?

— Чертов дождь,— пробурчал Маттеи вместо ответа обиженному Феллеру.

Прежде чем сесть в машину, где его нетерпеливо дожидались прокурор и лейтенант Хенци, Маттеи на всякий случай перелистал дело фон Гунтена. У него была судимость за совращение четырнадцатилетней девочки.

■

Первой же ошибкой, которую нельзя было предусмотреть, оказался приказ следить за разносчиком. Мегендорф представлял собою небольшую общину, в основном крестьянскую, хотя кое-кто работал на фабриках внизу, в долине, или по соседству, на кирпичном заводе. Правда, жили здесь и пришлые, «городские» — два-три архитектора, скульптор классического толка, но в деревне они никакой роли не играли. А коренные жители все друг друга знали и по большей части состояли между собой в родстве. С городом деревня конфликтовала не открыто, а исподтишка. Дело было вот в чем: леса вокруг Мегендорфа принадлежали городу, но ни один уважающий себя мегендорфец не желал считаться с этим фактом, что в свое время причинило немало хлопот лесному управлению,— оно-то и настояло на том, чтобы в Мегендорфе

был создан полицейский участок. К тому же по воскресным дням деревню заполняли толпы горожан, а «Олень» и ночью привлекал посетителей. Принимая во внимание все эти обстоятельства, здесь требовался такой квартальный, который назубок знал бы свое ремесло. А с другой стороны, нужен был и человеческий подход к местным жителям. До этого весьма скоро своим умом дошел нижний полицейский чин Вегмюллер. Сам он был из крестьян, любил выпить и крепко держал своих подопечных в узде, но при этом давал им столько поблажек, что мне бы следовало вмешаться; я считал, однако, что при нехватке персонала, на худой конец, сойдет и он. Меня не беспокоили, и я его оставил в покое. Зато заместителям Вегмюллера, когда он бывал в отпуске, приходилось несладко. Что бы они ни делали, в глазах мегендорфцев все было плохо. С тех пор как в стране наступило процветание, браконьерство и порубки леса в городских владениях, а также потасовки в самой деревне отошли в прошлое, но огонь исконной вражды против властей продолжал тлеть среди населения. Особенно туго приходилось сейчас Ризену. Он был придурковатый малый, без капли юмора, на все обижался и не находил общего языка с мегендорфцами, любителями подшутить; впрочем, при своей обидчивости он не годился и для спокойных районов. Едва окончив ежедневный обход и проверку, он мигом испарялся из страха перед населением. При таких условиях, конечно, нельзя было незаметно наблюдать за разносчиком. Самое появление полицейского в кабачке, куда он обычно боялся сунуться, было равносильно политической акции. Вдобавок Ризен так демонстративно расселся напротив разносчика, что крестьяне замолчали и насторожились.

— Кофе? — предложил хозяин.

— Нет, ничего. Я здесь по служебной надобности,— ответил полицейский.

Крестьяне с любопытством уставились на разносчика.

— Что он натворил? — спросил какой-то старик.

— Это вас не касается.

Помещение было низенькое, прокуренное, не комната, а деревянная нора, духота стояла нестерпимая, и при этом хозяин не зажигал света. Крестьяне сидели за длинным столом, пили не то белое вино, не то пиво и сами вырисовывались как тени на фоне серебристых оконных стекол, по которым снаружи капало и текло. Где-то стучал шарик настольного футбола, где-то звякал и громыхал американский игорный автомат.

Фон Гунтен выпил рюмку вишневки. Ему было страшно. Он забился в угол, оперся локтем на ручку своей корзины, сидел и ждал. Ему казалось, что он уже очень давно сидит так. В этой душной тишине чувствовалась угроза. За окнами посветлело, дождь перестал, и вдруг выглянуло солнце. Только ветер еще завывал, сотрясая стены. Фон Гунтен обрадовался, когда у крыльца наконец затормозили машины.

— Пойдемте,— поднявшись, сказал Ризен.

Оба вышли. Перед кабачком дожидались темный лимузин и автобус оперативной группы; санитарный автомобиль подошел вслед за ними. Яркое солнце заливало деревенскую площадь. У колодца стояли двое ребятишек лет пяти-шести — девочка и мальчик, у девочки под мышкой торчала кукла, у мальчика — хлыстик.

— Фон Гунтен, садитесь рядом с шофером! — крикнул Маттеи из окна лимузина, и, когда разносчик, словно почувствовав себя в безопасности, со вздохом облегчения уселся на место, а Ризен влез во вторую машину, полицейский комиссар приказал: — Так! А теперь покажите нам, что вы нашли в лесу.

■

Они пошли прямо по мокрой траве, потому что лесная просека превратилась в сплошное месиво. Среди кустов невдалеке от опушки они увидели детский трупик и окружили его кольцом. Все молчали, деревья шумели на ветру, с них все еще сыпались крупные серебряные капли и сверкали как алмазы. Прокурор бросил сигару «Бриссаго» и смущенно наступил на нее. Хенци смотрел в сторону.

— Сотрудник полиции не смеет отворачиваться, Хенци,— сказал Маттеи.

Полицейские расставляли осветительные приборы.

— После такого ливня нелегко будет отыскать следы,— заметил Маттеи.

Среди полицейских вдруг оказались те же ребятишки — мальчик и девочка; они стояли и глядели во все глаза, девочка все еще с куклой под мышкой, а мальчик — с хлыстиком.

— Уберите детей.

Один из полицейских взял их за руки и отвел на дорогу. Там они остановились как вкопанные.

Из деревни уже бежали люди, хозяин кабачка сразу был виден по белому фартуку.

— Оцепить! — распорядился полицейский комиссар.

Несколько агентов заняли посты. Другие принялись обыскивать окрестности. Засверкали блицы.

— Ризен, вы знаете, чья это девочка?

— Нет, господин комиссар.

— В деревне вы ее видели?
— Как будто видел, господин комиссар.
— Сфотографировали ее?
— Сейчас сделаем еще два снимка сверху.
Маттеи подождал.
— Следы есть?
— Никаких. Все затоплено.
— Пуговицы осмотрели? Есть отпечатки пальцев?
— Какое там! После такого ливня!
Маттеи бережно склонился над трупиком.
— Бритвой! — установил он, собрал разбросанное кругом печенье и бережно сложил в корзиночку.— Крендельки.

Доложили, что кто-то из деревенских хочет поговорить. Маттеи поднялся. Прокурор посмотрел на опушку. Там стоял седой человек с зонтиком, висевшим на левой руке. Хенци оперся о ствол бука. Он был бледен. Разносчик сидел на своей корзине и шепотом твердил:
— Я проходил мимо, случайно, совсем случайно...
— Приведите старика!
Седой человек пробрался сквозь кусты и оцепенел.
— Господи, господи,— только и мог он пролепетать.
— Разрешите спросить вашу фамилию? — обратился к нему Маттеи.
— Я учитель Лугинбюль,— чуть слышно ответил старик и отвернулся.
— Вы знаете эту девочку?
— Это — Гритли Мозер.
— Где живут родители?
— «На болотцах».
— Это далеко от деревни?
— Четверть часа ходу.

Маттеи бросил взгляд на убитую, у него одного хватило на это духу. Никто не произнес ни слова.
— Как это случилось? — спросил учитель.
— Преступление на сексуальной почве,— объяснил Маттеи.— Она училась у вас?
— Нет, у фрейлейн Крум. В третьем классе.
— У Мозеров есть еще дети?
— Гритли была у них единственным ребенком.
— Кто-нибудь должен сообщить родителям.
Все опять промолчали.
— Может быть, вы, господин учитель? — спросил Маттеи.
Лугинбюль долго не отвечал.
— Не сочтите меня трусом,— запинаясь, сказал он наконец,— я не хочу брать это на себя. Не могу,— шепотом добавил он.
— Понимаю,— согласился Маттеи.— А где господин пастор?
— В городе.
— Хорошо. Можете идти, господин Лугинбюль,— ровным голосом произнес Маттеи.

Учитель прошел обратно на дорогу. Там все прибывал народ из Мегендорфа.
Маттеи взглянул на Хенци. Тот по-прежнему стоял, опершись о ствол бука.
— Пожалуйста, только не меня, комиссар,— шепотом попросил Хенци.

Прокурор тоже отрицательно помотал головой. Маттеи еще раз посмотрел на трупик, потом на разорванное красное платьице, которое валялось в кустах, мокрое от крови и дождя.
— Что ж, тогда пойду я,— сказал он и поднял корзинку с крендельками.

■

Дом «На болотцах» был расположен в топкой ложбинке близ Мегендорфа. Маттеи оставил служебную машину в деревне и пошел пешком. Ему хотелось выиграть время. Он издалека увидел дом. Но вдруг остановился и обернулся. Ему послышались шаги. Опять те же ребята — мальчик и девочка. Они раскраснелись — верно, бежали напрямик, иначе никак нельзя было объяснить их появление.

Маттеи пошел дальше. Дом был невысокий — белые стены и темные стропила, на них гонтовая крыша. За домом — плодовые деревья, в саду — вскопанные грядки. Перед домом мужчина колол дрова. Он поднял голову и увидел полицейского комиссара.
— Что вам угодно? — спросил он.

Маттеи мялся в растерянности, наконец назвал себя и спросил, лишь бы выиграть время:
— Господин Мозер?
— Это я и есть. Что вам нужно? — повторил он и остановился перед Маттеи, держа топор в руке.

Это был испитой человек лет сорока с изборожденным глубокими складками

лицом и серыми глазами, пытливо смотревшими на комиссара полиции. В дверях показалась женщина, на ней было тоже красное платье. Маттеи обдумывал, что сказать. Он давно уже над этим думал и до сих пор ни до чего не додумался. Мозер сам пришел ему на помощь. Он увидел корзиночку в руках у Маттеи.

— С Гритли что-нибудь случилось? — спросил он и снова пытливо посмотрел на Маттеи.

— Вы куда-нибудь посылали Гритли? — в свою очередь спросил полицейский комиссар.

— К бабушке, в Ферен,— ответил крестьянин.

Маттеи прикинул: Ферен была соседняя деревня.

— Гритли часто ходила туда? — спросил он.

— Каждую среду и субботу после обеда,— ответил крестьянин и в приливе внезапного страха спросил: — Зачем вам это нужно знать? Отчего вы принесли назад корзиночку?

Маттеи поставил корзинку на пенек, на котором Мозер колол дрова.

— Гритли нашли мертвой в мегендорфском лесу,— сказал он.

Мозер не шелохнулся, не шелохнулась и жена, она все еще стояла на пороге. Тоже в красном платье. Маттеи увидел, как на побелевшем лице Мозера внезапно выступил и ручьями заструился пот. Ему хотелось отвернуться, но он был словно прикован к этому лицу, к этому струящемуся поту; так они и стояли оба, вперив друг в друга глаза.

— Гритли убили,— услышал Маттеи собственный голос; его раздосадовало, что голос звучит безучастно.

— Не может этого быть, не бывают на свете такие изверги,— прошептал Мозер, и рука с топором дрогнула.

— Бывают, господин Мозер,— сказал Маттеи.

Мозер тупо посмотрел на него.

— Я хочу пойти к дочке,— еле слышно выговорил он.

Полицейский комиссар покачал головой.

— Не стоит, господин Мозер. С моей стороны жестоко так говорить. Но послушайте меня; лучше не ходите к вашей Гритли.

Мозер вплотную подошел к комиссару полиции, остановился перед ним лицом к лицу.

— Почему это лучше? — выкрикнул он.

Полицейский комиссар промолчал.

Мозер еще мгновение раскачивал в руке топор, как будто собираясь замахнуться им, потом повернулся и пошел к жене, которая все еще стояла в дверях. Все еще без движения, без единого звука. А Маттеи ждал внизу. Он видел все до мельчайших подробностей и вдруг понял, что до конца жизни не забудет этой сцены.

Мозер обеими руками обхватил жену и весь затрясся от беззвучных рыданий. Он спрятал лицо на ее плече, а она все стояла и смотрела в пустоту.

— Завтра вечером вам покажут вашу Гритли. У нее будет такой вид, словно она уснула,— беспомощно прошептал Маттеи.

Тут вдруг заговорила женщина.

— Кто ее убил? — спросила она таким сухим деловым тоном, что полицейскому комиссару стало страшно.

— Я найду убийцу, фрау Мозер.

Женщина в первый раз, повелительно, с угрозой посмотрела на него.

— Обещаете найти?

— Обещаю, фрау Мозер,— подтвердил Маттеи. Им сейчас руководило одно желание — поскорее уйти отсюда.

— Поклянитесь спасением своей души.

Маттеи замялся.

— Клянусь спасением своей души,— выговорил он наконец. Больше ему ничего не оставалось.

— Ну так ступайте,— приказала женщина.— Помните, вы поклялись спасением своей души.

Маттеи хотел сказать еще что-то утешительное, но не знал, чем тут можно утешить.

— Я очень вам сочувствую,— пробормотал он. Повернулся и медленно пошел назад той же дорогой. Впереди виднелся Мегендорф, а дальше лес. Над ними небо, теперь уже совсем безоблачное. У обочины топтались те же ребятишки, и когда он, едва передвигая ноги, прошел мимо них, они засеменили за ним следом. Вдруг сзади, из того дома, раздался звериный вопль. Комиссар не понял, кто это так рыдает — отец или мать. И лишь прибавил шагу.

■

Не успел Маттеи вернуться в Мегендорф, как сразу же возникли первые трудности. Автобус оперативной группы дожидался полицейского комиссара в деревне. Место преступления и ближайшие окрестности были тщательно обысканы, а затем

огорожены. Трое полицейских в штатском остались в лесу. Они получили задание скрытно следить за прохожими. Может быть, таким путем удастся напасть на след убийцы. Остальному отряду надлежало вернуться в город. Небо полностью очистилось, но после дождя в воздухе ничуть не посвежело. Фён все еще бушевал над лесами и селениями, налетая мощными теплыми порывами. От необычной удушливой жары люди становились злыми, раздражительными, нетерпеливыми. Хотя до вечера было еще далеко, на улицах горели фонари.

Крестьяне сбежались толпой. Они увидели фон Гунтена. В их глазах убийцей был именно он — разносчики всегда подозрительны. Мегендорфцы думали, что он уже арестован, и окружили автобус оперативной группы. Разносчик не шевелился, скорчившись от страха, сидел он между прямыми, как палки, полицейскими. Крестьяне подступали все ближе, пытались заглянуть внутрь. Полицейские не знали, что делать. Рядом в служебном лимузине находился прокурор, его тоже не пропускали. В окружение попала и машина представителя судебной медицины, прибывшего из Цюриха, и белый с красным крестом санитарный автомобиль, куда положили маленький трупик. Мужчины напирали молча, но с явной угрозой; женщины жались к домам и тоже молчали. Дети громоздились на закраине деревенского колодца. Ни у кого из крестьян не было определенных намерений, их согнала сюда глухая злоба. Жажда мести и справедливости. Маттеи попытался пробраться к оперативной группе, но это оказалось невозможным. Тогда он решил обратиться к председателю общины и стал расспрашивать, где его найти. Вместо ответа послышались приглушенные угрозы. Маттеи подумал и пошел в трактир. Он не ошибся — председатель сидел у «Оленя». Это был приземистый, оплывший нездоровым жиром толстяк. Он пил вальтеллинское стакан за стаканом и в низенькое окошко наблюдал за происходящим.

— Я ничего не могу поделать, комиссар,— заявил он.— Видите, какой своевольный народ. Не верят в расторопность полиции. Сами желают творить правосудие. А какая была хорошая девочка Гритли! Все мы ее любили,— со вздохом добавил он.

На глазах у него навернулись слезы.

— Разносчик невиновен,— сказал Маттеи.

— Тогда незачем было его арестовывать.

— Он и не арестован. Мы его взяли как свидетеля.

Председатель общины хмуро оглядел Маттеи.

— Вы только рады отвертеться. А мы что знаем, то знаем,— произнес он.

— Вам, как председателю общины, прежде всего надлежит обеспечить нам свободный выезд.

Не ответив ни слова, тот осушил еще стакан разливного красного.

— Что вы молчите? — раздраженно спросил Маттеи.

Председатель гнул свою линию.

— Разносчику не сдобровать,— пробурчал он.

Комиссар заговорил без обиняков:

— Так легко это дело не пройдет. И отвечать будете вы, как председатель Мегендорфской общины.

— А вы кого отстаиваете? Убийцу из похоти?

— Прежде всего мы отстаиваем законность, а виновен он или нет — это вопрос иной.

Председатель сердито шагал взад-вперед по низенькому помещению кабачка. Поскольку за стойкой никого не оказалось, он сам налил себе вина. И выпил так торопливо, что темные струйки побежали у него по рубашке. Толпа на площади все еще вела себя спокойно. Лишь когда шофер попытался запустить мотор полицейской машины, ряды сомкнулись теснее.

Теперь в кабачок пришел и прокурор. Он с трудом протиснулся сквозь толпу мегендорфцев. Вид у него был довольно помятый. Председатель общины струсил. Появление прокурора не сулило ничего приятного. Для него, как и для любого нормального человека, люди этой профессии были чем-то вроде пугал.

— Господин председатель,— начал прокурор,— ваши мегендорфцы, по-видимому, намерены прибегнуть к суду Линча. Я вижу только один выход — вызвать подкрепление. Это всех вас сразу образумит.

— Давайте попробуем еще раз поговорить с людьми,— предложил Маттеи.

Ткнув председателя указательным пальцем в грудь, прокурор пригрозил:

— Если вы немедленно не заставите их выслушать нас, тогда пеняйте на себя.

А церковные колокола уже били набат. К мегендорфцам со всей округи сбегались на подмогу. Явилась даже пожарная команда и заняла позицию против полицейских. Из толпы раздавались злобные выкрики: «Пакостник! Гад!»

Полицейские приготовились встретить нападение толпы, которая волновалась все сильнее, но сами были растеряны не меньше, чем мегендорфцы. Они привыкли наводить порядок, имея дело с заурядными происшествиями, здесь же они столкнулись с чем-то необычным. Но крестьяне разом утихли и замерли. Из дверей «Оленя», к которым вела каменная лестница с железными перилами, вышли прокурор с председателем общины и комиссаром полиции.

— Мегендорфцы,— воззвал председатель,— прошу вас, выслушайте господина прокурора Буркхарда.

Толпа никак не отозвалась на это заявление. Местные жители, крестьяне и рабочие хранили прежнее грозное молчание. Небо над ними тем временем подернулось отблесками заката; уличные фонари раскачивались вокруг площади, точно бледные диски луны. Мегендорфцы твердо решили заполучить в свои руки того, кто, по их убеждению, был убийцей. Полицейские машины, как громадные темные звери, возвышались над людским приливом, всё вновь и вновь пытались высвободиться, но, моторы, едва взревев, сейчас же глохли. Все ни к чему. Страшное событие этого дня нависло надо всем гнетущей безысходностью — над темными деревенскими кровлями, над площадью, над скопищем людей, как будто убийство отравило своим ядом весь мир.

— Граждане Мегендорфа,— тихо и нерешительно начал прокурор, но каждое его слово было слышно на всей площади.— Мы потрясены гнусным преступлением. Гритли Мозер убили... Мы не знаем, кто совершил это злодеяние...

Дальше прокурору не дали говорить.

— Выдайте нам его!

Замелькали поднятые кулаки, раздался пронзительный свист.

Маттеи как прикованный смотрел на толпу.

— Скорей звоните по телефону, Маттеи,— приказал прокурор.— Вызывайте подкрепление.

— Убийца — фон Гунтен! — закричал тощий долговязый крестьянин с обветренным, давно не бритым лицом.— Я сам его видел! Никто больше в ложбинку не ходил.

Это был тот крестьянин, который работал в поле.

Маттеи выступил вперед.

— Мегендорфцы,— крикнул он,— я — комиссар полиции Маттеи. Мы согласны выдать вам разносчика!

От неожиданности все замерли.

— Вы спятили, что ли? — не помня себя от волнения, прошипел прокурор.

— В нашей стране издавна повелось так, что приговор преступникам выносит суд. Он осуждает их, когда они виновны, и оправдывает, когда они невиновны,— продолжал Маттеи.— Вы же намерены подменить собою суд. Не станем доискиваться, есть ли у вас такое право, поскольку вы сами присвоили себе это право.

Маттеи говорил просто и внятно. Крестьяне и рабочие слушали внимательно, боясь упустить хотя бы слово. Маттеи уважительно обращался к ним, и они уважительно слушали его.

— Одного только я обязан потребовать от вас, как от всякого суда: справедливости. Мы, понятно, лишь в том случае можем выдать вам разносчика, если будем уверены, что вы хотите справедливости.

— Конечно, хотим! — выкрикнул кто-то.

— Чтобы по праву считать себя справедливым судом, ваш суд обязан выполнить одно условие. Вот оно: ни в коем случае не допустить несправедливости. Это условие вы обязаны соблюсти.

— Согласны! — крикнул рабочий с кирпичного завода.

— Значит, вы должны тщательно проверить, справедливо или несправедливо обвинять фон Гунтена в убийстве. Откуда взялось такое подозрение?

— Он уже раз сидел,— отозвался какой-то крестьянин.

— Конечно, это увеличивает подозрение в его виновности,— признал Маттеи.— Однако еще не доказывает, что он и есть убийца.

— Я его видел в ложбинке,— снова крикнул крестьянин с обветренным, обросшим щетиной лицом.

— Поднимитесь к нам сюда,— предложил полицейский комиссар.

Тот колебался.

— Иди, иди, Гейри. Чего трусишь? — крикнули ему из толпы.

Крестьянин все еще нерешительно поднялся на крыльцо. Председатель общины и прокурор отступили в глубь сеней, так что Маттеи оказался на крыльце один на один с крестьянином.

— Чего вам от меня надо? — спросил тот.— Меня звать Бенц Гейри.

Мегендорфцы во все глаза смотрели на них. Полицейские спрятали резиновые дубинки. Они тоже затаив дыхание следили за происходящим. Деревенские ребята взобрались на лестницу, поставленную почти стоймя на пожарной машине.

— Господин Бенц, вы видели разносчика фон Гунтена в ложбинке,— начал полицейский комиссар.— Он один там был?

— Один.

— А вы чем занимались, господин Бенц?

— Мы всей семьей сажали картофель.

— И с какого часа?

— С десяти. Мы и обедали в поле всей семьей,— пояснил крестьянин.

— И за все время никого не видели, кроме разносчика?

— Никого, присягнуть могу — никого,— подтвердил крестьянин.

— Что ты там плетешь, Бенц? — крикнул из толпы рабочий.— Я в два часа проходил мимо твоего картофельного поля.

Еще двое рабочих подали голос. И они в два часа прокатили по ложбинке на велосипедах.

— Да послушай, ты, олух, я же тоже проезжал на возу через ложбинку! — закричал какой-то крестьянин.— А ты, сквалыга, и сам работаешь, как проклятый, и семью мытаришь до седьмого пота. Мимо тебя сто голых баб пройдет, так ты все равно головы не подымешь.

Смех в толпе.

— Итак, не один только разносчик побывал в ложбинке,— уточнил Маттеи.— Но давайте разбираться дальше. Параллельно лесу идет шоссе в город. Кто-нибудь проходил по нему?

— Гербер Фриц проезжал,— отозвался кто-то.

— Верно, проезжал,— согласился толстый увалень, сидевший на пожарном насосе.— На возу.

— В котором часу?

— В два.

— От этого шоссе отходит лесная дорога к месту происшествия,— уточнил полицейский комиссар,— вы кого-нибудь там видели, господин Гербер?

— Нет,— буркнул крестьянин.

— А не заметили, не стоял ли там автомобиль?

Крестьянин растерялся.

— Как будто стоял,— нерешительно промямлил он.

— Вы в этом убеждены?

— Да, что-то там виднелось.

— Может, красный спортивный «мерседес»?

— Очень может быть.

— Или серый «фольксваген»?

— Тоже может быть.

— Ваши ответы в высшей степени неубедительны,— заметил Маттеи.

— Правду сказать, я малость соснул на возу,— признался крестьянин.— Такая жарища всякого сморит.

— Тут я вынужден поставить вам на вид, что на проезжих дорогах спать не полагается,— внушительно заметил Маттеи.

— Лошади сами справляются,— возразил крестьянин.

Все засмеялись.

— Теперь вы наглядно убедились, какие трудности встанут перед вами как перед судьями,— подчеркнул Маттеи.— Преступление не было совершено в безлюдном месте. Всего на расстоянии каких-нибудь пятидесяти метров в поле работала целая семья. Будь члены этой семьи повнимательнее, несчастья могло бы не произойти. Но им даже в голову не приходила возможность такого преступления. Ни девочки, ни других прохожих они не видели. Разносчика они заприметили по чистой случайности. Возьмем теперь господина Гербера. Он дремал у себя на возу и поэтому не может дать ни одного мало-мальски точного показания. Вот как обстоит дело. Где же тогда улики против разносчика? Задайте себе этот вопрос. И, кстати, не забудьте одного обстоятельства, которое заведомо говорит в его пользу,— ведь полицию-то уведомил он; не знаю, как вы намерены действовать в роли судей, скажу вам только, как бы действовали у нас в полиции.

Полицейский комиссар сделал паузу. Он опять один стоял перед мегендорфцами, Бенц смущенно нырнул в толпу.

— Каждого подозрительного человека, невзирая на его положение, мы подвергли бы тщательнейшей проверке, прояснили бы малейшую улику. Мало того — в случае надобности мы включили бы в дело полицию других стран. Видите, какой у нас под рукой мощный аппарат для того, чтобы доискаться истины. В вашем же распоряжении нет почти ничего. Вот и решайте, как поступить.

Молчание. Мегендорфцы были озадачены.

— А вы на самом деле выдадите нам разносчика? — спросил тот же рабочий.

— Даю честное слово. Если вы все еще настаиваете на его выдаче.

Мегендорфцы колебались. Слова комиссара полиции явно произвели впечатление. Прокурор нервничал. Для него исход был неясен. Но вот и у него отлегло от сердца — какой-то крестьянин крикнул: «Берите его с собой». Мегендорфцы безмолвно расступились. Вздохнув с облегчением, прокурор закурил свою «Бриссаго».

— Вы действовали рискованно, Маттеи,— заметил он.— Представьте себе, что вам пришлось бы сдержать слово.

— Я знал, что до этого не дойдет,— небрежно бросил в ответ комиссар полиции.

— Надо надеяться, вы никогда не даете опрометчивых обещаний, которые потом приходится исполнять,— сказал прокурор, вторично поднес к сигаре зажженную спичку, попрощался с председателем общины и поспешил к машине, благо доступ к ней был открыт.

■

Маттеи поехал в город не с прокурором. Он пошел в автобус к разносчику. Полицейские потеснились. В машине было жарко — опустить стекла все еще не реша-

лись. Хотя мегендорфцы и дали дорогу, они по-прежнему толпились на площади. Фон Гунтен, съежившись, сидел за спиной шофера, Маттеи устроился рядом.

— Клянусь вам, я не виноват,— прошептал фон Гунтен.

— Конечно,— подтвердил Маттеи.

— Никто мне не верит,— шептал фон Гунтен.— Полицейские тоже не верят.

Маттеи покачал головой.

— Это вам только кажется.

Но разносчик не унимался:

— Вы тоже не верите мне, господин доктор.

Машина тронулась. Полицейские сидели и молчали. За окнами было уже совсем темно. Зажженные фонари бросали снаружи золотые отблески на застывшие лица. Маттеи чувствовал у каждого недоверие к разносчику, все нарастающее подозрение. Ему стало жаль беднягу.

— Я вам верю, фон Гунтен,— сказал он и вдруг понял, что и сам убежден не до конца.— Я знаю, вы невиновны.

Навстречу побежали первые городские дома.

— Вас еще поведут на допрос к начальнику, вы наш главный свидетель, фон Гунтен,— предупредил полицейский комиссар.

— Понимаю, и вы тоже мне не верите,— опять прошептал разносчик.

— Ерунда.

Разносчик стоял на своем.

— Я это знаю,— тихо, чуть слышно твердил он, уставясь на красные и зеленые световые рекламы, которые, подобно причудливым созвездиям, сверкали теперь за окнами плавно скользившей машины.

■

Вот те события, о которых мне было доложено на Казарменной улице после того, как я восьмичасовым скорым вернулся из Берна. Это было третье убийство такого рода. За два года до того — в кантоне Швиц, а за пять лет — в кантоне Санкт-Галлен тоже были зарезаны бритвой малолетние девочки. В том и в другом случае убийца как в воду канул. Я велел привести разносчика. Это был сорокавосьмилетний обрюзгший человечек, обычно, должно быть, наглый и болтливый, а сейчас насмерть перепуганный. В показаниях он сперва был четок. По его словам, он лежал на опушке, разувшись и поставив корзину с товарами на траву. У него было намерение завернуть в Мегендорф, сбыть там свой товар: щетки, помочи, лезвия, шнурки и прочие предметы; однако дорогой он узнал от почтальона, что Вегмюллер в отпуске и его заменяет Ризен. Это его смутило, и он пока что решил поваляться на траве; ему не впервой было сталкиваться с молодыми полицейскими, у этих молокососов рвение не по разуму. Так он лежал себе и дремал. Ложбинка расположена в лесной тени, мимо пролегает шоссе, неподалеку в поле трудилась крестьянская семья, тут же скакала собака. Обед у «Медведя» в Ферене был чересчур обильный — бернские колбаски и прочее; он вообще любитель вкусно поесть, да и средства позволяют, не смотрите, что он с товаром колесит по стране небритый, неухоженный, обтрепанный — наружность обманчива, торговлей вразнос можно неплохо заработать и даже прикопить кое-что. Обед он сдобрил пивом, а, уже лежа на травке, закусил двумя плитками линдтовского шоколада. Надвигающаяся буря и порывы ветра совсем его убаюкали, но очень скоро что-то разбудило его, как будто чей-то крик, пронзительный детский крик, и когда он, еще не совсем очнувшись, бросил взгляд на долину, ему показалось, что и крестьяне в поле с удивлением насторожились, но не прошло и минуты, как они уже опять гнули спину, а собака скакала кругом. Верно, птица какая-нибудь, мелькнуло у него в голове, сова, что ли, кто их там разберет. Такое объяснение вполне его успокоило. Он опять задремал, но вдруг его поразило внезапное затишье в природе — тут он заметил, как потемнело небо, мигом обулся, повесил за спину корзину, при этом снова вспомнил про таинственный птичий крик, и ему стало как-то тревожно, как-то не по себе. Вот тогда он и решил лучше не связываться с Ризеном и махнуть рукой на Мегендорф, от него и всегда-то прибыль была плохая. Он надумал прямо вернуться в город, а чтобы сократить путь к железнодорожной станции, пошел лесной просекой и здесь наткнулся на труп убитой девочки. После чего сразу же опрометью побежал в Мегендорф, к «Оленю», и оттуда известил Маттеи. Крестьянам он не сказал ни слова, из страха навлечь подозрение на себя.

Таковы были его показания. Я велел его увести, но пока что не отпускать. Правда, прокурор не отдал приказа о предварительном заключении, однако у нас не было времени разводить церемонию. Его рассказ показался мне правдивым, но требовал дополнительной проверки, ведь фон Гунтен как-никак уже имел судимость. Я был в прегнусном настроении. Меня не оставляло неприятное чувство, что в этом деле с самого начала допущена фундаментальная ошибка, я не мог бы сказать — какая, но просто чуял это профессиональным нюхом, а потому предпочел удалиться в свою «Boutique» *, как я прозвал прокуренную комнатушку рядом с моим служебным каби-

* Мастерская ремесленника позади лавки *(франц.)*.

нетом, велел принести из ресторана близ Сильского моста бутылку «шатонеф-дю-пап» и выпил подряд несколько рюмок. Не скрою, что в этой комнатушке всегда царил вопиющий беспорядок — книги и папки валялись вперемешку; правда, беспорядок был чисто принципиальный. Я считаю, что в нашем строго упорядоченном государстве обязанность каждого — создавать некие островки беспорядка, хотя бы и потайные. Затем я приказал принести снимки. На них было страшно, мучительно смотреть. После этого я принялся изучать карту местности, где произошло убийство. Сам дьявол не мог бы лучше подгадать. Явился ли убийца из Мегендорфа, из окрестных деревень или из города, пришел ли он пешком или приехал поездом — логически это было немыслимо установить. Любой вариант был возможен.

Пришел Маттеи.

— Мне искренне жаль, что вам напоследок пришлось повозиться с этим печальным делом,— сказал я.

— Такова наша профессия, майор.

— Когда посмотришь на снимки, хочется послать всю эту историю к черту,— заметил я и сунул снимки обратно в конверт.

Я злился и с трудом скрывал свою досаду. Маттеи был моим лучшим комиссаром — видите, я никак не отвыкну от этого наименования, оно мне больше по душе. Его отъезд в такую минуту никак меня не устраивал.

Он словно подслушал мои мысли.

— Мне кажется, лучше всего передать это дело Хенци,— заметил он.

Я колебался. Не будь это убийством на сексуальной почве, я бы сразу принял его совет.

Любое другое преступление для нас куда легче. Там достаточно выяснить побудительные причины — безденежье, ревность,— и круг подозреваемых сам собой ограничится. Для убийства на сексуальной почве этот метод отпадает. Допустим, отправился такой индивид в служебную поездку, заметил девочку или мальчика, вышел из машины — никто не увидел, не проследил,— а вечером он уже сидит у себя дома, то ли в Лозанне, то ли в Базеле, то ли еще где-нибудь, мы же топчемся на месте и не знаем, за что ухватиться. Я ценил Хенци, считал его толковым работником, но опыта ему, на мой взгляд, не хватало.

Маттеи не разделял моих сомнений.

— Хенци целых три года проработал под моим руководством,— доказывал он,— я сам ознакомил его со спецификой ремесла и лучшего заместителя не могу себе представить. Он будет справляться с заданиями ничуть не хуже, чем я. Впрочем, завтра я еще буду здесь,— добавил Маттеи.

Я вызвал Хенци и приказал ему вместе с вахмистром Трейлером непосредственно заниматься расследованием убийства. Он явно обрадовался — это было его первое самостоятельное дело.

— Поблагодарите Маттеи,— проворчал я и спросил, каково настроение рядового состава. Мы форменным образом плавали в этом вопросе, ни за что не могли ухватиться, ничего до сих пор не добились, и было крайне важно, чтобы подчиненные не почувствовали нашей неуверенности.

— Они убеждены, что мы уже поймали убийцу,— заявил Хенци.

— Разносчика?

— Их подозрения не лишены оснований. В конце концов за фон Гунтеном уже числится преступление против нравственности.

— С четырнадцатилетней,— вставил Маттеи,— это в корне меняет дело.

— Хорошо бы подвергнуть его перекрестному допросу,—предложил Хенци.

— Успеется,— возразил я.— Не думаю, чтобы он имел какое-то отношение к убийству. Просто он внушает антипатию, а отсюда недалеко до подозрения. Но это, господа, не криминалистический, а чисто субъективный довод, и мы не можем безоговорочно принять его.

С этим я отпустил обоих, причем настроение у меня ни на йоту не улучшилось.

■

Мы включили в работу весь наличный состав. В ту же ночь и на следующий день опросили все гаражи, не обнаружены ли в какой-нибудь машине следы крови; то же самое было проделано с прачечными. Затем мы установили алиби всех лиц, которые когда-либо привлекались к ответственности по определенным параграфам. Наши сотрудники побывали с собаками и даже с миноискателем в том лесу под Мегендорфом, где произошло убийство. Они обшарили все мелколесье в поисках следов, а главное — в надежде найти орудие убийства. Они обследовали участок за участком, спускались в глубь ущелья, шарили в ручье. Найденные предметы были собраны, лес прочесан до самого Мегендорфа.

Против обыкновения я сам поехал в Мегендорф, чтобы принять участие в расследовании. Маттеи тоже явно нервничал. Стоял приятнейший весенний день, нежаркий, безветренный, но наше мрачное настроение не рассеивалось. Хенци допрашивал в кабачке «Олень» крестьян и заводских рабочих, а мы направились в школу.

Чтобы сократить путь, мы прошли прямо по лужайке с плодовыми деревьями. Некоторые были уже в полном цвету. Из школы доносилось пение: «Возьми мою ты руку и поведи меня». Гимнастическая площадка перед школой пустовала. Я постучался в дверь того класса, откуда раздавалось пение, и мы вошли.

Хорал пели девочки и мальчики, дети от шести до восьми лет. Три младших класса. Учительница перестала дирижировать, опустила руки и встретила нас настороженным взглядом.

Дети смолкли.

— Фрейлейн Крум?

— Чем могу служить?

— Гритли Мозер училась у вас?

— Что вам угодно от меня?

Фрейлейн Крум была сухопарая особа лет сорока с большими, полными затаенной горечи глазами.

Я представился и обратился к детям:

— День добрый, детки!

Дети с любопытством уставились на меня.

— Добрый день! — ответили они.

— Красивую песню вы только что пели.

— Мы разучиваем хорал к погребению Гритли,— пояснила учительница.

В ящике с песком был макет острова Робинзона.

По стенам висели детские рисунки.

— Что за ребенок была Гритли? — нерешительно спросил я.

— Мы все ее очень любили,— вместо ответа сказала учительница.

— Умненькая?

— Большая фантазерка.

— Можно мне задать детям несколько вопросов? — все так же нерешительно спросил я.

— Пожалуйста.

Я вышел на середину класса. У большей части девочек были еще косички и пестрые фартучки.

— Вы, верно, слышали, какая беда случилась с Гритли Мозер,— начал я.— Я из полиции, я там начальник, все равно что командир у солдат, и моя обязанность — найти того, кто убил Гритли. Я говорю с вами не как с детьми, а как со взрослыми. Тот, кого мы ищем, больной человек. Так поступают только больные люди. Болезнь в том и состоит, что они заманивают детей в лес или в погреб, ну, словом, куда-нибудь, где можно спрятаться, и там их мучают. Это случается довольно часто. У нас в кантоне за год было двести таких случаев. Иногда доходит до того, что эти люди замучивают ребенка до смерти. Так оно и было с Гритли. Конечно, таких людей нужно запирать на замок. На свободе они могут причинить много зла. Вы спросите, почему мы не запираем их, чтобы не случилось такого несчастья, как с Гритли. Да потому, что их нельзя распознать. Болезнь у них запрятана внутри, снаружи ее не видно.

Дети слушали затаив дыхание.

— Вы должны мне помочь,— продолжал я.— Нам непременно нужно найти этого человека, иначе он опять убьет какую-нибудь девочку.

Я подошел еще ближе к ребятам.

— Гритли не рассказывала, что кто-то чужой заговаривал с нею?

Дети молчали.

— За последнее время вы ничего не заметили странного в Гритли?

Нет, ничего такого они не заметили.

— Не видели ли вы последнее время у Гритли каких-нибудь вещей, которых раньше у нее не было?

Дети не отвечали.

— Кто был лучшей подругой Гритли?

— Я,— прошептала крохотная девчушка с каштановыми волосами и карими глазами.

— А как тебя зовут? — спросил я.

— Урсула Фельман.

— Значит, вы с Гритли были подружками?

— Мы сидели на одной парте.

Девочка говорила так тихо, что мне пришлось нагнуться к ней.

— Ты тоже ничего особенного не замечала?

— Нет.

— И никто не встречался Гритли?

— Да нет, встречался,— ответила девочка.

— Кто же?

— Только не человек.

Ее ответ озадачил меня.

— Что это значит, Урсула?

— Ей встречался великан,— еле слышно сказала девочка.

— Великан?

— Ну да,— подтвердила девочка.
— Ты хочешь сказать, она встретила очень высокого человека?
— Нет, мой папа тоже высокий, только он не великан.
— Какого же роста был тот человек?
— Как гора,— ответила девочка.— И весь черный.
— А он, великан этот, что-нибудь дарил Гритли? — спросил я.
— Да,— ответила девочка.
— Что же он дарил?
— Ежиков.
— Ежиков? Каких таких ежиков, Урсула? — спросил я, окончательно сбитый с толку.
— Весь великан был набит ежиками,— объяснила девочка.
— Да это же глупости, Урсула,— попытался я возразить,— у великанов не бывает ежиков!
— Этот великан был ежиковый.
Девочка твердо стояла на своем. Я возвратился к кафедое учительницы.
— Вы правы, фрейлейн Крум,— сказал я.— По-видимому, Гритли в самом деле была большой фантазеркой.
— У этого ребенка была поэтическая душа,— ответила учительница, устремив печальные глаза куда-то вдаль.— Простите, нам нужно еще прорепетировать хорал к завтрашнему погребению. Дети поют недостаточнс стройно.
Она задала тон.
— «Возьми мою ты руку и поведи меня»,— снова запели дети.

■

Допрос мегендорфцев в кабачке «Олень», где мы сменили Хенци, тоже не дал ничего нового, и под вечер мы возвращались в Цюрих ни с чем. В полном молчании. Я слишком много выкурил сигар и выпил местного вина. А вы ведь знаете свойства этих молодых красных вин! Маттеи, насупившись, сидел рядом со мной в глубине машины, и, только когда мы уже спускались к Рёмерхофу, он заговорил.
— Не думаю, что убийца — житель Мегендорфа. Скорее всего, преступление в кантоне Санкт-Галлен и в кантоне Швиц совершены им же. Картина убийства совпадает в точности. Не исключено, что его местожительство — Цюрих.
— Возможно,— согласился я.
— Он либо автомобилист-любитель, либо коммивояжер. Ведь видел же крестьянин Гербер машину, которая стояла в лесу.
— Гербера я сам допрашивал сегодня. Он признался, что спал очень крепко и ничего толком не видел,— заявил я.
Мы снова замолчали.
— Мне очень неприятно покидать вас в самый разгар следствия,— заговорил он неуверенным тоном.— Но я никак не могу нарушить контракт с иорданским правительством.
— Вы летите завтра? — спросил я.
— В три часа дня, через Афины,— ответил он.
— Я вам завидую, Маттеи,— сказал я совершенно искренне.— Я бы тоже предпочел быть начальником полиции у арабов, а не у нас в Цюрихе.
Я высадил его у гостиницы «Урбан», где он проживал с незапамятных времен, а сам отправился в «Кроненхалле», где пообедал под картиной Миро. Это мое обычное место. Я всегда сижу там, и обед мне подвозят на столике.

■

Около десяти вечера я еще раз заглянул на Казарменную улицу и, проходя мимо бывшего кабинета Маттеи, наткнулся в коридоре на Хенци. Он уехал из Мегендорфа еще днем, и мне следовало бы выразить по этому поводу недоумение, но раз уж я поручил ему дело об убийстве, вмешиваться было не в моих правилах. Хенци — уроженец Берна — был честолюбив, но популярен среди подчиненных. Женившись на девице из семейства Хоттингеров, он перемахнул из социалистической партии к либералам и успешно делал карьеру; кстати, теперь он принадлежит к свободомыслящим.
— Никак не сознается, мерзавец,— сказал он.
— Кто это? — спросил я и остановился.— Кто не сознается?
— Фон Гунтен.
Для меня это было неожиданностью.
— Вот как — конвейер?
— Полдня бьемся. Если понадобится, просидим всю ночь. Сейчас его обрабатывает Трейлер,— пояснил Хенци.— Я вышел на минутку глотнуть свежего воздуха.
— Любопытно взглянуть, что у вас там творится,— заметил я и вошел в бывший кабинет Маттеи.

■

Разносчик сидел на жестком канцелярском табурете, а Трейлер придвинул себе стул к письменному столу, долго служившему Маттеи, и расселся, закинув ногу на ногу, подперев голову рукой. Он курил сигарету. Протокол вел Феллер. Мы с Хенци остановились на пороге. Разносчик сидел к нам спиной и потому не заметил нас.

— Не убивал я, господин вахмистр,— прошептал разносчик.

— Я этого не утверждаю, я только говорю, что это возможно,— возразил Трейлер.— Прав я или нет, будет видно потом. Начнем по порядку. Значит, ты удобно расположился на опушке?

— Так точно, господин вахмистр.

— И заснул?

— Совершенно верно, господин вахмистр.

— Как же так? Ты ведь собирался в Мегендорф.

— Я очень устал, господин вахмистр.

— А зачем ты выспрашивал у почтальона насчет полицейского в Мегендорфе?

— Хотел знать, что к чему, господин вахмистр.

— А для чего?

— У меня просрочен патент. Так я хотел знать, как там обстоит дело с полицией.

— Как же там обстояло дело?

— Я выяснил, что в мегендорфском участке сидит заместитель. И побоялся туда идти.

— Я тоже заместитель,— сухо заметил полицейский.— Значит, меня ты тоже боишься?

— Так точно, господин вахмистр.

— Только из-за этого ты и решил не ходить в деревню?

— Так точно, господин вахмистр.

— Неплохая версия,— похвалил Трейлер,— может, найдется еще другая, получше, а самое главное — правдивее.

— Я сказал правду, господин вахмистр.

— А не хотел ли ты выспросить у почтальона, где находится полицейский — далеко или поблизости?

Разносчик недоверчиво посмотрел на Трейлера.

— Не понимаю, господин вахмистр.

— Ну как же,— благодушно пояснил Трейлер,— тебе нужно было узнать наверняка, что в Малиновкиной ложбинке нет полиции. Ты ведь поджидал девочку, так я полагаю.

Разносчик с ужасом уставился на Трейлера.

— Да я никогда ее в глаза не видел, господин вахмистр,— в отчаянии закричал он,— а хоть бы и видел, все равно не мог я это сделать. Я же был не один в ложбинке. На поле работали крестьяне. Верьте мне, я не убийца!

— Я тебе верю,— умиротворяюще сказал Трейлер.— Но пойми ты, мне же надо проверить твой рассказ. Ты говорил, что, отдохнувши, собрался вернуться в Цюрих, а сам пошел в лес?

— Буря надвигалась, и я решил сократить путь, господин вахмистр,— объяснил разносчик.

— И при этом натолкнулся на труп девочки?

— Да.

— И не притронулся к нему?

— Нет, господин вахмистр.

Трейлер помолчал. Я не видел лица разносчика, но чувствовал его страх. Мне было жаль его. Однако я и сам начал верить в его виновность, может быть, потому, что мне хотелось найти, наконец, виновного.

— Мы забрали у тебя всю одежду и дали взамен другую. Ты соображаешь, фон Гунтен, для чего мы это сделали? — спросил Трейлер.

— Понятия не имею, господин вахмистр.

— Для бензидиновой пробы. А ты знаешь, что такое бензидиновая проба?

— Нет, господин вахмистр,— растерянно пролепетал разносчик.

— Это химическая проба для обнаружения следов крови,— объяснил Трейлер со зловещей безмятежностью.— Мы обнаружили на твоей куртке следы крови. Это кровь убитой девочки.

— Я... я споткнулся о труп, господин вахмистр,— простонал фон Гунтен,— это было ужасно!

Он закрыл лицо руками.

— Ты умолчал об этом, конечно, только от страха?

— Совершенно верно, господин вахмистр.

— И хочешь, чтобы мы и тут тебе поверили?

— Я не убийца, верьте мне, господин вахмистр,— в отчаянии молил разносчик.— Позовите доктора Маттеи, он знает, что я говорю правду. Прошу вас, позовите его.

— Доктор Маттеи больше не будет заниматься этим делом — он завтра улетает в Иорданию.

— В Иорданию? Я не знал об этом,— прошептал фон Гунтен.

Он умолк и уставился в пол. В комнате была мертвая тишина, только тикали часы и на улице изредка проезжали машины.

Тут вступил Хенци. Прежде всего он затворил окно, затем уселся за маттеевский стол, весь благоволение и предупредительность, только настольную лампу подвинул так, чтобы она освещала разносчика.

— Не волнуйтесь, господин фон Гунтен,— до приторности вежливо начал лейтенант,— мы отнюдь не собираемся вас мучить, основное для нас — добиться правды. Поэтому мы вынуждены прибегнуть к вашему содействию. Вы — главный свидетель, и ваш долг помочь нам.

— Конечно, господин доктор,— ответил разносчик, явно приободрившись.

Хенци набил себе трубку.

— Что вы курите, фон Гунтен?

— Сигареты, господин доктор.

— Трейлер, дайте ему сигарету.

Разносчик отрицательно помотал головой. Он смотрел в землю. Его слепил яркий свет.

— Вам мешает лампа? — участливо осведомился Хенци.

— Она мне светит прямо в глаза.

Хенци поправил абажур.

— Так лучше?

— Лучше,— прошептал фон Гунтен. В его голосе прозвучала благодарная нотка.

— Скажите-ка, фон Гунтен, чем вы в основном торгуете? Пыльными тряпками?

— Да, между прочим и пыльными тряпками,— опасливо ответил разносчик.

Он не понимал, к чему клонится этот вопрос.

— Еще чем?

— Шнурками для ботинок, господин доктор. Зубными щетками. Зубной пастой. Мылом. Кремом для бритья.

— Лезвиями?

— Лезвиями тоже, господин доктор.

— Какой фирмы?

— «Жиллет».

— И больше ничем, фон Гунтен?

— Как будто бы нет, господин доктор.

— Хорошо. Однако, мне кажется, вы кое-что забыли,— заметил Хенци и опять занялся трубкой.— Не тянет, да и только! — И продолжал безразличным тоном: — Не смущайтесь, фон Гунтен, можете смело перечислить все свои вещички. Мы и так разворошили вашу корзину до самого дна.

Разносчик молчал.

— Ну, что же вы?

— Кухонными ножами, господин доктор,— покорно прошептал разносчик. Капли пота блестели у него на шее.

Хенци безмятежно попыхивал трубкой — воплощенная приветливость и доброжелательность.

— Дальше, фон Гунтен, чем еще, кроме кухонных ножей?

— Бритвами.

— Почему вы боялись упомянуть про них?

Разносчик молчал. Хенци как бы машинально протянул руку к абажуру. Но, увидев, что фон Гунтен вздрогнул, отвел ее. Вахмистр не спускал с разносчика глаз. Он курил сигарету за сигаретой. Хенци по-прежнему пыхтел трубкой. В комнате решительно нечем было дышать. Мне очень хотелось открыть окно. Но запертые окна входили в систему допроса.

— Девочка зарезана бритвой,— мягко, как бы вскользь заметил Хенци.

Молчание. Разносчик сидел на табурете, весь сникнув, как неживой.

— Поговорим по-мужски, милейший фон Гунтен,— откидываясь на спинку кресла, начал Хенци.— К чему ходить вокруг да около? Я знаю, что убийство совершено вами. Но знаю также, что вы потрясены этим не меньше меня, не меньше всех нас. Что-то на вас накатило, вы не помнили себя, точно зверь набросились на девочку и убили ее. Вас, помимо вашей воли, толкала какая-то неудержимая сила. Когда же вы очнулись, вам стало до смерти страшно. Вы бросились в Мегендорф, чтобы заявить на себя. Но в последнюю минуту у вас не хватило духу на такое признание. Соберитесь же с духом сейчас, фон Гунтен. А мы вам в этом поможем.

Хенци замолчал. Разносчик покачнулся на своем табурете — казалось, он вот-вот рухнет наземь.

— Говорю вам, как друг, фон Гунтен,— убеждал Хенци,— не упускайте этой возможности.

— Я устал,— простонал разносчик.

— Все мы устали,— подхватил Хенци.— Вахмистр Трейлер, позаботьтесь, чтобы

нам принесли кофе, а немного попозже пива. Разумеется, и для нашего друга фон Гунтена, пусть знает гостеприимство нашей кантональной полиции.

— Я не виновен, комиссар, верьте мне, невиновен,— хрипло прошептал разносчик.

Позвонил телефон; Хенци снял трубку, назвался, выслушал внимательно, положил трубку на рычаг, ухмыльнулся.

— Скажите-ка, фон Гунтен, что вы ели вчера на обед? — благодушно спросил он.

— Бернские колбаски.

— Так, а еще что?

— На десерт — сыр.

— Какой — эммментальский? Грюйер?

— Нет, тильзитский и горгонзолу,— ответил фон Гунтен и отер пот, заливавший ему глаза.

— Неплохо едят торговцы вразнос,— заметил Хенци.— А больше вы ничего не ели?

— Ничего.

— Советую вам как следует подумать,— настаивал Хенци.

— Шоколад,— вспомнил фон Гунтен.

— Вот видите, вспомнили,— поощрительно кивнул Хенци.— А где вы ели шоколад?

— На опушке,— ответил разносчик и посмотрел на Хенци недоверчивым и усталым взглядом.

Лейтенант погасил настольную лампу. Теперь только верхний свет слабо пробивался сквозь облака табачного дыма.

— Я получил сейчас сведения из института судебной медицины, фон Гунтен,— соболезнующим тоном заявил он.— Вскрытие обнаружило в желудке девочки шоколад.

Теперь уже и я не сомневался в виновности разносчика. Его признание было только вопросом времени. Я кивнул Хенци и вышел из комнаты.

■

Я не ошибся. На следующий день, в субботу, Хенци позвонил мне в семь утра. Разносчик сознался. В восемь я приехал к себе на службу. Хенци все еще находился в бывшем кабинете Маттеи. Он стоял у открытого окна, с утомленным видом обернулся ко мне и поздоровался. Пол был уставлен бутылками из-под пива, пепельницы переполнены. Кроме него, в кабинете ни души.

— Признание со всеми подробностями? — спросил я.

— Это еще впереди. Главное, что он признал убийство на сексуальной почве,— ответил Хенци.

— Надеюсь, ничего противозаконного допущено не было? — пробурчал я.

Допрос длился свыше двадцати часов. Это, конечно, не разрешается, но не могут же сотрудники полиции всегда точно следовать предписаниям.

— Никаких других недозволенных приемов допущено не было,— заверил меня Хенци.

Я пошел в свою «Boutique» и приказал привести разносчика. Он едва стоял на ногах, полицейскому пришлось его поддержать, однако он не сел, когда я предложил ему стул.

— Я слышал, фон Гунтен, вы сознались в убийстве Гритли Мозер,— сказал я, и голос мой прозвучал мягче, чем следовало.

— Да, я зарезал девочку,— еле слышно ответил разносчик, глядя в землю.— Оставьте меня теперь в покое.

— Подите выспитесь, фон Гунтен, а потом мы поговорим,— сказал я.

Его увели. В дверях он столкнулся с Маттеи и остановился как вкопанный. С трудом переводя дух, он открыл рот, будто хотел что-то сказать, но промолчал. Только посмотрел на Маттеи, а тот смущенно посторонился.

— Иди, иди,— приказал полицейский и увел фон Гунтена.

Маттеи вошел в мою «Boutique» и прикрыл за собой дверь. Я закурил сигару.

— Что вы на это скажете, Маттеи?

— Беднягу допрашивали двадцать часов подряд?

— Этот прием Хенци заимствовал у вас. Вы тоже бывали так настойчивы в допросах,— напомнил я.— Вы не находите, что он недурно справился с первым самостоятельным делом?

Маттеи ничего не ответил.

Я велел принести две чашки кофе с бриошами.

У обоих у нас совесть была нечиста. Горячий кофе не разогнал дурного настроения.

— Мне почему-то кажется, что фон Гунтен отречется от признания,— высказался наконец Маттеи.

— Возможно,— хмуро ответил я,— тогда будем заново обрабатывать его.

— Вы считаете его виновным? — спросил он.

— А вы нет? — в ответ спросил я.

— Да, собственно, я тоже,— не сразу и довольно неуверенно ответил он.

В окно матовым серебром вливался утренний свет. С Сильской набережной долетали городские шумы, из казармы, печатая шаг, вышли солдаты.

Вдруг появился Хенци. Он вошел не постучавшись.

— Фон Гунтен повесился,— доложил он.

■

Камера находилась в конце длинного коридора. Мы бросились туда. Двое полицейских хлопотали возле разносчика. Он лежал на полу. Ему разорвали ворот рубахи. Волосатая грудь была недвижима. На окне еще болтались помочи.

— Сколько ни старайся, ничего не поможет,— сказал один из полицейских.— Он умер.

Я снова разжег погасшую «Баианос», а Хенци закурил сигарету.

— На этом можно подвести черту под делом об убийстве Гритли Мозер,— заключил я и усталым шагом направился по нескончаемому коридору к себе в кабинет.— А вам, Маттеи, желаю приятного полета в Иорданию.

■

Однако, когда Феллер около двух часов дня в последний раз явился со служебной машиной в «Урбан», чтобы везти Маттеи на аэродром, и когда чемоданы уже были погружены в багажник, тот вдруг заявил, что времени до отлета много и можно сделать крюк через Мегендорф. Феллер послушно поехал лесом. На деревенскую площадь они выбрались в ту минуту, когда погребальная процессия, длинная вереница безмолвных людей, как раз вступала туда. На похороны собралось множество народа из ближайших деревень и даже из города. Газеты уже сообщили о смерти фон Гунтена; у всех отлегло от сердца: как-никак, а справедливость восторжествовала. Маттеи вышел из машины и вместе с Феллером встал в толпе детей у церковной паперти. Увитый белыми розами гроб стоял на колеснице, в которую было впряжено две лошади. За гробом, предводительствуемые учительницей, учителем и пастором, по двое шли мегендорфские детишки, и каждая пара несла венок, все девочки были в белых платьицах. За ними следовали две черные фигуры — родители Гритли Мозер. Мать остановилась и посмотрела на комиссара полиции. Лицо ее словно окаменело, в глазах — пустота.

— Вы сдержали обещание,— произнесла она тихо, но так внятно, что Маттеи расслышал каждое слово.— Благодарю вас.— И пошла дальше, выступая прямо и гордо рядом со сгорбленным, разом состарившимся мужем.

Маттеи подождал, пока мимо него не прошла вся процессия: председатель общины, представители властей, крестьяне, рабочие, матери семейств, девушки — все в самой парадной, праздничной одежде. Все безмолвствовало под лучами предвечернего солнца, замерла и толпа зрителей, только слышались гулкие удары колоколов, громыхание колесницы и топот бесчисленных шагов по булыжной деревенской мостовой.

— В Клотен,— распорядился Маттеи, снова садясь в служебную машину.

■

Попрощавшись с Феллером и пройдя паспортный контроль, он купил в зале ожидания «Нейе цюрьхер цейтунг». Там был напечатан портрет фон Гунтена, как убийцы Гритли Мозер, и тут же портрет Маттеи с заметкой о его лестном назначении. О нем говорилось как о человеке, достигшем высшей ступени служебной лестницы. Перекинув через руку дождевик, он уже шагал по летному полю, как вдруг заметил, что терраса аэровокзала битком набита детьми. Это были школьники, совершавшие экскурсию по аэропорту. Это были девочки и мальчики в яркой летней одежде; они махали флажками и носовыми платочками, взвизгивая от восторга при виде взлета и посадки гигантских серебристых машин. Маттеи остановился было, но тут же двинулся дальше, к стоявшему наготове самолету компании «Свисс-эр»; когда он подошел, остальные пассажиры уже заняли свои места. Стюардесса, проводившая отъезжающих к самолету, протянула руку за билетом Маттеи, но тот обернулся и, не отрываясь, смотрел на ораву детей, радостно и завистливо махавших руками готовой к отлету машине.

— Я не полечу, фрейлейн,— сказал он, вернулся в здание аэровокзала, прошел под террасой, набитой детворой, и направился к выходу.

■

Я принял Маттеи только в воскресенье утром, и не в своей «Boutique», а в официальном служебном кабинете, откуда открывается столь же казенный вид на Сильскую набережную. Стены увешаны полотнами признанных цюрихских живописцев — Гублера, Моргенталера, Хунцикера. Я уже получил порцию неприятностей и был до-

нельзя зол — мне звонило из политического департамента сановное лицо, которое изъяснялось не иначе, как по-французски. Иорданское посольство заявило протест, и Союзный совет сделал запрос, на который я не мог ответить потому, что и сам не понимал поведения своего бывшего подчиненного.

— Садитесь, господин Маттеи,— предложил я.

Официальность моего тона явно огорчила его. Мы сели. Я не курил и закуривать не собирался. Это встревожило его.

— Федеральное правительство заключило с государством Иордания договор, в соответствии с которым предоставило в его распоряжение специалиста по организации полицейского дела,— начал я.— Вы, доктор Маттеи, в свою очередь, заключили с Иорданией соответствующий контракт. Вы не пожелали ехать и тем самым нарушили оба договора. Мы с вами юристы, а посему разъяснения тут излишни.

— Конечно,— подтвердил Маттеи.

— В связи с этим прошу вас возможно скорее отправиться в Иорданию,— заключил я.

— Я не поеду,— ответил Маттеи.

— Почему?

— Убийца Гритли Мозер еще не найден.

— Вы считаете разносчика невиновным?

— Да.

— Но у нас есть его признание.

— Должно быть, у него сдали нервы. Еще бы: непрерывный допрос, безнадежность, чувство отверженности. Есть тут и моя доля вины,— вполголоса продолжал он.— Разносчик обратился ко мне, а я ему не помог. Я торопился в Иорданию.

Странное создалось положение. Еще накануне в наших разговорах царила полная непринужденность. А сейчас мы сидели друг против друга с официальным, чопорным видом, оба в парадных костюмах.

— Прошу вас, майор, передать мне это дело на доследование,— сказал Маттеи.

— На это я не могу согласиться. Ни под каким видом! Вы больше у нас не работаете, доктор Маттеи.

Маттеи в изумлении воззрился на меня.

— Я уволен?

— Вы поступили на службу к иорданскому правительству и, таким образом, ушли от нас,— спокойно пояснил я.— Договор вы нарушили — это ваше дело. Но, зачислив вас снова, мы тем самым косвенно одобрим ваш поступок. Поймите, это невозможно.

— Вот как. Понимаю,— произнес Маттеи.

— И ничего тут поделать нельзя,— заключил я.

Мы помолчали.

— Когда я по дороге в аэропорт завернул в Мегендорф, я увидел там детей.

— И что же?

— За гробом шли дети, много детей.

— Ничего удивительного.

— И на аэродроме тоже были дети, школьники, целыми классами.

— Ну, так что же? — Я удивленно посмотрел на Маттеи.

— А что, если я прав, что если убийца Гритли жив, тогда, значит, другим детям грозит такая же опасность? — задал мне вопрос Маттеи.

— Разумеется,— спокойно подтвердил я.

— А раз такая угроза существует, обязанность полиции защитить детей, пресечь возможность нового преступления,— с жаром подхватил Маттеи.

— Так вот почему вы не улетели: чтобы защитить детей,— медленно выговорил я.

— Да, потому,— ответил Маттеи.

Я помолчал. Поведение Маттеи стало мне понятнее. Да, согласился я, вполне возможно, что угроза для детей не устранена. В случае, если его, Маттеи, предположение правильно, надо только пожелать, чтобы истинный убийца как-то выдал себя или, на худой конец, в следующий раз оставил такие следы преступления, за которые можно будет уцепиться. Мои слова звучат цинично. Но это не цинизм, а жестокая правда. Власть полиции ограничена — и должна быть ограничена. Хотя на свете возможно решительно все, даже самое невероятное, но исходить надо из вероятия. Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что фон Гунтен виновен, впрочем, такой уверенности у нас почти и не бывает. Мы можем говорить только о вероятии его виновности. Если отбросить домыслы о каких-то неведомых преступниках, единственным, на кого падает подозрение, остается разносчик. Он уже был повинен в преступлении против нравственности, при нем найдены бритвы и шоколад, на одежде у него обнаружена кровь, далее — своими торговыми делами он занимался также в кантонах Швиц и Санкт-Галлен, где были совершены два таких же убийства, и, наконец, он сознался сам и покончил с собой. После всего этого проверка его виновности — занятие чисто дилетантское. Здравый человеческий смысл говорит, что убийство совершил фон Гунтен. Конечно, здравый смысл может дать осечку, а мы можем по-человечески заблуждаться. Но такой риск нам часто приходится брать на себя. Убийство Гритли Мозер не единственное преступление, которым мы вынуждены зани-

маться. Только что оперативная группа выехала в Шлифен. Кроме того, за нынешнюю ночь совершены четыре кражи со взломом. Даже по чисто техническим причинам мы не можем позволить себе роскошь повторного расследования. Что было возможно, мы сделали. А дети всегда под угрозой. За год происходит свыше двухсот преступлений против нравственности. В одном только нашем кантоне. Надо инструктировать родителей, предостерегать детей, мы все это и делаем, но сплести такую частую полицейскую сеть, чтобы не оставить лазейки для преступлений,— это не в наших силах. Преступления совершаются постоянно, и объяснять это следует вовсе не тем, что полицейских мало, а тем, что они вообще есть. В нас не было бы необходимости, не будь преступлений. Вот о чем нам всегда надо помнить. Он, Маттеи, прав, мы должны исполнять свой долг, и первый наш долг — не выходить за положенные нам пределы, иначе мы попросту создадим полицейское государство.

Я замолчал.

С улицы донесся перезвон колоколов.

— Поверьте, я понимаю всю... сложность вашего положения. Вы действительно очутились между двух стульев,— вежливо заметил я, показывая, что разговор окончен.

— Благодарю вас, господин доктор. В первую очередь я займусь делом об убийстве Гритли Мозер. На свой страх и риск.

— Выбросьте вы эту историю из головы,— посветовал я.

— Ни в коем случае,— возразил он.

Я подавил раздражение.

— Если так, прошу вас больше не докучать нам,— только и сказал я, вставая.

— Как вам будет угодно,— ответил Маттеи.

После чего мы расстались, не подав друг другу руки.

■

Нелегко было Маттеи, покидая пустое здание полиции, пройти мимо своего бывшего кабинета. Табличку на дверях успели сменить, а Феллер, который околачивался здесь по воскресеньям, явно смутился, встретившись с ним, и промямлил что-то невразумительное. У Маттеи было такое чувство, точно он выходец с того света, а главное, его огорчало, что он не может пользоваться служебной машиной. Ему хотелось как можно скорее добраться до Мегендорфа, но выполнить это намерение было не так-то легко; при всей близости деревни, путь туда довольно сложный. Надо ехать восьмым трамваем, потом пересесть на автобус. В вагоне оказался Трейлер с женой. Они ехали к ее родителям; он вытаращил на полицейского комиссара глаза, но от вопросов воздержался. Вообще Маттеи встретил кучу знакомых, какого-то преподавателя Электротехнического института, какого-то художника. Он очень туманно объяснял, почему не уехал в Иорданию, и всякий раз возникало ощущение неловкости, тем более что его «повышение» и отъезд были торжественно отпразднованы; и опять он почувствовал себя выходцем с того света.

В Мегендорфе только что отзвонили колокола. Крестьяне в воскресной одежде толкались на деревенской площади или кучками направлялись к «Оленю». В воздухе против предыдущих дней посвежело, с запада наплывали тучи. Возле дома «На болотцах» мальчишки уже играли в футбол; ничто не напоминало о том, что на днях неподалеку от деревни произошло убийство. Все было радостно, где-то пели «У колодца близ ворот». Перед большим крестьянским домом с высоченной кровлей и стенами из брусьев ребятишки играли в прятки; какой-то мальчуган сосчитал до десяти, и все бросились врассыпную. Маттеи остановился посмотреть на их игру.

— Дядя,— послышался шепот позади него.

Он обернулся. Между поленницей дров и садовой оградой стояла девчушка в голубом платьице. Волосы каштановые, глаза карие. Урсула Фельман.

— Что тебе? — спросил комиссар полиции.

— Стань передо мной, чтобы меня не нашли,— прошептала девочка.

Маттеи послушно встал.

— Урсула,— начал он.

— Не говори так громко. А то услышат, что ты с кем-то разговариваешь,— прошептала девочка.

— Урсула,— прошептал теперь и Маттеи,— про великана я не верю.

— Что ты не веришь?

— Что Гритли Мозер встретился великан ростом с гору.

— А он есть на самом деле.

— Ты его видела?

— Нет, Гритли видела. Замолчи скорей.

Рыжеватый веснушчатый парнишка крался из-за дома. Он-то и должен был искать остальных. Постояв перед полицейским комиссаром, он так же крадучись огибал теперь дом с другой стороны.

Девочка тихонько хихикнула.

— Не заметил меня.

— Гритли рассказывала тебе сказки,— шептал Маттеи.

— Неправда, великан каждую неделю ждал Гритли и дарил ей ежиков,— отвечала девочка.

— Где он ждал?

— В Малиновкиной ложбинке. Гритли даже нарисовала его. А ты говоришь, его нет! И ежиков нарисовала.

Маттеи был ошеломлен.

— Нарисовала великана?

— Рисунок висит в классе,— сказала девочка.— Отойди-ка.— И, не дожидаясь, она прошмыгнула между поленницей и Маттеи, подскочила к дому и с торжествующим видом стукнула о дверной косяк, опередив мальчугана, со всех ног бежавшего из-за дома.

■

То, что я узнал в понедельник утром, было непонятно и тревожно. Прежде всего позвонил председатель мегендорфской общины и пожаловался, что Маттеи проник в школу и похитил рисунок убитой Гритли Мозер; он требует, чтобы кантональная полиция перестала рыскать по деревне и дала им отдохнуть после таких страхов; в заключение он довольно нелюбезно предупредил меня, что натравит на Маттеи цепную собаку, если тот еще раз посмеет сунуться в его деревню. Вслед за тем с жалобой на Маттеи явился Хенци: между ними произошло бурное объяснение и, что неприятнее всего,— в «Кроненхалле». Его прежний начальник был при этом явно на взводе, единым духом выпил целый литр из Reserve du Patron *, вслед за тем потребовал коньяка и обвинил Хенци в том, что он угробил невиновного; его супруга, урожденная Хоттингер, была до крайности шокирована. Но на этом дело не кончилось. После утреннего рапорта Феллер сообщил мне — и как на грех со слов шпика из городской полиции,— будто Маттеи шляется по барам и живет теперь в гостинице «Рекс». Из другого источника доложили, что Маттеи начал еще и курить. «Парижские». Человека словно подменили, словно он внезапно переродился. Боясь, как бы после такого нервного возбуждения не произошло срыва, я позвонил к психиатру, которого мы неоднократно приглашали на экспертизу.

Каково же было мое удивление, когда врач сообщил мне, что Маттеи просил принять его в тот же день к вечеру. Я поспешил рассказать врачу о случившемся.

После всего этого я написал в иорданское посольство, что Маттеи заболел и просит дать ему отпуск, а через два месяца он не преминет прибыть в Амман.

■

Частная психиатрическая лечебница находилась довольно далеко от города, близ деревни Рётен. Маттеи поехал поездом и затем порядочный кусок прошел пешком. У него не хватило терпения дожидаться почтовой машины, которая очень скоро обогнала его, и он с досадой посмотрел ей вслед. Он проходил через крестьянские поселки. У обочины играли ребятишки, в поле работали крестьяне. Небо было серебристо-серое, затянутое тучами. Снова похолодало, температура понизилась, но, к счастью, до нуля не дошла. Маттеи шагал вдоль гряды холмов, а сейчас же за Рётеном свернул на дорогу, ведущую по косогору к больнице. Прежде всего ему бросилось в глаза мрачное желтое строение с высокой дымовой трубой, скорее похожее на заводской цех. Однако дальше картина стала приветливее. Правда, главное здание заслоняли буки и тополя, но среди них Маттеи заметил и кедры и даже гигантскую веллингтонию. Он вошел в парк, дорога разветвлялась. Маттеи свернул в ту сторону, куда указывала табличка с надписью «Дирекция». Сквозь деревья и кустарник поблескивал пруд, а может, это была полоска тумана. Тишина стояла мертвая. Маттеи слышал только хруст собственных шагов по гравию дорожки. Немного дальше он услышал, как шуршат грабли. На дороге работал молодой парень. Движения его были медленны и методичны. Маттеи остановился в нерешительности. Он не знал, куда повернуть теперь, а другой таблички не было.

— Вы не скажете, где помещается дирекция? — обратился он к молодому человеку.

Тот не ответил ни слова. Он по-прежнему невозмутимо и методично, как автомат, возил граблями по дороге, словно никто с ним не заговаривал, словно никого здесь и не было. Лицо у него ничего не выражало, а так как работа явно не соответствовала его незаурядной физической силе, комиссару стало не по себе. Ему показалось, что парень может ни с того ни с сего замахнуться граблями. Чувствуя, что настаивать небезопасно, он нерешительно двинулся дальше и вошел в какой-то двор. За первым двором был второй, побольше. По обе стороны, как в монастыре, тянулись крытые галереи, но замыкало двор здание, напоминающее загородную виллу. Здесь тоже не было ни души, только откуда-то доносился жалобный голос, тонкий и умоляющий; он все время, без устали, без перерыва повторял одно и то же слово. Маттеи опять остановился в нерешительности. Его охватила непонятная тоска. Никогда еще не испытывал он такого чувства безнадежности. Он нажал ручку обветшалой парадной двери, растрескавшейся и поцарапанной, но дверь не поддалась. А голос, все тот же голос, повторял свою жалобу. Маттеи, как во сне, побрел по крытому проходу. В больших каменных вазах цвели красные тюльпаны, желтые тюльпаны... Наконец он услышал

* Хозяйские погреба *(франц.)*.

шаги. Высокий старик шествовал по двору с брезгливым и недоумевающим видом. Его вела сестра.

— Добрый день,— сказал комиссар полиции,— мне нужно к профессору Лохеру.

— Вы назначены? — спросила сестра.

— Меня ожидают.

— Пройдите в приемную.— Сестра указала на двустворчатую дверь.— К вам выйдут.

Она пошла дальше, держа под руку старика, дремавшего на ходу, открыла какую-то дверь и скрылась вместе с ним. Голос все еще доносился откуда-то издали. Маттеи вошел в приемную. Это была просторная комната, обставленная старинной мебелью: вольтеровские кресла, огромный диван, над ним в массивной золоченой раме портрет пожилого мужчины, должно быть, учредителя больницы. Кроме того, на стенах были развешаны пейзажи тропических стран, скорее всего Бразилии. Маттеи как будто узнал окрестности Рио-де-Жанейро. Он подошел к двустворчатым дверям, они вели на террасу. Каменные перила были уставлены огромными кактусами. Но парк уже совсем скрылся за сгустившимся туманом. Маттеи смутно различал волнистый ландшафт, посередине не то статуя, не то надгробный памятник, а рядом грозным призраком стоял серебристый тополь. Полицейский комиссар начал терять терпение; закурил сигарету. Эта новая страсть немного успокоила его. Он вернулся в комнату, к дивану, перед которым стоял старый круглый стол со старыми книгами: Гастон Бонье «История французской, швейцарской и бельгийской флоры». Он полистал их. Тщательно вырисованные таблицы, изображения цветов и трав, наверно, очень красивые и успокаивающие. Но полицейскому комиссару они были ни к чему. Он закурил вторую сигарету. Наконец появилась сестра, низенькая подвижная особа в очках без оправы.

— Господин Маттеи? — спросила она.

— Совершенно верно.

Сестра огляделась по сторонам.

— Вы без вещей?

Маттеи отрицательно покачал головой, удивившись такому вопросу.

— Я хотел бы только задать доктору несколько вопросов,— пояснил он.

— Прошу вас,— сказала сестра и распахнула перед Маттеи маленькую дверцу.

■

Он вошел в маленькую, на удивление убогую комнату. Ничто здесь не напоминало врачебный кабинет. На стенах пейзажи, как в приемной, да еще фотографии ученых мужей, бородатых уродов в очках без оправы, по-видимому, предшественников доктора Лохера. Письменный стол и стулья были сплошь завалены книгами, кроме одного старого кожаного кресла. Врач сидел, уткнувшись в истории болезни. Это был щуплый, похожий на птицу человечек в белом халате и так же, как сестра и бородатые чучела на стенах, в очках без оправы. Очки без оправы, очевидно, были здесь непременным атрибутом, кто его знает, может быть, даже отличительным признаком какого-то тайного ордена, вроде монашеской тонзуры.

Сестра удалилась. Лохер встал, поздоровался с Маттеи.

— Милости прошу, располагайтесь поудобнее,— смущенно сказал он.— Тут у нас не очень пышно. Мы ведь благотворительное учреждение. И с финансами бывает туговато.

Маттеи сел в кожаное кресло. В комнате было так темно, что врач зажег настольную лампу.

— Разрешите закурить? — спросил Маттеи.

Лохер изумился.

— Пожалуйста,— ответил он и пристально посмотрел на Маттеи поверх своих тусклых очков.— Вы как будто не курили раньше?

— Никогда не курил.

Врач взял лист бумаги и принялся что-то записывать. Должно быть, какие-то данные. Маттеи ждал.

— Вы родились одиннадцатого ноября тысяча девятьсот третьего года, правильно? — спросил врач, продолжая строчить.

— Ну да.

— По-прежнему проживаете в гостинице «Урбан»?

— Нет, теперь в «Рексе».

— Ага, в «Рексе», на Виноградной улице. Так вы, мой друг, и ютитесь по гостиницам?

— Вас это удивляет?

Врач поднял глаза от бумаг.

— Странный вы человек, Маттеи,— заговорил он.— Тридцать лет постоянно живете в Цюрихе... Другие обзаводятся семьей, растят детей, смотрят в будущее. Неужели у вас вообще нет личной жизни? Простите мой нескромный вопрос.

— Понимаю,— протянул Маттеи; ему сразу стало ясно все, в том числе и вопросы сестры насчет чемоданов.— Значит, майор опередил меня.

Врач бережно отложил авторучку.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы получили поручение обследовать меня,— уточнил Маттеи и потушил сигарету.— Кантональная полиция сомневается в моей... нормальности.

Оба замолчали. Сплошной туман застилал окно и серой слепой мглой вползал в тесную комнату, набитую книгами и папками. А в комнате, и без того промозглой, стоял холод, запах сырости и каких-то лекарств.

Маттеи встал, подошел к двери и распахнул ее. За дверью ожидали, скрестив руки, двое мужчин в белых халатах. Маттеи снова закрыл дверь.

— Два санитара. На случай, если я буду упираться.

Лохера нелегко было вывести из равновесия.

— Послушайте, Маттеи,— сказал он,— я буду говорить с вами как врач.

— Сделайте одолжение,— ответил Маттеи и опустился в кресло.

Ему стало известно, начал Лохер, снова берясь за авторучку, что за последнее время Маттеи совершил ряд поступков, которые решительно выпадают из нормы. Пора, наконец, поговорить откровенно. У самого Маттеи профессия суровая, которая вынуждает поступать сурово с теми, кто попадет в его орбиту, так пускай же не посетует, если он, Лохер, выскажется начистоту; врачебная профессия тоже приучает к суровости. В самом деле, как это понять? Человек ни с того ни с сего добровольно упускает такой исключительный случай, как назначение в Иорданию. И при этом вбивает себе в голову, что ему нужно искать убийцу, который уже найден. Наконец, эта новая привычка к курению, неожиданное пристрастие к выпивке — в одиночку целый литр из Reserve du Patron, а следом четыре двойные порции коньяку! Помилуйте, дружище! Старина! Такие резкие перемены в характере положительно смахивают на симптомы серьезного заболевания. Ради его же блага ему, Маттеи, следует подвергнуться тщательному обследованию, чтобы они имели полную, как клиническую, так и психологическую картину, а посему он, Лохер, предлагает ему пробыть несколько дней в Рётене.

Врач замолчал, опять уткнулся в свои бумаги и принялся что-то строчить.

— У вас бывают периодические повышения температуры?

— Нет.

— Нарушения речи?

— Тоже нет.

— Слуховые галлюцинации?

— Что за чушь!

— Потливость?

Маттеи помотал головой. Темнота и болтовня доктора действовали ему на нервы. Он ощупью искал сигареты. Наконец нашел, и, когда взял зажженную спичку, которую протянул ему доктор, рука у него дрожала. От злости. Уж очень глупое создалось положение, надо было это предвидеть и обратиться к другому психиатру. Но он искренне любил этого доктора и, скорее из личной симпатии, время от времени приглашал его экспертом на Казарменную улицу; он доверял Лохеру, потому что другие врачи отзывались о нем пренебрежительно и потому что он слыл чудаком и фантазером.

— Волнуетесь,— почти что радостно констатировал Лохер.— Позвать сестру? Может, хотите пойти в свою палату?

— И не собираюсь,— ответил Маттеи.— Есть у вас коньяк?

— Лучше я дам вам успокоительного,— предложил врач и поднялся с кресла.

— Не нужно мне ваших успокоительных, мне нужен коньяк! — грубо отрезал Маттеи.

Должно быть, врач нажал кнопку скрытой сигнализации, потому что в дверях появился санитар.

— Принесите из моей квартиры бутылку коньяку и две рюмки,— приказал врач, потирая руки, должно быть, от холода.— Поживее, одним махом.

Санитар исчез.

— Право же, Маттеи, я считаю, что вы должны быть срочно госпитализированы. Иначе вас со дня на день ждет полный душевный и физический крах. А ведь мы хотим его избежать, не так ли? И при некотором старании нам это удастся.

Маттеи ничего не ответил. Замолчал и врач. Только раз зазвонил телефон, Лохер снял трубку и сказал: «Я занят».

За окном была уже полная чернота, так быстро стемнело в этот вечер.

— Зажечь верхний свет? — спросил врач, чтобы нарушить молчание.

— Нет.

Маттеи вполне овладел собой. Когда санитар принес коньяк, он налил себе рюмку, выпил и налил вторую.

— Лохер,— обратился он к врачу.— Бросьте вы эти штучки с «дружищем», «стариной», «одним махом» и всем прочим. Вы — врач. Бывали у вас такие пациенты, чье заболевание вы не могли распознать?

Доктор изумленно посмотрел на Маттеи. Этот вопрос огорошил, встревожил его, непонятно было, к чему он клонится.

— Значительная часть моих больных остается без диагноза,— честно признался он наконец и тут же почувствовал, что не имел права так ответить пациенту, а он все еще смотрел на Маттеи как на пациента.

— Охотно верю, принимая во внимание вашу специальность,— заметил Маттеи с иронией, от которой у врача защемило сердце.

— Вы явились сюда, чтобы задать мне этот вопрос?

— Не только.

— Объясните, бога ради, что с вами творится? — смущенно спросил врач.— Вы же у нас образец благоразумия.

— Сам не знаю,— неуверенно ответил Маттеи,— все эта убитая девочка.

— Гритли Мозер?

— Она не выходит у меня из головы.

— Этим вы и мучаетесь?

— У вас есть дети? — спросил Маттеи.

— Я ведь тоже не женат,— тихо ответил врач и опять смутился.

— Ах, тоже.— Маттеи угрюмо умолк.— Видите ли, Лохер,— заговорил он опять.— Я смотрел внимательно, а не отворачивался, как мой преемник Хенци, образец нормальности. На палой листве лежал изуродованный труп, не тронуто было только лицо, детское личико. Я смотрел не отрываясь, в кустах валялось красное платьице и печенье. Но и это было не самым страшным.

Маттеи снова замолчал. Словно испугался. Он принадлежал к тем людям, которые никогда не говорят о себе, а сейчас он был вынужден изменить своему правилу, потому что нуждался в этом щуплом, похожем на птицу человечке со смешными очками; в нем одном мог он найти поддержку, но за это надо было открыть ему душу.

— Вас совершенно справедливо удивляет, почему я до сих пор живу в гостинице,— заговорил он наконец.— Мне не хотелось быть на равной ноге с прочим миром, я предпочитал подчинять его своему искусству, а не скорбеть вместе с ним. Я хотел быть выше его и хладнокровно управлять им, как техник управляет машиной. У меня хватило сил не отвести взгляда от девочки, но, когда я столкнулся с родителями, силы вдруг изменили мне, я жаждал только вырваться из этого окаянного дома «На болотцах» и пообещал найти убийцу, поклялся спасением своей души, лишь бы убежать от горя родителей, и не подумал о том, что не-смогу сдержать обещание потому, что мне надо лететь в Иорданию. И вот я опять дал волю привычному равнодушию. Какая это гнусность, Лохер! Я не отстаивал разносчика. Я ни против чего не возражал. Я снова превратился в нечто бесстрастное, в «Маттеи — каюк злодеям», как прозвали меня уголовники. Я укрылся за хладнокровием, за превосходством, за буквой закона, за нечеловеческим безразличием. Вдруг я увидел в аэропорту детей.

Врач отодвинул свои записи.

— Я вернулся. Остальное вам известно,— заключил Маттеи.

— А теперь? — спросил врач.

— Теперь я тут. Я не верю в вину разносчика и должен сдержать обещание.

Врач поднялся, подошел к окну.

Появился один санитар, за ним второй.

— Ступайте в свое отделение. Вы мне больше не нужны,— распорядился врач.

Маттеи налил себе коньяку и рассмеялся.

— Недурной «Реми Мартэн».

Врач все еще стоял у окна и смотрел в сад.

— Чем я могу вам помочь? — беспомощно спросил он.— Ведь я же не криминалист.— Он повернулся к Маттеи.— А почему, собственно, вы считаете, что разносчик не виновен?

— Вот, смотрите.

Маттеи положил на стол листок бумаги и бережно развернул его. Это был детский рисунок. Справа внизу неумелым почерком было выведено «Гритли Мозер», а сам рисунок, сделанный цветными карандашами, изображал мужчину. Очень большой мужчина, больше, чем елки, которые, точно диковинные травы, окружали его, был нарисован так, как рисуют дети — точка, точка, запятая, вышла рожица кривая. Он был в черной шляпе и одет во все черное. Из правой руки (кружок с пятью черточками) как звезды сыпались кружочки, утыканные волосками, на стоявшую внизу малюсенькую девочку, еще меньше елок. На самом верху, уже, собственно, на небе, стоял автомобиль, а рядом — диковинный зверь с какими-то странными рогами.

— Этот рисунок сделан Гритли Мозер. Я взял его из класса,— сказал Маттеи.

— Что он должен изображать? — спросил врач, с недоумением разглядывая рисунок.

— Ежикового великана.

— А это что значит?

— Гритли рассказывала, что великан дарил ей в лесу ежиков. Рисунок изображает эту встречу,— разъяснил Маттеи, указывая на кружочки с волосками.

— И вы считаете...

— Я считаю вполне вероятным, что Гритли Мозер в виде ежикового великана изобразила своего убийцу.

— Глупости, Маттеи,— рассердился врач,— этот рисунок просто продукт детского воображения. Не стройте на нем никаких надежд.

— Очень может быть, но посмотрите, как точно воспроизведен автомобиль. Если хотите, в нем даже можно узнать американскую машину старого образца. Да и сам великан как будто срисован с натуры.

— Перестаньте рассказывать сказки, великанов в натуре не бывает,— раздраженно отрезал врач.

— Маленькой девочке большой, громоздкий мужчина смело может показаться великаном.

Врач с интересом посмотрел на Маттеи.

— Вы считаете, что убийца — мужчина высокого роста?

— Это, конечно, смутная догадка,— уклончиво ответил комиссар полиции.— Если она правильна, тогда, значит, убийца разъезжает в черной американской машине устарелого образца.

Лохер сдвинул очки на лоб, взял в руки рисунок и внимательно вгляделся в него.

— Но при чем же тут я? — неуверенно спросил он.

— Допустим, этот рисунок — единственная улика, которой я располагаю,— пояснил Маттеи.— Тогда он будет для меня все равно что рентгеновский снимок для профана. Я никак не сумею его истолковать.

Врач покачал головой.

— Этот ребяческий рисунок не дает никакого представления об убийце,— ответил он, откладывая рисунок в сторону.— Вот девочку легко по нему охарактеризовать. Гритли, по всей вероятности, была умненьким, развитым и жизнерадостным ребенком. Ведь дети рисуют не только то, что видят, но и то, что они при этом чувствуют. Фантазия и реальность сливаются воедино. Единственные реальности на этом рисунке — высокий мужчина, автомобиль и девочка; все остальное как будто засекречено: и ежики, и зверь с большими рогами. Сплошные загадки. А ключ к ним Гритли, увы, унесла с собой в могилу. Я медик и не умею вызывать духов. Забирайте свой рисунок. И не глупите, нечего им заниматься.

— Вы просто боитесь им заняться.

— Мне противна пустая трата времени.

— То, что вы называете пустой тратой времени, скорее следует назвать старым методом,— возразил Маттеи.— Вы, как ученый, знаете, что такое рабочая гипотеза. Примите мое предположение, что на рисунке изображен убийца, именно как рабочую гипотезу. Давайте вместе разовьем ее и посмотрим, что из этого получится.

Лохер некоторое время задумчиво смотрел на комиссара, потом опять обратился к рисунку.

— Что собой представлял разносчик?

— Внешне невзрачный.

— Умный?

— Неглупый, но ленивый.

— Кажется, он раз уже судился за преступление против нравственности?

— Что-то там у него было с четырнадцатилетней.

— А как насчет связей с другими женщинами?

— Вы знаете нравы этих бродячих торговцев. В общем, он вел довольно беспутную жизнь,— ответил Маттеи.

Теперь Лохер заинтересовался. Тут явно получалась неувязка.

— Жаль, что этот донжуан сознался и повесился,— проворчал он,— не верится мне, чтобы ему вздумалось совершать убийство на сексуальной почве. Вернемся теперь к вашей гипотезе. Конечно, ежиковый великан на рисунке по типу куда больше подходит для такого рода убийцы. Внешне он большой и грузный. Обычно такие преступления над малолетними совершают люди примитивные, умственно неполноценные, имбецильные и дебильные, говоря врачебным языком, крепкие физически, несдержанные, грубые, а в отношении женщин они либо импотенты, либо страдают комплексом неполноценности.

Он остановился, видимо, его поразила какая-то мысль.

— Непонятно,— пробормотал он.

— Что вам непонятно?

— Дата под рисунком.

— А именно?

— Больше чем за неделю до убийства. Если ваша гипотеза правильна, значит, Гритли встречалась со своим убийцей еще раньше, до рокового дня. И удивительно, что эту встречу она изобразила в виде сказки.

— Чисто по-детски.

Лохер покачал головой.

— Дети тоже ничего не делают без причины,— возразил он.— Очевидно, черный великан запретил Гритли рассказывать об их таинственном знакомстве. Бедняжечка послушалась его и вместо правды рассказала сказку. Расскажи она правду, кто-нибудь всполошился бы, и девочка была бы спасена. Да, это уж действительно дьявольское коварство. Девочка была изнасилована?

— Нет,— ответил Маттеи.

— А девочки, погибшие несколько лет тому назад в кантонах Санкт-Галлен и Швиц, были убиты так же?

— Точно так же.

— Тоже бритвой?

— Тоже.

Теперь и врач налил себе коньяка.

— По-моему, это не убийство на сексуальной почве, а скорее акт мести,— заявил он.— Кто бы ни был преступник — разносчик или ежиковый великан бедняжки Гритли, убивая, он мстил женщинам.

— Семилетняя девочка — не женщина.

Лохер стоял на своем.

— Неполноценному человеку она может заменить женщину. К женщине преступник не смеет подступиться, а к семилетней девочке смеет. И вместо женщины убивает ее. И, конечно, он облюбовал себе определенный тип девочек. Попробуйте проследите: не сомневаюсь, что все жертвы похожи друг на друга. Не забывайте при этом, что убийца — натура примитивная и независимо от того, слабоумен он от рождения или вследствие перенесенной болезни, такой человек не управляет своими импульсами. Способность противостоять своим побуждениям у него болезненно понижена. Какой-нибудь до ужаса ничтожный сдвиг — нарушение обмена, переродившиеся клетки — превращает человека в животное.

— Какова же причина мести?

Врач задумался.

— Возможно, сексуальная неудовлетворенность. Возможно, угнетение и эксплуатация со стороны женщины. Возможно, что у него была богатая жена, а сам он был беден. Возможно, она занимала более высокое общественное положение.

— К разносчику все это не подходит,— отметил Маттеи.

Врач пожал плечами.

— Тогда к нему подойдет что-то другое. Нет такого абсурда, который не был бы возможен в отношениях между мужчиной и женщиной.

— Если разносчик не виновен, значит ли это, что существует угроза новых убийств? — спросил Маттеи.

— Когда произошло убийство в кантоне Санкт-Галлен?

— Пять лет тому назад.

— А в кантоне Швиц?

— Два года назад.

— Промежутки от раза до раза сокращаются,— отметил врач.— Возможно, это указывает на усиление болезни. Сопротивляемость аффектам заметно ослабевает. Если представится удобный случай, больной через несколько месяцев, а то и недель, совершит новое убийство.

— Каково будет его поведение в этот промежуток?

— Сперва он должен почувствовать некоторую разрядку,— неуверенно начал врач,— но вскоре ненависть накопится опять и явится новая потребность в мести. Вначале он будет держаться поближе к детям, у школ, в людных местах. Потом опять начнет разъезжать в своей машине и выискивать новую жертву, а как только найдет подходящую девочку, он опять постарается с ней подружиться. А потом — тот же финал.

Лохер умолк.

Маттеи взял рисунок, свернул его, положил во внутренний карман пиджака и долго смотрел в окно, за которым теперь была полная темень.

— Пожелайте мне успеха в поисках ежикового великана, Лохер,— сказал он наконец.

Врач сперва недоумевающе уставился на него, а потом понял.

— Так, значит, для вас ежиковый великан не только рабочая гипотеза, да, Маттеи?

— Он для меня живая действительность,— признал Маттеи.— Я ни секунды не сомневаюсь, что это и есть убийца.

Да ведь все им сказанное было лишь праздным умствованием, беспочвенной игрой ума, принялся доказывать врач в досаде на то, что попал впросак, не разгадав истинных намерений Маттеи. Он ведь только привел один из тысячи возможных вариантов. Таким же способом он берется кого угодно уличить в убийстве, сам Маттеи по опыту знает, как легко сочинить любую нелепицу и даже логически обосновать ее; он же, Лохер, поддержал эту фикцию только по слабости характера. Но теперь довольно! Маттеи должен отбросить это ребячество, все эти гипотезы и увидеть действительность, как она есть, он должен взять себя в руки и сдаться на доводы, неоспоримо доказывающие вину разносчика. Пресловутый рисунок — всего-навсего плод детского воображения, в крайнем случае на нем запечатлена встреча девочки с человеком, который не был и не мог быть убийцей.

— Предоставьте мне самому судить, какова мера правдоподобия в ваших рассуждениях,— ответил Маттеи, допивая рюмку.

Врач ответил не сразу. Он уже снова сидел за своим старым письменным столом, обложенный книгами и бумагами, директор безнадежно устаревшей клиники, в

которой вечно ощущалась нехватка денег и самого необходимого и на которую он напрасно убивал все силы.

— Вы задумали немыслимое дело, Маттеи,— сказал он, кончая затянувшийся разговор, и в голосе его прозвучали горечь и усталость.— Я не люблю громких слов. Конечно, у каждого есть своя воля, свое честолюбие, своя гордость, и никому не хочется признавать себя побежденным. Все это мне понятно. Но вы-то собираетесь искать убийцу, которого скорее всего не существует, а если он и существует, то вы его все равно не найдете, потому что таких, как он, очень много, и не убивают они по чистой случайности. Такая затея поневоле наводит на грустные мысли. Я готов признать, что вы поступаете смело, избирая безумие как метод,— в наше время крайности импонируют. Но если метод не приведет к цели, боюсь, что на вашу долю останется одно лишь безумие.

— Желаю здравствовать, доктор Лохер,— сказал Маттеи.

■

Подробный отчет об этом разговоре я получил от Лохера. Его бисерный почерк с тонкими, словно выгравированными готическими буковками, как всегда, трудно было разобрать. Я вызвал Хенци, чтобы он тоже ознакомился с этим документом. Сам доктор считает все это беспочвенными домыслами, прочтя донесение, заявил он. Я не мог с ним согласиться, мне казалось, что Лохера пугает собственная смелость. Теперь заколебался и я. В сущности, у нас на руках нет подробных показаний разносчика, которые мы могли бы проверить, а есть только признание в общей форме. К тому же орудие убийства еще не найдено, ни на одной из бритв, находившихся в корзине, не обнаружено следов крови. Это давало новый повод для сомнений. Не то чтобы фон Гунтен тем самым мог быть задним числом признан невиновным — подозрения оставались достаточно весомыми — но все же я почувствовал известную неуверенность. И действия Маттеи не казались мне теперь такими уж абсурдными. К великой досаде прокурора, я даже приказал еще раз обыскать Мегендорфский лес. Опять безо всякого результата. Орудие убийства исчезло бесследно. Вероятно, Хенци был прав: оно преспокойно лежало в ущелье.

— Уж больше мы тут ничего не можем сделать,— заявил он, доставая из пачки одну из своих омерзительных надушенных сигарет.— Остается только решить, кто из нас сошел с ума — мы или Маттеи.

Я указал на снимки, которые велел принести. Все три убитые девочки были похожи между собой.

— Еще один довод в пользу версии ежикового великана.

— Почему? — невозмутимо возразил Хенци.— Попросту они отвечают излюбленному типу разносчика.— Он засмеялся.— И зачем это Маттеи заварил такую кашу — понять не могу. Одно скажу: я ему не завидую.

— Вы его недооцениваете,— проворчал я,— он на все способен.

— Даже на то, чтобы найти несуществующего убийцу?

— Возможно,— ответил я и вложил все три снимка в дело.— Знаю только, что Маттеи не сдастся.

И я оказался прав. Первые сведения я получил от начальника городской полиции. После заседания, где в который-то раз решался вопрос о сферах компетенции. Прощаясь, этот нудный субъект заговорил о Маттеи — специально, чтобы меня позлить. Я услышал от него, что Маттеи часто видят в зоологическом саду, затем, что он приобрел в гараже близ Эшер-Висовской площади подержанную машину марки «нэш». Вскоре я получил новое донесение. Оно окончательно сбило меня с толку. Дело было в «Кроненхалле», как сейчас помню — в субботу. Вокруг меня собрались все, у кого есть в Цюрихе имя, вес и аппетит, между столиками суетились кельнерши, шел пар от кушаний, и с улицы доносился шум транспорта. Я сидел под неизменным Миро, ел суп с фрикадельками из печенки и не чуял беды, как вдруг меня окликнул представитель крупной фирмы по сбыту горючего и, недолго думая, уселся за мой столик. Он подвыпил и был настроен на игривый лад, заказал шампанского и, смеясь, сообщил мне, что мой бывший обер-лейтенант переменил профессию: теперь он обслуживает бензозаправочную станцию в Граубюндене близ Кура. Их фирма собиралась ликвидировать эту станцию ввиду полной нерентабельности.

Сперва я не поверил этой новости, настолько она показалась мне несуразной, нелепой, бессмысленной.

Но представитель фирмы стоял на своем. Он даже уверял, что Маттеи и тут оказался на высоте. Заправочная станция процветает. У Маттеи уйма клиентов. Но по большей части таких, с которыми он раньше имел дело, только в другом плане. Должно быть, в определенном кругу распространились слухи, что «Маттеи — каюк злодеям» произведен в сторожа при бензоколонке, и теперь к нему со всех сторон слетаются и съезжаются на своих машинах прежние «питомцы». Тут можно увидеть решительно всё — от допотопных драндулетов до самых шикарных автомобилей марки «мерседес». Бензоколонка Маттеи превратилась в место паломничества уголовного мира со всей Восточной Швейцарии. Сбыт горючего непрерывно растет. Совсем недавно фирма установила у него вторую колонку для высокооктанового бензина. И предложила ему

построить современное здание вместо старой развалины, в которой он теперь живет. Он с благодарностью отклонил предложение и отказался взять помощника. Автомобили и мотоциклы часто выстраиваются в длинную очередь, но никто не выражает нетерпения. Уж очень, по-видимому, лестно сознавать, что тебя обслуживает бывший обер-лейтенант кантональной полиции.

Я не знал, что сказать. Представитель фирмы откланялся, но теперь обед уже не пробуждал во мне аппетита, я поел кое-как и потребовал пива. Позднее, как всегда, явился Хенци с урожденной Хоттингер. Он был мрачен, потому что где-то проголосовали не так, как ему хотелось. Выслушав новость, он заявил, что Маттеи решительно спятил, как он, Хенци, и предсказывал. После этого он сразу повеселел и съел два бифштекса, между тем как Хоттингер безостановочно лопотала о театре. Она там даже кое с кем знакома.

Спустя несколько дней зазвонил телефон. А мы как раз заседали. И, конечно, опять с городской полицией. Звонила заведующая сиротским приютом. Старая дева взволнованно сообщила мне, что к ней явился Маттеи в парадном черном костюме, верно, для солидности, и спросил, не может ли он взять себе девочку из числа ее подопечных, как она выразилась. Ему нужна вполне определенная девочка. Он, видите ли, всегда мечтал иметь детей, а теперь, когда он один, как перст, хозяйничает в гараже близ Кура, у него появилась возможность заняться воспитанием ребенка. Она, разумеется, отклонила его просьбу, очень вежливо сославшись на устав приюта; однако мой бывший обер-лейтенант произвел на нее настолько странное впечатление, что она почла своим долгом осведомить меня. Высказав все это, она повесила трубку. Вот уж в самом деле поразительное известие. От рассеянности я усиленно пыхтел своей «Баианос». Но окончательно у нас махнули рукой на Маттеи, когда выяснилась новая подробность его поведения. Нам пришлось как-то вызвать на Казарменную улицу весьма сомнительную личность. Неофициально это был сутенер, официально — дамский парикмахер; он удобнейшим образом расположился в роскошной вилле над озером, посреди неоднократно вдохновлявшего поэтов селения. Такси и собственные машины так и сновали туда и сюда. Едва я начал его допрашивать, как он поспешил поддеть меня и козырнул сенсационной новостью, а сам при этом так и сиял от злорадства. Маттеи живет на заправочной станции не один, а с Хеллершей. Я сейчас же связался с Куром, затем с ведающим тем районом полицейским участком — известие подтвердилось. У меня от потрясения отнялся язык. Дамский парикмахер торжествующе восседал у моего письменного стола и жевал резинку. Я капитулировал и велел отпустить старого греховодника с богом. Он обыграл нас.

Факт был вопиющий. Я не знал, что думать, Хенци рвал и метал, прокурор брезгливо морщился, а в Союзном совете, куда не замедлил дойти слух, прозвучало слово «позор». Хеллер однажды уже была гостьей у нас на Казарменной улице. Ее товарка... ну, в общем, тоже дама с громкой репутацией... была найдена убитой; мы подозревали, что Хеллер известно об этом деле больше, чем она говорит. Ее тут же выслали из кантона Цюрих, хотя ничего криминального за ней не числилось, если не считать ее ремесла. Но среди начальства всегда найдутся люди с предрассудками. А сейчас я решил вмешаться, съездить на место действия. Я смутно догадывался, что поведение Маттеи как-то связано с Гритли Мозер, но как — не мог понять. От этого непонимания я злился и чувствовал себя неуверенным, а ко всему еще примешивалось профессиональное любопытство. И как человек порядка, я решил выяснить, в чем же здесь дело.

■

Я пустился в путь один на своей машине. День опять был воскресный. И вообще, когда я оглядываюсь назад, мне представляется, что все самое важное в этой истории приходилось именно на воскресные дни. Повсюду колокольный перезвон — казалось, гудит и звенит вся страна. В кантоне Швиц я угодил в какую-то процессию. На шоссе — машина за машиной, по радио — проповедь за проповедью. А позднее в каждой деревне — пальба, треск, свист и грохот возле тира. Кругом царила какая-то дикая, бессмысленная суета — казалось, вся Восточная Швейцария ходит ходуном; где-то были автомобильные гонки, уйма машин понаехала из Западной Швейцарии, целые семьи, целые кланы снялись с мест, и когда я, наконец, добрался до знакомой вам заправочной станции, меня уже совсем доконала оглушительная благодать господнего дня. Я огляделся. Станция тогда еще не была в таком запущенном состоянии, вид у нее был скорее привлекательный, кругом прибрано, на подоконниках герани. Кабачка тоже еще не существовало. Во всем чувствовалась какая-то мещанская положительность. Может быть, такому впечатлению способствовали попадавшиеся повсюду предметы детского обихода — качели, на скамье большой кукольный дом, рядом кукольная коляска, лошадь-качалка. Сам Маттеи как раз обслуживал клиента, который поспешно убрался на своем «фольксвагене», едва я вышел из моего «оппеля».

Около Маттеи стояла белобрысая девочка лет семи-восьми с куклой на руках. Одета она была в красное платьице. Девочка показалась мне знакомой, я не мог понять — почему, на Хеллершу она ничуть не была похожа.

— Ведь это был Рыжий Мейер,— заметил я, указывая на удаляющийся «фольксваген».— Выпущен год назад.

— Бензин? — равнодушно спросил Маттеи. На нем был синий комбинезон.

— Высокооктановый.

Маттеи наполнил бензобак, протер стекло.

— Четырнадцать тридцать.

Я дал ему пятнадцать, он протянул сдачу.

— Не нужно,— сказал я и тут же сам покраснел.— Простите, Маттеи, это у меня вырвалось машинально.

— Ну что вы, я уже привык,— возразил он и спрятал деньги.

Я не знал, что сказать, и снова посмотрел на девочку.

— Славная малышка,— заметил я.

Маттеи открыл дверцу моей машины.

— Желаю вам благополучно доехать.

— Н-да, мне, собственно, хотелось поговорить с вами,— пробормотал я.— Какого черта вы все это затеяли, Маттеи?

— Я обещал больше не беспокоить вас, майор, по поводу дела Гритли Мозер, ответьте и вы тем же: не беспокойте меня,— заявил он и повернулся ко мне спиной.

— Перестаньте ребячиться, Маттеи.

Он промолчал. Вдруг где-то рядом засвистело, затрещало. Должно быть, и здесь функционировал тир. Было уже около одиннадцати. Я подождал, пока Маттеи обслужил блестящую «альфа-ромео».

— Этот тоже в свое время отбыл три с половиной года,— заметил я, когда машина уже тронулась.— Нельзя ли войти в дом, мне действует на нервы эта несносная пальба. Сил моих больше нет.

Он повел меня в дом. В коридоре мы наткнулись на Хеллершу — она несла из подвала картофель. Она все еще была хороша собой, и я, вспомнив прошлое, почувствовал неловкость и укол совести. Женщина вопросительно посмотрела на нас, как будто немного встревожилась, но затем приветливо со мной поздоровалась и вообще произвела на меня благоприятное впечатление.

— Это ее ребенок? — спросил я, после того как она скрылась на кухне.

Маттеи утвердительно кивнул.

— Где вы ее откопали? — спросил я.

— Здесь, поблизости. Она работает на кирпичном заводе.

— А зачем она здесь?

— Кто-то же нужен мне, чтобы вести хозяйство.

Я покачал головой.

— Мне надо поговорить с вами наедине.

— Поди на кухню, Аннемари,— приказал Маттеи.

Девочка вышла.

Комната была обставлена бедновато, но опрятно. Мы сели к столу у окна. Снаружи палили во всю мочь, без передышки.

— Что вы затеяли, Маттеи? — повторил я свой вопрос.

— Ничего особенного, майор,— ответил мой бывший комиссар.— Я ловлю рыбку.

— Что вы хотите сказать?

— Работаю по специальности, майор.

Я в раздражении закурил «Баианос».

— Я не новичок в этом деле, но тут я ни черта не понимаю.

— Дайте мне такую же.

— Пожалуйста.— Я протянул ему портсигар.

Маттеи поставил графин вишневки. Мы сидели на самом солнце; окно было полуоткрыто; снаружи, за геранями — теплый июньский денек и непрерывная пальба.

Если подъезжала машина, ее обслуживала Хеллер, впрочем, к середине дня их стало меньше.

— Лохер, конечно, передал вам наш разговор,— сказал Маттеи, сосредоточенно раскуривая сигару.

— Это нам ничего не дало.

— Зато мне дало.

— Что именно?

— Детский рисунок соответствует действительности.

— Вот как! А что означают ежики?

— Этого я еще не знаю,— признался Маттеи.— Зато я додумался, что изображает зверь со странными рогами.

— Что же?

— Козерога,— спокойно заявил Маттеи, затянулся сигарой и выпустил дым под потолок.

— Для этого вы и ходили в зоологический сад?

— Изо дня в день. Мало того: я заставлял детей рисовать козерога. Их рисунки были как две капли воды похожи на зверя Гритли Мозер.

Я все понял.

— Козерог — геральдический зверь Граубюндена,— сказал я.— Герб этого кантона.

Маттеи кивнул.

— Герб на табличке с номером машины привлек внимание Гритли.

Решение было донельзя простое.

— Не грех бы нам и раньше сообразить,— проворчал я.

Маттеи наблюдал, как нарастает на сигаре пепел, как курится дымок.

— Все мы — вы, Хенци и я — совершили кардинальную ошибку, предположив, что убийца — житель Цюриха,— невозмутимо пояснил он.— На самом деле он из Граубюндена. Я обследовал все места преступлений, и все произошли на трассе Граубюнден — Цюрих.

Я задумался.

— Вы правы, Маттеи, это не случайность,— поневоле признался я.

— Погодите, я не кончил.

— Ну?

— Я встретил рыболовов.

— Рыболовов?

— Точнее, парнишек, которые удили рыбу.

Я недоуменающе уставился на него.

— Дело в том, что после своего открытия я прежде всего поехал в кантон Граубюнден. Это было вполне логично. Но очень скоро я понял, что это глупо. Кантон Граубюнден велик, и довольно мудрено отыскать в нем человека, о котором известно только одно,— что он большого роста и ездит на черной американской машине старого образца. Шутка сказать: свыше семи тысяч квадратных километров и свыше ста тридцати тысяч человек, разбросанных по великому множеству долин!

И вот сижу я в один холодный день на берегу Инна, в Энгадине, не знаю, что мне делать, и смотрю на подростков, которые возятся у самой воды. Я уже собрался отвернуться, как вдруг заметил, что парнишки обратили на меня внимание, явно испугались и в нерешительности топчутся на месте. В руках у одного из них была самодельная удочка. «Уди себе на здоровье»,— сказал я. Они недоверчиво посмотрели на меня. «Вы из полиции?» — спросил рыжий, веснушчатый мальчонка лет двенадцати. «А что, я похож на полицейского?» «Кто вас знает!» — заметил он. «Нет, я не из полиции»,— уверил я их и стал смотреть, как они закидывают в воду наживку... Их было пятеро подростков, и все были поглощены своим занятием. «Не клюет»,— безнадежно сказал немного погодя веснушчатый, взобрался на берег и подошел ко мне. «У вас не найдется сигареты?» — спросил он. «Еще чего! В твои-то годы!» «А, по-моему, вы такой, что дадите»,— заметил парнишка. «Что ж, придется дать»,— и я протянул ему пачку «Парижских». Веснушчатый поблагодарил, сказал, что спички у него есть, и принялся пускать дым через ноздри. «Хоть какое-то утешение после провала рыбной ловли»,— важно изрек он. «Твои приятели, видно, терпеливее тебя,— заметил я.— Они продолжают удить, и у них наверняка что-нибудь клюнет».— «Ничего не клюнет, разве что хариус». «А тебе подавай щуку?» — поддразнил я его. «Щуки мне ни к чему,— возразил мальчик.— Мне нужны форели. Но это требует денег». «Как так? — удивился я.— В детстве я их рукой ловил». Он пренебрежительно помотал головой. «Должно быть, молодь. А попробуйте ухватите рукой взрослого хищника! Форель тоже хищная рыба, как щука, только ловить ее труднее. И надо патент выправить, а он стоит денег»,— добавил мальчуган. «Ну, вы и без денег устраиваетесь»,— засмеялся я. «Вся беда в том, что настоящие места не для нас. Там сидят те, у кого есть патент». «А что ты называешь настоящими местами?» — полюбопытствовал я. «Ничего вы не смыслите в рыбной ловле!» — заявил мальчуган. «Я и сам это вижу»,— согласился я. Оба мы сидели теперь на прибрежном откосе. «Вы что, думаете, закинь удочку куда попало, и все?» Я удивился и спросил: «А разве не так?» «Типичная ошибка новичка,— изрек веснушчатый и выпустил дым через ноздри.— Чтобы удить, надо знать, во-первых, место, а во-вторых, наживку». Я слушал очень внимательно. «Допустим, вы хотите поймать форель, взрослого хищника,— поучал мальчик.— Прежде всего надо сообразить, где она чаще всего водится. Ну, понятно, в таком месте, где течение сильнее, где проплывает много рыбешек и где сама она может укрыться от течения. Значит — вниз по реке за большим камнем или еще лучше — вниз по реке за устоями моста. А такие места все, понятно, заняты рыболовами с патентом». «Надо, чтобы течению была поставлена преграда»,— сказал я. «Поняли!» — свысока одобрил он. «А наживка?» — спросил я. «Смотря кого вы ловите — хищную рыбу или, скажем, хариуса или угря. Эти — вегетарианцы! Угря можете поймать хоть на ягоду. А хищная рыба — форель или еще окунь,— та ловится только на живую приманку. На комара, на червяка или на мелкую рыбешку». «На живую приманку,— задумчиво повторил я, вставая.— На, бери,— и я протянул мальчику всю пачку «Парижских».— Ты их заработал. Теперь я знаю, как ловить мою рыбку. Сперва найти место, а потом приманку».

Маттеи умолк. Я долго не говорил ни слова, потягивал вишневку, поглядывал в окно на ясный весенний денек с непрерывной пальбой, потом снова раскурил потухшую сигару.

— Теперь я понимаю, почему вы сказали, что удите рыбку. Тут, у бензоколонки, благоприятное место, а шоссе — та же река, правильно?

— Всякий, кто направляется из Граубюндена в Цюрих, неминуемо должен проехать по ней, если не хочет сделать крюк через Верхнеальпийский перевал,— невозмутимо ответил он.

— А девочка — это наживка? — спросил я и сам испугался.

— Ее зовут Аннемари,— ответил Маттеи.

— Теперь я понял, на кого она похожа. На убитую Гритли Мозер,— сказал я.

И опять мы оба замолчали. Снаружи потеплело, горы искрились за дымкой испарений, и ни на минуту не утихала пальба, должно быть, где-то был праздник стрелков.

— По-вашему, это не вероломство? — нерешительно выговорил я.

— Пожалуй,— произнес он.

— И вы намерены дожидаться здесь, пока убийца проедет мимо, увидит Аннемари и попадет в ловушку, которую вы ему приготовили? — с тревогой спросил я.

— Убийца непременно проедет мимо,— ответил он.

— Хорошо, допустим, вы правы, такой убийца существует,— подумав, сказал я.— Эта возможность не исключена. В нашем ремесле все возможно, но не слишком ли рискован ваш метод?

— Другого метода нет,— возразил он и выбросил в окно окурок сигары.— Я ничего не знаю об убийце. Искать его я не могу, значит, мне надо было отыскать его будущую жертву и выставить ребенка как наживку.

— Отлично, но свой метод вы заимствовали из рыболовства. Одно отнюдь не перекрывается другим. Не можете же вы постоянно держать девочку как приманку у шоссе, ей надо ходить в школу. И сама она, верно, рада сбежать с вашей проклятой дороги.

— Скоро начнутся летние каникулы,— стоял на своем Маттеи.

Я покачал головой.

— Так недолго свихнуться. Вы собираетесь сидеть здесь и ждать чего-то, что может никогда не случиться. Допустим, все данные за то, что убийца проедет здесь. Но из этого еще не следует, что он клюнет на вашу приманку, как вы изволите выражаться. А вы будете ждать и ждать.

— Когда удишь рыбу, тоже приходится ждать,— упрямо повторил Маттеи.

Я выглянул в окно и увидел, что Хеллер обслуживает Оберхольцера — шесть лет в Регенсдорфе по совокупности.

— Хеллер знает, зачем вы здесь?

— Нет, я ей просто сказал, что мне нужна домоправительница,— ответил он.

У меня было смутно на душе. Этот человек внушал невольное уважение, столь необычным и дерзновенным был его замысел. Я восхищался им, желал ему успеха, хотя бы ради того, чтобы унизить пошляка Хенци; и вместе с тем я считал, что его план несбыточен, риск слишком велик, а виды на успех слишком малы.

— Слушайте, Маттеи, время еще не упущено,— пытался я образумить его,— должность в Иордании еще за вами, а иначе, того и гляди, из Берна пошлют Шафрота.

— Пусть себе едет.

Я не сдавался.

— Ну, а к нам вы не хотели бы вернуться?

— Нет.

— Мы бы для начала заняли вас работой на месте, но условия остались бы прежние.

— Не хочу.

— Можете также перейти в городскую полицию. Тут уж смотрите, что вас больше устроит материально.

— Как владелец бензоколонки я зарабатываю даже больше, чем на государственной службе,— ответил Маттеи.— Но вон подъехал новый клиент, а фрау Хеллер, должно быть, жарит свинину.

Он поднялся и вышел. Вслед за первым подъехал еще один клиент. Красавчик Лео. Когда Маттеи кончил их обслуживать, я уже сидел в своей машине.

— Я вижу, вас не переупрямишь, Маттеи,— сказал я на прощанье.

— Что делать! — ответил он и подал мне знак, что дорога свободна. Рядом с ним стояла девочка в красном платьице, а на порог вышла Хеллер в кухонном переднике, и во взгляде ее я опять прочел недоверие. Я поехал домой.

Итак, он ждал. Непреклонно, упорно, страстно. Он обслуживал потребителей, качал бензин, доливал масло, воду, протирал стекла, выполнял одну и ту же механическую работу. Девочка, возвратившись из школы, вприпрыжку бегала от него к кукольному дому, восхищалась, лопотала про себя или пела, сидя на качелях, а косички и красное платьице развевались на ветру. Он ждал и ждал. Мимо ехали автомобили, машины всех расцветок и всех марок, новые машины, старые машины. Он ждал. Он записывал номера всех автомобилей из Граубюндена, разыскивал в указателе фамилии владельцев, справлялся о них по телефону в общинных канцеляриях. Фрау Хеллер работала на небольшом заводе, за деревней в сторону гор, и возвращалась к вечеру по склону позади дома с продуктовой сумкой и сеткой, полной

хлеба, а ночью, случалось, кто-то шнырял вокруг дома и зазывно свистел, но она не отворяла. Наступило лето, жаркое, нескончаемое, слепящее, душное, с частыми грозами. Так подошли летние каникулы, на которые Маттеи возлагал главные надежды. Аннемари постоянно была возле него, а значит, возле дороги, на виду у каждого проезжающего. Он ждал и ждал. Он забавлял девочку, рассказывал ей сказки, всего Гримма, всего Андерсена, «Тысячу и одну ночь», сам сочинял, выбивался из сил, лишь бы удержать девочку около себя, у дороги, где она была ему нужна. Она и не уходила, ей нравились забавные истории и сказки. Автомобилисты умилялись, глядя на идиллическую чету — отца и дочку, дарили девочке шоколад, болтали с ней под настороженным взглядом Маттеи. Что, если этот грузный мужчина и есть убийца? Его машина из Граубюндена. Или тот, тощий, долговязый, который сейчас разговаривает с девочкой? По точным сведениям, у него кондитерская в Дисентис. «Масла добавить? Пожалуйста. Долью еще пол-литра. Двадцать три десять. Счастливо доехать!» Он ждал и ждал. Аннемари к нему привязалась, ей было весело с ним; а он думал только о появлении убийцы. Для него не существовало ничего, кроме веры в появление убийцы, кроме надежды, что исполнится это его страстное желание. Он рисовал себе, как явится вдруг такой мускулистый, угловатый, инфантильный верзила, простодушный и кровожадный, как зачастит к ним на заправочную станцию с ласковой ухмылкой, в парадном костюме, то ли железнодорожник на пенсии, то ли отставной таможенный чиновник; как постепенно приручит девочку, увлечет за собой, как он, Маттеи, крадучись, пригнувшись, последует за ними в лесок позади дома; как выскочит в критическую минуту, и дело дойдет до яростной кровавой схватки один на один, до развязки, до избавления, как убийца будет лежать побитый у его ног и, скуля, сознается во всем. Но, опомнившись, Маттеи говорил себе, что всего этого быть не может, уж очень явно он следит за девочкой. Чтобы добиться желанного результата, надо предоставить ей больше свободы. И он разрешал Аннемари уходить с шоссе, но сам тайком шел за ней следом, бросая бензоколонку, перед которой нетерпеливо сигналили машины. Девочка вприпрыжку бежала в деревню, куда было с полчаса ходьбы, играла с ребятишками возле домов или на опушке, но очень скоро возвращалась обратно. Она привыкла к одиночеству и дичилась, а ребятишки, в свою очередь, сторонились ее. Немного погодя Маттеи менял тактику, придумывал новые игры и новые сказки, чтобы опять привлечь к себе Аннемари. Он ждал и ждал, неотступно, непоколебимо. Без каких-либо объяснений. Хеллер давно подметила, какое исключительное внимание он оказывает ребенку. Она с самого начала не верила, что Маттеи взял ее в домоправительницы из чистого человеколюбия. Ей было ясно, что у него есть какая-то задняя мысль, но, пожалуй, впервые в жизни она обрела прочное пристанище и потому старалась не вдумываться; может, она лелеяла тайные надежды — кто скажет, что творится в душе такой жалкой бабенки; однако с течением времени она уверовала в искреннюю привязанность Маттеи к ее ребенку, хотя иногда в ней брала верх привычная недоверчивость и трезвый взгляд на жизнь.

— Конечно, это не мое дело, но скажите, господин Маттеи, начальник кантональной полиции приезжал сюда из-за меня? — спросила она однажды.

— Да нет же, на что вы ему? — ответил Маттеи.

— В деревне поговаривают на наш счет.

— Какая важность!

— Скажите, господин Маттеи,— не унималась она,— ваше пребывание здесь связано с Аннемари?

— Что за чушь! — рассмеялся он.— Я попросту привязался к ней, фрау Хеллер.

— Вы очень добры к нам с Аннемари,— ответила она,— как бы я хотела знать отчего!

Летние каникулы пришли к концу, наступила осень; очертания красного с желтым ландшафта были резки и четки, как под лупой. Маттеи представлялось, что благоприятный случай упущен безвозвратно; и все-таки он ждал. Ждал. Ждал упрямо, упорно. Девочка ходила пешком в школу. В обед и вечером он обычно встречал ее и привозил на своей машине домой. Его планы казались все бессмысленнее, несбыточней, шансы на успех все ничтожней; ему это было ясно; убийца, по всей вероятности, проезжал мимо бензоколонки уже много раз, возможно, каждый день и уж безусловно каждую неделю, а до сих пор ничего не произошло, до сих пор он блуждает в потемках, и не за что ухватиться, ни намека на подозрение, автомобилисты приезжают и уезжают, иногда затевают с девочкой безобидный разговор, ничем себя не выдавая. Который же тот, кого он ищет, а может, такого и вообще нет среди них? Возможно, его неуспех объяснялся тем, что многие знали, кем он был раньше; впрочем, этого он не мог и не рассчитывал предотвратить. Несмотря ни на что, он гнул свою линию, он ждал и ждал. Отступать все равно было некуда. Ожидание — единственное, что ему оставалось, пусть временами он чувствовал, что изнемогает, что готов сложить чемоданы и убежать, уехать, хоть в ту же Иорданию, пусть иногда он боялся сойти с ума. Выпадали и такие часы и даже целые дни, когда его одолевало безразличие, апатия, когда, махнув на все рукой, он сидел на скамье перед заправочной станцией, пил рюмку за рюмкой и смотрел в землю, усыпанную окурками сигар. Минутами он встряхивался, но сейчас же еще глубже погружался в дремотное безразличие, растрачивал дни, недели на тупое, бессмысленное, бредовое ожидание. Безна-

дежно замученный, загубленный человек и все же полный надежды. Однажды он сидел так, небритый, усталый, измазанный маслом, и вдруг вскочил как ужаленный. До его сознания дошло, что Аннемари опоздала из школы. Он бросился ей навстречу пешком. Негудронированная пыльная дорога за домом отлого шла в гору, потом спускалась на выжженную поляну и пересекала лес, с опушки которого была уже видна деревня, старые домики, приземистая церковь, голубой дымок над трубами. Вся дорога, по которой обычно ходила Аннемари, расстилалась как на ладони, но девочки не было и следа. Маттеи снова повернулся к лесу, в миг стряхнув с себя дремоту и насторожившись. Низенькие елки, кустарник, шуршащая красная и рыжая палая листва, стук дятла где-то в чаще, где высокие ели заслоняют небо, а солнце косыми лучами пробивается между ними. Маттеи сошел с дороги, продираясь сквозь колючки, сквозь низкую поросль, отстраняя бьющие в лицо ветви, достиг прогалины и с удивлением огляделся. Здесь он не бывал ни разу. С другого края леса сюда выходила широкая дорога, по ней, очевидно, свозили из деревни отбросы — целая гора золы наросла на прогалине. С боков валялись консервные банки, мотки ржавой проволоки и прочий хлам, вся эта куча мусора сползала к ручейку, журчавшему посреди прогалины. Тут только Маттеи заметил девочку. Она сидела у серебристого ключа, положив куклу и ранец рядом, на бережок.

— Аннемари,— окликнул ее Маттеи.

— Сейчас иду,— ответила девочка, но не двинулась с места.

Маттеи осторожно перелез через мусорную кучу и остановился перед девочкой.

— Что ты тут делаешь? — спросил он.

— Жду.

— Кого?

— Волшебника.

Голова у нее была забита сказками — как будто в насмешку над его ожиданием она ждала то фею, то волшебника. И на него снова навалилось отчаяние, сознание бесполезности всех его усилий и парализующая волю уверенность, что все-таки надо ждать, что ничего больше сделать нельзя, как только ждать, ждать.

— Пойдем же,— равнодушно сказал он, взял девочку за руку и пошел с ней по лесу к дому, опять сел на скамью и опять уставился в землю. Наступили сумерки, пришла ночь; ему все стало безразлично; он сидел, курил и ждал, ждал, как автомат, упрямо, неумолимо и только временами бессознательно шепотом заклинал: «Приди же, приди, приди, приди»; сидел не шевелясь в бледном лунном свете и вдруг уснул. Весь закоченев, проснулся под утро и поплелся в постель.

На следующий день Аннемари вернулась из школы раньше обычного. Маттеи только встал со скамьи и собрался ее встретить, как она показалась на дороге, тихонько про себя напевая, перепрыгивая с ноги на ногу. Ранец был у нее за плечами, а кукла в опущенной ручонке, и кукольные ноги волочились по земле.

— Уроки задали? — спросил Маттеи.

Аннемари помотала головой и, продолжая петь «Сидела Мария на камне», вошла в дом. Он не стал ее удерживать — слишком он был растерян, обескуражен, утомлен, чтобы придумывать ей новые сказки, привлекать ее новыми играми.

Но когда Хеллер вернулась домой, она сразу же спросила:

— Аннемари хорошо себя вела?

— Да ведь она была в школе,— ответил Маттеи.

Хеллер удивленно посмотрела на него.

— Как в школе? У нее сегодня не было занятий. У них там учительская конференция или что-то еще.

Маттеи насторожился. Разочарованности последних дней как не бывало. Он почуял, что близится осуществление его надежд, его безрассудных ожиданий. С великим трудом взял он себя в руки. Перестал расспрашивать Хеллер. Ничего больше не выпытывал у девочки. Однако на следующий день он поехал в деревню и поставил машину в переулке. Ему хотелось тайком понаблюдать за девочкой. Время близилось к четырем. Из окон послышалось пение, потом шум и крик, ребята повалили из школы, подняли возню, мальчишки дрались, швырялись камнями, девочки шли под ручку, но Аннемари не было среди них. Появилась учительница. С неприступным видом строго оглядела Маттеи, сообщила ему, что Аннемари не была в школе, не больна ли она — позавчера после обеда она тоже не приходила и даже записки из дому не принесла. Маттеи ответил, что девочка действительно больна, простился и, не помня себя, помчался на машине в лес. Прежде всего он бросился на прогалину, но никого не нашел. Выбившись из сил, тяжело дыша, исцарапавшись в кровь колючками, он вернулся к машине и поехал назад на заправочную станцию, но, не доехав, увидел, что девочка вприпрыжку бежит домой по обочине. Он затормозил.

— Садись, Аннемари,— ласково позвал он, отворив дверцу.

Маттеи протянул девочке руку, и она взобралась в машину. Он удивился. Ладошка у девочки была липкая. И когда он взглянул на собственную руку, на ней оказались следы шоколада.

— Кто тебе дал шоколад? — спросил он.

— Одна девочка,— ответила Аннемари.

— В школе?

Аннемари кивнула. Маттеи замолчал. Остановил машину у дома. Аннемари вылезла и села на скамью возле бензоколонки. Маттеи не спускал с нее глаз. Девочка положила что-то в рот и принялась жевать. Он медленно подошел к ней.

— Покажи-ка,— потребовал он и осторожно разжал ее кулачок. На ладошке лежал надкусанный колючий шоколадный шарик. Трюфель.— У тебя их много? — спросил Маттеи.

Девочка помотала головой.

Комиссар полиции сунул руку в карман ее юбочки, достал носовой платок, развернул его — там лежало еще два трюфеля.

Девочка молчала.

Маттеи тоже не говорил ни слова. Безмерная радость охватила его. Он сел на скамью рядом с девочкой.

— Аннемари,— начал он наконец дрожащим голосом, бережно держа на ладони оба колючих шоколадных шарика.— Тебе их дал волшебник?

Девочка молчала.

— Он запретил тебе рассказывать о вашей встрече?

Ни звука в ответ.

— И не рассказывай,— ласково согласился Маттеи.— Он хороший волшебник. Пойди к нему завтра опять.

Личико Аннемари мгновенно озарилось огромной радостью. Вся горя от счастья, девочка обняла Маттеи и убежала наверх, в свою комнату.

■

На следующее утро, в восемь часов, не успел я войти в свой служебный кабинет, как Маттеи положил мне на стол шоколадные трюфели; от волнения он чуть не забыл поздороваться. Он был в своем прежнем костюме, но без галстука и небритый. Взяв сигару из ящика, который я ему подвинул, он задымил вовсю.

— На что мне ваш шоколад? — растерянно спросил я.

— Ежики,— произнес Маттеи.

Я в изумлении уставился на него, вертя в руке шоколадные шарики.

— Как это?

— Очень просто! Убийца давал Гритли Мозер трюфели, а в ее воображении они превратились в ежиков. Детский рисунок разгадан до конца.

Я рассмеялся.

— Как вы это докажете?

— То же самое случилось с Аннемари.— И Маттеи принялся докладывать.

Меня сразу же убедило его сообщение. Я вызвал Хенци, Феллера и четырех нижних чинов, дал указания и осведомил прокурора. Затем мы тронулись в путь. На заправочной станции не было ни души. Фрау Хеллер отвела дочку в школу, а сама пошла на завод.

— Хеллер знает, что происходит? — спросил я.

Маттеи отрицательно покачал головой.

— Понятия не имеет.

Мы отправились на прогалину. Обшарили ее всю, но ничего не нашли. После этого мы рассеялись по лесу. Время близилось к полудню. Маттеи вернулся на станцию, чтобы не возбуждать подозрений. День был удачный — четверг, по четвергам после обеда в школе занятий не бывало. Гритли Мозер погибла тоже в четверг — мелькнуло у меня в голове. Это был солнечный, теплый и сухой осенний день, кругом гудели пчелы, шмели, еще какие-то насекомые, гомонили птицы, вдалеке гулко стучал топор. Два часа — явственно прозвонили деревенские колокола, и вскоре показалась девочка, как раз напротив того места, где стоял я; без труда, вприпрыжку, пританцовывая, прошмыгнула сквозь кустарник, уселась со своей куклой у ручейка и блестящими от возбуждения глазами принялась неотступно, пристально смотреть в лес; она явно кого-то ждала, но нас она не видела. Мы притаились за деревьями и кустарником; неслышно ступая, пришел Маттеи и поблизости от меня тоже прижался к стволу дерева.

— Думаю, он явится через полчаса,— прошептал комиссар полиции.

Я молча кивнул.

Все было организовано тщательнейшим образом. Доступ в лес со стороны шоссе находился под наблюдением, там даже установили радиоаппаратуру. Мы все были вооружены револьверами. Девочка сидела у ручейка, почти не шевелясь, в трепетном, восторженном, самозабвенном ожидании; она сидела спиной к мусорной куче, то на солнце, то в тени одной из высоких темных елей; кругом не слышно было ни звука — ничего, кроме жужжания насекомых и птичьего щебета, да девочка время от времени напевала про себя тоненьким голоском: «Сидела Мария на камне», без конца повторяя те же слова того же стиха; а вокруг камня, на котором она сидела, громоздились консервные банки, канистры и проволока; изредка на прогалину налетал внезапный порыв ветра, листва кружилась, шурша, и снова все стихало. Мы ждали. Для нас ничего больше не существовало на свете, кроме околдованного осенними чарами леса

и девочки в красном платьице посреди прогалины. Мы ждали убийцу, мы жаждали справедливости, расплаты, кары. Полчаса прошли давным-давно; прошло целых два часа. Мы ждали и ждали, сами ждали теперь так, как Маттеи ждал недели и месяцы. Пробило пять; тени сгустились, стало смеркаться, поблекли, потускнели сочные краски. Девочка убежала вприпрыжку. Никто из нас не проронил ни слова, даже Хенци молчал.

— Завтра придем опять,— решил я.— Переночуем в Куре. В гостинице «Козерог».

Так мы прождали пятницу и субботу. Собственно, мне следовало привлечь граубюнденскую полицию. Но нет, это было сугубо наше дело. Я не хотел давать объяснения, терпеть постороннее вмешательство. Прокурор звонил уже в четверг вечером, возмущался, протестовал, грозил, говорил, что все это чушь, бушевал, требовал нашего возвращения. Я не сдавался и только согласился отпустить одного нижнего чина. Мы ждали и ждали. Мы уже не думали ни о девочке, ни об убийстве, мы думали о Маттеи, нам важно было, чтобы он оказался прав и достиг цели, иначе не миновать беды; все мы это понимали, даже Хенци; он не высказывал ни малейших сомнений, в пятницу вечером заявил, что убийца непременно явится в субботу, у нас же есть такие неопровержимые доказательства, как ежики, да и девочка упорно возвращается на то же место и сидит, не шевелясь, ясно, что она кого-то ждет. Так мы и стояли часами, притаившись за деревьями и кустарниками, глазели на девочку, на консервные банки, на мотки проволоки, на мусорную кучу, курили, не разговаривали, не двигались и без конца слушали одно и то же: «Сидела Мария на камне». В воскресенье ситуация стала сложнее. Хорошая погода удерживалась, и лес наводнили гуляющие; какой-то смешанный хор с регентом во главе вторгся на прогалину и выстроился там, галдя, потея, скинув пиджаки, потом оглушительно загремело «В движенье мельник жизнь ведет, в движенье...» По счастью, мы торчали за деревьями в штатском. «Небеса возносят предвечному славу... а нам живется чем доле, тем хуже». Затем явилась влюбленная парочка и повела себя весьма вольно, не смущаясь присутствием ребенка; девочка четвертый день подряд просиживала здесь с непостижимым терпением, в необъяснимом ожидании. Мы ждали и ждали. Трое нижних чинов тоже вернулись восвояси вместе с радиоаппаратурой; нас осталось четверо — кроме меня и Маттеи еще Хенци и Феллер, но и это уже было самоуправство; впрочем, строго говоря, только три дня могли идти в счет, в воскресенье обстановка складывалась слишком неблагоприятно для убийцы. В этом Хенци был прав, а потому мы прождали еще понедельник. Во вторник утром Хенци уехал. Надо же было кому-то следить за порядком на Казарменной улице. Однако и уезжая, Хенци не сомневался в нашем успехе. Мы ждали, ждали и ждали. Караулили и караулили, каждый сам по себе: чтобы правильно организовать слежку, нас осталось слишком мало. Феллер расположился в тени за кустарником и так разомлел от запоздалой летней жары, что разок даже громко всхрапнул, и ветер разнес его храп по прогалине; это случилось в среду. Маттеи стоял на той стороне прогалины, которая ближе к бензоколонке; я же обозревал место действия с другой стороны, напротив него. Так мы караулили и караулили, поджидая убийцу, ежикового великана, и вздрагивали от шума каждой машины, проезжавшей по дороге; а посередке между нами сидела девочка, загадочная, точно заколдованная, тупо и упорно каждый день сидела у ручья и пела: «Сидела Мария на камне»; мало-помалу она стала нам противна, ненавистна. Иногда она долго не приходила, слонялась вокруг деревни, волоча за собой куклу, но приблизиться боялась, потому что школу она совсем забросила; кстати, и это не обошлось без затруднений, я был вынужден поговорить наедине с учительницей, дабы пресечь розыски со стороны школы. Я слегка затронул обстоятельства дела, назвал себя и добился довольно нерешительного согласия. Затем девочка бродила вокруг леса, а мы следили за ней в полевые бинокли, но больше всего ее тянуло на прогалину — только не в четверг, весь этот день она, к великому нашему отчаянию, проторчала у бензоколонки. Нам ничего не оставалось, как надеяться на пятницу. Решение было всецело предоставлено мне; Маттеи давно уже ничего не говорил, а на следующий день, в пятницу, снова стоял за деревом, когда девочка в красном платьице, волоча куклу, вприпрыжку прибежала на прогалину и уселась, как в предшествующие дни. Погода по-прежнему была великолепная, сочные краски, прозрачные дали, последняя вспышка сил перед увяданием; но прокурор едва вытерпел полчаса. Он приехал в машине вместе с Хенци около пяти вечера, без предупреждения, свалился, как снег на голову, стал рядом со мной, а я маялся с часу дня, переминался с ноги на ногу и, багровея от злости, неотступно смотрел на девочку. «Сидела Мария на камне»,— донесся до нас писклявый голосок; я уже давно не мог слышать эту песню, не мог видеть эту девчонку, ее противный щербатый рот, тоненькие косички, безвкусное красное платьице; девчонка казалась мне омерзительной, плебейски уродливой, глупой, я готов был ее удушить, убить, растерзать, лишь бы не слышать этого дурацкого «Сидела Мария на камне». Есть от чего рехнуться. Все то же, все так же нелепо, бессмысленно, безнадежно, только что слой палой листвы стал толще, порывы ветра, пожалуй, участились, и солнце ярче золотило идиотскую мусорную кучу; нет, это было уже совсем непереносимо, и вдруг, словно разорвав опутавшие нас чары, прокурор рванулся вперед, пролез через кустарник и зашагал напрямик к девочке, не замечая, что по щиколотку

проваливается в золу; увидев, что он подходит к девочке, мы тоже выбежали из-за деревьев — пора было с этим кончать.

— Кого ты ждешь? — заорал прокурор.

Девочка испуганно уставилась на него, прижав к себе куклу.

— Отвечай, мерзкая козявка, кого ты ждешь?

Теперь подоспели все мы и окружили девочку, а она со страхом, с ужасом и недоумением оглядывала нас.

— Аннемари,— начал я дрожащим от злобы голосом,— неделю тому назад тебе дали шоколадки. Ты помнишь, конечно, шоколадки, похожие на ежиков? Тебе их подарил человек в черном костюме?

Девочка не ответила, только посмотрела на меня полными слез глазами.

Тогда Маттеи опустился на колени перед девочкой, обнял ее за плечики и принялся ей втолковывать.

— Понимаешь, Аннемари, ты должна рассказать нам, кто тебе дал шоколадки и какой из себя этот человек. Я знал когда-то одну девочку,— он старался говорить как можно убедительнее, понимая, что идет ва-банк,— эта девочка тоже ходила в красном платьице, и высокий человек в черном костюме тоже дарил ей шоколадки. Колючие шарики, какие ела ты. А потом девочка пошла с высоким человеком в лес, и там высокий человек зарезал девочку ножом.

Он замолчал. Девочка, все еще не говоря ни слова, смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Слышишь, Аннемари! — закричал Маттеи.— Скажи правду. Я же боюсь за тебя.

— Ты врешь,— прошептала девочка,— врешь.

Тут прокурор опять вышел из себя.

— Говори, дуреха, сейчас же говори правду! — заорал он, тряся девочку за плечо.

И все мы заорали вслед за ним, бессмысленно и глупо, просто потому, что потеряли над собой власть, мы тоже трясли девочку, а потом принялись ее избивать, мы жестоко, злобно, крича наперебой, изо всех сил колотили детское тельце, лежавшее среди консервных банок, на мусоре и красной листве.

Девочка терпела наше неистовство молча, долго, целую вечность, которая на самом деле длилась несколько секунд, а потом вдруг закричала таким страшным нечеловеческим голосом, что все мы оцепенели:

— Врешь, врешь, врешь!

Мы в ужасе отшатнулись, отрезвев от ее вопля и содрогаясь от стыда за собственное поведение.

— Мы животные, звери,— прохрипел я.

Девочка побежала через прогалину к опушке леса и при этом таким ужасным голосом кричала: «Врешь, врешь, врешь», что мы испугались, не потеряла ли она рассудок. Но она влетела прямо в объятия матери, которая, в довершение всех бед, как раз появилась на прогалине. Только ее нам не доставало! Ей все было известно. Учительница перехватила ее, когда она шла мимо школы, и проболталась ей — я сразу без расспросов догадался об этом. Несчастная женщина стояла, прижав к себе рыдающую девочку, и смотрела на нас таким же взглядом, какой недавно был у ее дочери. Разумеется, она знала нас всех в лицо — Феллера, Хенци и, увы, даже прокурора; положение было тягостное, идиотское — мы были смущены и чувствовали себя дураками; вся затея обернулась поганой, неблаговидной комедией.

— Врет, врет, врет,— не умолкая и не помня себя, кричала девочка,— врет, врет, врет.

Тогда Маттеи нерешительно и смиренно приблизился к ним.

— Фрау Хеллер,— начал он вежливо и даже подобострастно, что уже было совсем ни к чему, надо было только поскорее кончать с этой историей, кончать, кончать навсегда, перечеркнуть все дело, выкинуть из головы хитроумные домыслы, наплевать на то, есть убийца или нет его.— Фрау Хеллер, я выяснил, что неизвестный человек дарил Аннемари шоколад. У меня есть подозрение, что тот же человек несколько недель тому назад с помощью шоколада заманил в лес и убил девочку ее возраста...

Он говорил таким сухим, строго деловым языком, что я едва не прыснул. Хеллер спокойно посмотрела Маттеи в глаза и заговорила ему в тон, сдержанно и корректно.

— Господин доктор Маттеи,— спросила она вполголоса,— вы взяли нас с Аннемари на заправочную станцию только затем, чтобы найти этого человека?

— Другого способа не было, фрау Хеллер,— ответил комиссар.

— Вы скотина,— невозмутимо, не моргнув глазом, сказала Хеллер, взяла девочку за руку и пошла лесом к заправочной станции.

■

А мы стояли на прогалине, куда уже густо ложились тени, стояли среди пустых консервных банок и мотков ржавой проволоки, ноги тонули в мусоре и палой листве. Все кончилось, из нашего предприятия получилась смехотворная бессмыслица. Провал, катастрофа. Один Маттеи успел овладеть собой. Его фигура в синем комбине-

зоне являла собой подчеркнутое достоинство. Я не поверил собственным глазам, когда он, чопорно поклонившись прокурору, заявил:

— Господин доктор Буркхард, мы обязаны ждать дальше, другого выхода нет. Только ждать, ждать и опять-таки ждать. Если вы предоставите в мое распоряжение шестерых человек и радиоаппаратуру, я думаю, этого будет достаточно.

Прокурор в испуге воззрился на моего бывшего помощника. Он ожидал чего угодно, только не этого. Он как раз собирался отвести душу, теперь же он несколько раз судорожно глотнул, провел рукой по лбу, круто повернулся и зашагал по сухой листве, а затем вместе с Хенци скрылся в лесу. По моему знаку за ними последовал и Феллер.

Мы с Маттеи остались вдвоем.

— А теперь слушайте,— рявкнул я, твердо решив образумить его и кляня себя за то, что сам поддерживал эту дурацкую затею.— Вы же видите, операция провалилась. Мы прождали больше недели, и никто не явился.

Маттеи не ответил ни слова, только внимательно и настороженно огляделся по сторонам. Потом направился к опушке, обошел всю прогалину и вернулся назад. Я по-прежнему стоял на мусорной куче, по щиколотку в золе.

— Девочка его ждала,— заметил он.

Я отрицательно покачал головой, принялся возражать.

— Девочка приходила сюда, чтобы побыть одной, посидеть с куклой у ручья, помечтать, спеть «Сидела Мария на камне». А мы произвольно истолковали ее поведение как ожидание.

Маттеи внимательно выслушал меня.

— Но от кого-то она получила ежиков,— упрямо настаивал он.

— Верно, Аннемари от кого-то получила шоколадки. Мало ли кто может подарить ребенку шоколад. Но знак равенства между трюфелями и ежиками на рисунке Гритли Мозер тоже ведь поставлен вами, и ничто не доказывает правоту вашего домысла.

Маттеи и на этот раз ничего не ответил. Он опять направился к опушке, обошел всю прогалину, что-то поискал в груде листвы и, очевидно, ничего не найдя, вернулся ко мне.

— Как вы не чувствуете, это место просто создано для убийства! Лично я и дальше буду ждать,— заявил он.

— Все это ерунда,— ответил я. Мне стало жутко, противно, меня знобило от усталости.

— Он должен сюда прийти,— повторил Маттеи.

— Вздор! Чушь, идиотский бред! — завопил я, потеряв терпение.

Он даже и не слушал.

— Пойдемте на заправочную станцию,— сказал он.

■

Я был рад, что можно, наконец, сбежать с этой злополучной прогалины. Солнце уже садилось, тени вытянулись в длину, необозримая долина пылала червонным золотом, над ней синело небо; но мне все это опостылело, мне казалось, будто меня всадили в гигантскую аляповатую открытку. Дальше началось кантональное шоссе, замелькали автомобили, открытые машины, в них — пестро разодетые люди, богатство, которое катило туда-сюда. Все это было донельзя пошло и глупо. Мы подошли к заправочной станции. Возле бензоколонки, дожидаясь меня в моей машине, снова уже дремал Феллер. На качелях сидела Аннемари и снова пела дребезжащим голоском «Сидела Мария на камне», а прислонясь к дверному косяку, стоял парень, должно быть, рабочий с кирпичного завода, в расстегнутой на волосатой груди рубахе, с сигаретой во рту и с наглой ухмылкой. Не обратив на него внимания, Маттеи прошел в ту комнату, где мы уже сидели с ним,— я поплелся следом. Он поставил на стол водку и наливал себе рюмку за рюмкой, а мне так все опротивело, что я не мог даже пить. Хеллер не появлялась.

— Нелегко мне будет справиться со всем,— начал Маттеи.— Впрочем, до прогалины не так уж далеко... Или вы считаете, что лучше ждать здесь, у бензоколонки?

Я ничего не ответил. Маттеи шагал из угла в угол, не смущаясь моим молчанием.

— Досадно только, что Хеллерша и Аннемари все знают,— заметил он.— Но это как-нибудь утрясется.

Снаружи громыхали машины, плаксивый голосок тянул: «Сидела Мария на камне».

— Я ухожу, Маттеи,— сказал я.

Он продолжал пить, даже не взглянув на меня.

— Буду ждать то здесь, то на прогалине,— решил он.

— Прощайте,— сказал я, вышел из комнаты, из дому, прошел мимо парня, мимо девочки, кивнул Феллеру, он встрепенулся, подъехал ближе и распахнул передо мной дверцу машины.

— На Казарменную улицу,— приказал я.

— Вот вам мой рассказ в той его части, в которой существенную роль играет бедняга Маттеи,— продолжал повествование бывший начальник кантональной полиции.

[Тут прежде всего уместно будет пояснить, что наше путешествие Кур — Цюрих давным-давно окончилось, а теперь мы со стариком сидели в неоднократно им с похвалой помянутой «Кроненхалле» и занимали раз навсегда им облюбованный столик под картиной Гублера, сменившей картину Миро; и обслуживала нас, разумеется, Эмма, и мы уже поели подвезенное на столике мясо по-миланski, что, как известно, тоже входило в привычки старика,— почему бы их не уважить? — время теперь близилось к четырем часам, и после «кофе с дымком», как окрестил старик свою страстишку курить за черным кофе гаванскую сигару, когда вслед за тем подали Reserve du Patron, он угостил меня второй порцией яблочного торта. Далее, писательской честности ради и ремеслу в угоду, следует дать чисто техническую справку: разумеется, я не всегда дословно передавал рассказ старого говоруна; помимо того, что и беседовали мы, конечно, на швейцарско-немецком наречии, я еще имею в виду те места его повествования, где он рассказывал не со своей точки зрения и не о пережитом им лично, а объективно излагал события как таковые. Например, в той сцене, когда Маттеи дает свое клятвенное обещание. В таких местах приходилось активно вмешиваться, строить и перестраивать, причем я всячески старался ни на йоту не извращать фактов, а лишь обработать материал старика согласно законам сочинительства, чтобы сделать его пригодным для печати.]

— Конечно, я еще не раз наезжал к Маттеи,— так возобновил он свой рассказ,— и все больше убеждался в том, что он был неправ, считая разносчика невиновным, ибо в последующие месяцы и годы ни одного подобного убийства не произошло. Не буду распространяться — вы сами видели — человек сошел на нет, спился, свихнулся окончательно; ни помочь ему, ни изменить что-либо было невозможно. Парни уже не напрасно бродили и зазывно свистели вокруг заправочной станции — там шел дым коромыслом. Граубюнденская полиция произвела несколько облав. Мне пришлось начистоту поговорить с коллегами в Куре, после чего они стали на все смотреть сквозь пальцы, а то и вовсе закрывали глаза. В догадливости им никогда нельзя было отказать. Так оно и пошло своим роковым путем, а в результатах вы могли удостовериться сами во время нашей поездки. Все это крайне прискорбно, тем более что и девочка, Аннемари, пошла по материнским стопам. Возможно, толчком послужило то, что несколько организаций ретиво занялись ее спасением. Девочку помещали в приюты, а она неизменно убегала оттуда на заправочную станцию, где Хеллерша два года назад открыла этот убогий кабак; черт ее знает, у кого она выманила разрешение; так или иначе, это окончательно решило судьбу девочки. Она пустилась во все тяжкие. Четыре месяца тому назад она отбыла годичный срок в исправительном заведении, но урока из этого не извлекла, как вы могли убедиться. Не стоит об этом и говорить. Однако вы, надо полагать, давно уже недоумеваете, какое отношение мой рассказ имеет к той критике, которой я подверг ваш доклад, и почему я назвал Маттеи гениальным. Оно и понятно. Вы, естественно, скажете, что оригинальная догадка не всегда бывает правильной, а тем более гениальной. И это верно. Я даже представляю себе, как это все оборачивается в ваших писательских мозгах. Лукаво подмигивая, вы мысленно говорите себе, что достаточно доказать правоту Маттеи, устроив так, чтобы он поймал убийцу, и вот уже готов отменный роман или сценарий. Ведь писательская задача в том и состоит, чтобы умелым поворотом прояснить события,— тогда сквозь них забрезжит и станет явственнее высший смысл произведения, мало того: такой поворот в сторону успеха Маттеи сделает моего непутевого детектива не только интересной, но в некотором роде библейской фигурой, эдаким современным Авраамом по силе веры и надежды, а история о том, как некто, веря в невиновность виноватого, разыскивал несуществующего убийцу, из бессмысленной превратится в историю глубокомысленную; творческий полет мысли сделает виновного разносчика невинным, несуществующего убийцу существующим, и факты, которые осмеивают силы человеческого разума и человеческой веры, возвеличат эти силы; неважно, так ли складывались события на самом деле, в конце концов, главное, что такая трактовка происшедшего вполне правдоподобна. Вот как я, примерно, представляю себе ход ваших мыслей; и даже могу предсказать, что, принимая во внимание положительность и назидательность моего рассказа в этом варианте, он не замедлит выйти в свет то ли как роман, то ли как фильм. В целом вы все перескажете именно так, как это пытался сделать я, но, без сомнения, много лучше, недаром вы профессионал, у вас только в самом конце появится настоящий убийца, исполнится надежда, восторжествует вера, и рассказ станет приемлемым для христианского мира. Вдобавок, можно кое-что смягчить. Например, я предложил бы, чтобы Маттеи, едва обнаружив трюфели и поняв, какая опасность нависла над Аннемари, отказался от намерения и в дальнейшем пользоваться девочкой, как наживкой, то ли из сознательного гуманизма, то ли из отеческой любви к ребенку. После чего он отправил бы Аннемари с матерью в надежное место, а взамен посадил бы у ручейка большую куклу. На закате солнца торжественно и грозно выступил бы из лесу убийца, волшебник из сказки Аннемари, и направился бы к мнимой девочке, сладострастно предвкушая возможность вновь поиграть брит-

вой; поняв, что его заманили в дьявольскую западню, он пришел бы в бешенство, в неистовство; далее последовала бы схватка с Маттеи и с полицией, а в виде концовки — простите мне сочинительские потуги — душещипательный разговор раненого комиссара полиции с девочкой, всего несколько отрывочных фраз. Девочка для этого могла бы улизнуть от матери навстречу своему возлюбленному волшебнику, навстречу небывалому счастью; после всех ужасов такой светлый блик нежного человеколюбия и самозабвенной неземной поэзии пришелся бы весьма кстати; впрочем, вы, вероятнее всего, состряпаете что-то совсем другое; теперь я вас немного узнал, хотя, положа руку на сердце, Макс Фриш мне понятнее и ближе; вас соблазнит именно бессмыслица ситуации, тот факт, что человек верит в невинность виновного и разыскивает убийцу, которого нет на свете, как это в достаточной мере точно установлено нами. Вы тут перещеголяете в жестокости самую действительность, просто забавы ради, чтобы окончательно осрамить нас, полицию: у вас Маттеи все-таки найдет убийцу, какого-нибудь из ваших комических праведников, например, безобиднейшего сектантского проповедника, на самом деле ни в чем не повинного и попросту не способного творить зло. Но при вашей склонности к сарказму на нем сосредоточатся все подозрения. Маттеи укокошит этого невинного дурачка, все улики сойдутся, после чего удачливого детектива объявят гением и с почестями возьмут к нам обратно. Кстати, это тоже не лишено вероятия. Видите, как я вас раскусил. А вы, надеюсь, не приписываете мою болтовню действию Reserve du Patron, хотя мы и приканчиваем второй литр,— думаю, вы поняли, что я собираюсь досказать конец, правда, без особой охоты. Не стану скрывать, у этой истории есть развязка, но, увы, до крайности убогая, о чем вы, верно, тоже догадались, до того убогая, что ее никак не приспособишь к порядочному роману или фильму. Она так смехотворно нелепа и пошла, что, готовя рассказ для публикации, следовало бы умолчать о ней. Однако, честно говоря, эта развязка полностью реабилитирует Маттеи, показывает его в настоящем свете, как человека поистине гениального, который прозрел скрытые от нас двигательные силы действительности и, пробившись сквозь окружающее нас кольцо гипотез и предпосылок, приблизился к тем, обычно недоступным нам, законам, которые управляют миром. Правда, лишь приблизился. Именно потому, что эта злополучная развязка является чем-то непредусмотренным, если хотите, случайным, вся его гениальность, его замыслы и поступки привели в дальнейшем к абсурду, потерпели еще более жестокий крах, чем в тот момент, когда он, по мнению Казарменной улицы, вступил на ложный путь. Как это страшно, когда гений спотыкается о бессмыслицу! Но в такой коллизии важнее всего, мирится ли гений с той смехотворной нелепостью, на которой он сорвался. Маттеи с этим не мог примириться. Он хотел, чтобы его расчет оправдал себя и в действительности. А, значит, ему ничего и не оставалось, как опровергнуть действительность и повиснуть в пустоте.

Итак, мой рассказ мог бы кончиться на очень грустной ноте, на самом банальном из всех возможных «решений». Что ж, случается и такое. Самое худшее тоже порой соответствует истине. На то мы и мужчины, чтобы считаться с этим, а главное — понять, что мы лишь тогда не потерпим краха в борьбе с бессмыслицей, которая естественным образом проявляется все явственнее, все сильнее, лишь тогда сможем мало-мальски уютно устроиться на нашей земле, если смиренно включим в наше мышление эту бессмыслицу, как фактор, которым нельзя пренебрегать. Наш разум весьма скудно освещает окружающий мир. В сумеречной сфере, у самого его предела, гнездится все сомнительное и парадоксальное. Боже нас упаси воспринимать эти призраки как нечто существующее «в себе», вне пределов человеческого духа, скажу больше: не надо бояться впасть в ересь и посмотреть на эти темные силы, как на поправимый изъян, из-за которого мы склонны судить мир с позиций ханжеской морали, ибо иначе это означало бы, что мы пытаемся утвердить понятие непогрешимого разума, а именно его непогрешимое совершенство будет для него пагубной ложью и признаком вопиющей слепоты. На меня же не пеняйте за то, что я свой складный рассказ прервал этими комментариями. Я знаю сам, они небезупречны с философской точки зрения. Но будьте снисходительны к старику, которому хочется осмыслить свой житейский опыт, пускай даже его домыслы покажутся вам наивными; но я хоть и служил в полиции, все-таки стараюсь быть человеком, а не бараном.

■

Так вот, в прошлом году и, конечно, опять в воскресенье, мне, по вызову одного католического священника, предстояло посетить кантональную больницу. Это было незадолго до моего выхода на пенсию, я дослуживал последние дни, и делами, собственно, занимался мой преемник, не Хенци — несмотря на свою Хоттингер, он, к счастью, этого не добился,— а человек незаурядный, добросовестный, обладающий отнюдь не казенной человечностью, который мог быть только полезен на этом посту. Мне позвонили прямо домой. Я решил поехать на вызов только потому, что речь шла о каком-то важном сообщении, которое пожелала мне сделать умирающая женщина,— такие случаи нередки в нашей практике. Стоял ясный, но холодный декабрьский день. Все кругом было голо, уныло, тоскливо. Можно завыть, глядя на наш город в такие минуты. А навещать умирающую — совсем уж последнее дело. Неудивительно, что я

несколько раз довольно угрюмо прошелся в парке вокруг Эшбахеровской арфы, но потом все-таки потащился в больницу. Фрау Шротт, терапевтическая клиника, частное отделение. Палата выходила окнами в парк. Она была полна цветов, роз, гладиолусов. Гардины были приспущены. Косые солнечные лучи падали на пол. У окна сидел дюжий патер с красным мясистым лицом и нечесаной седой бородой, а в постели лежала старушечка с морщинистым личиком, с реденькими, белыми, как лунь, волосами, неправдоподобно хрупкая и, судя по обстановке, неизлечимо богатая. У кровати стоял какой-то сложный агрегат, по-видимому, медицинский прибор, к которому вело множество резиновых трубок, выходивших из-под одеяла. Работа этого аппарата находилась под бдительным надзором сестры милосердия; через определенные промежутки времени сестра молча и сосредоточенно входила в палату и через такие же равномерные интервалы вынуждала нас прерывать разговор. Это обстоятельство не мешает отметить с самого начала.

Я поздоровался. Старушка оглядела меня внимательно и вполне спокойно. Лицо у нее было восковое, как у куклы, но на диво оживленное. Хотя она и держала в желтоватых сморщенных пальцах черную книжечку с золотым обрезом, очевидно, молитвенник, все же трудно было поверить, что эта женщина скоро умрет, такой несломленной жизненной силой веяло от нее, невзирая на все трубки, торчавшие из-под одеяла. Патер не встал с места. Столь же величавым, сколь и нескладным жестом он указал мне на стул возле кровати.

— Садитесь,— предложил он.

И когда я сел, его густой бас снова донесся от окна, которое он заслонял своими могучими плечами:

— Фрау Шротт, расскажите господину майору все, о чем вам надобно его уведомить. В одиннадцать мы должны приступить к соборованию.

Фрау Шротт улыбнулась. Она очень сожалеет, что вынуждена меня беспокоить, жеманно начала она, и голос ее звучал хоть и слабо, но вполне явственно, можно сказать, даже бодро.

— Мне это ничуть не трудно,— солгал я, не сомневаясь теперь, что бабуся порадует меня дарственной на неимущих полицейских или чем-нибудь в этом роде.

То, что она хочет мне сообщить, само по себе дело неважное и безобидное, такие происшествия, конечно, случаются во всех семьях и притом не раз, поэтому она даже позабыла о нем, но сейчас, когда богу, по-видимому, угодно прибрать ее, она во время последней исповеди упомянула об этом — чисто случайно, только потому, что как раз перед тем приходила с цветами внучка ее единственного крестника и на ней было красное платьице, а патер Бек вдруг разволновался и потребовал, чтобы она непременно рассказала эту историю мне. Она не понимает, для чего, ведь это все давно прошло, но раз его преподобие находит...

— Рассказывайте, фрау Шротт,— послышался густой голос от окна,— рассказывайте.

В городе колокола зазвонили к проповеди, звуки глухо долетали издалека. Хорошо, она попытается. И старушка, взяв разбег, залопотала опять. Она давно уже ничего не рассказывала, вот только разве Эмилю, своему сыну от первого брака, ну а потом ведь Эмиль умер от чахотки, его никак нельзя было спасти. Он был бы сейчас таких лет, как и я, или, скорее, таких, как патер Бек; но она постарается представить себе, что я ее сын и патер Бек тоже,— ведь после Эмиля она родила Марка, но он через три дня умер, преждевременные роды, он появился на свет через шесть месяцев, и доктор Хоблер сказал, что это для бедняжки только к лучшему.

Такая бессвязная болтовня длилась еще довольно долго.

— Рассказывайте, фрау Шротт, рассказывайте,— пробасил патер, неподвижно возвышаясь у окна и лишь изредка, подобно Моисею, поглаживая десницей свою косматую седую бороду, а также распространяя теплые волны своего дыхания, напоенного чесноком.— Вскоре нам пора будет приступать к соборованию.

Тут вдруг она приняла горделивый, поистине аристократический вид, даже приподняла головку и сверкнула глазками. Ее девичья фамилия — Штенцли, заявила она, ее дедом был полковник Штенцли, во время военных действий Зондербунда он командовал отступлением на Эшольцматт, а сестра ее вышла замуж за полковника Штюсси, в первую мировую войну он состоял при Цюрихском главном штабе, был на «ты» с генералом Ульрихом Вилле и лично знаком с императором Вильгельмом, что мне, без сомнения, известно...

— Конечно, само собой разумеется,— промямлил я. «Какое мне дело до старика Вилле и до императора Вильгельма,— думал я.— Скорей выкладывай про свою дарственную, старушенция!» Хоть бы закурить, маленькая сигара «Суэрдик» была бы очень кстати, хорошо перебить запахом джунглей больничный воздух и аромат чеснока.

А патер упорно, неумолимо гудел свое:

— Рассказывайте, фрау Шротт, рассказывайте...

Да будет мне известно, продолжала престарелая дама, и лицо ее исказилось злобой, даже ненавистью, что во всем виновата ее сестрица со своим полковником Штюсси. Сестра старше ее на десять лет, той теперь девяносто девять; сорок лет, как она овдовела, владеет виллой на Цюрихберге, акциями компании «Браун Бовери», половина Вокзальной улицы у нее в руках; и вдруг из уст умирающей старушки про-

рвался мутный поток или, вернее, целый водопад непристойных ругательств, которые я не решаюсь повторить. При этом она чуть приподнялась и резво замотала своей белой, как лунь, головкой, сама упиваясь этим взрывом неистовой ярости. Однако вскоре она утихла, потому что, на счастье, пришла сестра милосердия.

— Ну, ну, фрау Шротт, нельзя волноваться, надо лежать спокойненько.

Старуха послушалась и только махнула рукой, когда мы остались одни.

Все эти цветы, сказала она, ей посылает сестра лишь для того, чтобы позлить ее, сестрица прекрасно знает, как она ненавидит цветы, она вообще не выносит бесполезных трат; верно, я думаю, что они между собой ссорятся,— нет, ничуть, они всегда были милы и ласковы друг с другом, понятно, из чистой зловредности. Это у них, у Штенцли, фамильная черта, все они друг друга терпеть не могли и всегда были вежливы между собой, но их вежливость — только способ побольнее мучить и терзать друг друга, и на том скажите спасибо, не будь они все такими благовоспитанными, в семействе был бы сущий ад.

— Рассказывайте же, фрау Шротт,— для разнообразия напомнил патер.— Мы опаздываем с соборованием.

А я мечтал уже не о маленькой «Суэрдик», а о своей большущей «Баианос».

В девяносто пятом году она обвенчалась со своим бесценным покойником Галузером, журчал дальше неиссякаемый словесный поток. Он был доктором медицины в Куре. Уже и это сестрице с ее полковником пришлось не по нутру, показалось недостаточно аристократичным, она это сразу учуяла, а когда полковник умер от гриппа, вскоре после первой мировой войны, сестрица совсем распоясалась, возвела своего милитариста в какое-то божество.

— Рассказывайте, фрау Шротт, рассказывайте,— бубнил патер, не проявляя ни тени нетерпения, разве что тихую скорбь по поводу такого упорства в заблуждениях, меж тем как я клевал носом и временами вскидывался, как со сна,— вспомните про соборование, рассказывайте, рассказывайте.

Все напрасно. Лежа на смертном одре, старушка стрекотала неутомимо, неумолчно, несмотря на свой слабенький писк и на трубки под одеялом; перескакивала с пятого на десятое.

Поскольку я вообще способен был думать, я смутно предполагал, что она расскажет пустяковую историю про услужливого полицейского, а затем возвестит дарственную — несколько тысяч франков, имеющую целью позлить девяностодевятилетнюю сестрицу; я уже заранее заготовил горячую благодарность, мужественно подавил абстрактные мечты о сигарах и, чтобы окончательно не впасть в отчаяние, предвкушал теперь привычный аперитив и традиционный обед с женой и дочерью в «Кроненхалле».

А после смерти первого мужа, покойного Галузера, болтала тем временем старушка, она вышла замуж за Шротта, тоже ныне покойного, он у них служил шофером и садовником — словом, исполнял всю работу, какую в большом барском доме лучше всего исполнять мужчине, к примеру, отапливать помещение, чинить ставни и прочее, и хотя сестрица открыто не возражала и даже приехала в Кур на свадьбу, но, понятно, была возмущена этим браком, хотя — опять-таки, чтобы позлить ее,— даже виду не подала. Таким-то образом она стала фрау Шротт.

Она вздохнула. Где-то в коридоре сестры милосердия пели предрождественские песнопения.

— Да, у нас поистине был гармонический брак с дорогим покойничком,— продолжала старушка, послушав несколько тактов песнопения.— Впрочем, ему, пожалуй, бывало нелегко, мне трудно судить. Когда мы поженились, Альберту, дорогому моему покойничку, было двадцать три года, он родился как раз в девятисотом, а мне уже минуло пятьдесят пять. Все равно, лучшего выхода для него не придумаешь; он ведь был сиротой; мать у него была стыдно выговорить кто, а отца никто и не знал даже по имени. Первый мой муж в свое время взял его в дом шестнадцатилетним подростком, в школе он подвигался туго, особенно у него не ладилось с чтением и письмом. Женитьба все разрешила самым благородным образом — вдове ведь очень трудно уберечься от злословия, хотя у меня с дорогим покойничком Альбертом никогда ничего не было, даже и в супружестве, оно и понятно, при такой разнице лет; к тому же наличность у меня невелика, надо было очень рассчитывать, чтобы прожить на доход с домов в Цюрихе и Куре. А дорогой покойничек Альберт разве выдержал бы, при своем скудоумии, суровую борьбу за существование? Он бы неизбежно погиб. Должны же мы помнить наш христианский долг перед ближним. Так мы с ним и жили честь по чести — он возился в доме и в саду. Не могу не похвастать — видный был мужчина, рослый и крепкий, и держался с достоинством, и одет был всегда строго и элегантно; стыдиться его мне не приходилось, хотя он почти ничего не говорил, кроме как «Хорошо, мамочка, конечно, мамочка», зато слушался меня и мало пил. Вот поесть он любил, особенно лапшу и вообще всякое тесто и шоколад. Шоколад он прямо обожал. А так он был хороший человек и на всю жизнь остался хорошим, куда симпатичнее и послушнее того шофера, за которого четырьмя годами позже вышла моя сестрица, несмотря на своего полковника. Тому шоферу было тоже всего тридцать лет.

— Рассказывайте, фрау Шротт,— донесся от окна невозмутимо беспощадный голос патера, когда старушка замолчала, все-таки немного утомившись, меж тем как я по-прежнему в простоте сердечной дожидался дарственной на неимущих полицейских.

Фрау Шротт кивнула.

— Но вот, понимаете, господин майор,— продолжала она свой рассказ.— В сороковых годах дорогой мой покойничек Альберт начал как-то сдавать. Сама не понимаю, чего ему недоставало, должно быть, у него что-то повредилось в голове. Он становился все молчаливее, все мрачнее; бывало, уставится в одну точку, и слова из него не вытянешь целый день; работу свою он выполнял исправно, так что выговаривать ему мне не приходилось, только по целым часам где-то разъезжал на велосипеде — может, на него так подействовала война или то, что его не взяли на военную службу. Почем я знаю: для нас, женщин, мужская душа — потемки! К тому же он становился все прожорливей: счастье, что у нас были свои куры и что мы разводили кроликов. Вот тут-то с дорогим моим покойничком Альбертом и приключилось то, о чем мне надо вам рассказать,— первый случай был к концу войны.

Она умолкла, потому что в палату опять вошла сестра с врачом, и оба занялись старушкой и аппаратурой. Доктор был белокурый немец, как из книжки с картинками, веселый бодрячок, в качестве дежурного совершавший воскресный обход. Как дела, фрау Шротт, вы совсем молодцом, показатели великолепные. Чу́дно, чу́дно, только не падать духом! И он проследовал дальше, сестра за ним, а патер потребовал:

— Рассказывайте, фрау Шротт, рассказывайте, помните, ровно в одиннадцать — соборование.

Эта перспектива, по-видимому, ничуть не волновала старушку.

— Каждую неделю он ездил в Цюрих и возил яйца из-под кур моей милитаристке сестрице,— бодро возобновила она свой рассказ,— бедненький мой покойничек привязывал корзинку сзади к велосипеду и непременно возвращался под вечер, выезжал-то он очень рано, часов в шесть, в пять, всегда такой парадный, в черном костюме и котелке. Все ему приветливо кланялись, когда он катил по Куру, а потом дальше за город, и все время напевал свою любимую песенку «Я молодой швейцарец, я родину люблю». В этот раз, через два дня после федерального праздника — день был жаркий, как и полагается в разгар лета,— вернулся он уже за полночь. Я слышала, что он долго возится и умывается в ванной, пошла посмотреть и увидела, что все у моего покойничка Альберта в крови, даже и костюм. «Господи, Альберт, душенька, что с тобой стряслось?» — спросила я. Он сперва выпучил на меня глаза, потом сказал: «Несчастный случай, мамочка, не пугайся, ступай спать, мамочка». Я и пошла спать, хотя и была удивлена, потому что никаких ран не заметила. Наутро, когда мы сидели за столом и он кушал яйца всмятку, как всегда, четыре зараз, а к ним хлеб с мармеладом,— я прочитала в газете, что в кантоне Санкт-Галлен зарезали маленькую девочку, по-видимому, бритвой, и вдруг я вспомнила, что он прошлой ночью мыл в ванной свою бритву, хотя обычно бреется по утрам. Тут меня сразу осенило, я очень строго заговорила с моим покойничком. «Альберт, душенька,— сказала я,— ведь это ты зарезал девочку в кантоне Санкт-Галлен». Тут он перестал есть яйца и хлеб с мармеладом и соленые огурцы и сказал: «Да, мамочка, так было суждено, мне был голос свыше»,— и снова взялся за еду. Я совсем расстроилась, оттого что он так серьезно болен; мне было жаль девочку, я даже собралась протелефонировать доктору Зихлеру, не старику, а его сыну, он тоже толковый врач и отзывчивый человек; но потом вспомнила про свою сестру, как бы она стала злорадствовать, как бы возликовала; и тогда я решила построже, порешительней поговорить с дорогим моим покойничком и категорически заявила ему, чтобы это никогда, никогда больше не повторялось, и он сказал: «Хорошо, мамочка». «Как же это получилось?»— спросила я. «Мамочка,— ответил он мне,— девочку в красном платьице с соломенными косичками я встречал всякий раз, как ездил в Цюрих через Ваттвиль; это большой крюк, но с тех пор, как я увидел девочку у лесочка, голос свыше, мамочка, приказал мне делать этот крюк и еще голос свыше приказал мне поиграть с девочкой, а потом голос свыше приказал дать ей шоколадку, а потом уж мне пришлось убить девочку. Я тут ни при чем, мамочка, это все голос свыше. Потом я пошел в ближний лес, пролежал до темноты под кустом и только потом вернулся к тебе, мамочка». «Альберт, душенька,— сказала я,— больше ты не будешь ездить к моей сестре на велосипеде, яйца можно отправлять посылкой». «Хорошо, мамочка»,— ответил он, густо намазал себе мармеладом еще один ломоть хлеба и пошел во двор. Надо мне сходить к патеру Беку, подумала я, пусть он построже поговорит с дорогим моим покойничком, но тут я как выглянула в окно, как увидела, до чего усердно он трудится на самом припеке и безропотно, только немного печально латает крольчатник, до чего чисто выметен двор, так я и подумала: «Сделанного не поправишь, Альберт, мой голубчик, очень хороший человек, сердце у него, в сущности, золотое, а это никогда больше не повторится».

В палату снова вошла сестра милосердия, проверила аппаратуру, поправила резиновые трубки, а старуха зарылась в подушки, казалось, совсем обессилев. Я боялся дышать, пот градом лил у меня по лицу, но я не замечал этого. Меня вдруг стало

знобить, я сам себе был смешон вдвойне оттого, что ожидал от старухи дарственной, а тут еще эта уйма цветов, белые и красные розы, огненные гладиолусы, астры, цинии, гвоздики — и где их только выкопали? — целая ваза орхидей, нелепых и наглых, и солнце за гардинами. и плечистый истукан патер, и чесночный дух; мне хотелось кричать, буйствовать, арестовать эту старую каргу, но все уже утратило смысл, в одиннадцать часов предстояло соборование, а я в своем парадном костюме восседал здесь декоративной, бесполезной фигурой.

— Рассказывайте дальше, фрау Шротт,— терпеливо убеждал патер,— рассказывайте дальше.

— Дорогому покойничку Альберту в самом деле полегчало,— повествовала она ровным кротким голосом, как будто рассказывала двум детям сказку, в которой зло и бессмыслица — такие же чудеса, как и добро.— Он перестал ездить в Цюрих, но когда кончилась вторая мировая война, мы опять смогли пользоваться нашей машиной, которую я купила в тридцать восьмом году, потому что автомобиль покойного Галузера совсем устарел, и теперь дорогой покойничек Альберт снова катал меня в нашем «бьюике». Один раз мы отважились и съездили даже в Аскону, и я подумала, раз ему так нравится кататься на машине, он может опять ездить в Цюрих, на «бьюике» это безопасней: тут надо быть внимательным и некогда слушать голос свыше. Вот он и начал ездить к сестре. Добросовестно и аккуратно, как всегда, сдавал яйца из-под кур, а то, случалось, и кролика. Но вот однажды вернулся он опять за полночь. Я сейчас же пошла в гараж, потому что сразу заподозрила недоброе — недаром он последнее время вдруг стал таскать трюфели из бонбоньерки; и в самом деле, я увидела, как дорогой мой покойничек моет машину, а там внутри все полно крови. «Опять ты убил девочку, Альберт, душенька»,— строго сказала я. «Успокойся, мамочка,— ответил он,— уже не в кантоне Санкт-Галлен, а в кантоне Швиц, так пожелал голос свыше, а у девочки опять было красное платьице и соломенные косички». Но я не успокоилась, я еще строже обошлась с ним, даже рассердилась на него, запретила ему целую неделю ездить на «бьюике» и совсем собралась идти к его преподобию, патеру Беку, но не решилась — уж очень бы злорадствовала моя сестрица; тогда я стала еще строже следить за дорогим моим покойничком, и правда два года все шло тихо-мирно. Но тут он опять послушался голоса свыше и сам был сокрушен своим поступком, сильно плакал, ну я-то сразу все поняла, оттого что в бонбоньерке опять недоставало трюфелей. Это была девочка в кантоне Цюрих, тоже в красном платьице и со светлыми косичками. Просто удивительно, как это матери могут так неосторожно одевать детей.

— Девочку звали Гритли Мозер? — спросил я.

— Да, ее звали Гритли, а прежних Соня и Эвели,— подтвердила престарелая дама.— Я все имена запомнила. Но бедному моему покойничку становилось все хуже. Он стал рассеянным, приходилось по десять раз повторять ему одно и то же, отчитывать его как мальчишку. И вот, не то в сорок девятом, не то в пятидесятом году, я уж точно не помню, только знаю, что это было через несколько месяцев после Гритли, он опять стал неспокойным, рассеянным, даже не чистил курятника, и куры кудахтали, как оглашенные, потому что он спустя рукава готовил им корм, а сам опять по целым дням разъезжал на нашем «бьюике» и говорил, что ездит проветриться, но вдруг я заметила, что в бонбоньерке опять стали убывать трюфели. Тогда я решила его подстеречь и, когда он прокрался в гостиную, а бритва торчала у него в кармашке, как авторучка, я подошла к нему и сказала так: «Альберт, душенька, опять ты нашел такую же девочку?» «Что поделаешь, мамочка, голос свыше,— ответил он,— отпусти меня в последний раз. Что приказано свыше, того ослушаться нельзя, а у нее тоже красное платьице и соломенные косички». «Я этого допустить не могу, Альберт, душенька,— строго сказала я,— где эта девочка?» «Недалеко отсюда, на заправочной станции,— ответил он.— Пожалуйста, ну, пожалуйста, мамочка, позволь мне послушаться голоса свыше». Я, однако, решительно воспротивилась. «Не бывать этому, Альберт, душенька, ты сам мне обещал. Немедленно почисти курятник и задай курам корма». Тут мой дорогой покойничек разозлился, впервые за всю нашу супружескую жизнь, которая была такой гармоничной. «Я хожу у тебя в батраках»,— заорал он. Видите, как он был болен. Выбежал с трюфелями и с бритвой, прямо к «бьюику», а через четверть часа мне позвонили, что он налетел на грузовик и погиб. Тут сразу пришел патер Бек, а потом полицейский вахмистр Бюлер, он был особенно участлив. Вот почему я отписала пять тысяч франков полиции в Куре, еще пять тысяч завещала цюрихской полиции — ведь у меня же здесь есть дома на Свободной улице. Ну, конечно, сейчас же примчалась моя сестрица со своим шофером, специально, чтобы позлить меня. Она мне испортила все похороны.

Я выпучил на старуху глаза. Вот она, долгожданная дарственная! Казалось, судьбе вздумалось особенно зло насмеяться надо мной.

В эту минуту пришел профессор с ассистентом и двумя сестрами, нас попросили удалиться.

Я попрощался с фрау Шротт.

— Будьте здоровы,— смущенно сказал я, не думая о том, что говорю, мечтая только поскорее выбраться отсюда.

Она захихикала в ответ, а профессор как-то странно посмотрел на меня, все почувствовали неловкость, а я был счастлив расстаться со старухой, с патером и со всем сборищем и выбраться наконец в коридор.

Отовсюду спешили посетители с цветами и свертками. Пахло больницей. Я торопился уйти. Выход был близко, я уже надеялся, что сейчас выскочу в парк. Как вдруг рослый, плечистый мужчина с круглым детским лицом в парадном черном костюме и в котелке вкатил в кресле на колесиках сморщенную трясущуюся старушонку. Эта древность была закутана в норковую шубу и обеими руками держала гигантские снопы цветов. Вероятно, это была девяностодевятилетняя сестрица со своим шофером. Я оцепенел и в ужасе смотрел им вслед, пока они не исчезли в частном отделении, а потом чуть не бегом бросился вон, пронесся через парк, мимо больных в креслах с колесиками, мимо выздоравливающих, мимо посетителей и хоть немного успокоился только в «Кроненхалле» за супом с фрикадельками из печенки.

■

Прямо из «Кроненхалле» я поехал в Кур. К сожалению, мне пришлось взять с собой жену и дочь. День был воскресный, и я обещал не занимать его делами, а пускаться в объяснения мне не хотелось. Я не произносил ни слова и мчался, развив самую запретную скорость, в надежде спасти, что еще можно. Но моему семейству недолго пришлось дожидаться в машине перед заправочной станцией. В кабачке стоял форменный содом, Аннемари только что отбыла срок в исправительной колонии, и все помещение кишмя кишело подозрительными молодчиками; Маттеи сидел на скамье, несмотря на холод, в том же синем комбинезоне, с окурком в зубах. От него разило спиртным. Я сел рядом, сжато изложил ему все. Но это было уже ни к чему. Он даже и не слушал меня. Я помедлил в нерешительности, потом вернулся в машину и поехал в Кур; мое семейство проголодалось и роптало.

— Это был Маттеи? — спросила жена, как всегда ни о чем не подозревавшая.

— Да, он.

— А я думала, он в Иордании.

— Он туда не поехал, дорогая.

В Куре мы намучились со стоянкой: кондитерская была полна гостей, главным образом из Цюриха, они потели, набивали себе животы, а детки их кричали и визжали, однако мы все-таки нашли свободное место и заказали чаю с пирожными. Но жена вернула кельнершу:

— Пожалуйста, принесите также двести граммов трюфелей.

Ее немного удивило, почему я не пожелал их есть. Ни за какие блага в мире.

■

А теперь делайте с моим рассказом, что хотите. Эмма, счет!

Е. КНИПОВИЧ

# СВИДЕТЕЛИ

18 октября 1965 года в Берлине мне довелось присутствовать на генеральной репетиции исполнения оратории Петера Вейса «Ermittlung» («Судебное разбирательство»), организованной Немецкой академией искусств. Необычным было все. И само место действия — не театральный или концертный зал, а зал заседаний Народной палаты ГДР. И то, что в качестве исполнителей выступали не только крупнейшие актеры республики — Елена Вейгель, Эрнст Буш, Рольф Людвиг, Эккехард Шаль, но и писатели—Виланд Герцфельде, Бруно Апиц, Стефан Хермлин, и знаменитый скульптор ГДР Фриц Кремер, и заместитель Председателя Совета министров Александр Абуш.

Над рядами стульев, где сидели исполнители, возвышались дощечки с надписями: «Судья», «Обвинитель», «Защитник», «Свидетели», «Обвиняемые».

Фоном служил огромный, от руки нарисованный план концлагеря Освенцим, потому что «судебное разбирательство» должно было идти по делу администрации этой фабрики смерти. Роли «обвиняемых» были отданы не одним актерам-профессионалам (это могло бы случиться на том основании, что им не впервой играть злодеев), нет, за «обвиняемых» читали и Бруно Апиц — узник концлагеря Бухенвальд, и Стефан Хермлин, и Виланд Герцфельде.

Еще одна подробность. Имена носили только обвиняемые. Девять свидетелей были безымянными. Семь из них выступали от лица четырех миллионов тех, кто был расстрелян, отравлен газом, заморен голодом и сожжен в кремационных печах Освенцима. Два же свидетеля представляли ту категорию фашистских преступников, которые, при попустительстве боннского правосудия, либо уже отбыли скромный срок тюремного заключения, либо вовсе избежали его. Ведь они были всего лишь «соединительным звеном» между администрацией лагеря и филиалами — «ИГ-Фарбениндустри», «Сименс и Шуккерт», «Крупп», где в нечеловеческих условиях работали узники Освенцима. Долго «трудовой режим» голодные и измученные люди не выдерживали. Дочерние предприятия немецких монополий были для узников чем-то вроде промежуточной станции между товарным вагоном, откуда их выгружали, и кремационной печью, где кончалась их жизнь.

Каждый свидетель был лицом собирательным. Так, Елена Вейгель говорила от имени нескольких. Одна повествовала о том, что́ становилось нормой в условиях лагерного быта, когда исчезали все старые понятия — семья, очаг, призвание. Другая рассказывала, как на ее глазах Богер Черная Смерть, размозжив ребенку голову о стену барака, взял яблоко из мертвой ручки и стал жевать его.

И Эрнст Буш — многоликий свидетель № 3 — был коллективным образом тех, кто знал о существовании подпольного Сопротивления, копил улики, понимал, что бесчеловечие фашистских палачей нерасторжимо связано с выгодой монополий.

Стадо убийц состояло из нескольких разновидностей. Просто убийцы — убийцы-служаки, выполняющие приказ; убийцы-садисты, убийцы-лицемеры, любящие в промежутках между двумя «акциями» потолковать «о гуманизме у Гете». Все они отрицали свою вину, все они «не помнили», все они протестовали против «оговора» и «клеветы» свидетелей.

Процесс действительных палачей из Освенцима проходил во Франкфурте-на-Майне с декабря 1963 года по август 1965 года. О нем говорит в «Вельтбюне» в статье, посвященной исполнению оратории Вейса, известный критик ГДР Гюнтер Цвойдрак. ...«Мне вспомнился тот день осени прошлого года, когда я присутствовал в зале суда во Франкфурте-на-Майне, где шел процесс части убийц из Освенцима. Я еще вижу тупо-самодовольные лица обвиняемых, кото-

рые делали вид, что, в сущности, не знают, в чем они виноваты; я еще слышу негромкий голос одного из свидетелей, бывшего узника лагеря, который рассказывает, как жестянки с кристаллами циклона-Б опорожнялись в подвалы с заключенными и кто участвовал в этом деле. Его голос прерывался от волнения, потому что в нескольких шагах сидела на скамьях шайка убийц — невозмутимых, чисто выбритых, откормленных, готовых оспаривать то, что свидетель все это видел, что он способен все так уж помнить через двадцать лет. «Нет» — было написано на лицах убийц,— до правды теперь не докопаетесь. Если кто и совершал преступления (в случае, ежели они вообще были совершены) — так все они уже умерли за прошедшие годы. И защитники убийц ставили хитроумные ловушки, чтобы сбить свидетелей с толку, а председатель, напустив на себя вид холодного бесстрастия, монотонно ронял вопрос за вопросом».

Нет, в зале Народной палаты все было не так — хотя и там, при особо удачном ходе защитника, раздавался самодовольный, какой-то жирный смех убийц, хотя и там все обвиняемые отрицали свое участие в преступлениях, даже самый факт преступлений.

Но судьей не лживо-объективным, а истинно «недоступным звону злата» был замечательный актер «Берлинского ансамбля» Гильмар Тате, и грозным было спокойствие молодого Альфреда Мюллера, который одновременно был и прокурором и общественным обвинителем. Грозной была и музыка Пауля Дессау и вся атмосфера «Судебного разбирательства».

Неповторимый голос свидетельницы обвинения Елены Вейгель звучал на весь зал, Эккехард Шаль и Вольф Кайзер даже намечали «рисунок» характера того злодея, чью роль они исполняли. Голоса непрофессионалов — Фрица Кремера, Джорджии Пит — порою были почти неслышны. И все-таки исполнение в целом оставляло чувство внутреннего единства, потому что единой, весомой, убежденной до конца была та присяга на борьбу с фашизмом, которую от лица своего народа давали мастера культуры ГДР.

19 ноября оратория были исполнена для публики — в один день с той антифашистской присягой, которую у памятника жертвам Бухенвальда давали, по окончании маневров, солдаты армии СССР, ГДР, Польши и Чехословакии.

И в тот же день в городах ГДР — Ростоке, Потсдаме, Лейпциге, Дрездене, Веймаре и других, а также в Западном Берлине, Кёльне, Эссене, Мюнхене и еще нескольких городах ФРГ состоялись чтения и радиопостановки «Судебного разбирательства». В ту же ночь исполнение оратории шекспировским театром передавало лондонское радио.

Взрыв произошел на другой же день. Реакционная печать ФРГ взвыла от злобы. Страницы шпрингеровской прессы запестрели статьями, поносящими автора, ораторию и ее исполнителей. Речь шла не о политике — боже избави! — шпрингеровские борзописцы защищали искусство, хороший вкус, красоту и гармонию. Ведь неприлично и неэстетично вспоминать о крови, смерти, пытках, надругательстве над человеческой жизнью и человеческим достоинством. В этих статьях кампания, поднятая против Петера Вейса в ФРГ после опубликования его «Десяти рабочих пунктов» (в которых он заявил, что будущее принадлежит коммунизму), вступила в новую фазу. К политической диффамации прибавилась травля во имя интересов «чистого искусства». Правда, подлинная причина такого рода «благородного негодования» тут же была вскрыта и прокомментирована в прессе ГДР.

На генеральной репетиции нам были розданы темно-серые папки с надписью «Aide-mémoire». В них кроме программы с перечнем участников лежали три статьи — Мартина Вальзера «Наш Освенцим», Стефана Хермлина «Гетто» и Петера Вейса «Meine Ortschaft». Кроме статей там находились два стихотворения: «Незваный гость» Гюнтера Кунерта и «Оставьте нас» польского поэта Тадеуша Ружевича. Статья Хермлина и стихи Кунерта опубликованы в ГДР, остальные материалы — в ФРГ. Таким образом, представители интеллигенции ГДР и здесь как бы обменивались рукопожатием с писателями-антифашистами Федеративной Республики.

Очень велика эмоциональная сила стихов Кунерта о «незваном госте» — мертвом узнике фашистских концлагерей, который как память и предупреждение присутствует в жизни каждого. Такой же «прямой», эмоциональной силой заряжен и очерк Стефана Хермлина о варшавском гетто.

Статьи Мартина Вальзера и Петера Вейса сложнее. В них живет не только прямая ненависть и негодование — в них содержится попытка определить для себя, в чем самый корень фашистского зла, а также и острое ощущение того, что корень этот готов дать новые побеги. Несомненно, эти статьи еще больше, чем другие публицистические выступления обоих авторов, помогают понять идейно-эстетическую основу оратории «Судебное разбирательство» и драмы «Черный лебедь».

Я не знаю произведений Петера Вейса, написанных раньше драмы о «преследовании и убийстве Жана-Поля Марата», и, к сожалению, мне не удалось увидеть постановку этой драмы в Народном театре Ростока (театр был на гастролях), для которой, по словам Кубы, Петер Вейс написал эпилог, якобы отменяющий тот исторический нигилизм, на котором, по моему мнению, зиждется основной конфликт драмы.

Но дело не в тех или иных поправках в тексте, сама «сюрреалистская» форма драмы, персонажи, диалоги, даже костюмы — явно взятые из арсенала «театра абсурда» — приглушают и извращают ту ненависть к буржуазному свинству, к злой тва-

---

Е. КНИПОВИЧ
**СВИДЕТЕЛИ**

ри, торжествующей над человеком, которые, несомненно, ощущаются в драме Вейса. Отчаяние не только заглушает в пьесе гнев. Перед Вейсом явно вставала опасность — о которой в связи с творчеством Леонида Андреева говорил в 1910 году Блок,— опасность «стать пародией своей некогда подлинной муки».

Статья Вейса «Meine Ortschaft», так же, как и сама оратория «Судебное разбирательство», поражает прежде всего полным отсутствием модернистских фиоритур и украшений, железной сдержанностью, нагой точностью, равно свойственной и форме и содержанию.

Причина этого отчасти становится понятной, когда читаешь статью, вложенную в папку «Aide-mémoire». Оттуда я узнала, что Петер Вейс, родившийся в Новавесе под Берлином,— сын эмигрантов из гитлеровской Германии и мыкался по свету, находя приют в Лондоне, Праге, Стокгольме, Цюрихе, Париже. Однако все города, где прошли детство, юность, наступила зрелость, остались для него лишь «станциями в пути» — память о них ускользает. «Города, в которых я бывал, их дома, где я жил, их улицы, по которым я ходил, их жители, с которыми я беседовал, не имеют для меня четких очертаний, они сливаются друг с другом, они лишь часть единого и вечно меняющегося внешнего облика земного — там мелькнет гавань, а тут — парк, затем комната и вдруг — произведение искусства или городские ворота,— они наличествуют в общей сумме опыта моих странствий и возникают на секунду, чтобы опять исчезнуть из памяти, и черты их приходится каждый раз восстанавливать заново.

Лишь эта единственная местность — о ней я знал уже давно, но увидел гораздо позже — всегда остается неизменной. Мой личный опыт с ней не связан. Я имею к ней отношение лишь потому, что имя мое стояло в списках тех, кто должен был туда переселиться навеки. Через двадцать лет после этого я побывал там. Облик ее остался неизменным. Ее постройки нельзя спутать ни с какими другими в мире».

И дальше точно и скупо изображен этот навеки застывший облик Освенцима. Рельсы и сторожевые вышки, бункеры, черная стена расстрелов и возле нее — канавы для стока крови, кремационные печи.

Осенью 1963 года на симпозиуме Европейского сообщества писателей в Ленинграде Ганс Магнус Энценсбергер говорил о «загадке фашизма», основанной, по его мысли, на «непостижимости» того, что, например, внимательный, вежливый врач, перевязывающий пораненный палец гражданину ФРГ, двадцать лет назад терзал беззащитных детей и женщин чудовищными «экспериментами», распоряжался «производственной обработкой» трупов. В публицистике и «Судебном разбирательстве» Вейса, так же как в статье и драме Вальзера, мы видим обратное — яростное отрицание такой «загадочности», последовательное стремление показать самую основу, *производным* от которой были все проявления садистской жестокости и бесчеловечности.

Вейс, так же как и Вальзер, говорит о другом — о *непредставимости* того, что испытали жертвы лагерей смерти. О том, что цифры, факты, документы и показания все объясняют, но ощутить можно лишь то, что происходит с тобой и с теми, кто рядом. «Лишь тогда, когда его самого вытащат из-за стола и свяжут, будут пинать ногами и бить дубинкой, поймет он, что это такое. Лишь тогда, когда у него на глазах будут гнать, как стадо, избивать, грузить в товарные вагоны людей, он поймет, как это бывает». Здесь — в Освенциме — все кончено, он — в уже отошедшем мире. «Минута полной тишины. И вдруг он понимает — нет, ничего не кончено».

И оратория Вейса и драма Вальзера написаны потому, что «ничего не кончено», и *для того*, чтобы связать воедино объяснения, даваемые фактами и цифрами, с живым ощущением «непредставимого» — предсмертной муки миллионов.

Одиннадцать песен «Судебного разбирательства» — это одиннадцать этапов смертного пути узника Освенцима — от «платформы», куда прибывают груженные живыми и умершими поезда, до кремационной печи, черной стены расстрелов, подвала, где травят газом, или другого места уничтожения.

В оратории Вейса не надо искать того, о чем дано непреложное свидетельство в «Репортаже с петлей на шее», в письмах расстрелянных коммунистов Франции, Чехословакии, Польши, во всей революционной литературе мира, и прежде всего в советской литературе.

Если в знаменитой группе узников Бухенвальда, изваянной Фрицем Кремером, есть и «сомневающийся», и «слабый», и «сдавшийся», то форму и содержание ее организует фигура борца, того, кто в нечеловеческих условиях не только остался человеком, но и продолжал бороться там, где с обычной точки зрения это было невозможно. «Страшный мир» оратории Вейса «организует» фигура свидетеля — многоликого, проницательного, мужественного, способного ставить свою жизнь на карту ради возможности спасти хотя бы одного человека, но чаще всего лишь *знающего* о том, что в лагере существуют подпольные организации Сопротивления. Его понимание долга — это копить улики, вести некую «летопись бесчеловечного», чтобы предъявить счет, когда кто-то покончит с фашистским злом.

В показаниях других рядовых узников встают чуть намеченные тени несдавшихся, гордых. Это красавица Лили Тофлер, которая на вопрос подруг «Как живешь?» отвечала с улыбкой: «Я — всегда хорошо». Ее зверски убили за то, что и под пыткой она не выдала товарища, которому было послано перехваченное письмо. И это мальчик девяти лет, ставший вожаком ребят, которых везли на смерть. Он убедил их не кричать, не плакать, чтобы не порадовать этим палачей.

Но основные качества главного для оратории и собирательного свидетеля № 3 — это холодная трезвость, проницательность, умение обобщать, которое дает ему возможность сказать на следствии, как связано «объяснимое» с «непредставимым».

Мы знаем то общество,
из которого возник режим,
порождающий такие лагеря.
Порядок, царивший в них,
был нам уже привычен
в других его учреждениях.
Поэтому мы и могли
поставить себя
даже там, где режим проявлялся
в той окончательной
последовательности,
с какой эксплуататоры в доселе
неизвестной степени
осуществляли свой произвол.

Рабский труд миллионов в военной промышленности, социально-экономическая основа зверства, сознательная эксплуатация подневольных рабочих «на износ» — все это под давлением точных вопросов судьи и прокурора встает в показаниях тех свидетелей, которые, по ремарке в тексте, защищают лагерную администрацию. Вот — обер-фюрер в годы его деятельности в лагере и ныне — советник министерства Федеративной Республики. В его показаниях, несмотря на все оговорки, все-таки встает достаточно точная картина того, как узники лагерей гибли от *совместных* действий палачей — «администраторов» и «трудового режима» в филиале заводов Буна, концерна «ИГ-Фарбениндустри».

Сейчас обер-фюрер уже отошел от дел. Но «ИГ-Фарбениндустри», высоко оценив его деятельность в годы войны, платит ему пенсию в 300 000 марок, и он проживает в своем замке, собирая фарфор, картины, гравюры, а также предметы крестьянского быта.

И как бы ни вывертывался этот свидетель № 1 или № 2 — ныне советник министерства или владелец крупнейшего универмага — или еще кто-нибудь из почтенных граждан ФРГ, скупые, невольные признания его (или их) дают обвинителю возможность подвести некоторый итог.

Господин свидетель,
давайте договоримся до конца,
и тогда мы получим подтверждение
того, как один из ранее
допрошенных свидетелей
определил систему эксплуатации,
установившуюся в лагере.
Вы, господин свидетель,
так же, как и другие директора
мощных концернов,
получали ценой неограниченного
расхода людей
годовой доход во много
миллиардов.

Доход, интересы концерна, нажива — чрезвычайно любопытно, что именно эта экономическая основа бесчеловечия вновь и вновь встает в произведениях столь разных художников, как Петер Вейс, Мартин Вальзер и Рольф Хохгут — автор первой по времени и очень талантливой драмы об Освенциме «Наместник».

Речь для всех них идет не только о крови, но и о ее денежном эквиваленте, не только о попрании всех человеческих норм, но и о том, чему, в самом конечном счете, оно служило. И если в драме Хохгута эта последняя правда проявилась, может быть, и помимо воли автора, то и Вейс и Вальзер сознательно выдвинули этот тезис, как основной и главный. С этим связана одна чрезвычайно важная «подтема» как оратории «Судебное разбирательство», так и драмы и статьи Мартина Вальзера.

В печати ГДР сообщалось о том, что Петер Вейс первоначально хотел подойти к теме концлагерей через историю и литературу. Облик Освенцима должен был лишь угадываться в несколько «актуализированном» Дантовом аде, где в качестве свидетеля выступал бы сам автор «Божественной комедии». От обработки поэмы Данте в «духе Брехта» Вейс не отказался и сейчас. Но с темой Освенцима (если судить по тем отрывкам, которые уже появились в печати) будущее произведение уже не связано. И я думаю, что Петер Вейс был глубоко прав и как человек и как художник, отказавшись в трактовке темы Освенцима от литературных и исторических опосредствований.

Более того, в оратории он все время отрицает то, что жестокость и бесчеловечие фашистских палачей были проявлением некоего имманентного, метафизического зла. В прямую полемику с такой трактовкой вступает и Мартин Вальзер в статье «Наш Освенцим». Статья эта столь же жестока и горька, как и драма «Черный лебедь». И в ней чувствуется та же «замкнутость кругозора». Весь мир ограничен для Вальзера пределами Федеративной Республики, которая, в свою очередь, является для него *только* наследницей Третьего рейха. Ее население, по его мысли,— это либо соучастники преступлений, либо возможные свершители их в будущем — мещане — с тайным тяготением к жестокому и страшному, либо «свидетели», вся мудрость которых — предвидеть «холод и мрак грядущих дней». В статье, как и в драме, ощущается и горькая ненависть ко всем росткам фашистской идеологии и политики в ФРГ, и вместе с тем полное забвение того, что за пределами Федеративной Республики существует целый мир, треть которого уже установила у себя достойный человека и справедливый общественный строй.

Но в полемике с метафизической трактовкой злодеяний фашизма Вальзер прав несомненно. Изображая Освенцим как Дантов ад и его персонажей как дьяволов, граждане ФРГ, по мысли Вальзера, как бы изымают его из исторической реальности, перерезают те нити, которые связывают «ад» с весьма «земной» практикой фашистского режима. «Освенцим не был адом, он был немецким концентрационным лагерем,— говорит Вальзер.— И узники его были не «осужденными» или «полуосужденными» христианского космоса, а невинными

---

Е. КНИПОВИЧ
СВИДЕТЕЛИ

евреями, коммунистами и так далее. И мучители не были фантастическими дьяволами, а такими же людьми, как ты и я... Освенцим вообще не что-то фантастическое, а учреждение, которое немецкое государство создавало с большой последовательностью для эксплуатации и уничтожения людей».

Чудовищные проявления личных склонностей мучителей и садистов не должны, по мысли Вальзера, заслонять в нашей памяти самой сущности Освенцима — «отбор на платформе, переброска в камеры, циклон-Б, кремационные печи. А кого не убили сразу, тот работает на Круппа, на «ИГ», пока не умрет сам или не будет убит. Это система производства, созданная «идеалистами» национал-социализма как часть общей системы».

Не менее любопытно и то, что Вальзер отказывается от самих терминов «человечное» и «бесчеловечное», заменяя их понятиями «социальное» и «асоциальное». Зверства в концлагерях — говорит он — были лишь одной из возможных форм проявления «асоциального». Сейчас в ФРГ — это и антикоммунизм, и требование атомного оружия и смертной казни для инакомыслящих, а также и утонченные, идеалистические формы апологии жестокости. «Наше асоциальное имеет и грубых и тонких защитников, пусть оно еще не проявляется прямо, его всегда можно мобилизовать. Конечно, Освенцим не повторится. Ближайший триумф асоциального будет разукрашен поиному».

Таким образом, мысль о том, что «ничего не кончено», о живучести в ФРГ самых корней фашизма одинаково встает и в сознании Вальзера и в сознании Петера Вейса.

В том отрицании метафизической и дьявольской природы фашистского зла, которое содержится в произведениях Вальзера и Вейса, может быть, есть и некоторые элементы полемики с концепцией, которая содержится в драме Рольфа Хохгута «Наместник». Драма эта, увидевшая свет в 1962 году, за один 1963 год выдержала двенадцать изданий. Предисловие к ней написал Эрвин Пискатор. В 1962 году Хохгуту была присуждена премия имени Герхарта Гауптмана. Немецкий театр в Берлине показал драму Хохгута жителям столицы ГДР.

Рольф Хохгут — верующий католик. Этим определяется в его драме многое. И стремление утвердить мысль о «дьявольской природе» фашистского бесчеловечия, и тяжесть разочарования, связанного с тем, что «морально-политический» облик папы Пия XII явно не соответствует идеальному образу наместника Христова. Несомненно, религиозный характер воззрений автора отчасти сказался и на образах тех трех героев, отношения которых должен воплотить основной конфликт произведения.

«Треугольник» этот составляют два борца против фашистского зверства — молодой патер Рикардо Фонтана и оберштурмфюрер СС Курт Герштейн; третий, не имеющий имени, названный и обозначенный только профессией, Доктор, непрерывно творящий зло ради зла, выделяющийся по своим «личным склонностям» даже среди палачей Освенцима,— есть как бы квинтэссенция фашизма и вместе с тем «очеловеченный» дьявол. Патер Фонтана — лицо вымышленное и собирательное. Он как бы воплощает мужество тех рядовых служителей католической церкви, которые, не будучи арестованными, добровольно шли вместе с верующими своего прихода в концлагерь и в кремационные печи. Такие случаи известны, и, конечно, столь действенное человеколюбие и высокое понимание долга достойны всякого уважения, какова бы ни была их основа.

Если Доктор — это «дьявол», а в образе Рикардо порою сквозят черты, близкие «ангелу», то Курт Герштейн — это человек сложный, противоречивый, страстный.

Из всех трех героев он один имеет реальный прообраз. Известный деятель движения защиты мира, личный друг Герштейна пастор Нимеллер называет его «довольно необычным святым». Католик, антифашист, талантливейший инженер-химик, Герштейн пришел к выводу, что при сложившихся обстоятельствах единственный способ действенной борьбы с фашизмом — это борьба «изнутри», под маской слуги фашистского режима.

Нам нет нужды исследовать вопрос о том, насколько совпадает характер и судьба героя Хохгута с его прообразом.

В драме тема Герштейна — это тема «утраченных иллюзий», бесстрашного понимания того, что глава «Христовой церкви»— папа римский — всего лишь ловкий политик, мастер компромисса с самыми черными силами исторического «зла», связанный к тому же экономическими интересами с концернами и монополиями Третьего рейха.

Бесстрашие мысли приводит Герштейна драмы к убеждению, которое он и высказывает в решающем споре с одним из вершителей судеб католической церкви, именуемым также по его званию — Кардинал.

Казуистические рассуждения Кардинала о неисповедимости путей господних, о том, что и Гитлер, в конечном счете, так же, например, как и Каин,— братоубийца, может быть орудием господним — в данном случае в деле защиты церкви и всей западной цивилизации, вызывают спокойную и горькую отповедь Герштейна. «Рим уже шестнадцать месяцев знает о том, что творит Гитлер в Польше. Почему папа молчит о том, что рядом с колокольнями церквей дымят трубы крематориев, о том, что там, где в воскресенье звонят колокола, в будние дни сжигают людей; таков сейчас облик христианского Запада. А почему бы господу богу не послать в таком случае потоп! Одни лишь танки Сталина могут покончить с Освенцимом, Треблинкой и Майданеком». На отчаянную попытку Кардинала воззвать к немецкому патриотизму собеседника Герштейн отвечает со спокойной горечью: «Избавьте меня от ответа, Ваше святейшество. У меня на родине Гитлер — весьма популярный деятель. Я люблю многих немцев, которые погибнут, когда придет Крас-

ная Армия. Я сам, вероятно, буду убит... И все же...»

«Наместник» — романтическая драма с героем, близким к образам романтических борцов внутри ненавистного им зла, таких, например, как Лоренцаччо Альфреда де Мюссе или Конрад Валленрод Мицкевича. Высокий пафос в разоблачении жестокости и бесчеловечия, живые и привлекательные образы жертв Освенцима, таких, как семья Лукани, Карлотта, друг Герштейна Якобсон, понимание связи концернов и монополий как с системой концлагерей, так и с католической церковью объективно опровергают заданную религиозность первоначального замысла, делают драму ярким художественным произведением и еще одним веским свидетельством в том «судебном разбирательстве» преступлений фашизма, которое ведет прогрессивное искусство всего мира.

Как это ни парадоксально звучит, но драма Хохгута, которая кончается гибелью всех героев и торжеством Доктора,— прямо противоположна проповедям исторического пессимизма и нигилизма.

В кремационную печь идут непобежденные, видящие к тому же историческую обреченность зла. Глубинный смысл драмы выражен в предсмертных словах патера Рикардо, обращенных к Доктору: «Вам никогда не одержать победы, потому-то вы так болтливы; подобные вам могут восторжествовать — но лишь временно».

И Эрвин Пискатор в своем предисловии, и сам Хохгут в послесловии к драме не случайно снова и снова возвращаются к шиллеровским определениям сущности и задач исторической драматургии. И я думаю, что пафос «Наместника» никак не укладывается в рамки религии. Нет, он несомненно связан с той романтической присягой прогрессивным силам истории, с той верой в непобедимость исторического «добра», которые звучат и в «Разбойниках» и в «Дон Карлосе» Шиллера.

В драме третьего «свидетеля» — Мартина Вальзера — и концлагерь, и жертвы, и палачи «при деле» — уже прошлое. И все же, если «Наместник» заставляет вспомнить о юном, «вечно мальчишечьем» (Томас Манн) пафосе трагедий Шиллера, то драма Вальзера рождена не столько даже зрелым, сколько горьким, сухим, каким-то старческим восприятием мира. «Черный лебедь» — это прежде всего трагедия молодых, граждан ФРГ года рождения 1938 или 1939. Фашистский режим лег тенью лишь на раннее их детство. В начале шестидесятых годов нашего века (когда происходит действие драмы) им недавно исполнилось двадцать.

Но «молодого» нет ни в сердце Ирм — дочери профессора Либерэ, ни в сердце Руди — сына профессора Гоотхейна. Не случайно третья из группы молодых — это Тинхен, девушка тридцати лет с разумом младенца. Либерэ усыновил ее, взяв из лагеря уничтожения двадцать с лишним лет назад. Эта страшная пародия на молодость — беззаботная прямота полуидиотки — лишний раз подчеркивает трагическую безысходность судьбы «молодых». В печати ФРГ и ГДР неоднократно говорилось о том, что Руди Гоотхейн — это современный Гамлет. Действительно, Вальзер даже и не прячет зависимости своей драмы от трагедии Шекспира. И «мститель», надевший маску безумца, чтобы доказать вину преступника, и «мышеловка» — спектакль, инсценирующий преступление, дабы убийца выдал себя; все эти гамлетовские мотивы повторяются в «Черном лебеде».

Несомненно, в драме можно найти и некоторые ибсеновские реминисценции. Так, например, самоубийство Руди с бессознательной помощью Тинхен невольно заставляет вспомнить гибель Бранда — лавину, обрушенную выстрелом безумной Герд, последней спутницы одинокого «максималиста».

Современный Гамлет, естественно, очень мало похож на героя шекспировской трагедии. Мне всегда казалось, что, вынося свое суждение о принце датском, все мы находимся в плену многовековой традиции исследователей и комментаторов. Конечно, Гамлет может казаться недостаточно активным и слишком рефлектирующим в кругу титанов Ренессанса, которые с великолепной непосредственностью открывали новые материки или целые области науки, приканчивали старые верования, не щадя ни своей жизни, ни жизни тысяч других. Если извлечь из трагедии Шекспира просто «список деяний» принца датского — он отнюдь не будет свидетельствовать о пассивности. Виттенбергский студент, лучший фехтовальщик при дворе, принц, которого, по словам короля Клавдия, «любит чернь» (то есть народ), Гамлет может первым ворваться на корабль пиратов, хитростью добиться смертной казни врагов, подменив письмо со смертным приговором себе. Гамлет трагедии нагромоздил гору трупов и сам лег сверху — смертью своей утверждая право и необходимость для человечества подняться на одну ступень выше.

В безумии, раздумьях, отчаянии и действиях Гамлета живет и его молодость, и молодость мира, который уже стучится в ворота «тюрьмы», куда заперт герой.

Для Гамлета «Дания — тюрьма» и весь мир — тюрьма. Для маленького же его последыша Руди Гоотхейна весь мир — концлагерь. Гамлет чувствовал себя узником тюрьмы, Руди в концлагере ощущает себя не жертвой, а палачом.

Все было хорошо и просто. Жили-были два почтенных врача-профессора — хирург и психиатр. Один из них отбыл очень недолгий срок тюремного заключения за то, что носил при фашизме какое-то звание. Другого вообще не за что было привлекать к ответственности. Все годы власти фашистского режима он провел в Индии. У обоих друзей-профессоров были дети. У хирурга — сын. У психиатра — дочь. Сын уважал отца, и было за что, ведь хирург — это друг че-

---

Е. КНИПОВИЧ
СВИДЕТЕЛИ

ловечества, защитник жизни. Но официальная бумажка, случайно выпавшая из старой книги, вдруг открыла сыну, что его отец — убийца, палач, производивший в концлагере Розенванг чудовищные эксперименты над женщинами-узницами. Под бумажкой стояла подпись — Рудольф Гоотхейн, и Руди, носивший то же имя, что и отец, принял на себя вину палача — и в этом его безумие.

Нет, он не сказал отцу о своей находке, он просто твердит день и ночь о своем преступлении, о готовящемся процессе. Профессор Гоотхейн привозит его в Карванг — нервно-психиатрический санаторий своего друга Либерэ. И тут стремительно рушится основа жизни всех героев драмы. В сознании обоих молодых — Руди и Ирм — начинает брезжить память о прежнем знакомстве, о странном месте, где протекало их раннее детство, о сладковатом запахе дыма из печей, где, по словам взрослых, пекли хлеб, о копоти, которая вечно садилась на свежевыстиранное белье. А также и о гневе матери Руди, которая пыталась увести детей, очарованных высоким, красивым человеком в черном мундире, с кинжалом и буквами СС на шевроне. И после встречи с черным человеком, расшифровавшим буквы СС как первые буквы своего имени — Черный лебедь,— начались странные, злые игры двух ребят. Впрочем, подругу маленького Руди звали не Ирм — это была Хеди, крошка, которой он отрезал черную косу, но которую он даже в игре не хотел послать в печь (где пекут хлеб!) — она пошла туда сама, добровольно. Итак — ничего не было, ни отцов-ученых — друзей человечества, ни детства, ни молодости, не было и Индии — это выдумка, камуфляж одного из двух отцов-убийц. Женщины-матери не вынесли этого. Мать Руди зачахла и умерла. Мать Хеди-Ирм — помешанная.

Но, может быть, самое горькое заключается в том *внутреннем равнодушии*, с каким Руди пытается вызвать в себе терзания совести. Его уличает в этом умный циник Либерэ — он же один из палачей лагеря Розенванг-Лейбниц.

Огненного раскаяния, гнева, который выжигает скверну и открывает возможность жить дальше, нет в душе несчастного мальчика, принявшего на себя вину отца и звание «Черного лебедя». Вот почему и «мышеловка» — спектакль, поставленный с помощью нескольких пациентов-умалишенных, друзей Руди, не столько разоблачает уже, в сущности, раскрытые преступления «отцов», сколько ставит диагноз того уровня общественного сознания, на котором сейчас находятся, по мнению Вальзера, его соотечественники. Да, в монологах «мышеловки», которые произносят сестры-эринии — Мегера, Алекто и Тисифона (они же трое помешанных — жертвы концлагерей и войны), содержится очень много острой и горькой правды: о цене «экономического процветания» Федеративной Республики, о тесной связи стремлений современных реваншистов с «опытом», полученным в годы фашизма. Но с особой горечью подчеркивает текст «мышеловки» полную безответственность и трусость соотечественников, которые ничему не научились, а лишь лицемерно всплакнули о горькой судьбе своих жертв, дабы приручённая совесть задремала, «как кошечка на солнечном припеке».

Ну что ж, и преступления и преступники названы по именам; с «отцами» маленький Гамлет расквитался. Остается Хеди-Ирм, та, которой он, Черный лебедь, отрезал черную косу, та, которая в злой игре добровольно пошла налево, в печь отца-«хлебопека».

Никакого пути для себя, кроме самоубийства, Руди не видит. Прошлые «грехи отцов» определяют для него и будущее, судьбу детей и внуков. Жить, создавать семью — значит плодить зло, рожать свершителей будущих преступлений. Если Ирм хочет снова стать Хеди — подругой и жертвой Черного лебедя, пусть разделит его участь, уйдет вместе с ним.

Нет, героиня драмы отнюдь не способна защитить будущее от наветов Руди. Да, она любит его, а не своего жениха — глупого и ничтожного доктора фон Труца, за душой у которого нет ничего, кроме пошлых анекдотов о своем военном начальстве. И все-таки Руди в чем-то прав, когда он кричит подруге: «Ты хочешь быть травой, которая все укроет».

Потому что в самой любви Ирм есть то отсутствие «юного», та иссушенность сердца, которая ощущается во всей драме Вальзера.

«...Я хотела бы иметь детей, Руди. И мне скоро будет все равно, от кого...» «Да, у меня есть доктор, Руди. Но я иногда думаю, а как бы оно было, Руди, если бы к этому еще и любовь»,— нет, такой жалобной и жалкой защитой жизни не победить ни равнодушия, ни отчаяния.

И добровольная смерть Черного лебедя ничего не изменила; оставшиеся в живых утвердились в своей лжи. Заключительные реплики пьесы — это слова Ирм: «Нет, отец, Хеди больше не существует; он сказал (она тщательно восстанавливает в памяти слова Руди): «Хеди — так называется только копоть, оседавшая на наше детское белье». Меня зовут Ирм.

Л и б е р э. А меня зовут Либерэ».

Несомненно, Мартин Вальзер так же, как Петер Вейс и Рольф Хохгут,— это свидетель обвинения в том процессе против фашизма во всех его видах и проявлениях, который ведет и будет вести все прогрессивное человечество. Но в оратории Вейса и драме Хохгута действуют фашисты и люди — коллективный «свидетель № 3» знает о тех, кто боролся в условиях как будто невозможных для борьбы, и сам он не несет в себе и грана фашистских пережитков. В драме Хохгута борется (пусть как одиночка) не только Герштейн, сам патер Рикардо — «ангел» в последнюю минуту подымает руку на доктора — «дьявола». И в руке этой — не крест, а револьвер.

В драме Вальзера палачи и жертвы связаны единой цепью, они равно несчастны, придавлены отчаянием и страхом.

Против фашизма свидетельствует лишь самый *характер помешательства* четырех пациентов палаты № 104, друзей Руди, участников спектакля-«мышеловки». А разве все поступки бывшего палача Либерэ не носят отпечатка маниакальности, не свидетельствуют о том, что и он включен в круг общего страха и отчаяния? И усыновление Тинхен — одной из жертв концлагеря, и то, что Либерэ все свободное время отдает ручному труду, которым заняты заключенные в немецких тюрьмах,— все это свидетельствует о стремлении его «наедине с собой», втихомолку заглядывать в свое прошлое и страшиться будущего.

Нет, и палачи у Вальзера отнюдь не похожи на самоуверенных, наглых, изворотливых преступников других антифашистских произведений. Для Вальзера, в сущности, самое горькое заключается не только в том, что «все еще может вернуться», а и в том, что все еще продолжает существовать в общественной и личной жизни его сограждан и в любое время, вступив в другие «сцепления», снова может привести к взрыву «асоциального». И пока это не будет осознано всеми — счеты с прошлым не сведены, и будущее сулит одно лишь горе и ужас.

Я не думаю, чтобы Вальзер хотел доказать своей драмой, что решение Руди — единственное возможное, и для пятидесятимиллионного населения Федеративной Республики нет иного выхода, чем самоубийство. Скорее, он хотел, чтобы у самого широкого круга идеологов, дающих облегченные рецепты прощания с прошлым, «свело бы челюсти» от горечи преподнесенной им пилюли.

От свидетелей нельзя требовать больше того, на что они способны. Но так же нельзя и не подумать о том, что историческая проницательность Вальзера стоит на ином уровне, чем следующие из нее выводы. «Самоосуждение» или «самоочищение» в его интерпретации носит слишком соллипсический характер. Засесть в бест и там либо осудить себя, либо сделаться лучше — практически невозможно. Потому что такому осуждению и также самоусовершенствованию грош цена.

Скверна изживается только в поступках, в конкретной реакции на современное проявление «асоциального», не парализованной мыслью о своей отверженности и наследственном грехе, о том, достаточно ли чисты твои руки для борьбы со «злом». Я думаю, что людей, стоящих на таких позициях, не так уж мало в пределах Федеративной Республики. К ним ведь принадлежит и сам Вальзер, творчество которого тоже идет «поперек» путей официальной идеологии Бонна — антикоммунизма, реваншизма, философского обоснования права на ядерное оружие. За пределами же ФРГ лежит ГДР, народ и культура которой решают вопрос о «расплате с прошлым», на путях строительства разумной и справедливой жизни в настоящем и будущем

В литературе ГДР — об этом уже неоднократно писала наша критика — есть целый ряд книг о расплате с прошлым, целый ряд героев, чей жизненный путь в самой ранней юности был запятнан участием в несправедливой захватнической войне в рядах фашистской армии. И писатели ГДР — Дитер Нолль и Макс Вальтер Шульц, Франц Фюман и Герберт Отто отнюдь не давали облегченного решения всех встающих перед их героями вопросов. Но писатели ГДР — при всей разности их творческих индивидуальностей, а также внутреннего облика и возраста их героев — выводили своих героев в «мир, открытый настежь бешенству ветров», вскрывали объективную связь каждой человеческой судьбы с историческими судьбами народа и родины, ставили их перед объективной необходимостью принять решение — где, на чьей стороне бороться и жить.

Живые борются — в этой строчке Виктора Гюго, ставшей лозунгом французского Сопротивления, заключена вечно живая и бесспорная истина, столь же бесспорная, как и та, что ушедшие от нас бойцы остаются живыми, продолжают бороться в рядах живых.

Эту посмертную жизнь борца я ощутила очень остро на представлении трагедии Шекспира «Кориолан» в обработке Бертольта Брехта. Постановка эта осуществлена «Берлинским ансамблем» больше года назад. И все это время спектакль идет с аншлагом, даже, я бы сказала, со «сверханшлагом». Нет, обработка Брехта (сделанная в 1951—1953 гг.) отнюдь не модернизировала трагедию. То, что Брехт (по его выражению) «вычитал» из трагедии и «вчитал» в нее, не имеет никакого привкуса опрокидывания современности в прошлое, в духе, скажем, фейхтвангеровского «Лже-Нерона». В этой трагедии (если говорить об ее активном и существенном фоне) снова встает коренная для Брехта тема, точно сформулированная в одном из его программных стихотворений «Вопросы читателя-рабочего».

Тема эта — народ как истинный творец истории, народ, руками которого были построены семивратные Фивы и воздвигнуты триумфальные арки Рима, чьей кровью были оплачены победы Александра и Цезаря.

Брехт «прочел» трагедию Шекспира, исходя из основного для себя вопроса — каковы были истинные причины столкновения Кориолана — консула и триумфатора с плебеями и народными трибунами Рима, чем объяснить и измену Кориолана и вместе с тем отказ его от похода на родной город во главе вражеского войска.

Как и всегда, Брехт стремится разрешить вопрос диалектически. Кориолан — пусть жесткой рукой и большой кровью — отстаивал самостоятельность и гегемонию Рима среди мелких племен Италии, в этом заключалось «рациональное зерно» его политики, и поэтому в известный период войн его поддерживали народные трибуны.

Но для Кориолана (так же как и для его противника — царя племени вольсков Ав-

фидия) все содержание истории народа, вся деятельность руководителей сводится к одним лишь войнам.

Поэтому-то Кориолан, ощущая себя «незаменимым специалистом» в этой основной, в его понимании, исторической деятельности, начинает грубо попирать народные права, требовать от плебеев Рима тех жертв, которые вызваны не реальной необходимостью, а всего лишь честолюбивыми претензиями «вождя». Исторические обстоятельства меняются, меняется и «самоощущение» народных масс Рима, меняется поэтому и политика трибунов. Один Кориолан остается неизменным в своем алчном стремлении воевать любой ценой и во что бы то ни стало, в спесивом сознании своей «незаменимости».

Картины английских художников — романтиков и классицистов, а также зарисовки и фотографии великих актеров в роли Кориолана дают нам примерно один и тот же образ — это «муж войны и совета», зрелый человек, отец семейства, воплощение гордости римской аристократии. Кориолан, истолкованный Брехтом, его учениками, его театром,— это мальчишка, вчерашний волчонок, сегодняшний молодой волк, с молодым азартом водящий стаю. Эккехард Шаль играет Кориолана почти без грима. Очень неожиданно воспринимается сначала и молодое, дерзкое, безбородое лицо, и коротко стриженные белокурые волосы с мыском спереди, и короткая серая туника вместо приличествующей герою длинной белой тоги с каймой. Кориолан и появляется на сцене в кругу домашних не как глава семьи, а как влюбленный мальчишка, держа в объятиях жену, не прерывая поцелуя.

Елена Вейгель — Волумния — также отходит в своей трактовке от традиционного образа римской матроны, властной и сильной, застывшей в своем понимании «доблести».

Волумния, воплощенная Еленой Вейгель, умна, гибка, насмешлива. Она значительнее сына, видит его насквозь — и на этом основана ее власть над ним. Кориолан — при всей своей надменности — раз и навсегда признал для себя бесспорность этой власти. Не жена, а мать обряжает сына на войну с вольсками, надевает на него доспехи, опоясывает мечом. Не жена, а мать, ритуальным жестом подняв руки, встречает у ворот Рима сына-триумфатора.

Военные сцены трагедии, которые отодвигались на задний план во всех постановках «Кориолана», выдвинуты на первый план в постановке театра Брехта. Вольски скандируют в бою имя своего царя Авфидия, римляне («дети волчицы») воют по-волчьи. И один за одним падают они под стенами и на стенах осажденного города вольсков Кориоли.

Кульминация военных сцен — это поединок Кориолана и Авфидия, в котором раскрывается волчья природа и волчья повадка этих двух молодых «специалистов войны». В азарте боя они поднимают забрала, затем сбрасывают шлемы, бросают щиты. Кажется, что сейчас оба они отбросят и мечи, чтобы просто грызться зубами, как два осатанелых волчонка.

Победитель Кориолан так же залит кровью, как и побежденный Авфидий. И пурпур, который в следующих сценах лежит на плечах консула и триумфатора, огромен и тяжел для юношеских плеч, складки его блестящие, неподвижные, как будто мокрые от напитавшей их крови.

Нет, умной матери не удалось переломить тупую прямолинейность сына, заставить его приспособиться к изменяющимся обстоятельствам.

Он — нашкодивший мальчишка в тяжелом пурпуре, уже вошедший в конфликт с плебеями Рима, исподлобья следит за матерью, тоненькой фигуркой в коричнево-золотистой столе. Она, как будто занятая только собой, медленно прохаживается по авансцене, поправляет волосы. Но и это молчаливое осуждение (смысл которого — «я отступилась от тебя») уже не может поправить непоправимого.

Серьезной переработке подверглась в трагедии вся линия народа — образы трибуна Юния Брута, образы действующих в народных сценах плебеев. Творчество, а не разрушение, признание всех материальных и духовных прав человека и гражданина — вот что лежит в основе всех действий и устремлений народных вожаков. Надо сказать, однако, что несмотря на превосходную игру Гюнтера Наумана — Брута, несмотря на правильность и справедливость всех слов и действий представителей римского народа, некоторый рационализм народных масс делает их менее впечатляющими. Интерес и внимание зрителей все же прикованы к гораздо более колоритным и ярким фигурам «отрицательных персонажей» Кориолана — Шаля и Авфидия — Гильмара Тате. И в образ царя вольсков Брехт «вчитал» многое. Его Авфидий — это как бы второе, ухудшенное издание Кориолана, лишенное всяких следов внешнего благообразия, которое все-таки дают римскому полководцу и личная одаренность и традиции аристократической семьи Марциев. Авфидий — солдафон, грубиян, который принимает римского полководца — изгнанника и изменника «по пьяной лавочке»,— еле держась на ногах. И убивает он Кориолана, отказавшегося идти на Рим, не по-честному, вероломно и жестоко.

Но самое важное и «сокровенное» из того, что Брехт «вычитал» в трагедии Шекспира и «вчитал» в нее, связано с образом Волумнии, с центральной для трагедии сценой, в которой мать приходит в лагерь врага, чтобы, припав к ногам сына, умолять его о пощаде родному городу. По собственному признанию, Брехт, читая монолог Волумнии, столько раз потрясавший сердце зрителей в исполнении величайших актрис мира, вдруг увидел, что аргументы матроны несостоятельны, что они ни в чем не смогли бы изменить волю и решение такого «неизменяемого», застывшего характера, как Кориолан.

Пробить эту броню могло, по мысли Брехта, не воззвание к тем чувствам, которые Кориолану недоступны, а лишь то, что сломало бы его убеждение в своей «незаменимости», в тождестве своего призвания «специалиста войны» с историческими путями народа Рима. Прав ли Брехт, отдавший основной «тезис» своей переработки в руки римской матроны, матери Кориолана, его «водительницы» на путях политической карьеры?

Если в самом решении и могла быть какая-то натяжка, то Волумния — Вейгель силой великого своего таланта сделала развитие этого образа убедительным и бесспорным. Умная, гибкая, насмешливая женщина-мать, легкой и властной рукой ведшая сына, знающая его до самой глубины, в минуту опасности, грозящей городу и народу, исчерпав все, так сказать, официальные аргументы, наносит ему смертельный удар. Этого в трагедии Шекспира нет. И именно здесь Брехт, отступив начисто от шекспировского текста, раскрыл со всею силой основной смысл своей трактовки.

В лагере вольсков Кориолан ждал раскаяния родного города, ждал, что над стенами его встанет дым, призывающий изгнанника обратно,— знак покорности плебеев и трибунов.

Но брехтовская Волумния достаточно умна, чтобы увидеть, как изменилось самосознание народа, которому — на путях его самодеятельности и творчества истории — уже не нужен «специалист войны».

И именно об этом она говорит сыну. «Преображение» римской матроны Вейгель показывает с огромной силой. Только что простертая у ног сына, «из праха» встает совсем другая женщина. И белое ее одеяние, и черное прозрачное покрывало на запрокинутом лице становятся вдруг одеждой пророчицы, жрицы:

Знай, ты пойдешь на совсем
другой Рим, не тот,
который ты покинул. Незаменимым
ты перестал быть, ты лишь
смертельная угроза для
всех. Не жди дыма повиновения.
Если дым и встанет — это будет
дым кузниц,
где сейчас куют мечи для
борьбы с тобой.

Эти слова матери сам Кориолан воспринимает как смертный приговор. Если так, если родился другой Рим — Рим плебеев, где ему, вождю, нет места и доли, тогда уже не важно все — вплоть до собственной смерти от руки озверевших вольсков, выполняющих приказ Авфидия.

Слова Волумнии, обращенные к сыну, это как бы заклятие будущим, которое уже рождается в настоящем, это утверждение единства понятий Родины и Народа, это кусочек «вечного», открытый в принадлежащих времени конфликтах римской истории. Именно поэтому так напряженно следят зрители за развитием событий, происходящих более 2000 лет назад, именно поэтому громом аплодисментов встречают они слова Брута в сенате, в которых заключен как бы приговор к забвению, заслуженный теми, кто противопоставил свое тщеславие интересам народа. Антимилитаристский и антифюрерский пафос брехтовской переработки, вера в будущее и в неисчерпаемые творческие силы нации — все это созвучно пафосу сегодняшней литературы ГДР. На материале древней истории Брехт — исследователь и боец подкял все ту же антифашистскую тему двух традиций, двух наций в каждой нации, двух культур, борьба между которыми определяет и прошлое, и настоящее, и будущее народа и страны.

## ВИТЕЗСЛАВ РЗОУНЭК

# ЧЕЛОВЕК НЕ ОДИНОК

### (Творческий путь Яна Отченашека)

Чешский прозаик Ян Отченашек не любит разговоров о литературе, не любит анкет на тему о том, что должен и что не должен писать автор. Он убежден, что писатель обращается к читателю прежде всего своим произведением. Он утверждает, что даже один рассказ, не говоря уже о романе, стоит сотни авторских деклараций. И если Отченашек время от времени выступает с теоретическими рассуждениями, то для того лишь, чтобы полемически обосновать принципы, лежащие в основе его творчества. В одном из своих немногочисленных выступлений он сказал по поводу романа «Гражданин Брих»: «Я хотел... написать роман о том, что человек в наше время не одинок и что в конечном счете невозможно бежать от эпохи или спрятаться от нее».

Эта мысль не случайна для Отченашека. Она лежит в основе всего его творчества. Она объединяет широкий по диапазону роман «Гражданин Брих» и небольшую психологическую повесть «Ромео, Джульетта и тьма» (эти книги переведены на русский язык и хорошо известны в Советском Союзе), а также новый «роман поколений» «Хромой Орфей», недавно напечатанный в журнале «Иностранная литература» (№№ 1—4, 1966 г.). Это программа писателя, его полемическое слово, которое всегда веско звучит в чешской прозе в те периоды нашей истории, которые можно назвать поворотными.

В середине пятидесятых годов, в результате последствий культа личности, чешская и словацкая литературы оказались в состоянии определенного кризиса. Упрощенное понимание социалистического искусства мешало подлинному творчеству. Некоторые писатели и критики стали утверждать, что политическая направленность, партийность творчества, обращение к человеку в его общественных связях ограничивают возможности художника. Тогда-то и написал Ян Отченашек яркий политический роман «Гражданин Брих». Он поставил в этой книге один из важнейших вопросов общественной жизни Чехословакии того периода: может ли человек жить исключительно для себя, может ли сохранить независимость от эпохи, от общества? Честные интеллигенты— и не только они — решали в то время, за социализм они или против него. Тогда, в период необычайно острой политической борьбы, им нужно было определить свое место в обществе. И чешский интеллигент в сложной и противоречивой ситуации избавляется от буржуазно-демократических предрассудков, находит смысл в слове *гражданин*, находит новый, подлинный смысл существования человека.

Ян Отченашек поставил в центр повествования одного героя и одновременно создал историческое полотно, приближающееся по своему характеру к «Климу Самгину» Горького. Этот роман создан вопреки тем, кто насаждал упрощенное отношение к жизни, и вопреки тем, кто отрицал принципы социалистического искусства, ссылаясь на пример неудачных произведений предшествующих лет, в которых сущность человека слишком прямолинейно определялась общественными силами, а обожествленный коллектив противопоставлялся индивидуальности.

«Гражданин Брих» (1955) — это роман об интеллигенте, который вначале не принимал социалистическую революцию в Чехословакии, но, пройдя сложный путь, осознал многое и, будучи патриотом, не покинул родину, к чему его склоняли открытые враги революции. Этот роман был принципиально важным для борьбы против схематизма, он выражал передовые тенденции развития социалистической прозы в Чехословакии. Роман хорошо известен советскому читателю, и это избавляет меня от

необходимости подробно останавливаться на его содержании. Я хочу отметить только несколько существенных моментов.

«Гражданин Брих» — это роман об интеллигенции, которая выросла и сформировалась во времена буржуазной республики и фашистской оккупации и которая ищет свое место в обществе, строящем социализм. Антинародная политика чехословацкой крупной буржуазии оттолкнула мыслящую интеллигенцию, которая стала искать сближения с трудящимся народом и рабочим классом. Но в то же время интеллигенция сохраняет мелкобуржуазные иллюзии о свободе и демократии, распространявшиеся в Чехословакии Масариком, а позже Бенешем, идею политической и мировоззренческой независимости интеллигенции от каких-либо классов. Именно Бенеш стремился в тридцатые годы, а особенно после второй мировой войны с помощью этих лозунгов направить интеллигенцию как политическую силу против рабочего класса.

Эти факты послужили для Отченашека только исходной предпосылкой. Автор обнаруживает внутреннюю связь психологии своего героя-интеллигента (а вместе с ним и других действующих лиц) и эпохи, которая порождает эту психологию. Лозунг «Интеллигенция — с трудовым народом» многих поставил перед мучительным и сложным выбором. Тот, кто пережил этот момент, знает, что для честных интеллигентов речь шла не только о внешней, декларативной поддержке диктатуры пролетариата, но о глубокой внутренней переоценке собственной позиции. Борьбу Бриха за самого себя, его поиски цели жизни автор связывает с основными конфликтами той эпохи.

«Гражданин Брих» вызвал огромный интерес у читателя и у критики. Роман привлек внимание глубиной мысли, полнотой и богатством картины того времени. Правда, уже первое произведение Отченашека «Широким шагом» (1952) оказалось настолько зрелым, что критика судила о нем без всяких скидок на неопытность автора, которые обычно неизбежны по отношению к писателям, вступающим в литературу. Общее мнение было выражено в авторитетных словах Вацлава Ржезача — одного из самых опытных и уважаемых писателей, приветствовавшего новый талант. Ржезач пожелал новым произведениям Отченашека еще более глубокого отражения правды жизни.

С выходом романа «Гражданин Брих» Ян Отченашек сразу занял место среди виднейших чехословацких прозаиков.

Вопреки утверждениям тех критиков, которые считают, что определенность социальных характеристик препятствует глубокому проникновению в психологию героя, Ян Отченашек смело и упорно ищет новые пути: образ мыслей и действия героя в его романе раскрываются в их общественной обусловленности.

Отченашек свободно обращается к различным художественным приемам, по-новому используя заложенные в них возможности. Тонко и точно воспроизводит он течение мысли героев. Может быть, читатель помнит одну из главных героинь, Ирену, и ее внутренний монолог, который следует непосредственно за уходом ее брата Вацлава. Встреча родственников превратилась в спор между двумя людьми, придерживающимися противоположной политической ориентации. Ирена воспринимает пролетарскую непримиримость Вацлава к капиталистам как несправедливость по отношению к своему мужу — ведь он тоже капиталист. Ирена возмущена и обижена откровенностью Вацлава. Вацлав давно уже ушел. Но, как камень, с размаху брошенный в воду, взбудоражил бы не только поверхность воды, а проник и в глубинные течения, так резкие слова Вацлава разбередили душу Ирены. Помимо своей воли, смятенно и хаотически, потому что иначе она и не может, размышляет Ирена о себе. Не ясное до сих пор ощущение значительности происходящего влечет за собой глубокий внутренний кризис. Сквозь хаос чувств проступают не случайные, а важные черты характера героев.

Поиски психологической достоверности сказываются в отношении автора и к диалогу, и к прямой речи действующих лиц: диалоги необычайно драматичны и убедительно характеризуют каждый персонаж.

Постановкой проблемы, всей концепцией романа и образами своих героев Отченашек обогащает современный реализм. В этом романе успешно решена проблема, с которой в те годы столкнулась чехословацкая проза,— проблема глубокой психологической достоверности героев, принимавших участие в недавних исторических событиях. Только после романа «Гражданин Брих» Отченашек мог написать повесть «Ромео, Джульетта и тьма», конфликт которой развертывается преимущественно в психологической плоскости, и при этом не впасть в субъективистский психологизм.

Повесть «Ромео, Джульетта и тьма» (1958) вышла в свет, как и «Гражданин Брих», в переломный момент. В конце пятидесятых годов в чехословацком обществе все более настойчиво выступает на передний план проблема единства личного и общественного в человеке. Чешская и словацкая литературы в большинстве случаев отказываются от широких полотен и обращаются к камерным темам. В прозе, возникшей в эти годы, прозвучали индивидуалистические ноты, дали о себе знать многие сложные проблемы, связанные с нелегким процессом «расчета с недавним прошлым».

Именно тогда Отченашек написал повесть «Ромео, Джульетта и тьма». Павел и Эстер — современные Ромео и Джульетта во тьме, в беспросветные дни гитлеровской оккупации. На первый взгляд, традиционная фабула. Камерная история юношеской любви. Но уже с первых абзацев внимательный читатель чувствует, что перед ним разыгрывается нечто необычное. Благодаря

---

ВИТЕЗСЛАВ РЗОУНЭК
ЧЕЛОВЕК НЕ ОДИНОК

тонкому и глубокому проникновению в человеческую психологию Ян Отченашек находит «нечто», придающее старому мотиву черты современности.

О годах фашистской оккупации и о сопротивлении народа в «протекторате» и «словацком государстве» рассказывают широкие эпические полотна. Во многих чешских и словацких романах и повестях показаны антифашисты, не сломившиеся в концентрационных лагерях и тюрьмах, изображены картины боев храбрых партизан. Свидетельством народного Сопротивления фашизму является и повесть Яна Отченашека.

Отношение героев к событиям тех лет образует основные узлы сюжета. Автор тщательно вглядывается то в одного, то в другого героя и находит в психологической реакции каждого из них, потрясенных трагизмом происходящего, богатство и глубину чувств. Часто это чистые тона, а иногда и полутона, переплетения любви, радости, страха, отчаяния, надежды, печали, храбрости и трусости. Но несмотря на всю сложность и различие реакции героев на окружающее, автор сумел найти нечто, объединяющее их. Оно заключается в том, что простые люди не дали запугать себя фашистскому террору, хотя были глубоко потрясены им. Они не дрожали трусливо за свою шкуру, не сидели сложа руки, как зрители.

В новых и страшных условиях через столетия после тяжкой трагедии в Вероне разыгрывается новая трагедия несчастной любви. Юная Эстер умирает, как когда-то Джульетта. Перед нашими глазами раскрывается картина тех лет, когда борьба за любовь приобретает страшный в своей обнаженности смысл борьбы за жизнь. В повести передана не только жестокость фашизма, но и обрисована та сила, которая может навсегда с ним покончить,— солидарность простых людей в борьбе за лучшую жизнь. Отченашек придает современные черты старинному классическому сюжету и проникает в глубины мыслей и чувств человека нашего времени. В этом и заключается прежде всего то новое, что внес Отченашек в чешскую прозу по сравнению со своими предшественниками, да и современниками.

Повесть по жанру существенно отличается от романа «Гражданин Брих», хотя и в повести мы находим все признаки эпического произведения: захватывающий конфликт, зримо вылепленные характеры, драматизм действия. Писатель-реалист, Отченашек стремится проникнуть в самую глубь закономерностей действительности, открыть и развить те возможные формы, которые скрыты в теме и в материале.

В повести «Ромео, Джульетта и тьма» по-своему красноречиво выражено богатство современной реалистической эпики, которая способна проникнуть во все области человеческой жизни. Эта мысль не имеет ничего общего с утверждением приоритета большого жанра — широких полотен или даже только исторической хроники. Борьба за прогресс человечества решается в больших общественных сражениях. Но их победа подготавливается в повседневной жизни, преломляясь в судьбах людей, кажущихся незаметными, находящихся будто бы на периферии событий. Эпик-реалист находит их в самой будничной обстановке, открывает общественный смысл их действий и тем самым их подлинную чистоту и красоту.

■

Шестидесятые годы в чешской и словацкой литературах характеризуются важными изменениями. Эти изменения видны с первого взгляда, брошенного на литературную карту. «Среднее» поколение оказало решающее влияние на сложившуюся литературную ситуацию. В литературе, в частности в прозе, появился ряд новых имен из среды молодого и самого младшего поколения. В то же время новым явлением в чешской прозе можно назвать книги пятидесятилетнего писателя Б. Грабала. Уже это свидетельствует о том, что чешская литература обогатилась многими разнообразными талантами. И совершенно естественно, что этому сопутствует разнообразие жанров. В современной прозе можно найти как документальные записи, так и репортажи, фантастику, исторические романы, лирическую прозу, рассказы, повести, романы с общественной проблематикой, философскую прозу. В этом отражаются не только богатые возможности художников, но и возрастающая здоровая дифференциация читательских интересов. Однако внимательному читателю приходят в голову беспокойные мысли: не достиг ли этот процесс такой стадии, когда нужно выяснить, во имя чего дифференцируется литература? Не доходит ли такая дифференциация до излишней и бесплодной атомизации? Как соотносится это многообразие и разноголосица с идейным единством социалистической литературы?

Односторонне ориентированная критика выдвигает на первый план произведения, содержащие критику культа личности, но весьма поверхностно затрагивающие эту сложную проблематику, а также те произведения, в которых мысли, давно уже не новые, облекаются в формы западноевропейской прозы 20-х и 30-х гг., превращенные, кстати, в застывшие штампы. Следует отметить, что эти черты проявляются до некоторой степени в прозе молодых, у которых, естественно, недостает жизненного опыта и которые в ответ на схематические догматы пятидесятых годов копируют стиль западноевропейской прозы. Но эта констатация ничего не объясняет. Хотя бы потому, что речь идет не только о молодых. Было произнесено много темпераментных речей о том, что новая проза должна остерегаться сюжетных схем «производственных романов» и той однообразной формы, в которую втискивалось любое содержание. Но никто не объяснил, почему искомая целостность человека, которая должна противопоставляться упрощенному пониманию его общественной сущности, распадается у

авторов, отрицающих важность общественных связей для становления личности, почему характер человека у этих авторов дробится на неосязаемые черты, действительность превращается в фантом. Существование человека теряет свою общественную основу, личные интересы вступают в противоречие с интересами общественными, заинтересованность в жизни общества уступает место полной пассивности. Отсюда всего лишь шаг до тенденции, выраженной в некоторых произведениях, где идея индивидуализма ведет к тому, что фабула заменяется неким знаком, призванным подчеркнуть фиктивность действительности, фатальную бесцельность какой-либо деятельности. Это уже не вопрос эстетики, не проблема новых, несхематических решений, а проблема, глубоко затрагивающая идейные основы искусства.

Почему так произошло? Это не легкий вопрос.

Не один раз мы слышали из уст теоретизирующих практиков термин «зондирование человеческих глубин». Некоторые критики охотно дополняют: «зондирование глубин души современного человека». Другие употребляют термины, которые звучат как таинственное заклинание: «обнажить ядро человеческого существования». Но почему наряду с теми чешскими и словацкими авторами, которые исходят в своем творчестве из материалистического понимания действительности, мы встречаемся с произведениями, проникнутыми духом иррационализма? Почему наряду с произведениями В. Минача, Л. Мнячко, Ф. Грубина, Д. Татарки, Л. Тяжкого, А. Люстига, Й. Несвадбы, И. Климы, И. Выскочила, Н. Фрида, Б. Грабала — авторов таких разных и непохожих, которые, при всех различиях таланта, основывают свое творчество на понимании человека в его социальной сущности, в Чехословакии появляется проза, в которой социальная сущность человека берется под сомнение? Материалистическому пониманию действительности противопоставляются взгляды, которые вытекают из идеалистических философских концепций.

Эти факты нельзя объяснить только реакцией на схематические черты литературы первой половины пятидесятых годов. Безусловно, она играет определенную роль, но корни этого процесса нужно искать в другом.

Коммунистическая партия Чехословакии, опираясь на решения XX и XXII съездов КПСС, на своем XII съезде наметила пути дальнейшего развития нашего социалистического общества. Здесь были выработаны положения, которые определили разработку и реализацию новых основ экономического руководства, углубление социалистической демократии в самых различных областях, а также приняты решения, которые должны способствовать активизации всех творческих усилий, чтобы искусство всемерно помогало дальнейшему развитию нашего общества. В искусстве была создана атмосфера, дающая дорогу любым поискам, которые не противостоят интересам общества, а находятся в гармонии с ними. Здесь кроются корни творческой активности, о которой шла речь.

Реализация решений XII съезда проходила в Чехословакии в сложных и трудных условиях. В тот период у нас дали о себе знать экономические трудности. В это же время перед партией в соответствии с решениями апрельского пленума 1963 года стояла задача обеспечить полное преодоление последствий культа личности. Сыграла свою роль и встревоженность, связанная с положением в международном рабочем движении.

В этот период, когда еще не исчезли различия между общественными слоями с разными интересами, традициями, с разным мировоззрением и понятием о нравственном, в искусстве наряду с социалистическим проявляются и иные направления, о которых в годы культа личности не писали, хотя они подспудно продолжали существовать. В этот период многие общественные проблемы, в том числе и в области культуры, рассматривались в печати без глубокого анализа, и таким образом открывались двери для пустопорожнего радикализма. Часть критики, например, с огромным воодушевлением занялась (если уж придерживаться модной современной терминологии) «деструкцией» «ложных представлений» о социалистическом искусстве, о социалистическом обществе. Вскоре, однако, выяснилось, что эта «деструкция» влечет за собою возникновение абстрактных гипотез, которые рассматривают прошлое как цепь ошибок, а настоящее — с чисто эмпирических позиций.

Разумеется, положение в современной литературе гораздо сложнее, и отрицательные тенденции не играют в ней главной роли. Однако все это говорит о том, что дифференциация в области искусства является у нас прежде всего идеологическим вопросом. Некоторые факты в критике и в писательском творчестве свидетельствуют о том, что двадцать лет развития литературы — слишком малый отрезок времени для того, чтобы можно было говорить только о противоречиях внутри социалистического искусства и понимать их как следствие внутреннего столкновения между прогрессивным ядром и остатками ложных представлений.

В такой ситуации особенно важно сформулировать позитивную концепцию социалистического искусства, которое в конкретных произведениях может дать ответ на вопрос о связи литературы с жизнью. Роман Яна Отченашека «Хромой Орфей», еще раз утвердивший его славу большого писателя, наряду с некоторыми произведениями других авторов принадлежит к удачным попыткам дать такой ответ. Ян Отченашек опять обращается к широкому полотну социального романа. Он возвращается к теме интеллигенции, но в гораздо более сложных связях. Одновременно он возвращается к эпохе войны и Сопротивления, когда перед

---

ВИТЕЗСЛАВ РЗОУНЭК
ЧЕЛОВЕК НЕ ОДИНОК

каждым из нас стоял вопрос, быть или не быть нашей нации. Все это дает ему возможность касаться в социальной, философской и психологической сфере самых основных проблем современности, отобразить в художественном произведении логику истории.

В полемике с теми, чье антиобщественное понимание характера ведет в искусстве к крайне субъективной теории «голого человека», Ян Отченашек создает свою художественную программу, целью которой является целостность личности. В ней он ищет и находит корни эпичности, утраченной субъективистской прозой. Он возвращает прозе эпичность, а тем самым возвращает прозу широкому кругу читателей.

■

«Хромой Орфей» — это история юношей, которые организуют нелегальную группу Сопротивления. Выпускники средней школы двадцать четвертого года рождения оказываются на пражском заводе и здесь, в гуще народа, сдают подлинный экзамен на аттестат зрелости. Последствия этой проверки различны. Но каковы бы они ни были, как ни горек, тяжел, невыносим был их жизненный опыт — лучшие из них поняли, что рушатся старые общественные и нравственные иллюзии.

«...— Я только боюсь, что теперь ничего уже нельзя исправить. Весь мир — это обман, беспощадность и кровь, жестокие случайности и бесцельные смерти. Я боюсь этого мира, не верю ему, не верю и в то, что будет потом, не хочу всего этого видеть, понимаешь, Зденек! Не хочу!..

...— Ты — маленькая дурочка, другого мира нет, выбирать не из чего, приходится жить в этом, потому-то и нужно переделывать его. Никогда он не бывает совершенным и не будет. Может быть, он и бессмыслен, если бы существовал сам по себе. Но мы должны придать ему смысл, пойми! Ради этого стоит жить, а иногда, если нет другого выхода, то и умереть...» Это слова Зденека, борца-антифашиста, который погибнет от рук гестапо, его ответ на сомнения Бланки, его сестры. Главное, что эта мысль выражена не как постулат автора, а вытекает из раздумий и чувств героев, их убеждений и их поступков.

Талант Яна Отченашека в этой книге раскрылся по-новому. Писатель сумел показать характеры в становлении, в росте, и это придает им жизненность и художественную убедительность, тем более что члены группы «Орфей» принадлежат к разным социальным слоям. Мы становимся свидетелями того, как эпоха формирует человека в прямой зависимости от того, как он сам участвует в ее формировании. Писатель воспроизводит одно из тех редких мгновений, когда человек может сознательно вмешаться в жизнь общества либо пропустить этот момент и превратиться в мещанина, стать карикатурой на человека или покончить с собой. Итак, мы свидетели процесса, вскрывающего подспудные возможности человека-творца, меру его свободы и ответственности перед собой и перед обществом. Мы свидетели процесса, в котором общественное развитие утрачивает свою анонимность и становится конкретным следствием действий всех его участников. То, что происходит, перестает быть результатом слепой случайности, а, напротив, выражает логику истории, зависящую от активности людей.

Роман «Хромой Орфей» можно назвать романом «поколения 1924 года». В нем с большой силой воссоздана та духовная атмосфера, в которой складывалась писательская индивидуальность не только Яна Отченашека, но и таких писателей, как Иван Скала, Иржи Гаек, Иржи Шотола, Карел Птачник, Эдуард Петишка, Карел Шиктанц и ряд других. Роман отвечает на вопрос, почему для этого поколения социализм стал синонимом жизни. Впрочем, роман «Хромой Орфей» в равной мере может быть назван и романом «поколения 1944 года», которое сегодня вступает в жизнь и в литературу, потому что перед этим поколением также стоит вопрос об определении своего места в жизни. «Вечные» категории любви, смерти, чести, свободы получают, как бы говорит нам автор, свой конкретно-исторический смысл, когда человек вынужден выбирать смерть в одиночестве или активность, защиту человеческих ценностей. Этот роман в каком-то отношении перекликается с романом Карела Птачника «Год рождения двадцать первый», а также с другим романом «поколения 1924 года» — с «Трусами» Йозефа Шкворецкого. В отличие от них для Яна Отченашека характерно стремление создать целостный образ эпохи.

Философская суть романа тонко обнажает ложность идеалистического мышления, сегодняшние разновидности этого философского направления. Философские взгляды героев естественно вытекают из самого развития их характеров. Они так же необходимы героям, как земля, по которой они ходят. Всмотритесь, например, в Гонзу и Душана, заметьте, как противопоставлены их идейные позиции. И невольно читатель оказывается вовлеченным в их философский спор, что не так уж часто встречается в нашей литературе. Реалистическая эпика под пером Яна Отченашека оказывается обогащенной глубоким философским подтекстом, несмотря на то что самая возможность существования подобной литературы отрицается некоторыми критиками, которые единственным типом философской прозы признают нечто вроде трактата, разыгранного в лицах и лишенного эпического действия.

В романе «Хромой Орфей» Ян Отченашек возвращается к той теме, которую впервые поднял в «Гражданине Брихе»,— к теме выбора человеком своего пути в сложной исторической обстановке. Индивидуум входит в роман как член коллектива, общественной группы или класса, современное общество предстает во всей его конкретности. Общественный процесс показан как результат конкретных действий людей. Таким образом, роман приобретает многоплановость.

философскую глубину, жизненную и художественную пластичность. Правда, читатель (особенно чешский, в руках у которого не журнальный вариант) может отметить некоторую расплывчатость красок, избыток романтических мотивов в фабуле или характеристике отдельных героев. Припоминается другая манера письма, те скупые художественные средства, которыми Ян Отченашек поразил нас в повести «Ромео, Джульетта и тьма». Мне кажется, что в какой-то мере это связано со стремлением быть услышанным в нужное время. Это стремление не только не позволяет художнику отдохнуть, но иногда и не оставляет ему времени для тщательной доработки своего произведения во всех деталях. Но победа одержана: «Хромой Орфей» — это роман, который дает, может быть, одно из наиболее впечатляющих и правдивых свидетельств о периоде фашистской оккупации в Чехословакии. В то же время он порожден нашим временем и отвечает на актуальные художественные и философские вопросы современности.

Отченашек принадлежит к большой когорте наиболее зрелых чешских и словацких прозаиков, представленной именами таких писателей, как В. Минач, Л. Мнячко, Ф. Грубин, А. Беднар, Д. Татарка, Л. Тяжкий, Я. Прохазка, Л. Бублик, И. Клима, И. Кржиж, Ю. Шпитцер, Н. Фрид, К. Птачник, и ряд других, творчество которых полемически утверждает, что и в наши дни конфликты, почерпнутые из самой жизни, могут создать предпосылки для возникновения и развития эпического характера. Эпической прозе принадлежат большие открытия и в жизни, и в искусстве.

Было бы неверным утверждать, что таким пониманием прозы мы сужаем эпический жанр до «романа-потока». Но ведь и Ф. Грубин, и Б. Грабал (в своих лучших произведениях), да и не только они, сосредоточивают внимание как раз на неповторимости человеческой судьбы. «Золотой ранет» Ф. Грубина, «Пабители», «Уроки танцев для успевающих» Б. Грабала — это полнокровная эпическая проза. Их качество определяется отнюдь не тем, что в них сосредоточивается внимание на индивидууме, а тем, как рассматривается этот индивидуум, тем, что не упущена из виду его общественная сущность. И не случайно именно в этом смысле Ф. Грубин в «Золотом ранете» по сравнению с книгами Б. Грабала делает большие открытия. Притом как Ф. Грубин, так и Б. Грабал стремятся разрушить устоявшиеся, привычные литературные каноны. Они ищут, и можно сказать с успехом, новые художественные возможности.

Наряду с этими книгами, вернее, одновременно с ними появляются произведения, которые в самых разнообразных вариантах концентрируют внимание на проблеме столкновения личности и общества. Сосредоточиваясь на анализе общественных отношений, писатели ищут в них корень нравственных кризисов и проблем, которые возникают сегодня. Здесь также остро ставится актуальная политическая проблема нашей современности: критическая оценка прошлых ошибок, когда взаимоотношения между личностью и обществом были искажены.

Мне кажется, что из всего этого вытекает определенный вывод: впервые в истории мы, коммунисты, доказали, что существуют силы внутри нашей революции, которые могут сами ликвидировать ошибки, допущенные в революционном движении. Одновременно мы стремимся начертать путь в будущее еще не исследованным способом. Это не легко — как в жизни, так и в искусстве возникают сложные ситуации, свидетелями которых мы были. Но существуют художники, которые своими произведениями доказали, что погребальные речи над социалистическим искусством неуместны. Факты говорят в пользу социалистического искусства, которое является не абстрактным понятием, а объективной реальностью, слагающейся из творческой работы социалистических художников. Участие одного из них в общем процессе мы попытались обрисовать.

■

Что же сказать в заключение? В начале статьи мы вспомнили слова Вацлава Ржезача, который предсказывал большой путь таланту Яна Отченашека. Его творчество подтвердило эти слова. Глубокий и оригинальный взгляд художника на искусство и на действительность дает возможность Яну Отченашеку проявить наиболее полно свой талант. У него есть свой собственный почерк. Ян Отченашек — эпик, прекрасно чувствующий психологию, чувствующий лирический настрой человеческой души. Это романист, который умеет согреть тонким юмором повествование и наделить им героев, стиль которого характеризуется сдержанностью, даже скупостью, но за этим скрывается страстная любовь к людям. Эти черты ни в коем случае не подавляют основу эпичности: широту охвата событий, остроту конфликтов, яркость героев, драматическое напряжение в развитии действия. Специфическую окраску придает его прозе и сильный эмоциональный заряд. Ян Отченашек — эпик, который занимает прочное место в чехословацкой социалистической литературе; его творчество — аргумент в пользу социалистического искусства современности. Например, именно советские читатели с большой симпатией приняли роман «Гражданин Брих» и повесть «Ромео, Джульетта и тьма», которая вышла в переводе на тридцать семь языков,— такой успех выпадает на долю далеко не каждого писателя.

Исследователи стиля Яна Отченашека ищут его истоки в отечественной и мировой литературе. На память прежде всего приходят имена крупнейших чешских писателей — Яна Неруды, Ивана Ольбрахта, Ма-

---

ВИТЕЗСЛАВ РЗОУНЭК
ЧЕЛОВЕК НЕ ОДИНОК

рии Пуйма́новой. Дело не в том, что у Отченашека мы находим прямую перекличку с ними (сравните, например, встречу Бриха с потоком демонстрантов и встречу с рабочей первомайской манифестацией у Неруды, или встречу с новыми людьми и людьми из прошлого в «Карти́нах России» у Ольбрахта, или, наконец, сочетание описания массовых сцен с глубокой психологической обрисовкой героев, как это мы видим в трилогии М. Пуймановой). В том или ином случае речь может идти о случайных совпадениях. Но на самом деле речь идет не о случайностях, а о том, что Ян Отченашек связан с этими авторами основными чертами своего творчества.

Конечно, Ян Отченашек как крупный прозаик сформировался не только на отечественных традициях. В развитии его таланта сыграла роль и мировая литература. Чехову, о котором говорит сам Ян Отченашек, принадлежит одно из первых мест. Он не прошел мимо опыта прозы, которая анализирует сознание и подсознание человека XX столетия, у истоков которой стоят Джойс и Пруст. Но нельзя обойти и одну из традиций действительно современной прозы, без которой, вероятно, с большим трудом складывались бы таланты и Ивана Ольбрахта, и Марии Пуймановой, да и других наших и зарубежных прозаиков. Это влияние толстовской традиции «диалектики души» и дальнейшего развития этой традиции у Горького.

Ян Отченашек не прошел мимо этой традиции и в «Гражданине Брихе», и в повести «Ромео, Джульетта и тьма», и в романе «Хромой Орфей», новаторски использовал ее, стремясь раскрыть характер нового героя.

Путь Яна Отченашека к социалистической прозе, в основе которой лежит глубокая вера в человека, в его возможности, в его светлое будущее, не был легким — уже вследствие высокой требовательности к самому себе. Его книги показывают, что Ян Отченашек проделал работу, достойную уважения, без которой нельзя представить себе современную социалистическую прозу Чехословакии.

**Прага.**

В. ДМИТРИЕВ

# РЕАЛИЗМ И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

## (По материалам дискуссии)

В сборнике «Современные проблемы реализма и модернизм» (М., издательство «Наука», 1965) собраны материалы большой дискуссии, состоявшейся в Институте мировой литературы им. А. М. Горького. В сжатом виде это характеристика существенных сторон современного литературного процесса и одновременно отражение некоторых тенденций нынешнего советского литературоведения. Сборник побуждает думать: что же дальше?

■

Если аргументация ограничивается признанием элементарной идеи о враждебности реализма и модернизма, то задачи исследовательские сводятся, в сущности, к тому, с чего многие начинали и чем кончали,— к иллюстрации исходного тезиса в его очевидности. Наше литературоведение некоторое время задержалось на уровне заверений. Это вызвало неудовлетворенность, которую находим и в сборнике. «Сейчас у нас за плечами почти вековая история декаданса и полувековая история социалистического реализма. Чему они учат?» Б. Бялик поставил этот вопрос вовсе не потому, что видел ответ на него достаточно проясненным, хотя было немало попыток дать универсальное решение. Но пафос подведения итогов, прежде чем проделано исследование, оказался преждевременным. Задача состоит в том, чтобы, как сформулировал И. Анисимов, «раскрыть логику ожесточеннейшей борьбы старого и нового, которой охвачена сейчас всемирная литература».

Для логики этой борьбы характерно, прежде всего, поступательное движение реалистического искусства, его широта, способность отвечать на требования жизни выдвижением новых, самобытных талантов. «В резких спорах, которые ведутся вокруг модернизма, иной раз ускользает... один простой, но решающий факт: современная литература в ее ведущих произведениях и именах остается реалистической. Это относится, конечно, и к западной литературе... Довольно лишь бегло припомнить писателей последнего времени: Хемингуэй, Мартен дю Гар, Мориак, Грин, Амаду, Лакснесс, Моравиа, Бёль и многие другие — это все реалисты, причем по сравнению с 20-ми годами влияние модернизма на литературу в целом сильно упало» (стр. 255).

Отсюда возникает одна из проблем современного литературоведения, а именно: исследовать конкретно путь к реализму талантов, развивающихся в условиях модернистских влияний. На конференции внимание в этом плане было привлечено к творчеству А. Блока (В. Сквозников) и У. Фолкнера (П. Палиевский).

Авторы обеих статей, анализируя избранный ими материал, не рассекают реальное течение литературного процесса на изолированную область реализма, с одной стороны, и модернизма — с другой. Основанием своей методологии они взяли, в сущности, известное, но становящееся нередко общим местом положение марксистской эстетики: настоящий художественный талант всегда заново открывает для себя реализм — свой реализм.

В статье о Блоке поставлен вопрос: «...что, если Блок... не просто «приходит к реализму» как к некоему готовому, *до него* сложившемуся качеству, а сам творит новую разновидность реалистического метода в лирической поэзии?» И в заключение — «блоковское» открытие реализма».

Та же методологическая основа и в другой работе: «...несомненно одно — Фолкнеру пришлось открывать для себя реализм. Только открытие это совершалось вторично,

заново, как будто реализма никогда раньше не было».

Аргументы авторов выходят за рамки анализа Фолкнера или Блока. Если творчество большого писателя развивается в обстановке влияния различных тенденций модернистского характера, то прорыв к реалистической свободе возможен для художника только как открытие реализма заново, своего реализма. Не эпигоном реализма, а его новатором выступает писатель на этом пути. Конечно, в его творчестве реалистическое может быть причудливо переплетено с модернистским. Поэтому необходимо углубление в особенности, неповторимое художественное своеобразие каждого дарования.

Эта методология заставляет нас вернуться, например, к проблеме «Маяковский и футуризм» — если речь идет о победе реалистического начала. И к Брехту, и к Незвалу. Или же к Леониду Андрееву, если исследовать обратный процесс. И так далее. Видимо, многое здесь еще предстоит исследовать.

Однако в статьях П. Палиевского и В. Сквозникова оказался в тени один важный момент. Даже для «такого дикого таланта», как Фолкнер, в том, как «он находит дорогу к своему личному, фолкнеровскому реализму», исследователь должен различать поддерживающую силу реалистических традиций. Другими словами, если верно, что художника-реалиста создает жизнь и в ней он сам себя создает и свой реализм, то столь же верно, что писателя непременно создает также предшествующая и современная ему реалистическая литература. В интересах исследования новаторства («он совершал свое открытие») надо овладеть и проблемой традиций, выработать способность к проникновению в сложную диалектику противоречий художественного творчества, чтобы познать все богатство искусства.

Реалистическая традиция — это непрестанный поиск и рождение новых возможностей художественного отражения правды жизни, которые открывает действительность. По существу, сама реалистическая традиция (о какой бы национальной литературе ни шла речь) складывается шаг за шагом из нового и тем обогащается и развивается. Самое традиционное для реалистической литературы — это новаторство. Подлинное ее значение заключается в том, что она — не гербарий, что художник, совершая свое открытие, опирается на накопленный опыт других.

Этот опыт, его освоение и развитие, очевидно, должен относиться исследователями не в область подразумеваемого, а включаться в конкретный анализ, в аргументацию, в диалектику целого. Поэтому когда в конце статьи о Фолкнере автор возвращается к исходной позиции: «Его реализм составлялся не из достижений прошлого и настоящего, пусть самых блестящих, а создавался заново»,— то теперь эта верная мысль слишком задерживается на самой себе. Акцент статьи таков, что значение традиций лишь подразумевается.

Если проблема новаторства ставится полно, широко, то нет оснований бояться того, чтобы подвергнуть ее испытанию в свете традиций. Или, как выразилась Маргарита Алигер: «В верности традициям, в том, чтобы не бояться их, в сущности, и заложена, по-моему, истинная свобода и независимость писателя от этих традиций... Я думаю, что только в такой позиции заложены возможности истинного новаторства... не отрицая прошлого, а углубляя его, поднимаясь из него, вырастая над ним» *.

До сих пор шла речь лишь об одном из аспектов борьбы старого и нового, которой охвачена современная литература. Однако далеко не все крупные таланты проходили и проходят путь к реализму от модернизма и через модернизм. Для советской литературы сегодня и особенно для ее великой предшественницы XIX века это и вовсе не характерно. Но и здесь самое перспективное направление для исследователя — это подход к новаторству как к открытию заново своего реализма при (всякий раз неповторимом) восприятии традиций, усвоении (но не присвоении) опыта других.

Многие статьи сборника показывают, как важен для понимания литературы наших дней вопрос о традициях и с какой остротой, в частности, сохраняется необходимость изучения двух гигантов: Толстого и Достоевского. Видимо, не случайно именно Достоевский заставил Б. Бурсова наполнить свою статью полемикой и тревогой по поводу методологических вопросов. В споре коллективно вырабатываются в нашем литературоведении более зрелые критерии. Для Б. Бурсова важно, что «Достоевский принадлежит нам, и развитие его традиций возможно только в подлинно демократическом искусстве». Этому заявлению предшествует анализ, в котором, отделяя в творчестве Достоевского прогрессивное от реакционного и одновременно не теряя их диалектической взаимосвязи, Б. Бурсов последовательно пробивается к тому, чтобы показать, в чем же заключается *великое* этого противоречивого *целого*.

Нельзя не видеть, сколь многое изменилось в советской литературоведческой науке по сравнению с началом или серединой 50-х годов. Сегодня для нее характерны многообразные усилия по овладению новым и существенно важным. Об этом свидетельствует и сборник «Современные проблемы реализма и модернизм», а также некоторые обратившие на себя внимание книги последнего времени, например, трехтомный труд «Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении» или «Национальное своеобразие русской литературы» Б. Бурсова, «Черты романа XX века» В. Днепрова (называю только немногие).

Очевидно, что в дальнейшем труды наших литературоведов будут опираться на опыт преодоления ошибок и слабостей, на проверку теоретических положений конкретны-

* «Вопросы литературы» № 1, 1966, стр. 12.

ми исследованиями всей мировой литературы, в соотнесении с успехами научно-критической мысли других стран. В лаборатории советского литературоведения идет работа по все более исчерпывающему осмыслению современного литературного процесса. И когда мы слышим слова о «догматизме современной марксистской эстетики», мы думаем, что борьба с существующими догматическими тенденциями продолжается и что советское литературоведение сегодня является одним из наиболее основательных и выстраданных свидетельств поступательного, творческого развития подлинно научной эстетики.

■

Редко кто из авторов сборника «Современные проблемы реализма и модернизм» не касается известной концепции «реализма без берегов». Эта концепция претерпевает в последнее время изменения, уточняется. Во всяком случае, с одной стороны, Р. Гароди наметил «границу»: «Реализм без берегов не значит реализм без принципов или эстетика без противника. Мне кажется, враг — это прежде всего «массовое искусство», посредством которого в манере вполне «фигуративной» и отнюдь не «абстрактной» упадочный класс буржуазии ведет борьбу за обесчеловечение человека: я имею в виду «литературу сердца», которая во Франции имеет еженедельный тираж в 4 млн. экземпляров и которая, выступая в жанре новеллы, фельетона, комикса или романа, содержит в себе мифы, необходимые, чтобы обезоружить мужчину или женщину перед «судьбой» с ее счастливыми случаями, с ее уловками и проституцией... это фильмы о насилии и эротизме, которые имеют тенденцию заставить примириться с миром джунглей и скотства как с нормальным миром, потому что он становится привычным... это также пошлая идеализация действительности... это также превознесение стихийности перед сознательностью и культурой... Это — антикультура».*

Такая точка зрения не вызывает возражений. Коммунисты всех стран выступали и выступают против разлагающего империалистического искусства. В послесловии И. Анисимова справедливо говорится:

«С апологетикой капитализма связаны псевдореалистические явления современной буржуазной литературы. Существует высокоразвитая система обмана масс псевдоправдой, и, хотя эстетический уровень рассчитанной на широкий спрос кинематографии или развлекательного чтива ничтожен, капиталистическая культура в этом своем проявлении оказывается все же способной достигнуть огромного массового воздействия, ей удается подчинять своему влиянию сознание миллионов людей».

Р. Гароди неоднократно ставит знак равенства между «массовым искусством» империализма и декадансом. Верно, что «декадентский характер современной буржуазной культуры наглядно проявляется и в этой области, прямо и цинично связанной с прославлением капиталистических условий жизни» (стр. 604). Но история искусства говорит, что «массовым искусством» империализма декаданс далеко не исчерпывается.

Декаденты — по своему субъективному стремлению — хотели отгородиться от жизни, встать выше общественной борьбы, выше классов. Это не ограничивалось отрицанием реализма как исчерпавшего себя, но было попыткой в сфере художественного творчества встать «над схваткой», уклониться от участия в социальной истории. И как раз тогда, когда на рубеже двух веков реализм связал себя по содержанию с самым перспективным и гуманистическим общественным движением — с социализмом, когда началось обновление реализма, наполнение его соками бурно изменяющейся жизни, а отсюда и безграничными художественными возможностями.

Литературоведческие термины нередко меняют свое содержание не только в разных условиях, но и с ходом времени. Сегодня, в частности, ясно чувствуется необходимость терминологического уточнения таких понятий, как «декаданс» и «модернизм», когда-то бывших, в сущности, синонимами, во всяком случае, для сторонников демократической эстетики. От первых декадентов конца века и отчасти начала нового, от эстетских поисков, направленных на разрыв искусства с гражданственностью, отличаются попытки некоторых позднейших, часто талантливых художников овладеть большими проблемами, дать ответ на острые моральные и социальные вопросы, оставаясь при этом на той же позиции — жить в обществе и быть свободным от него, судить о нем со стороны, быть «над схваткой». Так — согласно некоторым авторам сборника — появляется литература модернизма с ее глубокими противоречиями.

В советской критике и литературоведении лишь в последние годы появилась тенденция, не вполне еще ставшая нормой, называть суммарно модернизмом литературу и искусство определенного рода примерно последних пятидесяти лет, а понятие «декаданс» связывать, с одной стороны, с произведениями ранних, предреволюционных ниспровергателей реализма, с другой — с новейшими крайними проявлениями литературно-художественного распада вплоть до буржуазно-апологетической продукции. Такое разделение достаточно зыбко, поскольку перед нами плоды одного дерева, и требует дальнейшего анализа. Но заметно, что становится все более принятым отличать от декаданса литературу модернизма.

Ее герой (например, у Кафки, Камю, меньше у Ионеско) несет в себе известное социальное содержание. Но — в отличие от реализма — лишь для того, чтобы показать

* Les lettres françaises, 1965, № 1099.

ставшее якобы фатальным, всеобщим разрушение общественных и личных связей («некоммуникабельность»), бессмысленность жизни в «алогизме обычного» *, неизбежность поражения: человек становится жертвой, не став борцом. Самое большее, на что он способен,— быть бесполезным, обреченным бунтарем без веры и надежды, потому что «в мире есть только бичи человечества и их жертвы, и ничего больше» (Камю).

В литературе модернизма можно различить разные течения и оттенки, у отдельных писателей — тенденцию к реализму, приносящую заметные художественные достижения, хотя внутренне противоречивые и искажающие в той или иной мере правду жизни. Но в целом современный модернизм проникнут идеями дегуманизирующих философий и потерял перспективу выхода из заколдованного круга. Чем больше проникается искусство модернизма философией буржуазных мыслителей — а процесс именно таков,— тем несвободнее творчество, тем сильнее рационализм поглощает художественность и все безысходнее пафос этого искусства, окончательно утрачивающего опору в правде жизни. Как заметил Д. Урнов: «Модернизм, собственно, призвал себя вывести декаданс из тупика. Однако дыханье его оказалось коротким...» Если говорить о художественном освоении больших проблем, то модернизм, который хотел так же, как и его предшественник — ранний декаданс, оставаться «над схваткой», над историей, вне признания связи искусства с классовой борьбой, не смог оправдать претензий на монополию правдивого искусства.

Это особенно проявилось начиная с середины 50-х годов: «Современный модернизм в его преимущественно экспериментальной форме (наиболее показателен Роб-Грийе) не является собственно литературой. Это литература о том, как надо делать литературу... Независимо от того, соглашаться ли с тем, что говорят эти писатели, или не соглашаться, нужно с самого начала признать, что говорят они большей частью не как писатели — о жизни, а как критики — о литературе... Нынешний модернизм полностью перешел к литературе «экспериментального примера» или «примерного эксперимента» (стр. 255).

Столь резкий уход в формализм сопровождается все усиливающейся дегуманизацией. Модернизм переживает — сравнительно с первыми декадентами — второй, внутренний распад, и функцией этой литературы становится исключительно разрушение человека.

Характерно, что, например, «новый роман», будучи по форме отнюдь не массовым, общепонятным, по своей философии и морали близко подходит к крайне правой, натуралистической, разлагающей «массовой литературе», о которой говорит Р. Гароди. Таково, в частности, мнение Альберто Моравиа, высказанное в дискуссии о «новом романе» на страницах журнала «Нуови аргоменти». А. Моравиа так говорил о связи формалистических ухищрений современных декадентов с содержанием «массовой литературы»: «...авангард создает прототипы, после которых можно перейти к серийному производству».*

Таким образом — если говорить о концепции «безбрежного реализма»,— обнаруживается различие не только между «массовым искусством» империализма и реализмом, но между последним и модернизмом. На том основании, что модернисты, особенно крупные таланты, действительно отличаются от представителей «массовой литературы», что многие даровитые модернисты не были и не являются трубадурами империализма, некоторые критики считают возможным ввести модернистов в наш дом, объявить их реалистами, противопоставить модернизм понятию «декаданс», закрепив последнее только за «массовой литературой» империализма.

Здесь обнаруживаются некоторые из наших разногласий в характеристике литературного процесса. Многие авторы сборника говорят о талантливости и положительных сторонах произведений крупных писателей-модернистов; это — объективное суждение, которое не мешает тут же указать на границы значения того или иного таланта, на противоречия творчества, на реакционность исходной позиции. Когда о положительном у модернистов говорят Р. Гароди или Э. Фишер (даже если конкретные оценки совпадают с нашими), то только для того, чтобы сказать, что, например, Кафка — великий реалист.

Читаем у Фишера: «Если мы назовем реализмом всякое искусство и литературу, стремящиеся изобразить действительность, овладеть ею, если таким образом Гомер и Эсхил, Рабле и Свифт причисляются к великим реалистам, то бессмысленно исключать Кафку из этого круга» **. Правда, даже такой сторонник концепции «безбрежного реализма», как Э. Фишер, иногда, хотя и с оговорками, признает необходимость более научного подхода. В книге «Дух времени и литература» он заявляет в другом месте: «В интересах более точной терминологии многое говорило бы за то, чтобы трактовать понятие художественного реализма более узко и строже, как определенный, исторически обусловленный метод изображения действительности». Но, вернувшись таким образом к признанию необходимости не просто полемических, но и научных оценок, сам Фишер встать на этот путь не решается — может быть, из-за боязни впасть в догматизацию понятия метода?

Исторически верная, не скованная догматизмом оценка литературных явлений не должна создавать искусственные рубрики, но в то же время научное представление о

* Выражение В. И. Ленина. См. об этом в статье Г. Недошивина (стр. 546).

* A. Moravia. L'nomo come fine e altri saggi. Milano, Bompiani, 1964.

** E. Fischer, Zeitgeist und Literatur, S. 78.

художественном методе не может не быть определенным. Иначе само это понятие теряет всякий смысл.

■

Для критического рассмотрения литературных платформ модернизма необходим внимательный анализ конкретных произведений, особенностей творчества писателей, их поэтики. Этого часто недоставало раньше для полноценной аргументации. В сборнике «Современные проблемы реализма и модернизм» имеются конкретные исследования (Д. Затонского, И. Тертерян, Е. Челышева, И. Никифоровой, Э. Сыгеля, Г. Жукова, М. Кузнецова). Д. Урнов, например, раскрыл многие вопросы идейной проблематики романов Джойса и справедливо остановился больше всего на форме, на экспериментальной технике письма, сыгравшей столь существенную роль не только для самого Джойса, но и в попытках его продолжателей. Статья Д. Урнова, в которой сделаны сопоставления с такими мастерами, как Толстой, Чехов, Хемингуэй, Фолкнер, дает материал для изучения как традиций модернизма, так и их преодоления.

К Кафке, как ни к кому другому, считают необходимым апеллировать многие авторы сборника. Именно в связи с его творчеством чаще всего применялись общие характеристики модернизма, из анализа его произведений извлекались аргументы для обобщающих выводов.

В ряде статей сборника обрисована сложность этого писателя. В принципе обнаруживается единство мнений. С одной стороны, аргументировано отношение к Кафке как к талантливому, глубоко трагическому художнику, в произведениях которого ощутимы «подлинные жизненные внешние и внутренние противоречия, вызванные конфликтами общественного бытия», отчего «тип художественного мировосприятия, представленный Кафкой, занимает определенное видное место в литературе XX века» (В. Щербина). С другой стороны, характеризуются слабые, ущербные стороны творчества Кафки. Вырисовывается путь к цельному его пониманию. Сущность этого пути — мы бы сказали — в рассмотрении Кафки (и других) не только «снаружи», то есть в сопоставлении с реализмом, но и с учетом особенностей таланта самого Кафки, так сказать, «изнутри». Только в сочетании этих двух ракурсов можно вполне доказать, что среди судей Кафки реалисты более правы, объяснить то, чем Кафка ценен для понимания эпохи, в чем секрет его художественного эффекта. Когда применяются критерии только одного порядка, тогда, как заметил Б. Бурсов, «эти критерии лишь покажут нам, что Кафка — не реалист. И от нас требуется понять, в чем же заключается его значение как художника, какой он есть, а не каким бы должен был быть».

На этом пути верное наблюдение сделал Б. Сучков. Оно более определенно сформулировано в предисловии к недавно изданному однотомнику Кафки: «Его неудержимо влекло к искусству. Но и в этом прибежище ему было не легче, ибо он... не мог уйти от самого себя, от владевшего им постоянного чувства тревоги, тоски и страха, подавляющего свойственную ему ироничность». Тут кроется один из ключей к объяснению писателя. Мрачный демон и здесь, в искусстве, настиг Кафку, дав силу его таланту признаться в этом, прежде чем умереть.

Анализ творчества Кафки затрагивает методологический вопрос, касающийся изучения литературы ущербной, изображающей патологическое состояние человеческой души, литературы сломленного героя, какой сейчас много на Западе. Л. Якименко (уже не в связи с Кафкой) утверждает: «И когда мне говорят об этом как о чем-то новом и ценном, раздвигающем границы человеческого познания, я в полный голос отвечаю: я не хочу патологии, я хочу здорового человека и вижу в окружающем меня мире таких здоровых людей».

Заявлять так (и этим ограничиваться) — значит отворачиваться от сложности литературной действительности. С таким же успехом можно воскликнуть: я не хочу империализма на земном шаре! Но он пока существует и заставляет нас изучать его и бороться против него.

Конечно, здоровые, активные герои — основа реалистического искусства. Потому что в самой реальности именно такие люди являются носителями прогресса и строителями светлого будущего, даже если они не составляют большинства в тех или иных условиях. Однако мир, исследуемый и изображаемый искусством, не состоит из одних «здоровых людей», да и эти последние живут не в стерильном пространстве. И когда Л. Якименко говорит: «Наша советская литература и рассказывает об этих людях, об их действительной жизни, об их реальных интересах, заботах, надеждах»,— то в *данном контексте* критик дает основание нашим оппонентам утверждать (и они это делают), будто для социалистического реализма существуют «запретные темы» и что ему свойственна предвзятость, односторонность в подходе к жизни. Между тем советские люди (и герои нашей литературы) живут отнюдь не в тепличных условиях, а в постоянном столкновении и борьбе (вокруг и внутри себя) с наследием буржуазного мира. Прав А. Дымшиц: «Для художников-реалистов нет таких жизненных сфер, в которые они не смогли бы проникнуть». Именно в том сила социалистического реализма, что для него нет запретных тем. Темы искусства рождаются из потребностей общественной жизни, позиция художника проявляется во взгляде на действительность во всей ее широте.

Наряду с конкретными исследованиями сборник дает богатый и во многом новый материал для общетеоретического понимания модернизма. Прежде всего, выступления А. Мясникова, Д. Затонского, Ю. Бо-

---

В. ДМИТРИЕВ
РЕАЛИЗМ
И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

рева, В. Щербины, М. Яхонтовой и др. Большое значение имеет показанная в ряде статей концепция человека в модернистской литературе. Это один из центральных вопросов. Может быть, все еще превалирует рассмотрение модернизма как целого, и потому работа А. Мясникова ценна дифференцированным подходом, при котором общая картина не дробится, но обогащается. Причем с большой ясностью и прямотой указывается на еще не преодоленные слабости нашей литературоведческой теории. Справедливо говорит М. Яхонтова: «Изолированно взятые формальные признаки не могут и не должны играть роли критерия оценки и определять принадлежность того или иного произведения к реалистическому или антиреалистическому направлению».

Круг проблем, рассматриваемый авторами сборника с той или иной степенью убедительности, чрезвычайно широк: художественная условность, современное мифотворчество, отчуждение, психологизм, субъективность и субъективизм, правда, мировоззрение, партийность. Мы не ставили цели рецензировать все материалы дискуссии, участники которой развивали свою точку зрения еще до выхода сборника на страницах журналов. Считая возможным остановиться на ряде вопросов, мы апеллировали лишь к отдельным авторам и к некоторым их аргументам. Подводя итог размышления, отметим следующее.

То, что на дискуссии внимание было уделено преимущественно критике модернизма, его истокам, различным сторонам и течениям,— это необходимый момент в разработке научных представлений о современном литературном процессе; и все же он ценен не сам по себе. Совершенствуя методологию анализа сложных явлений, вводя в оборот новые факты и аргументы из арсенала мировой литературы, наша наука стоит перед необходимостью всесторонне рассмотреть искусство социалистического реализма в его разных, чрезвычайно своеобразных, несхожих проявлениях в условиях той или иной страны. Перед этой необходимостью анализ модернизма представляется подчиненной, хотя и существенной задачей. Поэтому нужно отметить, что на страницах сборника (да и в других работах) еще мало присутствует в качестве аргумента советская литература.

Если мы хотим полнее показать место наших писателей в современном литературном процессе, необходимы широкие сопоставления как с искусством модернизма, так и выходы к самому различному опыту. Подобный сопоставительный метод широко и успешно применяется при исследовании русского романа, национального своеобразия русской литературы дореволюционной поры. Речь идет также о более основательном сопоставлении советской литературы с произведениями критического и социалистического реализма других стран. Иначе картина современного литературного процесса будет односторонней.

Историческое преимущество социалистического реализма может быть понято только в связи со всем опытом русской и мировой литературы. К этой основной задаче представленные в книге статьи подводят вплотную.

Дальнейшее осмысление даже самых частных проблем современного литературного развития упирается в необходимость воссоздать — исторически и теоретически охватив все, чем располагает мировая литература,— картину социалистического реализма как многообразного, живого целого. Социализм как общественный процесс интернационален, но вбирает в себя множество национальных особенностей. Отсюда интернациональный характер литературы социалистического реализма, глубоко своеобразной в каждой данной стране. Отсюда интернациональный характер столкновений самых различных тенденций социалистических литератур с разнообразными тенденциями, например, модернизма, вырастающими на почве движений, противостоящих социалистическим. В области художественного творчества идет борьба классовых сил, идеологий. Исследования литературоведов направлены к тому, чтобы охватить картину этого глубокого и непрекращающегося столкновения, раскрывая пути мировой литературы, будущее которой связано прежде всего с социалистическим реализмом.

# ПУБЛИЦИСТИКА

АНДРЕ ВЮРМСЕР

# СВОБОДА ПЕЧАТИ И ПЕЧАТЬ СВОБОДЫ

## БЕДНЫЙ БРИССО!

Отпразднуем, друзья, 175-ю годовщину замечательного пророчества: в 1790 году депутат конвента Бриссо де Вервиль предсказал: «Теперь отойдет в прошлое постыдная продажность печати, столь унизившая во Франции профессию журналиста».

Спустя сто тридцать лет, 9 ноября 1918 г. в газете «Энтрансижан» можно было прочесть: «Кресла большевиков на съезде Советов украшены флажками с надписью: «Deutschland über alles». 17 января 1919 г. «Матэн» сообщала: «Большевики национализируют женщин. Во многих городах назначены комиссары свободной любви».

С тех пор как Бриссо произнес свое предсказание, прошло уже полтора века, когда «Франс-суар» 13 марта 1946 года поместила сообщение под шапкой: «Советские танки в 25 километрах от Тегерана». В этот день на иранских дорогах не было даже детского самоката советского производства. Однако нельзя не заметить, что ни одна газета никогда не распространяла вымысел о том, что английские танки находятся в 25 километрах от Тегерана. Все известия такого рода имеют одно определенное направление.

В самый разгар холодной войны «Фигаро» опубликовала пресловутый «План М»— план предстоящего в ближайшем будущем вторжения в Западную Европу Советской Армии. Фальшивка была состряпана так грубо, что английское правительство, которое впутали в это дело, сухо опровергло ее. Тем не менее это известие имело тот же характер, что и утка о танках.

Обращаясь к гораздо более давнему прошлому, отметим, что с 1917 по 1924 год «Матэн» одиннадцать раз сообщала о смерти Ленина, а возвращаясь ближе к нашим дням, припомним, сколько раз «Экспресс» называл имя кандидата, которого Французская коммунистическая партия якобы твердо решила выдвинуть на президентских выборах,— от Дюкло и Фрашона до Арагона.

## Свобода фальсификации: отбор фактов, вводные обороты, опровержения

«Постыдная продажность» печати проявляется не обязательно в прямой лжи. И без лжи можно исказить истину, сохраняя только те ее элементы, которые носят определенный характер. Чтобы состряпать антисоветскую статью, достаточно, обратившись к советской прессе, привести из нее критику недостатков и не приводить ничего другого.

Вот вам пример: Косыгин подводит итоги выполнения семилетнего плана. Он отмечает, что выпуск промышленной продукции, который должен был увеличиться на 80%, возрос на 84%, а затем говорит о необходимой перестройке, не скрывая имеющихся недостатков. Устный журнал ОРТФ * преспокойно заявляет: «Господин Косыгин подвел *пассивный баланс* последних семи лет».

Самые ловкие умеют соблюсти респектабельность. Вводные обороты («по-видимому», «по слухам») — прекрасная синтаксическая форма. Она позволяет пристойно распространять гнусные инсинуации.

Еще выгоднее умелое использование опровержений: «Стокгольм, 1 апреля. Как стало известно из источников, обычно хорошо информированных, СССР сосредоточивает войска на турецкой границе». И ниже

* Французское объединение радио и телевидения.

мелким шрифтом: «Мы не ручаемся за достоверность этих сведений, которые пока не получили подтверждения со стороны советских властей». А на следующий день: «Москва, 2 апреля. Правительство Советского Союза категорически опровергает слухи о переброске советских войск к турецкой границе». И ниже мелким шрифтом: «Вена, 3 апреля. Вопреки официальному опровержению, которого и следовало ожидать, как считают в обычно хорошо информированных кругах, здесь подтверждают, что советские войска, сосредоточенные на турецкой границе...» И ниже, еще более мелким шрифтом: «Мы печатаем это сообщение лишь в порядке информации, не ручаясь за его достоверность...» И добросовестный корреспондент продолжает в том же духе, не забывая всякий раз отмежеваться от своих собственных инсинуаций. Из чего читатель заключает, во-первых, что его газета — самая честная на свете, а во-вторых, что Россия, как ни говорите, поистине таинственная страна: решительно невозможно выяснить, что там происходит...

## Они и мы

Мне скажут на это, что журналиста могут ввести в заблуждение, что нельзя усматривать в такого рода сообщениях непременно злой умысел и что каждый вправе иметь свое мнение.

Что же, конечно, каждому журналисту случалось поверить известию, которое оказывалось ложным. Но речь идет не об *одной* ошибке *одного* журналиста, а о тысячах измышлений, имеющих одно и то же назначение. И потом, одно дело не принимать коммунизм, другое дело — помещать, как это сделала полвека назад «Иллюстрасьон», фотографию объятого пламенем Василия Блаженного, который никогда не горел.

Ну а вы? — скажут мне. Разве вы, коммунисты, не придаете определенный смысл вашей информации? Конечно. Мы оцениваем события и отводим им то или иное место в соответствии с интересами, которые мы защищаем, то есть с интересами народа, с интересами социализма, с интересами мира. Совершенно верно, что мы отводим реваншистским речам боннских министров и генералов такое место, какое, увы, не отводит им ни одна другая французская газета. Столь же верно, что не многие газеты уделяли так мало внимания родам императрицы, как «Юманите». Верно, что мы отводим несчастным случаям на производстве и возникающим в связи с ними вопросам техники безопасности больше места, чем «Журне эндюстриэль», а несправедливому налоговому обложению больше места, чем «Лез эко». Верно, что уголовные преступления не занимают в наших газетах такого места, как в «Паризьен либере», а с преступлениями ОАС дело обстоит как раз наоборот. Верно, что мы не ставим на одну доску захватчиков и народы, которые борются против них. Но мы и не делаем из этого секрета.

Газеты же, печатающие все те измышления, о которых шла речь, являются, если верить им на слово, чисто «информационными», нейтральными, объективными, беспристрастными. Но истина в том, что если под заголовком «Юманите» написано черным по белому «Центральный орган Французской коммунистической партии», то ни одна из этих газет не признается, что она «орган капитализма во Франции».

## Знакомьтесь: корифеи постыдной торговли

Всем известно, что в странах, о которых распространяется столько измышлений, не существует ни биржи, ни трестов. Никто не станет отрицать, что владельцы металлургических заводов и управляющие акционерных обществ составляют во Французской коммунистической партии ничтожный процент. Равным образом никто не будет оспаривать, что газеты, печатающие сообщения, подобные тем, что приводились выше, находятся в руках финансовых магнатов и что в их административные советы входят те же люди, которые заседают в административных советах банков и трестов.

В один только административный совет «Фигаро» входят г. Пруво, владелец шерстопрядильных и шерстоткацких фабрик Рубе и других, отнюдь не кустарных предприятий; г. Фердинан Беген, чье имя связано со множеством сахаро-рафинадных и винокуренных заводов, и рудников, и заводов минеральных вод, и картонажных фабрик, и с Обществом бумажной промышленности Кале, и не забудем еще, черт возьми, Международный синдикат типографской бумаги; г. Шавано, представляющий Мобил ойл; г. Дре из Коммерческого топливно-фрахтового общества и французского — о, истинно французского! — общества инвестиций в американской валюте; г. Декам, за спиной у которого банк Креди дю Нор, сталелитейные, прокатные и цементные заводы; г. Распай, возглавляющий Гран Мулен де Корбей; наконец — на закуску — г. Сегар, входящий в Дисконтный совет Французского банка.

Но «Фигаро» — лишь первая среди равных. В руках у г. Дассо бюджет нашей военной авиации и газет «Жур де Франс» и «Вэн-катр эр», у г. Буссака — хлопок и, по крайней мере до недавнего времени, «Орор», у г. Дель Дука — пресса, лестно именуемая «сердечной», и «Пари-жур», у г. Смаджа — «Комба» и различные виды импорта. Так разве нет достаточных оснований видеть связь между засилием финансовых и промышленных магнатов в прессе и враждебностью этой прессы к странам социализма и коммунистическим партиям? Разве нет оснований подозревать, что эта пресса придает своей информации определенное направление — наиболее соответствующее интересам ее владельцев?

## ОТ ОДНОЙ ПРЕССЫ ДО ДРУГОЙ И... ДО ПЛАНЕТЫ МАРС

Наши противники пользуются преимуществом, которому мы не завидуем, но которое в достаточной мере объясняет их свободу действий. Как наши, так и их газеты могут ошибаться в оценке тех или иных событий. Но если они сознательно вводят читателя в заблуждение, то это идет им на пользу, а если бы так поступали мы, это нанесло бы нам ущерб.

Поясним нашу мысль. На ипподромах и в казино можно встретить игроков, разоривших свои семьи. Однако ни один из них не станет утверждать, что скачки или рулетка более достойны уважения, чем наука и искусство или любовь. Поддаться пороку еще не значит считать его добродетелью.

Точно так же можно в свое удовольствие ежедневно читать «Франс-суар» и в то же время не быть в неведении относительно того, как и для чего фабрикуются материалы такого рода прессы. Это подтверждает статистика: значительное число французов, казалось бы политически близоруких, поскольку они читают «Паризьен либере», тем не менее уже настолько сознательны, что голосуют за коммунистов. Измышления вроде «Плана М», советских танков в Иране, сменяющих друг друга кандидатур коммунистов в Елисейский дворец отвлекают внимание от реальных проблем и дезориентируют, но читатель недостаточно уважает прессу, печатающую эти измышления, чтобы предъявлять ей суровый счет, и принимает ее такой, как она есть.

Читатель «Юманите», напротив, убежден в том, что его газета не подчиняется требованиям, которыми руководствуются другие издания, и всецело заслуживает его доверия. По сути дела этим доверием мы и живем. Если бы мы стали измышлять планы, танки и кандидатов в президенты, у читателя не было бы причин сохранять нам верность.

### Мы — газета правды

Но не только наши обычные читатели знают, что мы заслуживаем их доверие. Всякий раз, когда какое-нибудь известие тревожит или будоражит общественное мнение, многие из тех, кого волнует это известие, покупают «Юманите».

В самом деле, именно нашей газете каждое важное событие приносит наибольшее увеличение числа читателей. Когда Центральный Комитет Французской коммунистической партии принял решение поддержать кандидатуру Миттерана, распродажа «Юманите» в Парижском округе возросла на 14 процентов, а распродажа буржуазных газет почти не изменилась. Так защищается читатель, обрабатываемый прессой Капитала.

У каждого свой императив. Для нас такой императив — сознание нашей ответственности. Мы не можем, не должны и не хотим публиковать те сенсационные, но сомнительные известия, которые появляются повсюду. В этом отношении у других газет перед нами серьезное преимущество.

Каждому свое: для одних главное — быстрота, для других главное — правда. Иногда случается, что кто-нибудь из нас из чрезмерной щепетильности откладывает на завтра то, что он мог бы сказать и сегодня. Отчего стала бы колебаться пресса, которая знает лишь коммерческие требования? В худшем случае она ставит на карту только свое собственное существование. «Фигаро» может скомпрометировать только «Фигаро»: даже от ее исчезновения не пошатнулся бы ни один из трестов, которые руководят ее руководителями. Пресса, которая во время оккупации прославляла и отражала политику сотрудничества с врагом, рухнула, как сказал в те дни один министр, «в общую могилу национальных бесчестий...» и была заменена прессой, защищающей интересы тех самых экономических и социальных сил, которые сотрудничали с нацизмом и уцелели после его разгрома. Выражая во время оккупации бесчестье своего хозяина, капиталистическая пресса поставила под удар лишь свое собственное будущее, а вернее сказать, свои вывески! Но малейший промах прессы свободы ставит под удар дело освобождения человечества и партию, которая борется за это великое дело.

Нет, мы не в равном положении.

### От Октября до...Марса

Однако, поскольку всякая информация, и добросовестная и недобросовестная, имеет определенное направление, не в том ли вопрос, кто в конечном счете сказал правду о главном? На этот вопрос, уверяют нас, может ответить только будущее. Но ведь наше время и есть будущее по отношению к прошлому! Так вот вам маленькая притча.

Представим себе, что многочисленная семья межпланетных кораблей «Космос» и «Восток» открывает на Марсе племя, которое в результате эволюции, не представляющей для нас ничего особенно удивительного, говорит по-французски. Тогда СССР решает беспристрастно информировать этих франкоязычных марсиан и посылает им специальным спутником полную подшивку «Фигаро», начиная с 7 ноября 1917 года, и такую же подшивку «Юманите», включая и подпольное издание. Конечно, ни та, ни другая газета не свободны от ошибок в изложении или оценке событий, происходивших в Советском Союзе, но все же скажите: чтение какой из них позволит марсианам понять путь, пройденный страной социализма от Октября до Сталинграда и от взятия рейхстага до завоевания космоса? И как

они смогут примирить прибытие этого спутника с разгулом азиатского варварства, с каскадом катастроф, провалов, бедствий, неосуществимых проектов и никогда не выполнявшихся планов, которые, если судить по «Фигаро», и составляли эти полвека социализма? И если наши франкоязычные марсиане заинтересуются, что было бы вполне естественно, французской политикой, какую политику они ретроспективно одобрят — ту ли, которую защищала «Фигаро» на протяжении многих десятилетий от Версальского договора до оккупации Рура, от первой мировой войны до второй и от немецкой оккупации до 13 мая *, или ту, которую отстаивала «Юманите»? И, прочитав то, что «Фигаро» писала во времена III, IV и V республик, что подумают марсиане об обвинении в «колониализме», которое она выдвигает против СССР?

Однако, как это ни печально, нельзя отрицать, что французы в большинстве своем не столь трезво смотрят на вещи, как воображаемые обитатели наших занебесных департаментов. Почему? Отчасти — это не решающий, но немаловажный фактор — потому, что информация в общем и целом направлена на защиту капитала.

Как мы к этому пришли — разговор особый.

## КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПРЕССЫ И ЕЕ ОТНОШЕНИЙ СО СВОБОДОЙ

Это может показаться совершенно невероятным, но ежедневные газеты, появившиеся в XVIII веке в Венеции и в Англии, были основаны не столько для того, чтобы «утолить жажду новостей», сколько для того, чтобы «опровергать ложные слухи». В то время наивно думали, что если сказанное уносит ветер, то написанное пером не вырубишь топором и что не найдется такого неосторожного подлеца, который решился бы напечатать заведомо ложное известие. Эту наивность и высмеивал Адриен Эбрар, основатель «Тан», когда он говорил своим сотрудникам: «Не забывайте, что никто не читает вчерашнюю газету».

Тем не менее Ренодо, гордо заявлявший: «Мое перо лишь вело протокол», был прав и тогда, когда говорил: «Мой рассказ есть изображение действительных фактов и, так же как они, не может нравиться всем». Совершенно очевидно, что информировать публику — значит в немалой степени формировать общественное мнение и что никакая власть не может оставаться к этому безразличной.

Предоставив Ренодо право издавать первую во Франции газету, Ришелье вместе с тем приставил к нему в качестве «помощника» монаха; Фуше, повествуя о своих подвигах во времена империи, невозмутимо писал: «Я завладел газетами и стал хозяином общественного мнения»; при Реставрации Виллелю пришла хитроумная мысль «утихомирить» прессу. Атэн в своей «Истории газеты» объясняет, как это делалось: «Редакторам давали пенсии и теплые места, владельцам — деньги»,— газета исчезала или переходила в руки людей, более близких к правительству. Пользуясь всего лишь тройным правилом, можно было бы вычислить, через сколько лет и при затрате скольких миллионов оппозиционная пресса окончательно исчезла бы, если бы Виллель не исчез раньше нее.

### Приливы и отливы свободы

Но чем больше власть стремится покончить с прессой, тем активнее прогрессивные силы борются за ее свободу. Одно из первых и наиболее характерных столкновений между тремя сословиями в 1789 году было вызвано цензурой. Духовенство и знать хотели ее сохранить, третье сословие требовало ее отмены. Вообще история прессы обнаруживает общее правило: подъему революционно-освободительного движения всегда соответствовал расцвет прессы, а отливу свободы — ее упадок.

Революция являет этому первый и самый яркий пример. Множество пестрых листков, выражающих прямо противоположные, непримиримые взгляды и без обиняков выступающих в защиту определенной позиции, рождается вместе со свободой и вместе с ней умирает. За один 1789 г. их появилось 150, тогда как в год Термидора — лишь 40, а в следующем году — всего только 7. По мере того как революция идет на спад, пресса сокращается. В 1811 году во Франции остается только *четыре* газеты — разумеется, наполеоновские.

Как только в феврале 1848 г. на смену монархии вновь приходит республика, опять одна за другой появляется множество газет. Конечно, это плоское подражание прессе великой революции, но все же запоры сорваны, взгляды выражаются, сталкиваются, каждое направление имеет свой орган. Июнь: республика стреляет по пролетариату. В 1849 году запрещают шесть газет. В 1850 г. восстанавливается закон, согласно которому для издания газеты требуется предварительное разрешение. Ламеннэ писал: «Нас хотели принудить к молчанию. Этого добились посредством требования залога. Теперь нужно золото, много золота, для того чтобы пользоваться правом говорить. Мы недостаточно богаты. Молчите же, бедняки».

Бедняки молчат. Принц-президент может стать императором.

После освобождения повторился тот же

---

* 13 мая 1958 г. в Алжире реакционные элементы из среды французского офицерства и колонистов совершили военный переворот, главной целью которого было удушение алжирского национально-освободительного движения.

процесс. В восстановленной республике возрождается пресса. Нет большого города, в котором не выходила бы своя коммунистическая газета, своя социалистическая газета, своя газета МРП. Снова взгляды открыто противопоставляются. Потом начинается отлив: оппозиционные газеты исчезают одна за другой, их разоряют или поглощают мастодонты. В 1947 г. французы еще читали 179 ежедневных газет, из которых 26 выходили в Париже; в 1965 г. они читают лишь 103 газеты, в том числе 12 парижских, и, за исключением коммунистических, не существует *ни одной* газеты, которая перед лицом массы читателей официально выражала бы позицию какой-либо политической партии.

## Прогресс вспять

В этом отношении мы отступили назад по сравнению с 1939 годом, когда появилось несколько партийных газет: «Попюлер», которая перестала быть ежедневной, «Об», которая начала выходить вновь и впоследствии вновь исчезла, «Эвр», которая была газетой Народного фронта. Чтобы показать диспропорцию между общественным мнением и печатной пропагандой, скажем только, что из двенадцати ежедневных газет Парижа лишь одна-единственная «Юманите» отстаивала кандидатуру Франсуа Миттерана.

А ведь борцы Сопротивления, более искушенные, чем простодушные революционеры сорок восьмого года, хотели заложить реальную основу свободы печати. Это движение создало, например, кооперативное издательство «Мессажери франсэз де пресс» — прелюдию к необходимой национализации. Тогда оказавшееся за бортом издательство «Ашетт», то есть Банк де Пари э де Пэи-Ба, создало конкурирующее предприятие и под видом восстановления свободной конкуренции восстановило монополию, которую в свое время разоблачили столь разные и столь не похожие на ниспровергателей основ люди, как Клемансо и Баррес. О, видимость была соблюдена: 51 процент вкладов нового кооператива остался за газетами и *только* 49 процентов захватило «Ашетт» (владеющее многими газетами). Но верно и то, что была соблюдена одна только видимость. Недаром в докладе «Либрери Ашетт» от 12 июля 1960 г. говорилось: «Деятельность «Нувель мессажери де пресс», руководство которым, как вы знаете, принадлежит нашему Обществу...»

## Свобода на бумаге

Сопротивление создало также «Сосьете профессионнель дю папье де пресс», которое позволяет всем газетам, большим и маленьким, правым и левым, столичным и провинциальным, покупать бумагу по одной и той же цене. Но присмотримся поближе к действительному положению вещей. Что та или иная благомыслящая газета может получить в обход «Сосьете профессионнель» бумагу лучшего качества и на условиях более долгосрочного кредита — общеизвестно, но это еще не самое важное.

Если газетная бумага продается по одной и той же цене независимо от ее использования, то это значит, что бумага, идущая на рекламную полосу, приобретается по тому же тарифу, что и предназначаемая для информационных полос. Между тем рекламные полосы обходятся дешевле. Поэтому выгадывают на газетной бумаге столпы рекламы и те газеты, в которых реклама занимает самую значительную часть.

По справедливости бумага, предназначаемая для информационных полос, на которые затрачивается гораздо больше средств, чем на рекламные полосы, составляемые преимущественно из готовых штампов, должна была бы продаваться как можно дешевле, а бумага, идущая на объявления, коммерческую рекламу, каталоги,— дороже. В действительности же с бумагой дело обстоит точно так же, как с косвенными налогами: во имя равенства г. де Ванделя и шахтера заставляют платить один и тот же налог на сахар, который они потребляют.

Как французский капитал приобрел свою современную форму при июльской монархии, так и «постыдная продажность» печати, о которой говорил Бриссо, именно с 1830 года стала прямым следствием порабощения прессы капиталом.

Можно подумать, например, что пресса была вначале, как говорил Ренодо, всего лишь «секретарем» и что политическая пресса родилась в лоне информационной. В действительности дело обстояло как раз наоборот. Во время Реставрации и в начале июльской монархии каждая газета имела свою политическую окраску: «Котидьен» была роялистской, «Газет де Франс» — ультра, «Кэн жон» — бонапартистской, «Насиональ либераль» и «Глоб» — социалистическими. Нейтральная пресса появится позже, но умиротворение не наступит: недаром защите свободы печати Домье посвятит свои шедевры, а гонения на нее будут стоить трона Луи-Филиппу.

Равным образом неправильно думать, что реклама всегда существовала в своей нынешней форме или появилась случайно, когда какой-нибудь журналист, скорее хитрый, чем совестливый, ввернул хвалебное словечко в статью, где оно было совершенно неуместно. Наоборот. Объявления были узаконены лишь в 1827 году. До тех пор журналистам, прославлявшим «волшебный бальзам», актрису, драматурга или романиста, в благодарность посылали театральные билеты, книги, которые они перепродавали в книжные магазины, или даже промышленные изделия.

И в этой области обмен предшествовал торговле.

Но расширившиеся в огромной мере капи-

талистические интересы не могут не затронуть и прессу. Напрашивается мысль о дешевой газете, о прессе, созданной капиталом и для капитала. Уже «Журналь де коннессанс ютиль» издается тиражом в 130 000 экземпляров. В Англии, где промышленная революция произошла раньше, чем у нас, уже появляются большие ежедневные газеты. Захват прессы капиталом столь властно диктуется экономическими условиями, что в 1836 году в один и тот же день начинают выходить две первые газеты нового типа — «Сьекль» Дютака и «Пресс» Жирардена. В проспекте последней весьма ясно излагаются причины, побуждающие газеты перейти на службу капиталу.

## ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ГОСПОДИНА ДЕ ЖИРАРДЕНА

Эмиль де Жирарден открыто подсчитывает, что если он наберет 10 000 подписчиков, то сможет благодаря рекламе, которую ему завоюет это обеспеченное число подписчиков, продавать свою газету вдвое дешевле, чем конкурент. А эта дешевизна в свою очередь позволит ему увеличить число подписчиков. Если оно достигнет 20 000, то прибыли, естественно, будут огромные.

Таким образом, объясняет он, чтобы газета продавалась дешевле, нужна большая реклама, а чтобы заполучить рекламу, нужен большой тираж, которого может достичь лишь дешевая газета. Порочный круг? Да, для политической газеты, рассчитанной лишь на читателей, которые придерживаются определенных взглядов. Поэтому, пишет Жирарден, «газета должна будет представлять и защищать не *бескорыстное* мнение какой-нибудь одной партии, не династические притязания одной семьи, не отвлеченные, неприменимые теории одной школы, а подлинно национальные интересы». Вот, восклицает он с энтузиазмом, «какого восхитительного результата достигает дешевая пресса: она преодолевает всякую узость, стирает все разграничения между партиями».

Какой яркий свет проливает этот текст на историю печати! Что я говорю! Он имеет непреходящее значение! Само собой разумеется, поскольку политические партии представляют социальные классы с различными или противоположными интересами, пресса не может стереть «разграничения» между ними, а может лишь забыть об этих «разграничениях». Ради кого или чего? Жирарден отвечает: не ради какой-нибудь династии и тем паче не ради бескорыстного мнения, а ради выгоды противников той школы, теории которой, конечно, неприменимы, школы Сен-Симона, Фурье, Кабе — короче говоря, ради выгоды врагов социализма. Ради того, что акционеры 1836 года и их наследники в 1965 году называют «подлинно национальными интересами», то есть ради их собственных интересов. Словом, для профита Профита.

В течение нескольких лет денежные люди вытесняют из руководства газет литераторов и политиков. «Мы увидим,— пишет Бальзак в «Утраченных иллюзиях»,— как газеты, которыми сначала руководили порядочные люди, подпадут под власть посредственностей... лавочников, у которых достаточно денег, чтобы купить борзописцев». Отныне, говорит Меркаде, как будто предвидя «Фигаро» и Компани фермьер, «есть журналисты, которые пишут, и те, кто не пишет. Одни, редакторы,— это лошади, которые везут повозку, другие, владельцы,— это предприниматели». Журналисты, констатирует Альфонс Карр, служат уже не Людовику XIV, а «господину Три Звездочки, виноторговцу». Пророческая острота: при Третьей республике «Котидьенн» будет собственностью Аннеси, «господина Три Звездочки». «Правительство,— замечает также Альфонс Карр,— заставило передать оружие, которого оно боялось, из рук поэтов в руки дельцов и торговцев. Прессой управляют бывшие чулочники, бывшие аптекари, бывшие стряпчие».

### Метаморфозы и вырождение

Этот текст вызывает несколько замечаний. Прежде всего он показывает, что если правительство Луи-Филиппа «боялось» поэтов, то оно не боялось дельцов, да и как ему было бояться самого себя? Затем, поскольку точно так же обстояло дело во всех странах мира, надо думать, что фискальные меры, принятые Луи-Филиппом, имели для прессы не столь большое значение, как общая эволюция капитализма. Наконец, мы изменили все это: Буссак и Пруво отнюдь не «бывшие» чулочники, миллиардер Коти, покупавший борзописцев, был не лавочник — фи! — а парфюмер, что же касается миллиардера Дассо, то он не парфюмер — фи! — а военный поставщик и борзописцев не покупает. К чему? Прошли времена журналистов старой закваски. В первых номерах «Вэн-катр эр» нет ни одной подписной статьи. Главный редактор газеты не журналист, а генерал, и под его командованием находятся не журналисты, у каждого из которых были бы свой стиль, своя индивидуальность, быть может, даже свои взгляды, а роботы, безымянные роботы, по заданию миллиардера защищающие от социализма достоинство человеческой личности, достоинство прессы и бюджет ударной силы.

По мере того как возрастало влияние прессы, она все более подпадала под контроль крупного капитала. На смену лавочнику, аптекарю, чулочнику пришли шерстопрядильный и бумаготкацкий трест, Банк де Пари э де Пэи-Ба, Комите де форж и Комите дез уйер, Банк коммерсиаль де Па-

ри. «Поскребите журналиста,— писал Ипполит Кастий еще во времена Второй империи,— и вы найдете банкира или промышленника, который стоит за спиною каждой большой газеты».

### *Дорогу закону!*

Так родилась, заглушая простодушно политическую прессу, пресса якобы аполитичная. Наступило время, когда массу читателей стали составлять широкие слои народа, *но газеты остались в тех же руках.* Когда-то прессу читали в основном буржуа, теперь ее читают в основном народные массы, но она по-прежнему остается собственностью тех же людей и редактируется теми же людьми. Однако, коль скоро ежедневная газета доходит до всех классов, она уже не может служить тому классу, который владеет ею, не навязывая читателям более или менее скрытым образом идеологию ее хозяина. В таком обществе, где класс, стоящий у власти, *должен* мистифицировать другие классы, газета неизбежно является орудием этой мистификации. Еще Бальзак говорил, что «газета стала торговлей и, как всякая торговля, не знает ни совести, ни закона».

Но тут он преувеличивал: газета, как всякая торговля, действительно не знает ни стыда, ни совести, но есть законы, которым она не может не подчиняться. Это законы наживы.

Один современник Жирардена основал агентство, которое вскоре приобрело монопольное положение в сфере информации. Бальзак прекрасно объясняет, каким образом этот господин Гавас смог без труда служить всем режимам: «Он знает, что если меняются лица, то общий дух никогда не меняется и что направление, которое нужно придавать общественному мнению, остается все тем же». Иначе говоря, этот Гавас придерживался не объективности, а конформизма: он приспособлял информацию к «подлинным интересам нации», как говорил Жирарден и как говорит в наши дни господин Помпиду. То есть к интересам капитала, стоящего у власти.

## КАПИТАЛ РАЗЛАГАЕТ ПРЕССУ

Над прессой господствует капитал. В наше время для того, чтобы основать во Франции ежедневную газету, нужны такие капиталовложения, что только предприятие, способное авансировать миллиарды и в течение нескольких лет ежемесячно терять миллионы, может на это пойти.

«Экспресс» попытался стать ежедневной газетой, но вынужден был отказаться от этой мысли. Бывшие вкладчики товарищества, финансирующего «Тан», хотели пустить ко дну «Монд». В результате пошла ко дну «Тан де Пари». Чтобы выпустить и поддержать «Пари-жур», Дель Дука в течение многих лет ежемесячно тратил баснословные суммы. Наконец, Дассо недавно основал «Вэн-катр эр» («Сутки»), которая, судя по ее жалким первым шагам, вполне отвечала своему названию, не предвещавшему ей долголетия: было заранее подсчитано, что ее дефицит по истечении первого года составит полтора или два миллиарда.

Отношения между властью капитала и прессой видоизменились. Правительство, состоящее исключительно из финансистов и управляющих акционерных обществ, уделяет значительную часть бюджета военной авиации господину Дассо для его «Мираж»: ЮНР может выделить несколько миллиардов из своих поступлений на финансирование газеты, содействующей политике финансистов, управляющих акционерных обществ, ЮНР. Таким образом, одобряете ли вы политику банков или нет, читаете ли вы или не читаете «Вэн-катр эр», налоги, выплаченные вами в прошлом году, обеспечат ее выпуск, а налоги, которые вам придется выплачивать в будущем году, покроют ее дефицит.

### *Растлитель*

Капитал господствует, и веление наживы определяет лицо прессы. У молодой советской деятельницы кино, впервые посетившей Париж, спросили, что ее больше всего поразило в стране революции 1789 года, в городе Коммуны. Она, не колеблясь, ответила: «Газетные киоски». Мы, увы, так привыкли к нашей прессе, что даже не задумываемся над этим, но подойдите-ка к газетному киоску в стране, народ которой слывет самым остроумным на свете, что вы увидите? Фара Диба, Сорейя, Фабиола, принцесса Маргарет, королева Елизавета. Пощадите, пощадите! «Она отреклась от любви всей своей жизни», «Изнывая под бременем своей тяжелой короны, королева грезит об утраченной любви...»

Перелистайте годовой комплект модного еженедельника. Вы увидите, что каждая из этих дам поочередно исчезает и спустя шесть недель возвращается вздыхать о любви!

Французская болезнь? Отнюдь нет. При всей остроте арабо-израильского конфликта и в Ливане, и в Израиле точно такая же пресса. Это капиталистическая болезнь, порожденная законом наживы, который заставляет прессу спекулировать на *нынешних* запросах публики, *каковы бы ни были* эти запросы. Чем ниже уровень, на который вы рассчитываете, тем легче вам добиться успеха. Чтобы всучить газету, надо развлекать,

льстить, избавлять от необходимости думать и учиться.

Даже коммунисты не всегда способны устоять перед искушением легкости. В маленьком рабочем городке на западе Франции, где насчитывается 220 коммунистов — немало для такого городка,— только 80 человек постоянно читают «Юманите». На нее приходится всего 5 процентов общего тиража утренних газет, в то время как голоса коммунистов представляют 20—25 процентов избирателей...

«Юманите» помогает осознать реальную действительность, но и буржуазная пресса, хотя и иначе, отвечает запросам публики — запросам, обусловленным диктатурой капитала.

Отсюда бедра красоток на страницах «Пари-жур», преступления, смакуемые в «Паризьен либере», грубая демагогия «Орор», сенсационность в рамках респектабельности, отличающая «Экспресс»; отсюда появившийся несколько лет назад в «Пари-матч» насильственно и противозаконно сделанный снимок испуганного ребенка на больничной койке — сына умершего выдающегося актера; отсюда, наконец, весьма малое число ежедневных газет и других периодических изданий, в которых вы не найдете драгоценного совета: «Если вы родились под знаком Тельца, надевайте каждую пятницу 13 числа красный шейный платок, и вас ждет счастливая встреча».

## Под знаком Рака

Я не могу похвастаться тем, что нахожусь в близких отношениях с такими людьми, как г. Амори, г. Белланже, г. Ламюрик, но все же встречался с ними и заверяю вас, что эти мастера по части распространения гороскопов равнодушны к указаниям, которые делают им созвездия Зодиака. Они не курят опиум, они его продают! Свободно? Казалось бы, да, поскольку правительство, которое столь решительно преследует оппозиционную прессу, не менее решительно игнорирует параграф 7 статьи 479 Уголовного кодекса, карающего «штрафом в размере от 1300 до 1800 франков людей, которые занимаются гаданием и предсказаниями», и тем более статью 408, предусматривающую пятилетнее тюремное заключение за шарлатанство. Но в действительности господа Амори, Дассо, Белланже, Ламюрик не свободны в своих действиях: они *не могут не публиковать* гороскопы, потому что клиентура того из них, кто посовестился бы это делать, обратилась бы к газете другого. Они повинуются, как и всякий торговец, законам наживы.

Но это еще, пожалуй, не самое худшее. Отдаем ли мы себе отчет в той антикультурной роли, которую играют ежедневные газеты в шестнадцать-двадцать страниц? Досуг нерастяжим, и время, потраченное на эту чушь, украдено у чтения и учебы.

## Вопрос, на который не дадут ответа

Деньги и конкуренция играют в наше время ту же роль, какая прежде принадлежала церкви и религиозной догматике: капитал так же властвует над школой, над книгой, над информацией и духовным формированием граждан, как некогда властвовала инквизиция, с той, впрочем, разницей, что церковь славила своего бога, а капитал поносит, бойкотирует, сажает в тюрьму, расстреливает тех, кто осмеливается его назвать.

За последние десять лет я, наверно, раз сто бросал вызов «Фигаро», предлагая ей опубликовать одновременно данные о реальных прибылях ее издателя господина Пруво и расчетный листок одной из работниц его Лэньер де Рубе *. «Фигаро» не только не сделала этого, но и не отважилась довести мое предложение до сведения своих читателей даже в то время, когда в административном совете этой газеты «со страшной силой» сталкивались враждующие кланы.

Но разве речь идет только о «Фигаро»? Поставь я аналогичный вопрос газете «Орор» касательно господина Буссака, «Пари-жур» касательно господина Дель Дюка, «Жур де франс» касательно господина Дассо, мне бы тоже не ответили. Больше того: если бы я ошибся адресом и обратился бы к «Фигаро», назвав Буссака вместо Пруво, или к «Орор», назвав Пруво вместо Буссака, я все равно не добился бы успеха. «Капитал — не личная, а общественная сила»,— гласит «Манифест Коммунистической партии».

# ПОКУПАЙТЕ МОТОРЫ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

Едва появившись, «нейтральная» и дешевая пресса получила сногсшибательное развитие. В 1828 году общий тираж газет составлял 28 миллионов экземпляров, в 1836 г. — 42 миллиона, в 1843 г. — 61 миллион, в 1846 г.— 80 миллионов. Эта пресса под властью капитала становится все более растленной, но продажность ее обнаруживается с самого начала. В этом отношении показательна полемика, разгоревшаяся между Жирарденом и Каррелем, редактором либеральной газеты, задушенной демпингом дешевой прессы. Жирарден в ответ на разоблачения Карреля пригрозил опубликовать счета газет, которые на него нападали.

В вольном переводе это звучало так: «Это я продажный? Что ж, может быть, но

* Шерстопрядильный и шерстоткацкий комбинат.

уж не до такой степени, как вы». Последовала дуэль. Каррель погиб.

Реклама разрастается вместе с развитием капитализма. Она тоже «нейтральна» и не отказывает в своих благодеяниях никому, кроме приверженцев школы, проповедующей «неприменимые теории». С 1845 года Дювейрие арендует одновременно «Журналь де деба», «Конститюсионнель» и «Пресс». Восхитительный эклектизм! Но разве еще до того, как «Пари-пресс» и «Франс-суар» стали различаться только по оформлению, они не питались из одной и той же кормушки, которой было для них рекламное общество Франиар?

В поступлениях газет доля рекламы непрерывно возрастает. При капиталистическом строе это неизбежно, и те, кто, подобно Полю Валери, разоблачает рекламу как «одно из величайших бедствий нашего времени», путают следствие с причиной.

«Можно ли,— спрашивает Жаклин Брассель в периодическом издании Лиги прав человека,— можно ли быть за режим свободного предпринимательства и против рекламы? Вот в чем вопрос».

Ответ напрашивается сам собой. Нельзя предоставить предприятиям полную свободу, за исключением свободы распространения товаров, из которых они извлекают прибыль. Нельзя мечтать о том, чтобы пресса образовала в грязном море наживы зеленеющий и благоухающий островок. Пресса как промышленность подчиняется всем законам промышленности, пресса как торговля повинуется всем законам торговли. Прежде всего, закону конкуренции, обрекающему слабейших на гибель. Затем закону концентрации, в силу которого газеты среднего масштаба исчезают, как исчезают ремесленники, лавочники, мелкие промышленники.

Перед второй мировой войной ежедневная газета, обеспеченная рекламой в среднем объеме, уравновешивала свой бюджет, если имела 30 тысяч читателей; теперь же, распространяя меньше 200 тысяч экземпляров, она выживает только в том случае, если, как «Юманите», может гордиться постоянной поддержкой своих читателей и активистов, чьи мысли и надежды она выражает.

Дело в том, что реклама далеко не одинаково пополняет кассы разных газет. На нее приходится 20 процентов поступлений «Юманите», 44 процента поступлений такой провинциальной ежедневной газеты, как «Нувель репюблик дю сантр», 80 процентов поступлений «Фигаро».

«Жертвами этой несправедливости,— писал Андре Бовале в бюллетене Лиги прав человека,— оказываются главным образом газеты, отстаивающие определенные политические воззрения, но в особенности левая пресса, поскольку главная часть средств, ассигнованных на рекламу, находится в руках тех, кто пользуется привилегированным положением и заинтересован в сохранении статус кво». Это подсказывает сам здравый смысл.

## *Неисповедимы пути его*

Вызванная к жизни капиталом, капиталистическая пресса не может вырваться из-под власти капитала.

Пусть только она попробует! В октябре 1953 года на юго-востоке Франции одна газета — отнюдь не коммунистическая, мимоходом будь сказано,— поместила заявление профсоюза работников кино, который входит в ВКТ; владельцы местных кинотеатров за это лишили ее на шесть недель всякой рекламы.

30 августа 1956 года «Либерасьон» опубликовала фотокопию письма и чека, которые были присланы ей, как и почти всем другим газетам, компанией Суэцкого канала, только что национализированного Египтом. «После национализации,— писала несчастная жертва грабежа (которая, впрочем, неплохо держится на ногах и без канала, так же как Компания железных дорог Севера без железных дорог),— мы распространили заявления, имеющие своим назначением восстановить истину и перед лицом общественного мнения разъяснить точку зрения Компании. Мы отдаем себе отчет в том, что публикация этих заявлений может потребовать расходов, часть которых мы считаем справедливым взять на себя... имея в виду, что наше участие в такого рода расходах в случае надобности может быть возобновлено». Имея в виду... Имеющий уши, да услышит!

А вот другой путь. Возьмем два известных магазина, у которых примерно одинаковая клиентура. Один из них публикует свои рекламные полосы во всех газетах; второй — «Базар де л'Отель де Вилль» — тоже во всех газетах... кроме «Юманите». Вы не найдете в центральном органе Французской коммунистической партии ни строчки, рекламирующей тот или иной американский крем для бритья, который, однако, употребляют во Франции как марксисты, так и антимарксисты. Если вы хотите получить на этот счет более обстоятельную информацию, благоволите обратиться к вашей ежедневной газете: вы увидите, что проявления такой дискриминации неисчислимы.

Но ничто не отличает власть капитала от капитала у власти: дискриминация в области рекламы одинаково практикуется капиталистами и государством.

## *Как налогоплательщики-коммунисты субсидируют «Орор» и «Фигаро».*

Французы всех политических взглядов курят «Житан», ездят в поездах, покупают билеты Национальной лотереи. Государственная табачная промышленность, Нацио-

нальный синдикат железных дорог, Лотерея публикуют рекламу во всех газетах, *за исключением коммунистических*. Этот преференциальный режим приводит к тому, что за счет французов, будь то коммунисты или нет, субсидируется одна лишь антикоммунистическая пресса, то есть обделяется пресса, противостоящая капиталу.

Так, субсидируя из своих денег или из наших *свою* прессу, и только ее, капитал содействует продлению своей власти и сохранению прессы, которая служит ему.

Эта операция становится еще более очевидной, когда она приобретает форму так называемой «рекламы ради престижа», предлагающей вам за несколько миллиардов, которыми располагает весьма незначительное число читателей, моторы для подводных лодок или первосортную броню для танков. Эта «реклама ради престижа», резервируемая для известного рода прессы, на самом деле есть реклама ради поддержки этой прессы.

Что же удивительного, что это трио — Капитал, Власть, Пресса — поет в унисон: «мы связаны с тобой одной веревочкой».

## ОТ СВОБОДЫ К ОСВОБОЖДЕНИЮ

Если де Виллель мечтал «утихомирить», то есть подкупить, оппозиционную прессу, то это не значит, что правительство располагает только этим элементарным средством. Для благомыслящей прессы у него есть субсидии. Мишле сообщает, что в начале Французской революции «роялистские газеты полными пригоршнями черпали из 25 миллионов, составлявших цивильный лист» *. Из царских архивов выяснилось, что во время русских займов продажность французской прессы достигла таких масштабов, что, за исключением «Юманите», не нашлось ни одной газеты, которой санктпетербургское правительство не платило бы за хвалы или по крайней мере за молчание относительно гнилости царского режима. С другой стороны, мы показали, как в силу дискриминации в распределении государственной рекламы французские граждане, читающие «Юманите» и голосующие за коммунистов, субсидируют «Орор» и «Фигаро».

Но в распоряжении правительства есть и другие способы притеснять «неблагонадежную», «подрывную» прессу. Оно использует также, опираясь на гнусные законы, прекрасно слаженный репрессивный аппарат. Действительно, оппозиционная газета, то есть газета, находящаяся в оппозиции к капиталу, стеснена в финансовых средствах. Значит, надо бить ее по кассе! Судебный процесс, который влечет за собой издержки и штрафы,— тем более надежное орудие, что власти применяют его по своему усмотрению.

Можно привести бесчисленное множество случаев, когда несколько газет помещали одну и ту же телеграмму, но судебному преследованию за это подвергалась только «Юманите».

Вот сравнительно недавний пример тому, пожалуй, самый примечательный: «Юманите» от 22 января 1965 года, основываясь на выступлении г. Моннервиля в Генеральном совете департамента Ло и на сообщении, появившемся в газете «Зюй-Вест» и во всей местной прессе, поместила на восьми колонках статью, в которой говорилось о строительстве близ Каржака аэродрома, удобного для вице-короля, его семьи и двора.*

2 августа в короткой заметке «Юманите» сослалась на эту статью. Генеральный директор Банка Ротшильда, председатель Совета министров, который в январе не преследовал в судебном порядке ни г. Моннервиля, ни «Зюйд-Вест», ни местную прессу, ни громогласно разоблачившую его «Юманите», в августе возбудил процесс только против «Юманите».

### Под надзором полиции

Что правительство не уважает свободу печати как неотъемлемое право, а лишь терпит ее в большей или меньшей степени, в зависимости от того, насколько важно ему заткнуть рот оппозиционной прессе, доказывает варьирующееся число судебных процессов, которые оно возбуждает против этой прессы. Так, во время войны во Вьетнаме «Юманите» подвергалась судебному преследованию 150 раз в год. В период между двумя колониальными войнами ритм репрессий замедлился, но снова стал бешеным во время войны в Алжире, когда «Юманите» 250 раз привлекали к суду, который иногда нас оправдывал, а чаще приговаривал к штрафу в 100 000 франков.

А вот вам еще пример, свидетельствующий о том, что такое свобода выражения мнений в капиталистическом мире: несколько лет назад большая английская либеральная газета насчитывала более миллиона читателей; группа консерваторов купила ее, и с тех пор английские либералы вынуждены читать консервативную газету. Определенные взгляды не выражаются более, потому что средство их выражения купили приверженцы других взглядов.

Что касается лейбористской газеты «Дейли геральд», то она, как известно, ушла из рук лейбористской партии.

---

* Денежное содержание, предоставленное королю и его двору в конституционных монархиях.

* Речь идет об аэродроме, расположенном близ имения премьер-министра Франции Помпиду.

Между тем здравый смысл говорит, что подлинная демократия возможна лишь в государстве, граждане которого судят о вещах с полной осведомленностью или, по крайней мере, в государстве, где информация граждан отвечает их материальным и моральным интересам, а не направляется капиталом в его собственных интересах. Свобода выражения идейно-политических воззрений, свобода *комментария* в наше время приобретает тем большее значение, что перед газетой теперь почти уже не стоит задача сообщать новости: как правило, ее опережает радио. К тому же в нашей стране, где ежедневно распространяется 12 миллионов экземпляров газет, насчитывается 17 миллионов радиоприемников. Таким образом, информация в собственном смысле слова — привилегия власти.

## *Фантастическая история с газетой «Монд»*

Продолжим же демистификацию пресловутой свободы выражения мнений. Возьмем «Монд», французскую газету, которая не является собственностью какой-либо капиталистической группы и проводит с несколько чопорной сдержанностью относительно либеральную политику, соответствующую воззрениям ее главных редакторов. Так вот, свободна ли она?

Постараемся разобраться в этом вопросе. Предположим, что на тех, от кого зависят судьбы «Монд», и на тех, кто ее редактирует, одновременно снизошла марксистская благодать, как на многих из них уже снизошла благодать христианская, и все они, как один, вступили во Французскую коммунистическую партию. Товарищ Бев Мери будет развивать взгляды, не сходные со взглядами Сириуса. В парламентской рубрике выступлениям коммунистов станут отводить столько же места, сколько речам других депутатов. На полосе, посвященной культурной жизни, будет идти речь как о западных, так и о восточных литературах, как о прогрессивных писателях, так и о писателях-ультра. И что же произойдет?

Правительство отнимет у «Монд» государственную рекламу. Исчезнет финансовая страница, а вслед за ней экономические страницы. Можно смело предсказать, что реклама, публикуемая в «Монд», которую будут редактировать коммунисты, уменьшится на девять десятых. «Монд» не сможет существовать. Поскольку она покинет капиталистический лагерь, ей придется издавать «Монд-Диманш». Достойные восхищения женщины и мужчины будут бескорыстно посвящать воскресное утро, предназначенное для отдыха, продаже этой газеты ради счастья служить благородному делу. Вместо отчетов об общих собраниях акционеров «Монд» начнет печатать подписные листы своих читателей, которые Жорес еще в 1910 г. публиковал в «Юманите» и которые вливали бодрость в Ленина в часы усталости: «Два железнодорожника из Монтеро — 0 франков 20 с».

Но я охотно признаю: *пока «Монд» не выступает против капитала, она свободна,* это верно. *Она условно свободна.*

## *Разбить цепи*

Таковы границы печати: печать свободна при условии, что она не будет печатью свободы.

Мы, коммунисты, ставя своей целью уничтожение самых условий существования пролетариата, вместе с тем отстаиваем его непосредственные требования. Точно так же, имея своей целью создание печати высшего типа, мы вместе с тем защищаем от посягательств уже признанную свободу печати. Но мы не даем опьянять себя словам и знаем, что дело чести всех журналистов и всех читателей, дело чести всех демократов — бороться за подлинное *освобождение печати.*

И. С. КОН

# ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО

## (Возвращаясь к проблеме отчуждения)

Абстрактные философские понятия не так часто становятся символами широкого социального звучания. И когда это случается, это всегда свидетельствует о том, что понятие выражает не просто нюанс философской мысли, но серьезную общественную проблему. Именно так обстоит дело с понятием «отчуждение», которое в последние годы оказалось на Западе в центре разнообразных дискуссий — философских, социологических, литературоведческих и даже в области психиатрии. Некоторое (далеко не полное) представление о них дает опубликованная в «Иностранной литературе» № 1 за 1966 г. подборка статей зарубежных авторов из журналов и книг, изданных в США за последние годы.

### ЧУЖОЙ САМОМУ СЕБЕ

Многозначное и емкое понятие «отчуждение» обозначает, в общих чертах, такое положение, когда продукты человеческой деятельности приобретают независимость от своего творца, противостоят ему как нечто внешнее и даже господствуют над ним. «Отчуждение — вот участь отдельного человека при капитализме,— пишет известный американский социолог и психоаналитик, ведущий представитель так называемого неофрейдизма Эрих Фромм.— Под отчуждением я понимаю такой тип жизненного опыта, когда человек становится чужим самому себе. Он как бы «остраняется», отделяется от себя. Он перестает быть центром собственного мира, хозяином своих поступков; наоборот — эти поступки и их последствия подчиняют его себе, им он повинуется и порой даже превращает их в некий культ».

В чем же проявляется отчуждение человека при капитализме, каковы его важнейшие аспекты и симптомы?

Прежде всего, речь идет о дегуманизации труда. Труд — главная, основная сфера человеческой деятельности. В труде человек развивает и объективирует свои способности, в продуктах труда «опредмечивается» и становится достоянием других его индивидуальность. В то же время продукт труда не принадлежит самому производителю и может быть даже направлен против него. Разве ученые, разрабатывавшие теоретические основы современной ядерной физики, желали создания оружия массового уничтожения? Вспомним прекрасную книгу Р. Юнга «Ярче тысячи солнц», в которой показана эта психологическая драма.

От человека отчуждается не только продукт, результат, но и самый процесс труда. Капиталистический труд по самой сути своей является несвободным, подневольным трудом на эксплуататора. Как писал Маркс, «внешний характер труда проявляется для рабочего в том, что этот труд принадлежит не ему, а другому, и сам он в процессе труда принадлежит не себе, а другому»*. Это обесчеловечивает труд, лишает его духовно-психологических стимулов, превращает в тягостную рутину, необходимую лишь ради поддержания существования. «Люди, с которыми я работал на конвейере, за редким исключением, чувствуют себя как животные, попавшие в капкан»,— свидетельствует писатель Гарвей Сводос, развенчивая миф о «счастливом рабочем». Не лучше и положение служащего, который, по словам Аллена Хэррингтона, чувствует себя на службе, точно под стеклянным колпаком, где «личность постепенно атрофируется за ненадобностью».

Средневековый крестьянин или ремесленник работал по времени не меньше, чем фабричный рабочий, и труд его вовсе не был легким и радостным. Но психологически

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 563.

он переживал свой труд как естественное, неотъемлемое содержание жизни. Отчужденность труда при капитализме выступает во всей своей жестокой наготе. Уже сами понятия «рабочее время» и «свободное время» говорят об отчужденном характере труда. Рабочее время — это все что угодно, но только не свобода. А свободное время — это прежде всего свобода от труда.

Но если труд — только средство к существованию, то и сам трудящийся человек — тоже не самоцель, а средство. Рабочая сила — такой же товар, как и другие. «В прямом соответствии с *ростом стоимости* мира вещей,— писал Маркс,— растет *обесценение* человеческого мира».* Человек, замечает Фромм, ощущает себя товаром, который надо повыгоднее продать на рынке. Он вовсе не чувствует себя активным деятелем, носителем *человеческих* сил и способностей. Отношения взаимного использования, подход к другому человеку как к средству для достижения своих эгоистических целей пронизывают не только производственные, но и любые другие человеческие отношения. Брак становится браком по расчету, образование из средства удовлетворения естественной любознательности превращается в средство получить преимущество в конкурентной борьбе, дороже продать себя на рынке рабочей силы. Искусство, некогда бывшее откровением, становится обычным предметом купли-продажи и служит главным образом для развлечения.

Авторы статей, опубликованных в «Иностранной литературе», отнюдь не одинаково подходят к проблеме отчуждения. Объединяет их представление о прямой зависимости отчуждения от прогресса — в самых разных его выражениях. Однако острота, с которой ставят эту проблему современные мыслители Запада, объясняется не столько влиянием научно-технического прогресса как такового, сколько тем, что процессы, которые раньше затрагивали преимущественно рабочих, людей физического труда, теперь в полной мере ощущаются и интеллигенцией. В прошлом, когда сравнительно примитивное производство требовало относительно небольшого количества образованных людей, получение образования уже само по себе давало определенные материальные и моральные привилегии, позволяя интеллигенции чувствовать себя до некоторой степени автономной элитой. Теперь положение изменилось.

Современное производство требует массы образованных людей. При этом зависимость интеллигенции от капитала возрастает. Если раньше наемной была в основном производственно-техническая интеллигенция, тогда как остальные интеллигенты были преимущественно представителями «свободных профессий», то теперь уже большая часть западной интеллигенции работает по найму. Некоторые отряды интеллигенции (например, учителя) оплачиваются даже ниже, чем квалифицированные рабочие. Но дело даже не в размерах зарплаты, а в том, что социальное положение служащих постепенно сближается с положением рабочих: они так же продают свою рабочую силу, так же подвергаются эксплуатации, так же не любят свою работу. Как замечает Г. Сводос, «человек в белом воротничке вступает... в серый мир рабочего человека». **

Та же обезличенность наблюдается в сфере общественно-политических отношений. Буржуазное государство — это громадная бюрократическая машина, в которой нет места для самодеятельности отдельной личности. Еще в 1843 г. в работе «К критике гегелевской философии права» Маркс подчеркивал формальный, отчужденный характер бюрократической машины: «Если бюрократия, с одной стороны, есть воплощение грубого материализма, то, с другой стороны, она обнаруживает свой столь же грубый спиритуализм в том, что хочет *все сотворить*, т. е. что она возводит *волю* в causa prima, ибо ее существование находит свое выражение лишь в *деятельности*, содержание для которой бюрократия получает извне; следовательно, лишь формированием этого содержания, его ограничением она может доказать свое существование. Для бюрократа мир есть просто объект его деятельности».*** Сейчас бюрократический аппарат не только количественно разросся (вспоминается сатирическое изображение этого в «Законе Паркинсона»), но и качественно усложнился. Фромм с ужасом говорит о «роковом главенстве бюрократов». В гигантских масштабах современного общества специализация управленческих функций неизбежно возрастает, и, следовательно, они все больше «отчуждаются» от индивида. Бюрократический аппарат тем совершеннее, чем полнее удается исключить из официальных деловых отношений всякие эмоции и вообще человеческие, личные элементы. Чиновник — не человек, а только воплощение определенной социальной функции, он должен манипулировать людьми, как если бы они были простыми числами или вещами. Бюрократизации подвергаются не только государство, но и политические партии, где неуклонно возрастает роль специального платного аппарата, общественные организации, благотворительные общества и т. п. Куда бы ни пошел человек, он всюду сталкивается с безличной «Организацией». И, что особенно важно, буржуазный государственный аппарат прямо противостоит народным массам; он не только не стремится развивать их инициативу, но систематически глушит ее. Человек, попавший в лабиринт этой гигантской машины, чувствует себя потерянным и беспомощным. Вероятно, никто не описал это ярче, чем Кафка.

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 560.
** Identity and Anxiety, ed. by M. R. Stein, Glencoe, 1960, p. 203.
*** К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. I, стр. 273.

Итак, труд обезличивается, дегуманизируется, а в общественно-политической жизни господствует холодный бюрократизм... Но ведь существует еще досуг, свободное время, которое человек может использовать по собственному усмотрению. Когда Маркс писал «Капитал», средняя продолжительность рабочего дня французских рабочих составляла 13 часов. У рабочих, описанных в книге Энгельса «О положении рабочего класса в Англии», практически не было досуга; их «свободное время» было едва достаточным для того, чтобы восстановить израсходованные на работе силы. Сейчас положение другое. В развитых капиталистических странах продолжительность рабочего дня ограничена законом. Существуют оплачиваемые отпуска, социальное страхование и т. п. Казалось бы, это создает условия для развития личности, даже если труд ее рутинный и неинтересный. Именно так ставят вопрос многие социологи. Французский социолог Жоффр Дюмазедье назвал свою книгу «К цивилизации досуга?»*. Но он не случайно поставил вопросительный знак после этой формулировки.

## ИДОЛЫ ДОСУГА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Дегуманизация труда и бюрократизация общественной жизни действительно повлекли за собой перемещение личных идеалов многих людей из сферы производства в сферу быта и потребления. Говоря словами покойного Р. Миллса, «идолы предприимчивости и трудолюбия» сменились в общественном сознании «идолами досуга и потребления». Я — маленький человек и не стремлюсь стать великим мира сего. Работа нужна мне лишь для того, чтобы существовать, она не является моей главной жизненной задачей. Моя истинная, личная жизнь начинается за стенами фирмы. Здесь я свободен и индивидуален, меня никто и ничто не стесняет.

Увы! Фетишизация досуга и потребления как преимущественной сферы развития личности оказалась тоже иллюзорной и беспочвенной. Известный американский социолог Дэвид Рисмэн, который в своей книге «Одинокая толпа» писал, что в современном обществе развитие личности может осуществляться не в сфере труда, а в сфере досуга и развлечений, вскоре был вынужден признать свою ошибку: «Бремя, которое легло на досуг вследствие расщепления труда, слишком тяжело, чтобы с ним можно было сладить; досуг не только не может спасти труд, но и сам гибнет вместе с ним; он может иметь смысл для большинства людей, только если труд имеет смысл».** И это вполне естественно.

Если труд и общественная деятельность не формируют у человека привычку самостоятельно мыслить и чувствовать, не пробуждают у него многообразных и сложных духовных потребностей, откуда же возьмутся эти потребности в сфере досуга? Конечно, человек дома может быть совсем не таким, как на работе, особенно если работа ему не нравится. Но раз выработанная привычка к стандарту, укоренившийся в психологии личности конформизм неизбежно дадут себя знать и здесь и, возможно, даже сильнее, чем в сфере труда. Пока человек на работе, он подчинен определенному внешнему, заданному ритму, ритму машины, конвейера или чиновничьей рутины. Выйдя с работы, он освобождается от этого ритма. И что же? Часто он просто не знает, что делать. Его фантазия, ограниченная социальными условиями жизни, слишком бедна, его культурные запросы узки, неразвиты. Оказавшись свободен, он первым делом оглядывается на других: а что делают другие? И снова, незаметно для самого себя, оказывается во власти безличного стандарта. Досуг, оторванный от труда и противопоставленный ему, ориентированный на «маленького человека», отгороженного от большой общественной жизни, приводит лишь к измельчанию человека, а следовательно, ко все большей его стандартизации.

Этому способствует и распространение так называемой «массовой культуры», о которой много пишут сейчас на Западе. Массовая культура, или, как ее иронически назвал известный американский журналист Дуайт Макдональд, «масскульт», это своего рода эрзац-культура, производимая в массовых количествах с расчетом на неразвитые вкусы потребителя. «Масскульт» — это прежде всего, серость, стандартность, безличность, бездарность. Это духовный суррогат, заменяющий подлинную жизнь развлечением. Его сила в том, что он дает людям видимость движения и разнообразия. Но, отвлекая их от скуки и прозы жизни, «масскульт» одновременно порождает привязанность к готовому, стандартному опыту, и в итоге жизнь становится еще более скучной и пустой. «Большинство людей,— пишет нью-йоркский социолог Ван ден Хааг,— до седых волос кормятся манной кашкой, они приучены к тому, что им всегда все разжуют и в рот положат. Они ощущают смутное беспокойство и неудовлетворенность, но сами не знают, чего хотят, и не смогли бы прожевать и переварить то, чего им не хватает. Повара неустанно рыщут по всему свету, разыскивая рецепты новых блюд. Но получается всегда одно и то же — та же унылая кашица, тщательно процеженная, растертая, взбитая, подогретая, охлажденная».

Охватывая труд, общественно-политическую деятельность и культуру, отчуждение проявляется и в сфере сознания. Человек не узнает в противостоящих ему обще-

* J. Dumazédier. Vers une civilisation de loisir?, P. 1962.
** D. Riesman. The Lonely Crowd. New Haven, 1963, p. XLV.

ственных силах результатов своей собственной совокупной деятельности, воспринимает их как некие самостоятельные сущности. Наиболее развитой формой этого фетишистского воззрения является религия, в которой человек не только признает независимость стихийных сил природы и общества от своей собственной деятельности, но обожествляет их, смиряется перед ними. Когда же религиозная вера дает трещину и идея единения с богом перестает удовлетворять человека, а до практического, действенного единения с другими людьми он еще не поднялся, в его сознании образуется своего рода вакуум. Осознание конечности, ограниченности собственных сил рождает мучительное чувство одиночества, бессилия, бессмысленности жизни, психологической отчужденности от окружающего мира, доходящее до потери собственного «я». Американские психоаналитики единодушно констатируют разницу между своими сегодняшними пациентами и пациентами, с которыми имел дело Фрейд в начале столетия: пациенты Фрейда жаловались на появление симптомов, несовместимых с их сознательным «я»; современный невротик, наоборот, жалуется именно на утрату собственной индивидуальности, на трудности «самоопределения» — «я» потерялось в ряду одинаково безличных, внешних и часто несовместимых друг с другом ролей.



## ТОЧНА ЛИ ПОСТАНОВКА ВОПРОСА?

Итак, речь идет о реальных, важных и острых проблемах общественной жизни. Авторы, пишущие об отчуждении, в большинстве своем критически относятся к современному капитализму, и многие из них (в частности, Фромм) сознательно используют в этой критике некоторые идеи Маркса. Но во всем ли можно согласиться с их постановкой и особенно с их решением проблемы?

Прежде всего не забудем о многозначности самого понятия «отчуждение». Здесь не место для выяснения терминологических нюансов, даже весьма существенных, но основные значения слова указать необходимо. В философской и социологической литературе оно употребляется в трех главных значениях. Во-первых, говоря об отчуждении, буржуазные философы часто имеют в виду любое опредмечивание человеческой деятельности — всякое проявление моей деятельности, любой результат моего труда принимает какую-то материальную форму и, следовательно, отделяется, отчуждается от меня как творца. Во-вторых, отчуждение обозначает овеществление субъекта, ограничение активно-творческого начала в человеке, его порабощение продуктами его же собственной деятельности. В-третьих, отчуждение обозначает психическое состояние лица, не чувствующего себя свободным в своих действиях, ощущающего себя вещью, игрушкой каких-то внешних сил. Все эти три значения принципиально различны.

Первая трактовка понятия представляется нам слишком расширительной. Зачем называть отчуждением необходимое условие любой человеческой деятельности, без которого невозможно никакое самовыражение, никакое самоутверждение личности? Маркс специально разграничивал «опредмечение» (Vergegenständlichung), составляющее неотъемлемую черту всякой предметной деятельности на любой ступени истории человечества, и «овеществление» (Versachlichung или Verdinglichung) как специфическую форму опредмечения, связанную с определенными историческими условиями. Уже в «Экономическо-философских рукописях 1844 г.» и в позднейших работах Маркс связывает возникновение отчуждения с частной собственностью и антагонистическим разделением труда. Почему получается, что общественные силы людей становятся господствующими над ними? — спрашивает Маркс. И отвечает: причина этого — разделение труда.

Разделение труда, дающее людям возможность проявить и развить свои индивидуальные способности, было предпосылкой становления индивидуальности и культуры. Но процесс этот внутренне противоречив. Благодаря общественному разделению труда все сферы человеческой деятельности выступают в форме организации, а труд отдельного человека, кто бы он ни был, представляет собой отдельную функцию, деталь, часть общей задачи, целое которой выпадает из поля зрения индивида. Цель его деятельности отрывается от самой этой деятельности и даже противопоставляется ей в качестве внешней силы, принуждающей человека выполнять функции, смысл и значение которых для него утрачены.

В античном и феодальном обществе это противоречие еще не могло быть осознано: слишком тесной и органической была связь индивида с его этнической группой, сословием, цехом, религией; дворянин всегда остается дворянином, разночинец — всегда разночинцем, вне зависимости от прочих условий их жизни. Социальные отношения были одновременно отношениями личными: вассальные отношения связывают не просто разные звенья феодальной иерархии, но данного конкретного вассала с данным конкретным сюзереном.

Капитализм разрушил жесткую иерархическую систему, которая однозначно привязывала индивида к его касте, сословию и т. п. В системе ценностей, провозглашенной капитализмом, ведущее место заняли личная инициатива, предприимчивость. Но личная зависимость человека сменилась зависимостью вещной: рабочая сила превратилась

в товар, уродующее воздействие на личность оказали дробное разделение труда, бюрократизация общественной жизни, подчинение духовной культуры безличной силе денег. Социальное положение индивида, его классовая принадлежность и жизненные условия оказываются теперь случайными по отношению к его индивидуальности, воспринимаются как внешняя нивелирующая сила. В каждом из своих общественных отношений человек ощущает себя не как целостную личность, а лишь как средство, как воплощение какой-то частичной функции.

Таким образом, отчуждение — это объективное историческое явление, и третье значение понятия (отчужденность как психологический феномен) — лишь выражение этого основного факта. Но и тут нет полного совпадения. С одной стороны, возможна столь высокая степень объективного отчуждения, что человек перестает осознавать его, свыкается с ним. Например, «веселые роботы», населяющие «Славный новый мир» Олдоса Хаксли,— само воплощение отчуждения, деиндивидуализации. Но они не чувствуют этого, так как нивелированы не только их жизненные условия, но и их потребности. С другой стороны, чувство психологической отчужденности может возникать у человека и независимо от общих социальных условий, в связи с какими-то личными трудностями; оно становится социальной проблемой лишь при определенной степени массовости.

---

## ИЗДЕРЖКИ «ГЛОБАЛЬНОЙ КРИТИКИ»

Авторы статей, опубликованных в «Иностранной литературе», по-разному понимают и ставят проблему отчуждения. Фромм связывает отчуждение с капитализмом, другие предпочитают менее определенное понятие — «индустриальное общество» или «массовое общество»; впрочем, и Фромм, говоря о перспективах развития СССР и США, фиксирует внимание главным образом на общих чертах, приписывая обеим системам одни и те же тенденции развития. В рамках этой «глобальной критики» отчуждение становится прежде всего функцией научно-технического прогресса и лишь отчасти — конкретных социальных условий. Такой взгляд представляется односторонним.

Разумеется, одинаковый уровень развития производства порождает некоторые общие проблемы для капиталистического и для социалистического общества. Необычайное ускорение темпов общественного развития, урбанизация, быстрое изменение техники, способов мышления и т. п. приводят к тому, что люди не успевают осмыслить происходящие сдвиги и психологически приспособиться к ним; это затрудняет процесс идентификации, самоопределения, формирования устойчивого самосознания личности. Современный человек вовлечен в чрезвычайно широкий круг общения, его жизнь исключительно мобильна, и это порой вызывает у него ощущение неустойчивости, неопределенности. Но эти проблемы сами по себе разрешимы. Ведь возможности психологической адаптации человека очень велики, а ускорение темпов общественного развития наблюдается не первое столетие. Да и сама скорость — понятие относительное. Сельскому жителю кажется невыносимой суета большого города, а горожанин поражается неподвижности деревенской жизни. Богатство общения и смена впечатлений как таковые отнюдь не способны разрушить личность.

«Итак, машина оказалась двуликой,— пишет Льюис Мамфорд.—Она орудие освобождения и в то же время орудие угнетения. Она верно служит благородным целям человечества, но она же извращает и сводит на нет эти самые цели». Не много ли это для машины? Не фетишизирует ли Мамфорд технику, превращая ее в нового бога (что само по себе типично для отчужденного сознания)?

Конечно, техника, как и другие общественные явления, относительно автономна и ставит ряд специфических проблем. Например, отношение рабочего к труду (а это один из главных аспектов отчуждения) во многом зависит от содержания конкретного процесса труда — интересен он или неинтересен. Конвейерный труд, в силу своей монотонности, одинаково утомителен и при капитализме, и при социализме. Но техника как таковая не предопределяет ни роста отчуждения, ни его преодоления; она дает лишь материальные предпосылки для того или другого. Фромм. Сводос и другие основывают свой вывод о неустранимости отчуждения именно на анализе конвейерного труда, где рабочий предельно несвободен. Но ведь конвейер — не предел технического прогресса, а только одна из его стадий. Рабочий-наладчик на автоматизированном предприятии не ощущает той скованности, которая характерна для машиносборочного конвейера. Он сам определяет последовательность операции, ритм и темп движения и т. д. Следовательно, технический прогресс вовсе не исключает возможность преодоления отчуждения. Но нельзя утверждать и обратное — что технический прогресс сам по себе освобождает личность от проклятия отчуждения. Ибо *смысл* труда для рабочего отнюдь не сводится к пониманию существа выполняемой им частной операции. Труд на эксплуататора, даже при максимальной функциональной, технологической свободе, всегда остается подневольным и, коль скоро это осознается, бессмысленным. И даже самый скучный, нетворческий труд приобретает глубокое морально-психологическое содержание, если цели его близки и дороги трудящемуся человеку, если он может сказать о себе словами поэта:

Радуюсь я:
это мой труд
Вливается
в труд
моей республики.

Глобальная трактовка отчуждения не учитывает классового положения личности. Конечно, отчуждению подвергаются и рабочий, и капиталист. Но отчуждение это не совсем тождественно. Как писал Маркс, «рабочий здесь с самого начала стоит выше, чем капиталист, поскольку последний вырастает из этого процесса отчуждения и находит в нем абсолютное удовлетворение, тогда как рабочий, страдающий от него, с самого начала вступает в мятежное отношение к нему и воспринимает его как процесс порабощения»*. Пусть даже это «мятежное отношение» остается годами лишь потенциальным, в нем содержится залог будущего развития, какого не содержит в себе утрата индивидуальности на почве пресыщения.

Социологи исследуют проблему отношения рабочих к своему труду. Но не следует забывать, что для большинства рабочих на Западе главная забота состоит в том, чтобы вообще иметь работу. «Когда технологическое развитие и рост населения все время угрожают поднять и без того высокий уровень безработицы, самой серьезной и насущной социальной проблемой нашей индустриальной экономики является, конечно, не природа труда, а самая обеспеченность работой,— пишет американский социолог Роберт Блаунер, автор специального исследования об отношении фабричных рабочих к своему труду.— С этой точки зрения, свобода, смысл и самовыражение в труде — это роскошь, отсутствие которой воспринимают как лишение только те, кто длительное время имел надежную работу и приличный заработок».**

Фромм очень ярко говорит о беспомощности современного человека «перед силами, которые нами управляют», подчеркивает, что «он не деятельный участник бытия», а главным образом «потребитель». Но снова вопрос ставится слишком общо. Одно дело — стихийность развития капитализма, обусловленная присущими ему законами. Другое дело — бессилие одиночки, оторванного от массового движения. Третье — конформизм и приспособленчество, укоренившиеся в общественном сознании. Эти явления взаимосвязанны и в то же время различны. Как ни эффективны новейшие средства манипулирования людьми, современного человека не следует представлять себе наподобие некоей «массовой точки», которая совершенно фатально, в силу давления известной социальной аппаратуры, принуждается (или психологически понуждается) к определенному поведению. В этом случае положение было бы вовсе безнадежно. Но ведь любые общественные отношения суть человеческие отношения, и «общественная история людей есть всегда лишь история их индивидуального развития, сознают ли они это или нет».*** Неудовлетворенность действительностью рождает поиск, гнет вызывает сопротивление, и именно в ходе борьбы осуществляется самовоспитание людей. «Действительное воспитание масс никогда не может быть отделено от самостоятельной политической и в особенности от революционной борьбы самой массы. Только борьба воспитывает эксплуатируемый класс, только борьба открывает ему меру его сил, расширяет его кругозор, поднимает его способности, проясняет его ум, выковывает его волю».****

Сколько писали социологи об аполитичности, безыдейности, апатичности современной американской молодежи! И это были не выдумки, а обобщение действительных данных — анкет, интервью и т. п., которые в свою очередь отражали скудость политической жизни, бедность идеалов, не способных вдохновить молодежь. Но вот борьба обострилась: началось движение за гражданские права негров, всколыхнула мир агрессия США во Вьетнаме — и как будто пробудилось от сна американское студенчество — массовые митинги, демонстрации, «тич-ины»... Нет, человек не превратился в робота; сама страстность, с которой Э. Фромм и его единомышленники критикуют пороки общества, свидетельствует об этом же.

Уточнения требует и мысль о порабощении современного человека «вещами». Понятие Homo consummens, которым оперирует Э. Фромм, соответствует реальности капиталистического общества в том смысле, что человек, лишенный больших общественных идей, утверждает себя прежде всего и главным образом в потреблении, через обладание вещами. Но ведь эта жадность к вещам сложилась в результате тысячелетий нужды и недопотребления, которые и по сей день остаются жестокой реальностью для подавляющего большинства человечества, не только в слаборазвитых, но и в самых передовых странах. Современному человеку угрожают не «телефон, пишущая машинка и автомобиль», о которых пишет Мамфорд, а лишь такой способ присвоения и употребления этих вещей, при котором теряются естественные критерии их оценки, когда не вещь служит человеку, а человек оценивается в зависимости от обладания или необладания теми или иными вещами.

Именно это противоречие фиксирует (но не разрешает) теория «массовой культуры», предложенная Ван ден Хаагом. Ван ден Хааг совершенно правильно связывает противоречия развития культуры с превращением культурных ценностей в товар и от-

* Архив Маркса и Энгельса, т. II (VII), М., 1935, стр. 34.
** R. Blauner. Alienation and Freedom. Chicago, 1964, p. VIII.
*** К. Маркс. Письмо Анненкову. Соч., т. 27, стр. 402—403.
**** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 30, стр. 314.

делением производителей культуры от ее потребителей. Вместе с тем, однако, он склонен объяснять серость и стандартность «масскульта» его массовостью и влиянием средств массовой информации (кино, радио, телевидение). Да, тут тоже есть свои проблемы, и проблемы сложные. Культурные и художественные ценности ценны именно своей уникальностью, своеобразием, неповторимостью. Между тем всякое массовое производство предполагает поток, стандарт. Верно и то, что художественные вкусы широкой публики чаще всего оставляют желать лучшего, ведь они сформировались на материале искусства предыдущего периода, а сегодняшнее искусство (если это подлинное искусство) — это открытие, перспектива в будущее. Художник открывает зрителю, читателю нечто новое, чего тот еще не осознал. Это новое усваивается не всеми сразу, это требует определенного труда. Ориентировать искусство на уже сложившиеся массовые вкусы так же нелепо, как требовать от науки, чтобы вместо открытия нового она повторяла уже известные истины. В. И. Ленин специально предупреждал против такого примитивного понимания народности, указывая, что художник должен не опускаться до уровня масс, а поднимать массы до себя.

## «МАССКУЛЬТ» И КРИЗИС ИСКУССТВА

Но все-таки вовсе не демократизация культуры вызывает кризис искусства. Стандартизация, свойственная книгопечатанию, радио, телевидению, касается сферы техники, способов передачи соответствующей информации. Она не затрагивает содержания воспроизводимых произведений искусства. Правда, Платон считал, что уже появление письменности нанесло удар оригинальности мышления, «так как благодаря доверию к письму люди станут вспоминать извне, на основании посторонних знаков, а не изнутри, сами собой». В результате механического усвоения чужих знаний «люди будут считать себя многоумными, будучи по большей части неумными, а сверх того тягостными в общежитии. Вместо мудрых они станут мнимомудрыми».* Жалобы, что печать и радио, в силу своей массовой природы, стандартизируют человеческое мышление и заполняют мозг готовыми сведениями, не развивая его, мало чем отличаются от этих рассуждений.

Точно так же не массовый «потребитель» виноват в низком качестве многих фильмов, книг и журналов. Известно, например, что во Франции первоклассный кассовый успех, наряду с некоторыми бульварными фильмами, имели такие превосходные картины, как «Плата за страх», «Дорога» и другие. Массовые издания классиков и выдающихся современных писателей расходятся в миллионах экземпляров. Но всех ли издают такими тиражами? Увы, нет! Об этом прямо заявлял Жан-Поль Сартр на международной встрече писателей в Ленинграде. Возражая Натали Саррот, которая говорила, что писатели сами выбирают для себя публику: советские писатели пишут для широких масс, а западные писатели — для узкого круга «избранных», Сартр сказал: «Нет, мы — писатели, которые вынуждены считаться с тем фактом, что широкая публика пока еще не находится в нашем распоряжении и что для того, чтобы до нее добраться, нам нужно использовать возможности, находящиеся в руках буржуазии. У нас в настоящее время издаются великолепные серии, например, «карманные книги»; они стоят очень дешево, и теперь их читает все более и более широкая публика, можно сказать, что их читают массы. Но в этих сериях публикуются только произведения, удостоенные премии, а это сразу отстраняет от участия в этих изданиях большинство писателей, так что, в конце концов, мы имеем право доступа к массам только в том случае, если мы понравились господствующей элите. Это одно из наиболее крупных наших противоречий».

Дело, следовательно, не в том, что массы признают только низкопробные вещи, а в том, что производство эрзац-культуры обходится дешевле, а целью издателей, кинопродюсеров и т. д. является именно извлечение прибыли. «Мне кажется,— заявил на симпозиуме в Американской Академии наук и искусств редактор «высоколобого» журнала «Partisan Revienn» У. Филиппс,— что единственной причиной существования журнала «Look», будем откровенны на этот счет, является то, что он дает прибыль».**

Не менее важен идеологический момент. Если человек — только носитель частичной функции, задавленный однообразным механическим трудом, ему действительно трудно овладеть всем богатством духовной культуры. Последняя может казаться ему излишним и даже раздражающим грузом, который некуда деть. Потребность в такой культуре возникает тогда, когда человек вступает в борьбу за изменение своих жизненных условий, когда он из пассивного продукта обстоятельств становится общественным деятелем. В этом смысле судьбы культуры тесно переплетаются с судьбами личности.

---

Вскрывая противоречия современного общества, нужно избегать романтической идеализации прошлого. На мой взгляд, такая идеализация заметна в рассуждениях Ф. Эвергуда, когда он противопоставляет сегодняшней «неустойчивости бытия» социальную и нравственную гармонию средневекового художественного цеха. Конечно, в прош-

* Творения Платона, том V. П., 1922, стр. 161.
** N. Jacobs. Culture for the Millions? Princeton, 1961, p. 192.

лом жизнь была более стабильной. Но в массе своей люди средневековья имели гораздо меньше возможностей для развития творческой индивидуальности, чем современный человек. Они были порабощены тяжким, утомительным трудом, их сознание находилось во власти дремучих суеверий, их социальное положение однозначно определялось сословной принадлежностью. Можно ли всерьез утверждать, что культурный уровень неграмотных крестьян XVI века был выше уровня современного обывателя, даже если он не читает ничего, кроме газет и комиксов? Да и «культурная элита» в ту пору была гораздо меньше современной. Конечно, сама фиксированность «принадлежности» человека к сословию, религии и т. п., лишая его возможности выбора, не позволяла ему осознать степень своей скованности, которая переживалась как естественное состояние. Но можно ли считать это преимуществом? Если люди прошлых эпох не мучились сомнениями относительно ценности собственного «я», то у них были другие неврозы — на почве религиозного фанатизма, «отчуждения» от бога, козней нечистой силы и т. п. Просветители были тысячу раз правы, восставая против подобной «цельности» и «гармонии»!

## ПОВЕСТЬ О ПОТЕРЯННОМ РАЕ?

Слово «отчуждение» звучит обманчиво, создавая впечатление, будто человек когда-то был всесторонним и счастливым, а потом утратил свои лучшие качества. Но всемирная история — не повесть о потерянном рае. Речь идет не о том, чтобы вернуть человеку что-то им утраченное, а о том, чтобы он обрел нечто новое, чем он никогда раньше не обладал. Трагедия романтического индивидуализма состояла и состоит в том, что капитализм посулил превратить личность в высшую социальную ценность, но своих обещаний не выполнил. Да, капитализм необычайно ускорил общественный прогресс. Но одновременно он усилил его антагонистичность. Развитие техники вызывает рост безработицы и страх вытеснения человека машиной. Блестящие достижения науки оборачиваются созданием средств массового уничтожения. Формально свободный человек чувствует себя обездушенной жалкой вещью. Капиталистическая рациональность, говоря словами Макса Вебера, «расколдовала» мир, и, лишенный прежних чар, он предстал перед людьми в своей холодной жестокости. Так о чем же следует жалеть? О том ли, что с цепей, сковывавших человека, слетели прикрывавшие их розы, или о том, что сами цепи еще не разбиты?

Отмечая романтический характер некоторых современных концепций отчуждения, мы отнюдь не хотим этим принизить или дискредитировать их. Неудовлетворенность действительностью, даже если положительная программа еще не вполне ясна,— великая революционная сила. О тех, «кто в святом беспокойстве восторженно жили, гибли трагически, смели и петь и любить», замечательно сказал Валерий Брюсов в стихотворении «Романтикам».

Вышли другие, могучие силой хотений,
Вышли, чтоб рушить и строить на твердой земле.
Но в их упорстве был отзвук и ваших стремлений,
В свете грядущего — луч, вас манивший во мгле!

---

Чтобы строить на твердой земле, недостаточно иметь высокую цель, нужно еще найти действенные средства ее достижения. Маркс не случайно от первоначальной общефилософской постановки проблемы отчуждения перешел затем к конкретному исследованию социально-экономических отношений.

Что стоит за *историческим* конфликтом личности и общества? Во-первых, неразвитость производительных сил, вследствие которой высокие темпы развития могли быть обеспечены только принесением индивида в жертву интересам рода (производство — цель, человек — средство). Во-вторых, антагонизм частных интересов, вследствие которого любые формы организации, коллективности выступают как внешние по отношению к индивиду, а общественная дисциплина принимает репрессивно-принудительный характер. В-третьих, в силу существующего разделения труда и социального неравенства сами индивиды развиваются неравномерно; производственная функция заслоняет в человеке остальные способности, а его самоутверждение как личности осуществляется прежде всего в форме обладания; выражением и итогом всех многообразных форм социального неравенства является неравенство развития в человеке человеческого.

## ЧТОБЫ СТРОИТЬ НА ТВЕРДОЙ ЗЕМЛЕ

Преодоление отчуждения требует целой исторической эпохи. Ее исходная точка — ликвидация капиталистической частной собственности, этой главной базы и фундамента всякого социального неравенства. Только уничтожение эксплуатации человека человеком открывает путь к новому типу общественной организации, «основным принципом которой является полное и свободное развитие каждого индивидуума»*. Социалистическая революция — только начало этого всемирно-исторического преобразования.

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 605.

Социального равенства нельзя достичь сразу, лишь посредством изменения формы собственности и характера распределения, как ни важны оба эти момента. Маркс недвусмысленно писал об уравнительном коммунизме как об утопии и притом — реакционной утопии: «Этот коммунизм, отрицающий повсюду *личность* человека, есть лишь последовательное выражение частной собственности, являющейся этим отрицанием. Всеобщая и конституирующаяся как власть *зависть* представляет собой ту скрытую форму, которую принимает *стяжательство* и в которой оно себя лишь *иным* способом удовлетворяет. Всякая частная собственность как таковая ощущает — *по крайней мере* по отношению к *более богатой* частной собственности — зависть и жажду нивелирования, так что эти последние составляют даже сущность конкуренции. Грубый коммунизм есть лишь завершение этой зависти и этого нивелирования, исходящее из *представления* о некоем минимуме. У него *определенная ограниченная* мера. Что такое упразднение частной собственности отнюдь не является подлинным освоением ее, видно как раз из абстрактного отрицания всего мира культуры и цивилизации, из возврата к *неестественной* простоте *бедного* и не имеющего потребностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос еще до нее».*

Преодоление отчуждения может быть лишь результатом целой системы социально-экономических преобразований, затрагивающих все сферы общественной и личной жизни — от производительных сил до высших форм идеологии включительно. В одной статье невозможно рассмотреть всю эту проблему, многие аспекты которой являются сейчас предметом острых дискуссий. Мы ограничимся лишь некоторыми примерами.

Взять хотя бы вопрос об отчуждении труда. Мы видели, что отчужденным трудом следует считать не всякий труд, а только такой, который выступает как внешняя необходимость, как простое средство к существованию. Уничтожение частной собственности покончило с отчуждением личности рабочего от средств производства и продукта труда, рабочая сила перестала быть товаром. Эти *объективные* перемены отражаются и в психологии рабочего, в его отношении к труду. Проведенные советскими социологами исследования (я имею в виду, в частности, работы В. А. Ядова и его сотрудников) убедительно показывают качественные различия в отношении к труду советских и американских рабочих. Во-первых, при капитализме, как правило, отсутствуют идейные мотивы труда (соображения о его общественной полезности и т. д.), занимающие важное место в системе трудовых побуждений и стимулов советского рабочего. Во-вторых, в США мотивом трудовой деятельности рабочего является стремление к удовлетворению физиологических и духовных потребностей, лежащих вне сферы собственно трудовой деятельности. Это выражается в том, что, оценивая свой труд, американские рабочие сначала указывают такие факторы, как устойчивость работы (сказывается боязнь безработицы!), размер заработной платы, социальный престиж, возможности продвижения и только потом — интерес к содержанию труда. У советских рабочих, особенно у молодежи, напротив, на первом плане стоит как раз содержание трудовой деятельности, возможности развития личности в труде; прочие мотивы, хотя и существенны, имеют в большинстве случаев меньший удельный вес. В-третьих, в сознании американского рабочего рабочее и свободное время полностью разорваны; у нас, особенно у людей более творческих профессий, эти сферы жизни стоят ближе друг к другу.

Можно ли, однако, на этом основании сказать, что отчуждение труда у нас полностью преодолено? На мой взгляд, нельзя. Ведь остаются еще явления, связанные с недостаточным развитием материально-технической базы, различиями в уровне благосостояния, неравенством творческих возможностей и т. д. Труд еще не стал первой жизненной потребностью каждого человека. Люди, научились ценить творческий характер труда, именно этим, в первую очередь, руководствуется молодежь при выборе профессии. Например, из 1100 выпускников 11-х классов Ленинградской области в 1965 г. на вопрос: «Что вас привлекает в профессии, которой вы хотели бы овладеть?» 62,4% ответили: «Творческий характер труда»; 25,7% — «Значение для народного хозяйства»; 3,4% — «Высокий заработок». Но не каждый может реализовать свое стремление. Мы пока не можем, по уровню развития нашей техники, избавиться от некоторых нетворческих, рутинных видов труда, в которых заняты миллионы людей, и это противоречие нельзя устранить никаким постановлением. Или другой пример. Социалистическое общество дает всем людям равные возможности получения образования, это гарантируется его доступностью, бесплатностью и т. д. Но пока еще уровень обучения во многих сельских школах ниже, чем в городских, и это, равно как и семейное положение, реально сказывается на конкурсных экзаменах в вузы.

Преодоление отчуждения в сфере общественно-политических отношений предполагает уничтожение прежних «суррогатов коллективности», за которыми скрывается обобщенный интерес господствующего класса, и замену государства общественным самоуправлением. Это тоже длительный процесс. Первый этап его—превращение государства из органа господства меньшинства над большинством в инструмент воли абсолютного большинства (диктатура рабочего класса), а затем и всего народа. Без специализированного аппарата управления здесь не обойтись, но этот аппарат не стоит над массами, наоборот, развитие социалистической демократии предполагает все более непосредственное вовлечение широких масс в управление. Преодоление последствий культа личности, сковывавшего инициативу масс, подменявшего образ человека-творца образом человека-

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 586—587.

винтика,— предмет постоянной заботы партии. Это превращает человека из простого агента производства в общественного деятеля, расширяет его жизненную перспективу. Однако темпы и масштабы этого процесса зависят не только от субъективных желаний и исторических традиций, но и от целого ряда материальных условий. В частности, чтобы люди могли деятельно, а не формально выполнять сложные общественные функции, необходимо свободное время, а его количество в общественном масштабе зависит опять-таки от уровня развития производства. Нехватка свободного времени и недостатки в его использовании сказываются и на культуре населения.

Говоря о коммунизме как преодолении отчуждения, Маркс имел в виду не только освобождение труда, но и изменение его природы и его соотношения с другими видами человеческой деятельности. Социализм подчиняет производство человеку в том смысле, что уничтожает паразитические классы, подчиняя все общественное производство задаче удовлетворения потребностей трудящихся. Но пока уровень развития производства сравнительно низок, производительность труда остается главным критерием общественного прогресса и личного вклада каждого. Отсюда — и необходимость материальных стимулов, которые могут быть сняты только на высшей ступени коммунизма. Материальное производство всегда остается сферой необходимости. Но рост производительности труда позволяет ограничить рамки этой необходимости. «Свободное развитие индивидуальностей; поэтому — не сокращение необходимого рабочего времени ради увеличения прибавочного труда, а вообще сведение необходимого труда общества к минимуму. Этому тогда соответствует художественное, научное и т. д. воспитание индивидов в свободное для всех них время и средствами, сделавшимися доступными для всех».*

Короче говоря, речь идет о новом, сложном и длительном социальном процессе. Некоторые аспекты его еще недостаточно изучены, и сам он весьма противоречив. Важно, однако, то, что теоретическая перспектива, открытая Марксом, в октябре 1917 года была поставлена на рельсы практической реализации. Путь, начатый Октябрьской революцией и превратившийся в генеральную линию всемирно-исторического развития, и есть путь преодоления отчуждения, путь становления нового общества и нового человека, свободно развивающего свои силы безотносительно к какому бы то ни было заранее заданному масштабу.

Повторяем, в силу общности технической базы в развитых капиталистических и социалистических странах нередко возникают отдельные сходные и даже одинаковые проблемы. Но способы решения этих проблем, направление и тенденции развития обеих социальных систем — противоположны.

Производство ради производства или производство ради человека — различие этих принципов выражает самую суть вопроса. Отчуждение человека органически присуще капитализму, неотделимо от его производственных отношений. Этого не могут изменить никакие частные реформы. Наоборот, преодоление отчуждения — внутренняя необходимость социализма, без этого он не может существовать и развиваться. Это не безличный автоматический процесс, идущий где-то рядом с нами и независимо от нас. Только в революционно-преобразующей деятельности человек освобождается от старой мерзости, принимающей порой самые «современные» формы. Наша собственная активность, мужество и человечность — не только средство, но и мера этого исторического движения.

---

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве, т. I. М., 1957, стр. 263.

# Дневники, Воспоминания

Академик И. М. МАЙСКИЙ

# ДИПЛОМАТИЯ И КУЛЬТУРА

**Советская дипломатия всегда придавала серьезное значение активизации международных культурных связей. С первых лет существования нашего государства деятели советской дипломатии в углублении, расширении культурных связей видели одно из действенных средств укрепления международного авторитета Советского Союза, его политического престижа.**

**Эпизоды, о которых вспоминает в своих записках акад. И. М. Майский — одни из них известны советскому читателю, с другими он знакомится впервые,— помогают увидеть в живом движении историю того, как завоевывала новые рубежи культура первой страны социализма.**

## Шекспир и Советский Союз

Весной 1926 года я в течение нескольких месяцев был поверенным в делах советского полпредства в Лондоне. В конце марта почта принесла мне письмо, которое имело неожиданно большие последствия. В письме содержалось приглашение принять участие в торжественном праздновании шекспировской годовщины, устраиваемом ежегодно 23 апреля на родине драматурга в городке Стратфорд-на-Эйвоне.

Сознаюсь, до этого я ничего не знал о существовании такой традиции. Как выяснилось, она имеет очень длинную историю, в праздновании обычно принимают участие не только англичане, но также дипломатические представители всех признанных Великобританией государств. В день 23 апреля они поднимают свои флаги на шекспировском фестивале. В царские времена представитель России ежегодно бывал в Стратфорде-на-Эйвоне. В самом начале 1924 года Англия признала Советское правительство, однако ни в 1924, ни в 1925 гг. советское полпредство не было приглашено на традиционное торжество. «Шекспировский клуб» в Стратфорде-на-Эйвоне, организатор торжеств, не одобрял Октябрьскую революцию и решил бойкотировать ее дипломатических представителей в Англии. Это было явной дискриминацией Советского Союза, с которой мириться, на мой взгляд, было нельзя. На другой день после получения письма (которое, как выяснилось впоследствии, было послано по ошибке) я отправил

Из книги «Бернард Шоу и другие», выходящей в издательстве «Искусство».

«Шекспировскому клубу» ответ. Я писал, что охотно принимаю приглашение и приеду в Стратфорд-на-Эйвоне 23 апреля. Едва мой ответ прибыл на родину Шекспира, как разразилась настоящая буря. «Шекспировский клуб» пришел в крайнее негодование и направил правительству протест против появления на празднике советских представителей. Протест был подписан двумя тысячами человек, т. е. чуть ли не всем взрослым населением городка. В консервативной печати стали появляться возмущенные статьи о предстоящем «осквернении» памяти Шекспира. Их атаковала либеральная и радикальная пресса. Ко мне приехали председатель и секретарь «Шекспировского клуба» и умоляли 23 апреля остаться в Лондоне, давая понять, что в случае моего появления в Стратфорде можно ожидать каких-либо хулиганских выступлений и против меня, и против советского флага. Ответил я примерно так:

— Вы хозяева, мы гости. Вы прислали мне приглашение, и я его принял. Если вы возьмете свое приглашение назад, я, конечно, не приеду.

Председатель клуба при этих словах воздел руки к небу и возмущенно воскликнул, что за всю многолетнюю историю клуба еще не было прецедента, чтобы посланное приглашение бралось назад. Невозможно это и сейчас.

— Тогда,— резюмировал я беседу,— раз приглашение остается в силе, я обязательно приеду в Стратфорд-на-Эйвоне. Поступить иначе — значило бы нанести оскорбление памяти Шекспира, к которому советский народ относится с величайшим уважением и любовью.

Едва представители «Шекспировского клуба» успели вернуться домой, как меня вызвали в английский МИД. Чиновник министерства (к сожалению, я не помню его фамилии) тоже стал стращать меня возможностью каких-либо «нежелательных инцидентов» в Стратфорде и «дружески» рекомендовал мне отказаться от своего намерения. Я ответил, что не сомневаюсь в способности британского правительства предупредить возникновение в Стратфорде каких-либо «нежелательных инцидентов»...

Шум, вызванный предстоящей поездкой советских представителей в Стратфорд, имел неожиданный для его инициаторов результат: рабочие Бирмингема, расположенного недалеко от Стратфорда, заявили, что 23 апреля явятся на родину Шекспира и будут охранять советский флаг и советских представителей. Это вызвало беспокойство в правительственных кругах, и Скотланд-Ярд получил указание позаботиться о сохранении порядка на шекспировских торжествах.

23 апреля утром советская делегация прибыла в Стратфорд. Она состояла из поэта Н. М. Минского, жившего тогда в Лондоне, генерального консула Языкова, моей жены и меня. Устроители торжества встретили нас на вокзале и доставили на главную улицу города, где уже возвышалось около 60 мачт с укрепленными наверху в свернутом виде национальными флагами всех признанных Англией держав. Улица была до отказу забита толпами народа. По заверению местных жителей, еще никогда на шекспировском празднике не было столь людно. Пока наша небольшая группа шла по улице к своей мачте, стоявшей последней в цепи других мачт, мы все время ловили устремленные на нас злобные взгляды. Но когда мы встали около своей мачты, вдруг какая-то женщина подбежала к нам и дружески протянула букет моей жене. А потом... Мы стали осматриваться и с радостью заметили, как неподалеку от нашей мачты, на базарной площади какие-то люди машут нам кепками. То были бирмингемские рабочие, которые выполнили свое обещание, и в большом числе прибыли в Стратфорд для охраны советского флага и советских представителей. Это нас уж совсем окрылило.

Началась официальная церемония празднества. Под звуки фанфар дипломаты, стоявшие у своих мачт, дергали шнур, разворачивая свернутые флаги. Когда над широкой улицей на легком бризе торжественно заколыхалось огромное красное полотнище с серпом и молотом, раздались громкие рукоплескания. Это советскому знамени салютовали наши рабочие-друзья из Бирмингема. После нашего ухода вокруг мачты выстроилась цепочка бирмингемских рабочих, которые посменно охраняли советский флаг.

В час дня в здании городского муниципалитета состоялся торжественный ленч, на котором присутствовало до 400 приглашенных. Первую, главную речь произнес один из видных английских литературоведов. Затем выступили представители различных стран в порядке старшинства их дипломатических рангов. Перед ленчем я преду-

предил главу муниципалитета, что собираюсь сказать несколько слов. Он вежливо ответил, что учтет мое желание, хотя вид у него при этом был такой, точно он проглотил лягушку. Когда стали выступать дипломаты, глава муниципалитета как-то «забыл» о моей просьбе, и только после третьей моей записки он, наконец, назвал мое имя.

Учитывая обстановку, я решил сделать свою речь возможно более короткой и возможно более корректной. Важно было, чтобы на этом первом с участием СССР шекспировском празднике открыто прозвучал советский голос. Мое выступление было рассчитано на пять минут и сводилось к заявлению, что советские люди высоко ценят лучшие достижения мировой культуры, что они почитают гений Шекспира, что в наших театрах широко ставятся многие его произведения, и что я считаю для себя особой честью присутствовать на этом празднике в качестве представителя моей страны.

Аудитория встретила мою речь весьма бурно: половина зала аплодировала, другая половина свистела и кричала. Я вынужден был несколько раз останавливаться и пережидать шум. Когда все встали из-за стола, к нашей группе вдруг неожиданно подошел один из распорядителей и с самой любезной улыбкой предложил нам совершить небольшую поездку на машине для осмотра местных достопримечательностей. Мы согласились. В течение часа мы знакомились с окрестностями Стратфорда — очень живописными,— посетили замок Кенильворс, описанный в одном из романов Вальтера Скотта, и в конце концов подъехали к небольшой железнодорожной станции. Здесь сопровождавший нас распорядитель с милой улыбкой сказал:

— Эта станция расположена миль на 20 ближе к Лондону, чем Стратфорд, может быть, вы захотите сесть здесь на поезд, чтобы сэкономить время?

Мы поняли маневр устроителей: очевидно, они боялись, что при нашем отъезде из Стратфорда на вокзале могут произойти какие-либо демонстрации, и хотели предотвратить такую «опасность». Однако возражать мы не стали. Главное было сделано. Советский флаг взвился над Стратфордом. Прецедент был создан, теперь наш флаг будет каждый год подниматься на шекспировском празднике. Недаром же англичане чтят традиции. Так оно в дальнейшем и вышло.

...Когда десять лет спустя, в 1936 году — уже будучи не советником, а послом,— я вновь побывал 23 апреля в Стратфорде-на-Эйвоне, устроители торжества попросили меня произнести вступительную — основную — речь в честь великого драматурга в здании муниципалитета. Я это сделал с чувством искреннего удовлетворения.

## Кабуки

В октябре 1927 г. я приехал в Токио в качестве советника нашего полпредства. Тогдашний советский посол в Японии Валериан Савельевич Довгалевский, очень умный и культурный человек, вскоре после моего приезда был назначен советским послом во Франции и уехал в Париж. Новый посол — им оказался Александр Антонович Трояновский — долго не приезжал, и я опять, как и в Лондоне, на протяжении нескольких месяцев исполнял обязанности поверенного в делах.

До того мне никогда не приходилось бывать на Дальнем Востоке. И я, в сущности, ничего не знал о Японии. Другие работники полпредства, за одним или двумя исключениями, находились не в лучшем положении, чем я.

Между тем, в обстановке тех дней изучение Японии для нас, советских людей, было делом не легким. Препятствием оказывалось не только незнание японского языка, но также и последовательно проводимая тогдашними правителями страны политика изоляции советского полпредства от местного населения. Всякий японец, желавший поддерживать с нами дружеские отношения, немедленно попадал в список «неблагонадежных» и затем испытывал на себе тяжелую руку полицейской охранки. А каждый работник полпредства (и даже их жены) находился под самым докучным надзором полиции. Когда он выходил из стен полпредства, его везде сопровождала таинственная «тень», тщательно регистрирующая любой его шаг. Наши жены, в конце концов, нашли полезное применение для этих «теней»: возвращаясь из лавок, они давали «теням» нести сделанные ими покупки.

Вскоре мы организовали в полпредстве «Кружок японоведения», в который вошло большинство сотрудников. Мы приступили к тщательному изучению различных сторон японской истории и жизни по тем печатным источникам, которые были нам доступны. Однако мне для повседневной дипломатической работы требовалась и другая — пусть более поверхностная, но и более «оперативная» — ориентировка в японской жизни.

Когда я вспоминаю первые месяцы работы в Токио, в моем воображении встает пестрый калейдоскоп людей, с которыми я встречался, зрелищ, учреждений... Я ездил по Токио и его окрестностям, посещал фабрики и редакции газет, беседовал с чиновниками министерств, профессорами, студентами, бизнесменами, рыбопромышленниками, писателями, художниками. Очень много дало нам знакомство с театральной жизнью Токио, ведь театр — одна из важнейших областей японской культуры.

Жемчужиной театрального искусства страны был знаменитый театр Кабуки. С историей Кабуки меня подробно познакомил профессор Е. Г. Спальвин, драгоман полпредства, дипломат царской школы, японовед старшего поколения. Спальвин (его имя японцы произносили, как «Супарувин») превосходно владел японским языком и хорошо знал историю и культуру Японии. Это был огромный, плотный мужчина, со скрипучим голосом и медленными движениями. Жена его — маленькая, изящная японка, немного знала русский язык (помню, очень забавно у нее получалось «моя муза» — «мой муж»).

«Кабуки» в буквальном переводе — означает «Искусство песни и танца». Это старинный театр, насчитывающий не меньше трех веков истории. Он живет в прошлом, он дышит атмосферой феодальной эпохи. Его основные герои — владетельный князь, самурай, буддийский священник, купец-горожанин. Иногда на сцене появляются крестьянин или рыбак, бандит или носильщик паланкина, но это, как правило, лишь фон, на котором действуют главные герои.

Попытки играть более современные пьесы, рассказывал Спальвин, отвечая на мой вопрос, плохо удавались. По всему своему духу, навыкам, традициям Кабуки — классический театр феодальной эпохи. Но, конечно, он не стоит на месте, по-своему развивается. Вот пример: уже более ста лет в Кабуки имеется вращающаяся сцена... В Европе такая сцена появилась значительно позднее. Нынешний владелец театра — компания «Сиоцику Гомейся», крупный концерн, контролирующий 35 театров Японии.

Случайно у меня сохранилась сделанная тогда же запись об одном представлении. Приведу из нее некоторые отрывки:

«Здание театра сделано из железобетона. Вместимость его 2500 человек. Зрительный зал поражает легкостью, простотой и изяществом линий. По форме он представляет удлиненный прямоугольник, по широкому краю которого расположена сцена. От сцены справа и слева через весь зал бегут два узких деревянных помоста: это знаменитая «ханамици» (дорога цветов), по которой главные герои приходят на сцену и уходят оттуда. В зале три яруса. В партере европейские стулья. В ложах сидят по-японски, на подушках. Здесь страшная теснота, много детей, можно увидеть даже грудных младенцев, которых матери тут же, на глазах у публики, самым непринужденным образом кормят грудью. Занавес спущен, и три вышитых золотом, сказочно изогнувшихся льва разбегаются по его желтому, яркотканому полю...

Последний звонок... Гаснут огни... Начинается представление... Сегодня идет классическая драма «Мастер масок»...

В глубоком ущелье, между гор, в скромной деревенской хижине живет знаменитый мастер масок Ясао. У него две дочери: младшая Каеда, простое и скромное существо, вполне удовлетворена долей жены одного из учеников своего отца, но старшая дочь Кацура рвется из отцовской хижины и мечтает о блестящей жизни.

Соседний князь Минамото заказал Ясао свою маску, но вот прошло уже много времени, уже несколько моделей вылепил Ясао, а живой маски князя у него все не получается. В отчаянье мастер начинает думать, что он потерял свой талант. Однажды в хижину Ясао приезжает князь и требует заказанную маску. Мастер отнекивается и просит новой отсрочки. Князь приходит в страшный гнев и хочет видеть то, что уже

сделано. Старшая дочь приносит вылепленную накануне маску. Она нравится князю, он ее забирает, а одновременно забирает с собой и понравившуюся ему Кацуру...

События развиваются стремительно. Князь и Кацура гуляют в саду, залитом лунным светом, а тут же, за кустом, таятся убийцы. Они убивают князя и тяжело ранят Кацуру. Истекающая кровью Кацура с трудом добирается до родного дома. Дочь умирает на руках у Ясао, но в глазах художника нет слез. Наоборот, они вновь горят огнем радости и вдохновения. Еще бы! Теперь Ясао понял, почему ему не удавалась маска князя: она не могла быть живой, потому что за плечами у князя уже стояла смерть. Значит, мастер тут ни при чем! Значит, его великий талант не умер! Он еще может творить! Он еще может делать живые маски!

Ясао бросает взгляд на лежащую перед ним мертвую дочь. В облике ее он внезапно замечает такие краски, такие линии, такие черты, каких он до сих пор еще никогда не видел. И вот нет более отца, нет человека, а есть только художник. Полный творческого вдохновения и восторга, Ясао хватает кисти и бумагу и быстрыми мазками запечатлевает потрясший его образ.

По краям сцены на специальных высоких подставках сидят музыканты: они играют на старинных японских инструментах — на семизене, на бива, на барабанах. Там же сидят певцы, или, вернее, мелодекламаторы, которые под аккомпанемент оркестра речитативом повествуют о событиях, связанных с действием пьесы...»

Мы познакомились с дирекцией театра, с наиболее видными из его артистов, среди которых оказались люди, сочувствовавшие японо-советскому сближению. Чем дальше, тем глубже мы постигали своеобразие замечательного искусства мастеров Кабуки. Необыкновенно интересна была их техника, приемы светового и звукового решения спектаклей, изумительны декорации, особенно в передаче воздуха, дали, горизонта, гор, солнца. Костюмы и гримы поражали своеобразной красотой линий, экзотичностью форм, яркостью красок, сложностью рисунка.

Однако душа древнего большого искусства Кабуки — в поразительной игре артистов. Каждое движение головы, корпуса, рук, ног, бедер, колен и т. д. имело свое значение. У Кабуки мужчины исполняли роли женщин — и как исполняли! Светские красавицы Токио брали уроки хороших манер, например, у такого исполнителя женских ролей, как артист Сюцио Итикава. Среди актеров Кабуки было немало потомков настоящих «театральных династий», в которых искусство игры передавалось от отца к сыну. Семья прославленного Садандзи Итикава на протяжении ста лет не покидала сцены Кабуки. Садандзи, с которым мне пришлось иметь дело, считался Садандзи V в своей «династии». Выступать на сцене он начал четырехлетним ребенком.

Новый полпред А. А. Трояновский приехал в Токио весной 1928 г. Это был очень умный, смелый и живой человек, хороший марксист, чуждый всякого догматизма. Он смотрел на действительность открытыми глазами и в своих практических действиях руководился здравым смыслом. Я слегка знал его по прошлому и хорошо познакомился с ним в течение того года, который нам пришлось вместе проработать в Японии. От этого тесного сотрудничества с Александром Антоновичем на дипломатическом поприще в Токио я навсегда сохранил самые лучшие воспоминания.

Разумеется, я постарался поделиться с послом своими впечатлениями от страны, народа, его нравов и обычаев. Он тоже заинтересовался театром Кабуки и вскоре превратился в столь же горячего его поклонника, каким был я.

Обстановка в стране в то время была сложная. У власти стояло милитаристское правительство генерала Танаки (автора известного «меморандума Танаки», требовавшего захвата Японией Манчжурии, Монголии, Китая). Это правительство все еще не могло примириться с потерей Приморского края, эвакуированного японцами в конце 1922 г., и мечтало о возвращении во Владивосток. Вместе с тем значительная часть японской буржуазии, особенно связанная с рыболовными промыслами в советских водах, во главе с графом Гото, стремилась к улучшению отношений между обеими странами. Ситуация создавалась неустойчивая, и трудно было предвидеть, в каком направлении она будет развиваться. Наше полпредство изыскивало самые разнообразные меры, которые могли бы содействовать сближению между СССР и Японией,— политические, экономические, культурные. Именно к этому времени относится мое предложение организовать поездку Кабуки в Москву. Театр этот является националь-

ной гордостью Японии. Выступления его в СССР могли бы растопить антисоветский лед во многих японских сердцах...

Александру Антоновичу идея понравилась, и он запросил Москву. Идея поездки Кабуки в СССР получила одобрение. Можно было начинать переговоры с театральной компанией «Сиоцику Гомейся». Александр Антонович возложил эту миссию на меня. В полпредстве состоялось несколько совещаний «трех» — директора театральной компании Широ Кидо, драгомана Спальвина и меня,— во время которых был во всех подробностях разработан «Контракт» о поездке труппы Кабуки в СССР. С японской стороны его должна была подписать компания «Сиоцику Гомейся», а с советской стороны ВОКС. Переговоры шли успешно.

Между тем милитаристские группировки уже подняли шум по поводу намерения Кабуки ехать в Москву и даже обвиняли Кабуки в... измене родине. С другой стороны, мы уже получили заявление Садандзи, в котором говорилось: «В целях укрепления советско-японской дружбы, а также ознакомления СССР с японским искусством Садандзи Итикава и другие главные члены труппы... одобряют с глубоким удовлетворением это великое начинание (т. е. поездку в Москву — **И. М.**) и будут играть в СССР без всякой оплаты»...

Во второй половине июля труппа Кабуки в составе 49 человек выехала из Японии в СССР, и 1 августа в Москве состоялось открытие ее гастролей. Играли в помещении Второго МХАТА *. Японские артисты привезли с собой около десятка пьес, балетов и пантомим, в том числе знаменитую драму XVII века «Тюсингура» («47 верных»), «Мастер масок», «Самоубийство влюбленных», «Чародей Наруками», «Праздник вишен», «Танец марионеток» и др. Глава труппы Садандзи обратился к советским людям со статьей, в которой говорил, между прочим, следующее:

«Наша нынешняя поездка имеет историческое значение. Японский театр разбивает свою скорлупу и выходит на международную арену. Я уверен, что советский зритель, так глубоко понимающий и чувствующий искусство, сумеет понять и оценить Кабуки. Я верю также, что сближение в области театра поможет укреплению дружбы между нашими народами и делу всеобщего мира».

Садандзи не ошибся. В Москве Кабуки ожидал громадный успех. Первое представление театра, на котором были показаны «47 верных» и балет «Танец марионеток», прошло под бурные аплодисменты аудитории. Профессор (ныне академик) Н. И. Конрад в «Известиях» от 2 августа 1928 г. писал:

«Спектакль был горячо принят залом. Появление на сцене Садандзи и Сэце было отмечено взрывом приветствий. Первая встреча японского театра и советского зрителя превратилась в несомненный театральный праздник».

В «Правде» от 3 августа были опубликованы три статьи специалистов, которые очень высоко оценивали театральное искусство Кабуки. Известный советский журналист Михаил Кольцов на страницах той же «Правды» (от 5 августа) так изображал отклик на гастроли Кабуки в нашей столице:

«Москва переживает японские дни... Кабуки вторгся в дождливое столичное лето... На Кабуки требуют себе билеты от завкомов пролетарские театралы. О Кабуки судачат в университетских курилках. Кабуки, обрусив и освоив это слово, склоняет всякого рода трамвайная публика, проезжая мимо пестрых, нарядных фонарей на фасаде Второго Художественного театра: Кабуки, Кабук, Кабукам, Кабуками, о Кабуках... С билетами на первые спектакли японского театра произошло нечто вроде массового умопомешательства».

То же самое повторилось и в Ленинграде. Советское полпредство в Токио могло считать себя удовлетворенным: японская пресса широко освещала гастроли Кабуки в СССР, подчеркивала несомненный успех лучшего театра страны, отмечала понимание и отзывчивость советской аудитории. В тоне по отношению к западному соседу начали проскальзывать новые, более мягкие ноты, намечались новые, более теплые веяния.

Однако не всем в Японии это нравилось. Крайние милитаристские группировки, которые накануне поездки Кабуки в СССР объявляли Садандзи и Сэце изменниками, не сложили оружия. Когда труппа, в ореоле славы и успеха, вернулась домой, на

* Ныне здесь играет Центральный детский театр.

первом же выступлении в собственном театре произошло следующее: после того, как погасли огни и был поднят занавес, группа военно-фашистских хулиганов пустила по полу огромное количество змей. С громким шипением расползлись они по залу. Среди публики началась паника, многие вскакивали на сиденья стульев, женщины кричали, дети плакали. Пришлось зажечь огни и опустить занавес. Спектакль был сорван...

Однако при всей гнусности этой выходки, все же это был не более чем булавочный укол. Сделано было огромное дело. 13 ноября 1928 г., выступая на завтраке, устроенном для Садандзи и его коллег, я, между прочим, сказал:

«...Успех Кабуки, успех Садандзи имеет громадное значение... Японский народ и народы Советского Союза могут и хотят взаимно понимать друг друга... Такое взаимное понимание является лучшим фундаментом для японо-советской дружбы, для укрепления мира и спокойствия на Дальнем Востоке... Впервые в истории пришли в непосредственное соприкосновение две большие театральные культуры — японская и русская... Мне кажется, что от такого соприкосновения обе культуры могут только выиграть. Я верю, что эти встречи повторятся в будущем, и притом не только в Москве, но и в Токио».

Теперь, почти сорок лет спустя, я с удовлетворением думаю о том, что наша тогдашняя надежда осуществилась, и культурный обмен между СССР и Японией в наши дни принял такие широкие и разнообразные формы, о которых мы не могли даже мечтать.

## Фестиваль танца в Лондоне

В июле 1935 г. в Лондоне состоялся первый фестиваль народного танца европейских наций. Инициатива его формально исходила от «Английского общества народной песни и пляски» и некоторых родственных ему организаций, но обставлен он был чрезвычайно пышно и торжественно. Патроном фестиваля была английская королева, президентом — лорд Галифакс, а вице-президентами — послы 18 государств, в том числе Франции, Германии, СССР, Италии, Испании. Кроме того, был создан большой Комитет фестиваля, в который входило несколько десятков наиболее видных представителей английских культурных, общественных и политических кругов.

Устроители опубликовали специальную брошюру, в которой заявляли, что фестиваль призван содействовать развитию дружбы и взаимопонимания между различными нациями, подтвердить значение народного танца для современного общества. Было совершенно очевидно, что британская дипломатия намерена использовать встречу европейских танцоров в своих политических целях.

Приглашение принять участие в фестивале получил и Советский Союз. Никогда до того советский народный танец не был представлен на международной арене.

И вот в первой половине июля наше посольство — я в это время был послом — дружески приветствовало прибывшую на фестиваль группу советских артистов — 38 исполнителей русских, украинских, узбекских и кавказских танцев. Хорошо помню, что среди них были рабочие и служащие московских фабрик и заводов — Шариков, Максимов, Кудельская; украинская танцовщица — Лерхе; узбеки — танцовщица Тамара Ханум и бубнист Уста Алим; исполнителей кавказского танца возглавлял Пачкерия.

Члены нашей колонии в Лондоне страстно желали нашим товарищам успеха на фестивале, каждый стремился хоть чем-либо оказаться полезным. На некоторое время здание посольства было фактически оккупировано участниками фестиваля и превратилось в нечто, напоминавшее одновременно консерваторию, балетную школу и костюмерную, где шли репетиции, исполнялись уже готовые хореографические номера, шились и перешивались костюмы.

Фестиваль начался 15 июля. На протяжении шести дней несколько сот танцоров из различных стран Европы знакомили зрителей со своим искусством. Большая часть

выступлений происходила в самом крупном лондонском зале Альберт-Холле, вмещающем до 10 тысяч человек. Кроме того, танцевальные соревнования устраивались в театре под открытым небом, расположенном в Ридженс-Парке и в большом саду при дворце архиепископа Кентерберийского.

Огромный зал Альберт-Холла полон. Начинают появляться артисты. Все замолкают. Каждая национальная группа входит во главе со знаменосцем, который несет флаг своей страны. Раздаются аплодисменты.

Появляется советская группа. Могли ли мы еще несколько лет назад предполагать, что увидим знамя Октября в самом центре британской столицы? С напряжением жду, какова будет реакция зала. В зале раздаются аплодисменты.

Группа рабочих и служащих московских фабрик и заводов исполняет русские танцы. Особенно хорош один рабочий с ЗИС. Его номер — знаменитое в те годы «Яблочко». Грузинские пляски «Хоруми», «Горская-Давлури» и «Горская-осетинская», узбекские — «Кари-Навои» и «Пилля» (танец шелкопрядов) исполняет совсем еще юная Тамара Ханум. Следом за ней солирует изумительный мастер бубна Уста Алим. Наконец украинские пляски, заканчивающиеся огненым «Гопаком».

Многотысячная аудитория захвачена танцами. Не все номера пользуются одинаковым успехом. Хорошо встретили «Яблочко», два раза вызывали на «бис» Тамару Ханум, восхищались легкостью грузинской пляски, устроили овацию украинскому «Гопаку». Когда позднее на фестивале давалась оценка танцам, каждая из наших четырех национальных подгрупп получила по медали, а бубнист Уста Алим был удостоен персональной медали.

В итоге, советская группа, одна из самых малочисленных на фестивале, заняла на нем одно из первых мест. Один эпизод особенно тронул меня (да и не только меня). Когда 19 июля советская группа исполнила свои номера в Ридженс-Парке под открытым небом, в толпе вдруг запели «Интернационал»...

Как-то в дни фестиваля я встретился со знаменитым английским карикатуристом Дэвидом Лоу.

— Хотите знать мое впечатление от танцевальных выступлений вашей советской группы? — спросил он.

— Конечно, хочу,— отозвался я.

— Так вот, если говорить откровенно, по темпераменту и красоте ваши танцы имеют сильных соперников, например, испанцев, итальянцев... Но что больше всего привлекает в вашей группе и чего вы не найдете больше нигде — это могучий дух весны, дух свежести и молодости, который составляет самую ее душу.

— Да это и естественно,— ответил я,— они как бы запечатлели молодость и свежесть нашего общества, весну нашей великой революции...

— Да, суть, видимо, именно в этом,— раздумчиво сказал Лоу,— и я постараюсь разъяснить это возможно большему числу моих друзей и знакомых.

## Советские музыканты в Англии

В марте — апреле 1937 г. в Брюсселе состоялся международный конкурс скрипачей имени Изаи. Это было в то время одним из крупнейших мировых состязаний в области музыки. Королева бельгийская Елизавета была его учредителем. Бельгийская общественность создавала вокруг него атмосферу праздника. Вся Европа пристально следила за всем, что происходило на этом увлекательном форуме.

Советский Союз также решил принять участие в брюссельском конкурсе. Комитет по делам искусств направил на конкурс пять молодых скрипачей — Д. Ойстраха, М. Фихтенгольца, М. Козолупову, Л. Гилельс и Б. Гольдштейна. Это были совсем юные артисты — в возрасте 16—18 лет, только Д. Ойстрах немного старше. Руководил группой проф. А. Ямпольский, аккомпанировал А. Дьяков — член жюри конкурса. Это было первое крупное выступление СССР на международной музыкальной арене. Немалая роль в его осуществлении принадлежала тогдашнему председателю Комитета по делам искусств П. М. Керженцеву, человеку умному и культурному, которого я хорошо знал еще со времен лондонской эмиграции 1912—1917 гг.

Прибытие в Брюссель столь многочисленной советской делегации для многих оказалось неожиданностью. Большинство специалистов настроено скептически: откуда бы взяться серьезным артистам в стране большевиков? В журналистских кругах нашим скрипачам открыто предрекали провал.

Легко понять, каково было потрясение всей бельгийской, всей европейской общественности, когда пятеро советских скрипачей завоевали пять премий (из общего числа 12), причем Ойстрах получил первую премию. Это стало сенсацией первого класса, и наши товарищи сразу же получили целый ряд приглашений выступить с концертами в Бельгии и во Франции.

Когда я узнал о победе советских скрипачей, я немедленно снесся с Москвой и попросил направить их на несколько дней в Англию. М. М. Литвинов, бывший тогда наркомом иностранных дел, поддержал мое ходатайство. В результате 9 апреля 1937 года вся советская музыкальная группа прибыла из Брюсселя в Лондон.

Мы поселили гостей в небольшом отеле, расположенном поблизости от посольства, но там они, в сущности, только ночевали. День они обычно проводили либо в посольстве, либо в организованных нами поездках для знакомства с городом. Члены нашей колонии делали все, чтобы наши гости чувствовали теплоту дружеской поддержки и внимания.

На другой день после приезда, 10 апреля, мы вместе с гостями побывали на большом концерте в Альберт-Холле, где выступал знаменитый скрипач Ф. Крейслер. Он играл концерт Паганини, играл великолепно, и наши музыканты с полной искренностью отдали должное его искусству. 11 апреля вся советская пятерка с большим подъемом дала в здании посольства концерт для советской колонии в Лондоне. Были приглашены также члены «Общества культурной связи с СССР». Едва ли нужно говорить, какое высокое наслаждение концерт доставил всем присутствующим.

Однако главной задачей было показать советских скрипачей Лондону, англичанам. Еще до прибытия их в Англию мы стали выяснять, нельзя ли организовать их концерт в Альберт-Холле или хотя бы в меньшем по размерам, но достаточно известном Квинс-Холле. Увы! Леденящая температура, создавшаяся тогда вокруг посольства, сделала это невозможным.

Тогда мы решили устроить большой музыкальный прием в нашем посольстве. Он состоялся 12 апреля. Народу было много, в том числе дипломатический корпус, члены английского правительства (Сэмюэль Хор, Стенли, лорд Плимут, постоянный заместитель министра иностранных дел Р. Ванситарт и др.), виднейшие представители британских музыкальных, культурных и общественных кругов.

Программа концерта была изысканна и разнообразна. Заключал программу Ойстрах первой частью «Концерта» Мендельсона и «Полонезом» Венявского.

Музыка наших скрипачей произвела огромное впечатление на слушателей. Со всех сторон слышалось:

— Какая изумительная техника!

— Какая зрелость исполнения!

— С какой душой они играют!

— У них большое будущее!

Особенно поражала аудиторию молодость исполнителей и их уверенная манера игры.

Естественно, что наших музыкантов интересовали люди, пришедшие их послушать. Особое их внимание привлекал лорд Плимут. В те дни в Испании шла война между республиканцами и фашистами, каждую неделю (а то и чаще) в Лондоне заседал пресловутый «Комитет по невмешательству в дела Испании», председателем которого был лорд Плимут, имя Плимута почти каждый день упоминалось в мировой прессе. Между Плимутом и Фихтенгольцем даже произошел забавный разговор. Когда я представил Мишу Плимуту, последний сказал:

— Очень рад с вами познакомиться. Я много слышал о вас хорошего.

Миша ответил:

— Мы тоже много слышали о вас.

Плимут ответил:

— Вероятно, плохого.

Раздался общий смех.

Когда публика стала расходиться, ко мне подошел Ванситарт:

— Хорошо, что вы угостили нас такой первоклассной музыкой... Надо же сделать передышку в тех неприятных делах, которыми мы занимаемся каждый день...

На следующее утро я прочитал в «Таймсе»:

«С самого начала стало ясно, что все пять молодых советских скрипачей — замечательно одаренные люди. Самым старшим из них является Давид Ойстрах, который исполнил первую часть «Концерта» Мендельсона. Его игра была наиболее зрелой. Большим наслаждением явилось слушать пламенную игру Марины Козолуповой, у которой темперамент сочетается с исключительной гибкостью смычка. Подростки — Миша Фихтенгольц и Лиза Гилельс — превосходно владеют техникой. Сосредоточенный и не полностью еще раскрывшийся Миша Фихтенгольц владеет скрипкой так, как если бы она была частью его собственного существа. Он играет «Каприз» Паганини так же легко, как дышит. Лиза Гилельс, столь же юная, очень умно сыграла страстный «Этюд в форме вальса» Сен-Санса».

Подобные же отзывы были напечатаны в «Дейли телеграф» и ряде других газет. Музыкальный критик «Манчестер гардиан» восторженно охарактеризовал игру каждого из исполнителей. Вывод его был сформулирован в виде вопроса: «Не типичны ли эта полная свободы игра, этот далекий от сентиментальности подход к музыкальному произведению, не типичны ли они для характера советской молодежи?»

Мы были удовлетворены. И прощальное замечание столь искушенного британского дипломата, как Ванситарт, и отклики большой прессы на концерт явно свидетельствовали о том, что приглашение советских скрипачей в Лондон принесло свои плоды.



# На вершине Гибралтара

В июле 1943 г., в самый разгар второй мировой войны, мне пришлось лететь из Лондона в Москву. Маршрут был необыкновенный. Англия — Гибралтар — Каир — Багдад — Куйбышев — Москва. 10 тысяч километров по воздуху.

Мы вылетели из Англии в глухую полночь. Чтобы уйти подальше от берегов Франции, занятой в то время немцами, наш самолет сделал вытянутый полукруг над Атлантическим океаном и в 9 часов утра следующего дня, прорвав гряду ярко-белых, фантастической формы облаков, снизился на маленьком аэродроме Гибралтара. Здесь нас встречали местные власти, во главе с начальником крепости генералом Макфарланом. Ко мне, как к послу союзной державы, был прикомандирован английский офицер, который браво исполнял обязанности адъютанта в течение моей 4-часовой остановки на этой знаменитой британской базе. После завтрака я отправился осматривать Гибралтар. Мы сели с адъютантом в машину и по узкой извилистой дороге поднялись на вершину Гибралтарской скалы.

Оттуда перед нами открылся изумительный вид: справа — бурные просторы Атлантики, слева — голубые воды Средиземного моря, прямо перед нами — Гибралтарский пролив шириной в 12 километров, за которым ярко желтели пески Африканской пустыни. Внизу под утесом, на маленьком пятачке,— крошечный городок в испанском стиле, доки и порт — прибежище английских военных судов. В самой скале — укрепления и батареи, контролирующие пролив.

Я стоял на вершине и думал: «Вот одна из стратегических командных высот мира... Англия зацепилась за нее в 1703 году и до сих пор не хочет отсюда уходить»...

И вдруг... Вдруг рядом со мной раздались слова:

— Скажите, пожалуйста, где сейчас находится Московский Художественный театр?

Я даже вздрогнул от неожиданности. В каком резком контрасте с окружающим были эти слова!

Я обернулся к сопровождавшему меня офицеру и ответил:

— Московский Художественный театр сейчас эвакуировался во внутренние районы страны и находится в полной безопасности. А почему вас это так интересует?

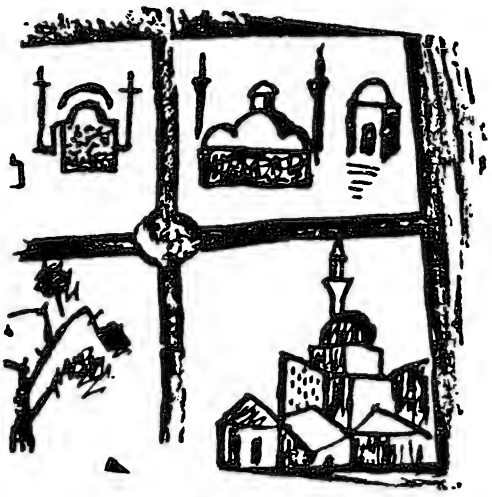
Офицер усмехнулся и, кивнув на свою форму, продолжал:

— Война заставила меня надеть этот костюм. До войны я был актером и хорошо знаю, что Московский Художественный театр — ваша театральная жемчужина. К тому же я сам поклонник этого театра, и Станиславский — мой театральный бог.

Разговор принял неожиданный оборот. Оказалось, что мой собеседник хорошо знаком с работами Станиславского и Немировича-Данченко, что он ездил в 1937 г. в Париж, где тогда проходили гастроли Московского Художественного театра, и что ему известны имена Москвина, Тарханова, Книппер-Чеховой, Тарасовой. Он окончил с горечью:

— Если останусь цел, после войны я опять вернусь в театр, но в какой?.. Эх, если бы у нас в Англии был такой театр, как ваш Художественный!

Да, советская культура — большая международная сила! И как важно, чтобы существовала возможно более тесная связь между дипломатией и культурой!



# В ГОСТЯХ У ИБРАГИМА БАЛАБАНА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Есть на что посмотреть приезжему человеку в Зеленой Бурсе. Зеленым зовут этот город не потому только, что весь он стоит в зелени и оливковые рощи в долине не теряют своей листвы и зимой.

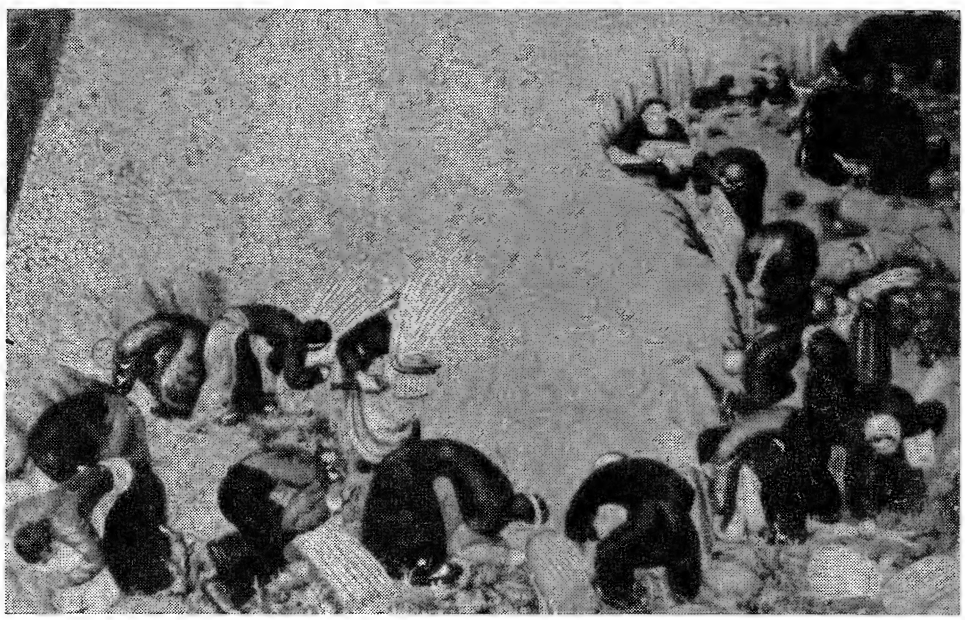
Вечнозеленая глазурь изразцов, покрывающих стены гробниц и мечетей Бурсы, не знает себе подобных в мире. До сих пор не раскрыт ее секрет. Да разве одна глазурь? И каменная вязь резьбы, и мастерство каллиграфов, составивших целые картины из абстрактных прописей корана, и изысканно стройные минареты, и пышные дворцы, и очищающие душу залы термальных бань Ени Каплыджа, воздвигнутых в Бурсе великим турецким зодчим Синасом, свидетельствуют о творческой мощи создавшего их народа.

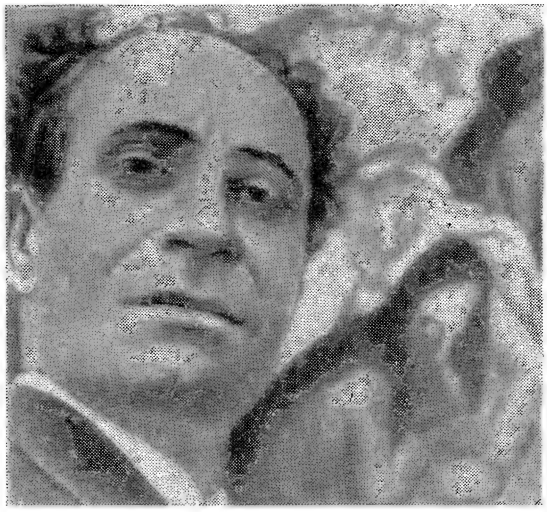
Но мы прежде всего хотели видеть Ибрагима Балабана.

Остановив машину на площади Ататюрка, центральной в городе, мы зашли в здание Народного дома. Группа любителей репетировала новую постановку.

В Стамбуле нам сказали, что Балабан недавно переселился в Бурсу из деревни, и никто не знал его адреса. Стоило, однако, нам здесь назвать его имя, как один из актеров проводил нас до самого дома художника.

**ЖНЕЦЫ.**





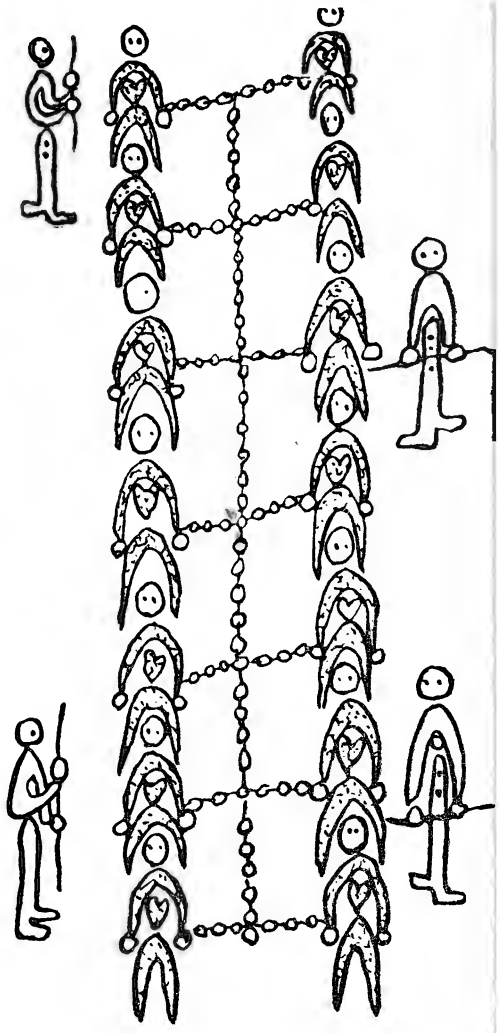
**ИБРАГИМ БАЛАБАН**

Осенью 1942 года жандармы привели в тюрьму города Бурсы крестьянского парня. Здесь ему предстояло провести пятнадцать лет — он убил своего односельчанина, поле которого было рядом с полем отца Ибрагима, они постоянно враждовали из-за межи. А когда отец выбрал сыну невесту, сосед захотел ее отнять. Он пришел после свадьбы к их дому с пистолетом в руке: «Выходи, если ты не трус!» Два выстрела прогремели в темноте одновременно...

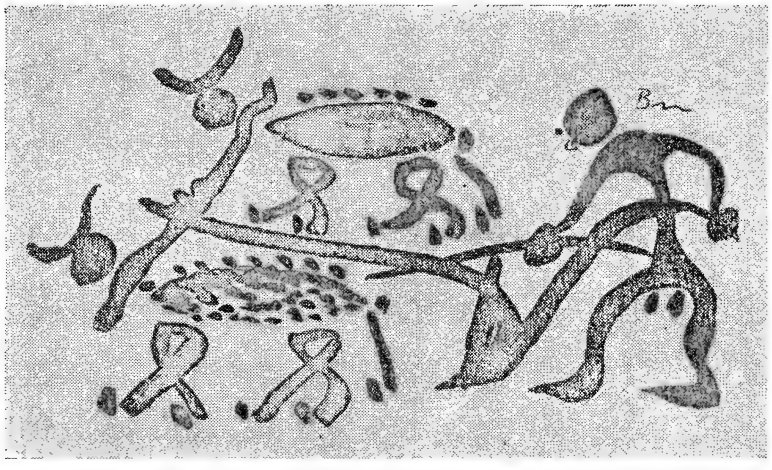
Заключенным в тюрьме выдавали триста граммов хлеба и воду — в мире бушевала война. Кто не получал передач с воли, кто не имел денег, был обречен на смерть. Заключенные в камерах «папаши Адама» — их так называли потому, что вся одежда их обитателей состояла из старого мешка для угля или рваного одеяла,— во время прогулок на тюремном дворе становились на четвереньки и рвали зубами чахлую траву, пробивавшуюся между камней. Спокойно, не толкаясь и не жалуясь, паслись, как скотина.

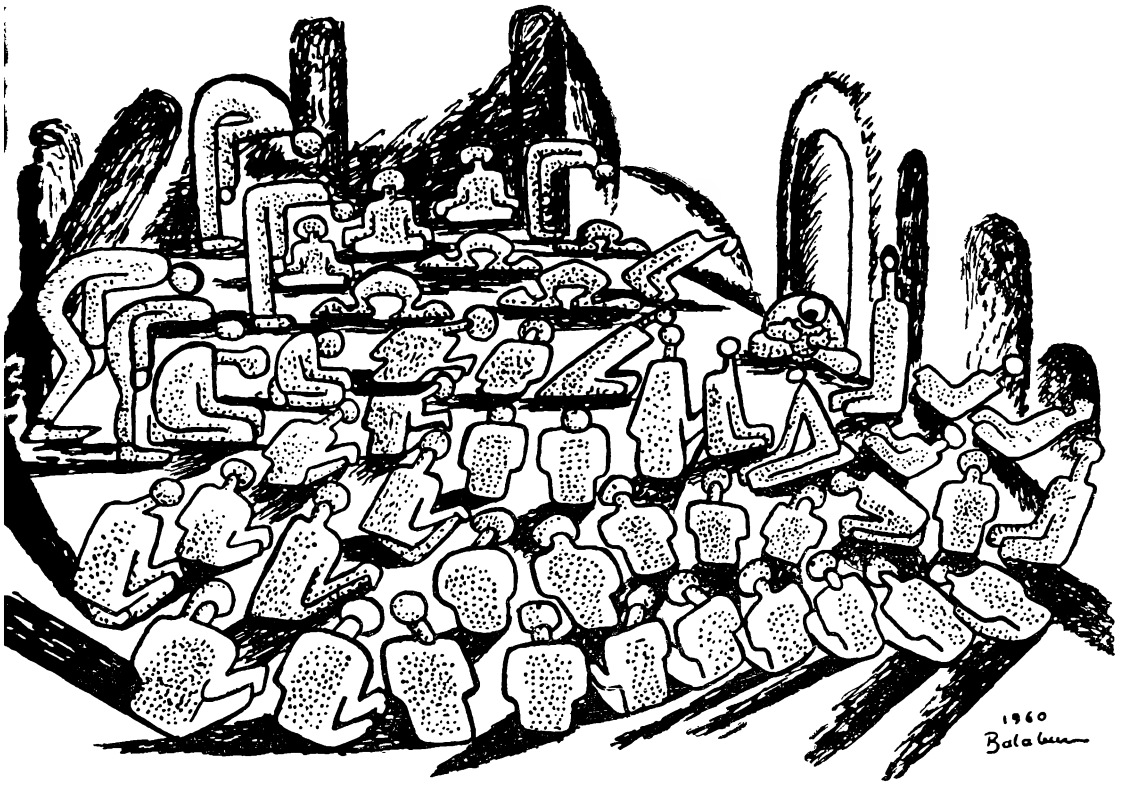
В ночь под новый 1943 год парень узнал, что родственники убитого убили его отца. Дома остались одни женщины. Мог ли он просить у них передачи?

— Что будешь делать? — спросили его.— Надо как-то зарабатывать на приварок, иначе дела твои — туман.



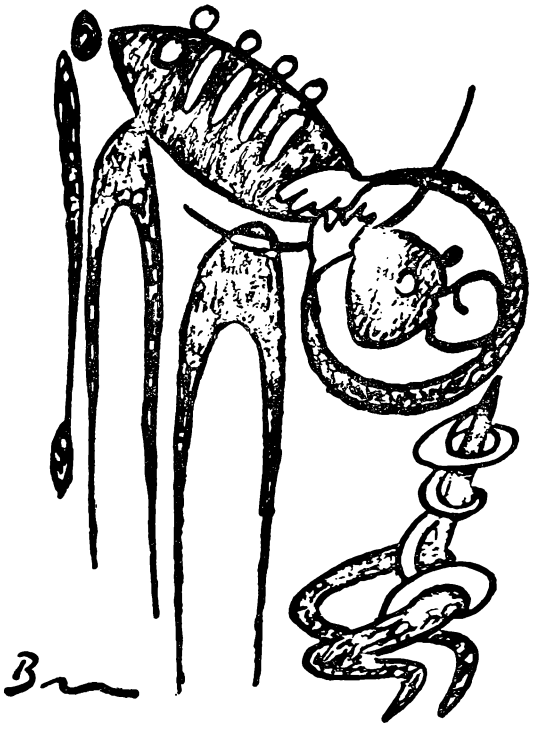
**ПАХАРЬ.**






**В МЕЧЕТИ.**

**ПРОЩАНИЕ С ВОЛОМ.**



А что он мог? Сажать, окучивать, резать табак. Пахать, сеять, косить, молотить... Еще он умел вышивать. Мать была лучшей мастерицей во всей деревне. Целыми днями мог он смотреть, как она работает, забывал о всех своих играх. Долго упрашивал он мать, прежде чем она разрешила ему взять в руки пяльцы. Его первый орнамент поразил ее: «Тебе бы девкой родиться!» Потом в деревенской школе задали нарисовать ишака. Учитель показал всем его рисунок: «Вот как надо рисовать ишака!» В одиннадцать лет, как все деревенские дети, он стал работать в поле. Но стоило попасться в руки клочку чистой бумаги, рисовал все, что видел,— волка, птицу, тучу, дерево, лошадь, соху. Как-то увидел толстую книгу. Что там были за картины, что за статуи! Их ведь тоже сделали люди... Он попробовал писать красками, которыми красят ткани...

— Буду рисовать портреты с фотографий,— ответил он.

— Помрешь с голоду,— сказали ему.

— Буду три дня в неделю брить арестантов.

И он стал брить. Брить и рисовать. Часть рисунков развесил по стенам.

Как-то пришел к нему заключенный, не похожий на других. Глянул на стены:

— Это кто рисовал?

— Я.

— А меня нарисуешь?

— Нарисую.

И он принялся за портрет Назыма Хикмета, заключенного в тюрьме Бурсы.

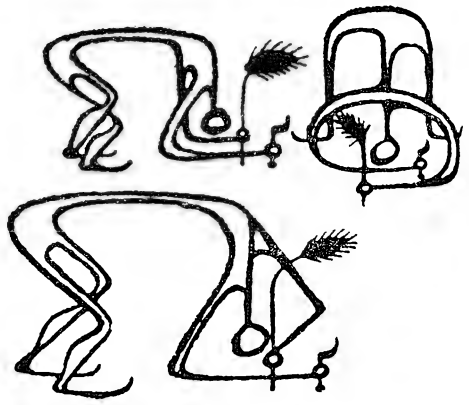
Через много лет крестьянин Ибрагим Балабан из деревни под Бурсой так вспоминал этот день:

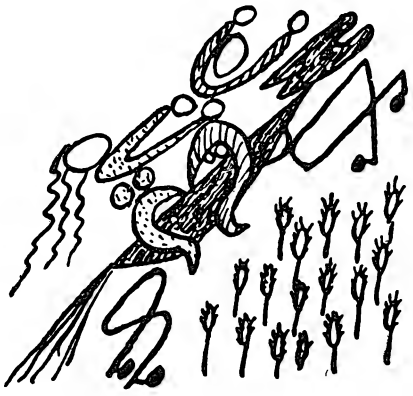
«Зерно, прикоснувшись к земле, оплодотворяет ее. Лопается зерно, лопается, милое. Так и цвет для моих глаз... Сегодня у меня гость, ни на кого не похож. Кисти довольны, краски празднуют. Алая — невеста невестой. Желтая — свет. Голубая — море. Сегодня у меня гость. Красная — поцеловала его щеки. Желтая погладила

волосы. Голубая — морем разлилась в глазах. Я рисую портрет — в моих глазах краски. Рост высокий. Лицо улыбчивое. Глаза — голубое море. Волосы — солнечный свет. Удивился гость моим краскам: «Я плохо позирую, а портрет вышел хорош. Ты учился живописи?» — «Нет».— «Кончил лицей?» — «Нет».— «Среднюю школу?» — «Нет». «Начальную?» — «Три класса».— «Отчего не учился дальше?» — «В нашей деревне всего три класса».— «Ты из какой деревни?» — «Сеч».— «А, вспомнил, тут говорили: отец у тебя убит. Так?»

Назым Хикмет был не только великим поэтом. Он был и хорошим художником. Его мать Джелиле-ханым одна из первых турецких художниц, с детства занималась с ним живописью. И в тюрьме поэт рисовал портреты заключенных, картины и натюрморты.

В Стамбуле, в доме писателя Валя́ Нуреддина, близкого друга поэта, видели мы одну из тюремных работ Назыма Хикмета. Забранное решеткой оконце. За оконцем тюремная стена и, словно кусок рваной тряпки, небо. А на подоконнике круглый горшок с цветком на слабой гнущейся





**УМЫКАНИЕ.**

ножке — «гвоздика надежды», которую поэт растил долгих двенадцать тюремных лет.

Когда начальство разрешило организовать в тюрьме ткацкую артель, Назым Хикмет стал ее создателем и главным художником. Узоры на тканях были необыкновенно хороши. И славящиеся на весь мир мастера Бурсы нарочно устроили так, что один из подмастерьев попал в тюрьму: он должен был выведать у Назыма Хикмета секреты орнаментов.

— Ты рисовал в деревне? — спросил поэт Балабана.

— Рисовал. Но это не в счет. Больше пас волов, пахал. Рисование — забава, а вот жать, молотить...

— Где же ты научился рисовать?

— У тебя.

И Балабан рассказал, что уже сидел в этой тюрьме. В семнадцать лет вместе с четырьмя другими крестьянами отправились они продавать табак. По закону весь урожай табака нужно сдавать государственной монополии. Но сколько она платит? Ночью их окружили в горах жандармы. И за контрабанду дали им три с половиной года.

— Как же так, ведь я тебя не учил? — удивился Назым.

— А портрет с меня делал? Забыл? Ну вот, на тебя глядя, и я научился.

— Что же ты будешь делать, когда выйдешь?

**МАТЬ И ДИТЯ (РЕЛЬЕФ).**

— Рисовать. Я хочу рисовать еще лучше. Скажи, что нужно для этого?

— А в деревню вернешься?

— Вернусь.

— А убийцу отца убьешь? Один из ваших сказал: как только выйдет Ибрагим, сразу прикончит убийцу отца... Но ведь тебя снова посадят. И ничего из тебя не выйдет. А станешь художником, отец будет жить. В каждой твоей картине. Скажут: это сын Хасана-чавуша нарисовал. Дай слово, не станешь его убивать?

— Как стать художником? Что для этого нужно?

Зерно упало на разрыхленную землю.

По-прежнему три дня в неделю брил Балабан заключенных. А три дня работал как подмастерье у мастера — мыл кисти, готовил холсты, смешивал краски. Чем он мог еще отплатить за учебу?

Как-то пришел к Назыму в камеру:

— Мастер, что такое работать академически?

В бурсской тюрьме Назым Хикмет написал эпопею «Человеческая панорама». В ней несколько тысяч героев. Один из них — Ибрагим Балабан, которого в эпопее зовут Али.

«— Учитель, что значит работать
академически?
— Изображать смело обнаженное тело.
Тебе это непременно нужно, Али,
непременно.
Али понял совет.
А через три дня Хасан попал в лазарет,
ибо часами в камере на каменных плитках
пола
перед окном открытым стоял в чем мать
родила,
позируя «академически» работающему Али.
Еле-еле парня от смерти спасли».

«Преступление» — так назвал Ибрагим Балабан одну из первых своих картин. Беспощадное солнце. Выжженная земля. Руки убитого от нее едва отличимы. Мать зажимает рукой рану, нанесенную сыну, слез в ее глазах нет, но лицо такое, словно сама умирает вместе с ним. Вокруг крестьяне смотрят повесив головы.

Вместе с Балабаном сидел матерый убийца. Вся тюрьма страшилась его. Долго стоял он перед этой картиной. Стоял и глядел.

— Эх, Балабан, тебе бы раньше это нарисовать! Может, я тогда не убил бы...

Через несколько месяцев после смерти отца принесли Балабану еще одну черную весть: молодая жена, спасая которую он угодил в тюрьму,

ЖНИЦА.

КРЕСТЬЯНКИ.

умерла от родов прямо в поле. Он написал и это: «Роды».

«Шестеро женщин с той стороны железных
ворот.
Как чертенята выглядывают из-за плеча.

Лошадь с той стороны железных ворот
Вот-вот заплачет, такая в глазах тоска...

В плетеных корзинках — зеленого перца
стручки,
В сумах — лук и чеснок, уголь в мешках.

Шестеро женщин с той стороны железных
ворот.
За решеткой пятьсот мужчин, госпожа моя.

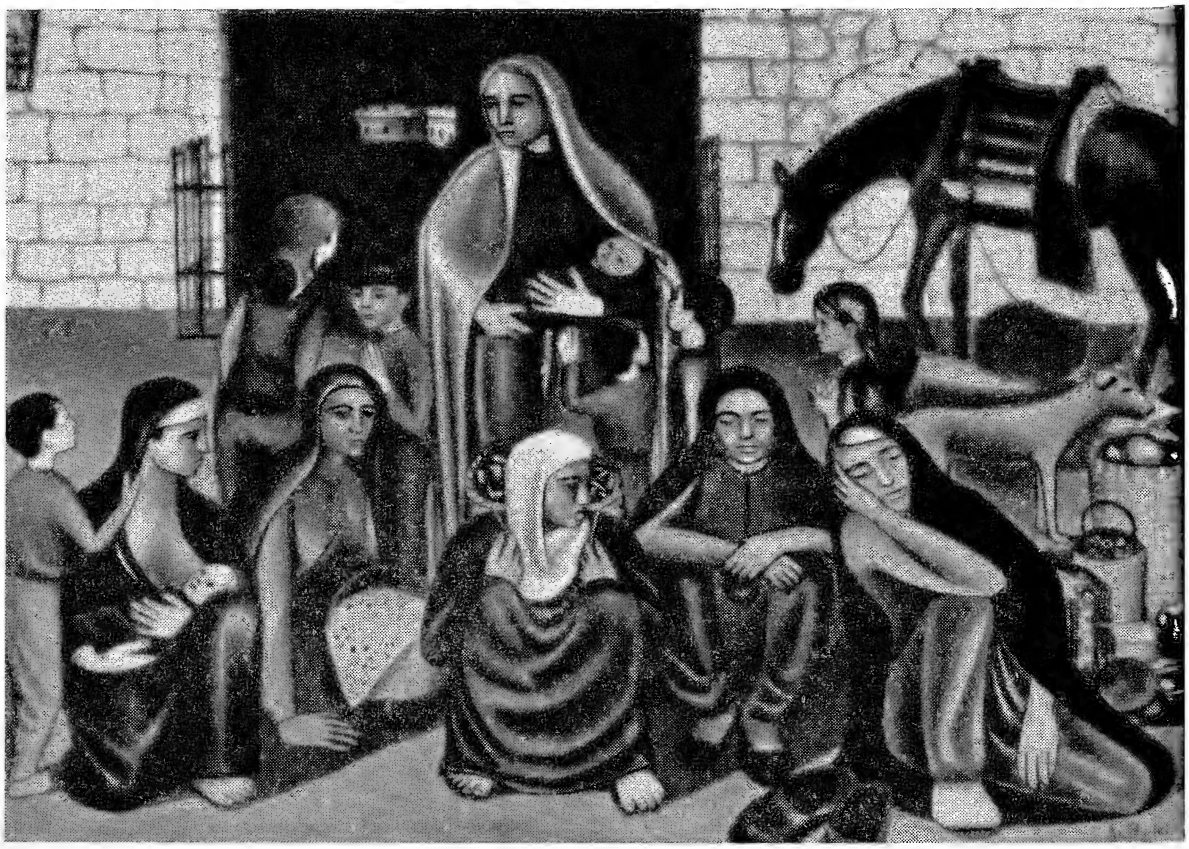
Ни одна из шести этих женщин с той стороны
не ты.
Но один из пятисот мужчин за решеткой —
я».

Так рассказал Назым Хикмет еще одну картину Балабана «У ворот тюрьмы».

Десять лет изо дня в день писал Ибрагим Балабан маслом на холсте, гуашью на картонных коробках, рисовал углем на бумаге, карандашом в тетрадях, а если не было ни карандаша, ни бумаги, царапал монетой на стенах карцера, а то и просто ногтем.

Он рисовал свою жизнь. А его жизнь была жизнью миллионов турецких крестьян.

«Глядите, мои глаза, на мастерство Балабана.
Вот вам свет,
свежий, храбрый, безжалостный,
мудрый, живой.
Вот вам облако, словно пласты творога...
Вот лисицы совершают утреннюю прогулку,
На их длинных хвостах — сиянье,
На их острых носах — тревога.
Вот глядите, мои глаза: брюхо поджато,
шерсть дыбом, пасть красная —
Волк на вершине горы одинокий.
Ты когда-нибудь чувствовал ярость голодного
волка ранним утром?
Вот вам наш виноградоглазый осел.
Вот луга — эй, смелей, мои ноги босые,
войдите в луга.
Нюхай, нюхай, мой нос,— это мята,
а это чабрец.



**У ВОРОТ ТЮРЬМЫ.**

Вот они: молоко моей матери, тело жены,
смех ребенка, распаханная земля.
Вот глядите, глаза мои,— вот человек,
Он хозяин этих гор и лесов, этих птиц
и зверей.
Вот лапти его, вот заплаты на его шароварах,
Вот соха деревянная, вот быки его с вечными
страшными ямами на боках».

Они вышли из тюрьмы в один и тот же майский день 1950 года. Учитель и ученик. Всемирно известный поэт. И никому не известный крестьянин Ибрагим Балабан из деревни Сеч. Но у него под мышкой были его картины.

Прошло пятнадцать лет. Ибрагим Балабан стал одним из самых популярных художников Турции. На выставках его картин в Стамбуле и Анкаре, в Бурсе, Айдыне и Измире побывали тысячи людей: носильщики-хамалы и рабочие, купцы и крестьяне, студенты и лицеисты, поэты и художники. Любители живописи не спрашивали: «Вы видели картины Балабана?», а спрашивали: «Сколько раз видели?» О нем писали критики и романисты, искусствоведы и политические деятели. Ничего подобного не знало изобразительное искусство Турции.

Из картины в картину, от выставки к выставке повторялись в живописи Балабана одни и те же мотивы: пахота, жатва, молотьба. Природа Анатолии и вековечная, беспощадная борьба с ней крестьянина. Его друзья и враги в этой борьбе. Картина «Время пахать» решена как сказочный лубок. На каждом клочке — пахарь. Волки и лисы — нейтральны в борьбе крестьянина с землей. Птицы — наблюдатели. Рыбы заняты тем, что пожирают друг друга. Заяц — спасает свою душу. И только соха и вол до самой своей смерти на стороне крестьянина.

Но, может быть, сильней всего трагизм этой борьбы передан Балабаном в картине «Неверно запряженные волы». Вол для крестьянина — символ жизни. Поглядите на «страшные ямы на боках». Крестьянин трудолюбив, как пчела. Но что он может сделать сохой, едва царапающей окаменелую землю? Не волы неверно запряжены: вся крестьянская жизнь шиворот-навыворот. Он изображал бесстрашно, без прикрас: согбенные, словно сломанные пополам, фигуры, натужные спины — все позвонки можно пересчитать, вытаращенные от напряжения, рачьи глаза. Но изображал так, что внушали они не отчаяние, а надежду. В них была сила. Каждая картина — как реквием, как песня или легенда.

И в живописи Ибрагима Балабана страна впервые узнала себя.

А сам Балабан? Почти все эти годы он жил в деревне: пахал, сеял, жал, ходил за волами. И писал. Не раз пробовал он выбраться из деревни: грязь, бездорожье, нет электричества, нищета. Но снова возвращался: «Нигде, кроме своей деревни, я не мог быть самим собой».

Каждую новую картину он прежде всего показывал односельчанам — вывешивал ее в деревенской кофейне. Художник мог положиться на их вкус, он не был испорчен: крестьяне видели

ВРЕМЯ ПАХАТЬ

НЕВЕРНО ЗАПРЯЖЕННЫЕ ВОЛЫ

НОЧНОЙ АРЕСТ

ЖАТВА

НА МОЛОТЬБЕ

АРБА

ЖАТВА (ФРАГМЕНТ)

АРЕСТ

ТРИ ЖЕНЩИНЫ
В ГОРАХ

27 МАЯ 1960 ГОДА

**СТЕНА В ТЮРЬМЕ. «ТЮРЬМА НЕ ВЫХОДИТ У МЕНЯ ИЗ ГОЛОВЫ. ЛЮДСКИЕ ЛИЦА КАК КАМНИ НА ДНЕ КОЛОДЦА». (БАЛАБАН).**

■

только его живопись. Но когда он полюбил девушку и захотел на ней жениться, деревня не выдала ему невесты: на художества, дескать, не проживешь, да и разве это занятие для мужчины?

И Балабан умыкнул свою нынешнюю жену прямо с поля.

Сидя в тюрьме, Балабан писал только волю. Теперь все чаще перед его глазами вставала тюрьма. И все чаще появлялась она в его работах. То были странные картины.

Испещренный знаками, словно иероглифами, лист — стена в карцере, на которой каждый выцарапывал свои надежды.

Скованные одной цепью узники в кандалах. Все похожи, словно вырезаны из картона по одному шаблону. А вместо груди — сплошное сердце. И окна. В них лица, круглые, как камни на дне колодца. Глядят, как жандармы проводят узников.

Или фаляка, старая турецкая пытка. Ноги человека привязывают к шесту, поднимают кверху и бьют по пяткам палкой. Когда человек теряет сознание, пятки опускают в соленую воду. И пытка продолжается. Но в этой картине нет людей. Есть только линии, рычаги.

Зимой, если были деньги, ездил Балабан на ковровые фабрики Сиваса — работал, изучал орнаменты, в Конью — копировал резьбу по камню и изразцы в мечетях Сельджукидов. Занимался в Стамбуле старой турецкой миниатюрой, в Анкаре ходил в музей хетской культуры.

«Ставя тесто,— говорит художник,— женщины добавляют в него закваску, горсть на целый котел. Есть закваска и у сыра. И у искусства своя закваска. Это наследие прошлых мастеров. Мы, художники, добавляем ее в свое тесто, чтобы хлеб наш вышел съедобным».

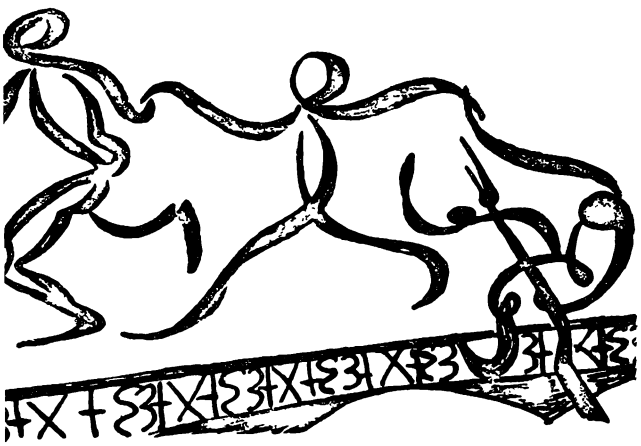
Он должен был овладеть всем, что досталось его народу в наследство от его предков, от мастеров других культур и эпох. Он хотел каждой теме найти свою форму, понятную и интеллигенту, и неграмотному крестьянину. И добился этого.

Ибрагим Балабан приглашает нас в дом. Мы снимаем ботинки, надеваем тапочки и входим в комнаты.

Хозяину дома сейчас сорок пять лет. Быть может, когда он не работает, не говорит, не движется, ему можно дать больше — глубокие, как борозды, морщины вокруг рта, на лбу, у глаз, высокий в залысинах лоб. Но его трудно представить себе спокойным.

Он ведет нас по дому. Здесь все — от пола до потолка, от витых решеток на лестнице до росписей и фресок на стенах — сделано его руками. Вдруг вспоминает, что нас нужно угостить, и бросается заваривать густой чай. Потом снова ведет по дому. Он еще не закончен, и в комнатах холодно. Хозяин кидается растапливать печь. Потом надписывает книги.

В тюрьме в одиночестве вошло у него в привычку, работая над картиной, разговаривать вслух с самим собой. Позднее явилась мысль записать эти разговоры. Так родились две его книги, необычные по манере и языку, простые и патетичные, как сам Балабан. Сейчас он заканчивает работу над третьей книгой о своей жизни и своем искусстве.



Руки художника, с тонкими пальцами, беспрерывно в движении — опережают слова, следуют за ними. Он то улыбается, гордый созданием своих рук, то становится печальным, вспоминая о прошлом. И говорит быстро, во весь голос, перескакивая с предмета на предмет, от картин к книгам, от книг к воспоминаниям.

На почтительном расстоянии слушают нас два его сына Хасан Назым и Али Хикмет, смотрят с любопытством на нас, с восхищением на отца.

— Да, да,— улыбается Балабан,— еще в тюрьме я обещал ему, что назову его именем сына. Видите, даже перевыполнил обещание. Из-за них, собственно, и пришлось все-таки покинуть деревню.

Своих картин у него в доме немного. Часть распродана, часть раздарена. Десять еще в 1960 году увезены на выставку в США, и до сих пор о них ни слуху ни духу. А последние работы экспонируются на выставке в Измире.

Художник подводит нас к фреске. Все та же жатва, но решенная другими средствами. Потом опять рисунки, эскизы ковров. И один упорно повторяющийся мотив: два вооруженных человека — не то солдаты, не то жандармы — ведут третьего. Кто этот третий?

— Я сам.

Он поворачивает прислоненную лицом к стене картину. Два полицейских, один с пистолетом, другой с дубинкой, ведут юношу с красным флагом в руках: «27 мая 1960 года».

В этот день, опираясь на народное движение армия свергла профашистское правительство Мендереса.

— Когда я увидел в газетах фотографии схваток студентов с полицией на улицах Стамбула, убитых, раненых, мне показалось, что каждый раненый в этой схватке — я сам, каждый убитый — тоже я. Я должен был это нарисовать.

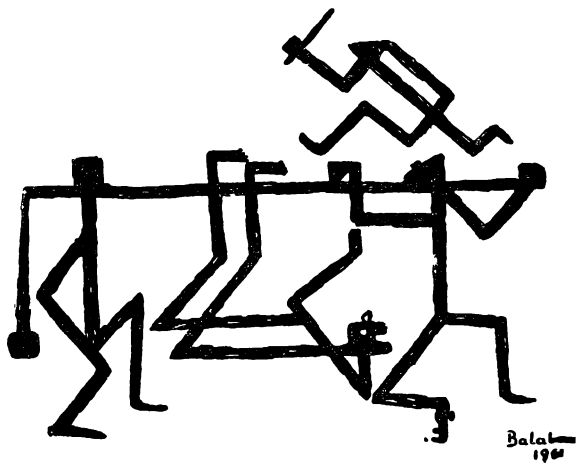
В 1961 году пять художников и среди них Балабан организовали группу «Новая ветвь» и устроили выставку своих картин в Стамбуле. Через три дня выставка была закрыта, картины — и среди них эта — погружены на «джип» и увезены.

Балабан снова переворачивает картину. На задней стороне наклейка: «Склад Управления Безопасности».

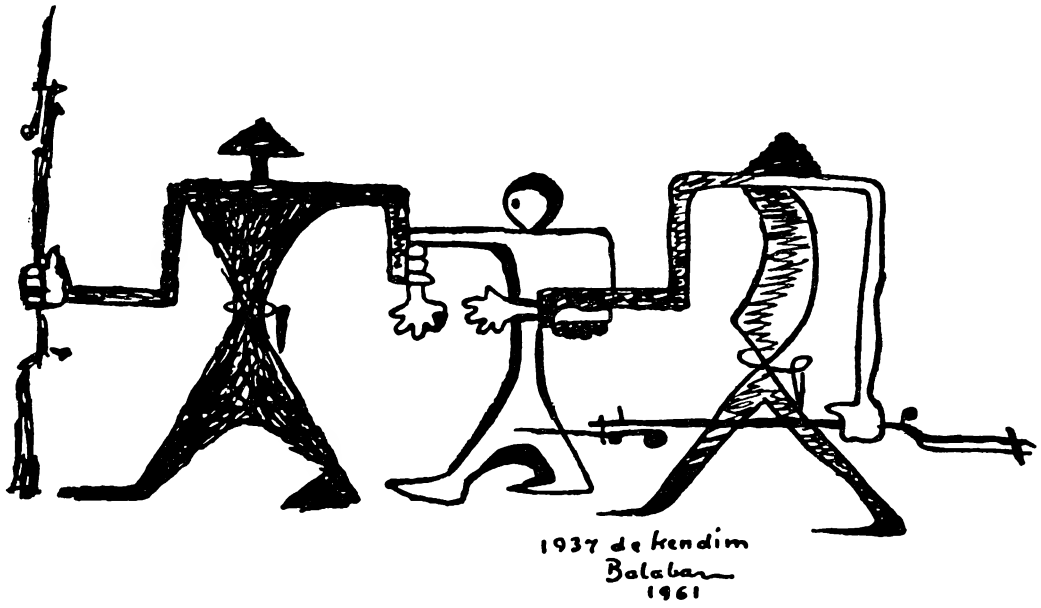
Вскоре были арестованы и художники. Целый месяц длились допросы. «Если ты крестьянин, почему не пашешь?» — «Потому что умею и пахать, и рисовать».— «Зачем вы рисовали голубей?» — «Потому что есть на свете голуби. Если вы их всех уничтожите, будем рисовать волков».— «Зачем нарисовал полицию?» — «Эта картина рассказывает о событиях 27 мая, когда студенты сражались с полицией».— «Ложь».

И вот суд. По стенам развешаны крамольные полотна. На скамье подсудимых — художники. Слово берет прокурор: «Уважаемые судьи! Хотя обвиняемый утверждает, что арестованный на его картине — студент,— это не студент, а рабочий: поглядите на его рубашку. Далее, рука полицейского, идущего сзади, изображена как клещи. Значит, подсудимый утверждает, что рабочих пытает полиция. Подсудимый говорит, что острие под ногами первого полицейского это тень. Ложь! Полицейский вот-вот наступит на острие и поскользнется. Полиция — это власть. Когда первый полицейский поскользнется, рабочий вырвет руку и собьет с ног другого — руки у рабочих сильные. Затем он, конечно, заорет: «На помощь!» — и, естественно, на этот крик сбегутся другие рабочие. А это уже революция. Следовательно, действия подсудимого, выразившиеся в написании данной картины, вполне подпадают под статьи 141, 142 Уголовного кодекса как направленные к свержению существующего строя».

Такая трактовка живописи, зафиксированная судейскими протоколами, оказалась, однако, неубедительной. Наступали иные времена. Суд оправдал Балабана и его товарищей.




**ФАЛЯКА**




«Я САМ В 1937 ГОДУ».

А Балабан написал и это: два вооруженных человека несут картину, на которой два вооруженных человека ведут третьего.

Мы выходим из дома. Балабан везет нас по городу. Бурса окутана зимней туманной дымкой. С деревьев медленно, как слезы, падают тяжелые капли. Вершина малоазиатского Олимпа — Улудага — закрыта облаками.

Балабан оборачивается на запад:

— Вон, видите, там, где облака касаются гор,— моя деревня...

Мы долго стоим у желтой стены тюрьмы.

— Наши камеры с отцом — отцом Балабан называет Назыма Хикмета — были расположены в одном коридоре напротив друг друга. Как-то, посмотрев мои картины, он сказал: «Знаешь, Балабан, в твоей камере будет когда-нибудь музей». Мне это показалось невероятным до дикости. Я ответил: «В твоей камере будет музей турецкой поэзии». Как вы думаете, будет?..

Заходим в новый современный отель «Илман». Здесь на стене Балабан написал крестьянскую свадьбу. В бешеном плясе несутся по кругу фигуры его односельчан.

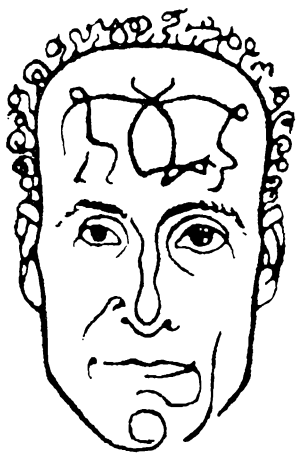
В клубе архитекторов и инженеров Балабан написал на стене «Месильщика глины».

Мы кружили по узким горбатым улочкам мимо всемирно известных мечетей и дворцов. С холмов открывался далекий вид на черепичные крыши, среди которых, как часовые в папахах, стоят минареты, на кипарисовые рощи, оливковые плантации и сады.

На дороге, уходящей в Стамбул, я оглянулся. Со стены многоэтажного дома мне кивнул головой яркий, словно вытканный на ковре, цветок Балабана.

**РАДИЙ ФИШ**

СТАМБУЛ — МОСКВА, 1966



АВТОПОРТРЕТ.

# НОВЫЕ ВКУСЫ

(Письмо из Румынии)

Вопрос, поставленный «Иностранной литературой»: что читают сегодня? — всегда актуален. Естественно, точный ответ на него дать трудно, в основном по двум причинам. Первая: мы не можем игнорировать относительную субъективность мнения каждого из нас (в данном случае — мою). Вторая: мы не располагаем статистическими данными, дающими ясную картину читательских вкусов. Даже если, скажем, мы будем руководствоваться тиражами, быстротой, с которой расходится книга, то и тогда ответ будет не точен, ибо известно, что не всякая книга, распроданная тут же, имеет подлинный успех. На книги тоже бывает «мода». Наконец, следует сказать, что не существует одного, единого читателя, некоего «среднего» читателя, но есть множество категорий, слоев читателей, разных и в смысле подготовки, и по вкусам, и по профессиям.

Я хотел бы по-иному, более широко переформулировать вопрос журнала «Иностранная литература»: как изменились сегодня, после социалистической революции, вкусы румынских читателей по сравнению со вкусами довоенной поры?

Д. Кэлинеску, подводя итоги литературной анкеты, которую он провел в 1939 году в «Журналул литерар», заметил, что читателям явно по вкусу «легкое чтение» — например, роман «с продолжением» — и поверхностные писатели, избегавшие ставить в своих книгах глубокие человеческие и социальные проблемы. Стихов не читали вовсе или, если читали, отдавали предпочтение не большим поэтам (как Тудор Аргези, Лучиан Блага, Ион Барбу), а книгам поэтов мелких, версификаторов, сейчас уже позабытых.

Мне представляется, что сегодня в Румынии можно констатировать две основные черты вкуса широкого читателя. Во-первых, успехом пользуются серьезные, проблемные книги, книги, которые говорят читателям об основных вопросах жизни и современного общества. Во-вторых, исчезла какая бы то ни было предвзятость — читатель радуется хорошей книге, независимо от того, кто ее автор, переводная она или оригинальная, принадлежит ли перу писателя капиталистической или социалистической страны.

Румынский читатель, например, открыл для себя в последние годы книги нового поколения советских писателей (Аксенова, Евтушенко, Казакова и др.), и они пользуются сегодня большими симпатиями у нашей молодежи (у молодежи — в особенности). Роман Аксенова «Коллеги» вначале появился в журнале «Секолул ХХ» *, потом отдельной книгой, которая тут же была раскуплена. Журнал «Секолул ХХ» сделал особенно много для популяризации рассказов Казакова и стихов Евтушенко. Здесь был опубликован перевод — и превосходный перевод — фрагментов из большой поэмы Евтушенко «Братская ГЭС», сделанный поэтом Василе Николеску. Не устарели для румынского читателя, конечно, и произведения советской литературы, ставшие уже классическими, — например, книги Шолохова (литературные журналы посвятили ему целые страницы в связи с Нобелевской премией), Алексея Толстого, Максима Горького и других. Следует обратить внимание и на такой факт: румынский читатель был и остается хорошим знатоком русской литературы. Я полагаю, что мало где — если не считать, конечно, их родной страны — так хорошо знают и так любят Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Чехова, Толстого, Бунина. Румынский читатель располагает собраниями сочинений многих из этих писателей (Толстой вышел, кажется, в 16 томах, Чехов — в 20 томах и т. д.). «Братья Карамазовы», которые недавно были переведены, пользуются в Румынии грандиозным успехом. Но у нас в этом отношении существует традиция: не знаю, известны ли в СССР очень тонкие статьи крупнейшего румынского критика, одного из прогрессивных деятелей начала XX века, Гарабета Ибрэиляну, о произведениях Тургенева («Дым», «Вешние воды» и др.) или замечательные исследования Д. Кэлинеску о Толстом и Чехове.

* «ХХ век» — румынский журнал, публикующий иностранную литературу.

Я уже говорил, что наиболее характерен для вкусов сегодняшнего румынского читателя интерес к серьезным, проблемным книгам. Этим объясняется «открытие» — под определенным углом зрения — западной литературы. Что «открыл» для себя румынский читатель в американских романистах поколения Фолкнера, Хемингуэя или Колдуэлла, если не литературу подлинно человечную, насыщенную глубокими социальными проблемами? Успех этих писателей, поистине заслуженный, никого не удивляет — так же, как не удивляет сегодня и успех «молодого» поколения американских писателей (Сэлинджера, Трумэна Капоте и др.), которые частично переведены у нас и пользуются популярностью. С этой точки зрения ценится в Румынии и драматургия Эжена Ионеско (он родом из Румынии и 20 лет назад писал в румынских журналах»). В «Носороге», под прозрачной формой параболы, многие узнали время фашистского террора, которое они сами пережили. Впрочем, Ионеско опубликовал некогда в одном румынском журнале «Письмо из Франции», в котором резко выразил свое отношение к румынскому фашизму (и к фашизму вообще), и румынские читатели увидели в этом, возможно, отправную точку для «Носорога». Литература, показывающая варварскую сущность фашизма и борьбу против него, всегда ценится нашим читателем. Журнал «Секолул XX» опубликовал в связи с двадцатилетием победы над гитлеровской Германией многочисленные репортажи (в числе которых и репортаж Эренбурга о Нюрнбергском процессе) — потрясающие свидетельства о фашистских зверствах. Может быть, этим же объясняется и успех «Чумы» Альбера Камю, в которой наш читатель совершенно справедливо увидел аллегорию нацизма, режима концентрационных лагерей. И, поскольку мы говорим о переводах, я хочу подчеркнуть грандиозный успех поэзии: у нас переведены книги многих современных поэтов и поэтов нашего века (Унгаретти, Аполлинера, Брехта, Лорки и т. д.) и циклы современных стихов, появившихся в советских, французских, бельгийских, испанских, немецких, английских, итальянских и других журналах.

Мне труднее рассказать о вкусах румынского читателя в румынской литературе из-за многочисленности и жанрового разнообразия книг. Я ограничусь тем, что отмечу одно явление, представляющееся мне симптоматичным, и несколько книг, которые вышли в минувшем году и пользовались заслуженным успехом.

Явление, о котором я упомянул, относится к категории «психологии культуры» — речь идет о том, что были «вновь открыты» некоторые румынские писатели, творившие между 1920 и 1944 годами. Произошло следующее: сегодня, через полтора десятилетия после социалистической революции, которая, никогда не отвергая литературного наследия, отодвинула все же его на второй план (ибо силы были направлены в основном на создание новой, социалистической литературы, волновали проблемы современного общества), сегодня мы присутствуем при возрождении интереса к литературному наследию. Были «открыты вновь» большие поэты и прозаики 1920—1944 годов, и это имело положительные последствия, так как определило общее повышение художественного уровня нашей литературы, повышение требовательности писателей к своему мастерству.

Книги, имевшие успех в этом году? Вот их примерный список: в поэзии — две книги Михая Бенюка, поэма Марии Бануш «Алмаз», книга стихов молодого поэта Иона Александру «Жизнь сейчас», книга стихов Григоре Хаджиу «Скрытые материки»; в прозе — второе издание романа Марина Преды «Расточители», книга рассказов молодого прозаика Штефана Бэнулеску «Зима мужественных» и первый роман Николае Бребана «Франциска». Я хотел бы прибавить для полноты картины и критические исследования. В этом году появилось несколько монографий, которых ожидали давно, и среди них, конечно, самая интересная — монография Думитру Мику о Тудоре Аргези. Вышла также книга, представляющая собой первую попытку обобщить опыт литературы после революции 1944 года и до наших дней («Румынская литература сегодня»), написанная вместе с тем же Думитру Мику автором этих строк.

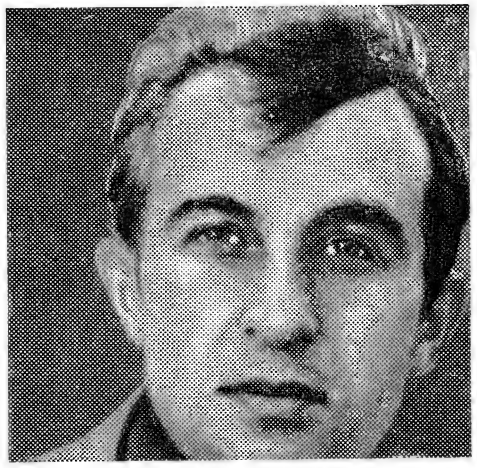
Разрешите мне сказать несколько слов об упомянутых уже книгах, чтобы объяснить советскому читателю причину их популярности. Я хотел бы остановиться на двух произведениях молодых писателей, потому что молодые сегодня задают тон. Роман «Франциска» Николае Бребана рассказывает о девушке из буржуазной семьи, порвавшей со своей средой, а также о крестьянине, приехавшем работать на социалистическое предприятие и собирающемся стать токарем. Роман интересен тем, что сталкивает два мира, два образа мыслей и показывает, какими путями — какими разными путями — приходят люди в революцию. Франциска, его героиня, и Купша, крестьянин, ставший квалифицированным рабочим, отправились из разных пунктов, чтобы встретиться в революции. Книга «Жизнь сейчас» Иона Александру содержит стихи, в которых самое молодое поколение румынских писателей утверждает себя сильнее, чем где бы то ни было. Молодость отвергает рутину и банальность, протестует против догматического мышления. В этих стихах — смесь искренности и позы, безыскусности и театрального жеста. Поэт и сам называет себя «ужасным лицедеем», который рождается, разбивая кулаками «декорации хора».

Вот — конечно, очень суммарный и поверхностный — ответ на всегда актуальный, всегда увлекательный вопрос, который был задан вашим журналом.

Бухарест.

**НИКОЛАЕ МАНОЛЕСКУ**

НАШИ ГОСТИ



# ТОРЕРО — И СМЕЛЫЙ, И ТАЛАНТЛИВЫЙ

Читатели, вероятно, помнят номер нашего журнала, посвященный испанской литературе. В связи с подготовкой этого номера я и познакомилась с Хуаном Гойтисоло, автором известных у нас романов «Прибой» и «Остров».

Было это в Париже, в очень скромном квартале на улице Пуассоньер, где жил тогда молодой талантливый испанский писатель. Хозяина не оказалось дома, и меня провели в комнату, сплошь заставленную книгами. Творения испанских писателей, французских, латиноамериканских... Ну и конечно, книги самого Хуана — изданные во Франции, Англии, Германии, США и в СССР.

Пока я рассматривала их, в комнату, на ходу снимая пальто, вошел запыхавшийся, смущенный Гойтисоло.

— Извините, но издательство Галлимара находится на другом конце города, а в метро сейчас часы пик. Добраться вовремя никак не мог.— Увидев мой недоуменный взгляд, он пояснил: — Я ведь работаю у Галлимара. Занимаюсь изданием латиноамериканской литературы.

Признаюсь, это было для меня неожиданностью. И не единственной.

В уголке было нечто вроде монтажа из фотографий Хемингуэя.

— Вы, очевидно, очень любите Хемингуэя? — спросила я.

— Конечно. Тем более, что я хорошо его знал. Вот тут, рядом с ним,— это я. Гораздо моложе, чем сейчас, разумеется. Я ездил с ним по Испании — показывал ему корриды. Вот здесь мы сняты с тореадорами. А потом мы переписывались с Хемингуэем до самой его смерти.

Соблазн расспросить Гойтисоло поподробнее был очень велик, но я решила отложить это до другого раза.

Узнав о том, что мы собираемся выпустить номер, посвященный испанской литературе, Гойтисоло необычайно оживился.

— Моя библиотека — к вашим услугам.

И одну за другой стал вытаскивать книги. Каждая была чем-то интересна... Скоро около меня на полу образовалась целая гора. А хозяин не унимался: ему хотелось, чтобы все самое яркое в испанской прозе, поэзии, публицистике нашло отражение на страницах нашего журнала. И даже когда я уже вернулась в Москву, Гойтисоло продолжал присылать рукописи, книги...

— Я убежден, что значение литературы очень велико,— сказал он уже в Москве, в редакции нашего журнала.— Пусть она не может изменить жизнь, но она может изменить взгляды людей на жизнь. И если испанская литература сумеет дать подлинное представление об испанской действительности, мы, писатели, будем считать, что выполнили свой долг.

Начиная примерно с 1954 г. в Испании появилась новая литература, потребовавшая от писателей немалого гражданского мужества. В самом деле, нужна большая смелость, чтобы заговорить о том, что долгое время замалчивалось всей официальной печатью. И вот литература вновь становится глашатаем и информатором — средством отображения социального бытия. Правда, делается это достаточно закамуфлированно, чтобы произведение могло увидеть свет, невзирая на цензуру.

— Как и на бое быков, самое главное, что ценится,—это смелость. Однако и среди смелых тореро немало плохих тореро,— говорит Гойтисоло.— Одной смелости, оказывается, недостаточно. Так и в литературе. Когда среди писателей было три-четыре смелых тореро, читающая публика приветствовала их, но когда их стало тридцать или сорок, читатели стали требовать еще и художественного мастерства.

Правда, смелых и одновременно хороших тореро и по сей день не так уж много. К ним Гойтисоло причисляет Рафаэля Санчеса Ферлосио, Хесуса Фернандеса Сантоса, Ану Марию Матуте и своего брата Луиса Гойтисоло, живущего в Испании.

Так называемая «либерализация» режима, наметившаяся в Испании в последние годы, весьма своеобразно коснулась и литературы — теперь стали шире печатать произведения эротические, особенно если они принадлежат перу иностранного автора. А вот цензура произведений, выходящих из-под пера местных писателей, осталась неизменной, как остался неизменным и список запрещенных книг.

— В этом списке и мой роман «Остров»,— сказал Гойтисоло.— Он был бы разрешен, если бы я вывел в нем не испанскую, а, к примеру, французскую буржуазию.

Кто-то из присутствующих заметил, что и «Остров» и, скажем, роман Хуана Гарсиа Ортелано «Летняя гроза» очень напоминают фильм Феллини «Сладкая жизнь».

— Просто эта тема носится в воздухе,— сказал Гойтисоло.— Мой «Остров», например, был написан за два года до выхода «Сладкой жизни» на экран. В Испании все это более осложнено, чем, скажем, в Италии, хотя испанская буржуазия, которая стала быстро обогащаться благодаря туризму, и перенимает чужие нравы. Вместе с тем в испанском образе жизни до сих пор сохраняется немало анахронизмов. От них, правда, начинают освобождаться. И тут происходят любопытные вещи.

Взять хотя бы эмансипацию женщин: с рабской покорностью покончено, зато на смену ей пришла полная свобода нравов.

Один из моих читателей здесь, в Москве, спросил, почему мы, испанские писатели, не создали произведений, в центре которых была бы женщина вроде Анны Карениной или Эммы Бовари. Я объяснил, что в XIX веке женщина, уходя из семьи, ломала существующий порядок вещей и, таким образом, была достойна воплощения в литературе. Теперь же, когда женщина уходит из семьи, драматическим героем оказывается мужчина. Во всяком случае, так обстоит дело в Испании.

Если же говорить серьезно,— продолжает Гойтисоло,— то самое страшное в Испании — это перемены, происшедшие в человеческой психике. В каждом как бы живет собственный цензор, отделяющий то, что человек думает, от того, что он говорит.

Я слушаю Гойтисоло, и мне вспоминается опять-таки книга Ортелано, да и его собственный роман «Остров»—яркие примеры зашифрованного письма, к которому писателям приходится прибегать, чтобы выразить то, что их волнует.

Показывая, как живут, как развлекаются и как скучают богатые бездельники на курорте Торремолинас («Остров» Хуана Гойтисоло) или в курортном городке «Белые паруса» («Летняя гроза» Хуана Гарсиа Ортелано), оба писателя не превращают это в самоцель, не смакуют пикантные подробности,— для них это средство отобразить духовную опустошенность, отсутствие идеалов, затхлость и гниль того мира, за который герои их произведений сражались на стороне Франко в годы Гражданской войны. И хотя в этих книгах рыбаки, челядь, простые люди, обыкновенные труженики — всего лишь второстепенные персонажи, хотя речь, собственно говоря, не о них,— они изображены так, что вам ясна реальная картина испанской действительности, бесправие и нищета испанского народа. Вдумчивый читатель, взявшись за такой вроде бы «великосветский» роман, обнаружит большое социальное полотно, найдет пищу для раздумий.

— Если для писателей других стран,— говорит Гойтисоло,— такие темы означают бегство от действительности, то для нас — это бегство в действительность.

Нас, естественно, интересует, над чем работает сейчас писатель.

— Уже три года я пишу роман,— говорит Гойтисоло.— Сейчас работа подходит к концу. Непосредственное действие в нем происходит в течение трех дней, но я то и дело возвращаюсь к прошлому. В результате он охватывает период с 1934 по 1965 год и развертывается в Барселоне, на юге Франции и на Кубе. Я хочу в нем показать облик современной испанской интеллигенции и одновременно — тот путь, который прошла Испания от Гражданской войны до сегодняшнего дня.

Мне думается, что, говоря о явлениях новых и сложных, нельзя пользоваться старой формой повествования, поэтому рассказ у меня ведется от первого и второго лица, а также от первого лица множественного числа. Я делал это не специально— тема подсказала мне такой ход.

Судя по тому, где развертывается действие очередного романа Гойтисоло, произведение это будет, очевидно, в какой-то мере автобиографическим: в Барселоне писатель родился, провел детство и юность; на юге Франции, в маленьком рыбацком поселке живет он сейчас — работает над романом и пишет рецензии для издательства Галлимара; а на Кубе он был года два или три назад. И то, что он там увидел,— энтузиазм маленького народа, не побоявшегося восстать и решившего строить свою жизнь по-новому, произвело на него столь сильное впечатление, что по возвращении он написал большой очерк, с которым наши читатели могли ознакомиться в журнале «Новый мир».

Гойтисоло впервые в Москве, и нам, конечно, интересны его впечатления. Он слегка прищуривается, словно мысленно перебирает виденное.

— Меня поражают ваши люди,— говорит он,— удивительно теплые и душевные. Поражает тяга народа к культуре. Эти толпы, осаждающие театры... Непостижимо. Меня очень интересует русский характер. Сейчас — мое первое знакомство с ним. И мне бы очень хотелось его продолжить.

Нам бы тоже очень хотелось продолжить наше знакомство и дружбу с талантливым писателем и пожелать ему в будущем больших творческих удач.

**Т. КУДРЯВЦЕВА**

## Календарь иностранной литературы

# ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

К 100-летию со дня рождения

В сознании современников Пенчо Славейков остался человеком большого личного обаяния, большой культуры и, вопреки тяжелому физическому недугу, всегда живым, увлеченным, человеком сильной воли и жизнелюбия. Сербский поэт И. Дучич как-то сказал о нем: «Когда Пенчо говорит, а рядом стоит самая красивая женщина в мире, я и тогда не могу оторвать взгляда от него». Не раз встречавшийся с писателем наш славист академик Н. С. Державин в неопубликованных заметках 30-х годов писал: «Пенчо Славейков всегда производил на меня впечатление не только своей культурой, простотой и интимностью в обхождении, своей исключительной отзывчивостью на все хорошее... но и своим непримиримым отношением ко всякой пошлости, ко всякому мещанству, ко всякой самодовольной ограниченности и тупоумию».

Взыскательный к себе поэт и строгий критик, острый публицист и тонкий ценитель народной поэзии, П. Славейков сыграл большую роль в развитии болгарской литературы. Он был одним из крупнейших писателей, творчеством которого завершался век минувший в болгарской литературе и открывался век нынешний. Свойственные его произведениям глубокие раздумья, стремление проникнуть в тайны психологии героев, гуманистический пафос — вот то, что делает творчество Славейкова близким нашей современности.

Еще совсем недавно вокруг наследия П. Славейкова велись ожесточенные литературные споры. И это не случайно. В творчестве писателя, как и в его взглядах, немало противоречивого. Он отдал дань эстетству, а в некоторых статьях выступал поборником теории чистого искусства. Увлечение немецкой идеалистической философией, и в особенности Ницше, привело поэта к созданию пессимистических произведений, проникнутых идеями индивидуализма. Но не они определяют творческий облик Славейкова. Лучшие его произведения прокладывали новые пути национальной реалистической литературы. Это относится к сборникам его стихотворений и поэм: «Эпические песни» (1896), «Мечты» (1898), «Сон о счастье» (1907), «На острове блаженных» (1910), а также к оставшейся незавершенной «Кровавой песне» — эпопее о национально-освободительном восстании болгар 1876 года. Ему принадлежит ряд интересных статей о болгарской литературе и народной поэзии, о творчестве русских и немецких писателей.

В формировании общественных и литературных взглядов Пенчо Славейкова больше всего сказались, по словам поэта, «скитания по отчизне и на чужбине». Сын Петко Славейкова — первого крупного поэта Болгарии и видного общественного деятеля эпохи национального возрождения,— он с детских лет воспринял демократические убеждения, любовь к народному творчеству и чувство глубокого уважения к русской культуре и литературе. А в зрелый период, в статье «Болгарская поэзия» (1906), он писал: «Мои поэтические чувства и настроения воспитаны прежде всего русскими художниками слова. То, что вначале я воспринимал у них инстинктивно — поиски человека даже в звере,— уже как сложившийся поэт я сознательно положил в основу своих творений... Здесь родилась и моя неприязнь к современным европейским героям литературы, которые лишены разума, сердца и ценят только зверя в человеке». Из русской литературы Пенчо Славейков особенно высоко ставил творчество Пушкина и

Лермонтова, Тургенева, Толстого и Короленко. Любовь и признательность к этим писателям он пронес через всю свою жизнь.

В 90-е годы в течение шести лет П. Славейков жил в Лейпциге, где изучал историю литературы, немецкую философию и эстетику. Особенно близки были ему Гейне и Гете, которых он переводил на болгарский язык. Возвратившись в Болгарию, П. Славейков сотрудничает в общественно-литературном журнале «Мысль», в течение года возглавляет Народный театр, ряд лет был заместителем директора, а затем и директором Народной библиотеки. Однако назревший конфликт писателя с правящими кругами вылился в 1910 г. после его обличительной речи против реакционного съезда славянофилов в открытую его травлю. Вскоре он был вынужден эмигрировать и в 1912 г. скончался на чужбине, в Италии, тяжело переживая свою участь.

Смолк голос поэта, но остались жить его герои — люди сильные и мужественные, люди трудной судьбы. Остались и песни Славейкова — то лирические, немного печальные, то задорные, искрящиеся удалью. Они раскрывают перед нами многообразный мир мыслей и чувств поэта. «Жизнь каждого человека,— писал П. Славейков,— представляет собой ожерелье, состоящее и из веселых и из грустных дней. Такое ожерелье носит и поэт. И если он хочет быть искренним изобразителем жизни, он не может петь только о солнце и весне».

В лирической поэзии П. Славейкова сквозит радость надежды, и печаль, и щемящее одиночество; теплота человеческих отношений выражена в ней естественно, просто. Это поэзия целомудрия, верности и подлинного гуманизма. В пейзажной и любовной лирике П. Славейков нередко использует, а то и прямо заимствует образы, мотивы из народных песен.

Пенчо Славейков изображает самых обыкновенных болгарских крестьян, и его глубоко психологические поэмы из сельской жизни «Ралица» и «Бойко» покоряют читателя нравственной чистотой героев, психологической тонкостью, поэтичностью.

Вслед за Ботевым и Вазовым Пенчо Славейков поэтизирует мужество бесстрашных юнаков, которые в глубокую ночь турецкого ига подняли «стяг вольности над рабскою землей» («О ста двадцати»), которые умирали во имя светлого будущего («Поэт», «Самоубийца»). Цельные, героические характеры эпохи национально-освободительной борьбы противостояли буржуа с их мелочными интересами, с их стремлением предать забвению память о героях. По своему общему пафосу этим произведениям близки и нравственно-философские поэмы П. Славейкова, посвященные Бетховену («Cis-moll»), Шелли («Сердце сердец»), Микеланджело («Микеланджело»).

Разительно меняется интонация стиха, когда поэт говорит о монархии. Непримиримый враг деспотизма, П. Славейков своими стихами — в одном случае прямо («Отечество», «Шум до неба»), в другом, используя исторические сюжеты или легенды древнего мира («Марий и Сулла», «Секира правды»), обрушивается на властителей мира, клеймит лицемерных венценосцев, обнажая непримиримый конфликт между самодержцами и народными массами. Все его симпатии оставались на стороне тех, кто способен был идти на приступ тиранического режима, чтоб растерзать «в клочья, на куски и плоть и кости царственного трупа».

...Тяжелая весть о кончине поэта пришла в тот момент, когда П. Славейков был в расцвете своих творческих сил, когда его почитатели ждали новых произведений. В те дни в адрес писателя П. Тодорова — одного из ближайших друзей поэта, пришла телеграмма. В ней говорилось: «Разделяем скорбь болгарского народа и Вашу, дорогой друг. Поэт — сердце народа. Он бессмертен». В числе первых подписей под текстом стояли имена А. М. Горького и А. В. Луначарского.

Лучшая часть наследия Пенчо Славейкова стала достоянием социалистической Болгарии. Его произведения сейчас издаются большими тиражами. Некоторые стихотворения поэта стали народными песнями. Любовь Славейкова к родине, его вера в творческие силы народа находят дальнейшее развитие в современной болгарской литературе. Отмечая в нынешнем году знаменательный юбилей поэта, болгарские писатели посвящают традиционный Праздник поэзии памяти Пенчо Славейкова, а столицей праздника избрали родной город поэта — Трявну. Всенародное чествование П. Славейкова — это дань уважения к его большим заслугам перед национальной культурой и литературой.

**В. ЗЛЫДНЕВ**

## БУНТУЮЩИЙ КЛАСС

**Десанка Максимович. Дети становятся взрослыми. Перевод с сербохорватского Н. Лебедевой. Москва, «Художественная литература», 1965. 255 стр.**

Я уже было закончила изложение впечатлений, вызванных повестью Десанки Максимович «Бунтующий класс». Ее в русском издании назвали почему-то «Дети становятся взрослыми». Я уже рассказала о том, как Десанка Максимович вводит читателя вместе с новым учителем — классным наставником в гимназию провинциального сербского городка. Незадолго до войны. Вводит в полную внутренних противоречий, штормовых столкновений жизнь учительской. Мы уже побывали и в домах у одного ученика, другого, третьего, поверили, что именно эти характеры должны были зародиться, деформироваться, выпрямиться — у этих родителей, в этих квартирах, в этих дворах.

Мы уже провели достаточно долгое время и в классе — в часы уроков, между уроками, после уроков. И присутствовали не раз в моменты острейших конфликтов. Когда консерватор по убеждениям учитель истории с возмущением обнаруживает, что ученик читает роман и при этом — о ужас! — советский; когда весь класс, вернее, лучшие, задающие тон ученики заявляют в знак солидарности, что и они читали на уроке; когда ученики посылают протест в министерство против закрытия прогрессивного юношеского журнала; и еще, и еще. Мы уже поняли, как сложно молодому классному руководителю каждый раз решать, и немедля решать, на чьей он стороне. И только его решения, только его поступки могут определить, сочтут ли эти ребята, ожидающие от него наряду со знаниями еще и права «спросить обо всем», и прямоты, и справедливости, и умения поступиться во имя правды учительской непогрешимостью,— сочтут ли его эти ребята своим другом, то есть настоящим учителем. Я уже попыталась приблизить к глазам читателя директора этой гимназии, таким податливо-трусливым, каким его вылепила сложная местечковая предвоенная жизнь с претензиями ее чванливых богатеев, с напором ее полуграмотной чиновной знати, такого, каким его изобразила Десанка Максимович, и «вздорного самолюбивого мальчишку» Николу, который увлекается в отличие от класса в первую очередь «национальной идеей», который в момент конфликта не признается, что тоже читал на уроке истории, потому что «так уж заведено — все делают то, что запрещено, а расплачивается за всех кто-нибудь один». Именно этих двоих логика себялюбия, тщеславия, трусости, хотя и по-разному, но все же приводит к доносам на молодого классного руководителя, приводит к предательству, послужившему причиной его ареста.

Я было доказала себе и попыталась привести к этому выводу и читателя, что вот такой наставник, как Яковлевич, человечный, вовсе не непогрешимый, но чуткий ко всему живому, честному, умеющий и в худших пробудить дремлющие зачатки благородства,— вот такой учитель сыграл огромную роль в этой стране. В городах, в селениях Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Боснии, Черногории — всюду, где впоследствии зарождалось восстание против фашизма, где рождалась победа народа.

Я уже попыталась показать читателю, почему я поверила в изображенного Десанкой Максимович молодого классного наставника, хотя, может быть, в передаче его чувств, его размышлений, его разговоров с любимой, с учениками каких-то красок автору иногда и не хватало. И рассказала, как поэт-лирик Десанка Максимович сумела и в романе воссоздать трепещущую атмосферу весны в душах юношей и девушек, атмосферу предгрозья. И быстрое созревание в этом душноватом предгрозье, когда в

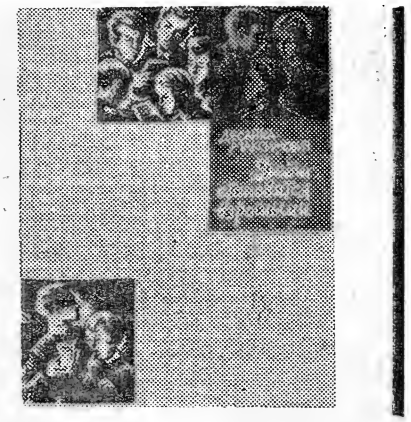
шестнадцать, в семнадцать лет одним мальчуганам, девчонкам необходимо утвердить себя в этом мире самостоятельными, справедливыми, предельно честными; другим — хотелось бы сохранить привилегии далеко не лучших отцов, но при этом не потерять и уважения друзей. А третьим важно во что бы то ни стало выделяться чем-то своим, непохожим, единственным...

Я уже попыталась, как всегда радуясь свежей зримости метафор, сравнений Десанки Максимович, обратить внимание читателя на то, как естественно, почти на каждой странице, тут же среди суждений детей о взрослых, среди тревог взрослых о тех, чьи судьбы им доверены, среди психологических переживаний, социальных страстей тебя заражает и взволнованный интерес поэта к тому, «о чем говорят птицы», «почему отбежала от дороги река, скрываясь в лесочке», почему «по-детски пухлые облака, озаренные солнцем, сговорились не пропустить в учительскую ни одного солнечного луча...»

Я уже многим поделилась было с читателем, раздумывая над книгой Десанки Максимович «Дети становятся взрослыми». Но случилось так, что мне тут же вышло поехать в Югославию (статья еще не была дописана). И вместе с поэтессой я оказалась поздней осенью 1965 года в городе Крагуевацe. Здесь 21 октября, как и каждый октябрь в течение последних двадцати лет, на мемориальном кладбище, где похоронено семь тысяч жертв фашизма, расстрелянных в один день, перед одним из памятников, перед огромными надломленными белыми крыльями, венчающими отлогий холм-могилу, собралась многотысячная толпа: жители города, бывшие крагуевацкие партизаны, съехавшиеся со всех концов страны, гости из других городов. И снова, как двадцать лет подряд, здесь прозвучала усиленная репродукторами «Кровавая сказка» Десанки Максимович. Именно на том месте, где были расстреляны класс за классом гимназисты, ученики школ этого города. Мальчики двенадцати—пятнадцати—семнадцати лет... Фашисты надеялись таким образом сразу же покончить со всей крамолой, с будущим страны.*

Одного не знала Десанка Максимович, когда в том же октябре 1941 года, только услышав о казни детей, писала строфы этих стихов. Она — народный поэт, учитель по профессии, учитель по призванию, учитель по семейной преемственности — этот факт не смогла бы обойти молчанием. «Кровавая сказка» уже пошла из уст в уста, из дома в дом, когда стал известен подвиг учителей Крагуевацa. Они не пожелали оставить учеников в последний час. И не только вместе пошли на казнь, но помогли еще ребятам сохранить собственное достоинство, чувствовать себя воинами национального освобождения.

Сотни портретов этих ребят висят в музее Крагуевацa. Рядом портреты расстрелянных учителей. На фотографиях — нагромождения трупов. Тут же последние записки, дневники жертв. Вот свидетельские записи в документальной книге, которая называется «Крагуевацкий октябрь». Ее нам подарили сразу же после митинга. В ней рассказано, что молодые крагуевчане «издавна были чутки к каждому революционному движению в далеких краях... что они могли в связи с арестом пролетарского писателя, скажем, Горького в России, написать письмо резкого протеста русскому царю и русскому правительству... что Крагуевац протестовал, когда Гитлер своей алчной рукой захватил Чехословакию...», что Крагуевац «заволновался, когда была растерзана Польша, и весь народ поднялся на бунт 27 марта...» В ней есть запись об одном учителе, директоре школы Милое Павловиче. Вот что в ней говорится: «Его смещали и перемещали до войны за свободомыслие. Его подвергали наказаниям за то, что он допускал, чтоб в школьном зале ученики и граждане города встречались с прогрессивными писателями...» Среди записей самого Павловича можно прочесть и следующие слова о своем поколении, о тех, кто вместе с ним кончал крагуевацкую гимназию и в 1932 году славил ее столетие: «Из моих ста тринадцати товарищей — столько нас числилось в первом классе в 1900—1901 годах — ныне живы всего тринадцать. Остальные умерли или погибли — большей частью именно в борьбе за мечты, которые вдохновляли их на школьных партах...»



...Теперь я вновь перечитываю книгу «Бунтующий класс». И чувствую: вот здесь автору особенно важны те минуты в жизни учителя, когда он видит, что ребята читают запрещенные советские книги, читают «Анти-Дюринг» Энгельса; в приливе особого доверия к нему, к своему наставнику, спрашивают, нет ли у него «Развития социализма от утопии к науке». Учителю становится совестно: он не знает многого. Он понимает, что занимался в основном только своим предметом, он сочувствует

* Документальный рассказ М. Олячи о событиях в Крагуевацe см. в «Иностранной литературе» № 5, 1965 г.

юношам «по-человечески». Он тревожится за будущее, думает, не надо ли предупредить их о предстоящих «опасностях в школе и в жизни», судит себя их глазами и, наконец, говорит самому себе, говорит им: «Ученики всегда идут дальше своих учителей».

Теперь главное в книге предстало передо мною несколько иначе. Мне по-прежнему важна была судьба учителя, проницательного, отзывчивого, приносящего с собой в класс искренность дружбы и уважительного равенства. Именно такой и пойдет со своими учениками на казнь. Мне было важно вместе с автором наблюдать, как становились взрослыми эти дети, как по-разному матрицировались в них задатки того круга, в котором каждый из них рос, как в минуты внутреннего подъема природное благородство объединяло их. А в трудную минуту тщеславцу, предавшему друзей, пришлось все-таки оставить город.

Но еще я поняла: Десанке Максимович необходимо было проследить в своем собственном опыте учителя и поэта следующее: вдохновлять, находить отклик в молодых удается не тому, кто только передает свои — пусть немалые — знания с кафедры класса, студенческой аудитории. Нет, здесь вдохновит и поведет вперед человек, который умеет еще прислушиваться к тому, что уже успела узнать, впитать в себя эта, казалось бы, еще зеленая молодежь, тот, кто умеет оберегать брожение юности, воспитывая чувства гражданина и патриота уважением к лучшим.

Все это может прозвучать и как громкое слово. Множество раз употребленное, иногда стершееся. Но этой правде жизни, не словам, а именно правде жизни Десанка Максимович сумела придать неподдельную свежесть и молодую убежденность. Она заставляет забывать о недосказанности автора, как забываешь об утонченных литературных критериях, читая, скажем, такую книгу, как «Овод» Войнич.

...Это происходило летом 1957 года. На перрон Киевского вокзала Москвы высыпали из вагонов сотни юношей и девушек — гости Пятого Всемирного фестиваля молодежи. Вместе с ними из Белграда должна была впервые приехать в нашу столицу Десанка Максимович. На вопрос одного из встречающих — известного советского писателя,— как же нам найти в такой толпе молодежи нашу дорогую гостью, прозвучал несколько неожиданный ответ:

— Ищите самую молодую!

И действительно, среди гущи невозмутимых парней, зажимавших в опущенных уголках ртов сигаретки, среди нарядных девушек, что, глядясь в зеркальце, подкрашивали губы и старались выглядеть, будто ничем вокруг их не удивишь, Десанку мы разглядели уже издалека. Подвижную, прямую, легкую. Она с таким стремительным любопытством поворачивалась, всматривалась в поезд, что подошел с другой стороны перрона, в своих спутников, в носильщиков, во встречающих, что каждому становилось ясным: этому человеку невтерпеж поскорей, побольше увидеть, пережить. Она полна той кипучей жизни, которая свойственна именно молодости.

Вот такой жизнью полна и книга Десанки Максимович.

**ИДА РАДВОЛИНА**

## ИСПОВЕДЬ КОНФОРМИСТА

**Либеро Биджаретти. Конгресс. Роман. Перевод с итальянского З. Потаповой. Послесловие С. Ошерова. Редактор Л. Борисевич. Москва, «Прогресс», 1965. 143 стр.**

Этот роман можно было бы назвать «исповедью конформиста». В основе его лежит старая и, вместе с тем, злободневная тема приспособления к злу и вытекающего отсюда раздвоения, распада личности. Эта тема по прошествии более чем двадцати лет после разгрома фашизма продолжает волновать умы, вызывает горячие споры, является предметом глубоких и подчас горьких раздумий многих художников.

Герой романа Франческо Берти в студенческие годы пописывал в молодежных журналах, увлекался поэтами-герметиками и, насколько это было возможно при фашистских порядках, фрондировал, стараясь хотя бы намеками показать, как ему претят демагогия, литавры и барабанный бой фашистской пропаганды. Но чтобы быть антифашистом, надо было обладать гражданским мужеством, рисковать благополучием, свободой, жизнью. Берти не хватило смелости: он бросил писать, «прельстился другими, более легкодостижимыми успехами».

Черное «фашистское двадцатилетие» давно кончилось. Но оно оставило рубцы и раны на теле народа, особенно его старшего поколения.

В интересной и умной книге «На воре шапка горит» (1962) итальянский писатель Гвидо Пьовене на примере собственной биографии делает попытку честно разобраться в причинах, которые в годы фашизма приводили итальянского интеллигента-антифашиста на путь конформизма и более или менее активного пособничества фашистским преступлениям. «Можно ли было остаться антифашистом хотя бы негласно, не угодничать?» — спрашивает он. Ответ таков: это было возможно, но маловероятно, так как для этого надо было иметь опору в виде одного из трех условий: надо было получить в семье соответствующее воспитание «в духе политической смелости», иметь поддержку зрелого человека — учителя или быть идейно подкованным самому. Но многие итальянские интеллигенты 20-х—30-х годов, чаще всего выходцы из мелкобуржуазной среды, не располагали ни одним из этих условий: в семье им строго внушали, что одинаково «неприлично» ходить в черной рубашке или быть коммунистом; университетские профессора наивно полагали, что «создавать культуру это и значит быть антифашистом» (хотя в то время чер-

норубашечники уже «хватались за пистолет при одном слове «культура»); в голове у большинства молодых интеллигентов царил полный сумбур.

Между тем всякого, кто «не вибрировал от любви к фашизму», ожидало клеймо «замаскированного предателя родины»... Сильные духом сопротивлялись — шли в тюрьмы, в ссылку, погибали, но не сдавались. Слабые приспосабливались.

Пьовене, выражая точку зрения передовой интеллигенции Италии, не верит тем, кто клянется, будто «заблуждался искренне». Он говорит: довольно бить себя в грудь и проливать слезы позднего раскаяния. Быть подлинно самокритичным значит осудить позорное прошлое, не повторять его ошибок и работать для народа.

Герой «Конгресса» — Франческо Берти — не принадлежит к числу тех итальянских интеллигентов, которые думают, как Пьовене. Он внутренне опустошен, мертв.

Его попытка возродиться к жизни оказалась кратковременным эпизодом. Это было во время войны. Падение фашизма, Сопротивление, всколыхнувшие всю страну, вовлекли и Берти в водоворот событий. Он присоединился к партизанам, вступил в коммунистическую партию. То были годы «второго Рисорджименто» для лучшей и большей части итальянского народа — годы великого обновления и нравственного очищения.

Но научиться стрелять из автомата по нацистам оказалось для Берти проще, чем разобраться в сложностях мирной жизни. Разочаровавшись в политике, он обнаружил, что «более склонен к научной деятельности, к наблюдению», занялся изучением социологии и стал специалистом в области «человеческих отношений в промышленности». Об этой новой панацее от всех зол капитализма он услышал в США, откуда в начале 50-х годов пришли в Италию столь модные ныне на буржуазном Западе идеи неокапитализма и патернализма. Вскоре осуществилась заветная мечта Берти — преуспеть: он взошел на несколько ступенек по крутой и длинной иерархической лестнице «жемчужины неокапитализма» — туринской промышленной фирмы «Орелли», возглавил ее «Отдел внешних сношений». Однако это «восхождение» обернулось для Берти вторым падением. Если тогда, в студенческие годы, главной причиной морального краха Берти был страх, то теперь гамма чувств, снова толкающих его на путь конформизма, намного сложнее. Не следует забывать, что сорокалетний Берти живет в противоречивой, сложной Италии «экономического чуда», в наэлектризованной атмосфере «бума», где намерение «преуспеть во что бы то ни стало» требует не меньших компромиссов с совестью. На сей раз рабского послушания и изъявлений любви требует работодатель — монополистический концерн.

Известный журналист Джорджо Барка, который провел интересное обследование психологического состояния лиц, работающих на крупных предприятиях итальянской

промышленности, следующим образом резюмирует свои наблюдения: там «нельзя быть скрытным; запрещается быть нетерпимым, гордым, скептиком; строго запрещается не уметь говорить, быть не фотогеничным; сверхзапрещается называть мерзавца мерзавцем».

А у Франческо Берти, казалось бы, ярко выражены именно эти «крамольные» качества: он наделен острым, живым умом, склонен к иронии и сарказму, все видит, все понимает. Он прекрасно сознает, какую неблаговидную роль отводит «Конфедерация промышленников» таким, как он, «внедренным в промышленность интеллигентам». Работа в фирме его не увлекает. В сущности, работы, как таковой, нет: есть мышиная возня — борьба за выгодные места, за подачки, за благоволение шефа и откровенно демагогическая болтовня («жареный воздух») на конгрессах. Но «Орелли» платит Берти хорошие деньги, в частности, и за то, чтобы он выполнял свою роль старательно, всерьез. И Берти подчиняется: ведь «быть нетерпимым, гордым, скептиком запрещено»!

Увлечение умной, тонкой Анной слегка гальванизировало омертвевшую ткань сердца, но ненадолго: живому чувству все время сопутствует привычная рефлексия, взвешиваются все «за» и «против». Встряска все же настолько сильна, что Берти, желая понравиться Анне, совершает неслыханную вольность: вместо подготовленного доклада произносит на конгрессе обличительную речь, в которой высказывает свои подлинные мысли по поводу истинных целей «хозяйских социальных начинаний». Однако у Берти после этого своеобразного объяснения в любви «на языке социальной проблематики» начинается «зуд нечистой совести», и он трусливо возвращается на исходные позиции.

Очень хочется быть честным с собой и с людьми, избавиться от гнетущей власти «Орелли», вернуться к творческой работе, порвать наскучившую связь с никчемной и вздорной миллионершей Ольгой, жениться на Анне,... Но тогда «не будет больше ни шикарных отелей, ни удобных путешествий, ни щедрых командировочных», трезво прикидывает он. И «бунт» идет по нисходящей... Вот Берти сидит у шефа; его так и подмывает сказать, что он видит насквозь «всю фальшь поведения — его лично, фирмы «Орелли», всего мира промышленников». Но у «кавалера труда» Узаи мертвая хватка: он пресекает самоволие Берти в зародыше: «Помните, что я не допущу двойной игры... «Орелли» — это ваша семья, ваш хлеб»...

Берти выходит из хозяйского кабинета, «воспрянув духом». Он по-прежнему будет выполнять унизительную, но хорошо оплачиваемую роль «часового, стоящего у входа в королевский или президентский дворец», часового, который поставлен вроде бы для выполнения чисто декоративной функции, но в действительности составляет «часть оборонительной системы и бдительности властей».

Так заканчивается история Франческо Берти — итальянского интеллигента 60-х годов, перемолотого неокапиталистической мясорубкой.

Роман Либеро Биджаретти написан рукой зрелого мастера — реалиста и тонкого психолога. Публицистическая резкость и саркастические нотки, особенно явственно звучащие в изложении мотивов поведения героя, органично сочетаются с бытовой — без всякой натяжки и фальши — интонацией диалогов. Книга в известной мере является плодом собственных наблюдений писателя, долгое время работавшего в «цитадели итальянского патернализма» — фирме «Оливетти», что, по-видимому, немало содействовало достоверности изображения всей атмосферы «конгресса» и его участников.

**Ю. ДОБРОВОЛЬСКАЯ**

## «ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ — СООТЕЧЕСТВЕННИКИ»

**Уильям Дж. Помрой. В чаще лесов. Перевод с английского В. Л. Кона. Ответственный редактор Г. И. Левинсон. Москва, «Наука», 1965. 238 стр.**

По лесистым склонам Сьерра-Мадре на острове Лусон, кружась в воздухе, рассыпаются сброшенные с самолета листовки. Филиппинские партизаны, пробежав глазами полный угроз приказ, передают листки друг другу. «Разыскиваются мертвые или живые... Хесус Лава — 150 тыс. песо. Луис Тарук — 100 тыс. песо. Касто Алехандрино — 50 тыс. песо, Уильям Дж. Помрой — 30 тыс. песо». Коренастый американец, которого легко узнать среди филиппинских повстанцев, с трудом отыскивает свой причудливо искаженный ретушью снимок на странице полицейского циркуляра и весело смеется над тем, как дешево оценили его голову. Это — автор рецензируемой книги.

Уильям Помрой — человек с чистой совестью, не подвластный доллару и не страшащийся полицейской дубинки, настоящий американский патриот, писатель, коммунист. Родился и вырос он в семье квалифицированного рабочего в небольшом городке штата Нью-Йорк. В годы войны служил в военно-воздушных силах США. В 1944 году попал на Филиппины, участвовал в освобождении Манилы от японских захватчиков совместно с отрядами народной антияпонской армии — Хукбалахап. Уильям сблизился с участниками филиппинского сопротивления, проникся их убежденностью и надеждами, узнал и полюбил далекую тропическую страну. После демобилизации он вновь приехал на Филиппины, учился в университете, сотрудничал в местной прессе, а в 1948 году навсегда связал свою судьбу с Селией Мариано, участницей партизанского движения.

Давно прогнали японцев, но американские солдаты не ушли с Филиппин. Почему? Хватали партизан, друзей Селии, судили «хуков»... тех самых «хуков», плечом к плечу с которыми американские парни несколько лет назад сражались против японцев, вместе с которыми проливали кровь. За что? Филиппинских патриотов, отстаивающих свободу и независимость родины с оружием в руках, обвиняли в подрывной деятельности и допрашивали в комиссии по расследованию «антифилиппинской деятельности», созданной по образу и подобию американской. По какому праву? «Хуки» снова взялись за оружие, направленное на этот раз против собственных продажных правителей Филиппин и их «матери-Америки». И Уильям Помрой, «беспокойный американец», как метко назвал его кто-то из соотечественников-журналистов по контрасту с «тихим американцем» Грэхема Грина, присоединился к ним, оказавшись по другую сторону баррикады, за которой стояла официальная Америка, силы подавления национально-освободительных движений в Азии и во всем «третьем мире».

О филиппинских партизанах написано немало, в том числе есть и художественные произведения. Но только мемуары У. Дж. Помроя, сроднившегося и слившегося с национально-освободительным движением филиппинцев, впервые показали его глубоко и всесторонне, со всеми достоинствами и недостатками, удачами и промахами. Партизанский быт, обычаи и нравы «хуков», их традиции, соблюдение революционной законности, беззаветно отданная борьбе жизнь и героическая смерть — все предстает перед нами на страницах этой книги, написанной не бесстрастным наблюдателем, а товарищем по борьбе, преданным другом.

В то время как десятки тысяч его соотечественников дрались за неправое дело в Корее, Помрой в рядах партизан сражался

с филиппинскими войсками, руководимыми офицерами Объединенной группы американских военных советников во главе с небезызвестным генералом Лэнсдэйлом (тогда еще полковником), который ныне орудует в Южном Вьетнаме. «О чем они думают, разъезжая со своей свитой в блестящих служебных автомобилях по «нелояльным районам», по убогим городишкам?..— спрашивает Помрой.— О чем они думают, встречая валяющегося на дороге, одетого в лохмотья мертвого крестьянина, убитого американским оружием?..» Эти и многие другие вопросы с первого дня возникали у писателя, который страдал из-за той подозрительности, с какой относились к нему поначалу некоторые из партизан. Не верилось: американец против американцев. Издалека приходили взглянуть на «американца, который за нас».

Партизанское счастье изменчиво. После двух лет побед и успехов пришло время поражения. Причин много: десятикратный перевес в силах (100 тысяч правительственных войск и полиции), провокации и прямое предательство, недостаток снаряжения и нехватка продовольствия, напалм и тактика «выжженной земли», просчеты руководства «хуков». Да, им выпало на долю нелегкое испытание. 63-дневный поход под проливными дождями по нехоженым джунглям. Долгие дни ни крошки во рту, смертельная усталость и голодная смерть. Два раза на глазах Уильяма тонула Селия, а он смотрел в полном изнеможении, не в силах помочь ей; его жену спасли товарищи. А 7 ноября 1951 года эти голодные, измученные люди, беспрестанно преследуемые врагами и несчастьями, под струями тропического ливня собрались на митинг, чтобы отметить годовщину Октябрьской революции в России...

Ослабевший партизанский отряд был окружен, выбраться удалось лишь немногим. Помрой чудом остался в живых. Потом плен. Суд. Боровшихся за свободу супругов Помрой приговорили к пожизненному заключению «за вооруженный мятеж, усугубленный убийствами, грабежом, поджогами и насильственным похищением людей». Через десять лет они были условно досрочно освобождены под давлением прогрессивной общественности на Филиппинах, в США и во всем мире. После долгих мытарств Уильям и Селия обосновались, наконец, в Лондоне. «Теперь мы свободны, по крайней мере, освобождены из заключения. Однако я не чувствую себя свободным... Во всех витринах огромных магазинов самообслуживания мне видятся исхудалые лица филиппинских крестьян, голодающие в трущобах Тондо, запавшие глаза «хуков», предпочитавших умирать с голоду в горах, чем сдаваться». Свободными должны быть все. За это погибли тысячи филиппинских партизан, за это снова идет борьба на Филиппинах, где коммунистическая партия стремится вовлечь в антиамериканское движение весь народ, сделать эту борьбу действительно массовой. И Уильям Помрой мысленно снова на Филиппинах. Его рассказы, стихи, статьи наполнены горячей любовью к филиппинскому крестьянину, старым друзьям «хукам», к их родине.

Очень трудно представить себе этого невысокого темноволосого человека с застенчивой улыбкой в бою с автоматом в руках. Но Уильям Помрой готов к бою за свободу, за революционный закон, за мир и счастье на земле. Это о таких, как он, сказал в свое время великий филиппинский писатель и патриот Хосе Рисаль: «Честные люди всей земли — соотечественники».

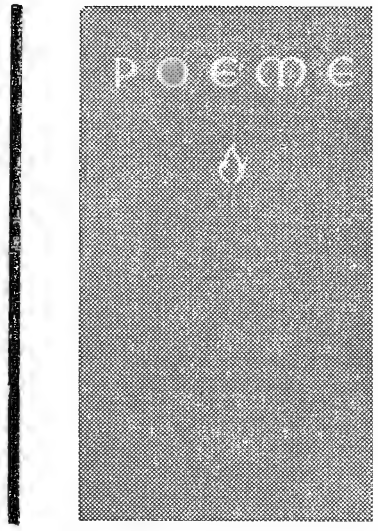
**В. МАКАРЕНКО**

## ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

### ДВА ПЕРВЕНЦА

**Marin Sorescu. Poeme. Versuri Bucureşti. Editura pentru literatură, 1965. Gabriela Melinescu. Ceremonie de Iarnă. Poezi Bucureşti. Editura pentru literatură, 1965.**

Целая стая первых книжек стихов, слово самых молодых... В социалистической Румынии оправдывается старинная поговорка, что каждый румын — поэт. Беру по книжке из каждого крыла этого нового журавлиного клина — они непохожи не только потому, что одну написал юноша, а вторую — девушка. Они показывают разный подход к поэзии, доказывают, что угол клина широк. Поговорим о «Стихо-




творениях» Марина Сореску* и «Зимнем празднестве» Габриэлы Мелинеску.

Дебют Марина Сореску... Сразу приходится делать оговорку. Дело в том, что «Стихотворения»— вторая книга поэта. И в то же время первая. В 1964 году Сореску выпустил сборник «Один среди поэтов», в котором пародировал манеры многих известных румынских мастеров стиха. Тонко и остроумно преувеличивая характерные черты и недостатки собратьев по перу, Сореску выказал мастерство, широкую поэтическую культуру и ироничный ум. Заговорили о продолжателе традиций Г. Топырчяну, когда-то хорошо определившем пародии как «скромные страницы литературной критики в наглядных примерах». И вот после такого «выпада» против современной поэзии Марин Сореску отваживается выступить с первой книгой своих собственных оригинальных стихотворений. Я бы сказал — смелый шаг. Все равно, что едко подтрунивать над влюбленными, а потом открыто и бесстрашно заявить перед всеми о своей любви... К тому же вооруженный до зубов пародист обнаружил «уязвимость»: его стихи не настолько привычны, чтобы не за что было уцепиться зубоскалам: напротив, он выступил приверженцем очень своеобразной поэтической манеры (известно — чем оригинальней стиль, тем легче его пародировать!). Однако у поэта нашлась серьезная защита: талант.

Многие отдают дань влияниям и, пройдя через них, обогащают собственную индивидуальность. А Марин Сореску, пародируя тех, кто мог на него влиять, очистил и отточил свой стиль, свой способ выражения. Сореску строит стихи математически четко, устраняя все украшательства, почти не прибегая к эпитетам и рифмам. О его голосе не скажешь — громкий или тихий. Просто поэт показывает движущиеся картинки: перед нами не певец, не оратор, а мим. Он не скажет «люблю, ненавижу, радость, горе», он старается вернуть вас к первозданной свежести восприятия, к самым древним способам передачи чувств — образным, зрительным. Но делает это вполне современно:

Вдруг — свисток
За спиной прохожего,
И тело его наполнилось трухой,
Как ствол дерева
На опушке леса,
Почувствовавший пилу.
Нет, не оглянусь, решает прохожий,

Может, это не ко мне.
Во всяком случае, у меня есть еще время
На несколько шагов.

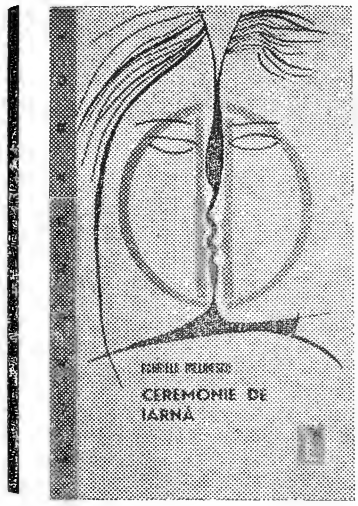
Слышится резкий свисток
За спинами всех прохожих,
Которые становятся лиловыми, желтыми,
зелеными, красными
И продолжают двигаться механически,
Не поворачивая головы.
Может, это не ко мне,
Думает каждый,
Что я такого совершил—
Ну, одна, две войны?
Завтра свадьба,
Послезавтра родит жена,
Послепослезавтра похороню родителей—
Дел у меня по горло.
Не может быть, чтоб это было ко мне...

Мальчишка
Купил себе свисток
И вышел его испробовать
На бульваре
И озорно свистит у самого уха людского.

Протокольное сообщение о том, что люди утром радуются солнцу, Марин Сореску перелицовывает: «Так натираемся светом, что кости болят от счастья». Утром в мире «как в умывальнике общежития, когда ребята набирают воду в рот и брызжут друг на друга».

Понятия переводятся на язык конкретных, но многозначных картинок. Иронический, изобретательный и требовательный ум поэта ищет и находит в сопоставлениях, в сдвигах глубину человеческих раздумий, переживаний, и даже темы исторические он обновляет по-своему, заражая читателя непосредственным и простодушным чувством близости, зрительной яркости. Вот как он говорит о богатырях и героях прошлого: «Мне хочется сесть к ним на колени, потянуть их за усы и спросить, почему они все в доспехах. И куда они отправляются каждое утро и почему не сидится им дома, почему не бреются чаще — их бороды царапают меня, когда к ним ластится душа». Великому поэту-классику Эминеску он приносит высшую хвалу, строя стихотворение не о нем, а о его родине, о народе, в котором есть все то, что стало творчеством поэта. Стихи Сореску и едины, и разнообразны. Мы находим у него нотки элегической лирики: «Однажды я оторвусь от письменного стола и начну удаляться от слов, от вас и от каждой вещи в отдельности... Потом угонюсь за облаком, и облако останется за спиной. И солнце останется за спиной, и звезды, и вся вселенная!..» И нотки сарказма — вот улитка, которая втянула голову в грудь и уставилась в себя: над

* Книга удостоена премии румынского Союза писателей за 1965 год.




ней раковина — ее совершенное создание, которое ей опротивело; вокруг раковины — остальной мир, расположенный там и сям по особым законам, которые ей опротивели; и в центре этой вселенской скуки находится она — улитка, которая сама себе опротивела.

Любопытно, что стремление вводить в искусство обобщение не разъяснительно, а путем конкретного представления буквально носится в воздухе. Помните, как описывается шахматная партия в рассказе В. Аксенова «Победа»? Почти то же самое (одновременно и независимо) сделал и Марин Сореску в стихотворении «Шахматы»: «Я передвигаю белый день, он передвигает черный день, я наступаю мечтой, он берет ее войной, он атакует мои легкие, я целый год раздумываю в больнице, нахожу блестящую комбинацию и снимаю с доски его черный день...».

Но как бы ни был емок и заманчив такой путь развития поэзии, он, слава богу, не может стать всеобщим. Поэзия столь же разнообразна, как жизнь, и ее проявления неограниченны. Да, струя интеллектуальной лирики сейчас особенно сильна в творчестве румынской молодежи (Ион Александру, Никита Стэнеску и др.), но это отнюдь не препятствует появлению новых поэтов, которые идут как бы вразрез с этим течением. Говоря о первой книге Габриэлы Мелинеску, румынский критик Г. Димисяну пишет: «Я бы отметил прежде всего интонацию открытой исповеди, порывистость и полную, я бы сказал, разоружающую искренность, с которыми поэтесса выражает самые свои сокровенные чувства. Все это придает ее лирике особые черты — большинство молодых поэтов, как мне кажется, развиваются в противоположном направлении, ищут интеллектуальное выражение лирических состояний, придавая им философский смысл или подтекст». Действительно, Габриэла Мелинеску тоже проявила смелость (в другом, нежели Сореску, смысле). Она отважилась видеть простые вещи такими, какие они есть на самом деле, она открывает нам свои чувства непринужденно, естественно и достоверно: лето прошло, люди несут в «авоськах» арбузы, а юбка стала мне коротка... Потому и заглавия многих стихов почти документальны: «Отчий дом», «Родители», «Дневник», «Каникулы», «Улица»... Тяга к доверительности заключена и в ее понимании поэзии: «Слова — проводники тепла».

Этот сборник — трогательная повесть о щемящем и смутном преображении отрочества в юность. Вот девушка озорно мчится с парнем на мотоцикле, и дыхание перехватывает от скорости. Ей беззаботно и весело, но местные сплетницы уже держат ее на прицеле — указательным пальцем из каждого окна. Они-то давно уж не считают ее шаловливой девчонкой... Пробудившаяся женственность, желание быть красивой, любимой поразительно конкретно открываются читателю:

Я не видела их, лишь слышала их смех.
Парни здорово свистели на улице.
Я стирала белье во дворе под деревом,
Я боялась, что они меня увидят.
Я чувствовала, как дрожит дорога.
Любила и камни, по которым ступали они.
Влажными были мои, как у дичи, глаза...
На проволоке ветер схватывал в танце
Тонкий стан платья.

(К сожалению, рифмованный стих Мелинеску теряет в подстрочнике больше, чем белый — у Сореску).

Счастье отбрасывает тень: это — страх потерять его. Надо быть неисчерпаемо новой, всегда душевно богатой. Очень по-женски звучит сокровенная тревога в стихотворении «Ночи Шахерезады». Любовь — сказка, которая не должна иссякнуть после тысячи и одной ночи:

Час настал, живу я первой ночью
После долгих тысячи одной.
Умереть придется, если сказку
Новую тебе не расскажу.

Можно, конечно, сказать, что слишком интимная лирика Габриэлы Мелинеску ограничивает ее возможности, придает ее песне камерный характер. Думаю, что не надо торопиться с выводами. Почти дневниковый жанр является просто отправной точкой, он помог поэтессе найти себя, свой голос. Теперь она, расширяя концентрические круги своего мира, сумеет и о другом сказать своими, ни на кого не похожими словами. Что это именно так — показывает стихотворение «Ребята из Краснодона»:

Над оружием и над землей
травы вымахали с ладонь,
и ребята быстро выросли...
Когда они мчатся с ветром наперегонки,
волосы откидываются у них со лба,
и ждут их девушки у калиток...
(все в мечтах нашли себе пару).
только Нина, Уля, Любка
никогда не приходят на свидания...
И парни тоскуют по ним...

Поэзия развивается быстро и щедро, и это естественно для социалистической стра-

ны. Новое поколение румынских поэтов утверждает себя в новом круге тем, наиболее ему близких. Они — ровесники новой Румынии — прежде всего провозглашают победу гармонической личности и ее общественного сознания. Поэтому стихи Сореску так сопричастны всему живому и сущему, так непримиримы к эгоцентризму и своекорыстию. Поэтому лирика Габриэлы Мелинеску стала поэтической летописью *нормальной* молодости, полной свойственных ей радостей и тревог, расцветающей в здоровом социальном климате.

Поэзия развивается быстро, обгоняя себя, как современные самолеты — звук. Пока исследователь определяет ее место, она уже не там, а дальше. И хорошо, что так.

**КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ**

## ЗАКАТ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ

**Desmond Stewart. The Round Mosaic. London, Chapman and Hall, 1965.**

«Круглая мозаика» Десмонда Стюарта, известного у нас своим романом «Неподходящий англичанин»,— это первая часть трилогии, которой он дал название «Смена ролей».

Уже судя по первой части, трилогия обещает стать синтезом всего написанного автором за двенадцать лет его творческой деятельности. «Круглая мозаика» задумана как широкое эпическое полотно, на котором перед читателем предстанет история падения Британской империи. Книга должна показать причины крушения того здания, которое воздвигали в конце XIX века «солдаты империи», некогда воспетые Киплингом.

Поначалу может показаться, что Стюарт рассказывает семейную хронику: первая часть трилогии повествует об отпрыске старинного дворянского рода Эндрю Ломаксе, ставшем моряком королевского флота в конце прошлого века, и о целом клане его родных и близких. Во время Суданского похода британской колониальной армии и позорной операции по взятию Картума в 1898 году Ломакс «выполняет свой долг» офицера британского флота, но переживает при этом тяжелый внутренний кризис. Увидев бесчеловечное истребление беззащитных арабов вооруженной до зубов армией Китчнера, вынужденный принимать в нем участие, Ломакс проникается отвращением к той роли, которую он выполняет. Он уходит в отставку и поселяется на севере Африки, чтобы посвятить себя делу орошения пустыни. С жизнью Ломакса и его жены Александры, прозванной Крошкой (она упорно и безуспешно пытается заставить Эндрю «делать карьеру» и накапливать богатство), переплетаются судьбы десятков других людей. В большинстве своем это представители британского «командующего класса» — землевладельческой аристократии и буржуазии, частично тех слоев интеллигенции, которые от него неотделимы.

Писатель умело группирует своих героев, в соответствии с той ролью, которую каждый играет в создании имперского владычества. Он показывает тех, кто защищает «британский интерес» в Египте (лорд Локмойдарт, проконсул), и тех, кто выполняет функцию необходимых винтиков в огромной машине колониальной империи. Рисует Стюарт и представителей египетского общества, нажившихся на колониальных порядках (Сумер-паша), и тех, кто находится к ним в оппозиции (Исмет). С глубоким знанием жизни и истории показывает писатель совершенно бесправных, жестоко угнетенных арабов. Стюарт не говорит о национально-освободительном движении, и это закономерно: в конце XIX — начале XX века на севере Африки освободительное движение было еще в зародыше.

Пожалуй, наиболее убедительные образы в романе — «строители империи», руководимые Китчнером, которого даже сами англичане называют «зверем, способным мыслить». Один из них — Пикеринг — патологически жестокий офицер колониальной армии, с наслаждением наблюдающий казнь арабов, ложно обвиненных в убийстве офицера; превосходны и эпизодические фигуры английских чиновников: здесь не только слепые «защитники британского интереса», но и те, кто уже начинает ощущать отвращение к политике, которую сами помогают осуществлять. Верно и убежденно решена эволюция Эндрю Ломакса. Стюарт выделяет образ Локмойдарта, претерпевающего медленное и сложное развитие,— он должен стать главным действующим лицом второй части трилогии.

Но, может быть, больше всего Стюарта интересует не судьба тех или других людей, а историческая борьба, участниками которой все эти люди являются. Когда автор рисует взятие Судана, расправу британской колониальной армии с коренным населением, эпизод этот не воспринимается как «фон», на котором развертывается судьба Ломакса или других персонажей книги. За Ломаксом, который вынужден подавлять героический и невооруженный народ силой военной техники, показан британский империализм в действии.

«Круглую мозаику» предваряет пролог, который содержит ключ ко всей трилогии. Один из персонажей — сын Эндрю Ломакса Джей (в «Круглой мозаике» он еще мальчик) занимается археологическими раскопками и находит в пустыне Киренаики римскую мозаику первого века. Он разглядывает сложный рисунок и, восхищаясь тем, как каждая из его разноцветных частиц дополняет другие, как все они неразрывно связаны между собой, образуя единство, он неожиданно вспоминает слова, написанные его отцом на семейной библии: «Все мы должны принять неизбежную смену ролей». Смысл этих слов определяет название трилогии. Он становится понятным уже при чтении ее первой части. Лорд Локмойдарт, один из фактических правителей Египта,

произносит в узком кругу доверенных лиц знаменательные слова. Они знаменательны еще и потому, что говорятся накануне расправы над арабами: «Самое важное для нас — понять урок, который нам дает история». Урок этот Локмойдарт, многому научившийся за время пребывания в Египте, формулирует так: «Правящие сегодня неизбежно окажутся подчиненными завтра». Насилие, систематически осуществляемое над жителями порабощенных Британией стран, неизбежно должно привести к крушению тех, кто его осуществляет.

На первых страницах романа Стюарт дает короткую и выразительную характеристику рядовых чиновников британской колониальной администрации. «Рассыпанные по всему миру, эти чиновники знали решительно все об Индии, Цейлоне, Бирме, мысе Доброй Надежды, Гамбии, Нигерии и дюжине других владений Великобритании. Они были выходцами с одного небольшого острова, учились в одних и тех же школах... Когда они уходили в отставку, они возвращались на свой маленький остров и там вскоре умирали, тоскуя об оставшихся позади убожестве, жаре, непрерывных стычках и конфликтах. Они несли свое бремя охотно, а уходя на покой, покоя не имели. В отставке они точно засыхали. Люди, над которыми они некогда властвовали, боялись их, порой даже как-то любили. Но сыновья этих людей уже не будут их больше ни бояться, ни любить».

Мотив неизбежной «смены ролей» проходит через роман. Писатель акцентирует его не назойливо и в то же время настойчиво. Не случайно роман начинается в период наибольшего могущества британского империализма — в 1890 году и заканчивается в 1918, что в замысле автора очень существенно,— в годы грандиозных исторических сдвигов. Великая Октябрьская социалистическая революция образует рубеж, за которым начинается новая эра истории. Автор это понимает и доводит первую книгу трилогии именно до этого рубежа.

**В. ИВАШЕВА**

## АКУЛА СРЕДИ ЛЮДЕЙ

**Никос Катифорис. Акула и девять волн. Афины, «Темилио», 1965, (на греческом языке).**

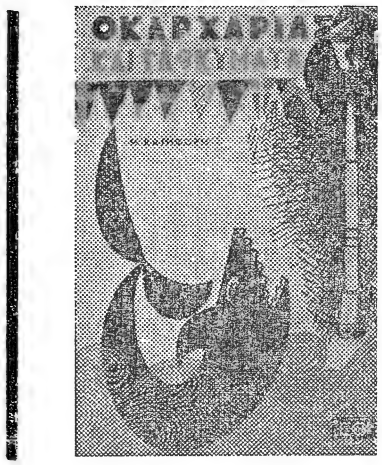
Писательской манере Никоса Катифориса всегда было свойственно стремление показать наряду с серьезными и драматическими сторонами жизни ее комические стороны. Однако в последнем романе Катифориса «Акула и девять волн» элемент комического приобретает несравненно больший вес и новое качество. Уже не с прежней спокойной улыбкой, а с язвительной иронией, прибегая к острому гротеску, рисует он своих героев — обитателей маленького островка, олицетворяющего греческую провинцию послевоенных лет.

Власти, полиция, суд, весь уродливый общественный уклад острова предстают перед нами в рамках очень своеобразной фабулы. Читатель становится свидетелем того, как рождается миф. Миф о человеке, превратившемся в акулу.

При неизвестных до поры до времени обстоятельствах первый богач острова Аристоменис Варухас исчезает с городского пляжа. В тот же день портовая служба объявляет, что близ острова появилась акула. Сопоставив оба факта, жители делают заключение, что Варухас проглочен акулой. По правде говоря, им не очень-то верится, что нашлось в мире существо, одержавшее верх над Варухасом. Если уж суждено было встретиться двум хищникам, то, скорее всего, не акула съела Варухаса, а Варухас акулу. Так по крайней мере заявляет лучший друг Варухаса Тзогланос, по прозвищу Удав, местный лидер той партии, которая потерпела сокрушительное поражение на последних выборах. Поражение столь губительно сказалось на душевном состоянии Удава, что он временно устранился от дел и уполз на отдых в дальнее свое гнездо на берегу моря, уполз, чтобы набраться сил для нового смертоносного броска. По ночам Удаву слышится голос друга, он жалуется на свою акулью судьбу и требует, чтобы Удав отдал ему свою служанку Марулу. Окончательно сошедший с ума Удав топит Марулу в море, после чего бежит в полицию и дает показания, что Марулу проглотил превратившийся в акулу Варухас. Вскоре, вследствие несчастного случая, гибнет рыбак Эрико, и его гибель тоже относят на счет Варухаса — ведь он ревновал к Эрико свою жену. Родители погибших подают в суд и требуют компенсации от жены Варухаса, красавицы Аннеты.

Итак, вокруг событий вполне правдоподобных писатель создает ситуацию гротесково утрированную, условную, художественно заостряя реально существующие общественные пороки. И парадоксальность ситуации позволяет нам видеть эти пороки во всей их вопиющей противоестественности.

Неужели в миф об акуле уверовало все население острова? Конечно, нет. Немало горожан поддерживает жалобу родителей Марулы и Эрико в надежде на то, что хоть таким образом двое бедняков смогут обеспечить себе спокойную старость за счет незаконно нажитого Варухасом богатства. Власти же определяют свою позицию, исходя из соображений собственной выгоды. Вот, например, верховный правитель острова, номарх. Бывший адвокат и журналист, специализировавшийся на «советоведении», он долгое время выступал по радио и в журналах («которые никто не покупал, а те, кто получал их даром, не



читали в них ни строчки») с «разоблачениями международного коммунизма». Опираясь на этот «богатый» опыт, номарху нетрудно было докопаться до самой сути: кому на руку эта шумиха вокруг Варухаса-акулы? Кому понадобилось дискредитировать одного из столпов общества? Сомнений быть не может: здесь замешана Москва. «Коварные Советы» нашли удобный повод, чтобы посягнуть на покой и безопасность «свободного мира». И полиция устанавливает слежку за подозрительными лицами, рассылает повестки неблагонадежным гражданам, начинает новую серию репрессий.

Суд тоже определяет свою позицию. Почуяв политическую подоплеку «дела», он старается избежать осложнений и тайно содействует компромиссу между госпожой Аннетой и родителями Эрико и Марулы. Госпожа Аннета выплачивает им крупную компенсацию. И тем самым признает, что является вдовой акулы,— о лучшей рекламе нельзя и мечтать. Осчастливленный рукой и сердцем красавицы вдовы с многомиллионным состоянием, прокурор забывает, что недавно опровергал утверждения о тождестве акулы и Варухаса, и не жалеет усилий, чтобы доказать обратное. Между прочим, он выясняет причины смерти Варухаса, однако не в его интересах обращать события вспять. И миф остается неразоблаченным. Зато благодаря ему разоблачены невежество и отсталость среды, в которой такие мифы возникают, несостоятельность и абсурдность ее общественных устоев.

Аннета и прокурор уезжают в «большой свет», оставляя позади заброшенный маленький остров с его самодурствующей полицией, лицемерным судом и с деспотичным номархом, великим «советоведом». Маленький остров, живущий в ожидании новой пищи для разговоров, расследований, судов и репрессий.

**С. ИЛЬИНСКАЯ**

# НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

В Италии под названием «СССР во второй мировой войне» издан большой сборник произведений советских авторов. Книга выпущена недавно основанным прогрессивным издательством «Компания эдициони интернационали». В сборник вошли рассказы и отрывки из повестей и романов М. Шолохова, А. Бека, С. С. Смирнова, И. Эренбурга, К. Паустовского, Н. Грибачева, К. Симонова, О. Берггольц, В. Гроссмана, А. Фадеева, В. Каверина, Л. Соболева, Б. Горбатова, А. Толстого, Н. Тихонова, Б. Полевого, А. Гайдара и других.

В итальянском издательстве «Фельтринелли» выпущен роман Г. Бакланова «Июль 41-го года».

По сообщению еженедельника «Литературен фронт», болгарское издательство «Народна култура» выпустило в свет избранные стихи и поэмы О. Берггольц, В. Луговского и Д. Павлычко. Книги вышли в серии «Советские поэты».

В том же издательстве выпущена книга З. Шишовой «Великое плаванье». Эта книга вышла массовым тиражом в серии «Юношеские романы».

Воспоминания героя романа А. Бека «Волоколамское шоссе» Баурджана Момыш-Улы под названием «За нами Москва. Записки офицера» выпущены в Болгарии отдельным изданием.

Рассказ А. Гайдара «РВС» и повесть «Школа» выпущены отдельной книгой в болгарском издательстве «Народна младеж».

Избранные стихотворные произведения В. Маяковского, Е. Евтушенко и А. Вознесенского вышли отдельным сборником в популярной серии «Русские стихи» в США в издательстве «Пенгвин».

Под названием «Молодые голоса» варшавское издательство «Искры» выпустило в свет сборник произведений 47 советских поэтов. Среди них стихи В. Солоухина, Б. Окуджавы, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной и других. Над переводами работали такие известные в Польше поэты-переводчики, как С. Полляк, В. Слободник, А. Стерн, М. Хилляр. Рецензент газеты «Трибуна люду» называет сборник «Молодые голоса» «очень интересным путеводителем по современной советской поэзии».

Польский Государственный издательский институт (ПИВ) в серии «КИК» («Клуб интересной книги») выпустил романы Ю. Бондарева «Тишина» (вторым изданием) и «Двое».

Тем же издательством выпущены сборник произведений М. Танка под названием «Шляхом диких гусей» и книга Л. Первомайского «Дикий мед. Современная баллада».

Там же вышел сборник произведений Ираклия Андроникова «Я хочу рассказать вам...»

Французский молодежный журнал «Ну ле гарсон э ле фий» опубликовал рассказ Ю. Казакова «На полустанке».

В ГДР в издательстве «Ауфбау-ферлаг» вышел роман К. Федина «Необыкновенное лето» в переводе Нильды Ангаровой.

В театре города Карл-Маркс-штадт (ГДР) поставлена пьеса С. Алешина «Палата».

Берлинское издательство «Киндербух-ферлаг» (ГДР) выпустило историческую повесть Е. Яхниной «Шарло Бантар» под названием «Шарло из Парижа» в переводе Хорста Шереншмидта.

В издательстве «Фольк унд вельт. Культур унд фортшритт» (Берлин) вышел роман К. Симонова «Солдатами не рождаются».

Там же опубликован рассказ Садриддина Айни «Крах одного ишана».

Издательство объявило о предстоящем выходе в свет произведений советских авторов, и среди них: повести А. Коробицына «Тайна музея восковых фигур», романа Ицхокаса Мераса «Вечный шах».

Издательством «Зуркамп» во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) выпущена книга В. Шкловского «Zoo, или Письма не о любви».

Штутгартское издательство «Дейче ферлагсанштальт» (ФРГ) выпустило сборник рассказов Ю. Казакова под названием «Запах хлеба».

В издательстве «Пфейфер» (ФРГ) вышел роман А. Рыбакова «Лето в Сосняках».

Загребское издательство «Стварност» (Югославия) выпустило сборник «Падение Берлина», куда вошли воспоминания маршала Советского Союза Чуйкова и советских генералов — участников штурма столицы гитлеровской Германии.

Газета «Книжевне новине» (Югославия) опубликовала на своих страницах стихотворения В. Федорова, Е. Винокурова и И. Уткина.

В последних номерах стамбульского литературного журнала «Еди тепе» опубликованы отрывки из воспоминаний И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

В издательстве «Свет Совету» (Чехословакия) вышел в свет роман В. Аксенова «Пора, мой друг, пора» в переводе Я. Забраны.

Книжно-журнальное издательство в г. Братиславе выпустило роман Ю. Бондарева «Двое».

Сказка М. Горького «Про Ивашку-дурачка» вышла отдельной книжкой в пражском Издательстве детской книги.

Книга Ю. Семенова «Петровка, 38» выпущена лондонским издательством «Макгиббон энд Ки».

В Англии в издательстве «Сидвик энд Джексон» вышла книга Ю. Кагарлицкого «Герберт Уэллс» под названием «Жизнь и мысль Г. Уэллса» в переводе М. И. Будберг.

В Румынии в бухарестском издательстве «Пэнтру литература универсале» вышел роман И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» в переводе Тудора Мушатеску и Иона Михаила.

Иллюстрация болгарского художника Бориса Ангелушева к книге М. А. Шолохова «Судьба человека». На Международной выставке искусства оформления книги в Лейпциге работа художника была удостоена серебряной медали.

# ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

**АНГЛИЯ**

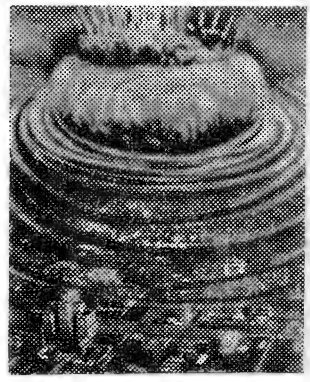
### ВОКРУГ ЗАПРЕТА ФИЛЬМА «ИГРА В ВОЙНУ»

Пожалуй, история кино не помнит таких страстей, какие разыгрались в Лондоне вокруг антимилитаристского телевизионного фильма «Игра в войну». Фильм был создан по заказу Би-би-си, и в нем с предельной откровенностью показано, каким может быть начало термоядерной войны на территории Англии (в фильме ее спровоцировали западногерманские реваншисты, получившие доступ к атомному оружию). Автор сценария и режиссер фильма Питер Уоткинс с очевидностью доказал всю бессмысленность так называемой гражданской обороны, на которую уповают местные власти.

Однако, испугавшись широкого общественного резонанса фильма «Игра в войну», руководство Би-би-си вскоре запретило свободный показ своего собственного фильма по телевидению: демонстрация его была разрешена лишь в одном кинотеатре — «Нэшнл филм тиэтр», причем исключительно для «избранной» публики: корреспондентов, членов парламента, старших офицеров и редакторов газет.

Это-то решение и вызвало бурю возмущения в Лондоне.

Газета «Дейли уоркер» вышла с огромным аншлагом на первой полосе «ЭТОТ ФИЛЬМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОКАЗАН» и с передовой статьей, озаглавленной «НЕ ЗАПРЕЩАЙТЕ ПРАВДУ». «Нэшнл филм тиэтр» был осажден пикетчиками, несшими плакаты с надписями: «Мы тоже хотим посмотреть фильм «Игра в войну», «Покажите публике «Игру в войну» и т. п.



Кадр из кинофильма «Игра в войну».

*(Газета «Дейли уоркер»)*

Пытаясь оправдаться, руководители Би-би-си утверждали, что фильм «настолько страшен, что его нельзя показывать по телевидению...» «Выходит, — писал в связи с этим корреспондент газеты «Дейли уоркер», — что «верхам» можно доверить неприятную информацию, а народ нужно держать в неведении... Опасная, антидемократическая идейка...»

Автор фильма Питер Уоткинс выразил протест по поводу решения руководства Би-би-си. В интервью, данном корреспонденту газеты «Санди таймс», Питер Уоткинс заявил: «Меня предупредили, что мне придется исключить из фильма несколько острых эпизодов, т. к. цензура не пропустит его в таком виде. Но ведь я профессионал и должен полностью воссоздать на экране задуманную мною картину атомной катастрофы... Какой смысл скрывать правду? Одна из главных задач моего фильма — прорвать завесу молчания, окружающую гонку атомных вооружений... Можно подумать,— сказал далее Уоткинс,— будто мы не знаем, что Англия имеет 180 бомбардировщиков, способных нести атомные бомбы, и можно подумать, что мы не понимаем, какие приказы получат экипажи этих бомбардировщиков в критический момент».

По сообщениям печати, Питер Уоткинс подал заявление об уходе со службы в Би-би-си.

### ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА?

Как известно, в 1959 году, когда во всем мире отмечалось двухсотлетие со дня рождения великого шотландского поэта Роберта Бернса, у власти в Англии стояло консервативное правительство; оно не разрешило выпустить специальную почтовую марку в честь этого юбилея.

И только сейчас, семь лет спустя, в Глазго выпущена марка с портретом Бернса;

филателисты буквально осаждают киоски, за маркой стоят огромные очереди.

Член палаты общин от Южного Эйршира лейборист Эмрис Хьюз послал бывшему премьер-министру консерватору Макмиллану юбилейную марку, сопроводив ее сатирическим стихотворением, которое мы даем в подстрочном переводе, написанным «под Бернса»:

При всем при том, при всем
при том
Дождались мы — случилось
это:
На марке — Роберта лицо!
Вам вопреки воздали
должное поэту,
При всем при том, вам
вопреки при этом!

## БОЛГАРИЯ

### АВВАКУМ ЗАХОВ ПРОТИВ ДЖЕЙМСА БОНДА

По приглашению английского издательства «Кассел энд К°» недавно в Лондоне побывал известный болгарский романист, главный редактор журнала «Пламк» Андрей Гуляшки. Писатель только что закончил новую книгу о болгарском разведчике Аввакуме Захове, который, как Гуляшки заявил ранее (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 10, 1965), вступает в единоборство с героем шпионских романов Флеминга — агентом 007 Джеймсом Бондом и побеждает его. Книга будет выпущена издательством «Кассел энд К°».

Этим рисунком известный карикатурист Борис Димовский откликнулся на новую книгу Андрея Гуляшки, в которой Аввакум Захов одерживает победу над Джеймсом Бондом.

Рисунок снабжен подписью: «А я не боюсь! Мы тебя уже победили...»

*(Еженедельник «Литературен фронт»)*

Приезд Гуляшки в Лондон стал одной из сенсаций газет, радио и телевидения. На встречу с писателем пришли многие английские и иностранные писатели, литературные критики, искусствоведы, деятели культуры.

Все дни своего пребывания в Лондоне Андрей Гуляшки был буквально в плену у английских репортеров. Крупнейшие газеты— «Дейли мейл», «Гардиан», «Дейли миррор» и другие — поместили интервью с ним. Все жаждали подробностей об Аввакуме Захове — от цвета его глаз до его взглядов на философские, политические, социальные вопросы. Интерес к личности Аввакума Захова, противника Джеймса Бонда, перерос в интерес к его создателю, к болгарской литературе, к Болгарии.

По словам директора издательства «Кассел энд К°» Джентри, успех Гуляшки «превзошел все ожидания».

Аввакумом Заховым заинтересовались не только в Англии. Доказательство этого — предложения, полученные Андреем Гуляшки от издательств Франции, Швеции, Западной Германии, США, Италии, Дании, Швейцарии, Голландии, Австралии, Бразилии и других стран. Эти издательства собираются выпускать произведения Андрея Гуляшки, герой которых — Аввакум Захов.

## ГДР

### РОМАН КРИТИЧЕСКИЙ, РОМАН УТВЕРЖДАЮЩИЙ

...Главный герой романа Германа Канта журналист Исваль получает телеграмму с несколько необычным предложением: за полгода до выпуска рабоче-крестьянского факультета одного из университетов ГДР он должен начать готовить торжественную речь. Ему, лучшему студенту первого выпуска этого университета, предстоит выступить перед молодыми специалистами.

Так начинается роман Германа Канта «Актовый зал», вышедший в ГДР, а затем — в Западной Германии, и сразу ставший одной из самых читаемых книг. Дискуссии, посвященные этому роману, начались в ГДР до выхода отдельного издания, когда «Актовый зал» еще печатался в журнале «Форум».

Построенный в основном на воспоминаниях Исваля, который хочет рассказать в своей речи об очень многом — не только о достижениях, но и о недостатках,— роман поднимает важные и серьезные проблемы. Исваль вспоминает о том, какими были студенты 1949 года, и через его воспоминания автор раскрывает в романе целый период истории ГДР, дает картину личных и общественных взаимоотношений. Исваль всем обязан трудовому народу, из которого он вышел, обязан той культурной революции, которую совершил народ.

Однако Исваль не произносит своей речи. Директор Майбом, приславший телеграмму Исвалю, приходит к выводу, что речь, в которой осмысливается прошлое, не к месту. Ему нужны только высокопарные, красивые слова. И Майбом меняет программу торжества.

Но Исваль не напрасно готовился к своему выступлению. Он многое понял за это время, многое передумал, в нем самом произошла огромная эволюция. Его позиция — это позиция не нейтрального наблюдателя, а активного участника событий. Она во многом совпадает с позицией самого автора. Это позиция не только критическая, но и самокритичная. Это, как отмечает критика ГДР, по-настоящему партийная позиция.

Пресса широко откликнулась на новый роман Канта. В рецензиях отмечается, что его роман — незаурядное явление в литературе ГДР. Написанный прекрасным языком, с блестящим юмором, он заставляет читателя о многом задуматься. «Это роман, в одно

и то же время утверждающий и критический»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цейтунг». Обозреватель еженедельника «Ди андере цейтунг» называет роман Канта «психологическим романом о молодом поколении ГДР», «романом, который убеждает».

## ФРГ

### ПОВЕСТЬ О НЕМЕЦКОМ СОПРОТИВЛЕНИИ ФАШИЗМУ

Франкфуртским издательством «Рёдерберг-ферлаг» выпущена документальная повесть под названием «Город сопротивляется» западногерманской писательницы Герды Цорн, посвященная антифашистам города Ганновера.

«...О немецком движении Сопротивления гитлеровскому режиму написано немало произведений,—отмечает рецензент еженедельника «Ди андере цейтунг»,— однако авторы их пытаются либо дать общий обзор движения, либо ограничиваются годами существования Третьей империи, особенно заговором 20 июля 1944 года.

Можно себе представить, насколько трудна задача человека, поставившего своей целью восстановить все этапы борьбы в каком-то о д н о м городе: документы утеряны или уничтожены, многие из участников Сопротивления умерли после 1945 г., а воспоминания оставшихся в живых свидетелей не всегда точны... И тем не менее Герда Цорн предприняла такую попытку. В ее книге собраны свидетельства антифашистской деятельности бывших членов левых рабочих партий и профсоюзов в Ганновере и в первую очередь — рассказы о действиях боевых групп, с первых же дней вступивших в борьбу против нацистского террора...»

В заключение рецензент высказал пожелание, чтобы подобные книги были созданы и о других городах Германии, ибо история Сопротивления фашизму лучших сынов и дочерей немецкого народа должна быть написана.

## ГОЛЛАНДИЯ

### ВЫСТАВКА РАБОТ ПЕТЕРА АЛМЫ

В Городском музее Амстердама выставлены работы художника-коммуниста Петера Алмы. На выставке представлены черно-белые и цветные гравюры на дереве и на линолеуме, офорты, репродукции с настенных росписей и мозаика. Среди экспонатов — картина маслом «Рабочий совет» на тему о революции 1918 года в Германии.

«Русская революция 1917 года произвела на Петера Алму столь сильное впечатление,— писал по случаю открытия выставки корреспондент газеты «Ваархейд»,— что вызвала полный переворот в его творчестве. Он начал читать о проблемах социализма и понял, что у художника есть большой долг перед человечеством. И этому долгу он остался верен по сей день».

В 1923 году Петер Алма организовал первую выставку советского изобразительного искусства в Амстердаме; он долгое время жил и работал в Москве и Харькове, куда был откомандирован венским Институтом статистической графики профессора Нейрата.

Известен портрет Ленина, созданный Петером Алмой, как он сам говорит, «непосредственно под впечатлением» смерти великого вождя пролетариата. Портреты выдающихся деятелей человечества выполнены художником также в виде мозаик и стенных росписей. Так, в университете столицы Голландии есть его росписи, на которых рядом с Фарадеем, Дарвином и Пастером изображены Гегель и Маркс.

В беседе с корреспондентом «Ваархейд» художник заявил: «То, что я делаю, должно не просто выполнять декоративную функцию, оно должно быть связано с людьми». Людям отдано творчество художника-коммуниста,

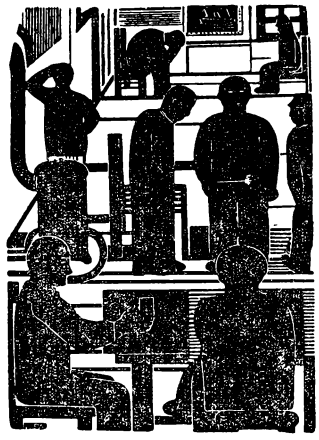


Рисунок Петера Алмы «Безработные».

почти 60 лет работающего в искусстве, замечает корреспондент.

Недавно, по случаю 80-летия, Петеру Алме присуждена премия имени Альберта Швейцера «за служение своим высоким мастерством человечеству и социальному прогрессу».

## ДАНИЯ

### ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ МАРТИНА АНДЕРСЕНА-НЕКСЕ

В издательстве «Сириус» вышло ныне забытое произведение Мартина Андерсена-Нексе, написанное в форме путевых заметок под общим заголовком «Из Австралии». Произведение это было впервые опубликовано в 1894 году в «Иллюстрированной газете для семейного чтения».

Новая публикация путевых заметок Нексе снабжена послесловием исследователя творчества Нексе — Бёрге Хоуманна, в котором рассказывается история создания произведения, приводятся комментарии автора.

«Путевые заметки «Из Австралии» — первое произведение, под которым молодой учитель частной школы поставил имя, ставшее впоследствии всемирно известным,— Мартин Андерсен-

Нексе. Он выбрал свой путь. Он стал поэтом»,— пишет Хоуманн.

## ИНДИЯ

### НУЖЕН СЕРЬЕЗНЫЙ ДИАЛОГ

Известный индийский писатель Саджад Захир выступил на страницах еженедельника «Нью эйдж» со статьей «Ташкент и ответственность интеллигенции Индии и Пакистана».

Значение исторической Ташкентской декларации — не только в восстановлении нормальных дипломатических отношений между Индией и Пакистаном, говорится в статье. Чрезвычайно важно также и то, что ее авторы пошли дальше и заявили о «твердой решимости всячески способствовать взаимопониманию и развитию дружественных отношений» между своими народами. Писатель призывает деятелей литературы и искусства «разоблачать всякую пропаганду, наносящую вред интересам народов Индии и Пакистана, и оказывать всемерную поддержку тем идеям и движениям, которые способствуют развитию дружбы и культурного обмена между двумя странами».

«Даже если забыть короткий период войны между нами,— пишет автор,— то издавна у них и у нас довольно активно выступали и, к сожалению, по сей день выступают реакционные элементы, упорствующие в разжигании ненависти и вражды между нашими народами». С этой целью реакция искажает историю народов Индии и Пакистана, стремится вычеркнуть из их памяти совместную борьбу за свободу и независимость, разжигает религиозные распри, отрицает общность литературы, искусства, традиций — всего того, что роднит эти народы.

Сегодня, когда мир и добрая воля восторжествовали, продолжает Саджад Захир, «необходимо тесно сплотить все миролюбивые и свободолюбивые силы наших стран и позаботиться о том, чтобы Ташкентская декларация не только выполнялась во всех ее аспектах, но чтобы самый дух Ташкента служил миру и дружбе». Наиболее важная роль в этом благородном деле, по мнению писателя, принадлежит прогрессивной интеллигенции. «Никто другой не в силах изменить атмосферу и настроение людей в наших странах лучше, эффективнее, чем это могут сделать наши писатели и поэты, драматурги и актеры, художники и журналисты, ученые и философы»,— утверждает Саджад Захир. Разумеется, задача эта не из легких. Печальный период вооруженного конфликта отмечен выходом множества так называемых «патриотических» произведений, которые натравливали один народ на другой. Однако литературные достоинства этой продукции равны нулю, и глава эта в индийской литературе уже предана забвению.

«Настало время для серьезного диалога между представителями прогрессивной интеллигенции обеих стран»,— пишет автор статьи. Следует попытаться вникнуть в суть исторических и социальных проблем, вызвавших конфликт между Индией и Пакистаном. Следует терпеливо изучать исторически сложившиеся различия, делая упор, однако, на общность судьбы двух народов. Автор призывает заняться поисками общих сфер культуры, которые сблизят оба народа интеллектуально и помогут сломать барьеры ненависти и отчуждения, которые с давних пор воздвигали реакционеры и сепаратисты.

Таковы неотложные задачи, которые стоят перед национальной интеллигенцией Индии и Пакистана сегодня, в мирный период, начавшийся после Ташкента. «Будем же выполнять их!» — призывает в заключение писатель.

### ЛАУРЕАТ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ

В 1965 году в Индии была учреждена новая литературная премия — «Гьянпитх». Ее лауреатом стал Г. Санкара Куруп — шестидесятипятилетний поэт из Кералы, которому премия была присуждена за стихотворный сборник «Флейта».

Это уже не первое офи-

---

Новый фильм бенгальского кинорежиссера Мринала Сена «Карточный домик» рассказывает о жизни городской молодежи из разных слоев общества. Право на образование, на труд, на счастье, на место в жизни вне зависимости от имущественного ценза — таковы основные проблемы, которые поднимает фильм.

На нашем снимке: Сумитра Чаттерджи и Апарна Дасгупта в одном из эпизодов фильма.

*(Газета «Таймс оф Индиа»)*

циальное признание вклада Санкара Курупа в развитие поэзии малаялам — в 1963 году сборник его стихов «Ви́дение мира» удостоился премии Литературной академии Индии.

Оценивая творчество Санкара Курупа, видный прогрессивный критик Джозеф Мундассери писал: «Его стихи — это океан, где прошлое сливается с настоящим».

Основа всего сущего, смысл жизни для Курупа — человек, гармоничный и прекрасный, слитый в единое целое с природой. Широко известны в Индии такие его произведения, как «Песня цветка», «Вечерняя звезда», «Мелодия моря» и другие.

Страстно ненавидит поэт все, что уродует и калечит человека, гневом против несправедливости полна его книга «Алые лучи».

Санкара Куруп живо откликается на события, которые потрясают мир,— достаточно вспомнить его популярную поэму «Лунник», посвященную успехам советских исследователей космоса.

Санкара Куруп много работает над переводами поэзии. Ему принадлежат переводы на малаялам классической поэмы Калидасы «Облако-вестник», «Вечерних песен» Рабиндраната Тагора и четверостиший Омара Хайяма.

## ИРАК

### ПИСЬМО ИЗ БАГДАДА

Бейрутский журнал «Аль-Адаб» («Литература») опубликовал письмо своего читателя из Багдада адвоката Махмуда аль-Абты, выражающего глубокую тревогу по поводу застоя в культурной жизни Ирака. Духовная жизнь в стране замерла, пишет аль-Абта. Лучшие представители иракской культуры и литературы находятся в эмиграции. Во всем Ираке, по словам автора письма, не выходит ни один литературный журнал. Ассоциация иракских писателей прекратила существование. Правда, министерство культуры год назад начало издавать свой журнал «Аль-Аклям», но это — академическое издание, не отражающее живой творческой мысли. Нет и издательств, которые могли бы публиковать произведения национальных писателей. Книги, редко выходящие в Ираке, не распространяются в других арабских странах. Вдобавок, министерство культуры часто налагает запреты на различные книги как на арабском, так и на иностранных языках, не объясняя причин такого запрещения.

## ИСПАНИЯ

### ИБАРРОЛА НА СВОБОДЕ

Как известно, протесты общественности вынудили испанские власти выпустить на свободу художника Агустина Ибарролу. По прибытии в Бильбао он был восторженно встречен своими почитателями: около ста человек ожидали Ибарролу на станции. Во время пребывания художника в тюрьме демократическая общественность организовала выставки его картин в различных странах мира; многие из этих картин были написаны в камере. Их смогли увидеть жители Парижа, Лондона, Рима, Стокгольма, Брюсселя. Ныне усилиями общественности такая выставка была организована в Бильбао. В день ее открытия состоялся вечер в честь художника, на котором присутствовали виднейшие представители интеллигенции Бильбао, а также лица, специально прибывшие из Мадрида. Экспозиция картин Ибарролы пользуется огромным успехом и нашла отклик даже в местной официальной печати. Так, искусствовед Хавиер де Бенгоэчеа писал об этой выставке в «Ла гасета дель Норте»: «От своих первоначальных картин, в которых были заметны следы конструктивизма... Ибаррола через страдания и борьбу пришел к сегодняшней живописи; Ибаррола рисует, чтобы говорить с людьми, чтобы восхищать их...» В заключение автор статьи подчеркивает: «...Эти картины — словно строфы эпической поэмы, которая воспевает трудовую жизнь, счастье и печаль современного человека».

## ИТАЛИЯ

### ИНТЕРЕС К НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ

Долгое время в Италии научная фантастика как литературный жанр игнорировалась официальной критикой. Произведения подобного рода именовались «книгами для чтения в трамвае». В последнее время, однако, интерес итальянского читателя к научной фантастике необычайно возрос. Книжный рынок страны наполнился произведениями фантастического жанра зарубежных и итальянских авторов, причем самого различного качества.

В связи с этим «бумом» в научной фантастике появились критические статьи в газетах «Унита», «Паэзе сера», в еженедельнике «Ринашита», авторы которых указывают, в частности, что многие произведения западных писателей-фантастов не выходят за рамки рассказов об изощренных садистах-сверхлюдях, о приключениях бэмсов (чудовищ с огромными уродливыми головами) или о все знающих и все умеющих роботах.

Однако, по свидетельству прессы, в магазинах такие книги все чаще остаются лежать на полках. Итальянский читатель начинает требовать от научной фантастики ответов на вопросы: «Каким будет общество будущего?», «Как избежать страшной трагедии атомной войны?» В итальянской научно-фантастической литературе появились имена молодых писателей, которые пытаются найти ответы на эти вопросы. Среди них: Карло делла Корте, Ферруччо Фолькель, Примо Леви, Алчиде Паолини, Ро-

берто Вакка, Лино Альдани, Джузеппе Педериале, Теодоро Джуттари, Анна Ринонаполи, Джильда Муза. Наряду с молодежью к жанру научной фантастики обратились уже известные писатели: Моравиа, Арпино, Будзатти, Солдати, Флайано, Кальвино, Ландольфи. Все это привело к тому, отмечает критик Инизеро Кремаски в еженедельнике «Ринашита», что в итальянской фантастической литературе закончился период «супермонстров» — и родилась новая, научная фантастика. «Научная фантастика,— заявила критик Лаура Конти,—должна играть роль прогрессивного фактора в национальной культуре».

Появились новые литературные журналы — «Гамма» и «Нуови оридзонти»,— которые публикуют исключительно произведения писателей-фантастов.

Из последних интересных научно-фантастических произведений итальянская печать называет антологию «Лабиринты третьей планеты», составленную Инизеро Кремаски и Джильдой Муза, новый сборник рассказов Роберто Вакки «Примеры из будущего», а также новую повесть Итало Кальвино «Космикомикс».

Некоторые научно-фантастические произведения поставлены на театральной сцене. «Театр десяти» в Турине, например, показал недавно пьесу Примо Леви «Натуральные истории». Примо Леви, известный как автор книг «Если это человек» и «Перемирие», к жанру научной фантастики обращается впервые.

### ПАМЯТИ ВИТТОРИНИ

Итальянская общественность скорбит по поводу кончины видного писателя и журналиста - антифашиста, редактора общественно-литературного журнала «Политекнико» Элио Витторини — автора романа «Люди и нелюди», книги «Беседы на Сицилии» и опубликованной в журнале «Иностранная литература» (№ 9, 1960) повести «Эрика». Газеты поместили обширные некрологи и статьи, посвященные его творчеству, отрывки из его произведений. Похороны писателя в Милане собрали представителей всех кругов итальянской прогрессивной культуры, многих антифашистов.

В статье, опубликованной газетой «Унита» и подписанной Джансиро Ферратой, Ренато Гуттузо, Микеле Рако, Антонелло Тромбадори и другими друзьями покойного, отмечается большая роль, которую сыграл руководимый Витторини журнал в деле обновления и сплочения всей итальянской культуры. «...Витторини был нам близок в борьбе, которую коммунисты — представители интеллигенции вели за мир в эти послевоенные годы — от движения крестьян за землю и рабочих выступлений до борьбы за свободу народов Алжира, Конго, Латинской Америки или Вьетнама»,—говорится в статье. Пресса подчеркивает большой вклад Витторини в развитие современной итальянской культуры.

### ЦЕНЗОРЫ НЕ ЛЮБЯТ СТИХОВ?..

Итальянским цензорам, видимо, не по душе пришелся спектакль «Моя любовь, жизнь моя», который поставил режиссер и актер Джанкарло Сбраджа в римском «Театре Муз». Это поэтическое представление, текст которого составлен из лирических стихов классических и современных поэтов, цензура объявила «запрещенным для лиц, не достигших 18-летнего возраста». Прогрессивная печать называет это решение цензуры «неслыханным». В опубликованном в газетах открытом письме Сбраджа указывает, что мотивировано это решение тем, что в тексте спектакля якобы содержатся «непристойные выражения». Сбраджа называет имена авторов звучащих со сцены стихов — это Марциал, Проперций, Лукреций Кар, Микеланджело, Данте, а из современных — Лорка, Неруда, Превер и другие большие поэты, чьи многие произведения включены в итальянские школьные хрестоматии.

## КУБА

### ПРЕМИИ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА

В Гаване присуждены премии победителям 6-го латиноамериканского литературного конкурса, ежегодно проводимого издательством «Каса де лас Американас».

«Конкурс этого года,— сказал корреспонденту газеты «Мундо» заместитель директора «Каса де лас Американас», гватемальский писатель Мануэль Галич,— значительное событие по разнообразию, количеству и качеству присланных произведений».

Жюри, состоявшее из крупнейших латиноамериканских писателей и филологов — в их числе были Мануэль Рохас (Чили), Алехо Карпентьер (Куба), Марио Бенедетти (Уругвай), Хорхе Саламеа (Колумбия), Эктор Агости (Аргентина),— единодушно присудило первую премию в жанре рассказа молодому кубинскому писателю Хесусу Диасу Родригесу. Ему двадцать четыре года, он преподаватель диалектического материализма и истории на философском факультете Гаванского университета. Это первая его книга, состоящая из десятка рассказов, половина из которых посвящена кубинской революции. Жюри в своем решении специально подчеркнуло, что премия молодому автору присуждается за «прекрасное воплощение в литературе революционной темы».

«Премия — это высокая ответственность,—сказал Хесус Диас Родригес в интервью корреспонденту газеты «Мундо».— Она обязывает задумываться глубже, работать серьезнее. Моя цель? Забыть о премии. Если ошибочно поверишь, что стал писателем, скорее всего, ничего не напишешь. Нужно быть очень требовательным к себе. Самое главное — чтобы в литературе всегда при-

сутствовала сама жизнь. Очень печально, если в ней не бьется пульс жизни, а персонажи — лишь голые схемы».

В области поэзии первая премия присуждена молодому чилийскому поэту Энрике Лину за книгу «Стихи мимоходом» («Поражение и другие стихи»). Жюри конкурса обратило особое внимание на то, что политическая тема в стихах Энрике Лина приобретает глубоко лирическое звучание.

Среди авторов драматургических произведений на первом месте оказался аргентинец Освальдо Драгун, уже несколько лет работающий на Кубе в качестве театрального режиссера. По мнению жюри, Освальдо Драгун вполне заслужил это почетное отличие, ибо в своем произведении «Героиня из Буэнос-Айреса» он сумел через подлинно народные образы раскрыть социальную и политическую действительность современной Латинской Америки.

В области романа первое место заняла аргентинская писательница Марта Траба за книгу «Летние обряды». Жюри отметило высокое литературное мастерство автора — прекрасный язык и стройную композицию.

Доминиканец Франклин Франко был признан первым среди авторов эссе и научных исследований. К числу больших достоинств его книги «Доминиканская Республика: классы, кризис, правители» жюри относит глубину теоретической мысли, четкий метод исследования, широкую документальную базу.

Многие произведения, присланные на конкурс, рекомендованы жюри к опубликованию в 1966 году. Среди них книги молодых кубинских поэтов Сесара Лопеса «Первая книга Города» и Луиса Суардиаса «Пережитое», перуанского поэта Франсиско Бендесу «Песни», «Маленький ад» сальвадорского поэта Роке Дальтона, роман чилийского писателя Эрнана Вальдеса «Далеко от Испании», исследование чилийского филолога Эрнана Лойола Герры «Бытие и смерть у Пабло Неруды».

## ЛИВАН

### «СЕРЕБРЯНЫЙ» ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА

Недавно ливанский литературный журнал «Аль-Адиб» («Литератор») отметил свой двадцатипятилетний юбилей. Журнал был основан ливанским писателем и журналистом Альбером Адибом.

На страницах «Аль-Адиб» выступают с рассказами, стихами и критическими статьями литераторы почти всех арабских стран — от Марокко до Кувейта и Бахрейна. Журнал регулярно печатает информацию о литературных новостях как в арабских странах, так и за их пределами, знакомит своих читателей с произведениями мировой литературы, в частности русской и советской.

## МАЛИ

### ЗАПИСАНЫ ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕГО МАЛИ

Из поколения в поколение из уст в уста передавались легенды древнего Мали. Только недавно они были записаны со слов гриофов — малийских народных сказителей — западноафриканским исследователем народного творчества Д. Т. Ньяне. Собранные им легенды связаны с именем наиболее могущественного правителя древности — Магхана Сундиаты. В этих легендах, как и в произведениях устного творчества других народов, рассказывается о мужестве и трусости, о верности и предательстве, о любви и ненависти, о зависти и тщеславии. Сказочные мотивы тесно переплетаются с реальностью — в легендах выражено стремление народа к единству, к счастью.

Корреспондент журнала «Сентрал африкен экзаминер», сообщивший о работах Д. Т. Ньяне, обращает внимание читателей на то неоценимое значение, которое имеют произведения устного народного творчества в развитии культуры новой Африки, а также на необходимость, пока не поздно, записать со слов престарелых народных сказителей различных африканских стран все, что они помнят, и внести тем самым значительный вклад в сокровищницу мировой культуры.

## МАЛЬТА

### ДАНТЕ НА МАЛЬТИЙСКОМ

Среди переводов Данте на языки мира недавно появился еще один — «Божественная комедия» на мальтийском языке (мальтийский — государственный язык Мальты — представляет собой ответвление арабского; шрифт — латинский). Как сообщает мальтийская газета «Иль-Хельсин», в Ла-Валлете вышла первая часть «Божественной комедии» Данте — «Ад» в переводе драматурга Эрина Серрачино-Инглотта. Первые попытки перевода «Божественной комедии» на мальтийский язык были предприняты более ста лет назад. Несколько песен из нее были переведены известным мальтийским литератором Ричардом Тейлором еще в первой половине прошлого века.

## МЕКСИКА

### СЕРХИО МАГАНЬЯ: «НЕ УКЛОНЯТЬСЯ ОТ СОВРЕМЕННОСТИ»

В Мексике знают имя драматурга Серхио Маганья, которому трижды присуждалась премия Национального Института литературы (в 1951 г. этой награды была удостоена его пьеса «Под знаком Зодиака», в 1952 г.— «Часы и колыбель», в 1953— «Монтесума Второй»). В последнее время Маганья отошел от исторической тематики, появились его пьесы «Ветряная мельница», «Маленькое происшествие с Хорхе Либидо» и другие, правдиво описывающие жизнь трудового люда современной Мексики. Его статьи о на-

значении современного искусства часто появляются в журналах «Сьемпре», «Политика», «Кабальеро».

«Положение драматурга в Латинской Америке требует, чтобы он не уклонялся от бурных событий нашего времени, а, наоборот, отражал их в своем творчестве,— заявил Маганья корреспонденту газеты «Гранма».— Главная задача, стоящая сейчас перед нами,— это правдиво рассказать о кубинской революции, о строительстве новой жизни на Кубе». Говоря о мексиканской драматургии, Серхио Маганья отметил, что в Мексике имеется много молодых талантливых драматургов, чьи пьесы служат не для развлечения публики — они правдиво описывают жизнь трудящихся. В числе этих авторов Маганья назвал Эмилио Карбальидо, Луису Хосефину и Елену Гарро.

## ОАР

### ЮСУФ ИДРИС ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕМИИ

Как сообщает арабская пресса, известный египетский писатель и драматург Юсуф Идрис отказался от премии, которую ему присудил за его творчество издающийся в Бейруте журнал «Хивар» («Диалог»). Решение писателя было встречено с одобрением арабской общественностью; на Арабском Востоке всем известно, что «Хивар» издает так называемая «Организация свободы культуры», являющаяся орудием неоколонизаторов и существующая на их средства.

Бейрутский журнал «Аль-Адаб» поместил письмо своего египетского корреспондента Сами Хашбы, в котором он приветствует этот шаг Юсуфа Идриса. Хашба пишет, что Идрис — сын коренного египетского феллаха, ставший одним из любимейших современных писателей. Этим поступком он оправдал веру в него читателей, привыкших к тому, что Идрис учит доброму и разумному. Автор письма считает, что журнал «Хивар» присудил премию Идрису лишь потому, что этому изданию была нужна «маска, которая скрыла бы его грязное обличье и облегчила бы ему обман арабской общественности и арабских читателей».

## ПОЛЬША

### «ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ»

Польский писатель Стефан Кленовский взял на себя необычайно трудную, но благородную задачу: собрать по крохам бесценные крупицы польской революционной поэзии, относящейся к периоду так называемого межвоенного двадцатилетия, войне и оккупации — вплоть до дня Возрождения народной Польши. Эта работа во многом была первооткрывательской — Кленовский разыскивал поэтические тексты среди революционных газет и журналов, листовок; он перерыл груду исторических архивов, перелистал множество поэтических сборников. И наконец этот труд завершен; Государственный издательский институт выпустил антологию под названием «Польская революционная поэзия».

В антологию вошли произведения не только хорошо известных революционных поэтов — Броневского, Станде, Вандурского, Бруно Ясенского, Шиманского, Шенвальда, Добровольского,— но и неизвестных авторов, которые по соображениям конспирации скрывали свои имена. Правда, некоторые из них — профессиональные революционеры, которые писали стихи, ныне известны, например, Юлиан Лещинский и Саломон Ящунский.

Обозреватель газеты «Трибуна люду» Вацлав Садковский отмечает, что каждое произведение, вошедшее в антологию, само по себе необычно. «Любое стихотворение сборника — своего рода исповедь или воззвание: подчас опубликование его требовало большого мужества от автора; многие из этих произведений исполнены юмора,— пишет Садковский...— В этой антологии не может не обратить на себя внимание глубокое и осознанное чувство солидарности угнетенных и борющихся масс различных стран... Этот зрелый революционный патриотизм — самое ценное сокровище, золотое наследие нашей революционной поэзии».

### «АНТИСУПЕРГИГАНТ»

Так коротко охарактеризовал свой новый художественный фильм «Фараон» по роману Болеслава Пруса польский кинорежиссер Ежи Кавалерович в беседе с корреспондентом еженедельника «Политика». «Иностранная литература» уже писала о работе над фильмом (см. сообщения в №№ 7, 11, 1964).

Кавалерович рассказал, что экранизация «Фараона» длилась три года, а его совместная с Тадеушом Конвицким работа над сценарием продолжалась пять лет.

Когда вопрос об экранизации только еще решался, подумывали о совместном производстве с какой-либо из зарубежных фирм, искушенной в постановке больших исторических фильмов, которые обычно называют «супергигантами». Однако западные продюсеры потребовали, чтобы центральными эпизодами фильма была не борьба Рамзеса XIII против жрецов, а сцены, в которых он в одной набедренной повязке единоборствовал бы с гиппопотамами или с крокодилами. Кавалерович отказался от такого сотрудничества.

Вскоре съемки начались в Узбекистане — в пустыне под Бухарой. Там съемочный коллектив работал пять месяцев. Затем в течение пяти недель велись съемки в Египте; павильонные съемки делались в Польше.

Вспоминая теперь начальную стадию работ, Кавалерович говорит, что это был трудный период. Но, может быть, сама обстановка пустыни обусловила то, что актеры сразу вошли в роль,

как бы окунулись в атмосферу древнего Египта.

...Эпизод коронации Рамзеса XIII снимали при страшной жаре (в роли фараона был занят студент театрального института Еж. Зельник). Кавалеровичу что-то не нравилось, и дубли следовали один за другим. В перерывах изможденный Зельник сидел в тени и в отчаянии бормотал: «Никогда, никогда не стану актером». «Конечно, не станешь, истерик,— отвечал ему режиссер,— а теперь — марш на место!...» И Зельник шел короноваться.

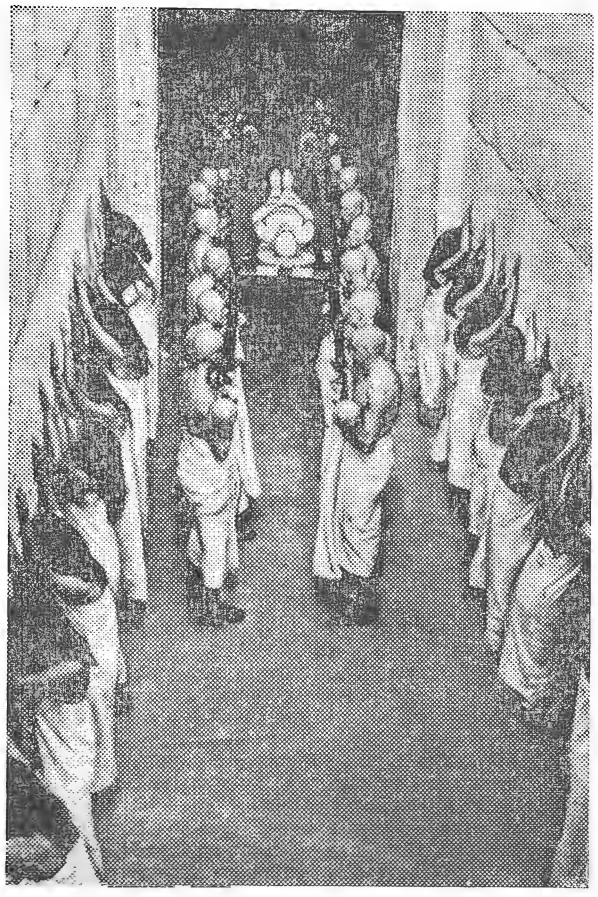
Авторы фильма в своих выступлениях в связи с его премьерой неоднократно подчеркивали, что «Фараон» не имеет ничего общего с западными «супергигантами». Тадеуш Конвицкий сказал, например: «В «супергигантах» есть множество сцен с погонями, убийствами, с разного рода сенсационными выдумками — и все это направлено на то, чтобы в течение 2—3 часов держать зрителя в состоянии крайнего напряжения. Мы ставили себе принципиально иную цель, нам хотелось воссоздать на экране драматическую историю Рамзеса XIII, хотелось сохранить верность психологической правде образов».

Польские зрители тепло приняли этот давно ожидавшийся фильм. Премьера «Фараона», по словам рецензента газеты «Трибуна люду» Збигнева Клячинского, стала «одним из самых важных событий культурной жизни последнего времени». По мнению рецензента, это зрелое, законченное произведение. «Фараон» еще долго будет предметом критических исследований и дискуссий, пишет критик.

В основных ролях фильма, помимо Ежи Зельника, снимались Анджей Гиртлер, Мечислав Войт, Веслава Мазуркевич, Барбара Брыльская, Ева Кшижевская, Петр Павловский и другие польские киноактеры.

Кадры из польского фильма «Фараон».

*(Еженедельник «Экран»)*



### САТ-ОК, ИЛИ ДЛИННОЕ ПЕРО

В Гданьске живет польский писатель по имени Станислав Суплатович. Любители его книг знают, что у Станислава Суплатовича есть еще одно имя — Сат-Ок, или Длинное Перо. Дело в том, что отцом Сат-Ока был вождь шеванезов (племя канадских индейцев) по имени Высокий Орел, а матерью — ссыльная польская революционерка Ста-

нислава Суплатович. Сосланная в 1905 году царским правительством на Чукотку, она бежала с группой ссыльных на Аляску. В пути Станислава опасно заболела, и ее подобрало и выходило племя шеванезов. Индейцы называли ее Та-Вах — Белое Облако. Вождь племени женился на Станиславе; младшим из троих детей в этой семье был Сат-Ок.

Дальнейшая судьба Станиславы и ее младшего сына была не менее сложной и необычной. В 1936 году эта женщина узнала, что в 1918 году Польша получила независимость. Двумя годами позднее, захватив с собой Сат-Ока, Станислава поехала навестить родину. Вскоре разразилась вторая мировая война. Сат-Ок, как представитель «неполноценной расы», был арестован гестапо и отправлен в Освенцим. Однако по дороге в лагерь ему удалось бежать с группой узников, и он попал в польско-советский партизанский отряд, где сражался против гитлеровцев до 1945 года, а затем вступил в Войско Польское. Потомок индейского вождя закончил службу в военно-морском флоте на подводной лодке. Сейчас он плавает матросом на теплоходе «Баторий».

Писать Станислав Суплатович начал десять лет назад. С тех пор вышло четыре книги о жизни его родного племени в Канаде: «Земля Соленых Скал» и «Таинственные следы», а также сборник индейских легенд «Белый мустанг» и история выселения племени шайенов с родных мест «Путь слез». Книги эти неоднократно переиздавались в Польше, переводились на иностранные языки.

Сейчас Станислав Суплатович работает над составлением индейской энциклопедии и над историей колонизации Америки. Создание этих книг он считает своим долгом перед соотечественниками: он хочет рассказать людям правду о судьбе канадских индейцев.

В 1965 году, когда «Баторий» стоял в порту Монреаля, к Сат-Оку приехала делегация от индейского племени. Сат-Ок побывал у него в гостях.

## ПОРТУГАЛИЯ

### НРАВЫ САЛАЗАРОВСКОЙ ЦЕНЗУРЫ

«...Несмотря на некоторую либерализацию в конце прошлого века и в годы после учреждения республики, когда цензура в основном ограничивалась запретом публикаций, в последние десятилетия она все больше и больше возвращается к традициям, зародившимся еще в эпоху инквизиции...— так характеризует состояние гражданских свобод в современной Португалии обозреватель западногерманского еженедельника «Цейт».— Надо сказать, что уровень прессы, театра, кино, радио и телевидения в Португалии очень низок. Объясняется это не только строгой цензурой, но и невысокой квалификацией соответствующих специалистов. В стране нет журналистского колледжа, кадры преподавателей консерваторий в Лиссабоне и Порто весьма посредственны, оборудование кинопромышленности безнадежно устарело».

«Труд газетчиков — от наборщика до репортера — оплачивается плохо,— продолжает обозреватель.— Тиражи газет низкие; самая распространенная газета «Диариу де нотисиас», являющаяся правительственным органом, выходит тиражом в триста тысяч... Еще до того, как цензура приступит к работе, главные редакторы газет (или сами издатели) собственноручно «выпалывают» малейшие ростки того, что может затронуть интересы влиятельных групп или частных лиц... Все прочие газеты, кроме упомянутой «Диариу де нотисиас» да еще «Диариу да маньян», занимаются лишь обсуждением местных новостей и перепечатывают официальные сообщения, не рискуя их комментировать. Органы печати, не принадлежащие к «любимчикам» цензуры, подвергаются всевозможным репрессиям. Так, газету «Республика» подвергают дополнительному контролю после набора полос; журналы социал-демократического направления «Сэара нова» и «О темпу э о моду» снабжаются бумагой и прочими материалами с такой задержкой, что непрерывно терпят убытки».

В меньшей степени подвергается предварительной цензуре книжный рынок, отмечает обозреватель. Однако издатель выпускает книгу на свой страх и риск. Цензоры заранее, в рукописи, книг (особенно переводных) не читают. Зато после выхода в свет «опасную» книгу могут запретить. Убытки несет издательство. Именно таким образом были запрещены уже напечатанные «Презрение» А. Моравиа, «Здравствуй, грусть» Ф. Саган и другие.

Полгода назад агенты тайной полиции произвели обыск в помещении крупнейшего издательства «Европа — Америка», после чего был «заморожен» весь весенний план выпуска 1966 г. Репрессии были вызваны тем, что глава издательства Леан ди Кастру, подозреваемый в левых взглядах, неоднократно выступал за границей на конгрессах издателей с откровенными высказываниями о салазаровском режиме. В последнее время ходят слухи, что правительство готовит декрет о распространении предварительной цензуры и на книги.

Государственное радио и телевидение, как и газеты, пользуются «процеженной» информацией. Частные радиостанции предпочитают ограничиваться передачей рекламы и развлекательной музыки...

В театре цензоры проверяют как пьесы, так и постановки. Театры больше всего боятся цензуры инсценировок, поскольку она происходит накануне премьеры, — в неблагоприятном случае пропадает месячный труд всей труппы.

У киноцензоров свой метод: сначала смотрится весь фильм, затем (в случае одобрения) останавливают-

ся на деталях. Не понравившиеся цензору эпизоды вырезаются целиком либо не озвучиваются при дублировании. Португальская кинопромышленность в основном субсидируется национальным фондом кино. Субсидия выдается только в том случае, если сценарий одобрен цензурой, а режиссер признан заслуживающим доверия. И тем не менее ни один готовый фильм не выпускается на экраны без цензорских купюр. Еще более строгой цензуре подвергаются фильмы, снятые без государственной дотации: нередко их «урезают» на одну треть.

«Поскольку,— пишет в заключение обозреватель «Цейт», — либерализации цензуры не предвидится, португальцам придется пока мириться с посредственным уровнем газет, книг, театра и кино».

## РУМЫНИЯ

### ПРЕМИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Правление Союза писателей Румынии присудило литературные премии за лучшие произведения, опубликованные в 1965 году. Премии в области поэзии удостоены молодые поэты: Ион Александру — за книгу «Жизнь сейчас» и Марин Сореску за сборник «Стихотворения».

Премию в области прозы получил сборник рассказов Штефана Бэнулеску «Зима мужественных» (см. рецензию в «Иностранной литературе» № 1, 1966).

Премия за критические работы и работы по истории литературы присуждена Эуджену Симиону за книгу «Направления современной литературы».

Премирована публицистическая книга Михая Стояна «Репортер ведет опрос». Премию за книги для детей и юношества получил Константин Кириця за цикл романов «Чирешары».

Премия за лучший перевод присуждена Франьо Золтану, переведшему на венгерский язык антологию румынской поэзии.

### ПИСАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПРИВЕТСТВОВАЛ ОКТЯБРЬСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

До сих пор в Румынии было очень мало написано о классике румынской литературы Ионе Славиче (1848—1925), который стоит в одном ряду с Эминеску, Крянгэ, Караджале, пишет рецензент еженедельника «Газета литературэ». Недавно на прилавках магазинов появилась первая монография о Славиче. Она принадлежит перу молодого литературоведа Помпилиу Марчи.

Описывая в первых главах жизнь Славича, автор обращается к его мемуарам — и, по словам рецензента, со страниц книги встает живой образ писателя. Автор выделяет то обстоятельство, что Славич приветствовал победу Октябрьской революции в России. Монография рассказывает о Славиче — народном сказителе, драматурге, новеллисте и романисте.

Марча впервые дает подробный анализ не только известных романов Славича, но и тех, что были напечатаны только в периодической печати.

Особо автора привлекает роман «Мара» — это, по его словам, «творение в прозе, равное по силе в поэзии лишь поэме Эминеску «Лучафэрул», а в театре — «Потерянному письму» Караджале. «Славич,— продолжает рецензент,— оказывал и оказывает влияние на румынскую литературу — на творчество Агырбичану, Садовяну, Галактиона, Ребряну, П. Дана, Титуса Поповича и Иона Лэнкрэнжана».

По словам рецензента, автор монографии не упрощает литературного анализа: он показывает противоречивость взглядов великого писателя, останавливается на его менее удачных произведениях. Критик говорит, например, о том, что Славич не понял смысла первой мировой войны и реакционной роли Австро-Венгерской империи, но был «первым писателем, который восхищался Великой Октябрьской революцией».

«Снабженная подробной библиографией, богато иллюстрированная книга Помпилиу Марчи займет место среди лучших работ по истории литературы новейшего времени»,— пишет в заключение рецензент.

## СОМАЛИ

### ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО АЛФАВИТА

В последние годы Республика Сомали добилась значительных успехов в строительстве новой жизни. Однако серьезным тормозом в развитии культуры в стране является отсутствие единого национального письма на языке сомали. До сего дня на севере страны — в бывшем Сомалилэнде в делопроизводстве используется английский язык, а на юге — в бывшей итальянской Сомалии — итальянский. Газеты издаются на этих двух языках, а также на арабском.

В Сомали было разработано много проектов национального письма, но ни один из них не получил широкого распространения. Создание приемлемого для всех алфавита остается острой проблемой. Как сообщает корреспондент газеты «Сомали ньюз», министерство культуры Республики обратилось ко всем гражданам с просьбой принять участие в создании и обсуждении проектов национального сомалийского письма.

## США

### МЭРИ ХЕМИНГУЭЙ ОБРАЩАЕТСЯ В СУД...

«Папа Хемингуэй» — так назвал свою книгу, вышедшую недавно в издательстве «Рендом хаус», А. Э. Хотчнер, самозванный биограф покойного писателя. Основной упор сделан автором этой книги на детальный анализ той душевной депрессии, которая — по словам Хотчнера — овладела Хемингуэем незадолго до его трагической смерти.

Узнав о том, что такая книга готовится к выходу в свет, вдова писателя Мэри Хемингуэй обратилась в городской суд Нью-Йорка, стремясь воспрепятствовать изданию «Папы Хемингуэя». В своем иске Мэри Хемингуэй протестовала против бесцеремонного вторжения в область личных переживаний писателя, против неуважения к его памяти и конкуренции Хотчнера с признанными биографами Эрнеста Хемингуэя.

Суд счел доводы Мэри Хемингуэй несостоятельными и отклонил ее справедливый иск. Впрочем, удивляться здесь нечему: что такое уважение к памяти писателя в стране, где превыше всего... «свободное предпринимательство»?

### ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР О... ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР

Интимная жизнь голливудской кинозвезды Элизабет Тейлор давно перестала быть чем-то сокровенным, скрытым от глаз широкой публики. Бульварная пресса в подробностях описывала историю ее браков и разводов.

Поэтому выход автобиографической книги Элизабет Тейлор с подробным описанием ее жизни несколько озадачил американских критиков. Возможно, она хотела как-то оправдаться перед общественным мнением, исправить превратное представление о ней публики? Ничуть не бывало. Лиз, как ее называют газеты, довольно примитивно, без претензий пересказывает давно всем известную историю.

Указания на подлинную причину выхода этой книги, как пишет обозреватель еженедельника «Пиплз уорлд», следует искать на титульном листе, где Лиз благодарит издателя Ричарда Меримена «за его помощь и его магнитофон». Напомним, что магнитофон мистера Меримена был также «автором» последнего интервью с покончившей самоубийством другой американской кинозвездой — Мэрилин Монро — за несколько дней до ее смерти.

Итак, подлинная причина — это баснословный гонорар в обмен на далеко не безупречную репутацию. Хотела этого Лиз Тейлор или нет, но на сей раз она торговала своим именем.

### «ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ ПЕПЛА»

Под таким названием в Соединенных Штатах вышел новый фильм режиссера Ли Томпсона. Фильм рассказывает о судьбе молодой женщины-врача, участвовавшей в движении Сопротивления в годы нацистской оккупации Франции и выданной мужем фашистам. По окончании войны искалеченная морально и физически, она возвращается из Дахау в Париж и узнает, что ее муж, сделавший своей любовницей приемную дочь, пытается через суд получить деньги, положенные еще до войны в банк на имя жены. «И дальше,— пишет рецензент журнала «Сатердей ревью»,— происходит то, что заранее обрекает фильм на неудачу. Отказавшись от правдивого и драматически оправданного развития сюжетной линии, режиссер пошел по пути наименьшего сопротивления — картина превратилась в обыкновенный детективно-мелодраматический винегрет, в котором два злодея — муж и приемная дочь — осуществляют убийство женщины, стоявшей на пути к их богатству и браку. Еще один разительный пример того, как можно испортить интересно задуманную тему».

Ингрид Тулин.

«На этой картине,— продолжает рецензент,— можно было бы и не останавливать столь пристального внимания, если бы не великолепная игра новой для американского кино актрисы — шведки Ингрид Тулин. Зритель является свидетелем рождения нового блестящего таланта мирового кино, который до сей поры не был широко известен за пределами экранов Скандинавии».

В заключение рецензент пишет: «Нам не понравился фильм. Но мы от всей души благодарим режиссера за то, что он познакомил нас с выдающейся актрисой».

## ТУРЦИЯ

### РАСПРАВА НАД ДЕЯТЕЛЯМИ КУЛЬТУРЫ

По Турции прокатилась волна полицейских репрессий. Арестован известный писатель Орхан Кемаль, отданы под суд шесть участников вечера памяти поэта Хатайя, брошен в тюрьму пятнадцатилетний школьник Шимшек за то, что он назвал на уроке истории среди великих людей имя Ленина.

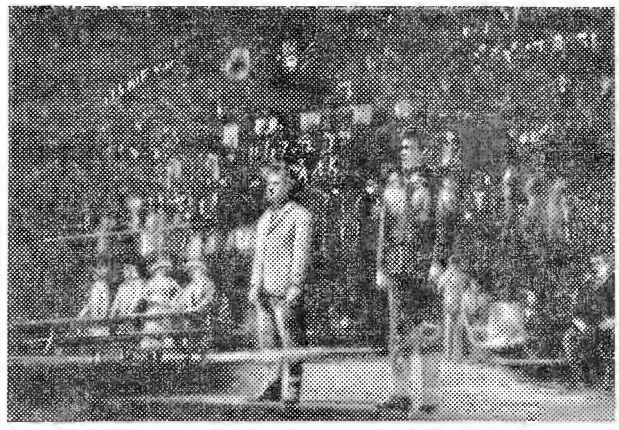
Романист Яшар Кемаль выступил с публичным протестом против преследования деятелей турецкой культуры.

«Нынешняя конституция,— заявил Кемаль,— предоставляет нам право выступать с критикой темных сторон жизни общества. Деятели искусства выступают против властей, когда власти обманывают народ. К каким бы методам ни прибегало нынешнее правительство, даже к угрозе тюремного заключения, мы будем пользоваться правами, данными нам конституцией. Когда искусство умолкает, это значит, что нация наполовину мертва. Нас не сломил террор Мендереса, бессильным окажется и террор Демиреля. Я протестую против действий правительства, направленных на подавление национальной турецкой культуры».

Главный редактор газеты «Джумхуриет» в связи с этими событиями пишет: «Некоторые круги, которые точат зубы на конституцию 27 мая (имеется в виду переворот 27 мая 1960 г., когда было свергнуто правительство Мендереса.— *Прим. ред.*), восхваляют мендересовский режим насилия и террора и хотят превратить конституцию в пустой звук».

С протестами выступили также публицисты Четин Алтан, Селчук и другие.

Между тем правые газеты призывают к прямой физической расправе над прогрессивными писателями и деятелями культуры.



Сцена из спектакля «Всенародная песнь о двух электрических стульях» в ТНП.

*(Еженедельник «Леттр франсез»)*

## ФРАНЦИЯ

### «ВСЕНАРОДНАЯ ПЕСНЬ О ДВУХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТУЛЬЯХ»

Так называется новый спектакль Армана Гатти в Национальном Народном театре (ТНП), вызвавший самые разноречивые отклики во французской прессе (об этой пьесе см. сообщение в «Иностранной литературе» № 4, 1964). Драматургическая конструкция спектакля, по отзывам критики, очень сложна. Это пьеса о Сакко и Ванцетти, но зрители видят не их самих, а лишь их гигантские фотографии. Действие построено так, будто оно разыгрывается одновременно на пяти сценических площадках театров в городах Бостоне, Лос-Анжелесе, Гамбурге, Лионе и Турине. Жители всех пяти городов смотрят представление, показываемое негритянской труппой. А публика в ТНП будто бы видит не это зрелище, а лишь реакцию на него. Действие усложняется, комментируется актерами-зрителями всех городов. На панорамном экране следуют отрывки из фильмов, звучит музыка, вспыхивают краски... Постепенно жители городов сливаются с персонажами драмы и сами разыгрывают ее дальше.

«Это один из самых значительных спектаклей французского театра за последние двадцать лет»,— писал обозреватель еженедельника «Леттр франсез».

«Пьеса может нравиться или не нравиться, но спектакль является событием, смелым экспериментом, который наметит будущее нашего театра. Произведение смелое, благородное и покоряющее»,— таково мнение критика газеты «Юманите».

Корреспондент еженедельника «Нувель обсерватёр» восторженно заявил, что Арман Гатти — подлинный драматург и что ТНП выполнил свою истинную задачу, показав прекрасный образец современного искусства.

Были, однако, и другие мнения. «Гатти под влиянием Брехта дает скучную пьесу,— писала правая газета «Комба».— Это проповедь в картинах. Антиамериканизм доведен до крайности, и он не столько волнует, сколько раздражает».

### В ЗАЩИТУ ФИЛЬМА ЮРИСА ИВЕНСА

Документальный фильм Юриса Ивенса о борьбе вьетнамского народа против агрессии американских империалистов «Небо, земля» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 1, 1966) вызвал живой отклик французской общественности. После первой, неофициальной, демонстрации фильма в Париже в прессе появилось обращение деятелей культуры к французской цензуре, еще не давшей разрешение на демонстрацию фильма.

«Не запрещайте этот фильм!» — говорится в обращении, которое подписали 200 человек, и среди них такие деятели кино, как Симона Синьоре, Ив Монтан, Марина Влади, Жан-Люк Годдар, Арман Гатти.

«В самом деле,— писал по этому поводу корреспондент газеты «Юманите»,— было бы абсурдно запретить свидетельство о войне, которая ныне вселяет тревогу во всем мире, репортаж, отмеченный полнейшей объективностью, и, бесспорно, настоящее произведение искусства».

В интервью, опубликованном в «Юманите», Йорис Ивенс заявил:

— В этом фильме я хотел показать жестокие страдания, которые принесла война вьетнамскому народу, его стойкое мужество... Американская армия, увязнув на юге, пытается уничтожить север. Войну нужно прекратить — это я и стремлюсь доказать в своем фильме.

— Что ты думаешь об угрозах цензуры? — спросил режиссера Самюэль Ляшиз, представлявший «Юманите».

— Надо, чтобы этот фильм увидели во всех странах мира. Не только в кино, но и по телевидению... Мой

фильм — это путевой дневник, свидетельство сегодняшней действительности. Факты, собранные в нем, вызывают у зрителя чувство протеста против этой войны, которую все осуждают.

— В то же время это великолепный короткометражный художественный фильм в духе сделанного когда-то тобой фильма «Испанская земля»,— заметил Самюэль Ляшиз.— Это произведение искусства, поставленное на службу справедливому делу. Мы, критики, писатели, были потрясены им. Он берет за сердце и заставляет разум протестовать. Он помогает понять действительность нашего времени.

### ДЕКЛАРАЦИЯ КОНЦЕРТНОГО ОБЩЕСТВА ФРАНЦИИ

Секретарь Концертного общества Франции Манюэль Реказан зачитал публике на концерте в Шанз-Элизе принятую всеми членами общества декларацию. Перед этим Реказан рассказал, что заработки музыкантов во Франции значительно ниже, чем у домашних работниц. Многочисленные обещания государства повысить жизненный уровень музыкантов до настоящего времени не выполнены. Дотация, предоставляемая государством, не покрывает даже стоимости аренды помещений. Министр культуры отказался принять представителей общества и выслушать их требования.

Обществу в связи с таким катастрофическим положением пришлось пойти на крайние меры—резко сократить число выступлений.

«До последнего времени,— говорится в декларации,— мы пытались знакомить публику с современными молодыми французскими музыкантами — солистами и композиторами в ущерб нашим финансовым интересам. Теперь мы лишены этой возможности».

Музыкальный критик Жан Амон выступил в печати с открытым письмом к министру культуры, в котором сказано следующее: «Я понимаю, что вы не любите музыку вашей родины, а может, и музыку вообще. Но вы — как министр — не имеете права забывать о музыкальном престиже вашего отечества».

## ЦЕЙЛОН

### В БОРЬБЕ С ПРЕДРАССУДКАМИ

Роман молодого писателя Джозефа Перейры «Камла» явился значительным событием в культурной жизни страны, и не только потому, что, как отмечает критика, он написан живым и поэтичным языком, но и потому, что описываемые в нем события касаются одной из наиболее острых проблем Цейлона — взаимоотношений двух национальных групп — сингальцев и тамилов.

В центре произведения — молодая девушка сингалка из состоятельной семьи, полюбившая бедняка тамила. Узнав об этом, отец Камлы выгоняет ее из дома. Молодые люди женятся. Но община, в которой живет юноша тамил, отказывается принять эту пару. В скитаниях проходят несколько лет. Едва родившийся ребенок умирает; второго Камла втайне от мужа убивает сама, не будучи в состоянии прокормить его. Однако муж узнает о преступлении и в гневе прогоняет жену. Голодные дни и бездомные ночи приводят жену на панель, и тут случайно она встречает отца, которому рассказывает печальную историю. Отец подает на дочь в суд за убийство ребенка. Накануне суда Камла, будучи не в силах перенести позор, вешается в тюремной камере. Во время похорон Камлы ее отец в кладбищенском нищем узнает своего зятя. Над могилой женщины происходит запоздалое примирение двух убитых горем людей, которые были косвенными виновниками ее гибели.

«Самым смелым романом последних лет» назвал книгу Перейры критик Джаявардене из журнала «Ланка ревью».

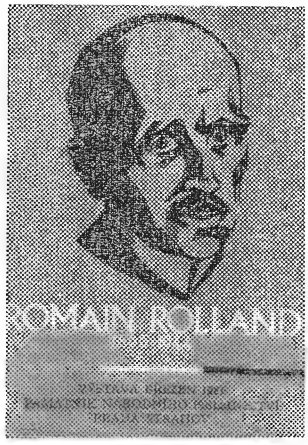
## ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

### ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ТРУПП

В столице Центрально-Африканской Республики Банги прошел фестиваль театральных трупп племен.

Основное место на фестивале, по сообщениям корреспондента газеты «Курье д'Африк сантраль», занимали бытовые и ритуальные танцы — своеобразный вид африканского сюжетного балета. Это были переложенные на язык ритмов и танцев сказания о богах и удивительных явлениях природы, воинственные танцы, бытовые сценки. «Фестиваль,— пишет корреспондент,— особенно примечателен тем, что он вновь подтвердил изумительное чувство ритма, присущее африканцам, а также их поразительную способность к разного рода импровизациям и вариациям на определенную тему, причем у каждого племени искусство это развивалось в своем, особом и неповторимом направлении».

## ЧЕХОСЛОВАКИЯ




В связи со столетием со дня рождения Ромена Роллана в пражском Музее национальной письменности была устроена выставка, посвященная великому французскому писателю. На нашем снимке: плакат, извещающий об открытии выставки.

## ШВЕЙЦАРИЯ

### ИЗДАНО... НЕ В ШВЕЙЦАРИИ

«О том, что проблема «непреодоленного прошлого» существует и в Швейцарии,— пишет рецензент гамбургского еженедельника «Ди андере цейтунг»,— свидетельствует история выхода в свет нового романа швейцарского писателя Вальтера Матиаса Дигельмана «Наследие», который автор не смог издать у себя на родине».

Герой романа двадцатилетний Давид Боллер узнает из бумаг, оставшихся после смерти его мнимого отца Иоганна Боллера, бывшего в действительности родным дедом Давида, что его настоящая фамилия — Фенигштейн и что его родители погибли в нацистском концлагере, успев переправить мальчика к деду в Швейцарию. Отец Давида был немецким евреем, мать — швейцаркой.

В процессе «архивных раскопок», предпринятых Боллером-Фенигштейном, глазам читателя предстает Швейцария тридцатых — сороковых годов, значительно отличающаяся от официальной Швейцарии — маленькой нейтральной страны, которую все считали идеальным приютом для беженцев из гитлеровской Германии.

Автор, не отрицая в целом того, что его родина помогла многим преследуемым фашистами лицам и предоставила им убежище, рассматривает те примеры (как случай с родителями Давида), когда швейцарская пограничная охрана, по договоренности с властями Третьей империи, задерживала нелегально перешедших границу беженцев, у которых в паспорте была отметка «J» (Jude), и передавала их в Германию, обрекая тем самым на верную гибель.

Бывшие друзья нацистов спустя десять лет стали ярыми «охотниками за ведьмами». Дигельман особенно выразительно описывает эпизоды антикоммунистической истерии, организованной в Швейцарии в связи с венгерскими событиями 1956 г. Во время одной из вспышек этой истерии Давид погибает...

Роман Дигельмана обратил на себя внимание и западногерманской прессы. Обстоятельные рецензии были напечатаны в еженедельнике «Шпигель» и в газете «Франкфуртер альгемейне цейтунг». Любопытно, что рецензент последней, несмотря на снисходительный тон, взятый им как по отношению к автору, так и к избранной автором теме, все же признает «моральную заслугу Дигельмана в том, что он смело высказывает неприятную правду».

## ЭФИОПИЯ

### «СВЕТ И МИР»

В Аддис-Абебе состоялось торжественное открытие нового полиграфического комбината «Быхан-энна сэлям» («Свет и мир»). Предшественницей этого комбината была скромная типография, основанная императором Хайле Селассие I в 1921 г., в которой печаталась первая эфиопская газета «Быхан-энна сэлям». Теперь это — крупнейшее в Эфиопии национальное полиграфическое предприятие, которое выпускает пять ежедневных газет на амхарском, английском, французском и арабском языках, а также четыре еженедельника, несколько ежемесячных журналов и много книг. (Другой полиграфический центр находится в г. Асмаре, где выходят газеты на языках тиграй, арабском и итальянском.)

Как сообщает корреспондент газеты «Этиопиен геральд», открытие нового, оснащенного современной техникой печатного комбината позволит резко увеличить выпуск эфиопской печатной продукции и будет способствовать подъему национальной литературы. При комбинате создается книжное издательство, которое будет не только выпускать новые произведения эфиопских авторов, но и переиздавать по доступным ценам ранее напечатанные книги.

## ЮГОСЛАВИЯ

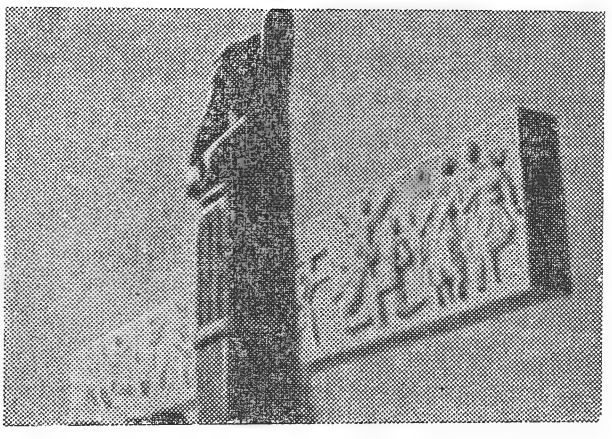
### ПЯТЬДЕСЯТ ВЕКОВ ИСКУССТВА

Издательство «Югославия» подготовило к выпуску книгу «5000 лет искусства на югославской земле». По замыслу авторов, в ней будет в хронологическом порядке собрано все самое значительное в области

---

В югославском городе Босанском Новом открыт памятник «Матери-партизанке» (на снимке) работы сараевского скульптора Марьяна Коцковича. «Мать-партизанка» — легендарная югославская женщина Стоянка, воспетая в поэме Скендера Куленовича.

*(Газета «Борба»)*



искусства, что найдено или создано на территории нынешней Югославии от неолита до середины XX века.

«Когда речь идет о зарождении искусства,— сказал корреспонденту газеты «Борба» инициатор издания этого труда Ото Бихальи-Мерин,— взоры всех обращаются к Греции и Италии; при этом забывают, что и на нашей земле развивалось искусство, равноценное греческому и итальянскому. Если мир и знает что-то о наших художественных традициях, то в основном благодаря фрескам и частично иконам. Теперь книга «5000 лет искусства» покажет, что во все времена и на нашей земле создавались великие творения».

К участию в составлении этого интересного труда привлечено много авторов. Как сообщает корреспондент газеты «Борба», книга выйдет в нынешнем году.

## ЮЖНАЯ РОДЕЗИЯ

### БОРЮЩАЯСЯ ПОЭЗИЯ

Родезийский журнал «Сентрал африкэн экзаминер», одно из немногих еще не закрытых расистским режимом прогрессивных изданий, опубликовал статью поэта Дж. М. Уоддингтона о современной родезийской поэзии. Несмотря на то, что статья искромсана цензорами, она представляет значительный интерес для зарубежного читателя, мало знакомого с родезийской литературой.

«Определяющим в современной родезийской поэзии,— пишет Уоддингтон, подчеркивая, что он имеет в виду стихи, выражающие боевой дух народа,— является ее агитационный, наступательный характер, антирасистская направленность, страстное стремление к свободе». Автор указывает, что это свойственно не только стихам поэтов-аборигенов, но и лучшим произведениям прогрессивных родезийских литераторов, живущих в Европе.

Уоддингтон подробно анализирует некоторые стихи, появившиеся в последнее время в печати. «Стихи лучших наших поэтов, таких как Д. Х. Джордан, С. ван Бейрен, В. Намборо, И. Нгала, войдут в золотой фонд молодой родезийской литературы»,— пишет он. Автор с возмущением рассказывает о том, что из-за существующих в Родезии полицейских порядков большинство поэтов вынуждено публиковаться за рубежом. Так, один из наиболее полных сборников родезийской поэзии выпущен издательством «Мотилал» в городе Мадрас (Индия).

В заключение Дж. М. Уоддингтон пишет: «Окидывая взором современную родезийскую поэзию, мы не можем искренне не порадоваться тому, что затянувшийся викторианский век в литературе с его бесконечными славословиями великой бурской войне и временам Родса и Китченера ушел навсегда и ему на смену пришло новое время с новыми людьми, глубоко уверенными в том, что страну нужно радикальным образом перестроить».

## ЯПОНИЯ

### СМЕРТЬ МАСАО ЁНЭКАВА

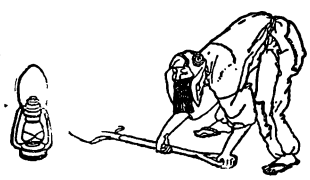
Скончался старейший переводчик русской литературы, большой друг Советского Союза Масао Ёнэкава. Им переведены произведения пятидесяти русских писателей, в том числе Толстого и Достоевского. До конца своих дней он возглавлял «Японо-советскую библиотеку».

Как пишет известный специалист в области русской и советской литературы Таку Эгава, имя Ёнэкава можно поставить в один ряд с такими выдающимися пропагандистами русской литературы в Японии, как Фтабатэй Симэй и Нобори Сёму.

Переведенное им собрание сочинений Достоевского по своей полноте не имеет равного в мире. Только в Советском Союзе издано более полное собрание, пишет он. В Японии получил широкое признание и капитальный труд Ёнэкава о жизни и творчестве Достоевского.

Литературовед и переводчик советской литературы Такуя Хара пишет: «Японские писатели испытали на себе огромное влияние Достоевского, но ведь это Достоевский в переводах Ёнэкава. В этом смысле чрезвычайно велик вклад Ёнэкава и в японскую литературу».

Рисунки художницы Мачи Абэ — жены писателя Кобо Абэ к его роману «Женщина в песках» (публикуется в этом номере журнала).



# Авторы этого номера

**ИРЖИ ТАУФЕР — JIŘI TAUFER** (род. в 1911 г.).

Советскому читателю хорошо знакомо творчество этого известного чехословацкого поэта, многие произведения которого посвящены нашей стране. В русском переводе в 1961 году вышла одна из наиболее популярных книг его стихов — «Летопись» («Letopis»); в нашем и других советских журналах неоднократно публиковались его стихотворения и поэмы.

Большое место в творчестве Иржи Тауфера занимают переводы и литературные исследования. Им переведены многие произведения Маяковского, стихи Мартынова и других советских поэтов, написаны исследования о Маяковском, Горьком, Гоголе. Его перу принадлежат литературные монографии о выдающихся соотечественниках-современниках поэта: В. Незвале, К. Библе, С. К. Неймане, мемуарно-публицистическая книга «Страна, люди, поколение» («Strana, lidé, pokoleni», 1962).

Публикуемая в этом номере поэма «О человеке, который зажигает погасшие огни» получена в рукописи.

**КОБО АБЭ** (род. в 1924 г.).

Известный японский писатель — романист, новеллист и драматург, участник прогрессивного литературного движения Кобо Абэ представлен в номере романом «Женщина в песках». Этот роман, вышедший в Японии в 1963 году, называют там в числе лучших произведений последних лет.

Кобо Абэ — автор многих книг, среди которых наиболее известны роман «Стена» (1951), получивший премию Акутагава, «Звери стремятся домой» (1957), «Четвертый ледниковый период» (1959), вышедший в русском переводе, «Чужое лицо» (1964) и др.

**ГУСТАВО ЛУИС КАРРЕРА — GUSTAVO LUIS CARRERA** (род. в 1933 г.).

Новеллы Густаво Луиса Карреры, которые мы предлагаем вниманию читателей в этой книжке журнала, взяты из сборника его новелл «Слово возражения» («La palabra opuesta», 1963).

«Иностранная литература» впервые познакомила своих читателей с этим молодым венесуэльским писателем и критиком, опубликовав его статью «Там, где идет битва» (№ 10, 1964), в которой он рассказал о литературной жизни своей страны.

**ПЕТЕР ВЕЙС — PETER WEISS** (род. в 1916 г.).

Немецкий писатель и драматург, эмигрировавший из Германии в 1934 году и живущий в Швеции.

Пьесой «Судебное разбирательство» («Die Ermittlung», 1965), созданной на документальной основе, по материалам недавно состоявшегося в ФРГ судебного процесса над освенцимскими палачами, мы знакомим советских читателей с творчеством Петера Вейса. Пьеса печатается в сокращенном варианте.

В этом же номере публикуется статья Е. Книпович «Свидетели» с разбором этого произведения.

Широкую известность драматургу принесла пьеса «Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное труппой дома умалишенных в Шарантоне под руководством господина де Сада» («Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade», 1964), поставленная в разных сценических редакциях в театрах ГДР и ФРГ и других европейских стран. (См. об этом в «Иностранной литературе» № 8, 1965 г. в статье Е. Книпович «Художник и история»). В Германской Демократи-

ческой Республике писатель за эту пьесу был удостоен премии имени Лессинга.

П. Вейс — автор нескольких повестей и романов, в том числе «Прощание с родителями» («Abschied von den Eltern», 1961), и «Побег» («Fluchtpunkt», 1962).

Он был участником Всемирного форума писателей, состоявшегося в Берлине и Веймаре в мае 1965 года.

**ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ — FRIEDRICH DÜRRENMATT** (род. в 1921 г.).

«Иностранная литература» уже обращалась к творчеству этого видного швейцарского писателя, прозаика и драматурга, опубликовав впервые на русском языке его обошедшую сцены многих стран пьесу «Визит старой дамы» (№ 3, 1958) и повесть «Авария» (№ 7, 1961). В Советском Союзе была поставлена и его пьеса «Физики».

В этом номере мы представляем Ф. Дюрренматта в ином жанре, предлагая вниманию читателей его произведение «Обещание» («Das Versprechen», 1958), которое автор определяет в подзаголовке как «Отходную детективному роману» («Requiem auf den Kriminalroman»).

Ф. Дюрренматту присуждены международные литературные премии, Мольеровская и Шиллеровская.

О его творчестве см. в нашем журнале статью Н. Павловой «Театр и действительность» (№ 7, 1965 г.).

**ВИТЕЗСЛАВ РЗОУНЭК — VITĚZSLAV RZOUNĚK** (род. в 1921 г.).

Статья «Человек не одинок» чехословацкого критика и литературоведа В. Рзоунэка, рассказывающая о творческом пути видного чешского писателя Яна Отченашека, роман которого «Хромой Орфей» публиковался в первых четырех номерах «Иностранной литературы» за этот год, написана для нашего журнала.

**НИКОЛАЕ МАНОЛЕСКУ — NICOLAE MANOLESCU** (род. в 1939 г.).

Под рубрикой «Что читают» в этом номере публикуется статья румынского критика Н. Манолеску «Новые вкусы», написанная автором для «Иностранной литературы».

Преподаватель университета в Бухаресте, он начал печататься в 1961 году. В соавторстве с критиком Д. Мику им написана книга «Румынская литература сегодня» («Literatura Română de azi», 1965), глава из которой была опубликована в нашем журнале (см. № 9, 1965).

**АНДРЕ ВЮРМСЕР — ANDRÉ WURMSER** (род. в 1899 г.).

Этот французский писатель, автор серии романов «Человек приходит в мир» («Un homme vient au monde», 1946-1955), книги «Бесчеловечная комедия» («La comédie inhumaine»), о творчестве Бальзака и др., известен в нашей стране прежде всего как талантливый публицист. Его эссе, статьи и памфлеты неоднократно публиковались в советской периодической печати, в том числе в нашем журнале.

В этом номере мы воспроизводим с некоторыми сокращениями статью А. Вюрмсера посвященную проблеме «свободы печати» в буржуазном обществе. Статья публиковалась с продолжениями в газете «Юманите».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, И. М. КУЛАКОВСКАЯ** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **В. Ф. Лактионов** Технический редактор **Л. Д. Богданова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д 41. Телефон: В 3-51-47.

А 14206. Сдано в производство 12/III-66 г. Подписано к печати 12/V-66 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л.; печ. л. 18. Зак. 877.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5

ИНДЕКС 70394

Цена 80 коп.